

63.310)32
Г64

Г 64

Теодоръ Гомперцъ.

ГРЕЧЕСКІЕ МЫСЛИТЕЛИ.

Переводъ со второго нѣмецкаго изданія

Е. Геодыхъ и Д. Жуковскаго.

ТОМЪ ПЕРВЫИ.



1811.

Изданіе Д. Е. Жуковскаго.
С.-Петербургъ.

63.3/0)32 *редкие*

9/11/03 | Боннер Б.

Г64 | Греческие

исчисления №. 1

68991

23.09.42.

Г

24.12.42.

Рокки

Г

0/x 68.991

в/в

редкие

930
Г-64

Теодоръ Гомперцъ.

633/0)32
Г64

ГРЕЧЕСКІЕ МЫСЛИТЕЛИ.

Переводъ со второго нѣмецкаго изданія
Е. Герцыкъ и Д. Жуковскаго

ТОМЪ ПЕРВЫЙ.

6889



ЧИТАЛЬНЯ
Московской Государственной
Центральной
БИБЛИОТЕКИ

1950
✓

1911
Изданіе Д. Е. Жуковскаго.
С.-Петербургъ.

⊕

V

— 1947

194 г.

000

Двѣ первыя части книги (стр. 1—236) переведены Е. К. Герцыкъ и частью (главы 2-ая и 5-ая первой части и 6-ая глава второй части) А. К. Герцыкъ; третья часть (стр. 238—432) переведена мною и В. Н. Цытовичемъ, послѣднимъ — главы 2-ая и 3-я. Приношу глубокую благодарность проф. С. А. Жебелеву, который любезно взялъ на себя трудъ просмотрѣть корректуру примѣчаній, а также далъ мнѣ рядъ указаній по транскрипціи греческихъ именъ. Къ сожалѣнію указаніями этими я могъ воспользоваться только въ исправленіяхъ, помѣщенныхъ въ концѣ книги.

Издатель.

ПРЕДИСЛОВІЕ КЪ ПЕРВОМУ ИЗДАНІЮ.

Авторъ хочетъ набросать общую картину научной области, надъ обогащеніемъ матеріала и разрѣшеніемъ проблемъ которой онъ неустанно работаль нѣсколько десятилѣтій. Все произведеніе, раздѣленное на три тома и заключающее въ себѣ итогъ жизненнаго труда автора, предназначень для широкаго круга интеллигентныхъ читателей. Точка зрѣнія, принятая имъ, не принадлежитъ какой-либо опредѣленной, односторонней школѣ. Онъ пытается одинаково безпристрастно передать всѣ разнообразныя направленія мысли древности, изъ которыхъ каждое отчасти содѣйствовало современному умственному образованію, и произвести имъ справедливую оцѣнку. Все изображаемое разсматривается нераздѣльно отъ культурно-историческаго фона и субъективный взглядъ допускается, лишь, поскольку онъ способствуетъ возможно яркому выдѣленію существеннаго и отдѣленію неизмѣннаго и значительнаго отъ безразличнаго и преходящаго. Изъ исторіи религіи, литературы и отдѣльныхъ отраслей знанія берется лишь то что необходимо для пониманія умозрительнаго движенія, его причинъ и послѣдствій. Границы, раздѣляющія эти области, авторъ отнюдь не считаетъ прочно установленными. Идеаль, стоящій передъ нимъ, могъ бы осуществиться лишь въ полной, все исчерпывающей исторіи всей духовной жизни древности. Передъ осуществленіемъ такого огромнаго замысла данная попытка, несравненно болѣе скромная, разумѣется, отступить на задній планъ.

Второй томъ, подобно этому первому, будетъ состоять изъ трехъ книгъ, озаглавленныхъ слѣдующимъ образомъ: „Сократъ и сократики“, „Платонъ и Академія“, „Аристотель и его послѣдо-

ватели“. Послѣдній томъ будетъ посвященъ „Древнѣйшей Стоѣ“, „Саду Эпикура“ и „мистикѣ, скепсису и синкретизму.“*)

Чтобъ не давать слишкомъ разрастаться объему произведенія, пришлось по возможности сократить ссылки на источники, а также указанія на новѣйшую литературу, кромѣ тѣхъ случаевъ, когда изложеніе автора наиболѣе или наименѣе оригинально, и на него ложится обязательство признать свою тѣсную зависимость отъ предшественниковъ или обосновать свое уклоненіе отъ общепринятаго мнѣнія.

Въ заключеніе да будетъ дозволено автору привести слова изъ письма Густава Флобера къ Жоржъ-Зандъ; „Je fais tout ce que je peux continuellement pour élargir ma cervelle et je travaille dans la sincérité de mon coeur; le reste ne dépend pas de moi“.

Вѣна. Сентябрь. 1895.

ПРЕДИСЛОВІЕ КО ВТОРОМУ ИЗДАНІЮ.

Второе изданіе ничѣмъ существенно не отличается отъ перваго. Исправлены нѣкоторыя мелкія ошибки, измѣнены два, три тезиса, оказавшіяся несостоятельными, и значительно пополнены примѣчанія. Эти послѣднія относятся большей частью къ вновь открытымъ источникамъ, какъ-то къ фрагментамъ Гераклита, Ферекида и Демокрита, которые въ недавнее время обогащены вновь найденнымъ матеріаломъ, частью очень значительнымъ. Насколько измѣнена программа, изложенная въ предисловіи къ первому изданію—читатель усмотритъ изъ предисловія ко второму тому.

Теодоръ Голперцъ.

Вѣна. Іюль. 1902.

*) Авторъ отступилъ отъ своего плана. Второй томъ посвященъ Сократу и Платону, третій Аристотелю и его школѣ. *Примѣчаніе издателя.*

О г л а в л е н і е.

Часть первая.

Начальный періодъ.

	стр.
Введеніе	3— 38
Глава первая. Древне-іонійскіе натурфилософы	39— 71
Глава вторая. Орфическія ученія о происхожденіи міра	72— 87
Глава третья. Пиеагоръ и его ученики	87— 98
Глава четвертая. Дальнѣйшее развитіе пиеагорейскихъ ученій	98—107
Глава пятая. Орфико-пиеагорейское ученіе о душѣ	108—131

Часть вторая.

Переходъ отъ метафизики къ положительной наукѣ.

Глава первая. Ксенофанъ	135—143
Глава вторая. Парменидъ	143—160
Глава третья. Ученики Парменида	160—182
Глава четвертая. Анаксагоръ	182—198
Глава пятая. Эмпедокль	198—222
Глава шестая. Историки	223—236

Часть третья.

Эпоха просвѣщенія.

Глава первая. Врачи	239—271
Глава вторая. Физики атомисты	272—318
Глава третья. Побочныя вѣтви натурфилософіи	318—327
Глава четвертая. Начало науки о духѣ	327—352
Глава пятая. Софисты	352—371
Глава шестая. Протагоръ изъ Абдеры	371—400
Глава седьмая. Горгіи изъ Леонтинъ	400—416
Глава восьмая. Расцвѣтъ историческаго знанія	416—432
Примѣчанія	433—485

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

Н а ч а л ь н ы й п е р і о д ъ .

To one small people... it was given to create the principle of Progress. That people was the Greek. Except the blind forces of Nature, nothing moves in this world which is not Greek in its origin.

Sir Henry Sumner Maine.

Маленькому народу дано было создать принципъ прогресса. Народъ этотъ были Элліны. Зайсключеніемъ слѣпыхъ силъ природы, все, что движется въ этомъ мірѣ, имѣетъ свое начало въ Греціи.

Манъ.

ВВЕДЕНІЕ.

1. Начала всѣхъ вещей теряются во мракѣ вслѣдствіе своей незначительности или малыхъ размѣровъ своихъ; они или не поддаются воспріятію, или же ускользаютъ отъ вниманія. Къ историческимъ истокамъ восходишь лишь шагъ за шагомъ, ступень за ступенью, подобно тому, какъ, поднимаясь вдоль ручья, противъ теченія его, доходишь до родника, бьющаго въ лѣсной чащѣ. Эти ступени или шаги называются логическими заключеніями. Они бываютъ двухъ родовъ въ зависимости отъ того, выводятся ли они изъ слѣдствій или изъ причинъ. Первыя, заключенія отъ обратнаго въ тѣсномъ смыслѣ слова, пытаются изъ наличности и характера слѣдствій заключить къ наличности и характеру причинъ. Они необходимы, но часто ложны. Ибо если одна и та же причина и вызываетъ неизмѣнно одно и то же слѣдствіе, то это ни въ какомъ случаѣ не даетъ права утверждать обратное: не всякое слѣдствіе вызвано всегда одной и тою же причиною; явленіе, извѣстное подъ названіемъ „множественности причинъ“, играетъ не малую роль въ жизни какъ природы, такъ и духа. Большую достовѣрность обезпечиваетъ собою противоположный методъ. Онъ направляетъ свое вниманіе на самыя причины, на тѣ общезвѣстные или фактически доказуемые великіе и очевидные факторы, которые должны были повліять на тѣ явленія, на которыя изслѣдователь хочетъ пролить свѣтъ; здѣсь проблемою остается только вопросъ о размѣрахъ этого вліянія. Въ нашемъ случаѣ, гдѣ рѣчь идетъ о зарожденіи высшей духовной жизни цѣлаго народа, надлежитъ выяснитъ сперва условія его пространственнаго распредѣленія и географическія свойства его страны.

Эллада представляетъ собою окруженную моремъ горную страну. Незначительна протяженность ея рѣчныхъ доливъ, и сравнительно незначительна плодородность почвы. Соединеніемъ

этихъ условій уже предустановлены нѣкоторыя особенности развитія Эллады. Прежде всего, какія бы сѣмена культуры ни были заброшены туда, имъ были обеспечены длительность, прочность и разнообразіе въ условіяхъ произростанія. Вихри завоеваній, безпрепятственно проносящіеся надъ беззащитными равнинами, разбиваются о горные кряжи, какъ о стѣны крѣпостей. Сколько горныхъ областей — столько очаговъ своеобразной культуры, столько расадниковъ рѣзко обособленной жизни, которая была такъ же плодотворна для развитія многообразной цивилизаціи Греціи, какъ губительна стала впоследствии для государственнаго единства ея. Благотворный противовѣсъ областной замкнутости и неподвижности, которыя проявлялись, напр., въ отрѣзанной отъ моря Аркадіи, являла собою непримѣрно богато развитая береговая линія полуострова. Площади поверхности, меньшей чѣмъ площадь Португаліи, соответствуетъ береговая линія, большая, чѣмъ береговая линія Испаніи. Развитію разнообразныхъ способностей населенія не мало способствовало и то, что представители самыхъ различныхъ промысловъ жили въ тѣсномъ сосѣдствѣ другъ съ другомъ, что семьи мореходовъ и пастуховъ, охотниковъ и земледѣльцевъ постоянно заключали между собою брачные союзы и, такимъ образомъ, передавали своему потомству совокупность взаимно другъ друга дополняющихъ задатковъ и способностей. Однако, благотворнѣйшимъ даромъ, положеннымъ въ колыбель Эллады доброй волшебницею, была „скудость, изначала присущая ей“. Въ трехъ отношеніяхъ она оказала мощное вліяніе на ростъ культуры: въ качествѣ угрозы, постоянно побуждающей къ напряженію всѣхъ силъ, въ качествѣ защиты отъ завоеваній, такъ какъ сравнительно скудная страна, какъ это уже замѣтилъ глубочайшій историкъ древности по отношенію къ Атикѣ, представлялась мало завидной добычею, и, наконецъ, главнымъ образомъ, въ качествѣ мощнаго побужденія къ торговлѣ, мореходству, къ выселеніямъ и колонизаціи.

Самыя богатая гаванями бухты Греціи открываются на востокъ, гдѣ также разсѣяны многочисленныя острова и островки, образующіе какъ бы переправу, ведущую къ древнимъ азіатскимъ очагамъ культуры. Греція словно обращена лицомъ къ востоку и югу и повернута спиною къ западу и сѣверу, въ древности лишеннымъ цивилизаціи. Къ этому удачному положенію присоединилось еще одно, въ высшей степени счастливое обстоятельство: политически безсильные, но зато предприимчивые, жад-

ные до прибыли, смѣло пересѣкающіе моря финикійцы—народъ купцовъ—какъ бы предназначены были для того, чтобы послужить посредникомъ между юной Греціей и носителями древнѣйшей цивилизаціи. Черезъ нихъ эллины заимствовали элементы культуры Вавилона и Египта безъ того, чтобы это пріобрѣтеніе окупилось утратою независимости ихъ. Насколько, благодаря этому, цѣльнѣе и прочнѣе развивалась жизнь этой благословенной страны, отъ сколькихъ жергвъ народными силами была она избавлена, легко судить, сравнивъ ея судьбы съ участью кельтовъ и германцевъ, которымъ Римъ передалъ свою высокую цивилизацію, наложивъ вмѣстѣ съ тѣмъ на нихъ ярмо рабства, или съ печальною долею тѣхъ первобытныхъ племенъ, которыя въ наше время получаютъ отъ всеильной Европы благодѣяніе культуры, нерѣдко обращающееся для нихъ въ проклятіе.

Рѣшающее вліяніе на судьбы духовной жизни Греціи оказали, однако же, колоніи. Они основывались во всѣ эпохи и при всѣхъ формахъ правленія. Бурныя и воинственныя времена царей не разъ видали, какъ древнѣйшіе поселенцы, вытѣсненные новыми родами, снимались со своихъ насиженныхъ мѣстъ и отправлялись за море искать новой родины. Господство родовыхъ властителей, всецѣло опирающееся на постоянную связь знатнаго происхожденія съ земельною собственностью, побуждало къ изгнанію обѣдѣвшихъ отпрысковъ старыхъ родовъ—природныхъ зачинщиковъ смуты — на чужбину, гдѣ ихъ надѣляли новыми землями. За ними слѣдовали другія жертвы никогда не затихавшихъ партійныхъ раздоровъ. Вскорѣ явилась потребность въ созданіи постоянныхъ стоянокъ и прибѣжищъ для растущей морской торговли, въ ввозѣ сырого матеріала для быстро расцвѣтающей промышленности и въ новыхъ источникахъ добыванія пропитанія для возростающаго населенія. Къ тому же средству прибѣгала демократія, главнымъ образомъ для обезпеченія безземельныхъ и для устраненія перенаселенія. Такъ, еще въ раннія времена возникло широкое кольцо греческихъ колоній, простирающееся отъ области донскихъ казаковъ до оазисовъ Сахары, и отъ восточнаго побережья Чернаго моря до береговъ Испаніи. Если заселенная эллинами южная Италія была названа „Великою Греціей“, то совокупность всѣхъ этихъ поселеній заслуживала бы названія „величайшей Греціи“. Уже самое количество и разнообразіе колоній значительно увеличивало возможности того, чтобы какія бы сѣмена культуры ни попали

въ Грецію, они нашли себѣ пригодную для своего развитія почву. Составъ этихъ поселеній и способъ, какимъ они создавались, еще до безконечности увеличивали эту возможность. Для закладки городовъ въ колоніяхъ избирались наиболѣе выгодные въ экономическомъ отношеніи, обеспеченные процвѣтаніемъ въ будущемъ, пункты береговой линіи. Чаще всего на чужбину переселяются люди молодые, полные силъ и отваги, передающіе потомству всѣ свои качества: безъ крайней нужды не покидаютъ своей родины духовно отсталые люди, дѣбляющіеся за старину, за привычку. Затѣмъ, хотя эти переселенія совершались обыкновенно подъ эгидою какой-нибудь одной городской общины, однакоже не безъ значительной примѣси гражданъ другихъ общинъ. Къ этому скрещиванію родовъ,—ввиду того, что количество выселявшихся мужчинъ значительно превышало число женщинъ,—обычно присоединялась примѣсь не-эллинской крови. Сколько было колоній, столько мѣстъ, гдѣ производились опыты взаимодѣйствія и смѣшенія греческихъ народностей съ не-греческими, и гдѣ испытывалась устойчивость и жизнеспособность всѣхъ плодовъ этого смѣшенія. Сознаніе эллинскихъ выходцевъ переступало рамки мѣстныхъ установленій, темныхъ родовыхъ предразсудковъ и національнаго эгоизма. Прикосновеніе къ чуждымъ культурамъ,—даже когда эти послѣднія и не стояли на высокой ступени,—не могло не расширять въ значительной степени ихъ кругозора. Народныя силы примѣтно возростали, народный духъ крѣпкъ въ борьбѣ съ новыми, труднѣйшими задачами. Самъ человѣкъ имѣлъ здѣсь большее значеніе, чѣмъ его родовитость, усердіе и способность находили себѣ щедрую награду, неспособнымъ же приходилось плохо. Сила слѣпой привычки, тупой рутины быстро падала тамъ, гдѣ все требовало преобразованія новой организаціи экономическихъ, государственныхъ и общественныхъ отношеній. Правда, что однимъ колоніямъ угрожало натискъ враждебныхъ сосѣдей, въ другихъ природныя свойства поселенцевъ были подавлены количественнымъ превосходствомъ туземцевъ. Въ большинствѣ же случаевъ благоговѣнно чтимая и порою подкрѣпляемая притокомъ новыхъ согражданъ связь съ роднымъ городомъ и съ родиною сохранялась настолько живою, чтобы обезпечить обѣимъ сторонамъ всѣ выгоды такого въ высшей степени благотворнаго взаимодѣйствія. Колоніи были какъ бы огромными „опытными полями“ эллинскаго духа, на которыхъ онъ могъ испытать свои способности

при наибольшемъ разнообразіи условій и развитъ всё дремлющіе въ немъ задатки. Сотни лѣтъ длился молодой, радостный расцвѣтъ жизни въ колоніяхъ; во всёхъ почти областяхъ они обогнали свою старую родину; большинство великихъ нововведеній исходило изъ нихъ; настало время, когда и углубившаяся въ тайны міра и человѣческой жизни мысль должна была найти себѣ здѣсь вѣрное пристанище и долгую разработку.

2. Одинъ періодъ эллинской исторіи являетъ собою поразительное сходство съ исходомъ нашего средневѣковья. Здѣсь и тамъ однородныя причины вызвали однородныя слѣдствія.

Путешествіямъ, увѣнчавшимся великими открытіями и отмѣтившими собою переходъ къ новой исторіи, у грековъ соотвѣтствовало необычайное расширеніе географическаго горизонта. Дальній западъ и дальній востокъ извѣстнаго въ то время міра утрачиваютъ свои смутныя контуры; сказочная неопредѣленность смѣняется точнымъ знаніемъ. Вскорѣ послѣ 800 года изъ Милета начинается колонизація восточнаго побережья Чернаго моря (Синопъ основанъ въ 785, Трапезундъ — однимъ поколѣніемъ позже), въ серединѣ столѣтія выходцами изъ Эвбеи и Коринеа основываются первыя греческія поселенія въ Сициліи (Сиракузы въ 734 г.), и прежде чѣмъ закончилось это столѣтіе, побѣдоносный Милетъ прочно утвердился на устьяхъ Нила. Это движеніе въ дальнія страны имѣетъ тройное значеніе. Оно указываетъ на быстрый приростъ населенія въ метрополіи и древнѣйшихъ колоніяхъ, на значительное развитіе торговой и промышленной дѣятельности и, наконецъ, на замѣтные успѣхи караблестроительнаго искусства и смежныхъ съ нимъ отраслей техники. Купеческій флотъ охраняется отнынѣ военнымъ; строятся годныя для боя и морскихъ плаваній суда съ высокимъ бортомъ и тремя рядами гребцовъ (впервые для самосцевъ въ 703 г.), даются морскія битвы (въ 664 г.); море пріобрѣтаетъ величайшее значеніе для всей греческой культуры, для мирныхъ, какъ и для вражескихъ сношеній. Около того же времени чеканка монетъ создала новое и важное орудіе торговыхъ сношеній. Уже не довольствуются въ качествѣ мѣновыхъ знаковъ и мѣръ цѣнности мѣдными „котлами“ и „треножниками“, и тѣмъ менѣе „быками“ сѣдой старины. Благородный металлъ вытѣсняетъ эти устарѣвшія и грубыя пособія. Вавилоняне и египтяне давно уже пустили въ оборотъ золото и серебро въ формѣ кружковъ и пластинокъ, снабжая ихъ (по крайней мѣрѣ—

вавилоняне) государственнымъ знакомъ, гарантирующимъ вѣсь и чистоту металла. Теперь же это, наиболѣе цѣлесообразное—въ качествѣ самого цѣннаго и прочнаго,—средство обмѣна пріобрѣтаетъ удобнѣйшую форму, переходя изъ рукъ въ руки въ видѣ выбитой монеты. Это важнѣйшее изобрѣтеніе, заимствованное іонійскими фокійцами у лидянъ (около 700 г.), не въ меньшей степени облегчило и подвинуло торговыя сношенія, чѣмъ введенное въ обращеніе еврейскими и ломбардскими купцами въ концѣ среднихъ вѣковъ заемное письмо. Не менѣе глубокой переворотъ происходитъ и въ военномъ дѣлѣ. На ряду съ всадниками, всегда являвшимися въ странѣ, бѣдной травой и злаками, преимуществомъ крупныхъ земельныхъ собственниковъ, пріобрѣтаетъ все большее значеніе войско „гоплитовъ“, несравненно болѣе многочисленныхъ тяжело вооруженныхъ пѣшихъ воиновъ,—перемѣна, не менѣе важная по своимъ послѣдствіямъ чѣмъ та, которая обезпечила побѣду за вооруженными швейцарскими мужиками надъ бургундскими и австрійскими рыцарями. Новые слои народа пріобщились культурѣ и благосостоянію и возрасли въ своемъ собственномъ сознаніи. На ряду съ старинными родами поднимаются, почувявъ свои силы, новые граждане и все неохотнѣе несутъ ярмо своихъ родовитыхъ господъ. Противорѣчіе между реальнымъ соотношеніемъ силъ и правовыми полномочіями и здѣсь, какъ всегда, таитъ въ себѣ зерно гражданскихъ усобій. Загорается борьба классовъ, увлекаемая за собою даже тяжело угнетенное и не разъ впадавшее въ личное рабство крестьянское сословіе и порождаетъ поколѣнія тиранновъ, какъ бы поднимающихся изъ трещинъ расщепившагося общества, которые частью ломаютъ, частью просто устраняютъ существующій порядокъ и на мѣсто его основываютъ—по большей части недолговѣчный—но далеко не безслѣдный по своимъ результатамъ правительственный строй. Ортагоридовъ, Кипселидовъ, Писистратидовъ, Поликрата наконецъ, какъ и многихъ другихъ можно смѣло сравнить съ итальянскими деспотами конца средневѣковья—съ Медичи, Сфорцами, Висконти, подобно тому, какъ распри партій той эпохи напоминаютъ собою борьбу сословій и родовъ въ Греціи. Блескъ, создаваемый военными успѣхами и союзами съ иноземными властителями, грандіозными общественными предпріятіями, пышными сооруженіями и монументами, блескъ, освященный защитой, оказанной національнымъ святилищамъ, и покровительствомъ художникамъ, долженъ былъ затмить собою темноту происхожденія новыхъ владѣтельныхъ родовъ и сомни-

тельность ихъ правъ. Наиболѣе длительное слѣдствіе этого историческаго интермеццо заключалось, однако, въ другомъ, а именно въ ослабленіи сословнаго соперничества, въ паденіи аристократіи, не сопровождавшагося, однако, крушеніемъ всего общественнаго строя, въ наполненіи вскорѣ возстановленныхъ старыхъ государственныхъ формъ новымъ и болѣе богатымъ содержаніемъ. „Тираннія“ явилась мостомъ, ведущимъ къ ограниченному сперва, а затѣмъ къ полному народовластію.

Между тѣмъ потокъ духовной жизни прокладываетъ себѣ и болѣе широкое и болѣе глубокое, чѣмъ прежде, русло. Героическая пѣснь, въ теченіе вѣковъ звучавшая подъ игру на ~~лютнѣ~~ при іонійскихъ дворахъ, постепенно смолкаетъ. На первый планъ выступаютъ новые роды поэзіи, и, между прочимъ, такіе, которые не требуютъ исчезновенія личности поэта за повѣствуемымъ имъ. Возникаетъ субъективная поэзія. Да и какъ могло быть иначе? Значительно возросло число людей, жизнь которыхъ выходитъ изъ тѣсныхъ граней патриархальнаго уклада. Перебѣчивость государственной жизни и сопряженная съ нею неустойчивость экономическихъ отношеній сообщаютъ судьбѣ индивидуума болѣе разнообразіе и болѣе рѣзкія очертанія его облику, повышаютъ его самодѣятельность и усиливаютъ въ немъ увѣренность въ себѣ. Онъ выступаетъ съ обвиненіями и увѣщаніями, укорами и совѣтами къ своимъ согражданамъ и товарищамъ по партіи, въ свободной рѣчи даетъ просторъ своимъ надеждамъ и разочарованіямъ, своей радости и скорби, гнѣву и презрѣнію. Въ глазахъ индивидуума, во всемъ предоставленнаго самому себѣ и считающаго лишь на собственныя силы, его личныя дѣла приобретаютъ столь важное значеніе, что онъ смѣло выноситъ ихъ на общественный судъ. Онъ обнажаетъ свою душу передъ согражданами, призываетъ ихъ судьями въ вопросахъ любви и права, требуетъ ихъ сочувствія въ повесенныхъ имъ обидахъ, въ достигнутыхъ наслажденіяхъ. Самые сюжеты старинныхъ пѣснопѣній проникаются новымъ духомъ. Творцы хоровой пѣсни перерабатываютъ эпосъ боговъ и героевъ въ разнообразной, подчасъ противорѣчивой формѣ. Наряду съ стремленіемъ дидактическихъ поэтовъ къ упорядочивающему и уравнивающему объединенію всѣхъ разнорѣчій, происходитъ постоянное измѣненіе въ образахъ мифическаго прошлаго, въ оцѣнкѣ дѣяній и характеровъ героевъ и героинь; пристрастіе или враждебность избираютъ себѣ среди нихъ объекты, часто не считающагося съ освященнымъ

временемъ преданіемъ. Такимъ образомъ все въ бдльшемъ числѣ выдѣляются на фонѣ однородной массы отдѣльныя, сильныя своимъ самосознаніемъ, мощныя личности. Вмѣстѣ съ привычкой къ индивидуальнымъ устремленіямъ воли и чувства, усиливается также способность къ самостоятельному мышленію, находящему все новыя и новыя объекты для своей дѣятельности.

3. Эллины во всѣ времена обращалъ зоркій взглядъ на внѣшній міръ. Вѣрная передача чувственныхъ впечатлѣній составляетъ одно изъ главныхъ обаяній гомеровскаго эпоса. Теперь, кромѣ поэтическаго слова, и постепенно изошрившаяся рука его начинаетъ воспроизводить видимыя образы и движенія. Древніе культурные народы, — главнымъ образомъ египтяне, обладающіе чувствомъ формы, любящіе природу, изобрѣтательныя на выдумки были ему въ этомъ достойными учителями. Вмѣстѣ съ тѣмъ все увеличивалось поле наблюденія надъ человѣческими нравами и обычаями, — съ большею доступностью путешествій, къ этому предоставлялись все новыя случаи. Не одинъ только купецъ, выскрывающій новой прибыли, но и бѣжавшій изъ своей страны убійца, и изгнанникъ—членъ побѣжденной въ междуусобіяхъ политической партіи и неусидчивый, переходящій съ мѣста на мѣсто переселенецъ, и авантюристъ, служащій своимъ копьемъ тому, кто лучше платитъ, сегодня кормящійся изъ казны ассирійскаго царя, а завтра утоляющій жажду египетской брагой, равно сроднившійся какъ съ плодоносными берегами Евфрата, такъ и съ песками Нубіи—всѣ они множатъ знаніе о странахъ и народахъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ и о человѣкѣ. Все, что увидѣли, извѣдали и сообщили своимъ соплеменникамъ отдѣльные люди, какъ-бы сливалось въ общіе бассейны въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ представители различныхъ племенъ и городовъ встрѣчались всего чаще или же сходились въ опредѣленные сроки. Къ первымъ изъ этихъ мѣстъ принадлежитъ прежде всего святилище Дельфійскаго оракула, ко вторымъ—періодическія сборища на праздникахъ, среди которыхъ первое мѣсто занимали игры въ Олимпіи. Подъ отвѣсными скалами, осѣняющими святилище пнойскаго Аполлона безпрерывно встрѣчались граждане и послы государствъ съ разныхъ концовъ метрополіи и колоній, среди которыхъ, по крайней мѣрѣ съ середины седьмого вѣка, стали порой появляться и посланцы иноземныхъ царей. Всѣ они приходили, чтобы вопрошать бога; отвѣтъ же получали по большей

части изъ опыта, накопленнаго ихъ предшественниками и мудро просѣяннаго руками жрецовъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ, рѣдко они покидали таинственное ущелье, не обогатившись кромѣ того новыми познаніями и новыми импульсами изъ личнаго сношенія съ другими паломниками. Изъ поколѣнія въ поколѣніе возростала притягательная сила блестящихъ игръ, праздновавшихся въ широкой долинѣ Алфея; благодаря введенію все новыхъ родовъ состязанія, программа празднествъ постоянно обогащалась; все возростающее число посѣтителей, собиравшихся первоначально лишь изъ близъ лежащихъ мѣстностей, захватываетъ, какъ на это указываютъ имена побѣдителей (извѣстныхъ, начиная отъ 776 г.), все болѣе широкіе круги эллинскаго міра. Къ живому обмѣну вѣстями и свѣдѣніями присоединялось здѣсь и взаимное наблюденіе и обсужденіе порядковъ, царящихъ въ многочисленныхъ предѣлахъ многообразной страны, и столь различествующихъ между собою обычаевъ, нравовъ и религіозныхъ вѣрованій. Сравненіе влекло за собою оцѣнку, которая въ свою очередь наводила на размышленія о причинахъ какъ существующихъ различій, такъ и единой основы, пребывающей при всѣхъ видоизмѣненіяхъ неизмѣнной, и на исканія для всѣхъ пригоднаго мѣрила поступковъ и вѣрованій. Изошренная и обогащенная наблюдательность привела къ сравнительному изученію, а это—къ критикѣ и углубленному размышленію. Въ теченіе долгаго времени изъ этого источника возникалъ не одинъ гордый потокъ, — здѣсь, между прочимъ, беретъ начало гномическая поэзія, отображеніе челоувѣческихъ характеровъ - типовъ, мудрыя реченія, въ изобилии исходящія изъ устъ глубокомысленныхъ гражданъ и умудренныхъ опытомъ правителей.

Распространенію новыхъ пріобрѣтеній въ области знанія и культуры не мало способствовало крылатое посредничество обмѣна мыслей, т. е. искусство письма. Правда, оно уже давно было знакомо грекамъ: тѣсныя сношенія съ финикійцами, о которыхъ свидѣтельствуетъ гомеровскій эпосъ, врядъ ли были бы возможны безъ того, чтобы ловкій торговый гость-эллинь не заимствовалъ этого чудеснаго пособія для сохраненія и передачи мысли у хананскихъ купцовъ, которыхъ онъ часто долженъ былъ заставать за начертаніемъ письменныхъ знаковъ. Но уже и до этого часть грековъ, по крайней мѣрѣ, владѣла искусствомъ письма. Письменные знаки, состоящіе изъ слоговъ, открыты за послѣднее время на кипрскихъ памятникахъ, такъ неуклюжи и неловки, что употре-

бленіе ихъ послѣ введенія удобнаго семитскаго алфавита также невѣроятно, какъ невѣроятно была бы, напримѣръ, замѣна ружья сѣкирою. Однако, долгое время ощущался недостатокъ въ матеріалѣ для письма, легко добываемомъ и удобномъ для употребленія. Только съ оживленіемъ торговыхъ сношеній съ Египтомъ, наступившемъ при царѣ Псамметихѣ I (вскорѣ послѣ 660 г.), былъ восполненъ этотъ пробѣлъ. Сердцевина ствола папируса слоющаяся на тонкіе и гибкіе пласты, доставляла для этой цѣли незамѣнимый по удобству матеріалъ. Отнынѣ исчерченныя знаками листы переходятъ изъ города въ городъ, изъ страны въ страну, изъ вѣка въ вѣкъ; оборотъ идей былъ ускоренъ, живой обмѣнъ духовной жизни повышенъ и образованность упрочена не въ меньшей степени, чѣмъ въ началѣ новыхъ вѣковъ благодаря изобрѣтенію книгопечатанія. На ряду со словесной передачей поэзии, подчиняющей себѣ слухъ и мысль слушателя, повсемѣстно распространяется одинокое изученіе ея, при которомъ читатель безъ помѣхи обдумываетъ, на досугѣ сравниваетъ и пытливо изслѣдуетъ ее. Литературной формѣ сообщенія предстоило вскорѣ освободиться отъ послѣднихъ, еще связующихъ ее путь, отъ пути ритмической рѣчи—уже недалеко было начало прозаической формы.

4. Западное побережье Малой Азіи есть колыбель эллинской духовной культуры. Первое мѣсто принадлежитъ здѣсь полосѣ земли, занимающей середину тянущейся съ сѣвера на югъ береговой линіи, и близъ лежащимъ островамъ. Природа щедро одѣлила эту мѣстность, а воспринявшіе богатства дары принадлежали къ іонійскому, т. е. наиболѣе одаренному эллинскому племени. Происхожденіе іонянъ покрыто неизвѣстностью. Несомнѣнно, что они смѣшались съ выходцами изъ средней Греціи, если только сами они не являются смѣсью этихъ выходцовъ. Пестротой ихъ племенного состава вѣроятно въ значительной степени объясняется многосторонность ихъ дарованій. Во всякомъ случаѣ, полнаго выявленія достигли всѣ ихъ особенности лишь на новой, азіатской родинѣ. Какъ смѣлые мореплаватели съ одной стороны, съ другой—въ силу дѣятельныхъ сношеній со своими ближайшими сосѣдями, они въ полной мѣрѣ испытали то возбуждающее и плодотворное вліяніе, которое дается общеніемъ съ чуждыми народами болѣе старой культуры. Кровное смѣшеніе съ другими сильными расами, какъ финикійцы и

карійцы, не осталось безъ слѣда, и безъ сомнѣнія значительно усилило разнообразіе ихъ дарованій. Среди всѣхъ грековъ они всего болѣе были чужды той неподвижности, которую влечетъ за собой узко областная отъединенность. Правда, что вмѣстѣ съ тѣмъ они были лишены той защиты, которую обеспечиваютъ своимъ обитателямъ скудные, окруженные горами страны. Близкое сосѣдство цивилизованныхъ и въ государственномъ отношеніи объединенныхъ культурныхъ народовъ одновременно являлось величайшимъ двигателемъ ихъ духовной жизни и опаснѣйшей угрозой ихъ политической самостоятельности. За опустошительными набѣгами дикихъ киммерійцевъ послѣдовало покореніе ихъ лидыями и персами, подчинившее часть населенія чужеземному игу, а другую—обрекшее на изгнанничество; вмѣстѣ съ тѣмъ привившая имъ восточная роскошь медленно, но вѣрно истребляла ихъ мужественную силу. Плодомъ скрещенія этихъ благотворныхъ и губительныхъ вліяній былъ изумительный по стремительности, но сравнительно недолговѣчный расцвѣтъ культуры. Сѣмена слишкомъ рано осыпавшихся плодовъ были далеко разнесены бѣжавшими чужеземнаго ига переселенцами и нашли себѣ вѣрное прибѣжище въ благодатной почвѣ Аттики. Итоги этого духовнаго подъема, длившагося лишь немного столѣтій, значительны: завершеніе героическаго эпоса, расцвѣтъ упомянутыхъ выше новыхъ родовъ поэзіи, овладѣвшихъ наслѣдіемъ эпоса, начала научнаго изслѣдованія и философскаго размышленія. На древній вопросъ челоуѣка о томъ „что означаетъ онъ самъ, и Богъ, и міръ“ послѣдовали новые отвѣты,— отвѣты постепенно заслонившіе собою или видоизмѣнившіе тѣ, которые давались ему до сихъ поръ религіознымъ вѣрованіемъ.

5. Религія Греціи—это сосудъ, который благороднѣйшіе умы наполнили благодатною влагой. Образы ея признаны были поэтами и художниками за созданія чистѣйшей красоты. И все-же она произросла изъ тѣхъ самыхъ корней, побѣги которыхъ покрыли всю землю необозримымъ множествомъ частью прекрасныхъ или благихъ, частью отвратительныхъ или зловѣщихъ вымысловъ.

Ходъ нашихъ мыслей двойствененъ. Онъ подчиняется закону сходства, также какъ и закону временнаго слѣдованія. Не только однородныя представленія вызываютъ другъ друга въ нашемъ сознаніи, но также и сосуществующія во времени или непосредственно слѣдующія одно за другимъ. Такъ наприимѣръ, не только

портретъ отсутствующаго друга можетъ вызвать въ нашей памяти его образъ, но также и комнаты, въ которыхъ опъ жилъ, предметы, которые мы привыкли видѣть у него въ рукахъ. Дѣйствиємъ этихъ законовъ, которые принято называть законами ассоціаціи идей, непосредственно и неизбежно порождается то отношеніе къ явленіямъ природы, которое можно назвать одухотвореніемъ ея. Всякій разъ, когда передъ взоромъ первобытнаго человѣка происходитъ какое нибудь движеніе или другого рода явленіе, которое своей необычностью или тѣсною связью съ его личной судьбой производитъ на его мысль впечатлѣніе, достаточно сильное, чтобы вызвать въ ней живую ассоціативную работу, онъ тотчасъ-же готовъ видѣть въ этихъ явленіяхъ продуктъ чьей-то волевой дѣятельности,—по той простой причинѣ что лишь связь волевой дѣятельности съ движеніемъ и вообще всякимъ внѣшнимъ появленіемъ знакома ему, какъ и всякому, вообще, человѣку, изъ непосредственнаго, внутренняго ежедневнаго и ежечаснаго опыта. Ассоціація, порожденная этимъ внутреннимъ опытомъ, постоянно подкрѣпляется наблюденіями надъ другими живыми существами. Дѣйствительно, всякаго рода дѣйствія такъ часто сочетались въ нашей мысли съ сознательно направленной волею, что теперь, когда мы видимъ одного изъ членовъ этого союза, мы склонны ожидать появленія и другого. Правда, сфера осуществленія этого ожиданія, благодаря опыту другого порядка и особенно благодаря медленно завоеванной власти надъ природой, становится все тѣснѣе; однако-же тамъ, гдѣ принуждающая сила представленій подкрѣпляется сильными аффектами или не достаточно парализуется противоположнымъ специфическимъ опытомъ, или же гдѣ второй ассоціативный принципъ сходства (въ данномъ случаѣ сходства видимаго явленія съ невидимымъ) усиливаетъ дѣйствіе перваго, тамъ сила этого ожиданія прорываетъ порою всѣ плотины и, временно, по крайней мѣрѣ, приравниваетъ культурнаго человѣка первобытному. Въ этихъ случаяхъ намъ дано какъ бы экспериментально провѣрить правильность приведеннаго выше принципа. Ибо, хотя, мы сами уже не склонны, подобно дикарю, объяснять такимъ образомъ всякое непривычное явленіе, и принимать незнакомый намъ механизмъ, на примѣръ карманные часы или артиллерійское орудіе, за живое существо, или приписывать громъ и молнію, засуху или вулканическое изверженіе дѣйствію такихъ существъ; но

стоитъ намъ только столкнуться съ неслыханной удачей или быть внезапно пораженнымъ безпримѣрнымъ несчастьемъ, особенно если доступныя познанію причины даннаго событія кажутся несоразмѣрными полученному результату — впрочемъ, даже и тогда, когда случай самъ по себѣ незначителенъ, но наступленіе его (какъ это бываетъ при измѣнчивыхъ оборотахъ счастья въ азартной игрѣ) противорѣчитъ всѣмъ расчетамъ—во всѣхъ такихъ или сходныхъ случаяхъ и научно образованному человѣку—будь то на мгновеніе—предносится мысль о сознательно дѣйствующемъ Провидѣніи, хотя бы онъ и не связывалъ никакихъ опредѣленныхъ представленій съ той правящей силой, чью волю онъ ощутилъ на себѣ. Къ вѣрѣ въ Бога въ той формѣ, какую она въ наше время приняла въ сознаніи образованнаго человѣка, эти вспышки не имѣютъ никакого отношенія. Ибо не только овладѣвають они порою и невѣрующими, но и вѣрующей человѣкъ по большей части совершенно не въ состояніи привести эти потрясающіе его духъ темныя предчувствія въ согласіе съ тѣми понятіями о природѣ и дѣятельности высшаго міроуправляющаго существа, которыя создалъ онъ себѣ или заимствовалъ у другихъ. Поэтому мы можемъ видѣть въ этомъ „сѣмени суевѣрія“, которое при случаѣ заявляетъ о своемъ присутствіи въ душѣ каждаго изъ насъ, поблѣднѣвшее и стершееся отраженіе всемогущей родоначальницы, изъ лона которой нѣкогда произросло неисчислимое множество многоликихъ и многокрасочныхъ представленій.

За этимъ первымъ шагомъ въ созданіи религіи незамѣтно слѣдуетъ другой. Принявъ, что всякое дѣйствіе есть результатъ волевой дѣятельности, человѣкъ вслѣдъ за тѣмъ подмѣчаетъ связь, существующую между рядомъ повторяющихся явленій и однимъ изъ факторовъ природы. И вотъ этотъ факторъ становится въ его глазахъ одухотвореннымъ, одареннымъ волею повелителемъ этихъ явленій. Какъ носителю воли, подобной человѣческой волѣ, онъ приписываетъ ему человѣческія-же влеченія и склонности, человѣческіе аффекты и дѣли. Онъ дивится на него, чтитъ его, и въ зависимости отъ того, полезны-ли или вредны, благодатны-ли или губительны его проявленія—любитъ или страшится его. И такъ какъ великія силы природы, наиболѣе вліяющія на жизнь человѣка, обыкновенно по очереди влекутъ за собою слѣдствія какъ того, такъ и другого порядка, то онъ чувствуетъ себя принужденнымъ добиваться ихъ благосклонности, заботиться о сохра-

ненія ея и о томъ, чтобъ умилостивлять внезапно вспыхнувшій въ нихъ гнѣвъ. Первобытный человѣкъ молить небеса посылать на землю вмѣсто разрушительной бури — плодоносные дожди; солнце онъ проситъ о томъ, чтобъ вмѣсто иссушающаго зноя оно даровало ему благодатное тепло, рѣки—о томъ, чтобъ онѣ не опустошали его жилье и терпѣливо несли на своихъ волнахъ его утлый челнъ. Тѣми же средствами, которыми ему удается умилостивить своихъ земныхъ владыкъ, пытается онъ склонить на свою сторону мощныя существа, управляющія его жизнью: мольбами, благодареніями, приношеніями. Онъ вымаливаетъ у нихъ милости, благодаритъ за содѣянные ему благодѣянія и молить ихъ о прощеніи, когда мнитъ себя заслужившимъ ихъ гнѣва. Словомъ—онъ молится и приноситъ жертвы, совершая то и другое въ тѣхъ формахъ, какія его мнимый опытъ призналъ наиболѣе дѣйствительными,—такъ возникаетъ культъ и религія.

Къ этимъ объектамъ почитанія, которыя могутъ быть названы фетишами природы, вскорѣ присоединяются вереницы духовъ и демоновъ. Это не безтѣлесныя, но и не грубо тѣлесныя существа. Три рода умозаключеній приводятъ первобытнаго человѣка, чуждаго болѣе тонкимъ различеніямъ научнаго мышленія, къ вѣрѣ въ ихъ реальное существованіе;—умозаключенія, на которые наводятъ его наблюденія—безразлично правильныя ли или ложныя—надъ внѣшнимъ міромъ, затѣмъ надъ явленіями внутренней, душевной жизни и, наконецъ, выводы изъ тѣхъ представленій, которыя вызываетъ у него переходъ отъ жизни къ смерти, наблюдаемый имъ у людей и животныхъ.

Ароматъ каждаго цвѣтка наводитъ первобытнаго человѣка на мысль о томъ, что есть вещи, невидимыя, неосязаемыя—и все-же совершенно реальныя; вѣтеръ, матеріальная природа котораго лишь угадывается имъ, вводитъ въ кругъ его понятій вещи, хотя и ощутимыя, но незримыя. Его смущаетъ и потрясаетъ видъ тѣни, имѣющей контуры предметовъ, и не обладающей при этомъ осязаемой тѣлесностью, и еще болѣе—окрашенныя отраженія, появляющіяся на водной поверхности. Въ обоихъ случаяхъ онъ видитъ передъ собой нѣчто, въ точности воспроизводящее реальные предметы, но не поддающееся его попыткамъ коснуться и схватить ихъ. Еще въ большей степени поражаютъ его сонныя видѣнія; ихъ-то казалось-бы онъ воспринимаетъ всѣми своими чувствами, они какъ живыя стоятъ передъ нимъ,—и все-же проснувшись, онъ видитъ, что входъ въ его хижину такъ же плотно при-

крыть, какъ былъ съ вечера. Передъ нимъ проходили—въ томъ нѣтъ никакого сомнѣнія—люди, звѣри, растенія, камни, орудія всякаго рода, онъ видѣлъ ихъ, слышалъ, трогалъ—а между тѣмъ въ своей тѣлесной реальности они не были въ его жилищѣ, да многіе изъ нихъ не могли-бы вмѣститься въ немъ! И вотъ онъ заключаетъ, что это были существа, подобныя запахамъ, вѣтру, тѣни, отраженіямъ—души и вещей. Но иногда сны подсказываютъ и требуютъ иного толкованія. Не всегда души другихъ людей и вещей посѣщаютъ спящаго,—иногда мнится ему, онъ самъ, перенесся черезъ огромныя пространства, видится съ знакомыми ему людьми на ихъ далекой родинѣ. Изъ этого онъ выводитъ, что нѣчто, на этотъ разъ его собственная душа—или одна изъ его душъ (ибо вѣра въ множество душъ столь-же понятна, какъ и распространена)—по временамъ покидаетъ его тѣло. Тѣ-же ощущенія, сопровождаемая тѣмъ-же рядомъ выводовъ, вызываютъ въ немъ и явленія такъ называемой галлюцинаціи, которыя, такъ же какъ и тяжелые, тревожные сны, часто посѣщаютъ дикаря, нервы котораго вслѣдствіе неправильнаго питанія возбуждаются то долгой голодовкой, то чрезмѣрнымъ насыщеніемъ. Эти души или эссенціи вещей находятся съ ними въ тѣсной связи: все, что приключится съ ними, оказываетъ вліяніе и на самыя вещи. Народное повѣріе и у насъ еще запрещаетъ ступать на тѣнь человѣка; по вѣрованію одного изъ южно-африканскихъ племенъ крокодилъ, пьющій воду тамъ, гдѣ отражается образъ человѣка, стоящаго на берегу, обрѣтаетъ власть надъ нимъ самимъ. Все, что совершаютъ или претерпѣваютъ образы сновидѣній имѣетъ огромное значеніе и для ихъ прообразовъ. Однако, несравненно большую мощь и дѣйствительную самостоятельность обрѣтаетъ душа въ народномъ представленіи вслѣдствіе иныхъ соображеній, возникающихъ не на почвѣ чувственныхъ воспріятій, а въ сферѣ проявленій воли.

Пока внутренняя жизнь первобытнаго человѣка протекаетъ обычнымъ путемъ, мало что побуждаетъ его задумываться надъ природой и мѣстонахожденіемъ его воли и стремленій. Но стоитъ только крови его вскипѣть и загорѣться отъ внутренняго возбужденія, какъ онъ самъ собой, отъ своего бьющагося сердца узнаетъ, что въ этой-то части его тѣла и разыгрываются тѣ событія, которыя онъ неизбежно представляетъ себѣ образно въ соотвѣтствіи со сложившимися у него представленіями и при помощи извѣстныхъ ему аналогій. И чѣмъ сильнѣе и внезапнѣе

68991

2

ЧИТАЛЬНЯ
Московской Городской

переходъ, который онъ ощущаетъ въ себѣ, тѣмъ нагляднѣй представляется ему, привыкшему связывать всякое дѣйствіе съ опредѣленнымъ дѣятелемъ,—мысль о томъ, что въ груди его живетъ и дѣйствуетъ особое существо. Овладеетъ имъ порывъ безудержной страсти, напр. бушующій въ груди его гнѣвъ толкнетъ его на кровавое дѣло, которое, быть можетъ, скоро вызоветъ въ немъ тяжкое раскаяніе, или наоборотъ, внезапный импульсъ заставитъ опуститься его ужъ занесенную руку—во всѣ такія мгновения возникаетъ въ немъ съ неборимой силою вѣра въ одно или многія существа, изнутри или извнѣ владѣющія имъ.

Но все-же самое живучее сѣмя вѣры въ существованіе души заложено не здѣсь, а въ тѣхъ обстоятельствахъ, которыя сопровождаютъ собою угасаніе индивидуальной жизни. Здѣсь мы опять таки сталкиваемся со случаемъ внезапной смѣны, производящимъ глубочайшее впечатлѣніе на зрителя и какъ бы предрѣшающимъ пути его мысли. Еслибъ смерть всегда походила на медленное увяданіе, заканчивающееся какъ бы сномъ, еслибъ черты умершаго измѣнялись до неузнаваемости,—кто знаетъ какую форму приняли-бы выводы, подсказанные фактомъ прекращенія жизни? Между тѣмъ часто въ трупѣ умершаго нельзя обнаружить никакихъ внѣшнихъ измѣненій, и съ другой стороны—только что полный силъ человѣкъ внезапно смолкаетъ навѣки. Гдѣ-же причина столь безмѣрнаго и страшнаго превращенія—спрашиваетъ себя зритель. И отвѣтъ его гласитъ: что-то, сообщавшее умершему и жизнь и движеніе покинуло его тѣло; внезапная утрата имъ его силъ и способностей истолковывается какъ уходженіе ихъ въ буквальномъ смыслѣ слова, какъ пространственное удаленіе. И такъ какъ таинственное по своей природѣ теплое дыханіе, неизмѣнно присущее живому тѣлу, исчезаетъ, то естественно возникаетъ мысль, что именно съ его удаленіемъ изсякъ источникъ жизненныхъ явленій. Между тѣмъ насильственная смерть, при которой кажется, будто жизнь изливается изъ организма вмѣстѣ съ льющейся изъ раны кровью, порою наводитъ на мысль, что эта-то красная жидкость и есть носительница жизни. Многіе народы считаютъ источникомъ жизни и одухотворенія человѣка тотъ образъ, который мелькаетъ имъ въ зрачкѣ умирающаго. Однако въ большинствѣ случаевъ эта роль приписывается дыханію, воздушнымъ дуновеніямъ, исходящимъ изъ живого организма, какъ указываютъ на это слова, обозначающія у самыхъ различныхъ народовъ „духъ“ и

„душу“, и въ основѣ сохраняющія значеніе „дыханія“. Уже двоякое толкованіе сонныхъ видѣній требовало допущенія отдѣльности души отъ тѣла; временное разлученіе ихъ казалось единственнымъ объясненіемъ явленій потери сознанія, летаргическаго сна, экстаза, также какъ вселенія въ тѣло человѣка чужой души (одержимости) и различныхъ болѣзненныхъ состояній, какъ сумашествіе, судороги и т. д. Въ смерти же видѣліи окончательное и безповоротное разлученіе обоихъ элементовъ.

Ничто не наводитъ на предположеніе о томъ, чтобъ воздушное существо, покидающее тѣло, могло погибнуть вмѣстѣ съ нимъ. Напротивъ, любимый образъ умершаго неизмѣнно стоитъ передъ оставшимся въ живыхъ, — другими словами, его душа рѣшетъ вокругъ него. И это не диво: она не можетъ не стремиться остаться какъ можно дольше въ дорогихъ ей мѣстахъ, близъ того, что любила на землѣ. Если бъ сомнѣніе въ этомъ закралось въ душу первобытнаго человѣка, — какъ пугало бы его посѣщающее въ ночной тиши видѣніе отошедшаго въ вѣчность!

Вѣра въ существованіе духа или души, переживающей свою связь съ тѣломъ человѣка и даже животнаго, присоединила къ фетишамъ природы цѣлый новый классъ предметовъ почитанія и, кромѣ того, явила прообразъ, по примѣру котораго человѣческая фантазія стала создавать множество другихъ существъ, то совершенно самостоятельныхъ, то приуроченныхъ къ различнымъ видимымъ предметамъ, какъ ихъ обиталищамъ. Въ жизни первобытнаго человѣка не было недостатка въ случаяхъ, склонявшихъ и даже принуждавшихъ его къ этой творческой работѣ, такъ же какъ и къ культу умершихъ. Зависимость его отъ внѣшнихъ условій была безмѣрна, а потребность освѣтить окружающій его отовсюду мракъ была такъ же велика, какъ велико было безсиліе реально осуществить это желаніе. Здоровье и болѣзни, голодъ и пресыщеніе, успѣхъ и неуспѣхъ въ охотѣ, рыбномъ промыслѣ и войнѣ въ пестрой смѣнѣ наполняютъ собою его жизнь. Растущая жажда познать факторы, обуславливающіе его благополучіе, и обрѣсти власть надъ ними уступаетъ по силѣ развѣ только его неспособности разумнымъ способомъ удовлетворить ее. Чѣмъ меньшимъ реальнымъ знаніемъ обладаетъ общество, тѣмъ острѣе ощущается нужда въ немъ отдѣльной личностью, и ничѣмъ не сдерживаемая, вѣчно возбуждаемая игра воображенія, стремясь пополнить огромную пустоту, приводитъ первобытнаго человѣка къ такому безудержному творчеству въ области фанта-

зи, которое культурному человѣку трудно себѣ даже вообразить: культура, надѣливъ человѣка мирнымъ кровомъ, отлучила его вмѣстѣ съ тѣмъ отъ природы. Безгранично разрастается число природныхъ силъ, вызывающихъ поклоненіе дикаря: лѣса и луга, рощи и ручьи кишать ими. И все же онѣ не могутъ утолить всѣхъ потребностей его: счастье и несчастье, успѣхъ и неуспѣхъ не всегда связаны съ объектами чувственного воспріятія. Съ другой стороны онъ не знаетъ, которому изъ нихъ приписать, на примѣръ, исчезновеніе дичи въ мѣстахъ, еще недавно изобиловавшихъ ею, или то, что дотолѣ слабѣйшій врагъ вдругъ одолеваетъ его, и кто изъ нихъ повиненъ въ слабости, сковывающей его члены, въ безуміи, погружающемъ разумъ его во тьму. Если даже какое-нибудь виѣшнее явленіе, временно давшее безпомощному мышленію точку опоры, и принималось затѣмъ навсегда какъ непреложное указаніе, если всякое случайное совпаденіе и казалось прочно утвержденной связью по существу,—напримѣръ, если какой-нибудь доселѣ неизвѣстный звѣрь, появившись изъ лѣсной чащи впервые во время губительной засухи, былъ тотчасъ признанъ источникомъ несчастья и въ качествѣ такого навсегда вводился въ предметъ почитанія и культа,—то все же никогда и ничѣмъ не могла утолиться жажда первобытнаго человѣка познать всѣ благодатныя и враждебныя ему существа, какъ и его потребность въ помощи и спасеніи. Онъ сталъ призывать помощь тѣхъ, кто еще при своей жизни являлись покровителями и защитой его, т. е. духовъ отошедшихъ родичей своихъ, родителей и праотцовъ. Такъ возникъ культъ предковъ и наряду съ нимъ почитаніе духовъ, не заключенныхъ въ феномены природы, а связанныхъ въ человѣческомъ представленіи съ опредѣленными обрядностями и событіями жизни,—всякаго рода домовыхъ и духовъ покровителей. Возникшіе такимъ образомъ три круга объектовъ почитанія порою перекрещивались одинъ съ другимъ, и населяющія ихъ существа оказывали взаимное воздѣйствіе и незамѣтно переходили одни въ другія.

Нѣтъ ничего естественнѣе, какъ то, что обвѣянный дыханіемъ легенды отдаленный предокъ, праотецъ цѣлаго рода или племени, не только приравнивался въ достоинствѣ великимъ фетишамъ природы, но порою сливался съ однимъ изъ нихъ, напр., съ небеснымъ сводомъ, такъ же, какъ случалось и обратно, что цѣлый народъ или какой-нибудь славный родъ видѣлъ и почиталъ въ небѣ или солнцѣ своего прародителя. Совершенно есте-

ственно, что разные объекты природы или даже искусства, привлекавшіе къ себѣ вниманіе не въ силу исходящихъ отъ нихъ мощныхъ дѣйствій, а только причудливостью своею, необычностью формы и окраски, или же случайной связью съ какимъ-нибудь памятнымъ событіемъ, принимались за обиталище душъ предковъ и иныхъ духовъ, и вслѣдствіе этого окружались почитаніемъ, являясь такимъ образомъ производными фетишами. Естественно, наконецъ, что духи или демоны, первоначально не связанные ни съ какимъ опредѣленнымъ мѣстомъ, современемъ вслѣдствіе сходства имени или свойствъ случайно смѣшивались съ какимъ-нибудь фетишемъ природы и, наконецъ, срастались съ нимъ въ одно существо. Однако изъ этихъ болѣе или менѣе единичныхъ случаевъ нельзя заключать, чтобы какой-либо изъ названныхъ трехъ большихъ классовъ предметовъ почитанія, напр., фетиши природы или свободные демоны, былъ изначально чуждъ вѣрованіямъ какого-нибудь народа и явился бы исключительно поздней и производною частью ихъ. Этотъ выводъ былъ бы такъ же неправиленъ, какъ если бы мы изъ непреложно доказаннаго факта почитанія животныхъ, какъ такихъ, или изъ неоднократно наблюдаемаго еще въ наши дни среди великаго культурнаго народа (индусовъ) обоготворенія челоуѣка, заключили, что это суть единственные, или хотя бы высшіе источники религіозныхъ представленій. Труднымъ и часто бесплоднымъ приемомъ является стремленіе выдѣлить зерно извѣстнаго культа, освободить его отъ позднѣйшей примѣси и прослѣдить его дальнѣйшія видоизмѣненія. Однако, существованіе подобныхъ превращеній и значительность вліянія ихъ на ходъ развитія религіи, является твердо установленнымъ фактомъ. Намъ же въ нашемъ изслѣдованіи слѣдуетъ теперь возвратиться на тотъ болѣе узкій и спеціальнй путь, съ котораго мы начали его.

6. Греческіе боги, возсѣдающіе на Олимпѣ вокругъ Зевсова престола и внушающіе нектаръ изъ золотыхъ кубковъ, внимающіе пѣнію Аполлона и музъ, боги, славные воинскими подвигами и любовными приключеніями, безконечно далеки отъ древнѣйшихъ, грубыхъ порожденій религіозно-творческой фантазіи. Бездна, раздѣляющая ихъ, кажется бездонной—однако это впечатлѣніе обманчиво. При болѣе близкомъ изученіи ихъ вскорѣ обнаруживается такое множество переходныхъ ступеней и промежуточныхъ звеній между одними и другими, что становится

трудно опредѣлить, гдѣ, собственно, старый типъ боговъ смѣняется новымъ и, въ особенности, гдѣ кончаются природныя фетиши и выступаютъ человѣкоподобные боги. Сравнительное языковѣдніе раскрываетъ намъ, что старѣйшій изъ олимпійцевъ, Зевсъ, первоначально былъ ничѣмъ инымъ, какъ самимъ небомъ,—потому „дождить“ онъ, мечетъ молніи и собираетъ тучи. Богиню земли еще Гомеръ величаетъ то „широколонной“, то „широкодолой“, незамѣтно переходя отъ одного изъ этихъ образовъ къ другому. Когда у одного изъ древнѣйшихъ богословскихъ поэтовъ земля рождаетъ „высокія горы, и „звѣздный небосводъ“, чтобъ этотъ послѣдній объялъ ее, когда, затѣмъ, земля, совокупившись съ Небомъ, родитъ „глубокопучинный“ Океанъ, отъ котораго Теѣида рождаетъ „рѣкп“—то мы несомнѣнно стоимъ еще на почвѣ чистаго природопочитанія. Но когда у Гомера „прекрасноструйный“ Ксанъ вскипаетъ гнѣвомъ на Ахилла, устлавшаго трупами его ложе, или когда онъ, угрожаемый пламенемъ, возжженнымъ божественнымъ кузнецомъ Гефестомъ, и боясь изсякнуть, замедляетъ свое теченіе, чтобъ избѣжать пожара и вмѣстѣ съ тѣмъ ищетъ защиты у „бѣлорукой“ Геры, уже совершенно человѣкоподобной супруги верховнаго бога, отъ дикаго произвола ея сына, — то мы видимъ передъ собою смѣшеніе двухъ глубоко различныхъ родовъ религіознаго творчества, — какъ бы два слоя земныхъ породъ, хаотически смѣшанныхъ между собой внезапной геологической катастрофой.

Вопросъ о причинѣ такого превращенія, совершившагося въ Греціи, какъ и во многихъ другихъ странахъ, можетъ быть разрѣшенъ слѣдующимъ образомъ. Тотъ самый ассоціативный инстинктъ, который породилъ одушевленіе природы, неизбежно способствовалъ все большему очеловѣченію объектовъ почитанія. Къ изначальной мысленной связи между движеніемъ и дѣйствіемъ съ одной стороны и человѣческой волею—съ другой, присоединилась сперва связь между волевой дѣятельностью и всей совокупностью человѣческихъ страстей, а затѣмъ—между этой послѣдней и виѣшнимъ обликомъ человѣка и условіями его жизни. Однако, превращеніе это совершалось лишь очень медленно пока первобытный человѣкъ, полу-звѣрь, слушающійся лишь голоса нужды, ежечасно устрашаемый дѣйствительными или вымышленными опасностями, не считалъ самого себя въ своей темной немощи достойнымъ представлять себѣ эти грозныя силы по своему образу и подобію. Но вмѣстѣ съ развитіемъ зачатковъ культуры

началось постепенное уравненіе между мощью однихъ и немощью другихъ, и разстояніе, раздѣлявшее ихъ, стало убывать. Вѣроятно, никогда не было такого племени, которое представляло бы себѣ великія природныя силы въ видѣ полу-голодныхъ дикарей, питающихся корнями и плодами. Между тѣмъ народъ, живущій въ странѣ богатой охотой, могъ уже говорить о „небесныхъ охотникахъ“—такимъ былъ, на примѣръ, германскій Вотанъ; въ представленіи древне-индусскаго владѣльца стада богъ неба является пастыремъ, а облака—его рогатымъ скотомъ. Въ подмогу этому движенію выступило пробужденное улучшеніемъ внѣшнихъ условій жизни стремленіе къ большей ясности, опредѣленности и послѣдовательности понятій. Смутныя, расплывчатая и противорѣчивыя представленія, какъ напр. испытывающій страданія, или рожденный женою рѣчной потокъ, столь частыя прежде, становятся исключеніями. Трудно рѣшить съ полной несомнѣнностью, что древнѣе—фетишизмъ или почитаніе предковъ. Но во всякомъ случаѣ, въ какую бы глубокую древность ни зародился культъ демоновъ, онъ несомнѣнно долженъ былъ пріобрѣсти бѣльшее распространеніе вмѣстѣ съ усложненіемъ и бѣльшей дифференціаціей жизни, ибо чѣмъ разнообразнѣе становились занятія и жизненныя условія людей, тѣмъ больше было случаевъ, побуждающихъ къ созданію демоновъ. При этомъ вольно рѣющіе духи не ставили тѣхъ преградъ пластической фантазіи народа, какъ почитаемыя силы природы, которыя постепенно также стали преобразовываться по примѣру первыхъ. Ничто не препятствовало и многое побуждало (папомнимъ сказанное объ „одержимости“) къ тому, чтобъ представлять себѣ демоновъ, подобно душамъ, вселяющимся въ тѣла; затѣмъ это свойство ихъ было перенесено и на природные фетиши. На мѣсто одаренныхъ волей и сознаниемъ предметовъ природы выступаютъ, подчасъ не вытѣсняя ихъ и мирно уживаясь съ ними, духи или боги, для которыхъ эти предметы являются уже только жилищемъ и орудіемъ ихъ дѣйствія. Такой богъ, имѣющій своей обителью видимую часть природы, но не слитый съ нею неразрывно, уже не зависитъ всецѣло отъ ея судьбы; его дѣятельность не исчерпывается дѣятельностью природныхъ силъ, къ которымъ онъ пріуроченъ,—онъ обрѣтаетъ свободу дѣйствія.

Яркій примѣръ такого превращенія являютъ собою обольстительныя женскіе образы, которыхъ греки почитали подъ именемъ нимфъ. Гомеровскій гимнъ Афродитѣ упоминаетъ о „нимфахъ деревъ“ (дріадахъ), участвовавшихъ въ хоровой пляскѣ безсмерт-

ныхъ и одарившихъ своей любовью Гермеса и силеновъ подъ темной сѣнью пещеры. Однако, „ели“ и „высокоствольные дубы“, въ которыхъ онѣ ютятся, значать для нихъ больше, чѣмъ простыя жилища, ибо эти полу-божественныя нимфы нарождаются, живутъ и умираютъ вмѣстѣ съ ними. Но есть и другія нимфы, уже не подвластныя неумолимому року: хотя онѣ и живутъ въ ручьяхъ, въ веселыхъ рощахъ и на пышныхъ лугахъ, однако же принадлежатъ къ сонму безсмертныхъ и участвуютъ въ великомъ совѣтѣ боговъ, собираемомъ Зевсомъ въ его свѣтломъ чертогѣ. Вотъ какъ мы можемъ объяснить это. Было время, когда само дерево считалось одухотвореннымъ и было предметомъ культа. Затѣмъ наступила эпоха, когда носителемъ его жизни было признано особое существо, отличное отъ него, но все же тѣсно связанное съ его судьбой. Наконецъ, порывается и эта связь, божественный духъ какъ бы обрѣтаетъ свободу и отнынѣ, неподвластный закону разрушенія, парить и властвуетъ надъ своими преходящими земными обличіями. Съ этимъ послѣднимъ переходомъ политеизмъ окончательно вытѣсняетъ фетишизмъ. Послѣдніе остатки его сохраняются развѣ только въ культѣ великихъ и единичныхъ въ своемъ родѣ составныхъ частей природы, каковы Земля, небесныя свѣтила и миѳическій Океанъ. Но и въ этой области наряду съ древними, еще чуждыми человѣческими чертъ, образами появляется множество созданій, несущихъ на себѣ печать новыхъ вѣяній. Подобно тому, какъ нѣкоторые свободные демоны вѣдаютъ каждый извѣстнымъ видомъ человѣческой дѣятельности,—точно такая же задача выпадаетъ въ удѣлъ природнымъ духамъ, освобожденнымъ отъ своей прикованности къ отдѣльнымъ вещамъ: они обращаются въ столь удачно названныя, „родовыя божества“, въ божества лѣса и воздуха, садовъ и ручьевъ и т. д. Этому превращенію, помимо вліянія демонологіи, способствовало также возростающее сознание закономерной однородности цѣлаго ряда существъ и вещей; оно впервые удовлетворяло жаждѣ обобщенія, присущей мысли человѣка, въ то время, какъ художественной его потребности въ творчествѣ образовъ съ высвобожденіемъ боговъ открывался неограниченный просторъ.

Перечисленныя выше условія, среди которыхъ развивается персонификація божественныхъ силъ, и затѣмъ идеализація ихъ, въ Греціи имѣли мѣсто больше чѣмъ гдѣ-либо. Потребность въ ясной опредѣленности представленій была, вѣроятно, изначальнымъ свойствомъ эллинскаго духа; прозрачность воздуха и ясность

неба, обычно царяція въ странѣ, четкіе контуры горъ, далекіе, и все же по болшей части не безпредѣльные горизонты—все это должно было усилить врожденную греку склонность къ ясности. Чувство прекраснаго вѣчно находило себѣ пищу въ картинахъ природы, равномѣрно сочетавшихъ въ себѣ на самыхъ небольшихъ пространствахъ всѣ элементы красоты отъ снѣжныхъ вершинъ до пышныхъ нивъ, отъ суроваго горнаго лѣса до цвѣтущаго луга, до ласкающихъ далей, до необозримаго морского раздолья. Духъ изслѣдованія, художественный инстинктъ и, наконецъ, страсть къ вымыслу, породившіе въ послѣдствіи во всѣхъ областяхъ безконечное множество твореній, не могли не овладѣть первымъ же, представившимся имъ матеріаломъ, чтобъ въ немъ искать себѣ удовлетворенія, пока еще недоступнаго въ другихъ сферахъ

Составъ и особенности дошедшихъ до насъ литературныхъ памятниковъ крайне затрудняютъ насъ въ нашемъ стремленіи прослѣдить отдѣльные моменты этого превращенія. Было время, когда изслѣдователи видѣли въ пѣсняхъ Гомера порожденіе младенчества греческаго духа, но заступъ Шлимана разсѣялъ это заблужденіе. Несомнѣнно, что уже въ срединѣ второго тысячелѣтія на востокъ Греція — на островахъ и на малоазіатскомъ побережьи—вишняя культура достигла высокой степени развитія; строй жизни, отраженный авторами эпоса, явился результатомъ сравнительно долгой эволюціи, совершавшейся подъ сильнымъ вліяніемъ Египта и востока. Цари и герои, пиравшіе въ пышно украшенныхъ палатахъ, выложенныхъ металлическими пластинками, съ фризомъ изъ голубой эмали по ослѣпительно бѣлому алебастру и съ богатой лѣпной отдѣлкой потолка, пившіе изъ золотыхъ чашъ филигранной работы и услаждавшіе свой слухъ гомеровскими пѣснями—сами уже безвозвратно далеки отъ первобытной жизни. Правда, что страсти еще необузданно владѣютъ ими,—иначе ненасытный гнѣвъ Ахилла или Мелеагра не служили бы излюбленной темой поэтическаго творчества. Передъ нами какъ бы въ туманѣ вѣетъ міръ, видѣвшій возникновеніе пѣсни Нибелунговъ, и въ которомъ изъ чужбины пришедшее утонченіе вкуса и вишней культуры слилось съ еще нетронутой, дикою властью страстей. Однако, благоговѣйный трепеть, испытываемый первобытнымъ человѣкомъ передъ лицомъ мощныхъ силъ природы, давно и безслѣдно исчезъ. Исполненный гордой самоувѣренности, огражденный отъ жизненной нужды высшій

классъ все болѣе уподоблялъ существованіе боговъ своей собственной долѣ. Олимпъ сталъ отраженіемъ его роскошной и буйной жизни. Въ исторіи нѣтъ другого примѣра такой тѣсной близости, связующей людей и боговъ, причемъ эти послѣдніе удѣляли людямъ не мало своего величія, тогда какъ люди передавали богамъ все свои слабости. Боговъ надѣляли тѣмъ доблестями, которыя всего выше цѣнятся отважными, упорными, какъ въ дружбѣ такъ и въ ненависти стойкими воинами. Подобно этимъ послѣднимъ, и боги движимы обыкновенно сильными личными влеченіями; сознаніе долга возникаетъ преимущественно изъ чувства личной вѣрности,—въ Иліадѣ, по крайней мѣрѣ, боги лишь въ видѣ рѣдкаго исключенія выступаютъ хранителями нелицеприятнаго безличнаго права. Зато они являются неутомимыми и вѣрными защитниками своихъ любимцевъ, приносящихъ имъ щедрые дары, городовъ, посвящающихъ имъ пышные храмы, и родовъ, съ которыми они изстари ведутъ дружбу. Моральныя соображенія мало смущаютъ ихъ,—избранникамъ своимъ они ниспосылаютъ удачу даже въ кражѣ и клятвопреступленіи. Рѣдко возникаетъ вопросъ о правдѣ или неправдѣ того дѣла, за которое они встаютъ горой. Иначе какъ могли-бы одни изъ нихъ приходить на помощь троянцамъ, а другіе—съ такимъ-же усердіемъ и горячностью защищать грековъ? Какъ могъ бы въ Одиссеѣ,—гдѣ, однако, этической взглядъ на вещи обрѣтаетъ уже болѣе значеніе и гдѣ судьба жениховъ какъ бы свидѣтельствуетъ о божескомъ правосудіи,—какъ могъ-бы тамъ Посейдонъ преслѣдовать своей неугасимой ненавистью страдальца-Одиссея, а Аѳина—выручать его-же изъ всякой бѣды, оберегая и научая его? Только мощному слову Отца или владыки боговъ покоряются они, да и то не безъ ропота и испробовавъ сперва все уловки хитрости и обмана. Поэтому власть небснаго владыки покоится вовсе не на незыблимой основѣ закона,—повидимому и въ этомъ схожая со своимъ земнымъ прообразомъ: недаромъ ему такъ часто приходится угрозою, даже насиліемъ принуждать боговъ къ исполненію своей воли. Лишь одинъ непреоборимый предѣлъ поставленъ безудержному произволу безсмертныхъ—темная сила судьбы, рока (Мойра), избѣгать которой не дано ни богамъ, ни людямъ, и въ признаніи которой сказывается смутное еще предугадываніе законмѣрности всего совершающагося въ природѣ. Такимъ образомъ въ древнѣйшихъ изъ извѣстныхъ намъ памятникахъ эллинской духовной жизни, очеловѣченіе боговъ доходитъ до самыхъ крайнихъ предѣловъ,

которые лишь сопоставимы съ богопочитаніемъ вообще. Подчасъ переступается и эта грань. Такъ, любовное приключеніе Арея и Афродиты, которое несказанно забавляетъ фэаковъ и вызываетъ въ ихъ кругу шумное веселье, указываетъ на такое обмірщеніе религіозныхъ представленій, которое, подобно исключительному культу красоты въ *cinquecento*, наврядъ ли могло-бы охватить широкія народныя массы, не нанеся этимъ ущерба чистотѣ ихъ религіозныхъ вѣрованій.

Кто хочетъ узрѣть ужасы древнѣйшей греческой религіи, тотъ не долженъ искать ихъ въ рамкахъ придворнаго эпоса. Отразившіяся въ немъ жизнерадостность и приволье пышно расцвѣтшаго быта заслонили собою и затмили своимъ свѣтомъ мрачныя черты религіозной вѣры. Такое положеніе вещей всего лучше отбѣняется тѣми отдѣльными случаями, которыя, повидимому, противорѣчалъ ему.

Гомеровскій человѣкъ мнитъ себя всюду и всегда окруженнымъ богами и зависящимъ отъ нихъ. Всякая удача и неудача, всякій ловкій ударъ копья, успѣшное бѣгство отъ непріятеля— все это приписывается либо дружественному, либо враждебному вмѣшательству демоновъ; ими-же влагаются въ душу благія рѣшенія и хитрые умыслы, ими насыщается помрачающее разумъ ослѣпленіе. Всѣ силы обращены на то, чтобъ обрѣсти благоволеніе безсмертныхъ и отвратить ихъ немилость. Битвы со своимъ переменчивымъ счастьемъ создаютъ въ избыткѣ (въ особенности въ *Иліадѣ*) моменты крайней нужды,—и все же гомеровскимъ героемъ никогда не приносится въ жертву богамъ самое драгоценное изъ его достояній т. е. человѣкъ. Человѣческія жертвоприношенія, которымъ, подобно религіи большинства народовъ, не чужда и религія грековъ, совершавшихъ ихъ еще и въ началѣ исторической эпохи, не встрѣчаются среди тѣхъ картинъ быта и культуры, которыя развертываютъ передъ нами пѣсни Гомера. Или вѣрнѣе, этотъ страшный обычай однажды упоминается въ нихъ, но этотъ единственный случай именно и есть исключеніе, подтверждающее правило. На пышныхъ поминкахъ, которыми Ахиллъ почтилъ многолюбимаго имъ Патрокла, вмѣстѣ съ множествомъ барановъ и воловъ, съ четырьмя конями и двумя любимыми псами, закалываются сперва, и затѣмъ сжигаются вмѣстѣ съ тѣломъ падшаго возлюбленнаго друга его, двѣнадцать троянскихъ юношей. Упомянутая здѣсь форма жертвоприношенія (всесоженіе жертвы) извѣстна намъ по позднѣйшему ритуалу, въ

связи со служеніемъ подземнымъ божествамъ. Тѣло умершаго сперва окропляется кровью закланныхъ звѣрей и людей съ цѣлью усладить и почтить незримо присутствующую душу; такъ Ахиллъ выполнилъ свой торжественный обѣтъ, какъ онъ самъ говоритъ, обращаясь къ душѣ умершаго, тревожащей его своими ночными посѣщеніями и явившейся также и на погребеніи. Но странно то, что разсказъ объ этомъ ужасномъ событіи совершенно лишенъ той пластичности и яркой образности описаній, которыя мы по праву называемъ эпическими и которыми такъ богатъ Гомеръ. Невольно думается, что поэтъ съ намѣренной поспѣшностью переходитъ отъ этихъ ужасовъ къ дальнѣйшему повѣствованію. И ему, и его слушателямъ они стали внутренне чужды, и кажутся на слѣдѣемъ нѣкогда живого, но теперь умершаго міра представленій и чувствъ. Это впечатлѣніе подкрѣпляется и другими однородными фактами. На протяженіи всего эпоса едва-ли найдется еще хотя бы одно упоминаніе о кровавыхъ или безкровныхъ жертвахъ въ честь умершихъ, о культѣ душъ и предковъ, объ очистительныхъ жертвахъ и объ общей основѣ всѣхъ этихъ обрядностей—о вѣрѣ въ посмертное существованіе мощныхъ духовъ, угрожающихъ живымъ изъ за гроба, проявляющихъ демоническую силу и потому требующихъ постоянно все новыхъ приношеній. И у Гомера души переживаютъ тѣла, но они пребываютъ почти исключительно въ далекомъ, подземномъ царствѣ тѣней, гдѣ скитаются безкровными призраками, трепетными тѣнями, „безсильными главами“—никого не устрашая, ничего не творя. Иначе обстояло дѣло въ позднѣйшія и—какъ мы можемъ съ увѣренностью добавить на основаніи краснорѣчивыхъ находокъ и непреложныхъ умозаключеній—въ древнѣйшія времена. Слѣдуетъ долѣе остановиться на этомъ пунктѣ, столь важномъ для исторіи ученій о душѣ и религіи вообще.

7. Приношеніе въ жертву плѣнниковъ или рабовъ на торжественныхъ поминкахъ является древнѣйшимъ изъ древнихъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ и нынѣ широко распространеннымъ обычаемъ. Когда скиѣ хоронили своего царя, они душили одну изъ его наложницъ вмѣстѣ съ пятью рабами его (повара, кравчаго, ближняго слугу его, конюшаго и привратника), и, вмѣстѣ съ любимыми конями его, хоронили ихъ вмѣстѣ съ нимъ; кромѣ того въ могилу ему опускали множество драгоценной утвари, золотыхъ кубковъ и т. д. По истеченіи года, удавивъ еще пятьдесятъ отборныхъ рабовъ, сажали каждого изъ нихъ на убитаго коня и разставляли ихъ какъ почетный караулъ вокругъ царскаго кургана.

Перечисленіемъ подобныхъ обычаевъ, къ которымъ принадлежить и сожженіе вдовы у индусовъ, можно было бы наполнить десятки страницъ. Разумѣется, въ нихъ можно прослѣдить длинный рядъ ступеней отъ самыхъ дикихъ и звѣрскихъ до утонченныхъ и трогательныхъ обрядностей. Человѣческія жертвоприношенія смѣняются закланіями животныхъ, а эти—возліаніями и другими безкровными приношеніями. Въ драмахъ Эсхила и Софокла на гробницу Агамемнона въ Микенахъ совершается возліаніе молока и возложеніе прядей волосъ и цвѣточныхъ вѣнковъ. Открытія за послѣднее время тамъ же царскія гробницы, относящіяся къ глубокой древности, обнаружили остатки болѣе существенныхъ и краснорѣчивыхъ приношеній, какъ-то: кости людей и животныхъ вмѣстѣ съ множествомъ драгоценнаго оружія, чашъ и другой утвари. Кромѣ того эти гробницы такъ же, какъ и открытая въ Орхоменѣ въ Бэотіи куполообразная гробница, заключаютъ въ себѣ алтари, что свидѣтельствуеть о томъ, что души умершихъ были предметами особаго почитанія и обоготворенія. Культъ предковъ и душъ, черезъ который прошли всѣ народы, еще и теперь пользуется широкимъ распространеніемъ какъ у дикарей, стоящихъ на самой низкой ступени развитія, такъ и въ утонченно-культурномъ Китаѣ, въ которомъ онъ составляетъ существенную часть государственной религіи. У народовъ арійской расы онъ также игралъ первенствующую роль—у грековъ не меньше, чѣмъ у римлянъ, называвшихъ божественныхъ предковъ „манами“, и индусовъ, называвшихъ ихъ „питарасъ“. Когда въ Аѳинахъ угасаль какой-нибудь родъ, это считалось общественнымъ бѣдствіемъ, отчасти потому, что отнынѣ прародители этого рода лишались слѣдующаго почитанія. Народъ въ его цѣломъ и многочисленный, какъ бы концентрическія, общественныя группы, изъ которыхъ онъ состоялъ, возносили молитвы къ дѣйствительнымъ или воображаемымъ предкамъ; потребность въ этомъ была такъ глубока, что даже профессиональные, сословные союзы и цеха измышляли себѣ общаго родоначальника, если они такого не имѣли. Эта склонность тѣсно связана съ исторіей происхожденія государства и общества, бывшихъ вначалѣ лишь разросшейся родоюю семьей. Но насъ занимаетъ только глубочайшій корень этого явленія—вѣра въ посмертное существованіе душъ, какъ могучихъ духовъ, посылающихъ счастье и несчастье на смертныхъ. Мы уже ознакомились съ происхожденіемъ этого вѣрованія—поздиѣ

мы займемся превращеніями, испытанными имъ съ теченіемъ времени; теперь же намъ надлежитъ устранить одно заблужденіе, нарушающее ясность нашихъ историческихъ представленій.

Опираясь на выводы сравнительнаго народовѣдѣнія, мы ни въ какомъ случаѣ не должны допускать мысли, что гомеровскій эпосъ, въ которомъ души испаряются въ видѣ блѣдныхъ, безсильныхъ тѣней и въ которомъ въ связи съ этимъ почти совершенно отсутствуютъ слѣды культа душъ и выросшихъ изъ него обычаевъ,—что этотъ эпосъ отражаетъ собою древнѣйшее отношеніе греческой религіи къ этому вопросу. Археологическія находки, восходящія къ періоду, называемому нынѣ микенскимъ, устраняютъ послѣдніе слѣды такого рода сомнѣній. Въ настоящее время мы можемъ отвѣтить лишь гадательно на вопросъ о томъ, какія причины вызвали отраженный эпосомъ фазисъ религіозныхъ представленій, ограниченный не только во времени, но и въ пространственномъ распространеніи, и вѣроятно же всего связанный съ извѣстнымъ общественнымъ классомъ. Пытались объяснить его вліяніемъ получившаго въ ту эпоху наибольшее распространеніе обычая сожиганія труповъ и связаннаго съ нимъ ясно выраженаго представленія о томъ, что пожирающее пламя окончательно отдѣляетъ душу отъ тѣла и гонитъ ее въ царство тѣней. Не меньшее вліяніе можно приписать и удаленію колонистовъ отъ гробницъ ихъ предковъ и отъ связанныхъ съ ними святилищъ ихъ родины. Рѣшающимъ моментомъ, однако, несомнѣнно является жизнерадостный и мірской, враждебный всему унылому и мрачному, духъ гомеровской поэзіи, умышленно устраняющій съ своего поля зрѣнія все призракное и наводящее ужасъ, какъ и все некрасивое и уродливое.

Не только привидѣнія умершихъ, но и inferнальныя божества, какъ напр. Геката, чудовища, вродѣ пятидесятиголовыхъ и сторукихъ титановъ, такъ же, какъ и жестокія и грубыя сказанія ветхой старины, какъ напр. оскотленіе Урана, отступаютъ въ эпосъ на задній планъ. Чудовища вродѣ „круглоглазыхъ“ (циклопы) представлены скорѣе въ смѣшномъ, юмористическомъ видѣ. Является ли главной причиной всего этого постепенно усилившееся чувство прекраснаго и вызванное прогрессомъ внѣшней культуры мощное ощущеніе радости жизни? Или же мы дѣйствительно можемъ признать за этимъ племенемъ, создавшимъ философію и науку, и въ эту младенческую эпоху начатки разумнаго просвѣщенія? Другими словами—должны ли

мы видѣть главную причину эволюціи ученія о душѣ, сказавшейся у Гомера, въ геніальномъ легкомысліи или геніальной ясности мысли іоническаго племени? Въ настоящее время мы не можемъ опредѣленно отвѣтить на этотъ вопросъ. Самой возможностью поставить его мы обязаны одному изъ выдающихся современныхъ изслѣдователей (Эрвину Роде, † 1898), приложившему къ изученію этой области много глубины мысли и силы анализа.

8. Очеловѣченіе природы не только доставило неисчерпаемый матеріалъ инстинкту игры, постепенно облагородившемуся до инстинкта художественнаго творчества, — оно дало вмѣстѣ съ тѣмъ и первое удовлетвореніе научному стремленію человѣка, его жаждѣ освѣтить тотъ безграничный мракъ, среди котораго онъ живетъ и дышетъ. Дѣйствительно, непроизвольное, возникшее прихотью ассоціацій идей вѣрованіе въ то, что явленія внѣшняго міра порождаются волею живыхъ существъ, есть вмѣстѣ съ тѣмъ и отвѣтъ на неизбѣжный вопросъ о происхожденіи всего сущаго; это своего рода натурфилософія, способная къ безконечному обогащенію въ связи съ накопленіемъ все большаго числа наблюденій и съ болѣе опредѣленной чеканкой образовъ, воплотившихъ въ себѣ природныя силы. Первобытный человѣкъ не только поэтъ, вѣрящій въ истинность своего вымысла, — онъ вмѣстѣ съ тѣмъ и особеннаго рода изслѣдователь, и совокупность его отвѣтовъ на неустанно возникающіе передъ нимъ вопросы постепенно сплетается въ мірообъемлющую ткань, отдѣльныя нити которой мы называемъ мифами. Примѣрами этого служатъ народныя сказанія всѣхъ временъ и народовъ, изумляющія то своимъ совпаденіемъ, то — не менѣе краснорѣчивымъ разногласіемъ. Въ глазахъ почти всѣхъ народовъ оба небесныхъ тѣла составляютъ одну чету — то мужа и жены, то брата и сестры; безчисленны повѣрья, объясняющія фазы луны скитаніемъ лунной богини, случайныя затменія солнца и мѣсяца — то семейными распрями, то злыми кознями дракона или иного чудовища. Почему зимою солнце теряетъ свою силу? Потому что солнечный богъ (Симсонъ) — такъ отвѣчалъ семитъ — поддался злымъ чарамъ обольстительницы — Луны и далъ отрѣзать сверкающую мощь своихъ кудрей; какъ только вмѣстѣ съ длинными прядями ихъ (лучами) падаетъ его сила, всякій безъ труда можетъ лишить его зрѣнія. Древній индусъ видѣлъ въ облакахъ коровъ, — когда ихъ доили, на землю лился сладостный дождь; если-жъ земля

надолго лишалась благодатной влаги, виною этому были злые духи, похитившіе и скрывшіе въ горныхъ пещерахъ небесныя стада. Богъ неба (Индра) долженъ низойти грозой, чтобъ вызволить ихъ изъ плѣна и отобрать у похитителей. Страшное зрѣлище, являемое первобытному человѣку видомъ горы, извергающей пламя, объяснялось имъ, какъ дѣло демона, живущаго въ нѣдрахъ земли. Многіе народы довольствовались этимъ отвѣтомъ, иные же задавали себѣ дальнѣйшій вопросъ: какимъ образомъ удалось заточить столь могучаго демона въ подземную тьму? Самъ собою напрашивался отвѣтъ, что онъ палъ въ борьбѣ съ еще болѣе могущественнымъ божествомъ. Такъ, въ глазахъ грековъ, Тифонъ и Энкеладъ были покоренными и жестоко наказанными за свое дерзновеніе противниками всеильнаго бога неба. Земля несетъ въ своемъ лонѣ все новые и новые плоды—какъ же ей было не стать женою, и кто другой какъ не распростертое надъ нею небо, посылающее ей жизненные ливни, могъ оплодотворять ее? Этотъ всюду распространенный мифъ принималъ разнообразныя обличья. И новозеландскіе маори, и китайцы, и финикійцы, и греки задавались вопросомъ, почему нынѣ разлучены супруги, вмѣсто того чтобъ жить, какъ надлежитъ любовной четѣ, въ тѣсномъ сляніи? Для объясненія этого у новозеландцевъ существуетъ разсказъ о томъ, какъ чадамъ Ранги (неба) и Папы (земли) не стало мѣста среди тѣсныхъ объятій ихъ. И вотъ рѣшили они избавиться отъ давящей ихъ тѣсноты и мрака, и одному изъ нихъ, мощному богу и отцу лѣсовъ, послѣ многихъ напрасныхъ усилій его братьевъ, наконецъ удалось съ силой расторгнуть сляніе его родителей. Однако любовь супруговъ пережила разлуку. Изъ груди матери-земли все еще поднимаются къ небу вздохи тоски, называемые людьми туманомъ; а изъ глазъ опечаленнаго бога неба часто падаютъ слезы, именуемая росой. Нѣжное и поэтическое сказаніе новозеландцевъ даетъ намъ ключъ къ пониманію сходнаго, хотя и несравненно болѣе грубаго, дошедшаго до насъ лишь въ фрагментѣ греческаго мѣа. Гесіодъ разсказываетъ, что землю тѣснили и душили безчисленные плоды ея союза съ небомъ, которое, не давая имъ выйти на свѣтъ, снова погружали ихъ въ чрево матери-земли. Изнывая подъ непосильнымъ бременемъ задумала она коварный замыселъ, исполненіе котораго возложила на одного изъ своихъ сыновей. Остро отточеннымъ серпомъ Кроносъ оскочилъ отца своего Урана, положивъ этимъ предѣлъ новымъ

зачатіямъ; отнынѣ Уранъ больше не подступаетъ къ Геѣ въ любовной жаждѣ, широко разстилаясь надъ нею, такимъ образомъ—можемъ мы добавить—создалось пространство для тѣсныхъ доселѣ во чревѣ земли сыновъ и дочерей ея.

Итакъ, мы можемъ установить, что процессъ олицетворенія не знаетъ себѣ границъ, распространяясь какъ на силы, такъ и на свойства и состоянія вещей. Ночь, мракъ, смерть, сонъ, любовь, возжелѣніе, ослѣпленіе—въ глазахъ грековъ все это были индивидуальныя существа, хотя и разнящіяся одно отъ другого степенью пластической законченности своей. Иныя изъ нихъ достигли полнаго образнаго воплощенія, тогда какъ другія выдѣляются на фонѣ своей отвлеченной основы лишь какъ барельефъ на фонѣ стѣны. Отношенія, существующія между этими силами или состояніями, также истолковываются по примѣру прообразовъ, встрѣчаемыхъ въ мірѣ человѣческомъ и животномъ; сходство является родственной связью: такъ сонъ и смерть—братья-близнецы; смѣна во времени объясняется какъ смѣна поколѣній: такъ день—чадо ночи, или же наоборотъ. Всѣ группы однородныхъ существъ объединяются въ понятіяхъ семьи, вида, рода,—и наша современная рѣчь еще сохранила глубокой отпечатокъ такого характера мышленія. Наконецъ, привычка объяснять мифическими вымыслами дѣящееся соотношеніе природныхъ силъ и неизмѣнно повторяющіяся явленія постепенно пріучаетъ разрѣшать тѣмъ же способомъ и великія загадки человѣческаго бытія и человѣческой судьбы. Въ мрачную, овѣянную пессимизмомъ эпоху эллиновъ спрашиваетъ себя: почему невзгоды жизни перевѣшиваютъ собою блага ея? И тотчасъ же вопросъ его преобразуется слѣдующимъ образомъ: кто и какое событіе породило въ мірѣ зло? Отвѣтъ его по существу сходенъ съ отвѣтомъ нѣкоего современнаго француза, который, прослѣдивъ цѣлый рядъ преступленій до перваго источника ихъ, выразилъ его въ слѣдующей формулѣ: „*Cherchez la femme*“. Однако, эллинъ воплотилъ свои обвиненія противъ прекрасной половины рода человѣческаго въ образѣ якобы лишь разъ имѣвшаго мѣсто, единичнаго случая. Такъ, онъ повѣствуетъ намъ о томъ, что Зевсъ, дабы покарать похищеніе огня Прометеемъ и вызванное имъ возвышеніе человѣчества, съ помощью остальныхъ боговъ создалъ надѣленную всѣми прелестями жену—прародительницу всѣхъ женщинъ, и послалъ ее на землю. Въ другой разъ эллину, размышляющему надъ тою же безутѣшной проблемою, корнемъ всяческаго зла представилось любопытство или

жажда познанія. Если бѣ боги, такъ разсуждаетъ онъ, надѣливъ насъ всѣми благами, заключили все зло въ одинъ сосудъ, строго наказавъ не открывать его,—человѣческое, и пуще всего, женское любопытство не въ силахъ было бы устоять, противъ соблазна нарушить запретъ боговъ. Оба эти мѣта слились въ одинъ: та самая жена, надѣленная отъ боговъ всѣми дарами прельщенія (Пандора—„вседаръ“), ужаленная любопытствомъ, приподняла крышку рокового ларца и дала ускользнуть зловѣщему содержимому его. Здѣсь снова поражаетъ насъ таинственное сродство мѣотворчества у самыхъ различныхъ народовъ. Нужно ли напоминать о родственномъ преданіи евреевъ о Евѣ („родительницѣ“) и о плачевныхъ слѣдствіяхъ ея преступнаго любопытства?

9. Изобиліе мѣотвъ и множественность боговъ не могли въ концѣ концовъ не запутать и не утомить мысль вѣрующаго. Пышный расцвѣтъ міра сказаній былъ подобенъ дѣвственному лѣсу, старыя деревья котораго погибали, задушенные обвивавшими ихъ лианами. Нуженъ былъ топоръ въ мощной рукѣ, чтобъ пробить въ немъ просѣку,—и мужицкая сила съ мужицкимъ разумомъ совершили это дѣло. Передъ нами встаетъ образъ перваго дидактическаго поэта запада Гесіода изъ Аскры въ Бѣотіи (8 вѣкъ до Р. Х.), сына страны, въ которой воздухъ былъ менѣе прозраченъ и человѣческій духъ менѣе радостенъ, чѣмъ въ другихъ областяхъ Греціи. Это былъ чловѣкъ съ ясной, хотя нѣсколько тяжеловѣсною мыслью, искусный въ полевомъ и домашнемъ хозяйствѣ, свѣдущій также въ тяжбленныхъ законахъ, но надѣленный лишь небольшою долей воображенія и еще меньшею долей чувствительности,—таковъ онъ былъ, являясь какъ бы римляниномъ среди эллиновъ. Творцу „Трудовъ и дней“ сродни была трезвая разсудительность, любовь къ строгому порядку и мелочная бережливость хорошаго купца, привыкшаго къ яснымъ расчетамъ, не терпящаго противорѣчій и во всемъ избѣгающаго излишка. Въ такомъ же духѣ приводитъ онъ въ ясность—да простится мнѣ такое выраженіе—инвентарь міра боговъ, прочно прикрѣпляя каждый изъ сверхчеловѣческихъ образовъ къ его спеціальной дѣятельности и вводя ихъ всѣ въ неподвижныя грани генеалогическихъ отношеній. Онъ обрубаеъ пышные ростки эпоса, возрождаетъ и вводитъ въ почетъ древнѣйшія, наполовину ставшія непонятными, преданія первой родины грековъ и низшихъ слоевъ народа, даже и тогда, когда они являютъ собою грубые, безо-

бразные вымыслы — и создаетъ такими образомъ въ своей „Теогоніа“ въ общемъ стройную, хотя лишь изрѣдка озаренную поэзіей и едва ли гдѣ согрѣтую радостью бытія, дѣльную картину мірозданія. Уже въ глубокую древность любили сочетать имена Гомера и Гесіода, какъ творцовъ греческаго пантеона. На самомъ же дѣлѣ они были скрѣй противниками. Безудержная, не смущающаяся противорѣчіями сказаній фантазія іонійскихъ пѣвцовъ была столь же чужда доморощенной, все упрощающей и систематизирующей мудрости бэотійскаго крестьянина, какъ гордый, радостный духъ ихъ знатныхъ слушателей—темнымъ думамъ пригнетенныхъ къ землѣ пахарей и сельчанъ, для которыхъ слагалъ свои пѣсни Гесіодъ.

„Теогонія“ его заключаетъ въ себѣ и космогонію—родословіе боговъ есть вмѣстѣ съ тѣмъ родословіе міра. Насъ интересуетъ здѣсь преимущественно второе, и мы сперва предоставимъ слово поэту. Сначала, возвѣщаетъ онъ, возникъ Хаосъ, затѣмъ широколонная Гея (земля) и Эросъ, прекраснѣйшій среди боговъ, властный надъ духомъ смертныхъ и бессмертныхъ и ослабляющій мощь ихъ членовъ. Изъ Хаоса возникли Эребъ (мракъ) и черная ночь, которые, совокупившись, породили свѣтлый Эфиръ и Гемеру (день). Гея прежде всего родила изъ себя самой звѣздное небо, высокія горы и Понтъ (море); отъ союза ея съ Ураномъ родилась обтекающая землю Океанъ-рѣка, а также множество существъ—съ одной стороны мощныхъ чудовищъ, съ другой—почти аллегорическія фігуры,—такъ, среди нихъ встрѣчаются и божества молніи, именуемыя Циклопами, и великая богиня морей Теида. Отъ брака Океана и Теиды произошли источники и потоки; двое другихъ дѣтей неба и земли родили бога-Солнце, богиню-Луну и Зарю. Эта послѣдняя, отъ союза съ богомъ звѣздъ (Астрэемъ), какъ и она, внукомъ неба и земли, рождаетъ вѣтры, утреннюю звѣзду и другія небесныя свѣтила.

Эта концепція частью песеть на себѣ печать младенческой наивности и не нуждается въ объясненіяхъ. „Меньшее происходитъ изъ большаго“ — потому горы порождены землею, потому могучій океанъ является отцомъ меньшихъ потоковъ и ручьевъ, потому маленькая утренняя звѣзда кажется сыномъ широко распространяющейся зари, а другія свѣтила небесныя естественно становятся ея братьями. Не такъ очевидно происхожденіе дня изъ ночи, ибо возможна была бы и противоположная концепція, и, дѣйствительно, въ одномъ древне-индусскомъ гимнѣ

поэтъ задается вопросомъ, созданъ ли день прежде ночи или ночь прежде дня? Но все же принятый Гесіодомъ взглядъ можетъ быть названъ болѣе естественнымъ, ибо мракъ самъ по себѣ представляется намъ извѣчнымъ, не требующимъ себѣ объясненія состояніемъ, тогда какъ появленіе свѣта всякій разъ вызывается особымъ событіемъ, будь то восходомъ солнца, сверканіемъ молніи или огнемъ, зажженнымъ человѣческой рукою. Но если здѣсь мы видимъ передъ собою какъ бы зачатки мысли начавшаго задумываться и размышлять человѣческаго духа, исторію которыхъ мы легко можемъ вычитать изъ нихъ самихъ, то иноку представляется намъ та часть повѣствованія, которая говоритъ о самомъ происхожденіи міра.

Здѣсь поражаетъ насъ прежде всего краткость и сухость изложенія. Хаосъ, земля и Эросъ—въ мановеніе ока выступаютъ на сцену. Нѣтъ ни одного указанія на причину ихъ появленія. Возникновеніе земли отдѣляется отъ возникновенія хаоса краткимъ словечкомъ „а потомъ“. Нѣтъ ни одного намека на то, какъ это произошло, возникла ли земля изъ хаоса и, если да, то въ силу какого процесса. Ни словомъ не объясняется также и первенствующее положеніе бога любви на ступеняхъ мірозданія. Правда, на это можно было бы замѣтить, что для того, чтобъ могло осуществляться совокупленіе, должно было прежде появиться въ мірѣ начало его, начало любви. Но зачѣмъ же поэтъ не пользуется этимъ въ дальнѣйшемъ изложеніи, зачѣмъ онъ нигдѣ не указываетъ на связь этихъ явленій? Болѣе того, зачѣмъ онъ какъ бы умышленно скрываетъ ее? Ибо эпитеты, которыми надѣленъ здѣсь Эросъ, а также его появленіе въ дальнѣйшемъ разсказѣ вмѣстѣ съ Гимеромъ (вождемъ) въ свитѣ Афродиты пробуждаютъ въ насъ скорѣе иные образы, чѣмъ образъ мощнаго жизнедателя, мірообразующаго, извѣчнаго духа, который одинъ здѣсь былъ бы у мѣста и съ которымъ мы, дѣйствительно, встрѣчаемся въ другихъ космогоніяхъ, гдѣ вмѣстѣ съ тѣмъ мы видимъ попытки къ выясненію его происхожденія и его задачи. Несомнѣнно лишь то, что цѣлая пронасть отдѣляетъ того, кто, подобно Гесіоду такъ бѣгло, поверхностно отмѣчая лишь существеннѣйшіе моменты, рисуетъ картину мірообразования, отъ тѣхъ, которые полагали всѣ силы своего младенческаго разума на разрѣшеніе великой тайны. Гесіодъ даетъ намъ одну лишь пустую оболочку и шелуху, когда-то хранившую живое зерно, и не возникшую бы безъ него, какъ безъ улитки не возникла бы и раковина,—ея созданіе и жилище. Мы

видимъ передъ собою сухой гербарій мыслей, живой ростъ и постепенное развитіе которыхъ намъ не дано подслушать. Въмѣсто непосредственнаго воспріятія выступаетъ процессъ умозаключеній, исходнымъ пунктомъ котораго является смыслъ именъ, наполовину непонятныхъ самому автору. Изъ этихъ именъ мы должны заключить о томъ мыслительномъ процессѣ, послѣднимъ слѣдомъ котораго являются они. При этомъ намъ могутъ оказать помощь ссылки на родственные образы, встрѣчающіеся какъ у другихъ народовъ, такъ и у самихъ грековъ. Мы уже вкратцѣ указали на природу Эроса, и теперь намъ важнѣе всего уяснить себѣ значеніе Хаоса.

Представленіе о немъ также относится къ понятію о пустомъ пространствѣ, какъ смутное раздумье первобытнаго человѣка—къ умозрительному мышленію зрѣлаго мыслителя. Древній человѣкъ пытался вообразить себѣ первичное состояніе міра какъ можно болѣе противоположнымъ нынѣшнему. Было время, когда не было еще земли со всѣмъ, что она несетъ и заключаетъ въ себѣ; не было и тверди небесной. Что же было тогда? Простирающаяся изъ высочайшей высоты до глубочайшей глубины и безпредѣльно растянувшаяся вширь пустота, которая и теперь еще зияетъ между небесной твердью и землею. Вавилоняне называли ее „Apsu“—бездна или „Tiamat“—пучина; скандинавы звали ее „ginnunga gap“ (the yawning gap)—разверстая пустота—выраженіе, первое слово котораго происходитъ изъ того же корня, какъ и наше „зіяніе“. и греческій „хаосъ“. Кромѣ того эта зияющая пустота, эта разверстая бездна представлялась воображенію совершенно черной и мрачной по той причинѣ, что, согласно предпосылкѣ, породившей самое представленіе объ этой безднѣ, въ то время еще не существовалъ ни одинъ изъ источниковъ свѣта. Это обстоятельство было также причиною того, что воображеніе созерцателя обращено было скорѣе на глубину хаоса, чѣмъ на высоту его, ибо съ понятіемъ высоты въ умѣ нашемъ неразрывно связано представленіе о свѣтѣ и сіяніи. Этотъ хаосъ занимаетъ собою все видимое человѣкомъ или угадываемое имъ, словомъ, доступное его мысли пространство. Ибо за грани земли и ея дополненія — небснаго свода съ его свѣтилами — не простирается ни мысль, ни знаніе его; тутъ кончаются и его предчувствіе, и самое любопытство. Онъ достигаетъ предѣла своей мыслительной силы, расширяя до безконечности разстояніе между землею и небомъ: два другихъ измѣренія пространства мало за-

нимають его, почему во всей этой концепціи сдѣлано какъ бы упущеніе и не выяснено, конечно ли или безконечно протяженіе вширь.

Такимъ образомъ Гесіодъ воспринялъ не только инвентарь наивныхъ народныхъ сказаній, но и достояніе древнѣйшихъ умозрительныхъ построеній. Правда, что эти послѣднія отражены имъ въ такой грубой и несовершенной формѣ, что его немногочисленные указанія цѣнны лишь какъ свидѣтельства о томъ, что ужь въ его время дѣлались попытки подобнаго рода, и даютъ только самый общій очеркъ ихъ. Болѣе подробное содержаніе ихъ мы попытаемся—конечно, лишь съ большею или меньшею вѣроятностью—вывести изъ позднѣйшихъ памятниковъ. Тамъ же намъ удастся опредѣлить ступень умственнаго развитія, на которой создавались эти попытки. Однако, прежде чѣмъ покинуть Гесіода, слѣдуетъ обратить вниманіе на одну особенность его изложенія, которая также несетъ на себѣ печать умозрительнаго духа. Онъ проводитъ передъ нами, вплетая ихъ въ родословіе боговъ, цѣлый рядъ существъ, едва облеченныхъ, или даже вовсе не облеченныхъ въ ту жизненную образность, которая свойственна порожденіямъ наивной вѣры. Такъ, напр., врядъ ли кто повѣритъ, чтобъ „лживыя рѣчи“ когда-либо воистину представлялись одушевленными существами. Между тѣмъ они появляются среди потомства Ириды (раздоръ) вмѣстѣ съ „подневольнымъ трудомъ“, „слезными горестями“, „битвами и сѣчами“. То же можно сказать и о порожденіяхъ Ночи, къ которымъ, наряду съ сравнительно жизненными мифическими образами: Мойрами (богинями судеб), Иридою, Сномъ и Смертью и т. д. принадлежатъ также и совершенно безобразныя олицетворенія „пагубной старости“ и „обмана“; связь этого послѣдняго съ ночью объясняется, вѣроятно, тѣмъ, что онъ боится свѣта, первую же мы встрѣчаемъ здѣсь лишь по той причинѣ, по которой относимъ все печальное и враждебное къ царству тьмы и мрака, что отражается въ такихъ выраженіяхъ, какъ „черные дни“ и „темныя думы“. Кто можетъ рѣшить, въ какой степени и здѣсь Гесіодъ зависитъ отъ своихъ предшественниковъ? Но можетъ быть будетъ правильнѣе всего видѣть въ этихъ чисто-умственныхъ добавленіяхъ выраженія его индивидуальнаго духа.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Древне-іонійскіе натурфилософы.

1. Богатому расцвѣту умозрѣнія должно было предшествовать накопленіе отдѣльныхъ знаній. Въ этомъ отношеніи эллинамъ выпала удѣль счастливыхъ наслѣдниковъ. И халдей, наблюдавшій теченіе свѣтилъ на кристально ясномъ небѣ Месопотаміи и открывшій опытный законъ повторности затменій большихъ небесныхъ тѣлъ, и египтянинъ, измѣрявшій пахатную землю, опустошаемую и, въ то же время, оплодотворяемую водами Нила, чтобы установить лежащую на нее подать и въ подмогу себѣ создавшій искусство черченія, заключавшее въ себѣ начатки геометріи,—и тотъ, и другой, сами того не вѣдая, служили греческой наукѣ. Здѣсь мы должны обратить вниманіе на одну, и можетъ быть величайшую удачу, выпавшую на долю эллинскому народу. Поскольку простираются наши историческія познанія, мы лишь тамъ встрѣчаемъ начатки научнаго изслѣдованія, гдѣ существованіе организованнаго жреческаго и ученаго сословія обезпечиваетъ собою необходимый для этого досугъ въ соединеніи съ непрерывностью преданія. Однако, именно тамъ первые шаги часто оказываются и послѣдними, вслѣдствіе того, что добытыя научныя теоріи, слившись неразрывно съ религіозными положеніями, подобно имъ застываютъ въ безжизненныхъ догмахъ. Помочи, безъ которыхъ не можетъ обойтись ребенокъ, обращаются въ путы, связывающія движенія взрослого человѣка. Поэтому-то для успѣшности и свободы духовнаго прогресса эллиновъ столь неопѣненнымъ благомъ было какъ то, что его культурные предшественники имѣли жреческую организацію, такъ и то, что у нихъ самихъ ея никогда не было: такимъ образомъ будущіе носители научнаго развитія человѣчества одновременно пользо-

вались преимуществами и были освобождены от невыгодъ, связанныхъ съ существованіемъ ученаго жречества. Опираясь на подготовительную работу египтянъ и вавилонянъ, ничѣмъ не связанный греческій геній могъ устремиться вверхъ и отважиться на полетъ, открывшій ему высшія цѣли. Взаимоотношеніе творца истинной, обобщающей науки и его двухъ предтечъ въ культурѣ, накопившихъ и доставившихъ ему нужный на это сырой матеріалъ, можетъ быть выражено словами Гете: „пророкъ справа, пророкъ слѣва, а міровое дитя по срединѣ“.

Накопленіе познаній о природѣ и способовъ подчиненія ея силъ, особенно увеличившееся въ Греціи въ эти вѣка, повлекло за собою слѣдствія двухъ родовъ. Въ области религіи стало постепенно разрушаться представленіе о вселенной, какъ объ аренѣ, гдѣ сталкиваются и взаимно перекрещиваются безчисленные прихотливыя воли; въ этой области возрастающее сознаніе законмѣрности хода вещей сказалось въ подчиненіи множества отдѣльныхъ божествъ міроуправляющей волѣ единого высшаго руководителя судебъ. Политеизмъ все больше склонялся къ монотеизму,—на отдѣльныхъ фазахъ этого превращенія мы остановимся впоследствии. Но одновременно съ этимъ болѣе точное знаніе и углубленное наблюденіе процессовъ природы побуждало къ размышленію надъ строеніемъ вещественныхъ факторовъ ея; не одинъ только міръ боговъ, духовъ и демоновъ сталъ привлекать къ себѣ вниманіе истолкователя природы. Космогонія стала постепенно отдѣляться отъ теогоніи. На первый планъ выступила проблема вещества. Существуетъ ли въ дѣйствительности такое множество по самой природѣ своей различныхъ веществъ, какъ заставляетъ насъ думать чувственное многообразіе вещей? Или же возможно свести эту безконечную множественность къ небольшому, очень небольшому числу—если не къ единству? Неужели растеніе, получающее питаніе изъ земли, воздуха и воды, и само служащее питаніемъ животному, тогда какъ животные отбросы въ свою очередь питаютъ его,—неужели растеніе, разлагающееся въ концѣ концовъ, подобно животному, на эти переименованныя первыя вещества, по природѣ совершенно чуждо ему, или же эти два, находящіяся въ постоянномъ круговращеніи вещества суть только видоизмѣненія первоначально однородныхъ веществъ, или даже одного вещества? Не возникъ ли міръ изъ такого вещества, а не изъ пустоты, хаоса или темнаго ничто, и не вернется ли онъ въ него обратно? Можно ли постигнуть и установить

нѣкій общій законъ смѣны этихъ превращеній формы? Вопросы такого рода встали отнынѣ передъ мыслью наиболѣе глубокихъ умовъ, посвященныхъ въ начала позитивной науки. Правда, что зачатки подобныхъ размысленій не чужды уже и Гомеровскому эпосу. Припомнимъ тѣ мѣста, гдѣ вода и земля рассматриваются, какъ составныя части, на которыя распадается человѣческое тѣло, а еще болѣе тѣ, гдѣ океанъ именуется первоисточникомъ всѣхъ вещей, или же онъ, вмѣстѣ съ богинею водъ Теѣидою—четою, породившею всѣхъ боговъ. Здѣсь отголоски древнѣйшаго фетишизма сливаются съ предвѣстіями положительнаго естественно-научнаго знанія. Но теперь эти стародавнія представленія не только утрачиваютъ всякую мяеическую оболочку, но и доводятся съ неумолимою послѣдовательностью до самыхъ крайнихъ выводовъ своихъ. На свѣтъ выступаютъ двѣ основныя идеи современной химіи, значительныя сами по себѣ, но еще болѣе значительныя въ своемъ соединеніи: идеи элементовъ и неразрушимости матеріи. Къ вѣрованію въ эту послѣднюю приводитъ двойной рядъ соображеній. Если вещество можетъ, не подвергаясь разрушенію, испытывать столь многія превращенія, какъ на это указываетъ круговоротъ органической жизни, то сама собою напрашивается мысль о томъ, что оно вообще неистребимо, и что уничтоженіе его всегда лишь кажущееся. Съ другой стороны, болѣе обостренное наблюденіе открывало и въ самихъ процессахъ, наиболѣе походившихъ на уничтоженіе, какъ, напр., при усыханіи согрѣтой воды, или при сгораніи твердыхъ тѣлъ, нѣкоторые остатки, въ формѣ ли водяныхъ паровъ, или дыма и пепла, наводившіе на предположеніе о томъ, что и въ данномъ случаѣ не имѣло мѣста уничтоженіе вещества въ собственномъ смыслѣ, переходъ его въ ничто. Если здѣсь мы встрѣчаемся съ геніальнымъ предвосхищеніемъ новѣйшихъ ученій, истинность которыхъ была окончательно, съ вѣсами въ рукахъ, подтверждена лишь великими химиками восемнадцатаго вѣка, и прежде всего Лавуазье, то въ другомъ вопросѣ умозрѣніе іонійскихъ „физиологовъ“ опередило завоеванія науки и нашихъ дней. Смѣлый полетъ ихъ мысли не остановился на принятіи извѣстнаго количества неразрушимыхъ элементовъ; онъ могъ успокоиться только на представленіи о томъ, что все вещественное многообразіе исходитъ изъ одного единаго элемента или первовещества. На этотъ разъ—замѣтимъ кстати—неопытность стала матерью мудрости. Однажды пробужденное стремленіе къ упрощенію не могло уже

остановиться, подобно колесу, которое пустили въ ходъ и которое катится, пока не наткнется на препятствіе. Мысль переходила отъ безграничнаго количества къ ограниченной множественности, а отъ этой къ единству; противорѣчащіе этому факты, воздвигавшіе передъ нею преграды и призывавшіе ее къ остановкѣ, не смущали ее. Такимъ образомъ неукротимая младенческая мысль той ранней поры дошла до идеи, которая впервые теперь послѣ преодоленія безчисленныхъ трудностей снова забрезжила зрѣлой и умудренной наукѣ. Самые передовые изъ естествоиспытателей нашихъ дней снова прониклись вѣрою, что тѣ семьдесятъ съ чѣмъ-то элементовъ, фактически извѣстныхъ современной химіи, не являются еще окончательнымъ результатомъ анализа, а только временною остановкой на пути все далѣе идущаго разложенія матеріальнаго міра.

2. Родоначальникомъ всего этого направленія называютъ Θάλεσα Μιλετσαγο. Этотъ замѣчательный человекъ былъ продуктомъ скрещенія расъ: въ его жилахъ текла греческая, карійская и финикійская кровь. Въ соотвѣтствіи съ этимъ ему была присуща вся разносторонность іонійскаго духа, и преданіе сохранило его образъ, отливающій самыми разнообразными красками. То оно рисуетъ его образцомъ чуждаго жизни, всецѣло погруженнаго въ свои изслѣдованія мудреца, который, заглядѣвшись на звѣзды, падаетъ въ колодець; то оно надѣляетъ его склонностью употреблять свои познанія въ цѣляхъ личной выгоды; то, наконецъ, приписываетъ ему совѣтъ, данный будто бы его согражданамъ, малоазійскимъ іонянамъ,—совѣтъ этотъ, являющійся верховъ государственной мудрости и дальновидности, клонился не болѣе и не менѣе какъ къ созданію дотолѣ совершенно неизвѣстнаго въ Греціи установленія, а именно подлиннаго союзнаго государства. Несомнѣнно, что онъ былъ одновременно и купцомъ, и политикомъ, инженеромъ, математикомъ и астрономомъ. Свои обширныя познанія приобрѣлъ онъ въ дальнихъ странствіяхъ, которыя завели его въ Египеть, гдѣ онъ посвятилъ свои изслѣдованія, между прочимъ, и проблемѣ разливовъ Нила. Онъ впервые возвысилъ первобытное и всегда обращенное на разрѣшеніе частныхъ проблемъ чертежное искусство египтянъ до дедуктивной, покоящейся на общихъ положеніяхъ, истинной геометріи. Нѣкоторыя простѣйшія теоремы этой науки и до нашихъ дней носятъ его имя. Не лишено правдоподобія и преданіе, рассказы-

вающее о томъ, что онъ открылъ своимъ египетскимъ учителямъ тщетно разыскиваемый ими способъ измѣрять высоту чудесныхъ сооруженій ихъ родины, пирамидъ. Онъ навелъ ихъ на ту мысль, что въ тотъ часъ, когда тѣнь человѣка или другого легко измѣримаго предмета равняется его настоящей высотѣ, и тѣнь пирамиды должна быть не длиннѣе и не короче ея подлинной вышины. У вавилонской науки (въ основы которой онъ могъ быть посвященъ въ Сардахъ) заимствовалъ онъ законъ періодическаго возврата затмений, благодаря которому ему удалось, къ великому изумленію своихъ соотечественниковъ, предсказать полное солнечное затменіе 28 мая 585 года. Ибо теоретическимъ путемъ, ввиду младенчески наивныхъ представленій его о формѣ земли—онъ считалъ ее плоскимъ дискомъ, плавающимъ въ водѣ,—онъ не могъ бы дойти до такого вывода. Тому же источнику онъ вѣроятно обязанъ и своими метеорологическими предсказаніями, изъ которыхъ онъ сумѣлъ извлечь для себя матеріальную выгоду, предугадавъ небывалый урожай оливы и откупивъ заранѣе множество масличныхъ прессовъ. Приобрѣтенныя имъ астрономическія познанія послужили на пользу мореходству его соотечественниковъ, которые въ то время проникали со своими кораблями и торговыми предпріятіями далѣе, чѣмъ кто либо изъ грековъ. Онъ указалъ имъ на Малую Медвѣдицу, какъ на созвѣздіе, точнѣе другихъ опредѣляющее сѣверъ. Не сохранилось извѣстія о томъ, оставилъ ли онъ что-нибудь написанное, но врядъ ли такимъ путемъ распространилось его ученіе о первостихіи. Ибо Аристотель, хотя и знакомъ съ этимъ ученіемъ, однако обоснованія его не знаетъ и говоритъ о немъ въ духѣ гадательныхъ предположеній: — питаніе растеній и животныхъ влажно, слѣдовательно жизненное тепло имѣетъ источникомъ влагу, а такъ какъ растительныя и животныя сѣмена обладаютъ тѣми же свойствами, что сами растенія и животныя, то Өалесъ—такъ предполагаетъ Аристотель—и могъ признать воду, какъ принципъ всего влажнаго, основнымъ веществомъ, первостихіей. Дѣйствительно ли имъ руководили эти соображенія, или же онъ подчинялся вліянію—и поскольکو—древнѣйшихъ умозрѣній, отечественныхъ или иноземныхъ,—въ настоящее, по крайней мѣрѣ, это намъ также мало извѣстно, какъ и то, какъ онъ относился къ вопросу о божествѣ.

Ученіе о первостихіи могло и даже неизбежно должно было развиваться въ трехъ направленіяхъ. Мѣсто, которое Өалесъ приписалъ водѣ на ступеняхъ міра веществъ, не могло оставаться

за нею неоспариваемымъ. Естественно, что и другіе изъ наиболѣе распространенныхъ истинныхъ или воображаемыхъ стихій, и прежде всего самая легкая (воздухъ) и самая мощная (огонь) также нашли своихъ сторонниковъ, оспаривавшихъ признанное за текучимъ элементомъ первенство. Затѣмъ при болѣе глубокомъ проникновеніи въ этотъ вопросъ, какой-нибудь геніальный умъ долженъ былъ напасть на ту мысль, что первичную форму вещества слѣдуетъ искать скорѣе позади и по ту сторону нынѣ доступныхъ нашему воспріятію видовъ его, нежели изъ среды ихъ. Наконецъ въ теоріи о первостихіи было заложено сѣмя скепсиса, которое ранѣе или позднѣе должно было достигнуть полнаго развитія. Ибо если для самого Фалеса это ученіе и означало, быть можетъ, лишь то, что всѣ вещи возникаютъ изъ праматери-воды и снова въ нее возвращаются, то постепенно оно неизбѣжно должно было приобрѣсти тотъ смыслъ, что лишь основная форма вещества—истинна и реальна, всѣ же остальные суть лишь призрачные обманы чувствъ. А какъ только было признано, что желѣзо, напримѣръ, или дерево въ дѣйствительности суть не то и не другое, а вода или воздухъ, то какъ могло бы остановиться на этой точкѣ однажды пробужденное сомнѣніе въ правомѣрности свидѣтельства чувствъ?

3. На второй изъ намѣченныхъ путей мысли вступилъ Анаксимандръ (род. въ 610), сынъ Праксиада и уроженецъ Милета, подобно Фалесу, съ которымъ онъ, какъ ученикъ его, вѣроятно, состоялъ въ дружескихъ отношеніяхъ. Анаксимандръ можетъ быть названъ истиннымъ творцомъ греческой, а вмѣстѣ съ тѣмъ и всей европейской науки о природѣ. Онъ первый сдѣлалъ попытку научнымъ путемъ подойти къ рѣшенію необъятнаго вопроса о происхожденіи вселенной, земли и ея обитателей. Велика была въ немъ способность находить тожество, постигать глубоко сокрытыя аналогіи, и неутомимо стремленіе отъ очевиднаго и доступнаго чувствамъ заключать къ тому, что не поддается воспріятію ихъ. Какъ бы наивны ни казались намъ иные изъ его неумѣлыхъ, ощупью дѣлаемыхъ опытовъ, образъ его, какъ зачинателя и піонера, не можетъ не внушать намъ глубокаго почтенія, несмотря даже на то, что ходъ его мыслей мы можемъ возстановить лишь по скуднымъ и отрывочнымъ, частью противорѣчивымъ свидѣтельствамъ. Его сочиненіе „О природѣ“—первое въ Греціи прозаическое изложеніе научныхъ теорій, которое, увы,

было такъ рано потеряно—было зрѣлымъ плодомъ цѣлой жизни, посвященной глубокимъ размышленіямъ и, отчасти, политической дѣятельности. Лишь незадолго передъ своею смертію въ возрастѣ 63 лѣтъ (547 г.) рѣшился онъ на обнародованіе этого труда, отъ котораго до насъ дошло всего нѣсколько отрывочныхъ строкъ, среди которыхъ нѣтъ ни одного законченнаго предложенія. Предварительныя работы его, завершенныя этимъ произведеніемъ, были въ высшей степени цѣнны и разносторонни. Онъ первый далъ элинамъ карту земли и небеснаго купола. Имя его не стояло въ ряду изслѣдователей путешественниковъ, но созданіемъ этой карты онъ подвелъ итогъ свѣдѣніямъ, скопившимся въ большей полнотѣ, чѣмъ въ какой-либо другой части Греціи, на его іонійской родинѣ, которая служила исходнымъ пунктомъ многочисленныхъ морскихъ и сухопутныхъ путешествій, достигавшихъ предѣловъ извѣстнаго тогда міра. Начало картографіи было положено въ Египтѣ, но тамъ ограничивались графическимъ изображеніемъ отдѣльныхъ областей, и всеобъемлющая идея земной карты оставалась чужда обитателямъ Нильской долины, у которыхъ недоставало нужнаго для этого матеріала, такъ какъ они не совершали далекихъ морскихъ плаваній и не имѣли отдаленныхъ колоній. Особенностью земной карты Анаксимандра является представленіе о морскомъ бассейнѣ, окруженномъ сушею, которая въ свою очередь опоясана внѣшнимъ воднымъ кольцомъ. Изъ приборовъ, примѣняющихся при геодезическихъ и астрономическихъ изслѣдованіяхъ, отцу научной географіи несомнѣнно былъ извѣстенъ изобрѣтенный вавилонянами „гномонъ“ („указатель“) —штифтикъ, укрѣпленный на горизонтальной подставкѣ, тѣнъ котораго, мѣняющая длину и направленіе въ зависимости отъ часа дня и времени года, служить для точнаго опредѣленія полдня въ любой мѣстности, а также и для нахождения четырехъ кардинальныхъ точекъ и обоихъ солнцестояній. Такой именно „гномонъ“ былъ установленъ Анаксимандромъ въ Спартѣ—такъ гласитъ преданіе, хотя въ другой версіи оно связываетъ съ этимъ имя его преемника—Анаксимена. Новыхъ положеній въ математикѣ исторія наукъ не связываетъ съ его именемъ, хотя ему и приписываютъ сведеніе воедино положеній геометріи. Во всякомъ случаѣ, недостатка въ математическихъ познаніяхъ у него не было, какъ объ этомъ свидѣлствуютъ его—въ настоящее время намъ не вполне понятныя—сужденія о величинѣ небесныхъ тѣлъ. Какъ астрономъ Анаксимандръ первый почти совершенно порвалъ съ младенческими возрѣ-

ніями древности. Правда, земля еще не представлялась ему шаромъ,—но ни въ какомъ случаѣ уже не плоскимъ кругомъ, покоющимся на подставкѣ и прикрытымъ сводомъ небеснымъ на подобіе колокола. Солнце въ его представленіи уже не погружается по вечерамъ въ опоясывающій землю океанъ, чтобъ по этому водному пути совершить переходъ съ запада на востокъ. Если появленіе солнца и другихъ свѣтилъ на восточной сторонѣ неба послѣ того, какъ они скрылись за горизонтъ на западѣ, можно было объяснить неизмѣннымъ и закономѣрнымъ движеніемъ, то приходилось принять, что они подъ землю продолжаютъ то же движеніе по кругу, которое поверхъ горизонта совершается на нашихъ глазахъ. Это предположеніе подкрѣплялось тѣмъ наблюденіемъ, что близкія къ полюсу созвѣздія никогда не заходятъ, и тѣмъ не менѣе описываютъ круги. Изъ этого вытекало, что видимое нами небесное полушаріе въ дѣйствительности составляетъ лишь половину цѣлаго шара: небесному шатру, раскинувшемуся надъ нашей головой, противопоставленъ былъ другой, находящійся подъ нашими ногами. Такимъ образомъ земля лишена была той опоры, уходящей въ бездонную глубь, на которой она, якобы, покоилась;—неподвижно и свободно парящую въ пространствѣ мыслится она теперь. Въмѣсто плоскаго круга она предстала глазамъ нашего философа въ видѣ отрѣзка колонны или цилиндра, который лишь въ томъ случаѣ обладалъ бы устойчивымъ равновѣсіемъ, еслибъ діаметръ его основанія былъ значительно больше его высоты. Отношеніе 3 : 1 отвѣчало этому требованію и остановило на себѣ вниманіе древняго мыслителя, вѣроятно, вслѣдствіе своей простоты. То, что эта по формѣ напоминающая барабанъ земля недвижно парила въ пространствѣ, онъ пытался обосновать довольно любопытнымъ разсужденіемъ: земное тѣло пребываетъ въ устойчивомъ равновѣсіи вслѣдствіе равенства разстоянія его отъ всѣхъ точекъ небснаго шара. Изъ этого утвержденія съ одной стороны явствуетъ то, что для Анаксимандра тяжесть не была тождественна съ стремленіемъ внизъ. Съ другой стороны по формѣ этого заключенія онъ является какъ бы предтечею тѣхъ метафизиковъ, которые предпочитали обосновывать законъ инерціи не на опытѣ, а на апріорномъ положеніи. „Покоющееся тѣло—такъ разсуждаютъ они—не можетъ придти въ движеніе, пока оно не получитъ воздѣйствія отъ внѣшней причины, ибо движеніе его должно было бы неизбежно совершиться вверхъ или внизъ, впередъ или назадъ и

т. д. Но такъ какъ нѣтъ причины, вслѣдствіе которой движеніе совершилось бы въ одну изъ сторонъ преимущественно передъ другими, то тѣло вообще не можетъ придти въ движеніе. Уже Аристотель, называвшій этотъ аргументъ столь же остроумнымъ, еколю ложнымъ, сравнивалъ покоящуюся землю Анаксимандра съ человѣкомъ умирающимъ отъ голода, который обреченъ на гибель потому, что у него нѣтъ причины предпочесть пищу, лежащую направо отъ него, той, которая въ такомъ же разстояніи находится влѣво отъ него, или передъ нимъ, или позади него. Тѣмъ не менѣе намъ слѣдуетъ бросить взглядъ на его космогоническіе опыты.

По поводу Гесіодовой теогоніи мы уже упоминали о древнѣйшемъ ученіи о первичномъ хаотическомъ состояніи вселенной. Тамъ было указано на то, что идея хаоса создавалась изъ представленія о безграничномъ расширеніи зіяющей между небомъ и землею пустоты. Вмѣстѣ съ тѣмъ мы уже замѣтили, что эти первобытные мыслители изъ трехъ измѣреній пространства въ своемъ построеніи принимали въ расчетъ только одно—высоту или глубину,—не считаясь вовсе съ длиною и шириною. Послѣдовательное развитіе этой мысли должно было современемъ привести отъ представленія о зіяющей трещинѣ къ идеѣ о неограниченномъ во всѣхъ направленіяхъ пространствѣ. Дѣйствительно, Анаксимандръ и видитъ въ началѣ всего сущаго именно такое наполненное веществомъ пространство. Какою же была эта безгранично протяженная первостихія? Это не была ни одна изъ извѣстныхъ намъ стихій—такъ можемъ мы отвѣтить. Ибо эти послѣднія, непрерывно снова и снова переходящія одна въ другую, представлялись Анаксимандру до извѣстной степени равноцѣнными факторами, въ томъ, по крайней мѣрѣ, смыслѣ, что ни одна изъ нихъ не могла претендовать на наименованіе праотца или создателя всѣхъ остальныхъ. Наименѣе пригодною для этой задачи являлась вода Фалеса. Самое существованіе воды уже обусловлено присутствіемъ тепла, т. е. согласно мышленію той эпохи—стихіи тепла или огня. Ибо твердое обращается въ жидкое состояніе посредствомъ таянія, т. е. черезъ посредство нагрѣванія или введенія стихіи огня. Такимъ же образомъ и подобныя воздуху тѣла, напр. водяные пары, посредствомъ дѣйствія огня выводятся изъ жидкости. Поэтому казалось, что на крайнихъ точкахъ всякаго отдѣльнаго бытія могло быть обнаружено лишь твердое и огненное начало. Однако существу-

ющая между ними полярность побуждала предположить, что эта чета съ ея, взаимно другъ друга пополняющими, членами должна была одновременно вступить въ бытіе. И дѣйствительно, согласно Анаксимандру, эти два начала—„холодное“ п „теплое“—возникли вслѣдствіе „выдѣленія“ изъ первоизданной стихіи, вмѣщающей въ себѣ всѣ разнообразныя формы вещества. Намъ неизвѣстно, какимъ путемъ онъ далѣе выводитъ изъ этихъ двухъ формъ все безконечное многообразіе вещества. Можно, однако, предположить, что вслѣдъ за описаннымъ процессомъ должно было продолжаться дальнѣйшее „выдѣленіе“ элементовъ изъ основной формы вещества. Но каково бы ни было начало вещей, во всякомъ случаѣ охваченныя круговращеніемъ стихіи располагались въ зависимости отъ своего вѣса п массы. Внутреннее зерно образовала земля, вода окружила собою всю ея поверхность,—воду опоясалъ воздушный слой, который въ свою очередь—«какъ кора обнимаетъ дерево»—обняла собою огненная сфера. Здѣсь склонному къ систематизаціи уму нашего философа предстала двойная задача. Земля еще понынѣ составляетъ зерно этого цѣлаго, и воздухъ—внѣшнюю оболочку ея. Вода же больше не является равномернымъ покровомъ ея, а огонь виденъ намъ теперь лишь на отдѣльныхъ, правда многочисленныхъ точкахъ неба. Отчего же произошло это нарушеніе предполагаемой имъ первичной гармоніи въ распредѣленіи мірового вещества? На этотъ вопросъ онъ отвѣчалъ слѣдующимъ образомъ: существующее въ наши дни море не болѣе, какъ остатокъ первичнаго воднаго покрова; солнечное тепло, обращая воду въ паръ, съ теченіемъ времени уменьшило водное пространство. Подкрѣпленіемъ этому предположенію послужили геологическія наблюденія, дѣйствительно обнаружившія во многихъ мѣстахъ Средиземнаго бассейна пониженіе морского уровня и обнаженіе материка. Послужили ли Анаксимандру наблюденія надъ образованіемъ дельтъ или находенія морскихъ раковинъ на сушѣ,—во всякомъ случаѣ онъ сдѣлалъ изъ этихъ явленій широкіе и подкрѣпляющіе его ученіе выводы. Что касается огненной сферы, то въ силу круговращенія она съ теченіемъ времени неизбежно должна была раздробиться. Та же сила, по его предположенію, увлекла за собою воздушныя массы, которыя, сгустившись вслѣдствіе этого, окружили собою массы огня. Возникшія такимъ образомъ воздушныя оболочки огня представлялъ онъ себѣ на подобіе колесъ. Эти послѣднія рисовались ему съ отверстіями, напоминающими гор-

лышко мѣха, изъ которыхъ непрерывно изливается пламя. Какъ пришелъ онъ къ такому представленію? По всей вѣроятности въ силу слѣдующихъ соображеній: солнце, мѣсяцъ и звѣзды вращаются вокругъ земли; но эти планомѣрно движущіяся въ міровомъ пространствѣ огненные массы не имѣли себѣ аналогій среди извѣстныхъ ему явленій, между тѣмъ вращеніе колеса знакомо всякому изъ ежедневнаго опыта. Поэтому-то конкретное явленіе выступаетъ здѣсь на мѣсто абстрактныхъ путей, чѣмъ несказанно упрощается данная проблема. Пока небесныя колеса существуютъ и сообщенное имъ движеніе сохраняетъ силу — до тѣхъ поръ обезпечено движеніе свѣтилъ. Наконецъ затменіе небесныхъ тѣлъ объяснялъ онъ случайнымъ засореніемъ отверстій въ колесахъ солнца и мѣсяца.

Загадка происхожденія органическихъ существъ также занимала мысль многосвѣдущаго милетскаго мудреца. Первые животныя по его теоріи произошли изъ морского ила,—главнымъ образомъ вслѣдствіе того, что тѣло животного состоитъ изъ твердыхъ и жидкихъ частей, почему уже въ гомеровское время, какъ мы видѣли, вода и земля считались элементами его. Однако возможно, что подкрѣпленіе этому допущенію находилъ онъ также въ присущемъ морю богатствѣ органической жизни всякаго рода, и въ находженіи остатковъ вымершихъ морскихъ животныхъ. Этихъ допотопныхъ животныхъ представлялъ онъ себѣ покрытыми иглистой кожей, которую они сбрасывали при переходѣ отъ моря къ сушѣ—причемъ на эту гипотезу его могли навести превращенія, испытываемыя многими личинками насѣкомыхъ. Много вѣроятій въ томъ, что въ первыхъ наземныхъ животныхъ онъ видѣлъ потомковъ этихъ обитателей морей и что такимъ образомъ ему не было чуждо предчувствіе современной эволюціонной теоріи. Опредѣленнѣе высказывался онъ относительно происхожденія человѣческаго рода. Вывести первыхъ людей, по примѣру миеологовъ, непосредственно изъ земли помѣшало ему главнымъ образомъ слѣдующее соображеніе. Беспомощные, нуждающіеся въ болѣе долгомъ, чѣмъ всякое другое существо, уходѣ, человѣческіе дѣтеныши, при естественныхъ, по крайней мѣрѣ, условіяхъ, неизбѣжно должны были бы погибнуть. Поэтому онъ сталъ искать аналогіи, которая помогла бы ему разрѣшить эту загадку, и нашелъ такую въ народномъ повѣртіи о томъ, что акулы проглатываютъ дѣтенышей, вылупившихся изъ ихъ яицъ, снова изрыгаютъ ихъ, и снова глотаютъ, повторяя это до тѣхъ

поръ, пока молодое животное ихъ не станетъ достаточно сильнымъ для самостоятельнаго существованія. Подобно этому праотцы чловѣческаго рода возникли, по представленію Анаксимандра, вну три рыбъ и покинули ихъ лишь, когда ихъ силы вполне созрѣли. Вопросъ о томъ, сложилась ли эта гипотеза греческаго мудреца подъ нѣкоторымъ вліяніемъ преданія вавилонянъ о существовавшихъ нѣкогда людяхъ-рыбахъ, пока, по крайней мѣрѣ, долженъ остаться нерѣшеннымъ.

Какъ бы ни объяснялъ себѣ Анаксимандръ возникновеніе отдѣльныхъ міровъ, видовъ матеріи, отдѣльныхъ существъ и вещей—въ одномъ онъ оставался всегда неизмѣнно твердъ,— въ увѣренности, что все возникшее обречено на гибель. „Невозникшею и неунитожимою“ была для него одна лишь первостихія, изъ которой все изошло и въ которую все обречено возвратиться. Это убѣжденіе давало ему удовлетвореніе, которое мы могли бы назвать этико-религиознымъ. Всякое отдѣльное существованіе казалось ему неправдою, насиліемъ, за которое всѣ, взаимно другъ друга тѣсняція и уничтожающія существа „понесутъ въ строѣ время кару и искупленіе“. Разрушимость отдѣльныхъ вещей, тлѣнность и смертность живыхъ существъ и круговоротъ вещества выростали въ его сознаніи въ картину всеобъемлющаго естественнаго порядка, который служилъ вмѣстѣ съ тѣмъ и всеобъемлющимъ правомъ порядкомъ. Все, что возникаетъ, могъ бы онъ воскликнуть вмѣстѣ съ Мефистофелемъ, заслуживаетъ гибели. „Божественнымъ“ казалось ему лишь безначальное, одаренное силою вещество которое одно „не умираетъ и не старится“. Впрочемъ, до нѣкоторой степени божественными, хотя въ силу своего возникновенія во времени обреченными и на уничтоженіе,—какъ бы божествами второго ранга—представлялись ему и отдѣльные міры или небеса, которые, смѣняя одно другое, или сосуществуя во времени, одарены долговѣчіемъ, граничащимъ съ вѣчностью. Онъ не говоритъ о томъ, вслѣдствіе какихъ процессовъ они вѣчно снова погружаются въ матерное лоно первостихіи; но можно предположить, что подобно тому, какъ „выдѣленіе“ призвало ихъ къ бытію изъ предвѣчной сущности, такъ смѣшеніе и сцѣпленіе вещества по истеченіи долгихъ міровыхъ періодовъ ставятъ предѣлъ всякому обособленному существованію и постепенно возвращаютъ все въ нераздѣльную цѣлостность первичнаго всеединства, которое не

теряетъ своей неисчерпаемой силы къ созданію все новыхъ существъ и своей непобѣдимой мощи разрушать все возникшее.

4. Третій изъ великихъ мудрецовъ Милета Анаксименъ сынъ Эвристата (умеръ между 528 и 524 г.) снова возвратился къ тому пути, на которомъ стоялъ Thalès. Вмѣсто воды онъ призналъ воздухъ той первопричиною, изъ которой возникаетъ „все, что было, что есть и что будетъ“, причемъ эта новая стихія всецѣло завладѣваетъ наслѣдіемъ отгѣсненнаго властелина,— такъ напр. теперь она становится той основою, на которой покоится земля, снова признанная плоскимъ дискомъ. Не трудно выяснитъ причины предпочтенія, оказаннаго Анаксименомъ воздуху. Повидимому его большая подвижность и большее распространеніе являлись въ глазахъ философа главными его преимуществами по сравненію съ текучею стихіей. О первомъ изъ указанныхъ свойствъ Анаксименъ самъ опредѣленно высказывается въ единственномъ дошедшемъ до насъ отрывкѣ своего сочиненія, написаннаго „простою, безыскусственною“ прозою. И такъ какъ по ученію, единодушно раздѣляемому всѣми этими мыслителями, такъ наз. іонійскими фізіологами, матерія въ себѣ самой заключаетъ причину своего движенія, то естественно было признать высшее мѣсто за самой подвижною формою матеріи, тою, которая въ органической жизни почиталась уже носителницею жизни и духа (вспомни *psyche* = дыханіе). Недаромъ философъ сравнивалъ жизненное дыханіе, поддерживающее цѣлостность тѣла человѣка и животнаго, съ воздухомъ, замыкающимъ и объединяющимъ вселенную. Что касается распространенія его, то оно такъ велико, что самая земля, огонь и вода являются только какъ бы островками, отовсюду окруженными „вездѣсущимъ“ воздушнымъ океаномъ, который кромѣ того заливаеетъ собой всѣ пустые промежутки, проникаетъ во всѣ поры другого вещества и омываетъ отдѣльныя частицы его. Подобно своему предшественнику Анаксименъ приписалъ первостихіи безпредѣльное протяженіе и непрестанное движеніе; возникновеніе же изъ нея остальныхъ формъ матеріи онъ объяснилъ особымъ процессомъ, который вывелъ не изъ умозрительныхъ фантазій, а изъ реальныхъ наблюденій. Онъ первый—и въ этомъ его вѣчная слава—объяснилъ „истинную причину“, *vera causa* въ смыслѣ Ньютона, лежащую въ основѣ всѣхъ измѣненій вещества. Мы ужъ не встрѣчаемъ у него того загадочнаго про-

цесса „выдѣленія“, посредствомъ котораго Анаксимандръ выводилъ „теплое“ и „холодное“ изъ первостихіи,—сгущеніе и разрѣженіе, т. е. различное расположеніе частицъ вещества—вотъ факторы, по его ученію, сообщающіе всѣмъ формамъ вещества ихъ качественныя различія. При наиболѣе равномерномъ распредѣленіи частицъ воздуха, такъ сказать, въ его нормальномъ состояніи—онъ невидимъ, при бѣльшемъ разрѣженіи опъ обращается въ огонь, при постепенномъ сгущеніи, наоборотъ, переходитъ сначала въ жидкое, и затѣмъ въ твердое состояніе. Всѣ вещества таятъ въ себѣ возможность принять любую форму сѣплена частицъ, независимо оттого, удалось ли намъ до сихъ поръ или нѣтъ произвести такое превращеніе—таковъ смыслъ дошедшаго до насъ фрагмента Анаксимена. Величіе этого научнаго завоеванія бросится въ глаза всякому, кто вспомнитъ, что всего лишь сто лѣтъ назадъ послѣ тяжелой борьбы это положеніе стало достояніемъ наиболѣе передовыхъ европейскихъ изслѣдователей. И далѣе мы читаемъ у него между строкъ: будь наши чувства достаточно тонки, то при всѣхъ этихъ превращеніяхъ мы узнавали бы все тѣ же частицы вещества, то сблизившимися, то удалившимися другъ отъ друга. Такимъ образомъ ученіе Анаксимена является предвареніемъ атомистики, т. е. той концепціи міра матеріи, которая независимо отъ того, заключаетъ ли она въ себѣ послѣднюю истину или нѣтъ, во всякомъ случаѣ и до нашихъ дней является незамѣнимою по своей плодотворности рабочею гипотезой. Передъ этими безсмертными заслугами забывается то обстоятельство, что и Анаксименъ тоже пытался строить свою теорію на жалкихъ, ложно истолкованныхъ опытахъ. Такъ, онъ находилъ подкрѣпленіе своему основному положенію въ томъ фактѣ, что струя дыханія, выходящая изъ чуть открытыхъ губъ—холодна, та же, которая производится широко открытымъ ртомъ—тепла.

Принявъ во вниманіе огромный шагъ, сдѣланный ученіемъ о веществѣ благодаря всеобъемлющему индуктивному положенію Анаксимена, было бы естественно ожидать такого же прогресса и въ области астрономическихъ ученій. Однако ожиданія эти будутъ обмануты. Мы впервые сталкиваемся здѣсь съ явленіемъ, такъ часто встрѣчавшимся впослѣдствіи въ исторіи науки. Хотя индуктивное и дедуктивное изслѣдованіе и не стоятъ въ принципиальномъ противорѣчій другъ съ другомъ, какъ это думаютъ многіе въ наше время, особенно подъ вліяніемъ Бокля,

однако величайшіе представители одного изъ этихъ научныхъ направленій часто до странности бывають лишены дарованія въ другой области научнаго изслѣдованія. Такъ, трезвому, приверженному фактамъ Анаксимену легко было обнаружить слишкомъ замѣтныя погрѣшности въ смѣлыхъ построеніяхъ и широковѣщательныхъ заключеніяхъ своего предшественника. Онъ былъ слишкомъ проницателенъ, чтобъ успокоиться на наивныхъ гипотезахъ, подобныхъ той, которая объясняла затменіе—временнымъ засореніемъ колесъ солнца и луны; но вмѣстѣ съ тѣмъ онъ не былъ достаточно ясновидящъ для того, чтобъ воспринять и развить дальше смѣлыя предвосхищенія ученія о всемірномъ тяготѣніи, которому дано было впоследствии объяснить устойчивое равновѣсіе земли. Такимъ образомъ сочетались въ немъ недостатки и преимущества ума, критически испытующаго, но лишенаго конструктивнаго воображенія, и свели его на нѣсколько ступеней ниже съ высоты, достигнутой его предшественникомъ. Мы уже упомянули о возвращеніи его къ наивному взгляду на землю, какъ на покоющійся на прочныхъ устояхъ плоскій кругъ. Изъ этого взгляда вытекаетъ представленіе о томъ, что солнце ночью совершаетъ свой путь не подъ землею, а обходя ее вокругъ, какъ „шапка, сдвинутая на бокъ“. То обстоятельство, что въ ночные часы солнце невидимо для насъ, объяснялось имъ присутствіемъ на сѣверѣ горъ, заграждающихъ его отъ насъ, или же тѣмъ предположеніемъ, что ночью солнце удаляется дальше отъ земли, чѣмъ днемъ. Останавливаясь на частностяхъ его грубыхъ астрономическихъ теорій не представляеть для насъ интереса. Какъ свѣтлую точку среди нихъ слѣдуетъ отмѣтить утверженіе его, что свѣтила, испускающія свѣтъ, сопровождаются темными, сходными съ землею тѣлами, утверженіе, которое, повидимому, побуждало объяснить наступленіе затменій—закрытіемъ свѣтила, т. е. по существу совершенно правильно. Среди его попытокъ объяснить метеорологическія и инныя явленія природы (снѣгъ, градъ, молнію, раду, землетрясеніе и даже свѣченіе моря) одни поражаютъ насъ своею близостью къ истинѣ, отчасти даже полной правильностью своею (въ особенности объясненія снѣга и града), другіе же, будучи въ основѣ своей невѣрны, все же интересны изобрѣтательностью и глубокимъ принципиальнымъ значеніемъ своимъ. Разсужденіе, лежащее въ основѣ объясненія свѣченія моря, можемъ мы возстановить слѣдующимъ образомъ. Если воздухъ при тончай-

шемъ разрѣженіи обращается въ огонь и, слѣдовательно, загорается и свѣтитъ, то эти свойства не нисходятъ на него, какъ бы извнѣ, лишь при такомъ именно сдѣлени частиць, а вообще скрытно присущи ему, и при благопріятныхъ условіяхъ проявляются въ немъ. Такъ, эта незначительная доля свѣта, разлитая въ тѣлахъ, можетъ стать явною, если они предстанутъ намъ на исключительно темномъ фонѣ. Такимъ фономъ ночью является масса морской воды, благодаря которой воздушныя частицы, проникая въ полныя пространства, образуемая ударами весла по морскимъ волнамъ, начинаютъ мерпачь и свѣтиться. Здѣсь впервые брезжитъ мысль о томъ, что свойства тѣлъ не падаютъ имъ, какъ снѣгъ на голову (мысль о качественной устойчивости вещества), которую, какъ мы увидимъ далѣе, будутъ съ силою утверждать и развивать младшіе натурфилософы. Наконецъ, съ Анаксимандромъ Анаксименъ сходится въ признаніи міровыхъ періодовъ, а также и во взглядѣ на боговъ, какъ на нѣкія производныя существа, возникшія изъ „божественной“ первостихіи и потому обреченныя на гибель.

5. Вдали отъ шумныхъ торжищъ, отъ сутолоки гаваней Милета, подъ сѣнью святилища возникло ученіе Гераклита. Въ его лицѣ мы впервые встрѣчаемъ на своемъ пути не считающаго, не измѣряющаго, не вычерчивающаго, не искуснаго на всѣ руки мыслителя, а мірового мудреца, спекулятивный умъ, изумляющее духовное богатство котораго насъ еще и понынѣ питаетъ и улаживаетъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ и „чистаго философа“ въ менѣе похвальномъ смыслѣ слова, т. е. человѣка, не изучившаго основательно ни одной специальности и вмѣстѣ съ тѣмъ ставящаго себя судіею надъ всѣми. Многочисленные дошедшіе до насъ отрывки его глубокаго труда, написаннаго образнымъ, порою вычурнымъ языкомъ, и немногія, но краснорѣчивыя свѣдѣнія о его жизни дѣлаютъ величавый образъ „темнаго“ философа болѣе близкимъ намъ, чѣмъ образъ любого изъ его предшественниковъ или современниковъ. Правда, что легенда еще въ глубокой древности своею сѣтью оплела ликъ „плачущаго“ философа. Намъ неизвѣстны года его рожденія и смерти; „расцвѣтъ“ его относятъ къ шестьдесятъ девятой Олимпіадѣ (504 — 501 до Р. Х.), вѣроятно, основываясь на какомъ-нибудь памятномъ событіи, въ которомъ онъ принималъ участіе. Ибо Гераклитъ, происходившій изъ царскаго рода въ Эфесѣ и имѣвшій права на санъ царя-жреца

которыя онъ однако уступилъ брату, вѣроятно, не разъ принималъ дѣятельное участіе въ судьбахъ своей родины,—такъ, на примѣръ, онъ побудилъ правителя Меланкомаса отказаться отъ власти. Политическія условія, отразившіяся въ его сочиненіи, побуждаютъ насъ отнести созданіе его ко времени не ранѣе 478 г. до Р. X.

Одиночество и красота природы были музами Гераклита. Гордый и исполненный самоувѣренности, онъ никогда не зналъ подчиненія учителю. Когда, еще будучи отрокомъ, блуждалъ онъ, погруженный въ размышленія, по сказочно прекраснымъ, покрытымъ почти тропическою растительностью высотамъ, окружающимъ его родной городъ, въ его жаждущую познанія душу не разъ прокрадывалось предчувствіе единства вселенской жизни и правящихъ ею законовъ. Великіе пѣвцы его народа воспитали его дѣтскую фантазію и населили ее яркими видѣніями,—но мысль его, достигнувъ зрѣлости, болѣе не находила въ нихъ удовлетворенія. Ибо уже пробудилось—всего болѣе благодаря Ксенофану—сомнѣніе въ истинности мимическихъ образовъ, въ чуткихъ душахъ уже возникалъ новый высшій идеалъ, передъ которымъ отступали погруженные въ человѣческія страсти и похоти боги Юмера. Гераклить хочетъ видѣть не окруженнымъ славою, а „изгнаннымъ розгою съ общественныхъ собраній“ того поэта, который, по слову Геродота, вмѣстѣ съ Гесіодомъ создалъ эллинамъ ихъ ученіе о богахъ. Съ равною враждебностью онъ относится ко всѣмъ формамъ народныхъ вѣрованій: къ почитанію идоловъ, которое въ его глазахъ то же, что желаніе „судачить со стѣною“, къ приношенію искупительныхъ жертвъ, смывающему одно оскверненіе другимъ, „какъ еслибъ кто, ступившій въ грязь, грязью же захотѣлъ ее смыть“; „безстыднѣйшее дѣйство“ діонисова культа столь же ненавистно ему, какъ и „кошунственные таинства“ мистерій. И Гесіода, „въ которомъ большинство видитъ своего учителя“, преслѣдуетъ онъ за его „всезнайство“ не менѣе, чѣмъ философствующаго математика Пифагора, всесвѣтнаго мудреца-рапсода Ксенофана и географа-историка Гекатѣя. Онъ учился отъ нихъ всѣхъ, но ни за кѣмъ изъ нихъ не послѣдовалъ. Слово горячей похвалы находится у него только для нехитрой жизненной мудрости Біаса. Анаксимандру, оказавшему на него значительное вліяніе, онъ выразилъ свою благодарность тѣмъ, что, вмѣстѣ съ Фалесомъ и Анаксименомъ, выдѣлилъ его изъ числа

презрѣнныхъ учителей того „всезнаѣства“, которое „не воспитываетъ духа“. Всѣмъ же лучшимъ онъ обязанъ самому себѣ, ибо „сколь много рѣчей“ онъ ни слышалъ,—„ни одна не заключала въ себѣ истины“. Но если ужъ къ поэтамъ и мыслителямъ онъ относится то съ суровымъ негодованіемъ, то съ равнодушнымъ недоверіемъ,—какъ же велико должно быть презрѣніе, питаемое имъ къ народной массѣ! Дѣйствительно, словно градомъ засыпаетъ онъ ее своими ругательствами: „подобно скоту набиваетъ она свое брюхо“, и „десять тысячъ изъ нихъ не стоитъ одного доблестнаго“. Ему ли—карателю черни—было добиваться признанія или хотя бы заботиться о удобопонятности своего изложенія. Его загадочная мудрость обращается къ немногимъ избраннымъ, не заботясь о толпѣ, подобной псамъ, „лающимъ на того, кого они не знаютъ“, или „ослу, предпочитающему золоту вязанку сѣна“. Онъ заранѣе предвидитъ осужденіе, которое постигнетъ пророчественную форму и темный смыслъ его сочиненія, и отражаетъ его указаніемъ на славные прообразы. Вѣдь и пнѣійскій богъ „не сказываетъ и не скрываетъ, но лишь знаменуетъ“, а „голосъ Сивиллы, неистовыми устами вѣщающей нерадостное, неприкрашенное, неумашенное“ силою бога, черезъ нея прорицающаго, живетъ въ вѣкахъ. Съ него достаточно и поздней награды, ибо „доблестные предпочитаютъ одно всему остальному—неизгладимую посмертную славу“.

Человѣконенавистничество древняго мудреца находило богатую пищу въ политическихъ условіяхъ и нравахъ его родины. Уже болѣе полувѣка тяготѣло надъ малоазіатскими греками чужеземное иго. Само по себѣ оно не было имъ особенно тягостнымъ, благодаря тому, что мѣстные правители являлись посредниками между ними и несплоченнымъ организмомъ персидской феодальной монархіи. Но было бы дивомъ, еслибъ утрата національной независимости не повлекла за собою паденія общественнаго духа и возростанія частныхъ интересовъ. Почва для общественнаго упадка подготовлялась ужъ издавна. Напряженное наслажденіе жизнью и утонченные нравы востока, смягчивъ грубость древняго эллина, подорвали вмѣстѣ съ тѣмъ и стойкость его духа. Немудрено, что желчный общественный судья, какимъ былъ эфесскій мудрецъ, не мало находилъ предлоговъ для порицанія своихъ согражданъ, и къ тому времени, когда послѣ освобожденія отъ персидскаго ига, на верхахъ стала демократія, онъ не счелъ ее достойной подъять скипетръ. Во всякомъ случаѣ въ партійной

борьбѣ своей эпохи онъ стоялъ на сторонѣ аристократіи и яростно отстаивалъ ея интересы, будучи убѣжденъ, что онъ имѣетъ глубокое право презирать противника. Высшимъ проявленіемъ его страстной вражды служить слѣдующія, пропитанныя злобой, слова: „Добро было бы, еслибъ мужи Эфеса перевѣшали другъ друга и поручили свой городъ малолѣтнимъ;—изгнали же они Гермодора... говоря ему: „Не быть среди насъ мужамъ доблестнымъ,—буде же объявится такой—пускай отходить отъ насъ и жить съ другими“. Изгнанникъ, удостоившійся въ этихъ словахъ такой горячей похвалы, нашелъ себѣ въ далекихъ краяхъ славную дѣятельность: совѣты этого свѣдущаго въ правѣ мужа были восприняты составителями римскихъ Законовъ Двѣнадцати Таблицъ, и память его была почтена статуей, которую видѣлъ еще Плиній. Но престарѣлый другъ Гермодора усталъ терпѣть иго народо-властія: покинувъ городъ, заклеянный неправдою и произволомъ, онъ удалился въ уединеніе лѣсистыхъ горъ и закончилъ тамъ свои дни, доверивъ святилищу Артемиды свитокъ, заключавшій въ себѣ трудъ всей его жизни—его завѣщаніе грядущимъ временамъ.

Уже античный міръ былъ лишенъ возможности вполне наслаждаться этой драгоценною книгою. Онъ находилъ въ ней такія непостижимыя неровности и противорѣчія, которыя Теофрастъ, напримѣръ, могъ объяснить лишь временнымъ помраченіемъ разсудка философа. Аристотель жалуется на трудности, сопряженныя для читателя съ распутываніемъ мудренаго построенія его фразъ, и цѣлый рядъ комментаторовъ, среди которыхъ встрѣчаются извѣстнѣйшія имена, трудился надъ тѣмъ, чтобъ внести свѣтъ въ это темное произведеніе. Дошедшіе до насъ отрывки его мы уже не можемъ съ достовѣрностью расположить въ послѣдовательномъ порядкѣ или разбить по тѣмъ тремъ отдѣламъ—физическому, этическому и политическому—на которые трудъ этотъ былъ раздѣленъ.

Большое своеобразіе Гераклита заключается не въ его ученіи о первостихіи—вообще не въ философіи природы—а въ томъ, что онъ первый протянулъ нити отъ жизни природы къ жизни духа, нити, которыя съ тѣхъ поръ не порывались, и первый добылъ всеобъемлющія обобщенія, исполинской дугой соединившія эти двѣ области человѣческаго познанія. Въ своихъ основныхъ воззрѣніяхъ онъ стоялъ ближе всего къ Анаксимандру. Бренность всѣхъ единичныхъ созданій; вѣчная смѣна и превращеніе вещей; взглядъ на порядокъ,

царящій въ природѣ, какъ на нѣкій правовой порядокъ, — всѣ эти идеи были близки его духу, какъ и духу его великаго предшественника. Отличался онъ отъ него своимъ безпокойнымъ, враждебнымъ всякому кропотливому изслѣдованію темпераментомъ, болѣе развитымъ воображеніемъ поэта и потребностью въ яркихъ пластическихъ формахъ. Поэтому его не могла удовлетворить лишенная всякой качественной опредѣленности первоматерія Анаксимандра также, какъ и безкрасочная, невидимая первостихія Анаксимена. Въ его представленіи та форма вещества всего болѣе отвѣчаетъ природѣ мірового процесса и потому облекается высшимъ достоинствомъ, которая ни на мигъ не даетъ хотя бы внѣшняго впечатлѣнія покоя или замедленнаго движенія, форма, являющаяся вмѣстѣ съ тѣмъ принципомъ жизненнаго тепла высшихъ органическихъ существъ и, слѣдовательно, также источникомъ одушевленія: все оживляющій и все поядающій огонь. „Не богомъ и не человѣкомъ, возвѣщаетъ онъ, созданъ этотъ порядокъ вещей, — онъ былъ изначала, онъ есть и будетъ вѣчно живымъ огнемъ, по опредѣленной мѣрѣ возгорающимся и погасающимъ“. Проходя малый и большой циклъ, первоогонь то опускается до другихъ, низшихъ формъ вещества, то, покидая ихъ, тѣми же путями — ибо „путь вверхъ и путь внизъ — одинъ и тотъ же“ — восходитъ къ своему первообразу. Огонь превращается въ воду, которая частью въ видѣ „огненнаго дыханія“ непосредственно возвращается въ небесную сферу, частью же превращается въ землю, а эта въ свою очередь снова становится водою и такимъ образомъ, въ концѣ концовъ, возвращается къ огню. Въ процессахъ испаренія, таянія, затвердѣнія мы можемъ видѣть этапы этого круговращенія, а также должны помнить, что для наивной физики Гераклита огонь пожара, затушеннаго водою, могъ казаться перешедшимъ непосредственно въ воду. Первопринципъ поэта-мыслителя есть не только вѣчно кипящій источникъ возникновенія и исчезновенія, — не только божественнымъ называетъ онъ его, какъ звали огонь ужъ и предшественники его; онъ является для него вмѣстѣ съ тѣмъ носителемъ мірового разума, какъ осознанный законъ бытія, который „не хочетъ имени Зевса“, не будучи индивидуальнымъ существомъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ „хочетъ его имени“ въ качествѣ высшаго начала міра и источника жизни (ср. греческое *zên* — жить и соответствующія формы имени Зевса). Однако мы не должны видѣть въ этой первосущности божество, дѣйствующее согласно цѣлямъ и сознательно избирающее для этого средства. Гераклитъ сравниваетъ его съ „играющимъ

дитятей“, радующимся безмысленной игрѣ и строящимъ на морскомъ берегу сооруженія изъ песку только затѣмъ, чтобы самому разрушить ихъ.

Ибо созиданіе и разрушеніе, разрушеніе и созиданіе—это законъ, обнимающій собою какъ самыя малые, такъ и великіе циклы жизни природы. Самъ космосъ, возникшій изъ первоогня, долженъ снова возвратиться въ него—такъ, чередуясь въ отмѣренныя сроки—хотя бы они и казались намъ неизмѣримыми періодами времени—совершается и вѣчно будетъ совершаться этотъ двойной процессъ.

Путь этихъ умозрительныхъ построеній Гераклита былъ намѣченъ геологическими наблюденіями Ксенофана и Анаксимандра. Совершенно естественно, что онъ, подобно этому послѣднему, опираясь на очевидныя данныя, выведенныя изъ изученія бассейна Средиземнаго моря, считалъ, что встарь поверхность, покрытая моремъ, была больше. И затѣмъ понятно, что изъ этого положенія, согласно своему основному физическому ученію, онъ заключалъ далѣе: какъ земля—изъ воды, такъ вода возникла изъ огня. Такъ достигъ онъ исходной точки, гдѣ не было ничего, кромѣ огня. Но, сроднившись съ унаслѣдованной отъ Анаксимандра вѣрою въ круговоротъ вещей, онъ не могъ признать этотъ эволюціонный процессъ единичнымъ, однократнымъ событіемъ. Изъ огня возникли всѣ другія формы вещества—въ огонь же погрузятся онѣ въ нѣкій день, дабы процессъ дифференціаціи могъ сызнова начаться и снова привести къ тому же концу. Ширина этого взгляда роднитъ Гераклита съ величайшими естествоиспытателями новаго времени; простымъ ли случаемъ или гениальнымъ прозрѣніемъ слѣдуетъ объяснить точное совпаденіе его концепціи міровыхъ цикловъ съ новѣйшими теоріями ихъ, поскольку они касаются нашей солнечной системы? И здѣсь огненная сфера начинается и замыкаетъ собою каждый міровой періодъ.

Правда, что это ученіе не было свободно какъ отъ внутреннихъ противорѣчій, такъ и отъ противорѣчащихъ ему показаній самой природы вещей, причемъ мы не знаемъ, въ какой мѣрѣ замѣчалъ ихъ самъ мыслитель, и какъ разрѣшалъ ихъ. „Огонь питается парами, поднимающимися отъ влажнаго“; если такъ, то съ убылью и конечнымъ уничтоженіемъ всякой влаги, изсякнетъ и источникъ, питающій огонь. И далѣе, какъ могло бы вещество, увеличившееся въ объемѣ вслѣдствіе достигнутаго имъ раскаленнаго состоянія, вмѣститься въ пространство, и безъ того уже наполненномъ?

Позднѣйшіе послѣдователи Гераклита—стоики—справились съ этой задачей. Они придумали необъятное, на этотъ случай уготованное пустое пространство. Но несомнѣнно, что этотъ выходъ былъ изобрѣтенъ не самимъ великимъ эфесцемъ; ибо, допустивъ существованіе пустого пространства, онъ явился бы однимъ изъ предшественниковъ Левкиппа, и объ этомъ не преминули бы упомянуть наши источники.

Гераклитъ приписывалъ веществу не только вѣчно превращеніе его формъ и свойствъ, но и непрестанное движеніе и перемѣщеніе въ пространствѣ. Въ его глазахъ матерія одарена жизнью,—и не только въ томъ смыслѣ, въ какомъ понимали это его непосредственные предшественники, по праву называвшіеся „оживителями вещества“ (гиллозоистами). Уже эти послѣдніе искали причину всякаго движенія въ самомъ веществѣ, а не въ силѣ, приводящей извнѣ. Въ этомъ эфесскій мудрецъ слѣдовалъ за ними, но его „вѣчно живой огонь“ живъ не только въ такомъ смыслѣ;—очевидно, что явленіе органическаго обмѣна веществъ, царящее въ царствѣ растений и животныхъ, оказало на его мысль такое могучее вліяніе, что исканіе аналогій этому стало руководящей идеей его наблюденій и надъ процессами матеріи вообще. Все живущее находится въ непрестанномъ разложеніи и обновленіи. Если матерія сперва признавалась живою въ вышеупомянутомъ смыслѣ, то нѣтъ ничего мудренаго, что въ силу ассоціаціи идей ей какъ бы сообщились и эти свойства органической жизни. Таковъ источникъ ученія Гераклита о „потокѣ вещей“. Если взгляду нашему нѣчто представляется устойчивымъ, пребывающимъ, то это лишь обманъ зрѣнія, ибо въ дѣйствительности все сущее объято неустаннымъ измѣненіемъ. Если измѣненіе вещей не всегда приводитъ къ ихъ разрушенію, то лишь тамъ и лишь тогда, когда утрата частицъ вещества восполняется непрестаннымъ притокомъ новыхъ замѣстителей ихъ. Любимый образъ его—неустанно текущій потокъ. „Дважды не ступить намъ въ одинъ и тотъ же потокъ, ибо все новыя и новыя воды приливаютъ въ него“. И въ виду того, что потокъ, вѣчно измѣняясь въ составѣ,—въ качествѣ опредѣленной массы воды остается все тѣмъ же, эта мысль обостряется до парадокса; „мы ступаемъ въ тотъ же потокъ—и не ступаемъ него; мы существуемъ—и не существуемъ“.

Съ этой ложной аналогіей сплетаются, однако, вѣрныя наблюденія и глубокіе выводы. Къ послѣднимъ принадлежитъ, между

прочимъ, предположеніе о томъ, что ощущенія обонянія, какъ и зрительныя ощущенія (это сопоставленіе было тогда естественно), порождаются частицами вещества, неустанно истекающими отъ всѣхъ предметовъ. Какъ бы то ни было, но въ этомъ сужденіи проявился взглядъ на природу, изумительнымъ образомъ предвосхищающій ученіе современной физики. Совпаденіе это такъ велико, что краткая передача этого ученія почти дословно повторяетъ собою выраженія, въ которыхъ древніе излагали доктрину Гераклита. „Иные утверждаютъ,—говоритъ Аристотель, несомнѣнно разумѣя при этомъ эфесскаго мудреца и его учениковъ,—что невѣренъ взглядъ, будто однѣ вещи движутся, другія же—нѣтъ, но что всѣ онѣ и во всякое время движутся, хотя бы это движеніе и ускользало отъ нашего воспріятія“.—„Современная наука“,—заявляетъ философъ-естествоиспытатель на шихъ дней—„считаетъ незыблемымъ то положеніе, что всѣ частицы вещества непрестанно находятся въ движеніи... хотя бы это движеніе и ускользало отъ нашего воспріятія“. Теперь припомнимъ, что Гераклитъ писалъ въ эпоху, столь же чуждую нашему ученію о теплотѣ, какъ и нашей оптикѣ и акустикѣ, столь же далекую отъ теоріи воздушныхъ и эфирныхъ волнъ, какъ и отъ того положенія, что въ основѣ всякаго ощущенія тепла лежитъ движеніе молекулъ даже и въ твердыхъ тѣлахъ; въ эпоху, не подозревавшую о природѣ химическихъ и клѣточныхъ процессовъ и, наконецъ, въ эпоху, не владѣвшую еще микроскопомъ, который открываетъ нашему изумленному взгляду движеніе и тамъ, гдѣ невооруженный глазъ видитъ лишь косный покой, съ неборимой силою внушая намъ мысль о томъ, что царство движенія простирается несравнимо дальше, чѣмъ всѣ наши воспріятія его! Припомнивъ все это, мы не можемъ не проникнуться уваженіемъ къ гениальной прозорливости эфесскаго мыслителя, и всего болѣе насъ изумить, вѣроятно, то, что это мощное прозрѣніе не оказало замѣтнаго вліянія на дальнѣйшія изслѣдованія природы. Разочарованіе, постигающее насъ при этомъ, не должно, однако, умалить славы Гераклита. Признаніемъ того, что существуютъ невидимыя движенія, была пробита первая брешь въ стѣнѣ, заграждавшей путь къ проникновенію въ тайны природы; но для того, чтобъ это воззрѣніе стало воистину плодотворнымъ и богатымъ послѣдствіями, должна была явиться другая руководящая идея, то есть, допущеніе не только невидимыхъ, но кромѣ того и неразрушимыхъ и неизмѣнныхъ частицъ, изъ которыхъ слагаются всѣ

тѣла и которыя сохраняютъ свою цѣлость при всѣхъ видоизмѣненіяхъ массъ:—долженъ былъ быть совершенъ великій духовный подвигъ атомистовъ. Самъ же Гераклитъ, по поэтическому складу своему не призванный прорубать пути или способствовать механическому объясненію природы, извлекъ изъ этого основоположенія другія послѣдствія, предназначенныя внести свѣтъ въ иныя области человѣческаго познанія.

Измѣненію свойствъ во временномъ слѣдованіи въ точности соотвѣтствуетъ такая же измѣнчивость ихъ въ одновременномъ сосуществованіи. Внимательному взгляду раскрывается и здѣсь многообразіе, повидимому грозящее нарушить единство вещей и ихъ свойствъ. Всякая вещь являетъ различнымъ воспринимающимъ субъектамъ различныя, подчасъ противоположныя, обличія. „Морская вода есть чистѣйшее и вмѣстѣ отвратительнѣйшее; рыбаъ она питательна и благотворна, людямъ же невкусна и вредна“. Всякому, знакомому съ фрагментами сочиненія Гераклита, ясно, что въ этомъ положеніи запечатлѣно не случайное, единичное наблюденіе,—здѣсь впервые возвѣщается ученіе объ относительности всѣхъ свойствъ, доведенное имъ съ неумолимой послѣдовательностью, свойственной его мышленію, до крайняго вывода въ слѣдующемъ положеніи: „Добро и зло — едино“. Это напомнитъ намъ его парадоксальное выраженіе: „мы существуемъ и— не существуемъ“. И дѣйствительно, ученіе о текучести всего съ одной стороны, и объ относительности—съ другой, приводитъ къ одному и тому же выводу: и послѣдовательно смѣняющіяся состоянія вещей, и ихъ сосуществующія во времени свойства,—какъ тѣ, такъ и другія глубоко различаются между собою, а порою и совершенно противорѣчатъ одни другимъ. Определенности и постоянства бытія какъ бы и не существуетъ для эфесскаго мыслителя,—онъ разсыпаетъ утвержденія, звучащія вызовомъ здравому смыслу, онъ забываетъ, или умышленно отбрасываетъ ограниченія, которыя одни только и придаютъ разумный пріемлемый характеръ подобнымъ утвержденіямъ. Въ одномъ смыслѣ потокъ остается все тѣмъ же, въ другомъ— онъ измѣняется, въ одномъ отношеніи А всегда есть „добро“, въ другомъ—„зло“. Эфесскому мудрецу до этого дѣла нѣтъ—неопытность его логическаго мышленія на руку его гордынѣ мыслителя: чѣмъ удивительнѣе добытые имъ выводы, тѣмъ милѣе они его страсти къ парадоксамъ, его склонности къ темнымъ, загадочнымъ реченіямъ и презрѣнію къ плоскимъ, общедоступнымъ истинамъ. Отнынѣ ему кажется незыблемою истиной, что проти-

воположности не только не исключаютъ, но скорѣй взаимно обусловливаютъ другъ друга, что онѣ даже тождественны между собою; въ его глазахъ это становится основнымъ закономъ, управляющимъ жизнью природы и духа. Слѣдуетъ ли ему ставить это въ укоръ? Вовсе нѣтъ. Безконечно важно и трудно открыть непризнанныя и никѣмъ не подмѣченныя истины, въ особенности тѣ, которыя по природѣ своей остаются непримѣтными и непризнанными. Преувеличенія, до которыхъ доходятъ первые глашатаи ихъ, понятны и простительны, и въ концѣ концовъ скорѣе благотворны, чѣмъ вредны. Ибо логическая провѣрка не заставитъ себя ждать; рано или поздно садовыя ножницы срубятъ всѣ прихотливыя и пышныя побѣги мысли. Между тѣмъ та безусловность и чрезмѣрность, съ которой возвѣщены были эти трудно уловимыя истины, сообщаетъ имъ яркость и выразительность, оберегающія ихъ отъ опасности быть снова забытыми. И, прежде всего, парадоксальная острота ихъ глубоко врѣзается въ мысль ихъ глашатая, становясь его неразлучнымъ и вѣчно живымъ достояніемъ. Такъ, „умозрительныя“ сатурналии Гераклита представляются намъ источникомъ того цѣннаго вклада, который онъ внесъ въ сокровищницу человѣческой мысли и знанія. Ибо во истину я не зналъ бы, съ чего начать и чѣмъ кончить, еслибъ задумалъ исчерпывающимъ образомъ освѣтить все неизмѣримое значеніе основныхъ истинъ, заключающихся въ этихъ преувеличеніяхъ. Правильное ученіе о чувственномъ воспріятіи, основанное на признаціи важности субъективнаго фактора, есть выводъ изъ релятивизма; какъ цвѣтокъ въ сѣмени, въ Гераклитовомъ ученіи объ относительности всѣхъ опредѣленій заключалась мысль о томъ, что одинъ и тотъ же объектъ внѣшняго міра различно воздѣйствуетъ на различные индивидуумы, или на различные органы, или даже состоянія одного и того же индивидуума—мысль, которая вскорѣ должна была проникнуть собою греческую философію и уберечь ее отъ беспочвеннаго и неразумнаго скептицизма. Въ томъ же релятивизмѣ заложена была и другая, еще болѣе глубокая и плодотворная идея о томъ, что взгляды, законы и учрежденія, умѣстные и благотворные на одной ступени чело-вѣческаго развитія—на другой становятся неудовлетворительны или гибельны. „Мудрость становится неразуміемъ, благо обращается въ бѣдствіе“ по той самой причинѣ, что одно и то же явленіе, въ различныя эпохи и въ соединеніи съ различными факторами, вызываетъ различныя, подчасъ противоположныя, дѣй-

ствія. Релятивизмъ всегда былъ мощною силой, подрывавшей тупую косность и консерватизмъ во всѣхъ областяхъ—какъ въ государственной и общественной жизни, такъ въ морали и во вкусахъ, и лишь тамъ, гдѣ мы донынѣ замѣчаемъ полное отсутствіе его, возгласъ: „такъ всегда было“ считается удовлетворительнымъ отвѣтомъ на всѣ нападки на существующій порядокъ. Однако это ученіе содѣйствовало не только движенію впередъ во всѣхъ названныхъ областяхъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ и сохраненію всего, достойнаго сохраненія, ибо оно лишь одно способно исчерпывающимъ образомъ объяснить и оправдать измѣнчивость, превратность и противорѣчивость въ томъ, что нынѣ и здѣсь, и нѣкогда и въ иномъ мѣстѣ признавалось за правое. Ибо тамъ, гдѣ его нѣтъ, всякое фактическое измѣненіе существующихъ установленій, даже то простое наблюденіе, что не вездѣ и не всегда дѣйствуютъ однѣ и тѣ же нормы, вызываетъ глубокое и неисцѣлимое сомнѣніе въ правомѣрности всякихъ установленій вообще. Осмыслить фактическое многообразіе формъ жизни, гибкость человѣческой природы и все разнообразіе обликовъ, принимаемыхъ ею въ разныхъ странахъ и въ разныя времена, можетъ лишь такое міросозерцаніе, которое умѣетъ приноровиться къ этой измѣнчивости Протея, и не видитъ единственнаго блага въ косной недвижности, а во всякомъ процессѣ измѣненія—одну только игру произвола и случая.

И наконецъ—ученіе о сосуществованіи противоположностей. Нашъ поэтъ-мыслитель не можетъ пресытиться, излагая и иллюстрируя его. „Несогласное находится въ согласіи съ собой“, „невидимая гармонія (т. е. рожденная противоположностями) лучше видимой“, болѣзнь „содѣлала желаннымъ здоровьемъ, голодь—насыщеніе, усталость—покой“. То въ краткихъ пророческихъ реченіяхъ, то со всею ясностью и полнотою развиваетъ онъ ученіе о томъ, что законъ контрастовъ правитъ природой, также какъ и жизнью людей, „которымъ худо было бы, еслибъ они имѣли все то, чего желаютъ“, т. е. еслибъ всѣ противоположности разрѣшались въ пустомъ созвучіи. Онъ сурово укоряетъ Гомера въ томъ, что тотъ хотѣлъ бы истребить всѣ „бѣдствія жизни“ и „изгнать раздоръ изъ міра боговъ и людей“, и этимъ способствовалъ „гибели міра“. Воистину неисчерпаемы всѣ тѣ толкованія этихъ прорицаній, которыя допускаются и даже какъ бы внушаются ими самими. Понятіе полярности въ сферѣ природныхъ силъ; смѣна—какъ непремѣнное условіе возникновенія

ощущеній вообще, и въ особенности—ощущеній удовольствія; зло, какъ начало, обратное добру, и потому обусловливающее его; необходимость соревнованія и того, что теперь называютъ борьбою за существованіе, для развитія и повышенія человѣческихъ силъ; антагонизмъ общественныхъ элементовъ, какъ условіе процвѣтанія государства и общества,—всѣ эти идеи, какъ и многія другія, частью смутно намѣчены, частью доведены до полной ясности въ приведенныхъ выше основныхъ изреченіяхъ. Взоръ нашего мудреца вѣчно кочуетъ изъ неодушевленнаго міра въ одухотворенный, и обратно. Впрочемъ, это выраженіе не точно: этого раздѣленія какъ бы вовсе и не существуетъ для того, кто вселенную мыслить какъ вѣчно живой огонь, тогда какъ въ носительницѣ жизни—душѣ и въ самомъ божествѣ видитъ ничто иное, какъ тотъ же огонь.

Всего труднѣе кажется намъ приписать древнему натурфилософу вышеприведенное послѣднее социологическое сужденіе; однако, какъ разъ въ этомъ отношеніи опредѣленность одного изъ его афоризмовъ не допускаетъ иного толкованія. Войну называетъ онъ „отцомъ и царемъ“ всѣхъ вещей или существъ. Еслибъ отрывокъ, дошедшій до насъ, на этомъ обрывался, никому не пришло бы на умъ приписывать ему какое-либо иное, кромѣ чисто физическаго и космологическаго значенія. Взору великаго эфесца всюду раскрывается игра противоположныхъ силъ и свойствъ, взаимно обусловливающихъ и возбуждающихъ другъ друга; законъ полярности какъ бы обнимаетъ собой вселенскую жизнь, и всѣ остальные законы заключены въ немъ. Въ безбурномъ покоѣ все ослабѣваетъ, цѣпенѣетъ и гибнетъ: „киксонъ (родъ браги) разлагается и даетъ осадокъ, если его не встряхивать“. Въ основѣ неустаннаго, рождающаго и сохраняющаго жизнь, движенія, лежитъ начало борьбы и раздора; его-то, какъ зачинателя всего, устроителя и хранителя, именуетъ онъ здѣсь „отцомъ и царемъ“. И на этомъ толкованіи можно было останавливаться раньше—но не теперь, когда благодаря счастливой находкѣ, имѣвшей мѣсто лѣтъ сорокъ назадъ, въ наши руки попало слѣдующее продолженіе этого фрагмента: „и однихъ она (война) содѣлала богами, другихъ—людьми, однихъ—рабами, другихъ—свободными“. Рабы суть военно-плѣнные и ихъ потомство, а покорители и властители ихъ суть свободные. Такимъ образомъ война—въ этомъ несомнѣнно заключается мысль Гераклита—посредствомъ искуса и испытанія силъ отдѣлила достойныхъ отъ

недостойныхъ, образовала государство и расчленила общество. Онъ восхваляетъ ее за то, что она осуществила это раздѣленіе цѣнностей, и скль великое значеніе приписываетъ онъ этому раздѣленію—можно судить по тому, что отношеніе раба къ свободному онъ приравниваетъ къ отношенію человѣка къ богу. И это раздѣленіе также произведено войною: какъ свободный вознесень надъ рабомъ, такъ—ставшій богомъ надъ простымъ смертнымъ. Ибо на ряду съ множествомъ низкихъ душъ, которыхъ поглощаетъ преисподняя (и которымъ тамъ, въ царствѣ влажнаго и пасмурнаго, чувство обонянія замѣняетъ собою высшіе способы познаванія), Гераклитъ признаетъ существованіе предъ-избранныхъ духовъ, которые изъ земной жизни переходятъ къ бытію боговъ. Онъ видитъ цѣлую лѣстницу существъ, отличныхъ другъ отъ друга по славѣ, какъ и по цѣнности, достоинству и доблести. Иерархію славъ объясняетъ онъ градаціей цѣнностей, спрашивая же себя о причинахъ этой послѣдней, находитъ ихъ въ столкновеніи силъ, которое проявляется въ войнѣ,—то въ буквальномъ ея смыслѣ, то въ болѣе или менѣе метафорическомъ. Этотъ послѣдній оттѣнокъ необходимо допустить какъ соединяющее звено между космологическимъ и соціологическимъ истолкованіемъ этого тезиса. Однако, не слѣдуетъ придавать метафорѣ преобладающаго значенія, ибо это обезличило бы мысль Гераклита. Изнѣженность его іонійскихъ соплеменниковъ, которымъ ужъ Ксенофанъ ставилъ въ вину ихъ развращающую роскошь, безпечное равнодушіе его согражданъ, на которое сѣтуетъ Каллиносъ, тяжелыя бѣдствія, постигшія его родину, повидимому безгранично повысили въ его глазахъ цѣнность воинскихъ доблестей. „Павшихъ въ бою, восклицаетъ онъ, славятъ боги и люди, и чѣмъ страшнѣе смерть, тѣмъ громче хвала“. Но мыслителю, сила котораго заключается въ геніальныхъ обобщеніяхъ, и горчайшіе опыты служатъ лишь толчкомъ къ дальнѣйшему движенію по пути его мысли. Конечною же цѣлью ея въ данномъ случаѣ несомнѣнно была не больше и не меньше, какъ всеобъемлющая идея о томъ, что сопротивление и противоборство суть основныя условія сохраненія и дальнѣйшаго совершенствованія человѣческой силы.

Какъ ни обильны и ни глубоки отмѣченныя нами идеи эфесскаго мыслителя, самая поражающая мысль его ждетъ насъ еще впереди. Гераклитъ возвелъ всѣ частныя законы, подмѣченныя имъ въ жизни природы и человѣка, къ понятію единой всемірной закономѣрности. Отъ его взора не ускользнуло господство стро-

гаго, всеобъемлющаго, не знающаго исключенія, міропорядка. Познавъ и возвѣстивъ вселенскую закономѢрность и безраздѣльное господство причинности, онъ отмѣтилъ этимъ поворотный пунктъ въ духовномъ развитіи челоуѣчества. „Солнце не преступитъ своей мѢры; когда бъ оно это совершило—его настигли бы Эриніи, блюстительницы Справедливости“. „Какъ государство опирается на законъ, такъ, даже строже того, должно всякой разумной рѣчи опираться на всеобщее и всему присущее; ибо всѣ челоуѣческіе законы питаются единымъ божественнымъ“. „Хотя этотъ Логосъ (этотъ основной законъ) и пребываетъ вѣчно неизмѣннымъ, однако людямъ онъ невѣдомъ ни до того, какъ они его услышать, ни тогда, когда они его услышать впервые“. Если мы зададимся вопросомъ, какимъ образомъ Гераклитъ поднялся до этой вершины познанія, то прежде всего должны признать, что въ этомъ онъ явился выразителемъ стремленій своего вѣка. Объясненіе міра, основанное на произвольномъ, случайномъ вмѣшательствѣ сверхъ-природныхъ существъ, болѣе не соотвѣтствовало ни усиливающемуся духу изслѣдованія природы, ни повышеннымъ нравственнымъ требованіямъ его эпохи. Какъ многочисленныя попытки вывести пестрое многообразіе міра изъ начала единаго вещества, такъ и возрастающее значеніе верховнаго божества неба, сопровождавшееся высвѣтленіемъ его нравственнаго облика, равно свидѣтельствуя объ укрѣпленіи вѣры въ однородность вселенной и въ единство мірового строя. Постигенію всеобщихъ законовъ были открыты всѣ пути, и самое это познаніе должно было постепенно принимать все болѣе строгія формы. Заложена была основа точному изслѣдованію природы,— сначала астрономами, а вскорѣ и математиками-физиками, среди которыхъ первое мѣсто принадлежитъ Пифагору. Знакомство съ наблюденіями, выведенными изъ его акустическихъ опытовъ, оказало небывалое вліяніе на умы. Самое неуловимое изъ явленій—звукъ—было имъ какъ бы уловлено и подведено подъ ярмо числа и мѢры; что могло противиться власти такихъ укротителей? Вскорѣ съ юга Италіи пронесся кличъ по всей Элладѣ: сокровенная природа вещей есть число! Очевидно, что великій эфесецъ не оставался глухъ къ этимъ вѣяніямъ, какъ это отчасти признается его изслѣдователями. То значеніе, которое въ его умозрѣніи приобрѣтають понятія гармоніи, противоположностей и особенно мѢры, несомнѣнно слѣдуетъ отнести главнымъ образомъ къ вліянію Пифагора, а въ нѣкоторой

степени и къ воздѣйствию со стороны Анаксимандра. Если самъ онъ не рожденъ былъ точнымъ изслѣдователемъ,—въ этомъ мѣшала ему его страстность, да и умъ его, чуждый трезвымъ сужденіямъ, слишкомъ склоненъ былъ опьяняться символической и удовлетворяться ею—то тѣмъ болѣе могъ онъ стать герольдомъ новаго міропониманія. Въ этомъ отношеніи,—такъ же какъ и въ многочисленныхъ несправедливыхъ выходкахъ противъ истинныхъ творцовъ науки,—онъ дѣйствительно походитъ на канцлера Вѣкона, съ которымъ его не такъ давно неудачно сравнивали въ другомъ отношеніи. Но не одна только мощь слова и пластическая образность мысли поражаютъ въ немъ живой силою. Какъ ни ребячески фальшивы въ большинствѣ случаевъ его толкованія отдѣльныхъ явленій,—напр. „пьяница слабѣе отрока и, идучи, спотыкается, потому что душа его влажна“, „сухая душа есть мудрѣйшая и достойнѣйшая“,—тѣмъ не менѣе ему въ высшей степени присуща гениальная способность распознавать однородное подъ самыми несхожими оболочками. Рѣдко кто умѣетъ съ равной ему послѣдовательностью мысль, добытую сперва изъ ограниченной частной области, прослѣдить черезъ всѣ ступени бытія въ обоихъ мірахъ—духа и природы. Впрочемъ, какъ уже было выше замѣчено, перекинуть мостъ между природою и духомъ было для него нетрудной задачей, ибо для него, какъ и для его предшественниковъ, между ними вовсе и не существовало пропасти. Кромѣ того, избранная имъ первостихія въ свою очередь облегчала эту задачу. Тому, кто мыслилъ міръ созданнымъ изъ огня, слѣдовательно изъ стихіи души, ничто не мѣшало примѣнять всѣ обобщенія, почерпнутыя въ различныхъ областяхъ природы, къ душевнымъ процессамъ и опирающимся на нихъ явленіямъ общественной и политической жизни. Отсюда проистекаетъ всеобъемлющая ширина его обобщеній, вершиной которыхъ является признаніе вселенской закономѣрности, обнимающей все сущее.

Впрочемъ, была еще особая причина, коренившаяся въ его идеѣ о потокахъ вещей въ связи съ его столь несовершеннымъ ученіемъ о веществѣ, которая побуждала его стремиться къ дѣйствительному достиженію этой вершины и убѣжденно провозглашать высшею цѣлью познанія единый міровой законъ, управляющій всѣми частными явленіями. Ибо въ противномъ случаѣ ему угрожало остаться безъ всякаго надежнаго объекта познанія, и тогда обвиненіе, несправедливо направленное противъ него Аристотелемъ, достигло бы своей цѣли. Однако, на самомъ дѣлѣ

этого не случилось. Посреди всей измѣнчивости отдѣльныхъ вещей, всѣхъ превращеній формъ вещества, наперекоръ разрушенію, въ отмѣренные сроки настагающему самый строй космоса, который однако снова и снова восстанавливается,—нерушимымъ и неколебимымъ пребываетъ міровой законъ, а съ нимъ вмѣстѣ—мыслимая одухотворенною и надѣленною разумомъ первостихія (съ которою онъ, въ качествѣ мірового разума и всебожества, сливается въ мистически туманной концепціи),—единственное, что пребываетъ неизмѣннымъ посреди безначальнаго и безконечнаго круговорота всего сущаго. Высшій завѣтъ разума—постичь міровой законъ или Міровой Разумъ, а склониться предъ нимъ и приобщиться ему есть высшее правило поведенія. Своеволие и своеправіе суть воплощенія зла и лжи, которыя въ основѣ —одно. „Самомнѣніе“ Гераклитъ сравниваетъ съ однимъ изъ ужаснѣйшихъ недуговъ, постигающихъ человѣка, съ разсматриваемой во всей древности какъ одержаніе демонами эпилепсіей; „высокомѣріе слѣдуетъ заливать какъ пожаръ“. „Мудро только одно: признавать разумъ (или міровой законъ), правящій всѣмъ во всемъ“. Не легко, однако, удовлетворять этому требованію, ибо истина противорѣчитъ обычному мнѣнію: „природа любитъ скрываться“ и „черезъ свою неправдоподобность ускользаетъ она отъ познанія“. Однако, именно къ этому изслѣдователь долженъ направить всѣ свои усилія, и, исполнившись отвагою мыслителя, вѣчно быть готовымъ къ неожиданностямъ: „кто не чааетъ найти — не найдетъ Нечаяннаго, ибо трудно выслѣдить и настичь его“. „Недѣлжно намъ пускаться въ легкомысленныя догадки относительно высшихъ вещей“, произволь не долженъ руководить нами, ибо „кара постигнетъ ковача лжи и лжесвидѣтеля“. Человѣческія установленія прочны лишь до тѣхъ поръ и въ такой мѣрѣ, поскольку они согласуются съ божественнымъ закономъ, который самъ „простирается такъ далеко, какъ хочетъ, и всему довлѣетъ, и все покоряетъ“. Но въ этихъ предѣлахъ пусть господствуетъ человѣческій законъ, за который „народъ долженъ биться, какъ за свои стѣны“; конечно этотъ законъ не есть произволь многоголовой безразсудной толпы, а уразумѣніе и, подчасъ, „совѣтъ одного человѣка“, которому, ради его высшей мудрости, народъ „обязанъ послушаніемъ“.

Вліяніе, оказанное великимъ мудрецомъ на послѣдующія времена, было до странности двойственно. Его роль въ исторіи также двулика, какъ двулико, по его ученію, все сущее. Онъ сталъ главою и

источникомъ какъ религіозно-консервативнаго, такъ и скептико-революціоннаго направленія. Одновременно защищаетъ онъ и не защищаетъ (хочется выразиться его собственными словами) все существующее, борется и не борется за переворотъ.

Однако, центръ тяжести его вліянія, въ соотвѣтствіи съ его индивидуальнымъ укладомъ, оказался на сторонѣ перваго изъ названныхъ направленій. Въ средѣ стоической школы вліяніе его создало полюсъ обратный радикальнымъ стремленіямъ кинизма. Изъ его убѣжденія въ законмѣрности всего сущаго вытекъ неумолимо строгій детерминизмъ этой секты, не переходившій въ фатализмъ только у самыхъ ясныхъ умовъ. Отсюда возникъ уклонъ къ самоотреченію, почти къ квіетизму, звучащій уже въ гексаметрахъ Клеанеа, и вольное подчиненіе произволу судьбы, апостолами котораго стали Эпиктетъ и Маркъ Аврелій. Присущей стоикамъ склонности приспособлять и истолковывать народныя вѣрованія начало было положено тѣмъ же Гераклитомъ. Можно также припомнить его послѣдователя въ новѣйшія времена—Гегеля съ его „философіей реставраціи“, съ его метафизическимъ освященіемъ обычая и традиціи въ государствѣ и церкви и съ его пресловутымъ выраженіемъ: „все дѣйствительное разумно и все разумное дѣйствительно“. Однако съ другой стороны, съ Гераклитомъ тѣсно связаны и радикализмъ младшихъ гегельянцевъ, какъ это доказываетъ примѣръ Лассаля. Но разительнѣйшимъ подобіемъ, точнѣйшимъ отображеніемъ великаго эфеса въ новѣйшія времена является мощный мыслитель-революціонеръ Прудонъ, который не только съ буквальной точностью повторяетъ нѣкоторыя, характернѣйшія его теоріи, но и основной сущностью своего духа и тѣсно связанною съ нею парадоксальной формою своихъ изреченій, живѣйшимъ образомъ напоминаетъ его.

Не трудно разрѣшить это противорѣчіе. Глубочайшее зерно гераклитизма составляетъ постиженіе многосторонности вещей,—вообще ширина умственнаго горизонта въ противоположность всякаго рода узкой ограниченности. Но въ способности и привычкѣ къ такимъ широкимъ обзорамъ и обобщеніямъ заложена склонность слишкомъ легко мириться какъ съ несовершенствами мірового порядка, такъ и съ жестокостями историческаго процесса. Такому созерцателю слишкомъ часто наряду со зломъ открыто избавленіе отъ него, наряду съ ядомъ—противоядіе; онъ учитъ насъ угадывать подъ мнимой борьбою глубокое внутреннее согласіе, и въ безобразномъ и губительномъ—видѣтъ неизбѣжныя ступени и переходы къ

прекрасному и благому. Поэтому онъ учитъ насъ снисходительной опѣнкѣ какъ мірового порядка, такъ и историческихъ явленій,—онъ порождаетъ „теодицеи“, а также „оправданія“ какъ отдѣльныхъ личностей, такъ и цѣлыхъ эпохъ и культуръ. Этимъ же духомъ порождается историческій взглядъ на вещи; онъ не чуждъ и религіозно-оптимистическимъ теченіямъ: и дѣйствительно, въ эпоху романтизма усиленіе этихъ двухъ умственныхъ теченій шло рука объ руку съ возрожденіемъ гераклитизма. Однако это самое умонастроеніе, разрушая одностороннюю опредѣленность сужденій, сильно подрываетъ этимъ значеніе авторитетовъ. Мышленіе, доведенное до крайней гибкости и подвижности, глубоко враждебно косности неизмѣнныхъ утвержденій. Тамъ, гдѣ все представляется вовлеченнымъ въ текущій потокъ, гдѣ отдѣльное явленіе разсматривается какъ звено въ цѣпи причинности, какъ мимолетная фаза развитія,—тамъ не можетъ сохраниться склонность простираться ницъ, какъ предъ чѣмъ-то вѣчнымъ и неприкосновеннымъ, передъ отдѣльнымъ порожденіемъ неустанно измѣнчиваго потока.

Можно по праву сказать: гераклитизмъ исторически-консервативенъ, потому что во всемъ отрицательномъ онъ усматриваетъ и положительное; онъ революціонно-радикаленъ, потому что во всемъ положительномъ онъ вскрываетъ отрицательное. Онъ не знаетъ абсолютнаго ни въ добромъ, ни въ зломъ. Потому онъ ничего не можетъ безусловно отвергнуть, какъ и безусловно принять. Обоснованность его сужденій сообщаетъ имъ историческую справедливость; и она же мѣшаетъ ему остановиться на какой-нибудь одной формѣ, какъ на окончательной.

Однако отъ послѣднихъ, достигающихъ до нашихъ дней отпрысковъ ученія Гераклита, слѣдуетъ возвратиться къ его истокамъ. Уже не разъ, говоря о мыслителяхъ, оказавшихъ влияніе на Гераклита, мы упоминали имена Пивагора и Ксенофана. У этихъ философовъ, въ свою очередь, были другіе предшественники. Это были вѣка, когда переплеталось, порою теряясь одно въ другомъ, такое множество теченій живой умственной жизни, что почти невозможно, упорно слѣдуя за однимъ изъ нихъ, не потерять изъ виду другія, столь же значительныя. Поэтому намъ слѣдуетъ возвратиться въ прошлое и обратиться къ тому, что слишкомъ долго оставлялось нами безъ вниманія.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Орфическія ученія о происхожденіи міра.

1. Быть можетъ, погоня за радостями жизни и духъ просвѣщенія придворнаго эпоса, дойдя до крайняго предѣла, вызвали реакцію? Или же по мѣрѣ растущаго благосостоянія низшихъ классовъ, приобрѣтало значеніе міровоззрѣніе крестьянъ и буржуазіи? Во всякомъ случаѣ религія и мораль послѣ-гомеровской Греціи являются въ значительно измѣненномъ видѣ. Въ нихъ начинаютъ преобладать мрачныя, суровыя, строгія черты. Искупительныя жертвы, культъ душъ, почитаніе мертвыхъ возникаютъ впервые или входятъ въ повсемѣстный обычай, тогда какъ раньше они являлись лишь въ видѣ исключенія. Что мы имѣемъ здѣсь дѣло не съ совершенно новыми явленіями, а встрѣчаемъ,—по крайней мѣрѣ въ значительной долѣ,—древнее наслѣдіе, вновь возрожденное, или впервые обнаружившееся, на это прежде всего указываетъ неоднократно встрѣчающееся глубоко заложенное сходство въ обычаяхъ и понятіяхъ съ родственными по происхожденію италійскими народами. Однако, несомнѣнно, что значительныя измѣненія вносятся именно теперь въ область вѣрованія въ безсмертіе, требующаго отъ насъ болѣе подробнаго разсмотрѣнія въ виду того, что оно оказало глубокое вліяніе и на развитіе греческаго умозрѣнія.

Картины потусторонней жизни во все времена занимали мысль человѣчества. Краски и образы ихъ опредѣлялись измѣнчивыми состояніями народа и настроеніями умовъ. Вначалѣ это загробное существованіе представлялось лишь простымъ продолженіемъ настоящаго. Счастливые съ радостнымъ чувствомъ, страждущіе со страхомъ ожидаютъ его. Царямъ и знатнымъ людямъ потусторонняя жизнь рисуется непрерывнымъ рядомъ охотъ и пиршествъ, рабы и слуги видятъ въ ней нескончаемую цѣпь обременительныхъ повинностей. Но вмѣстѣ съ тѣмъ грядущее остается невѣдомымъ и даетъ пищу какъ тревожнымъ опасеніямъ, такъ и высокими надеждамъ. Ибо если желаніе можетъ быть названо отцомъ мысли, то мать его есть забота, и ихъ порожденіе,

смотря по обстоятельствамъ, принимаетъ черты ихъ обоихъ. Когда земная жизнь даруетъ полное изобиліе и удовлетвореніе—загробный міръ рисуется скорѣ блѣднымъ, тѣневымъ отраженіемъ земного существованія; когда жизнь не утоляетъ всѣхъ потребностей и желаній человѣка—фантазія окрашиваетъ будущее яркими цвѣтами надежды; наконецъ, избытокъ страданія и возникающая отсюда привычка къ нему, притупляетъ вмѣстѣ съ силой воленія и самое надежду, и воображеніе рисуетъ одиѣ лишь безрадостныя картины грядущаго. Помимо внѣшнихъ условій значительную роль играетъ при этомъ и различіе національныхъ темпераментовъ. Но въ общемъ самая картина загробной жизни—поскольку въ созданіи ея участвуютъ одни лишь вышеназванные факторы—всегда походитъ на реальную жизнь, принимая въ зависимости отъ упомянутыхъ условій то свѣтлую, то мрачную окраску. Однако, не трудно отмѣтить тѣ новые факторы, подъ влияніемъ которыхъ съ теченіемъ времени измѣняются эти образы фантазіи. Конечную точку этого измѣненія являетъ собою то понятіе о будущей жизни, которое можетъ быть названо ученіемъ о возмездіи. Первымъ зародышемъ его явилось наблюденіе надъ дѣйствительностью, указавшее, что жизненная судьба отдѣльнаго лица въ значительной степени обусловливается его нравственными и духовными свойствами. Сильный, смѣлый, осторожный, рѣшительный нерѣдко добивается въ земной жизни счастья и могущества; отсюда уже какъ естественный выводъ—если не въ силу простой ассоціаціи идей—вытекаетъ ожиданіе, что этому человѣку выпадетъ та же доля и въ царствѣ душъ. Вторымъ моментомъ является личное благоволеніе или же немилость боговъ. Естественно, что любимцы боговъ, и прежде всего ихъ потомки, и въ загробномъ мірѣ будутъ вознесены надъ тѣми, кто не связанъ столь тѣсными узами съ вершителями судебъ человѣческихъ. И если молитва и жертвоприношенія дѣйствительно могутъ склонить боговъ на сторону человѣка, то естественно, что добытая такимъ путемъ милость будетъ простираться и на грядущую судьбу человѣка.

Наконецъ, по мѣрѣ того, какъ росло и крѣпло государство и общество, и могучія силы природы, одухотворяясь нравственнымъ содержаніемъ, обращались наряду съ богами-прародителями въ защитниковъ и покровителей человѣческихъ установленій, естественно могла возникнуть мысль,—хотя бы поздно и постепенно,—что власть небесныхъ судій простирается и за предѣлы зем-

ного существованія, и что какъ награда, такъ и кара настигнуть благодѣтеля людей и злодѣя и по ту сторону ихъ земной жизни.

Нѣкоторыя изъ этихъ фазъ ярко являютъ намъ и развитіе эллинскаго духа. Бываютъ эпохи, или извѣстные условія, когда жизнь, преисполненная непрерывной борьбы необузданныхъ страстей, дающихъ богатую пищу всѣмъ сторонамъ чловѣческаго духа, отводить мечтамъ о загробной жизни не болѣе мѣста, чѣмъ томленію по лучшему прошлому. До краевъ насыщенная дѣйствительность равно поглощаетъ далекое будущее и далекое прошлое. И въ рѣдкіе часы досуга, между состязаніями и битвами, гомеровскіе герои услаждаются розказнями о тѣхъ же приключеніяхъ и битвахъ, о лично пережитомъ, а также о переживаніяхъ своихъ предковъ или столь схожихъ съ ними самими боговъ. Души, находящіяся въ преисподней, ведутъ безсильное и незавидное призрачное существованіе. Пребывать на землѣ подъ солнцемъ—высшее вождѣліе троянскихъ героевъ, и Ахиллъ предпочелъ бы жалкое существованіе бѣднаго поденщика царской власти надъ тѣнями. Если боги похищаютъ одного изъ борцовъ и дѣлаютъ его участникомъ своего блаженства, то это личный знакъ благоволенія, а не награда за славныя дѣянія, и удостоившійся его, подобно Менелаяу, ничѣмъ не превосходитъ своихъ менѣ счастливыхъ соратниковъ.

Иначе обстоитъ дѣло въ ту эпоху или, вѣрнѣй, въ тѣхъ народныхъ классахъ, къ которымъ обращается Гесіодъ. Ихъ настоящее—сумеречно, и жажда счастья и славы побуждаетъ ихъ воображеніе прикрашивать прошлое и будущее. Съ тоскою оглядываются они на давно минувшій „золотой вѣкъ“,—возрастающая тягота земного существованія для нихъ несомнѣнна, и она становится загадкою, надъ разрѣшеніемъ которой, какъ мы видѣли, бьются пытливые умы; состояніе души послѣ смерти рисуется большею частью какъ просвѣтленіе. Умершіе часто возводятся въ демоны, охраняющіе судьбы живыхъ. „Елисейскія поля“, „острова блаженныхъ“ начинаютъ заселяться. Но всему этому не достааетъ догматической опредѣленности—весь этотъ кругъ представленій еще долгое время полонъ неясностей, противорѣчій и тумана. И хотя мы уже у Гомера встрѣчаемъ первое проявленіе идеи возмездія въ загробныхъ наказаніяхъ, постигающихъ великихъ беззаконниковъ и богоотступниковъ—все же проходитъ нѣсколько столѣтій, прежде чѣмъ это зерно достигаетъ полнаго развитія. За муками Таятала и Сизифа слѣдуютъ кары, постигшія

Иксіона и Тамира, но хотя гордыня и богоборство и наказуются въ тартарѣ,—посмертный жребій огромнаго большинства людей все же совершенно не зависитъ отъ ихъ нравственныхъ заслугъ или проступковъ. Но для насъ важно то, что какъ бы различно ни окрашивалось представленіе о потусторонней жизни, государственная религія, отражающая взгляды правящихъ классовъ, почти не знаетъ вѣры въ безсмертіе; какъ прежде, такъ и теперь заботы античнаго человѣка главнымъ образомъ обращены на земное существованіе,—по крайней мѣрѣ поскольку мы можемъ усмотрѣть его мысли и дѣйствія изъ оффиціально признанныхъ культовъ.

Но наряду съ главнымъ направленіемъ религіозной жизни, то пересѣкая его, то просачиваясь подъ нимъ, существуютъ еще и другія теченія, которыя постепенно крѣпнуть, временами какъ будто переживаютъ упадокъ, но въ концѣ концовъ подтачиваютъ и уничтожаютъ корни эллинской религіи. Всѣмъ имъ—какъ мистическимъ культамъ мистерій, такъ и орфико-пифагорейскимъ ученіямъ равно присуща усилившаяся забота о загробной судьбѣ души, вытекающая изъ обезцѣниванія земного существованія, иначе говоря, изъ мрачнаго взгляда на жизнь.

2. Орфическія ученія, получившія названіе отъ легендарнаго еракійскаго пѣвца Орфея, вокругъ имени котораго слагались священныя книги этой секты, дошли до насъ въ различныхъ, частью противорѣчивыхъ версіяхъ. Наиболѣе подробнымъ свидѣтельствомъ обязаны мы времени упадка античнаго міра, когда поздніе наслѣдники Платона—такъ называемые неоплатоники—съ любовью обращались къ прежнимъ, родственнымъ имъ по духу ученіямъ и включали въ свои произведенія многочисленныя пересказы и ссылки на орфическія творенія. Такъ какъ орфическая доктрина не являетъ строгаго единства и съ теченіемъ времени неоднократно подвергалась видоизмѣненіямъ, то понятно недовѣріе, съ какимъ относились къ показаніямъ этихъ позднихъ свидѣтелей.

Критика, повидимому, приняла за основное положеніе, что эти свидѣтельства вполне достовѣрны лишь по отношенію къ вѣку, въ которомъ они возникли. Но открытія недавняго времени блестяще доказали, какъ темны пути критики въ этой области. На золотыхъ пластинкахъ четвертаго и частью начала третьяго вѣка до Р. Х., найденныхъ недавно въ гробницахъ южной Италіи, встрѣчаются отголоски орфическихъ гимновъ, до сихъ поръ извѣстныхъ намъ лишь по ссылкамъ Прокла неоплатоника, жившаго въ

пятомъ вѣкѣ по Р. Х.;—такимъ образомъ древность ихъ сразу возросла на семь вѣковъ! Въ то время, какъ объ одномъ изъ важнѣйшихъ лицъ орфическаго богослуженія, Фанесѣ, не было до сихъ поръ болѣе древняго свидѣтельства, чѣмъ указанія историка Діодора, жившаго въ эпоху Августа, мы встрѣчаемъ упоминаніе о немъ на такой же пластинкѣ изъ Турій. Критическое недовѣріе оказалось въ этомъ случаѣ преувеличеннымъ, — излишество осмотрительности и осторожности— недостаткомъ истинной проницательности. Лучше допустить незначительныя ошибки въ единичныхъ случаяхъ, нежели педантическимъ примѣненіемъ хотя бы и правильнаго въ основѣ метода заградить себѣ доступъ во внутреннюю связь ученій, и каждую отдѣльную часть ихъ относить лишь къ тому вѣку, которымъ она точно засвидѣтельствована. Новыя изслѣдованія, насколько возможно, возмѣстили кропотливой критикой матеріала недостатокъ подлиннаго свидѣтельства, тщательно отобравъ и взвѣсивъ всѣ случайныя ссылки и указанія.

Попытаемся прежде всего уяснить себѣ міровоззрѣніе людей, названныхъ Аристотелемъ „богословами“, и которыхъ, быть можетъ, слѣдуетъ причислить къ правому крылу въ средѣ древнѣйшихъ греческихъ мыслителей. Обладая менѣе научнымъ умомъ, чѣмъ фізіологи, они въ большей степени нуждались въ воссозданіи наглядной картины происхожденія и развитія міра. Ходячія эллинскія преданія о богахъ не удовлетворяютъ ихъ, отчасти потому, что стоятъ въ противорѣчій съ ихъ нравственными требованіями, отчасти же потому, что отвѣты, даваемые ими на вопросы о происхожденіи вещей, слишкомъ неопредѣленны или грубы. Собственнаго же умозрѣнія хватало лишь на нѣкоторыя надстройки къ обычнымъ отвѣтамъ на извѣчныя проблемы. Потребность въ полномъ и образномъ развитіи этихъ начатковъ, вызываемая все еще господствовавшимъ миѳическимъ міровоззрѣніемъ, оставалась неудовлетворенной, если только новыя преданія не заполняли пробѣловъ. Мысль жадно ищетъ ихъ, а гдѣ же и найти ихъ, какъ не въ мѣстныхъ разрозненныхъ традиціяхъ и въ преданіяхъ чуждыхъ народовъ, окруженныхъ ореоломъ древнѣйшей культуры.

Эти три элемента: собственныя космогоническія умозрѣнія, мѣстныя греческія и чужеземныя преданія составили нити, изъ которыхъ сплелось новое ученіе. Чтобы убѣдиться въ этомъ, достаточно вникнуть въ содержаніе и прежде всего въ характеръ орфическихъ и родственныхъ имъ по духу доктринъ. Это смѣше-

ніе наглядно явствуетъ изъ ученія о происхожденіи міра, принадлежащаго Ф е р е к и д у изъ Сироса, котораго мы поставимъ во главѣ, ибо если онъ и не древнѣйшій изъ всѣхъ, зато первый представитель этого направленія, жизнь котораго можно приурочить къ опредѣленной эпохѣ. Въ серединѣ VI вѣка онъ написалъ сочиненіе въ прозѣ подъ названіемъ „П я т и л о ж і е“ (Pentemuchos), изъ котораго до насъ дошло нѣсколько отрывковъ. На него оказали вліяніе древнѣйшіе единомышленники, между прочимъ и поэтъ Ономакрить, жившій при дворѣ аѳинскаго тирана Писистрата и его сыновей. Ферекидъ занимался также и астрономіей, изученной имъ, вѣроятно, въ Вавилонѣ, и башню, съ которой онъ наблюдалъ звѣзды, показывали и въ позднѣйшія времена посѣтителямъ острова Сироса. Онъ признавалъ три извѣчныя первосущности: Хроноса, или принципъ времени, Зевса, котораго онъ называлъ Засомъ (вѣроятно, въ связи съ этимологіей, которая встрѣчается уже у Гераклита и обличаетъ въ верховномъ богѣ высшее жизненное начало), и наконецъ богиню земли Хтонію. Изъ сѣмени Хроноса произошли „Огонь, Воздухъ и Вода“, изъ нихъ же „многія поколѣнія боговъ“. Двѣ другія стихіи, которыя мы встрѣчаемъ уже въ позднѣйшей и потому, быть можетъ, затемненной версіи, называются „Дымомъ“ и „Тьмою“ и образуютъ съ вышеназванными— пять первосущностей, упомянутыхъ въ заглавіи сочиненія и владѣвшихъ вначалѣ раздѣльными частями міра. Между богами загорается борьба, въ которой змѣиный богъ Офіоней встаетъ со своими полчищами на Хроноса и его божественную свиту. Борьба заканчивается тѣмъ, что одна изъ борющихся сторонъ ввергаетъ другую въ морскую пучину, которую Ферекидъ называетъ вавилонскимъ, повидимому, именемъ „Огень“, напоминающимъ греческое наименованіе океана. Дальнѣйшія черты его космогоніи суть слѣдующія. Послѣ сотворенія міра Засъ или Зевсъ превращается въ бога любви Эроса; затѣмъ, создавъ „прекрасное и могучее покрывало, въ которое онъ заткалъ образъ земли, Огена и обителей Огена“, онъ разстидаетъ его на „крылатомъ дубѣ“. „Подъ землею находится предѣлы Тартара, охраняемые дочерьми Борея, Гарпіями и Тіеллой (Thyella—буря), куда Засъ свергаетъ боговъ, провинившихся въ беззаконіи“. Добавимъ къ этому, что Хтонія мѣняетъ свое имя и превращается въ Ге послѣ того, какъ „Засъ даруетъ ей въ почетное владѣніе землю“ (наконецъ, что мать боговъ Рея называлась у него Ре, — вѣроятно по аналогіи съ Ге), — и этимъ исчер-

пывается все, что намъ извѣстно изъ теогоническихъ и космогоническихъ ученій Ферекида.

Что за пестрая смѣсь небольшой дозы научнаго знанія, нѣкоторой образности языка и большой дозы мифологіи! Но сдѣлаемъ попытку разобраться въ этомъ странномъ міровоззрѣніи. Съ физиологами сиросскаго мудреца объединяетъ признаніе извѣчно существующихъ первопринциповъ и стремленіе свести многообразіе міра веществъ къ немногимъ основнымъ веществамъ. Его сближаетъ съ ними и весьма характерное происхожденіе боговъ (хотя бы второстепенныхъ) изъ этихъ веществъ. Но раздѣляетъ ихъ то, что Ферекидъ не сводитъ, подобно имъ, всё вещества къ единому, и не знаетъ одной первичной матеріи, болѣе того—если мы не ошибаемся—онъ и воздухъ не считаетъ неразложимымъ веществомъ. Но, прежде всего, его первоосновы не суть первичныя вещества, а нѣкія изначальныя сущности, которыя онъ понимаетъ не грубо матеріально, и которыя сами впервые порождаютъ міръ веществъ. Если здѣсь изложено возникновеніе лишь трехъ надземныхъ стихій, то по аналогіи слѣдуетъ допустить, что и обѣ стихіи царства тьмы (о которыхъ мы знаемъ лишь благодаря случайнымъ упоминаніямъ Бл. Августина) такимъ же образомъ порождены правящимъ преизподнею змѣинымъ божествомъ. Можно бы упомянуть при этомъ, что нашъ богословъ занимаетъ среднее мѣсто между Гесіодомъ и натурфилософами. Однако сущность дѣла не будетъ этимъ исчерпана. Въ „Теогоніи“, наряду съ нѣсколькими божественными принципами, играютъ выдающуюся роль одушевленные силы природы, „широколонная Земля“, „высокое Небо“ и т. д. У Ферекида же мы не встрѣчаемъ больше фетишизма природы. Засъ и Хроносъ выступаютъ въ качествѣ скорѣе духовныхъ существъ, и Хтонія сильно отличается отъ Земли, имя которой она получаетъ лишь послѣ того, какъ Засъ вручаетъ ей матеріальную землю. Онъ какъ бы говоритъ этимъ: духъ земли существовалъ до земли и лишь впоследствии вновь соединится съ нею, какъ душа съ тѣломъ. Въ этомъ проявляется міровоззрѣніе орфиковъ (въ тѣсномъ смыслѣ слова) и самого Ферекида, и весьма характерный для нихъ взглядъ на отношеніе между духомъ и плотью.

Представленіе о томъ, что господствующему міропорядку предшествовала борьба боговъ, столь свойственно греческимъ и негреческимъ мифологіямъ, что ничего нѣтъ удивительнаго, если мы встрѣчаемъ его и въ системѣ Ферекида. Въ основѣ этого распространеннаго взгляда лежитъ, кстати сказать, двойное соображеніе, которое

естественно должно было придти въ голову первобытному человеку. Господство порядка не могло казаться ему изначально существующимъ, ибо онъ надѣлялъ могучія существа, чаемыя имъ за вѣшнимъ міромъ, такимъ же своеволіемъ и необузданностью страстей, какія онъ видѣлъ въ вождяхъ окружающаго его чело-вѣческаго общества, столь далекаго отъ дисциплины и порядка. И догадку, что неизмѣнная послѣдовательность въ явленіяхъ природы есть законъ, предписанный покореннымъ ихъ побѣдителемъ, должны были укрѣплять наблюденія, указывающія на то, что именно наиболѣе могучія силы природы сравнительно рѣдко проявляютъ всю свою мощь. Землетрясенія, штормы, вулканическія изверженія представляютъ собой лишь случайныя и кратковременныя нарушенія господствующаго повсюду мирнаго состоянія природы. Естественно возникалъ выводъ, что такъ не могло быть всегда, что страшныя силы, вѣчно угрожающія жизни человека, неограниченно властвовали встарь, и замкнуть ихъ разрушительную ярость въ такія тѣсныя грани могла лишь воля еще болѣе могучихъ существъ, вступившихъ съ ними нѣкогда въ борьбу и обуздавшихъ ихъ. Болѣе опредѣленная картина этой борьбы между надземными и подземными силами, изображенная Ферекидомъ, такъ напоминаетъ нѣкоторыми деталями вавилонскій миѳъ о происхожденіи міра, что глубокіе знатоки этого послѣдняго склонны видѣть здѣсь заимствованіе. Намъ не приходится далеко искать и причину того, что Засъ впослѣдствіи, ради созиданія міра, превращается въ бога любви. Мысль о томъ, что только половое влеченіе соединяетъ внутренне родственные элементы и обезпечиваетъ продолженіе возникшихъ однажды родовъ и видовъ — эта заимствованная въ мірѣ органической жизни и обобщенная мысль встрѣчается намъ уже у Гесіода, и притомъ въ той же застывшей формѣ, убѣждающей насъ въ томъ, что она существовала уже задолго до него. Умозрительный миѳъ о „міротворящемъ Эросѣ“, очевидно, возникъ въ связи съ культомъ бога любви имѣвшимъ мѣсто въ нѣкоторыхъ древнихъ святилищахъ, напр. въ Феспіяхъ въ Бэотіи.

Такимъ образомъ наибольшее затрудненіе для нашего пониманія представляютъ не столько частности ученія сиросскаго богослова, какъ общее направленіе ума, породившее его и колебавшееся между научностью и миѳическимъ вѣрованіемъ. У насъ нѣтъ основанія сомнѣваться въ присущемъ ему искреннемъ стремленіи къ истинѣ,—мышленіе его не сковано бессмысленной

страстью къ чудесному. Какъ же понять, что, не будучи поэтомъ, чающимъ подсмотрѣть извѣчныя тайны міра въ чадѣ „божественнаго безумія“ и демоническаго одержанія, онъ все же съ убѣжденностью вѣрующаго въ откровеніе создаетъ во всѣхъ деталяхъ картину происхожденія міра и боговъ? Нѣтъ другого объясненія этой загадки, кромѣ уже указаннаго нами въ началѣ. Его умозрительное мышленіе могло доставить ему отдѣльныя части его доктрины и, прежде всего, ученіе объ основныхъ веществахъ; остальное заимствовалъ онъ, какъ мы только-что видѣли, изъ изслѣдованія своихъ предшественниковъ,—но общую, столь ярко окрашенную картину не могло породить ни то, ни другое, и онъ обязанъ ею мѣстнымъ или чужимъ преданіямъ, внушавшимъ ему довѣріе своимъ сходствомъ въ главныхъ чертахъ съ его собственными умственными выводами. Именно поэтому перетолковывалъ, передѣлывалъ и растворялъ онъ ихъ другъ въ другѣ съ такимъ безсознательнымъ для себя произволомъ. Намъ крайне трудно, но въ то же время и необходимо уяснить себѣ это полутемное состояніе критическаго ума, который произвольно отбрасываетъ многія преданія, чтобъ съ полною вѣрой принять другія, исходящія изъ той же основы, и, слѣдовательно, не выяснивъ своего отношенія къ преданію, какъ таковому, съ изумительной наивностью ищетъ въ мѣстахъ о богахъ или въ самихъ названіяхъ боговъ ключъ къ сокровеннѣйшимъ глубинамъ міровой тайны. И мы должны признать въ Ферекидѣ одного изъ древнѣйшихъ представителей полукритическаго, полувѣрующаго эклектизма, могущаго служить прообразомъ столькихъ мыслителей другихъ временъ и народовъ.

з. Какъ во всякой религіозной общинѣ, въ кругахъ орфическихъ сектантовъ существовали одновременно или смѣняя другъ друга многочисленныя и противорѣчивыя рассказы о жизни основателя ея и о смыслѣ его ученія. Поэтому намъ кажется здѣсь столь же неумѣстнымъ говорить о сознательной „поддѣлкѣ“ или объ „апокрифическихъ“ писаніяхъ, какъ и по поводу Второзаконія Моисея въ Ветхомъ, или ученія о Логосѣ въ Новомъ Завѣтѣ. Также и орфическая космогонія представлена во многихъ вариантахъ, и невозможно точно установить ихъ послѣдовательность во времени. Вполнѣ допустимо, что нѣкоторые изъ нихъ были извѣстны одновременно, не пробуждая сомнѣній своими рѣзкими разногласіями въ довѣрчивомъ чтеніи этихъ „священныхъ писаній“. До насъ ошли четыре версіи или отрывка изъ нихъ. Одна версія сохра-

нена намъ свѣдущимъ въ исторіи Эвдемомъ, ученикомъ Аристотеля; но изъ его пересказа до насъ дошло лишь то скудное свѣдѣніе, что Ночь была высшимъ изъ первыхъ божествъ. Этотъ взглядъ встрѣчаемъ мы уже у Гомера въ томъ стихѣ, гдѣ говорится о боязни Зевса совершить что либо неуродное Ночи, которая такимъ образомъ представляется существомъ, превосходящимъ силою самого Отца боговъ. Также и маори знаютъ „Праматерь Ночь“, а въ космологическихъ ученіяхъ грековъ, — у легендарнаго Мусэя, какъ у провидца Эпименида, у сказателя Акусилая, какъ и еще у одного безимяннаго автора Ночь занимаетъ первое мѣсто.

Едва ли заслуживаетъ вниманія вторая версія, заключающаяся въ тѣхъ двѣнадцати стихахъ, излагающихъ происхожденіе міра, которыя александрійскій стихотворецъ Аполлоній влагаетъ въ уста Орфею въ своемъ эпосѣ „Аргонавты“. Эта версія не претендуетъ на историческую достовѣрность, да и содержаніе ея не указываетъ на нее. Принципы „раздора“, раздѣляющаго здѣсь четыре стихіи, принадлежитъ, также какъ и подраздѣленіе этихъ послѣднихъ, младшему натурфилософу Эмпедоклу. Изложенная здѣсь борьба боговъ отчасти совпадаетъ съ повѣствованіемъ Ферекида, причѣмъ незначительныя уклоненія отъ него не производятъ впечатлѣнія большей древности и подлинности. Ибо въ то время, какъ у сиросскаго богослова богъ Змій и Хроносъ борются за власть, и побѣдителю достается въ качествѣ обители и владѣнія надземная область, а покоренному—подземный міръ,—здѣсь богъ Змій вначалѣ владѣетъ Олимпомъ, въ чемъ мы должны видѣть лишь позднѣйшее уклоненіе отъ первоначальнаго сказапія и искусственное развитіе его, такъ какъ змѣиныя твари по природѣ своей принадлежатъ земному царству и такъ и изображаются во всѣхъ мифологіяхъ. Не будемъ задерживать читателя и на третьей версіи тѣмъ болѣе, что самые пересказчики рѣшительно противопоставляютъ ее ходячему орфическому ученію; при томъ черты, отличающія ее отъ него, отнюдь не носятъ характеръ болѣе древній, и кромѣ того она связана съ именами Иеронима и Гелланика, личности и время жизни которыхъ совершенно не установлены.

Совсѣмъ иначе обстоитъ дѣло съ четвертымъ и послѣднимъ пересказомъ орфическихъ ученій о происхожденіи міра и боговъ, вошедшимъ въ составъ такъ называемыхъ „Рапсодій“. Новѣйшія изслѣдованія, произведенныя по почину одного изъ свѣтилъ нашей науки (Христіана Августа Лобека) съ точностью установили слѣды и существованія этого ученія у поэтовъ и мыслителей VI вѣка, и причины по

которымъ долго оспаривалось, и до сихъ поръ еще оспаривается его древнее происхожденіе, признаны неосновательными. Мы не можемъ вполнѣ обойти этотъ споръ, затрогивающій весьма важные вопросы. Но прежде всего слѣдуетъ изложить существенныя черты этой космогоніи. Во главѣ ея мы снова, какъ и у Ферекида, находимъ Хроноса, или принципъ времени. Онъ существовалъ извѣчно, тогда какъ стихія свѣта или огня, названная Эфиромъ и „страшная бездна“ Хаосъ—лишь первые изъ рожденныхъ во времени. Затѣмъ „могучій Хроносъ“ создаетъ изъ Эфира и изъ „темнымъ туманомъ“ наполненнаго Хаоса „серебряное яйцо“. Изъ яйца произошелъ „первенецъ“ боговъ—Фанесъ, или Свѣтоносецъ, носившій также названіе бога любви (Эроса), Разума (Мэтисъ) и еще одно невыясненное имя Эрикапей. Въ качествѣ носителя сѣмянъ всѣхъ существъ онъ объединяетъ въ себѣ оба пола и порождаетъ изъ себя Ночь, затѣмъ зловѣщее змѣиное божество Ехидну, а въ соединеніи съ Ночью—Небо и Землю (Урана и Гею), родоначальниковъ средняго поколѣнія боговъ. Мы умолчимъ о Титанахъ, Гигантахъ, Паркахъ, Сторукихъ, такъ какъ орфическая теогонія по отношенію къ нимъ ничѣмъ существеннымъ не отличается отъ ученія Гесіода. Кроносъ и Рея также принадлежатъ къ среднему поколѣнію боговъ. Ихъ же сынъ „Зевсъ, глава и середина одновременно, все породившій“, „Зевсъ—основа Земли и Неба, усѣяннаго звѣздами“, поглощая Фанеса, объединяетъ этимъ въ себѣ сѣмена всего сущаго и вновь выдѣляетъ ихъ, создавая третье и младшее поколѣніе боговъ и весь видимый міръ.

Попытаемся разобраться въ основныхъ идеяхъ этой концепціи, отмѣтить ея существенныя черты, опредѣливъ насколько возможно ихъ историческое происхожденіе и этимъ способствуя освѣщенію вышеупомянутаго спорнаго вопроса. Слишкомъ очевидно, что составныя части этой космогоніи не вполнѣ однородны и лишь въ позднее время слились въ единое цѣлое. То, что начало свѣта и огня (Эфиръ) выступаетъ уже на ранней ступени мірового процесса въ образѣ Фанеса, въ качествѣ свѣтоносца, названнаго первенцемъ боговъ, если и не является противорѣчіемъ, то все же едва ли допустимо при первоначальномъ созданіи міеа. Развитіе міеа обычно стремится къ усиленію, а не къ притупленію его основныхъ чертъ. Легко можно допустить, что тутъ переплелись два наслоенія спекулятивнаго міеотворчества: одно—до извѣстной степени натуралистическое, и другое, отводящее бѣльшую роль творящей дѣятельности самихъ божествъ. „Въ потокѣ временъ возникъ подъ дѣй-

ствиёмъ тепла и свѣта изъ темной, бушующей въ пространствѣ, матеріи міръ“,—подобно растенію, можемъ мы добавить, которое опускается и растетъ подъ животворнымъ лучемъ солнца:—весьма вѣроятно, что такова была идея, нашедшая себѣ мифическое выраженіе въ первой части космогоніи. „Извѣчная безформенная тьма породила божество свѣта, создавшее міръ“—вотъ другая и существенно отличная отъ первой мысль. Связующимъ звеномъ между обоими взглядами служитъ встрѣчающееся въ орфической поэзіи опредѣленіе Фанеса, какъ „сына свѣтозарнаго Ээира“. Также и мифъ о мировомъ яйцѣ дошелъ до насъ, повидимому, не въ первоначальномъ видѣ. Ибо, несомнѣнно, онъ произошелъ изъ слѣдующаго представленія: міръ есть живое естество, и онъ возникъ во времени. Его происхожденіе—таковъ выводъ—должно походить на происхожденіе живого существа. Круглый сводъ неба напоминалъ собою форму яйца; изъ этого послѣдовало предположеніе, что когда-то существовало яйцо, потомъ оно разбилось,—верхняя половина его сохранилась въ видѣ небосвода, изъ нижней произошла земля и заселяющія ее существа. Однако, ничто не указываетъ опредѣленно на то, что видоизмѣненіе мифа о мировомъ яйцѣ произошло впервые на греческой почвѣ. Этотъ распространенный мифъ существовалъ не только въ Греціи, Персіи и Индіи, но и у финикійцевъ, вавилонянъ и египтянъ, и является у послѣднихъ въ томъ же видѣ, въ какомъ мы встрѣчаемъ его въ орфической космогоніи. Вотъ какъ гласитъ египетское ученіе о происхожденіи міра: „Вначалѣ не было ни неба, ни земли; глубокимъ мракомъ объятый міръ былъ наполненъ безгранной извѣчной водою (называемой египтянами Нунъ), хранящей въ своемъ лонѣ мужескія и женскія сѣмена или зародыши будущаго міра. Божественный извѣчный Духъ, нераздѣльный отъ водной стихіи, почувствовалъ жажду творчества, и его Слово пробудило міръ къ жизни... Твореніе началось съ созданія яйца изъ водной первостихіи, изъ котораго произошелъ солнечный свѣтъ (Ра), непосредственная причина жизни въ предѣлахъ земного міра“. Въ то же время богъ Пта (быть можетъ не бесполезно указать, какъ многообразны были версіи этого мифа и въ долинѣ Нила), по мнѣнію вѣрующихъ, „какъ гончарь, вращалъ на кругу яйцо, изъ котораго возникъ міръ“. Отъ внимательнаго читателя не ускользнуло, что и въ упоминаніи египетскаго мифа о мужескихъ и женскихъ сѣменахъ видно сходство съ миротворящимъ богомъ свѣта орфическихъ преданій, соединившимъ въ себѣ

оба пола. Еще болѣе напоминаютъ намъ его двойственную природу мужескія божества, которыхъ такъ много въ пантеонѣ Вавилона.

Если добавить къ этому, что стоящій во главѣ нашей космогоніи принципъ встрѣчается, по неоспоримому свидѣтельству Эвдема, и въ ученіяхъ финикійцевъ, не говоря уже о персидской Авестѣ, гдѣ онъ выступаетъ въ образѣ „Зрванъ акарана“ (безпредѣльное время)—то мы достаточно сказали, чтобъ убѣдить читателя въ томъ, что чужеземныя традиціи оказали немалое вліяніе на возникновеніе орфическихъ ученій. Источникомъ ихъ была, по всей вѣроятности, страна, въ которой мы должны видѣть не только одно изъ древнѣйшихъ средоточій человѣческой цивилизаціи, но и прародину ея — подвластная Вавилону страна между Тигромъ и Евфратомъ. Этотъ взглядъ встрѣчалъ, разумѣется, рѣзкія возраженія и издѣвательства со стороны многихъ изслѣдователей, видѣвшихъ униженіе для эллиновъ въ томъ, что они учились у болѣе древнихъ культурныхъ народовъ и заимствовали отъ нихъ сѣмена своего знанія и вѣрованій. Но упорство и узоръ взгляда, съ какимъ стремятся изолировать грековъ отъ вліянія другихъ, болѣе древнихъ народовъ, не можетъ устоять противъ накопленія все болѣе наглядныхъ фактовъ. Едва ли кто-нибудь станетъ отрицать теперь то, что за нѣсколько десятковъ лѣтъ вызывало не менѣе рѣзкія и убѣжденные возраженія, т. е. то, что греки своей внѣшней культурой, также какъ и началомъ своего искусства обязаны Востоку. Въ примѣненіи къ области науки и религіи это положеніе пытались опровергнуть поверхностныя, бессистемныя и пристрастныя изслѣдованія прежнихъ поколѣній, но и это враждебное теченіе, нашедшее себѣ поддержку въ такомъ выдающемся ученомъ, какъ вышеупомянутый Лобекъ, должно уступить мѣсто безпартійному, всестороннему освѣщенію историческихъ фактовъ. Въ качествѣ наемниковъ и купцовъ, смѣлыхъ мореплавателей и воинственныхъ колонистовъ эллины, какъ мы видѣли, рано вступили въ разнообразныя и тѣсныя сношенія съ чужеземными народами. За лагернымъ костромъ, на базарѣ, въ каравансарай, на палубѣ подъ звѣзднымъ небомъ и въ темномъ уютѣ брачнаго покоя, который греческій переселенецъ нерѣдко дѣлилъ съ туземной женщиной,—происходилъ постоянный обмѣнъ мыслей, несомнѣнно касавшихся небеснаго не менѣе, чѣмъ земного. Чуждыя религіозныя ученія, изъ которыхъ эллины уже давно заимствовали нѣкоторые образы своихъ боговъ и героевъ, какъ напримѣръ семитскую Ашторетъ (—Афторетъ, Афродита)

и ея возлюбленнаго Адониса, а позже еракійскую Бендисъ и фригійскую Кибелу, — встрѣчали тѣмъ больше сочувствія, чѣмъ меньше растущая жажда знанія и духъ изслѣдованія, свойственный умственно прогрессирующему вѣку, удовлетворялись отечественными преданіями. Національная гордость грековъ мало противилась этому вліянію. Они во всѣ времена обладали изумительной способностью и склонностью узнавать въ чужеземныхъ богахъ своихъ собственныхъ, остроумными перетолкованіями и приспособленіями сглаживая противорѣчія между чужестранными и отечественными пересказами. Мы встрѣчаемъ не мало забавныхъ и поучительныхъ примѣровъ этой способности у историка Геродота. Что касается Вавилона, руководящаго значенія его и его центрального положенія въ смыслѣ религіозно-историческомъ, то достаточно указать на нѣсколько краснорѣчивыхъ результатовъ изслѣдованій нашего времени. Единственно для того, чтобы удостовѣриться въ возможности перенесенія религіозныхъ ученій изъ Месопотаміи въ Египетъ, авторъ настоящаго труда собралъ нѣсколько лѣтъ назадъ многочисленные документы, доказывающіе, что между жителями обѣихъ странъ издавна существовали дѣятельныя сношенія. Теперь можно спокойно уничтожить эти бумаги, такъ какъ результаты, достигнутые ими, превзойдены и подтверждены счастливою находкою недавняго времени. Я говорю объ открытомъ въ Тель-эль-Амарнѣ въ Египтѣ архивѣ клинообразныхъ надписей, не только обнаружившихъ существованіе дипломатической корреспонденціи между правителями обѣихъ странъ въ серединѣ второго тысячелѣтія, но и свидѣтельствующихъ, въ связи съ послѣдними раскопками Лахиса въ Палестинѣ, о томъ, что вавилонское письмо и языкъ были широко распространены въ Малой Азіи, какъ средство общенія, что и въ Египтѣ были люди, хорошо знающіе его, и—что казалось бы совершенно невѣроятнымъ прежде—что тамъ проявлялся столь сильный интересъ къ религіознымъ преданіямъ Вавилона, что уже тогда разбирались древнія начертанія его на каменныхъ скрижаляхъ хранившихся въ месопотамскихъ святилищахъ. То, что вліяніе этого очага цивилизаціи коснулось и Индіи, ясно видно изъ заимствованнаго у вавилонянъ слова „*mine*“, обозначающаго мѣру вѣса и встрѣчающагося въ гимнахъ Ригъ-Веды. Другія разнообразныя и вѣскія свидѣтельства издавнаго культурнаго взаимодействія странъ между Тигромъ и Евфратомъ съ одной стороны и Индомъ и Гангомъ съ другой—причемъ эта послѣдняя была преимущественно страной заим-

ствующею, а первая воздѣйствующей — будутъ, мы надѣмся, вскорѣ подтверждены неопровержимыми доказательствами.

Возвратимся, однако, отъ этого вынужденнаго отступленія къ нашей темѣ. Поглощеніе Фанеса Зевсомъ имѣло древнѣйшіе прообразы въ лицѣ какъ Кроноса, который поглотилъ своихъ дѣтей, такъ и Зевса, поглотившаго Метисъ, чтобы породить изъ своей головы Аѣину, которую Метисъ несла во чревѣ. Пользованіе этимъ грубымъ мотивомъ, очевидно, вызывалось стремленіемъ объединить разьединенныя до того, самостоятельныя преданія о богахъ. Въ основѣ лежитъ, повидимому, уже и ранѣе распространенное пантеистическое воззрѣніе на верховнаго бога, который несетъ въ себѣ всѣ «сѣмена и силы естества». И если въ новой космогоніи эта роль выпадаетъ богу свѣта или Фанесу, то это вызвалось желаніемъ возвратитъ послѣднему устройтелю міра, конечному звену божественныхъ поколѣній, всѣ привилегіи, которыми мнѣя необдуманно одарилъ „первенца боговъ“. Выступающая здѣсь пантеистическая черта орфической космогоніи дала поводъ сомнѣваться въ ея древности, что, по нашему мнѣнію, совершенно неосновательно. Намъ кажется вполне вѣроятнымъ, что этотъ сравнительно умѣренный пантеизмъ существовалъ въ VI или даже VII вѣкѣ въ сравнительно замкнутомъ кругѣ тайныхъ школъ орфиковъ, если мы вспомнимъ рѣзко пантеистическій характеръ древнѣйшихъ натурфилософскихъ ученій, или хотя бы тотъ фактъ, что Эсхиль въ серединѣ V вѣка могъ со сцены обратиться со слѣдующими стихами къ собравшемуся аѣинскому народу: „Зевсъ есть Небо, Зевсъ—Земля, Зевсъ—Воздухъ, Зевсъ—Все, и все, что есть сверхъ того“. Если мы сравнимъ это ученіе въ его цѣломъ съ ученіемъ Ферекида, передъ нами выступитъ какъ весьма значительное сходство, такъ и различіе между обоими. Троица Ферекидовыхъ перво-существъ: Хроносу, Засу и Хтоніи соотвѣтствуютъ здѣсь Хроносъ, Эѣиръ и Хаосъ. Оба послѣдніе уже извѣстны намъ по Гесіоду, но ихъ роль и характеръ нѣсколько измѣнились съ тѣхъ поръ. У Гесіода Эѣиръ—лишь одно изъ многихъ свѣтоносныхъ существъ, и отнюдь не занимаетъ первенствующаго мѣста. Также измѣнилась и природа Хаоса,—онъ не означаетъ болѣе бездны, зіяющей между высочайшей вершиною и глубочайшей глубиной, а колышающуюся въ ней неустроенную матерію, „темный туманъ“. Эѣиръ, или стихія огня и свѣта означаетъ здѣсь повидимому, противопоставленный этой неодушевленной массѣ, одухотворяющій,

оживляющій элементъ, который Ферекидомъ былъ высвѣтленъ и преобразенъ въ божественное начало жизни—Заса. То же отношеніе несомнѣнно существуетъ между Хаосомъ съ одной стороны и земнымъ духомъ или божествомъ, Хтоніей съ другой. Поскольку возможно установить опредѣленный взглядъ въ такомъ запутанномъ вопросѣ, едва ли возможно не признать, что ученіе, стоящее между Гесіодомъ и Ферекидомъ, позднѣе перваго по времени и древнѣе втораго. Это подтверждается тѣмъ, что орфическая теогонія подобно теогоніи Гесіода порождаетъ Эфиръ и Хаосъ во времени, тогда какъ мудрецъ сиросскій, подобно физиологамъ, которымъ онъ въ другихъ отношеніяхъ явно чуждъ, приписываетъ своимъ тремъ принципамъ безначальную вѣчность. Несравненно большее значеніе, чѣмъ эти младенческія попытки толкованія міра, имѣло орфическое ученіе о душѣ, стоящее въ связи съ новымъ возрѣніемъ на жизнь и внесшее расколъ въ древне-эллинское сознаніе, убившее красоту и гармонию жизненной концепціи грековъ и подготовившее ея окончательную гибель. Однако въ этомъ пунктѣ орфическія ученія такъ тѣсно сплетаются съ другимъ, еще болѣе глубокимъ умственнымъ теченіемъ, что мы не можемъ продолжать изслѣдованія ихъ, не остановившись предвѣрительно на немъ и на его великомъ творцѣ.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Пиеагоръ и его ученики.

1. „Пиеагоръ, сынъ Мнезарха, предавался изслѣдованію больше всѣхъ прочихъ людей и мудрость свою состряпалъ изъ многознайства, да изъ нечистыхъ уловокъ“. Эти слова, да еще другая, уже знакомая намъ, уккоризна, брошенная ему тѣмъ же Гераклитомъ, являются почти единственными свидѣтельствами современника о дѣятельности человѣка, которому поклонялась многочисленная толпа учениковъ и котораго потомство

почитало, какъ полубога. Сынъ рѣзчика по камню Мнезарха, родившійся, вѣроятно, въ семидесятихъ годахъ шестого вѣка на островѣ Самосѣ, славившемся въ ту пору обширной торговлею, мореходствомъ и преуспѣянiями въ искусствѣ, является одною изъ своеобразнѣйшихъ личностей не только въ Греціи, но и на цѣломъ свѣтѣ. Выдающійся геній математики, творецъ акустики, ученый, совершившій переворотъ въ астрономіи, и вмѣстѣ съ тѣмъ основатель религіозной секты и братства, болѣе всего приближающихся къ средневѣковымъ рыцарскимъ орденамъ, изслѣдователь, богословъ и реформаторъ нравовъ—онъ соединяетъ въ себѣ цѣлое богатство разнообразныхъ и подчасъ противорѣчивыхъ дарованій. Трудно выявить его истинный образъ изъ сплетенія преданій, разрастающихся все гуще по мѣрѣ удаленія отъ источника. До насъ не дошла ни одна строка, написанная имъ, да и вообще можетъ считаться почти установленнымъ, что онъ не прибѣгалъ къ письменной передачѣ своихъ мыслей, и что вліяніе его на окружающихъ основывалось на силѣ его слова и примѣра.

Заслуживающее довѣрія преданіе называетъ его ученикомъ Ферекида. Несомнѣнно, что всѣ тѣ разнообразныя познанія, изъ которыхъ сложилось его многогранное и блестящее научное образованіе, онъ приобрѣлъ въ своихъ дальнихъ странствіяхъ (вѣроятно, не мало прикрашенныхъ и преувеличенныхъ вполнѣ легендой). Да и какъ иначе могъ бы онъ утолить свою жажду познанія въ эпоху, сравнительно столь бѣдную литературными памятниками, и какъ могъ бы заслужить хвалу, безсознательно заложенную въ порицаніи эфесскаго мудреца? Было бы странно, еслибъ столь горячій адептъ математики не посѣтилъ родины ея, Египта, куда еще и два столѣтія спустя Демокритъ, Платонъ и Евдоксъ направлялись ради той же цѣли. Наконецъ никакъ нельзя оспаривать того, что изъ жреческихъ обычаевъ Египта онъ заимствовала многое такое, что впоследствии стало отличительною чертою его пифагорейскаго союза. Недаромъ историкъ Геродотъ, являющійся въ данномъ случаѣ правдивымъ свидѣтелемъ, не задумываясь, называетъ „орфиковъ и служителей Вакха—пифагорейцами и египтянами“, вполнѣ опредѣленно указывая на общій источникъ центральнаго въ религіозномъ ученіи пифагорейцевъ вѣрованія въ переселеніе душъ. Мы не знаемъ, видѣлъ ли также Пифагоръ золотыя куполы Вавилона; но есть много вѣроятій, что жаждущій познанія эллинъ посѣтилъ и эту твердыню древней культуры, и воспри-

нялъ хранящіяся тамъ мѣстные и чужеземныя преданія. Достигнувъ зрѣлаго возраста, онъ покинулъ родину, находившуюся въ то время подъ властью Поликрата, и направился въ южную Италію, гдѣ его реформаторскія стремленія нашли самую благодарную почву. Въ Кротонѣ, славящемся здоровымъ мѣстоположеніемъ, искусными врачами и могучими атлетами, городѣ, на мѣстѣ котораго растетъ теперь дикій бурьянъ, и объ имени котораго напоминаетъ лишь названіе жалкаго рыбацкаго поселка Cortona, развернулъ онъ свою многостороннюю дѣятельность. Ахейская колонія была только что разбита въ борьбѣ со своимъ издавнимъ соперникомъ, богатымъ Сибарисомъ; унижительное покореніе подготовило души къ этическимъ, религіознымъ и политическимъ преобразованіямъ, и реформаторъ-пришелецъ широко использовалъ такое настроеніе. Онъ основалъ свой орденъ-союзъ, объединявшій какъ мужчинъ, такъ и женщинъ, разграничилъ степени посвященія и, мудро распредѣливъ по градации тяжесть выполненія орденскихъ правилъ, распространилъ его вліяніе на самыя широкіе круги. Быстрое возвышеніе города, ознаменовавшееся установленіемъ строгаго аристократическаго правленія и проявившееся въ военныхъ побѣдахъ, было плодомъ реформы, въ скоромъ времени захватившей и другіе города Великой Греціи — Тарентъ, Метапонтъ, Каулонію и др. Однако, реформа не могла не вызвать отпора: борьба классовъ неизбѣжно должна была обостриться послѣ того какъ аристократическая партія, сплотившись благодаря особеннымъ догмамъ и ритуаламъ въ братство, тѣсно объединенное вѣрованіями и образомъ жизни, стала еще надменнѣе, чѣмъ прежде, относиться ко всей массѣ своихъ согражданъ составляя какъ бы отдѣльный народъ въ своемъ народѣ. Къ требованію объ увеличеніи политическихъ правъ примѣшивался протестъ противъ вторженія чужеземца съ его невиданными новшествами, а также личная обида тѣхъ, которые желали войти въ братство, но не были въ него приняты. Катастрофа, столь же страшная, какъ та, которая положила конецъ существованію ордена тамплиеровъ, разразилась въ Кротонѣ надъ пиеагорейскимъ союзомъ, всѣ члены котораго, по преданію, погибли въ огнѣ на одномъ изъ своихъ собраний (около 500 до Р. Х.). Свѣдѣніе объ этой катастрофѣ слишкомъ смутно, чтобъ можно было рѣшить опредѣленно, палъ ли жертвой ея и самъ Пиеагоръ, или же его тогда уже не было въ живыхъ. Та же участь постигла филиалныя отдѣленія ордена. Послѣ того еще встрѣчались приверженцы пиеагорейства, но пиеагорейскій союзъ

быль уничтоженъ. Въ греческой метрополиі Бэотія пріютила послѣднихъ представителей этой школы, и великій Эпаминондъ въ юности обучался у нихъ; другіе перекочевали въ Аонины, гдѣ они подготовили сліяніе пифагорейства съ ученіями другихъ філософскихъ школь, особенно сократовской. Въ концѣ концовъ пифагорейство естественно распалось на составные элементы, которые только волею могучей личности могли быть связаны въ цѣльную систему, хотя и лишенную внутренняго единства. Строго научная часть его ученія, фізико-математическія дисциплины, перешли въ вѣдѣніе специалистовъ-ислѣдователей, тогда какъ религіозныя и суевѣрныя догмы и ритуалы сохранились въ кругу орфіковъ.

2. Къ первой изъ этихъ двухъ областей относятся безсмертныя заслуги этой школы. Благоговѣно склоняемся мы передъ геніемъ людей, впервые указавшихъ путь къ постиженію силъ природы и къ окончательному господству надъ ними. Но сперва намъ слѣдуетъ сдѣлать замѣчаніе общаго характера. И въ древности, и въ новыя времена не разъ и не безъ основанія укоряли пифагорейцевъ въ необузданной фантазіи и отсутствіи трезвости. Тѣмъ утѣшительнѣе сознаніе, что если господство чувства и воображенія и ими порожденное пристрастіе къ красотѣ и гармоніи и являлись порою помѣхой научному изслѣдованію, то съ другой стороны они же въ значительной степени оплодотворили и окрылили его. Пифагоръ съ горячимъ рвеніемъ отдавался музыкѣ, которая въ средѣ его нослѣдователей навсегда сохранила первое мѣсто, какъ лучшее средство возвышенія и укрощенія страстей. Не отдаваясь онъ такъ страстно этому искусству, онъ конечно никогда не дошелъ бы до своего важнѣйшаго и самаго богатаго результатами открытія—установленія зависимости высоты тона отъ длины колеблющейся струны. Монохордъ, на которомъ онъ производилъ свои опыты, легшіе въ основу физики звука, „состоялъ изъ натянутой на деку одной струны, которую, благодаря передвижному бруску, можно было дѣлить на различныя части, и такимъ образомъ получать отъ одной и той же струны и высокіе и низкіе тона“. Велико было изумленіе равно свѣдущаго какъ въ математикѣ, такъ и въ музыкѣ изслѣдователя, когда этотъ элементарный опытъ внезапно открылъ ему чудесную закономерность въ области, казавшейся совершенно закрытой научному изслѣдованію. Не умѣя еще опредѣлять колебаній, лежащихъ въ основѣ каждого отдѣльнаго звука, онъ все же измѣреніемъ

вещественной причины звука—колеблющейся струны—подчинилъ строгому закону и низвелъ въ область пространственныхъ измѣреній то, что доселѣ казалось совершенно неуловимымъ, не постижимымъ, какъ-бы призрачнымъ. Такихъ легкихъ побѣдъ немного въ исторіи науки. Ибо въ то время, какъ въ другихъ областяхъ—вспомнимъ хотя бы законы паденія и движенія—основныя законы явленія скрыты такъ глубоко, что могли быть выдѣлены изъ другихъ и обнаружены лишь съ помощью искуснѣйшихъ приѣмовъ наблюденія,—здѣсь достаточно было самаго простаго опыта, чтобы выявить важный законъ, управляющій огромной областью явленій природы. Разстоянія звуковъ (кварта, квинта, октава и т. д.), съ точностью различаемыя до сихъ поръ лишь тонкимъ и развитымъ ухомъ музыканта, который, однако, не могъ передать знанія ихъ другимъ людямъ или свести ихъ къ яснымъ, доступнымъ разуму причинамъ, были приурочены теперь къ точнымъ и четкимъ числовымъ отношеніямъ. Такъ было положено основаніе механикѣ звука,—какая другая механика могла казаться послѣ этого навѣки недостижимой? Велико было восхищеніе, вызванное этимъ чудеснымъ открытіемъ; несомнѣнно, оно не мало способствовало тому, чтобы пифагорейская метафизика преступила всѣ грани благоразумія. Отъ этой самой свѣтлой точки пифагорейскаго ученія всего лишь одинъ шагъ до самой темной, до мистики чиселъ, на первый взглядъ кажущейся столь нелѣпой и безумной. Самое неуловимое явленіе—звукъ—какъ бы оказалось чѣмъ то пространственно-измѣримымъ. Пространство же измѣряется числомъ. Какъ легко было принять это число—воплощеніе внезапно угаданной, всю природу объемлющей закономерности—за самую сущность, за сердцевину міра! Припомнимъ тщетныя, ибо противорѣчащія одна другой, попытки іонійскихъ физиологовъ найти первоистихію, единое неизмѣнное начало, лежащее въ основѣ всего измѣняющагося. Гипотезы Фалеса и Анаксимандра не могли надолго успокоить мысль; но лежащее въ основѣ ихъ общее имъ стремленіе найти неподвижный полюсъ среди потока явленій могло, и должно было, пережить всѣ неудачныя разрѣшенія этой задачи. И вотъ изумленному взору Пифагора и его учениковъ открылись многообѣщающія дали всеобщей закономерности природы, связанной съ числовыми отношеніями. Неудивительно, что этотъ формальный первопринципъ на время оттѣснилъ матеріальный, и вмѣстѣ съ тѣмъ всталъ на его мѣсто въ качествѣ нѣкотораго quasi-матеріальнаго начала. Вопросъ о первоуспущности какъ бы упалъ, или, точнѣй,

онъ принялъ новый обликъ. Ни огонь, ни воздухъ, ни начало, заключающее въ себѣ всѣ матеріальныя противоположности, какъ „безпредѣльное“ Анаксимандра, не признаются болѣе сущностью міра,—на опустѣвшій престолъ возводится теперь воплощеніе міровой законѣрности, само число. Не только предшествующая эволюція проблемы первоистихи, о которой мы только что упомянули, привела пифагорейцевъ къ тому, чтобы видѣть въ числѣ помимо выраженія всеобщихъ отношеній еще и—что намъ кажется необъяснимымъ извращеніемъ естественныхъ понятій—глубочайшую сущность міра;—на это наводилъ ихъ еще и другой ходъ мысли. Въ изслѣдованіяхъ этой школы качество вещества играло несравненно меньшую роль, чѣмъ его пространственныя формы. Между тѣмъ возростающая привычка къ абстрактному мышленію побуждала считать понятіе тѣмъ болѣе основнымъ и цѣннымъ, чѣмъ оно было отвлеченнѣе и оторваннѣе отъ конкретной дѣйствительности. Мы обладаемъ способностью въ умѣ отвлекать отъ тѣлъ замыкающія ихъ плоскости и отъ плоскости—ограничивающія ее линіи, или, выражаясь точнѣе, отвлекаясь отъ тѣлеснаго и отъ плоскостнаго, мы можемъ созерцать линіи и плоскости, какъ еслибъ онѣ воистину существовали самостоятельно. Пифагорейцы, какъ объ этомъ ясно свидѣлствуетъ Аристотель, приписывали этимъ абстракціямъ не только полную, но даже болѣшую реальность, чѣмъ тѣмъ конкретнымъ вещамъ, отъ которыхъ онѣ были отвлечены. Тѣло, такъ разсуждали они, не можетъ существовать безъ ограничивающихъ его плоскостей, тогда какъ онѣ могутъ существовать безъ него. Таково же, по ихъ разсужденію, отношеніе линій къ плоскостямъ и, наконецъ, точекъ, изъ которыхъ образуются самыя линіи, къ линіямъ. Точку же,—эту наименьшую единицу пространства, которая отвлечена не только отъ высоты и ширины, но и отъ длины, и, слѣдовательно, отъ всякой пространственности,—эту абстракцію, не имѣющую вообще отношенія къ протяженности, а лишь къ опредѣленію границъ,—они отождествляли съ единицею, т. е. съ элементомъ счисленія. Въ силу этого число явилось имъ какъ бы нѣкой основною сущью, какою міръ вещей не только представляется мышленію, но изъ которой онъ реально возникъ, составленъ, построенъ, и притомъ такимъ образомъ, что линія, состоящая изъ двухъ точекъ, приравнивается двоицѣ, плоскость—троицѣ, а тѣло—четверицѣ. Это заблужденіе было закрѣплено одною особенностью греческаго языка и образа мышленія, которая, какъ

ни невинна была она въ своемъ истокѣ, является однако опасною въ своихъ послѣдствіяхъ. И мы еще, слѣдуя обычаю нашихъ эллинскихъ учителей, говоримъ теперь, если не объ „овальныхъ“ или „циклическихъ“, то все же—о „квадратныхъ“ и „кубическихъ“ числахъ; мы разумѣемъ подъ этимъ лишь то, что между этими продуктами и ихъ факторами существуетъ то же отношеніе, что между числовыми выраженіями соименныхъ плоскостей и тѣлъ и числовыми выраженіями ограничивающихъ ихъ линий. Но врядъ ли будетъ слишкомъ большой смѣлостью утверждать, что этотъ оборотъ рѣчи не могъ не сбить съ толку умы, не привыкшіе къ абстрактному мышленію. Развѣ трудно было принять параллелизмъ двухъ рядовъ явленій за тождество ихъ? Развѣ пространственное тѣло не могло показаться по существу тождественнымъ съ тѣмъ числомъ, которое выражаетъ количество заключающихся въ немъ единицъ пространства? И въ такомъ случаѣ развѣ число не должно было или не могло предстать по крайней мѣрѣ какъ нѣкій принципъ, или, какъ мы еще теперь говоримъ, какъ „корень“ плоскости и, затѣмъ, тѣла? И, въ особенности, развѣ выраженіе: „возвести число въ кубъ“ не вызывало собою ложнаго представленія, будто тѣло, т. е. реальная вещь, возникаетъ изъ числа, какъ нѣчто составное возникаетъ изъ своихъ элементовъ? А развѣ въ такихъ сбивающихъ съ толку оборотахъ рѣчи не заключается уже, какъ въ сѣмени, все, или, по крайней мѣрѣ, большая часть пиагорейскаго ученія о числахъ?

Большая часть, говоримъ мы, ибо одна часть этого ученія, и притомъ самая поразительная, на первый взглядъ, по крайней мѣрѣ, не подходитъ подъ это объясненіе. Къ числу сведены были не только вещи внѣшняго міра, но и міръ духа. Такъ, любовь и дружба, въ качествѣ гармоніи, находящей свое высшее проявленіе въ октавѣ, отождествлялись съ восмерицею, здоровье—съ седмерицею, справедливость—съ квадратнымъ числомъ, это послѣднее, вѣроятно, потому, что понятіе возмездія—равнымъ на равное—напоминало образованіе числа изъ двухъ равныхъ факторовъ. Вѣроятно, сходныя съ этимъ связи по ассоціаціи идей соединяли понятія съ соответствующими имъ числами и въ тѣхъ случаяхъ, въ которыхъ мы уже больше не можемъ прослѣдить этой связи. Но что же, въ концѣ концовъ, означаетъ эта исполненная великой серьезности игра мысли? Что разумѣли пиагорейцы своимъ утвержденіемъ, что и въ области духа и этики

число составляет истинную сущность всего? Отвѣтъ на это будетъ таковъ: послѣ того, какъ число было возведено въ высшій типъ реальности въ царствѣ тѣлъ, естественно было подчинить тому-же типу и другія реальности,—а такими въ ту эпоху, какъ еще и долго потомъ, считались понятія, разсматриваемыя нами теперь какъ абстракціи. Какъ намъ ни трудно себѣ это вообразить, но несомнѣнно, что пифагорейцы стояли какъ бы передъ нѣкой дилеммою: или отвергнуть самое существованіе здоровья, добродѣтели, любви, дружбы и т. д., или же признать основною ихъ сущностью то же, что считалось зерномъ всей остальной реальности, а именно число. Не слѣдуетъ также забывать о тѣхъ чарахъ, которыя, какъ на то указываетъ исторія религій, заключаются въ числѣ не только для суевѣрной массы, но и для самыхъ утонченныхъ и сильныхъ умовъ; легко себѣ представить, съ какою одурманивающей силой атмосфера этихъ всеобъемлющихъ абстракцій охватываетъ того, кто или безраздѣльно пребываетъ на этихъ высотахъ, или же не находитъ имъ достаточно сильного противовѣса въ другихъ занятіяхъ и другихъ способностяхъ. Святость троицы выступаетъ передъ нами уже у Гомера въ тѣхъ молитвахъ, которыя въ одномъ призывѣ объединяють триаду боговъ (Зевса, Аѳину и Аполлона). Въ культѣ предковъ, выдѣляющемъ изъ общей массы отца, дѣда и прадѣда какъ тритопаторесъ (триада отцовъ), какъ и въ числѣ очистительныхъ жертвъ, обрядовыхъ приношеній, поминовеній усопшихъ, въ числѣ грацій, паркъ, музъ и т. д., это число, также какъ его квадратъ—девять, занимаетъ у грековъ и италійцевъ первенствующее положеніе, не менѣе чѣмъ у восточной вѣтви арійцевъ,—не говоря уже о индусской Тримурти (троицѣ Брами, Вишну и Сивы) и родственныхъ представленій—троичности первосущностей у орфиковъ и Ферекида. И когда пифагорейцы обосновываютъ святость этого числа тѣмъ, что оно вмѣщаетъ въ себѣ начало, средину и конецъ, то этотъ аргументъ оказываетъ нѣкоторое вліяніе и на высоко-развитой умъ Аристотеля. Не безъ удивленія встрѣчаемъ мы въ умозрѣніяхъ Джордано Бруно и Огюста Конта сильные отголоски пифагорейской метафизики числа. Мѣсто, которое въ этой послѣдней принадлежитъ троицѣ, четверицѣ и декадѣ, у Огюста Конта въ позднѣйшей, религіозной фазѣ его, переходитъ къ четнымъ числамъ. Наконецъ, одинъ изъ отцовъ естествознанія въ девятнадцатомъ вѣкѣ, Лоренцъ Окенъ, не задумался помѣстить среди своихъ афоризмовъ слѣдующее положеніе: „Все, что реально, что

полагаемо, что конечно—создалось изъ чиселъ; или точнѣе: все реальное—не что иное, какъ число“. Послѣ этого намъ не должно удивлять въ устахъ Пифагора чудодѣйственное ученіе о томъ, что въ единицѣ, монадѣ, заключены обѣ глубочайшія, образующія первооснову міра, противоположности неограниченнаго и ограниченнаго, что изъ ихъ смѣшенія, произведеннаго гармоніей, возникли числа, составляющія сущность всѣхъ вещей и, слѣдовательно, весь міръ, причеъ нечетъ соотвѣтствуетъ ограниченному, а четъ—неограниченному, что, затѣмъ, декада являетъ собою совершеннѣйшее число, ибо составляетъ сумму четырехъ первыхъ чиселъ ($1+2+3+4$) и т. д., и т. д. Также намъ нечего удивляться на зародившееся въ Вавилонѣ и жадно подхваченное п высоко чтимое пифагорейцами ученіе о „таблицѣ противоположностей“, посредствомъ котораго изъ мірообразующаго контраста ограниченнаго и неограниченнаго возникаетъ пѣтый рядъ изъ девяти другихъ противоположностей, — противоположностей покоя и движенія, нечета и чета, одинаго и многаго, праваго и лѣваго, мужескаго и женскаго, прямого и кривого, свѣта и тьмы, добра и зла, квадрата и прямоугольника. Отсюда еще въ раннюю пору возникъ туманъ, который въ умѣ старѣющаго Платона уже обволокъ собою его свѣтлое ученіе обѣ идеяхъ и окуталъ тьмою многія умозрительныя теченія послѣдующаго времени. Когда утомленный древній міръ къ началу нашего лѣтосчисленія слилъ воедино множество положительныхъ системъ, неопифагорейство примѣшало къ этой смѣси долю мистики, — ту пряность, которая одна могла сдѣлать это нелакомое блюдо сноснымъ для пресыщеннаго вкуса вырождающагося вѣка.

Итакъ,—спросить намъ удивленный читатель,—первые „точные“ изслѣдователи были вмѣстѣ съ тѣмъ и первыми, оказавшими наибольшее вліяніе мистиками? Именно такъ. Это удивленіе, однако, обнаружить недостаточное знакомство съ особенностями математическаго ума. Правда, что острая ясность мысли, доходящая порою до односторонняго непризнанія міровой загадки, является плодомъ индуктивнаго изслѣдованія, которому свѣтитъ своимъ немеркнущимъ свѣточемъ наука о пространствѣ и числѣ. Однако, въ научной дѣятельности пифагорейцевъ опытъ и наблюденіе занимали сравнительно скромное мѣсто, отчасти потому, что искусство эксперимента вообще находилось еще въ младенческомъ состояніи, отчасти же потому, что математическія дисциплины не достигли еще достаточнаго развитія, чтобы въ

полной мѣрѣ служить основою физическимъ изслѣдованіямъ. Кромѣ приведеннаго уже акустическаго основнаго опыта мы не знаемъ другихъ экспериментальныхъ достиженій Пиеагора, тогда какъ заслуги его въ области геометріи и ариеметики (припомнимъ теорему, носящую его имя, и обоснованіе ученія о пропорціяхъ) никѣмъ не оспариваются. Между тѣмъ односторонній математическій умъ носитъ своеобразную печать. Чистый математикъ всегда склоняется къ безусловнымъ сужденіямъ. Да и какъ могло бы быть иначе? Ему знакомы только либо удачныя, либо неудавшіяся доказательства. Пониманіе оттѣнковъ, тонкое различеніе, гибкость, присущая историческому уму, совершенно чужды ему. (Кстати можно отмѣтить полярную противоположность между Гераклитомъ, отцомъ релятивизма, и абсолютизмомъ „математиковъ“.) Отношеніе математическаго ума ко всей области вѣроятнаго и недоказуемаго въ полной зависимости отъ случайностей темперамента и воспитанія. У него нѣтъ мѣрила для оцѣнки религіозныхъ и другихъ народныхъ преданій. Иной разъ въ своей гордынѣ разума онъ радикально отвергаетъ ихъ всѣ, какъ „нелѣпость“, иной разъ вольно подчиняется ярму преданія. Въ концѣ концовъ гордое строеніе этихъ наукъ слагается изъ многихъ этажей; опытное основаніе, на которомъ они покоются, исчезаетъ подъ высоко вознесшимися башнями, — оно слишкомъ невелико объемомъ, сознаніе такъ рано осваивается съ нимъ, что его эмпирическое происхожденіе легко забывается. Поэтому-то случается, что представителямъ этихъ научныхъ отраслей строгая послѣдовательность и замкнутость ученія слишкомъ часто замѣщаютъ собою недостатокъ внѣшнихъ обоснованій; слишкомъ часто строгость дедукцій совмѣщается въ ихъ головахъ съ субъективнымъ произволомъ въ установленіи предпосылокъ. Припомнимъ также и то, что основаніе пиеагорейской школы было положено въ вѣкъ господства благочестія, что самъ Пиеагоръ былъ движимъ религіозными побужденіями не менѣе, чѣмъ научными, что обаяніе его личности заключалось не только въ ея импонирующей силѣ, но и въ томъ сіяніи, которымъ такъ часто осѣняютъ чело преуспѣвашаго новатора провозглашеніе новыхъ ученій и введеніе чуждыхъ обычаевъ, — и тогда мы поймемъ многое, что намъ казалось непонятнымъ. Старшіе пиеагорейцы, славившіеся своими суевѣрными склонностями и недостаткомъ критики, были тяжеловѣсными и неуклюжими умами. Больше чѣмъ другіе ученики они клялись словами своего учителя: „онъ

самъ сказалъ“ (autòs épha) — этотъ излюбленный ихъ возгласъ былъ имъ магическимъ щитомъ, который отбрасывалъ всѣ нападкы противника и отгонялъ всѣ сомнѣнія. Укоряли ихъ также и въ томъ, что они искажали явленія природы въ угоду заранѣе принятымъ взглядамъ и домыслами заполняли пробѣлы своей системы. Живя и пребывая въ своей наукѣ чисель, они, по словамъ Аристотеля, „соединили и приладили другъ къ другу все то, что въ числахъ и гармоніяхъ, по ихъ мнѣнію, соотвѣтствовало состояніямъ и частямъ неба и вселенскаго мірового строя. Если же гдѣ чего недоставало, они прибѣгали къ нѣкоторому произволу, лишь бы внести полное согласіе въ свою теорію. Я разумѣю на примѣръ то, что, признавъ число десять — совершеннѣйшимъ и вмѣщающимъ полноту всѣхъ чисель, они провозгласили, что и движущихся тѣлъ небесныхъ также десять; однако же въ дѣйствительности видимы только девять тѣлъ, — вотъ они и выдумали десятое — противуземлю.“ Еще рѣзче отмѣчаетъ этотъ свойственный имъ пріемъ тотъ-же Аристотель въ слѣдующихъ словахъ: „Далѣе построили они вторую, противопоставленную нашей, землю, которую они назвали противуземлю, причемъ они искали своихъ теорій и объясненій, не согласуя ихъ съ фактами, а, наоборотъ, факты искажали, согласуясь съ извѣстными теоріями и излюбленными взглядами своими, и воображали себя, такимъ образомъ, какъ бы соустроителями вселенной“.

3. Однако, чтобы вполне оцѣнить справедливость этого сужденія, слѣдуетъ сперва бросить взглядъ на астрономію пифагорейцевъ. Именно на этомъ полѣ ихъ дѣятельности всего ярче выступаютъ какъ слабости, такъ и положительныя качества ихъ метода изслѣдованія, и здѣсь они всего тѣснѣе сплетаются между собою, порою спаиваясь въ нерасторжимое цѣлое. Какъ мы можемъ припомнить, уже Анаксимандръ мыслилъ землю отдѣленною отъ ея мнимой подставки, свободно рѣющей въ пространствѣ и занимающей центръ вселенной. Повидимому, ни самъ Пифагоръ, ни его ближайшіе послѣдователи не подвергли сомнѣнію ни недвижимое равновѣсіе земли, ни центральное положеніе ея. Но въ то время, какъ Анаксимандръ лишь въ томъ отдѣлился отъ господствовавшаго прежде представленія о землѣ, какъ о плоскомъ дискѣ, что мыслилъ ее въ цилиндрической формѣ, Пифагоръ пошелъ далѣе. Онъ призналъ и возвѣстилъ шарообразную форму земли. Мы не могли бы сейчасъ сказать, чему мы болѣе всего обязаны этимъ важнымъ достиже-

ніемъ: правильному ли толкованію явленій (главнымъ образомъ закругленной формы земной тѣни, различимой въ лунномъ затмѣніи,) или тому необоснованному положенію, что, ввиду сферической формы неба, та же форма должна быть присуща и отдѣльнымъ небеснымъ тѣламъ, или же, наконецъ, предрасудку, въ силу котораго имъ подобаешь „совершеннѣйшая“ форма тѣлъ—т. е. сферическая. Какъ бы то ни было, этимъ былъ сдѣланъ новый, значительный шагъ въ направленіи истинной, коперниковой теоріи вселенной. Ибо шаровидная форма была приписана не только землѣ, но безъ сомнѣнія также и лунѣ, чьи фазы быть могутъ болѣе всего способствовали установленію правильнаго взгляда, и солнцу, и планетамъ,—такимъ образомъ, было устранено исключительное и привилегированное положеніе нашего небеснаго тѣла. Оно стало свѣтиломъ среди свѣтилъ. вмѣстѣ съ тѣмъ шаровидная форма наиболѣе способствовала его движенію въ мировомъ пространствѣ. Кораблю, если можно такъ выразиться была сообщена самая удобная для плаванія форма, якоря отрѣзаны,—недоставало только мощнаго импульса движенія, чтобы двинуть его изъ мирной гавани. Давленіе болѣе точно изученныхъ фактовъ въ соединеніи съ постулатами школы доставили этотъ импульсъ и вмѣстѣ съ тѣмъ привели къ построенію астрономической теоріи, которая, какъ бы часто она ни осмѣивалась, все же разсмотрѣнная при ясномъ свѣтѣ, пролитомъ на нее непредубѣжденнымъ изслѣдованіемъ нашего времени, является въ нашихъ глазахъ однимъ изъ своеобразнѣйшихъ и геніальнѣйшихъ твореній эллинскаго духа.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Дальнѣйшее развитіе пифагорейскихъ ученій.

Вольтеръ обозвалъ „галиматьей“ астрономическое ученіе младшихъ пифагорейцевъ, связанное съ именемъ Филолая, а Джорджъ Корнуэль Льюисъ ругаетъ его „дикимъ бредомъ“. И великій, но слишкомъ скорый на сужденія французъ и черезчуръ глубокомысленный бритъ, оба на этотъ разъ сильно промахнулись. Правда, это ученіе сплетено изъ истины и вымысла. Но въ то время, какъ истина является жизнеспособнымъ и здоровымъ зерномъ его, вымыселъ окружалъ его лишь тонкой обо-

лочкой, которая скоро порвалась и, на подобіе ключевъ тумана, разсѣялась въ воздухъ. Но чтобы вполне понять побужденія, породившія эту систему мірозданія, необходимо бросить взглядъ на простѣйшія астрономическія явленія.

Ежедневно солнце совершаетъ свой путь съ востока на западъ. вмѣстѣ съ тѣмъ оно восходитъ на небѣ каждый день все выше, чтобы, по истеченіи нѣсколькихъ мѣсяцевъ, начать спускаться съ достигнутой высшей точки. Соединеніе суточного и годового движенія солнца даютъ какъ бы подобіе винтообразныхъ изгибовъ или спирали вродѣ тѣхъ, которыя мы видимъ на раковинѣ улитки, причемъ, какъ и на этой послѣдней, промежутки между этими поворотами становятся тѣмъ уже, чѣмъ ближе они къ высшей точкѣ. Это представленіе едва ли могло удовлетворить тѣ умы, которые приступали къ изученію небесныхъ движеній въ полномъ довѣрїи къ ихъ „простотѣ, постоянству и строю“. Можно, конечно, назвать эту вѣру предрассудкомъ. Однако же это апріорное мнѣніе до извѣстной степени подтверждалось фактами тѣмъ полнѣе и безусловнѣе, чѣмъ точнѣе познавались они,—но и тамъ, гдѣ этого подтвержденія не доставало, это мнѣніе, подобно родственному ему предположенію неизмѣнной цѣлесообразности въ строеніи организмовъ, оказывало великія услуги въ качествѣ правила изслѣдованія. Однако, во власти изслѣдователей была возможность избавиться отъ этой сбивчивой незакономѣрности. Ибо сложное движеніе можетъ быть незакономѣрнымъ, хотя бы составляющія его частичныя движенія и были закономѣрны, и тогда должно произвести разложеніе. Цѣль была достигнута, когда суточное движеніе солнца было отдѣлено отъ его годового движенія. Тогда сверкнула въ умѣ этихъ раннихъ изслѣдователей гениальная догадка о томъ, что суточное движеніе солнца, также какъ и луны и звѣзднаго неба въ его цѣломъ, не реально, а есть лишь призрачная видимость. Предположеніе о томъ, что земля движется съ запада на востокъ дѣлало излишнимъ допущеніе обратнаго движенія солнца и луны, планетъ и всего неба неподвижныхъ звѣздъ. Но постигли-ли и провозгласили-ли уже тогда эти пифагорейцы движеніе земли вокругъ ея оси? Не движеніе вокругъ оси, но нѣкоторое движеніе, которое по дѣйствию своему совпадало съ тѣмъ. Это было какъ бы движеніе вокругъ оси земнаго шара, значительно увеличеннаго въ объемѣ своемъ. А именно, земля, по ихъ мнѣнію, въ двадцать четыре часа вращалась вокругъ какого-то центра. Мы сейчасъ займемся природой

этого центра. Но сперва обратимъ вниманіе читателя на то, что какъ для любой точки земной поверхности, такъ и для измѣняющагося положенія ея относительно солнца, луны и звѣздъ не составляетъ не малѣйшей разницы, совершаетъ ли шаръ, на которомъ эта точка находится, суточный оборотъ вкругъ собственной оси, или же вращается по кругу, обращаясь къ центру неизмѣнно одною и тою же стороною, и къ концу того же срока занимая начальное положеніе. Едва ли можно въ полной мѣрѣ оцѣнить величіе этого завоеванія. Открытіемъ кажущихся небесныхъ движеній была пробита плотина, заграждавшая путь дальнѣйшему прогрессу. Отрѣшившись отъ идеи центральнаго положенія и неподвижности земли, наука вступила на путь, который могъ привести и (что недостаточно извѣстно) съ изумляющей быстротою привелъ къ Коперникову ученію. И должно ли насъ удивлять, что сперва было установлено не ученіе о вращательномъ движеніи земли, а изложенный выше эквивалентъ его? Мы не можемъ воспринимать непосредственно вращеніе небеснаго тѣла около его оси, тогда какъ ежедневно и ежечасно воспринимаемъ перемѣны его положенія. Поэтому было вполне естественно, что послѣ того мощнаго усилія мысли, которое впервые разсѣяло обманъ чувствъ, научное воображеніе удовлетворилось тѣмъ, что замѣнило кажущуюся неподвижность земли движеніемъ, построеннымъ по знакомому образцу, а не такимъ, которое по характеру своему единственно и неслышанно.

По этому новому ученію не только земля вращается вкругъ нѣкаго центра, но и тѣ небесныя тѣла, для которыхъ доселѣ земля являлась центромъ ихъ круговаго движенія;—прежде всего луна, совершающая оборотъ въ мѣсяцъ, солнце, совершающее его въ годъ, затѣмъ—пять видимыхъ простымъ глазомъ планетъ, которыя описываютъ свои круги въ различные и (за исключеніемъ Венеры и Меркурія) несравненно болѣе долгіе сроки; наконецъ, небо неподвижныхъ звѣздъ, суточный оборотъ котораго былъ признанъ кажущимся, и которому также было приписано круговое движеніе, въ высшей степени медленное—ради соблюденія ли гармоніи съ остальными небесными тѣлами, или же (что болѣе вѣроятно) вслѣдствіе того, что уже тогда небезизвѣстны были тѣ измѣненія положеній, которыя мы знаемъ, какъ предвареніе равноденствій. И такъ какъ измѣренъ былъ наклонъ плоскости, по которой совершается суточный оборотъ солнца (или, какъ было теперь установлено, земли), по отношенію къ плоскости круга годового движенія

солнца, движенія луны и планетъ, т. е. другими словами установлено наклонное положеніе экватора или эклиптики,—то новая теорія могла точно объяснить смѣну временъ года.

Что же представлялъ собою этотъ центръ, вокругъ котораго небесныя тѣла вращались по концентрическимъ кругамъ? Это былъ не идеальный центръ, а реальное тѣло, міровой или центральный огонь,—по словамъ враговъ Филолаева ученія: „дикая и фантастическая выдумка“, которую однако всякій, кто умѣетъ перенестись въ способъ мышленія этой ранней поры въ наукѣ и судить о ней справедливо, признаетъ „порожденіемъ сужденій по аналогіи, силъ которыхъ почти невозможно было противостоять“. Предположеніе о томъ, что небесныя тѣла описываютъ круги, не только близко приближалось къ истинѣ; оно прежде всего потому казалось неопровержимымъ, что (не говоря уже о тѣхъ састяхъ круга, которыя солнце и мѣсяцъ описываютъ на небесномъ сводѣ) никогда не заходящія, околополюсныя неподвижныя звѣзды на нашихъ глазахъ движутся по кругамъ; и если даже теперь это движеніе, вмѣстѣ съ общимъ движеніемъ всего неба неподвижныхъ звѣздъ, было признано лишь кажущимся, то во всякомъ случаѣ замѣнившему его суточному движенію земли естественно было придать тотъ же характеръ. Этимъ же данъ былъ прообразъ, которому должны были соответствовать движенія всѣхъ небесныхъ тѣлъ. Но земной опытъ не даетъ намъ примѣра кругового движенія безъ реального центра его: колесо вращается вокругъ своей оси, камень, прикрѣпленный къ шнуру, который мы вращаемъ, вертится вокругъ нашей руки, приводящей его въ движеніе. Когда, наконецъ, религиозное празднество призывало къ пляскѣ греческихъ мужей и женъ, то алтарь бога былъ тѣмъ центромъ который они обходили въ плясовомъ ритмѣ.

Однако, можно было бы спросить,—зачѣмъ было изобрѣтать центральный огонь, когда такой существуетъ въ дѣйствительности и видимъ каждому? Сознана была потребность въ средоточіи мірового движенія и въ первоисточникѣ силъ и жизни,—но, вмѣсто того чтобъ предоставить свѣтлѣющему намъ всѣмъ солнцу подобающее ему положеніе, изобрѣтено было свѣтящееся тѣло, лучей котораго человѣчскій глазъ никогда не видѣлъ и—такъ какъ земля могла быть обитаема только на сторонѣ, отвращенной отъ срединаго огня—никогда и не увидитъ. Почему было не придти прямымъ путемъ къ гелиоцентрическому ученію и не остановиться на немъ вмѣсто того, чтобъ блуждать среди вздорныхъ гипотезъ,

поистинѣ коварной проникательностью огражденныхъ отъ возможности провѣрки?

На этотъ вопросъ есть по меньшей мѣрѣ три заслуживающихъ вниманія отвѣта. Не говоря уже о томъ, что разрывъ съ показаніями чувствъ совершается всегда постепенно и что человѣческій разумъ направляется обыкновенно по линіи наименьшаго сопротивленія, но и помимо этого гелиоцентрическому ученію должна была предшествовать теорія обращенія около оси, ибо невозможно было допустить, что и суточное и годовое движеніе земли совершается вокругъ солнца;—ученію же объ обращеніи земли около оси со своей стороны долженъ былъ, о чемъ мы уже говорили ранѣе, предшествовать его пифагорейскій эквивалентъ. Вторая значительная помѣха для побѣды гелиоцентрической или коперниковой доктрины, заключалась, по нашему мнѣнію, въ полной однородности солнца и луны. Рѣшиться на утверженіе того, что великое свѣтило дня и его скромная ночная сестра, что эти два небесныхъ свѣточа, смѣняющихъ другъ друга и оборотомъ своимъ создающихъ единственную мѣру времени, что эти два столь тѣсно связанныхъ свѣтящихся тѣла—именно въ самомъ существенномъ такъ глубоко различны, что луна предназначена къ безустанному скитанію, а солнце—къ недвижности, — рѣшиться на это, несомнѣнно, можно было лишь тогда, когда всѣ другіе пути мысли были уже закрыты. Наконецъ, третье, и самое главное: солнце въ качествѣ центрального тѣла ни въ какомъ случаѣ не могло доставить мысли того удовлетворенія, которое давалъ ей міровой огонь. Наше солнце есть средоточіе планетной системы, на ряду съ которой безъ видимаго плана, безъ доступнаго разуму порядка существуютъ безчисленныя другія системы. Примириться съ этой теоріей, какъ и со всякимъ самоограниченіемъ вообще, человѣческій разумъ можетъ лишь тогда, когда тиранія фактовъ не оставляетъ ему другого выхода. Но сперва онъ ищетъ не такого раздробленнаго міропостиженія, а цѣлостной картины міра. Это исканіе порождается естественнымъ стремленіемъ къ интеллектуальному упрощенію или улегченію, къ которому въ данномъ случаѣ присоединились сильно развитыя эстетическія и религіозныя устремленія.

Ибо кто усомнится въ томъ, что фантазія и чувство играли не малую роль при разработкѣ этой картины міра? Круговращеніе божественныхъ небесныхъ тѣлъ, число которыхъ чрезъ присоединеніе вымышленной противуземли было возведено до свя-

щенной „десятерицы“, было названо „танцем“. Съ ритмомъ звѣднаго танца соединился ритмъ этимъ круговращеніемъ порождаемаго, неустанно текущаго потока звуковъ, столь извѣстнаго и прославленнаго подъ именемъ гармоніи сферъ. Центръ небснаго хоровода, міровой огонь, среди многочисленныхъ своихъ названій, какъ-то: „Матерь боговъ“, „твердыня Зевса“ и т. д., имѣлъ два имени, останавливающихъ на себѣ особенное вниманіе. Онъ назывался „алтаремъ“ и „очагомъ вселенной“. Какъ молящіеся окружаютъ алтарь, такъ кружатъ свѣтила вокругъ святаго источника всяческой жизни и всяческаго движенія. И какъ огонь очага является божественно чтимымъ средоточіемъ человѣческаго жилища, какъ пылающее, неугасимое пламя на городскомъ очагѣ въ пританеумѣ почитается освященнымъ центромъ всякой греческой общины, — такъ міровой очагъ служитъ святымъ средоточіемъ вселенной или космоса. Отсюда лучится свѣтъ и тепло, отсюда солнце почерпаетъ свой жаръ, который оно затѣмъ передаетъ обѣмъ землямъ и лунѣ на подобіе того, какъ мать невѣсты на свадебномъ обрядѣ зажигаетъ огонь для новаго очага отъ родительскаго очага, или вновъ основывающаяся колонія уноситъ съ собою огонь изъ роднаго города. Здѣсь сплетаются всѣ нити эллинскаго міровоззрѣнія: повышенная радость бытія, благоговѣніе передъ управляемой божественными силами вселенной, высокое чувство красоты, соразмѣрности и гармоніи, и не въ малой степени — культъ покоя и мира въ государствѣ и семьѣ. Такимъ образомъ, при этомъ міропостиженіи вселенная, окруженная огненнымъ кругомъ горняго „Олимпа“, какъ нѣкоей стѣною, являлась одновременно и вѣрнымъ кровомъ, и святилищемъ, и созданіемъ искусства. Другимъ вѣкамъ не пришлось уже больше видѣть столь же величественную и столь утѣшительную картину міра.

2. Намъ предстоитъ, однако, измѣрить то, чѣмъ поступился разумъ ради доставленія такого поистинѣ чудснаго удовлетворенія запросамъ души. Цѣна была не слишкомъ высока. Ибо и въ самихъ „грезахъ пиеагорейцевъ“ по большей части кроется зернышко истины; а гдѣ и его нѣтъ, тамъ открыть по крайней мѣрѣ тотъ путь, продолжая который, неизбѣжно было достигнуть истины. Что на первый взглядъ кажется произвольнѣе ученія о гармоніи сферъ? Несомнѣнно, что въ основѣ своей оно обязано происхожденіемъ эстетической потребности, облекшейся въ слѣ-

дующую проблему: какъ можетъ тамъ, гдѣ глазу предстоитъ столь чудное зрѣлище, оставаться незатронутымъ братскій органъ слуха? Однако же гипотеза, на которую опирался отвѣтъ, вовсе не была неразумной. Если пространство, въ которомъ движутся свѣтила, не совершенно пусто, то наполняющее его вещество должно находиться въ состояніи колебаній, которыя сами по себѣ могутъ быть слышимы. „Не допустимо ли“,—спрашивалъ въ наше время никто иной, какъ великій основатель эволюціонной теоріи Карлъ Эрнстъ фонъ Бэръ,—„нѣкое звучаніе мірового пространства, нѣкая гармонія сферъ, слышимая иными, чѣмъ наши, органами слуха?“ И не лишена находчивости отвѣдъ, которую наши философы давали тѣмъ, кто дивились на то, что мы въ дѣйствительности не слышимъ этого шума и этихъ звуковъ. Указывая на кузнецовъ, которые глухи къ постоянному, равномерному удару молота въ кузницѣ, они какъ бы предвосхищали ученіе Томаса Гоббса, согласно которому смѣна чувственныхъ раздраженій—перерывъ, измѣненіе степени или свойства—есть непремѣнное условіе для воспріятія ихъ. Одно лишь утвержденіе ихъ, что разница въ скорости движеній свѣтилъ создаетъ не только различіе въ высотѣ звука, но и гармоническое согласіе ихъ, какъ бы висѣло въ воздухѣ. Здѣсь художническому воображенію пиеагорейцевъ открытъ былъ широкій просторъ въ виду того, что, хотя они и опредѣляли съ приблизительной точностью части кривой, описываемыя планетами въ извѣстные промежутки времени, т. е. угловыя скорости ихъ движеній, но совершенно не въ состояніи были опредѣлять разстоянія планетъ и изъ нихъ вывести абсолютную скорость ихъ движенія.

Однако, и здѣсь мы должны будемъ придти къ болѣе снисходительному сужденію. Не нужно забывать, что незыблемое представленіе о строгомъ, правящемъ космосомъ порядкѣ и закономерности въ пиеагорейскихъ кругахъ могло опираться только на геометрическія, ариѳметическія и, въ связи съ акустикой, являющейся исходной точкой ихъ естествознанія, на музыкальныя отношенія. За этими же послѣдними признаны были абсолютная простота, симметрія и гармонія. О силахъ, вызывающихъ небесныя движенія, они ничего не знали и не гадали. Поэтому-то, кстати сказать, ихъ потребности въ порядкѣ не доставили бы удовлетворенія эллиптическіе пути планетъ, если бъ они имъ были извѣстны, ибо они не сумѣли бы увидѣть въ этихъ кривыхъ равнодѣйствующихъ двухъ прямолинейно дѣйствующихъ силъ. „Ихъ

небо все—число и гармонія“, сообщает Аристотель. Вѣрная и значительная мысль была — можно такъ опредѣлить — облечена въ несоотвѣтствующую ей форму; еще недоставало искусства найти закономерность тамъ, гдѣ она дѣйствительно была,—но все же лучше искать ее хотя бы тамъ, гдѣ ея нѣтъ, чѣмъ вовсе ее не искать.

Далѣе, предположеніе о томъ, что солнце свѣтитъ заемнымъ свѣтомъ, должно было главнымъ образомъ основываться на вышеупомянутомъ параллелизмѣ солнца и луны. Кромѣ того могло казаться, что страдаетъ единство міровой концепціи, если такъ близко отъ мірового центра будетъ находиться другой самостоятельный источникъ свѣта. Совершенно избѣгнуть его конечно нельзя было. Этимъ вторымъ источникомъ свѣта являлся упомянутый уже описывающій вселенную и заключающій въ себѣ всѣ элементы въ ихъ полной чистотѣ „Олимпъ“, отъ котораго заимствовали весь свой свѣтъ системы неподвижныхъ звѣздъ, можетъ быть, также и планеты, и часть своего свѣта—солнце, подвергающееся слишкомъ частымъ затменіямъ. Къ тому же солнце разсматривалось одновременно какъ пористое и стекловидное тѣло, равно приспособленное къ собиранію лучей и къ дальнѣйшей передачѣ ихъ. Что касается другого грандіознаго вымысла—противуземли, то здѣсь мы должны довѣриться свидѣтельству Аристотеля, утверждавшаго, что она не въ малой степени обязана своимъ происхожденіемъ святости десятирицы (см. стр. 97). Но такъ какъ введеніе новаго мірового тѣла и помѣщеніе его между землею и міровымъ огнемъ должно было вызвать многочисленныя и важныя послѣдствія, то мы не можемъ сомнѣваться въ томъ, что наблюденіе надъ этими явленіями также участвовало въ созданіи этой фѣкціи, и, слѣдовательно, она возникла въ сознаніи пифагорейскихъ изслѣдователей не въ силу одной только извѣстной великому стагириту причинѣ. Неполнота нашихъ свѣдѣній въ данной области мѣшаетъ намъ составить себѣ точное сужденіе. Однако, мнѣніе Бѣка, будто противуземля должна была служить щитомъ, скрывающимъ міровой огонь отъ глазъ земныхъ обитателей, и, такимъ образомъ, объясняла невидимость его, кажется намъ несостоятельнымъ. Задача эта въ достаточной мѣрѣ выполнялась западнымъ, обращеннымъ къ центральному огню, земнымъ полушаріемъ. Вѣроятнѣе то, что противуземля была измышлена отчасти потому, что легче было объяснить столь частыя лунныя затменія, если для этой цѣли кромѣ тѣни земли служила также и тѣнь противуземли.

Однако краснорѣчивѣе всякой аргументаціи говорятъ истори-

ческіе факты. Они свидѣтельствуютъ о томъ, что гипотеза центрального огня была скорѣе стимуломъ, нежели помѣхой научному прогрессу. Не даромъ изъ нея менѣе, чѣмъ въ полтора вѣка возникла гелиоцентрическая теорія. Фантастическія порожденія системы Филолая распались одинъ за другимъ,—начало этому положила противуземля. Расширеніе географическаго горизонта нанесло смертельный ударъ этому измышленію. Когда, самое позднее въ четвертомъ вѣкѣ, въ Грецію проникли болѣе точныя свѣдѣнія объ открытіяхъ, сопровождавшихъ путешествіе кареагенца Анно, проникшаго за считавшійся непереступимымъ западный предѣлъ земли, за Геркулесовы Столпы (Гибралтарскій проливъ), и когда, вскорѣ затѣмъ, благодаря походу Александра въ Индію, знаніе восточной Азіи также приобрѣло болѣе опредѣленный характеръ, тогда покачнулась почва, на которой пифагорейцы возвели свое зданіе гипотезъ. Сталъ доступнымъ какъ бы нѣкій сторожевой постъ, съ котораго должна была открыться взору предполагаемая противуземля. И когда все же не увидѣли ни ея, ни лишеннаго теперь послѣдней защиты центрального огня, тогда неизбежно рушилась эта часть пифагорейской міровой системы. На этомъ дѣло не остановилось. вмѣстѣ съ отказомъ отъ мнимаго центра суточного круговращенія земли, пришлось отказаться и отъ него самого; мѣсто того, что мы назвали эквивалентомъ ученія объ обращеніи земли около оси, заняло теперь само это ученіе. Э к ф а н т ъ, одинъ изъ младшихъ пифагорейцевъ, училъ тому, что земля вращается вокругъ своей оси. Къ этому этапу пути, ведущаго къ гелиоцентрической теоріи, вскорѣ присоединился еще одинъ. Явленіе необыкновеннаго прироста свѣта, наблюдаемое по временамъ на планетахъ, было сперва замѣчено по отношенію къ Меркурію и Венерѣ. Невозможно было объяснить этотъ феноменъ иначе, какъ его истинной причиною, т. е. временнымъ приближеніемъ этихъ блуждающихъ свѣтилъ къ землѣ. Этимъ же доказывалась невозможность предположенія, что они вращаются вокругъ земли концентрическими кругами. И такъ какъ именно два ближайшіе сосѣда солнца своимъ оборотомъ вокругъ него въ теченіе года всего яснѣе выдавали свою принадлежность къ этому свѣтилу, то изъ всѣхъ планетъ они были первыми, движенія которыхъ были связаны съ движеніемъ солнца. Это было великимъ дѣломъ геніальнаго, скрывавшаго мощный духъ въ безобразномъ тѣлѣ, равно искуснаго въ разныхъ областяхъ науки и литературы Гераклида изъ Гера-

клѣи на Черномъ морѣ, человѣка, посѣщавшаго школы Платона и Аристотеля, но также бывшаго и въ живомъ общеніи съ послѣдними пиеагорейцами. Однако, и на этомъ еще нельзя было остановиться. Такъ какъ и Марсъ также претерпѣвалъ значительныя колебанія силы свѣта, замѣченныя и при тогдашнихъ, столь несовершенныхъ, средствахъ наблюденія, то была протянута нить, связующая обѣ внутреннія планеты съ одною, по крайней мѣрѣ, изъ внѣшнихъ. Греческая мысль приближалась къ той точкѣ зрѣнія, которая въ новое время была представлена Тихо Браге, учившимъ, что всѣ планеты, за исключеніемъ земли, вращаются вокругъ солнца, а это послѣднее, вмѣстѣ со своей планетной свитою,—вокругъ земли. Послѣдній и рѣшительный шагъ сдѣлалъ наконецъ (въ 280 до Р. Х.) Коперникъ древняго міра—Аристархъ Самосскій, и еще до него,—хотя и не въ столь опредѣленной формѣ, —вышеупомянутый понтіецъ Гераклидъ. Поводомъ къ совершенію этого великаго духовнаго дѣянія послужило распространившееся, благодаря изслѣдованіямъ Эвдокса, убѣжденіе въ томъ, что солнце величиною своею значительно превосходитъ землю. Аристархъ считалъ его въ семь разъ превосходящимъ землю. Какъ ни несовершенно было это измѣреніе, какъ ни уступало оно дѣйствительности, все же этого было уже достаточно, чтобы понять несообразность предположенія, будто огромный огненный шаръ, словно какой-то тѣлохранитель, обѣгаетъ маленькое небесное тѣло, служащее намъ обителю. У земли снова было отнято недавно лишь отвоеванное ею господствующее положеніе,—геоцентрическое міросозерцаніе было замѣнено геліоцентрическимъ; достигнута цѣль, путь къ которой открытъ и, указанъ былъ Пиеагоромъ и его учениками,— правда лишь затѣмъ, чтобы вскорѣ быть снова оставленною и на долгій рядъ вѣковъ уступить мѣсто охраняемому религіознымъ чувствомъ древнему заблужденію.

Однако давно пора, не забѣгая далѣе въ исторію, возвратиться къ нашей исходной точкѣ—древнѣйшимъ пиеагорейскимъ ученіямъ. Ничто не мѣшаетъ намъ теперь продолжить нить изслѣдованія, прерванную въ концѣ второй главы.

ПЯТАЯ ГЛАВА.

Орфико-пифагорейское учение о душѣ.

1. Орфическое и пифагорейское учения могутъ быть названы женскимъ и мужскимъ воплощеніемъ одного и того же основного теченія. Въ первомъ беретъ верхъ мечтательная фантазія, во второмъ—разумная жажда знанія; въ одномъ—потребность личнаго спасенія, въ другомъ — забота о государствѣ и обществѣ. У орфиковъ преобладаетъ стремленіе къ чистотѣ и боязнь грѣха, у пифагорейцевъ — жажда повысить уровень нравовъ и гражданскаго строя; съ одной стороны—недостатокъ мужественной вѣры въ себя, покаянная аскеза, съ другой—строгая дисциплина и нравственность, выработавшіяся подъ вліяніемъ музыки и самоиспытаній. Въ первомъ случаѣ члены общины составляли религіозное братство, во второмъ—рыцарскій орденъ, носящій нѣсколько политическій характеръ. Орфикамъ были незнакомы математическія и астрономическія изслѣдованія; пифагорейцамъ — космогоническое и теогоническое творчество. Но несмотря на всѣ эти различія, мы видимъ здѣсь изумительное единство, обѣ секты неоднократно сливаются, и часто бываетъ невозможно опредѣлить, которая изъ двухъ сторонъ воздѣйствуетъ на другую.

Болѣе опредѣленно выступаетъ различіе въ ихъ отношеніи къ одной изъ важныхъ сторонъ ученія о душѣ, къ такъ называемой метампсихозѣ или переселенію душъ. „По пифагорейскимъ мнѣямъ, говоритъ Аристотель, всякая душа переходитъ произвольно въ любое тѣло“. А Ксенофанъ (—не говоря уже о свидѣтельствахъ многихъ позднѣйшихъ писателей—), будучи современникомъ Пифагора и лишь немногимъ моложе его, рассказываетъ въ стихѣ, дошедшемъ до насъ, что услышавъ однажды, какъ визжала собака, которую били, Пифагоръ воскликнулъ, полный состраданія: „Перестань, не бей ее! Въ ней живетъ душа моего друга, я узнаю ее по голосу!“ Такой рассказъ—а что это не достовѣрный фактъ, на это указываютъ вступительныя слова Ксенофана: „говорятъ, будто“... — не могъ бы возникнуть, еслибъ вѣрованіе, лежащее въ основѣ такого случая не было характернымъ для Пифагора, который, по свидѣ-

тельству Эмпедокла, не мало чудеснаго рассказывалъ о пред-жизненномъ существованіи собственной души.

Вникнемъ глубже въ это странное ученіе. Впрочемъ, однимъ лишь намъ кажется страннымъ это вѣрованіе, равно присущее уже галльскимъ друидамъ и средневѣковымъ друзьямъ, вѣрованіе, которое еще понынѣ исповѣдуютъ зулусы и гренландцы, сѣвероамериканскіе индѣйцы и даяки съ острова Борнео, бирманскіе кары и туземцы острова Гвинеи, не говоря уже о доннынѣ многочисленныхъ послѣдователяхъ браманской и буддійской религій,—вѣрованіе, которое въ свое время пользовалось вниманіемъ и сочувствіемъ Спинозы и Лессинга. Уже самая распространенность его указываетъ на то, что корни его таятся глубоко въ чувствахъ и мысляхъ человѣка. Прежде всего, вѣрованіе въ переселеніе чело-вѣческихъ душъ въ тѣла животныхъ и даже растеній и обратно, (что было не у всѣхъ названныхъ народовъ и сектъ)—обусловливается отсутствіемъ въ душѣ вѣрующаго гордости, воздвигающей непереходимыя грани между этими царствами природы. Намъ кажется, что къ этому долженъ былъ привести слѣдующій ходъ мыслей. Прежде всего, душа, подвижность и, если можно такъ выразиться, перелетность которой доказываютъ состоянія сна, экстаза, одержимости, естественно должна была искать и находить себѣ новую обитель, когда ея бренное жилище распадалось. Почему бы душѣ не мѣнять тѣла, подобно тому, какъ человѣкъ мѣняетъ одежды? Далѣе возникалъ вопросъ: откуда происходятъ всѣ эти души, на краткій срокъ вселяющіяся въ людей, въ животныхъ и въ растенія? Неужели ихъ такое же множество, какъ и этихъ недолговѣчныхъ существъ, съ которыми они временно связаны? Ребенокъ умираетъ въ раннемъ дѣтствѣ. Значить-ли это, что душа его также краткосрочна, или же она искони вѣковъ существовала и ждала лишь этого недолгаго воплощенія? И что же слѣдуетъ за нимъ? Неужели духовное существо, одаренное силой оживлять тѣла людей и животныхъ, проявляетъ эту силу лишь втеченіе нѣсколькихъ недѣль, дней, часовъ, или минутъ, чтобъ потомъ погрузиться навсегда въ неподвижность? Но и помимо такихъ случаевъ легче было допустить, что количество этихъ нетлѣнныхъ и во всякомъ случаѣ высшихъ сущностей значительно ограниченнѣй тѣхъ быстро смѣняющихся, вѣчно нарождающихся и умирающихъ грубо-матеріальныхъ существъ, которыми они управляютъ подобно военачальникамъ, всегда менѣе численнымъ, чѣмъ предводимые ими солдаты. Выстѣ съ первыми проблесками болѣе строгаго мышленія всѣ эти

смутныя аналогіи были сведены къ болѣе опредѣленной формулѣ. Почти всѣмъ людямъ всегда было и понынѣ свойственно вѣрить, что душа переживаетъ тѣло. Такъ какъ нѣтъ причины умирать ей и въ дальнѣйшемъ, то существованіе ея становилось по немногу все болѣе неограниченнымъ, а послѣ того какъ создано было понятіе вѣчности—ее признали безсмертной. И ввиду того, что все, имѣющее начало, оказывается недолговѣчнымъ, естественно должна была возникнуть мысль, что непреходящее—не возникаетъ, что вѣчности загробнаго существованія соотвѣтствуетъ и вѣчность предшествовавшей рожденію жизни (предсуществованіе). И наконецъ, когда забрезжила догадка—хотя бы только въ умахъ передовыхъ культурныхъ народовъ,—что и въ царствѣ матеріи въ сущности нѣтъ возникновенія и исчезновенія, а скорѣе происходятъ непрерывныя измѣненія и круговращеніе, то не могло не явиться по аналогіи предположеніе, что и въ мірѣ духовномъ происходитъ такой же круговоротъ, причемъ одна и та же сущность безковечно мѣняетъ свою земную оболочку и послѣ неисчислимыя превращенія можетъ снова принять одинъ изъ прежнихъ, или даже первичный свой образъ.

Эти и подобныя этимъ соображенія естественно могли бы породить у грековъ, также какъ и у другихъ народовъ, вѣру въ переселеніе душъ. Тѣмъ не менѣе очевидно этого не было въ данномъ случаѣ. Ни у кого не встрѣчаемъ мы указаній на это, и, наконецъ, еслибъ эта вѣра издавна привилась на греческой почвѣ, о ней не могъ бы не знать много странствовавшей и свѣдущій во всемъ Ксенофанъ. Ему не пришло бы въ голову выставить это ученіе, какъ характеризующее одного лишь Пиеагора, котораго онъ и осмѣлялъ по этому поводу. Еще одно соображеніе общаго характера утверждаетъ насъ въ этомъ мнѣніи. Народному духу Греціи никогда не была особенно свойственна любовь къ животнымъ, изъ которой вырастаетъ это ученіе,—за рѣдкими единичными исключеніями тамъ никогда не было священныя животныхъ, какъ въ Индіи и Египтѣ. вмѣстѣ съ тѣмъ было бы весьма невѣроятнымъ предположить, что Пиеагоръ самъ изобрѣлъ вѣрованіе, распространено среди столькихъ народовъ. Такимъ образомъ проблема сводится къ вопросу о томъ, у какого народа и у какой религіи заимствовалъ свое ученіе мудрецъ, славившійся столь широкой образованностью? (Ср. стр. 88) Въ отвѣтъ на это Геродотъ ссылается на Египетъ, откуда, по его словамъ, хорошо извѣстные ему люди, называть которыхъ онъ однако не хочетъ, занесли въ Грецію ученіе о

душепереселеніи. Но то, что мы знаемъ о египетскомъ ученіи о душѣ не позволяетъ намъ окончательно остановиться на этомъ утвержденіи. „Книга мертвыхъ“ дѣйствительно говоритъ о дарованной чистымъ душамъ власти принимать любые облики животныхъ и растений; душа можетъ явиться „сегодня въ образѣ цапли, завтра въ видѣ жука, а послѣ завтра цвѣткомъ лотоса подняты, ся изъ воды“; она можетъ воплотиться „въ птицу Феникса, въ гуся, ласточку, въ ибиса, журавля и въ гадюку“. И злыя души, безъ устали мятущіяся между небомъ и землею, ищутъ себѣ человѣческое тѣло, чтобъ поселившись въ немъ, измучать его болѣзнями, привести его къ убійству, безумію, и т. д. Но египетскія писмена, по крайней мѣрѣ поскольку они разобраны до нынѣ, ничего не сообщаютъ о „правильномъ круговращеніи, совершаемомъ душой черезъ всѣ твари земныя, воздушныя и водныя, чтобъ черезъ 3.000 лѣтъ снова принять обликъ человѣчій“, на которое указываетъ Геродотъ. Быть можетъ, мы узнаемъ это изъ дальнѣйшихъ результатовъ еще не оконченныхъ и часто противорѣчивыхъ изслѣдованій, но до тѣхъ поръ мы не можемъ положить на показанія Геродота.

Гораздо больше сходства встрѣчаемъ мы между пифагорейскимъ и индійскимъ ученіями о переселеніи душъ не только въ общихъ чертахъ, но и въ частностяхъ, какъ напр. въ связанномъ съ ними вегетаріанствѣ, и въ самыхъ формулахъ выражающихъ вѣрованіе: „кругъ“ и „колесо“ рожденій. Здѣсь ясно, что мы имѣемъ дѣло не съ простой случайностью. Разумѣется, намъ пришлось бы отказаться отъ такой догадки, еслибъ для подтвержденія ея было необходимо, чтобъ Пифагоръ лично обучался у индійскихъ жрецовъ или же воспринялъ ихъ вліяніе черезъ посредничество буддизма. Но и то, и другое было совершенно излишне. Намъ не должно казаться рискованнымъ предположеніе, что любознательный грекъ имѣлъ болѣе или менѣе опредѣленные познанія во всѣхъ религіозныхъ ученіяхъ своего времени черезъ посредство персовъ, тѣмъ болѣе, что, какъ азіатскіе греки, такъ и часть индійскаго племени были подвластны одному и тому же правителю, основателю персидскаго царства Киру, уже въ то время, когда Пифагоръ еще жилъ на своей родинѣ въ Іоніи. Но изъ какого бы источника ни произошло это вѣрованіе,—оно во всякомъ случаѣ такъ тѣсно сплелось съ орфическими доктринами, что теперь необходимо изложить орфико-пифагорейское ученіе, различныя теченія котораго болѣе извѣстны намъ въ своемъ синтезѣ, и прежде

всего—то основное учение, изъ котораго выдѣлилась метампсихоза, какъ самостоятельная, по весьма существенная часть его.

2. Это учение можетъ быть въ общемъ сведено къ одному знаменательному выраженію: грѣхопаденіе души. Душа—божественнаго происхожденія; земное существованіе недостойно ея. Тѣлесная оболочка для нея—оковы, плѣнь, могила. Одно лишь прегрѣшеніе могло низвергнуть ее изъ небесной славы къ низменной земной жизни. За свой проступокъ она должна понести кару и покаяться,—только искупленіе и очищеніе дадутъ ей возможность вернуться на свою истинную родину, въ міръ божества. Это очищеніе и искупленіе бываетъ двоякимъ: наказанія въ преисподней и круговоротъ рожденій.

Трудно было вначалѣ объединить два столь различныхъ средства къ достиженію одной и той же цѣли. На основаніи какъ этого, такъ и еще другихъ причинъ можно предположить, что муки преисподней были позднѣйшимъ орфическимъ добавленіемъ слившимся съ первоначальной пифагорейской метампсихозой.

До сихъ поръ мы разсматривали орфиковъ какъ основателей своеобразныхъ космогоническихъ доктринъ и лишь съ этой стороны познакомились съ ихъ мышленіемъ. Чтобъ оно выступило еще ярче, необходимо остановиться на мифѣ, стоящемъ въ центрѣ ихъ религіознаго ученія. Это—сказаніе о Діонисѣ-Загрѣѣ. Діонисъ былъ сыномъ Зевса и Персефоны, и отецъ уже съ дѣтства даровалъ ему власть надъ вселенной. За это его преслѣдуютъ Титаны, вступавшіе передъ тѣмъ въ борьбу съ Ураномъ и побѣжденные имъ. Божественный младенецъ спасается отъ ихъ злыхъ козней путемъ многообразныхъ превращеній, пока они наконецъ не достигаютъ его въ обликѣ быка, не разрываютъ на части и не поглощаютъ. Афина спасаетъ его сердце, которое проглатываетъ Зевсъ, чтобъ породить „новаго Діониса“. Титановъ онъ сражаетъ стрѣлами своей молніи, чтобъ наказать ихъ за злодѣяніе. Изъ пепла ихъ возникаетъ человѣческій родъ, въ которомъ титаническая воля смѣшана съ діонисійскимъ элементомъ, произошедшимъ отъ крови Загрея. Титаны—воплощеніе злого, Діонисъ—добраго начала. Ихъ соединеніе порождаетъ бушующую въ человѣческой груди борьбу, между началомъ божественнымъ и противоборствующимъ ему. Такимъ образомъ—странное преданіе о богахъ, на которомъ мы не будемъ останавливаться здѣсь болѣе подробно,

переходить въ дидактическій міѳъ, поясняющій раздвоеніе чело-вѣческой природы и составляющія ея глубочайшую сущность разладъ и противорѣчіе.

Глубокое сознаніе этого противорѣчія, этого рѣзкаго контраста между земнымъ страданіемъ и земной грѣховностью съ одной стороны, и божественной чистотой и блаженствомъ—съ другой, составляетъ истинное зерно орфико-пиеагорейскаго міровоззрѣнія. Отсюда—потребность очищенія, искупленія и окончательнаго спасенія. Нелегко достигнуть этой цѣли,—мало одной земной жизни, чтобъ освободить душу отъ первороднаго грѣха, тяготѣющаго на ней, и отъ дальнѣйшихъ преступленій, затемнившихъ ее. Долгій рядъ новыхъ рожденій и жизней представляетъ собой тысячелѣтнее покаянное шествіе души, изрѣдка прерываемое и обостряемое наказаніями, которыя она претерпѣваетъ въ „гееннѣ огненной“, и лишь когда нибудь избудетъ она всѣ свои муки и достигнетъ конца своего странствія. Чистымъ демономъ (духомъ) возвращается она въ кругъ боговъ, изъ котораго изошла. „Я вышла изъ тягостнаго, скорбеобильнаго круга!“ — такъ гласитъ зажженный надеждой возгласъ души, „полностью искупившей всѣ злыя дѣянія“ и представшей нынѣ съ мольбою объ охранѣ передъ „царицей преисподней, священной Персефоной“ и другими подземными боже-ствами, къ „блаженному роду“ которыхъ она себя причисляетъ. Она хочетъ быть направленной ими къ „престолу безгрѣшныхъ“ и услышать спасительныя слова: „Богомъ будешь ты, а не смертнымъ“. Эту надпись читаемъ мы на трехъ золотыхъ пластинкахъ отъ III и IV вѣка (ср. стр. 75), вложенныхъ въ могилу и найденныхъ близъ древнихъ Турій, т. е. въ мѣстности, обитаемой нѣкогда пиеагорейцами. Эти разрозненныя строки являются различными редакціями одного общаго древнѣйшаго текста. Въ соединеніи съ нѣкоторыми другими надписями (частью—того же вѣка и той же мѣстности, частью—найденными на островѣ Критѣ и относящимися ко времени упадка Рима), указующими душѣ ея пути въ преисподней и точно совпадающими формой и отдѣльными выраженіями, они составляютъ скудные остатки того, что мы можемъ назвать орфической „книгой мертвыхъ“ и что, мы надѣемся, будетъ вскорѣ пополнено новыми находками.

3. Возможно слѣдующее предположеніе. О „грѣхопадѣніи“ душъ равно умалчиваютъ какъ вышеприведенные сакральные тексты, такъ и древнѣйшіе глашатаи орфическаго ученія, поэтъ Пиндаръ

и философъ Эмпедокль. Конечно, это могло быть случайностью. И дошедшіе до насъ памятники въ обоихъ случаяхъ не полны. Но могло быть и иначе. Этотъ главный орфическій догматъ могъ съ теченіемъ времени подвергнуться нѣкоторымъ измѣненіямъ. Весьма вѣроятно, что къ „паденію души на землю“ лишь въ послѣдствіи было добавлено его объясненіе, какъ „искупленія вины“. Если допустить это, то въ основу орфической доктрины лягутъ три слѣдующихъ элемента: пессимистическій взглядъ на жизнь, обезцѣнивающій земное существованіе и его блага, глубокая вѣра въ божественную справедливость, награждающую каждую заслугу и карающую всякое преступленіе и, наконецъ, убѣжденность въ божественномъ происхожденіи и природѣ души. Мы пока лишь отмѣтимъ, не вдаваясь въ объясненія, это пессимистическое міровоззрѣніе, представляющее столь рѣзкій контрастъ съ полнотой и жизнерадостностью гомеровской эпохи. Начало этого превращенія можно встрѣтить уже у Гесиода; никто не станетъ спорить противъ того, что разные слои народа обнаруживаютъ свои чувства въ Гомеровскомъ эпосѣ и здѣсь, а также и то, что несомнѣнно лишь тяжелыя испытанія въ мирной жизни и на войнѣ могли подготовить греческій духъ къ принятію этого новаго суроваго ученія. Всякій согласится, что неуклонная вѣра въ справедливость небеснаго воздаянія, предполагаетъ хотя бы въ основѣ признаніе господства законности и справедливости. Пока въ государствахъ и въ обществахъ парило одно лишь личное благожелательство, въ лучшемъ случаѣ основанное на личной вѣрности (ср. стр. 26), не было почвы, изъ которой могло бы произрости прочное, упованіе. Ученіе о возмездіи, на происхожденіе котораго мы ужъ указывали (ср. стр. 73), будетъ намъ гораздо понятнѣй, если мы вспомнимъ хотя бы Эриніи, которыя вначалѣ были ничѣмъ инымъ, какъ исполненными гнѣва, мстителями за себя душами убитенныхъ. Подобно тому какъ въ государствахъ уголовное право произошло изъ мести частныхъ лицъ и семействъ, такъ и въ предѣлахъ потусторонней кары судъ боговъ замѣнилъ собой кровавую мечь. Вѣрность этого заключенія подтверждаютъ картины загробнаго міра, изображающія страсти злодѣя, мучимаго душою или мстительнымъ духомъ своей жертвы. Перенесеніе возмездія въ загробную жизнь должно было произойти въ пессимистически настроенномъ кругу людей или въ мрачныя эпохи. Эсхиль, напримѣръ, болѣе, чѣмъ другіе греческіе писатели исполненный вѣры въ возмездіе, едва бросаетъ взглядъ за грани земнаго существованія; побѣдитель Марафона удовлетворяется зрѣлищемъ мо-

гущественнаго суда Божія, свидѣтелемъ и сподвижникомъ котораго онъ былъ. И наконецъ—для пониманія и уясненія божественнаго происхожденія души слѣдуетъ избѣгать сбивающихъ съ толку аналогій.

Сущности орфическаго ученія совершенно чуждо представленіе, что душа умершаго вкушаетъ среди боговъ полное блаженство, вмѣстѣ съ ними непрерывно пируетъ, бражничаетъ и предается другимъ чувственнымъ наслажденіямъ, представленіе, столь свойственное древне-индусскимъ и древне-германскимъ вѣрованіямъ, а также индѣйцамъ, населяющимъ центральную Америку, и вѣроятно и еракійцамъ. Также мало свойственно ему заключать о высшей природѣ души изъ однихъ только внутреннихъ переживаній подобно тому, какъ это дѣлаютъ мистики всѣхъ странъ и временъ.

Непосредственное общеніе съ божествомъ, уподобленіе ему, сліяніе съ нимъ—вотъ цѣли, къ которымъ всегда и повсюду стремится религиозная мистика. Но насколько едина эта цѣль, настолько многообразны пути, ведущіе къ ней. То призывается на помощь глухой звукъ бубень, нѣжная мелодія флейты, пронзительный звонъ тимпановъ, то бѣшеная изступленная вихревая пляска, то погруженіе въ сосредоточенное размышленіе, гипнозъ, вызванный неотрывнымъ созерцаніемъ блестящаго предмета; мы видимъ какъ эти средства доводятъ до экстаза вакханку, аскета браманиста, мусульманскаго дервиша, буддійскаго монаха, освобождаютъ ихъ отъ тяготы самосознанія и возвращаютъ въ лоно Божества или міроваго начала. Когда пронесется буря такой одержимости духовной, на мѣсто этого искусственнаго возбужденія или оглушенія нервовъ въ народѣ постепенно распространяется „мистерія“ (или „sacramentum“), дающая вѣрующему чувство единенія съ божествомъ и освобождающая его на время отъ тягостныхъ узъ личнаго существованія. Вмѣсто возбужденія и тѣхъ дѣйствій, посредствомъ которыхъ человѣкъ освобождался отъ своей человѣчности и ощущалъ себя богомъ—какъ напримѣръ почитатели Вакха и Сабазія, или служители Ра и Озириса въ Египтѣ—выступаютъ символическіе ритуалы: выносъ священныхъ сосудовъ, вкушеніе божественной пищи и питія, символизирующихъ въ то же время половое сліяніе и тѣмъ способствующихъ единенію съ божествомъ. Это же послужило источникомъ и греческихъ мистерій: вакхической, элевсинской и др. Въ этомъ случаѣ, какъ и въ другихъ, религія остается въ сторонѣ отъ морали. Упраздня самой природою своей всякую разумность дѣянія, экстазъ вызываетъ скорѣй нѣчто обратное нравственности, и строгая чинная дисциплина всегда пред-

ставлялась рѣзкимъ контрастомъ вакхическому безумствованію, не говоря уже о безчинствахъ, прикрываемыхъ мистеріями не одной только Греціи. По мѣрѣ того, какъ растутъ и развиваются заложенные въ семейномъ началѣ, какъ въ зернѣ своемъ, альтруистическія чувства человѣка, боги, вначалѣ въ лучшемъ случаѣ чуждые нравственнаго элемента, также возвышаются на степень покровителей и защитниковъ всего дѣннаго въ государствѣ и обществѣ,—облагороженные такимъ образомъ объекты поклоненія излучаютъ свѣтъ, которымъ надѣлили ихъ новые идеалы человѣчества. И мистическіе культы греческой религіи—прежде всего элевсинскій культъ подземныхъ божествъ, имѣвшій наибольшее значеніе,—до извѣстной степени поддались влиянію нравственныхъ требованій. Преступники, и среди нихъ вѣроятно не только запятнавшіе себя убійствомъ, исключались изъ участія въ этихъ служеніяхъ, приобщающихъ къ вѣчному блаженству. У орфиковъ также было свое тайное служеніе, но намъ извѣстно о немъ лишь то, что главный миѣъ этой секты символизировался въ этомъ служеніи почти въ столь же ослѣпительныхъ и роскошныхъ образахъ, какъ и миѣъ Деметры въ Элевсисѣ. Болѣе же всего орфическая вѣтвь греческой религіи отличалась отъ другихъ мистерій рѣзко выраженнымъ моральнымъ характеромъ, подобный которому мы встрѣчаемъ только въ аполлинійскомъ культѣ, центромъ котораго были Дельфы. Въ этомъ углубленіи нравственнаго сознанія слѣдуетъ видѣть источникъ третьяго, значительнѣйшаго и своеобразнѣйшаго фактора орфическаго ученія о душѣ.

Для того, чтобъ облегчить пониманіе—проведемъ параллель. 125-ая глава египетской „Книги мертвыхъ“ содержитъ въ себѣ отрицательное признаніе въ грѣхахъ, представляющее болѣе подробное изложеніе того, что мы читаемъ въ немногихъ скалахъ выраженіяхъ на вышеупомянутыхъ золотыхъ табличкахъ, найденныхъ въ южной Италіи. Здѣсь, какъ и тамъ, душа умершаго съ паѳосомъ называетъ себя „чистой“, и лишь на этой чистотѣ основываетъ надежду на будущее блаженство. Но въ то время, какъ душа орфика кается въ совершенныхъ ею „неправедныхъ дѣянійхъ“ и вѣритъ, что именно это очищаетъ ее отъ нихъ,—душа египтянина перечисляетъ все зло, котораго она не совершала во время своего земного существованія. Мало найдется фактовъ въ исторіи религій и нравовъ, способныхъ привести насъ въ такое изумленіе, какъ эти древнѣйшія признанія. Хотя въ нѣкоторыхъ изъ нихъ и встрѣчаются уклоненія отъ правилъ ритуала, но лишь

въ незначительной степени. И наряду съ обычными въ цивилизованномъ государствѣ предписаніями гражданской морали, мы встрѣчаемъ выраженія необыденнаго, часто изумительно тонко развитого моральнаго чувства: „Я не притѣснялъ вдову!.. Я не отнималъ дѣтей отъ груди матери!.. Я не ввергалъ бѣдняка въ еще болѣшую нищету!.. Я не заставлялъ работника трудиться сверхъ положенныхъ часовъ!.. Я не былъ нерадивъ!.. Я не былъ лѣнивъ!.. Я не наговаривалъ на раба его ховяину!.. Я никого не заставилъ пролить слезы!“ Не только о возможныхъ упущеніяхъ, но и о положительныхъ, добродѣтельныхъ дѣяніяхъ узнаемъ мы изъ скрытаго въ этихъ призваніяхъ нравственнаго ученія. „Повсюду были у меня друзья!“—воскликаетъ умершій. „Я накормилъ голоднаго, я напоилъ жаждущаго, я одѣлъ нагого! Я снабдилъ лодкой путника, которому грозило замедленіе!“ и т. д. И праведная душа, пройдя черезъ многія мытарства, вступаетъ наконецъ въ сонмъ боговъ. „Моя скверна разсѣялась“ — восклицаетъ она ликуя — „грѣхи, тяготившіе меня, сброшены.. Я достигла этой страны Блаженныхъ... Вы, предъ которыми я предстала“—обращается она къ названнымъ передъ тѣмъ богамъ—„вы протягиваете мнѣ руки.. принимаете въ свою среду“..

Должны ли мы видѣть въ этомъ одну лишь аналогію? Случайное ли это сходство или здѣсь есть преемственная связь? Никто не знаетъ. Но не слѣдуетъ забывать, что развитіе орфическаго ученія сопровождало собою начало болѣе тѣсныхъ сношеній Греціи съ Египтомъ. И насъ не должно удивлять, что эллины, взиравшіе съ благоговѣйнымъ страхомъ на чудеса египетской архитектуры и искусства и считавшіе себя и свою юную культуру,—по выраженію Платона,—„дѣтьми“ по сравненію съ древностью египетской цивилизаціи, восприняли отсюда и глубочайшія религіозно-нравственныя впечатлѣнія. Будущія изслѣдованія несомнѣнно точно разяснятъ, какъ обстояло дѣло. Намъ достаточно того, что этотъ примѣръ, взятый изъ Египта, показываетъ, что глубоко развитое чувство нравственности и вѣра въ божественное происхожденіе души и здѣсь были неразрывно связаны другъ съ другомъ. Это и понятно. Та пропасть, которая лежитъ между высокими требованіями, предъявляемыми человѣкомъ съ утонченной нравственностью своей волѣ и чувствамъ, и грубыми инстинктами, такъ часто заграждающими имъ путь, естественно должна была пробудить вѣру въ то, что обѣ части человѣческой души раз-

дѣлены бездной и происходятъ изъ совершенно разныхъ источниковъ. Этотъ взглядъ, признающій двѣ разнородныя, противорѣчащія другъ другу половины въ человѣческомъ существѣ, благопріятствовалъ обостренію чувства совѣсти и борьбѣ съ инстинктами, враждебными добрымъ и человѣколюбивымъ дѣяніямъ. Но вмѣстѣ съ нимъ, какъ тѣнь, порожденная свѣтомъ, возникаетъ и раздвоеніе духа, нарушеніе внутренней гармоніи, вражда съ природой и ея потребностями, даже невинными и благими. Все это мы встрѣчаемъ объединеннымъ въ этомъ античномъ пуританствѣ и связаннымъ съ цѣлымъ рядомъ необъяснимыхъ обрядовъ и грубымъ толкованіемъ мѣоовъ, что часто приводило къ несправедливому сужденію объ этомъ великомъ умственномъ теченіи.

Источникъ его станетъ понятнѣе для насъ, если мы вспомнимъ историческія условія его возникновенія. Религіозный кризисъ является отголоскомъ кризиса соціального, однимъ изъ слѣдствій борьбы сословій, охватившей седьмой и часть шестого вѣка. И здѣсь, какъ всегда, тяжкія страданія привели къ молитвѣ. По всей вѣроятности люди, пострадавшіе отъ завоеваній, или же ставшіе жертвой суроваго олигархическаго строя,—первые обратили тоскующій взоръ къ утѣшеніямъ загробной жизни, ожидая отъ боговъ вознагражденія за понесенную на землѣ несправедливость. Во всякомъ случаѣ орфическое ученіе возникло не въ высшихъ, а въ среднихъ кругахъ общества. Отвращеніе къ кровопролитію, играющее столь значительную роль въ этомъ ученіи, указываетъ, что представителями его были люди, равнодушные къ военной славѣ и чуждые военныхъ подвиговъ. Точно также „право“ и „законъ“ (Dike и Nómcs), занимающіе выдающееся мѣсто въ орфическомъ пантеонѣ, обыкновенно призываются на помощь слабыми и угнетенными, а не сильными и могущественными. Мы можемъ говорить о сознательномъ протестѣ противъ міровоззрѣнія и идеаловъ правящаго класса съ неменьшимъ правомъ, чѣмъ о всѣмъ извѣстномъ возстаніи противъ господствующей религіи. Это возстаніе повело къ тому, что именно еракійскій Діонисъ,—образъ котораго сравнительно поздно былъ усвоенъ греческой мѣологіей,—занялъ такое выдающееся мѣсто въ этой религіозной системѣ. Такимъ образомъ, мистическое зерно новаго вѣрованія составляютъ не славные подвиги, какъ напр. подвиги Геракла, бога избранныхъ, а незаслуженныя „страсти“ народнаго бога Діониса. Превосходство сильныхъ

притѣснителей, которыхъ постигнетъ въ послѣдствіи месть высшаго божества,—безсиліе невинно-страждущихъ, но уповающихъ на конечное торжество справедливости—все это отразилось въ злыхъ Титанахъ и безпомощномъ младенцѣ Діонисѣ. Разумѣется не это было первоначальнымъ смысломъ легенды, которая скорѣе создалась какъ объясненіе варварскаго жертвеннаго обычая оргіастовъ—разрыванія и пожиранія живыхъ звѣрей. Но религиозная фантазія, избравъ своимъ матеріаломъ легенду, насыщаетъ ее новымъ содержаніемъ и заставляетъ ее служить новымъ взглядамъ. Протестъ противъ тѣхъ, кто были одновременно представителями государственной религіи и охранителями отечественныхъ преданій, несомнѣнно вызывалъ на тайныхъ собраніяхъ орфиковъ такое же дѣйствіе, какъ среди двора „тирановъ“. Вѣдь и тѣ, и другіе—если наша концепція вѣрна—принадлежали къ сословію безправной буржуазіи и закрѣпощенныхъ крестьянъ. (Ср. стр. 7—8). Сходство, дѣйствительно, изумляющее. Достаточно вспомнить, что тотъ самый Клизеенъ, который сломилъ господство аристократіи въ Сикіонѣ и превратилъ издревле славныя имена знатныхъ дорическихъ родовъ въ бранныя прозвища, тамъ же воспретилъ публичное чтеніе нѣсенъ Гомера, лишилъ чествованій народнаго героя, полубога Адраста, и перенесъ ихъ на Діониса. Мы встрѣчаемъ также общую космополитическую черту у этихъ династій, охотно вступавшихъ въ союзы съ чужеземными правителями; нѣкоторые члены ихъ,—какъ это было въ Коринѣ,—присваивали себѣ даже чужестранныя, фригійскія и египетскія имена (Гордій и Псамметихъ). Подобнымъ же образомъ орфики присоединяли къ своимъ отечественнымъ богамъ не только фракійскія, но и финикійскія божества (кабировъ), и сверхъ того, какъ мы пытались доказать, охотно воспринимали египетскую и вавилонскую космогонію (ср. стр. 84). Послѣ всего этого мы поймемъ, что не одинъ только случай привелъ Ономакрита, основателя орфической секты въ Аѣины ко двору мѣстнаго правителя и завоевалъ ему милостивое покровительство дома Писистрата.

Намъ придется еще неоднократно встрѣчаться съ путями орфическаго ученія. Мы узнаемъ его плодотворное вліяніе, а также его темныя стороны. Мы познакоимся съ могущественнымъ вліяніемъ, которое оно оказало на Платона, а черезъ него и на дальнѣйшее время. При этомъ намъ станетъ ясно, что разладъ между тѣломъ и душой, психическій дуализмъ, переходитъ здѣсь въ расколъ между Божествомъ и міромъ, въ дуализмъ въ собствен-

номъ смыслѣ этого слова, тогда какъ орфическое ученіе само никогда не развивало эту заложенную въ его основныхъ принципахъ возможность и удовлетворялось просвѣтленнымъ пантеизмомъ, проповѣдующимъ единство универсальной жизни природы. Наконецъ, благодаря изумительнымъ открытіямъ позднѣйшаго времени, главнымъ образомъ благодаря вновь найденному апокалипсису Петра, мы ясно угадываемъ подземное теченіе могущественнаго потока, источники котораго еще окутаны тьмой, и видимъ, какъ оно, влившись въ море древняго христіанства, на далекое разстояніе окрашиваетъ собою его воды.

4. Какъ ни темно еще понынѣ происхожденіе орфическаго ученія, нельзя сомнѣваться въ его раннемъ сплетеніи съ началомъ пиеагорейства. Внутреннюю очевидность дополняютъ въ этомъ случаѣ заслуживающія довѣрія свидѣтельства. Авторами древне-орфическихъ гимновъ были или люди, извѣстные намъ, какъ члены пиеагорейскихъ общинъ, или обитатели тѣхъ мѣстностей (въ Южной Италіи и Сициліи), въ которыхъ ранѣе всего распространилось ученіе Пиеагора. Однако же, если мы и должны отказаться отъ проведенія опредѣленной грани между ними, во всякомъ случаѣ въ той области, о которой идетъ рѣчь, мы встрѣчаемъ не мало ученій, которыя скорѣе можемъ признать пиеагорейскими, нежели орфическими, отчасти на основаніи традиціи, отчасти — собственныхъ соображеній. Въ то время какъ орфики заставляли душу между двумя воплощеніями пребывать среди мукъ айда — болѣе образованные пиеагорейцы не могли не задаться вопросомъ: какъ случается, что въ томъ самомъ мѣстѣ и въ то самое мгновеніе, когда новое существо вступаетъ въ міръ (будь то мигъ зачатія, рожденія, или періодъ времени, лежащій между ними), каждый разъ на готовѣ есть душа, которая можетъ войти въ тѣло? Въ своемъ отвѣтѣ они приводятъ въ примѣръ солнечныя пылинки, тѣ крошечныя тѣльца, всюду окружающія насъ, постоянно вдыхаемыя нами, но стоящія на грани видимости и потому доступныя нашему воспріятію лишь когда солнечный лучъ озарилъ ихъ. Дрожаніе этихъ чувствительныхъ пылинокъ, происходящее даже при полной неподвижности воздуха, напоминаетъ непрерывное движеніе, приписываемое душѣ и дѣлаетъ это сравненіе убѣдительнымъ; да и помимо этого, подобная теорія понятна, а съ точки зрѣнія ея творцовъ — даже весьма понятна. Если видѣть въ душѣ, какъ это было свой-

ственно тому времени, не безплотное существо, а безконечно тонкую, матеріальную, незримую, или почти незримую частицу — то подобный вопросъ и отвѣтъ вполне оправданы. Подобно этому и наши естествоиспытатели изъ того факта, что низшіе организмы зарождаются повсюду, гдѣ только встрѣчаютъ благоприятныя для своего развитія условія—сдѣлали вполне обоснованный выводъ, что воздухъ насыщенъ микроскопическими незримиыми зародышами.

Гораздо меньше свѣдѣній, чѣмъ объ ученіи о душѣ, имѣемъ мы о теогоніи пифагорейцевъ. Ничто не указываетъ на то, чтобы она гдѣ либо шла въ разрѣзъ съ народной религіей. Что касается ея мнимой склонности къ монотеизму, или по другимъ свѣдѣніямъ,—къ извѣстнаго рода дуализму, соединенному съ фантастическимъ ученіемъ о числахъ, по которому единица была тождественна началу добра и Божеству, двойца—принципу зла и матеріи—то эти показанія, насколько они вообще заслуживаютъ вѣры, явно относятся къ болѣе позднимъ фазамъ развитія доктрины. Иначе обстоитъ дѣло съ ученіемъ о дыханіи міра, сообщающимъ ему характеръ живого существа, и о происхожденіи міра, который возникъ въ одной точкѣ, и путемъ притяженія, оказываемаго этой точкой сначала на ближайшія, потомъ на дальнѣйшія части безграничнаго пространства, медленно росъ и наконецъ завершился. Однако, несравненно значительнѣе этихъ представлений, носящихъ печать младенчества науки, является другое, столь же древнее ученіе, о которомъ мы почерпаемъ достовѣрныя свѣдѣнія изъ одного замѣчательнаго выраженія Эвдема. Этотъ ученикъ Аристотеля, благодаря своимъ трудамъ по исторіи астрономіи и геометріи близко узнавшій пифагорейское ученіе, произнесъ однажды слѣдующія слова въ рѣчи, посвященной изслѣдованію понятія времени и его тождества; „Если же вѣрить пифагорейцамъ... то я когда нибудь съ этой же палочкой въ рукахъ буду опять также бесѣдовать съ вами, точно также какъ теперь сидящими передо мной, и также повторится и все остальное!“ Какъ благодарны должны мы быть этому безподобному Эвдему за то, что у него въ пылу рѣчи сорвался этотъ случайный намекъ, и какъ благодарны его ревностнымъ слушателямъ, занесшимъ эти слова въ свои школьныя тетради и такимъ образомъ спасшимъ ихъ для потомства! Какъ по волшебству встаетъ передъ нашимъ взоромъ безподобная картина:—на своемъ мраморномъ сидѣніи лукаво усмѣхающійся учитель, играющій знакомъ своего ученаго достоинства, и передъ нимъ—длинными ря-

дами сиидящге, смущенно и со смѣхомъ внемлющге ему ученики. Глубина этого краткаго замѣчангя неисчерпаема. И надо доба- что оно служить къ чести пифагорейцевъ. Многозначитель- ная фраза эта содержитъ не болѣе и не менѣе какъ полное признанге вседержашей законмѣрности; — она явля- ется заключенгемъ, вполнѣ логично вытекающгмъ изъ этого при- знангя въ связи съ вѣрой въ циклическге мгровые пергоды. Намъ уже не разъ встрѣчалось это вѣрованге (у Анаксимандра и Гера- клита), и мы вскорѣ опять встрѣтгмъ его у Эмпедокла и затѣмъ у позднѣйшихъ философвъ. Здѣсь необходимо остановиться на его происхожденгг.

Прежде всего мы должны припомнге основы космогоническаго творчества вообще. Вопросъ о началѣ мга всталъ въ душѣ че- ловѣка прежде всего и главнымъ образомъ подъ влгянгемъ еже- дневнаго опыта, показывающаго намъ неустанное возникновенге и исчезновенге все новыхъ образовангй, и мысль естественно стремилась перенести свойства частныхъ явленгй на общее. Въ болѣе позднй пергодъ эти мысли вызывались тѣмъ, что мы называемъ порядкомъ и законмѣрностью мгроздангя, и осо- бенно существовангемъ великихъ однородныхъ стихгй (воздуха, земли, моря), которыя не рѣшались признать за первородныя сущности. Еще позднѣе на это влгяли измѣненгя земнаго шара, доступныя самому точному изслѣдовангю (образованге дельтъ, измѣненгя суши и воды, и т. д.). Древнѣйшгя космогонгя обыкно- венно довольствовались измышленгемъ и изображенгемъ начала существующаго порядка мгроздангя, не заботясь о томъ, что предшествовало этому началу и сохрангтся-ли навсегда данный порядокъ. Когда же и эта проблема предстала болѣе развитой мысли, человеку пришлось сдѣлать выборъ между абсолютнымъ началомъ и абсолютнымъ концомъ и мгровымъ процессомъ безъ начала и конца въ буквальномъ смыслѣ слова. Греческге фило- софы, неизмѣнно руководившгся аналоггями,—правильно-ли или ложно истолкованными, но всегда содержащими часть истины,—безъ колебангй и единодушно приняли вторую возможность: ни начала, ни конца, а непрерывный процессъ превращенгй. И отсюда былъ двоякй выходъ. Мгровой процессъ могъ быть подобенъ траекто- ргю,—выражаясь геометрически,—или же круговращенгю. Въ пер- вомъ случаѣ онъ представлялся стремленгемъ къ невѣдомой цѣли во второмъ—круговымъ шествгемъ всего сущаго, вѣчно возвра-

Ученіе Гераклита о періодическихъ міровыхъ возгораніяхъ уже изложено нами (срв. стр. 59). Періодическіе старанія и потоны признавались и вавилонянами. Но если эта мысль и дѣлаетъ честь ширинѣ умственнаго горизонта ея носителей, то доказательства, приводимыя въ подтвержденіе ея, чисто фантастическаго характера. Когда всѣ планеты встрѣчаются подъ знакомъ Рака—происходитъ воспламененіе, подъ знакомъ Козерога—потопъ; и то и другое, разумѣется, на томъ лишь основаніи, что отдѣлъ зодіака, въ которомъ находится солнце во время лѣтняго солнцеворота, говоритъ о палящемъ зноѣ, другой же, соответствующій зимнему солнцевороту, — объ опустошительныхъ ливняхъ. Пифагорейцы, видимо, уже не допускали столь произвольной ассоціаціи идей, хотя ученіе ихъ о существованіи „двойной гибели“—изверженія небеснаго огня и паденія водъ съ луны,—очевидно, заимствовано изъ того же вавилонскаго ученія. Однако, странная теорія о которой упоминаетъ ученикъ Аристотеля можетъ быть объяснена не иначе, какъ вѣрой въ циклическое раствореніе нынѣшняго состава вселенной и земли. Нельзя допустить, чтобъ она возникла непосредственно изъ упомянутаго ученія о міровомъ годѣ: „когда звѣзды опять займутъ свое прежнее положеніе, снова повторятся всѣ событія“. Это значило бы приписать халдейской астрологіи руководящее воздѣйствіе на пифагорейскія доктрины; между тѣмъ, во всемъ остальномъ мы не встрѣчаемъ слѣдовъ такого вліянія, и даже Теофрастъ, товарищъ Эвдема, выражаетъ крайнее изумленіе по поводу распространившейся тогда вавилонской лженауки. Столь же мало можно приписать эту доктрину вліянію ученія о душепереселеніи. Ибо, не говоря уже о томъ, что она привилась и болѣе поздней школѣ стоиковъ, не признававшей метампсихозы, и независимо отъ того, что „душа“, какъ мы скоро увидимъ, не представлялась въ ту эпоху совокупностью умственныхъ и душевныхъ качествъ, характеризующихъ человѣка,—но и самое ученіе о переселеніи душъ вовсе не служитъ объясненіемъ того, что здѣсь требуетъ, объясненія; ибо занимающая насъ теорія утверждаетъ одновременное возрожденіе безчисленнаго множества людей въ прежней тѣлесной оболочкѣ, съ прежними духовными особенностями. Надо помнить слѣдующее. Для того, чтобъ Эвдемъ снова воскресъ, одаренный тѣми же психическими и тѣлесными свойствами, нужно чтобъ прежде возродились его родители и ихъ предки, а также весь рядъ его духовныхъ предшественниковъ: его учитель Аристотель, учитель Аристотеля Платонъ, Сократъ и

т. д. А для того, чтобъ снова существовала палочка, которой онъ размахивалъ, должно вновь воскреснуть дерево, изъ котораго она вырѣзана, это дерево должно произрости изъ того же сѣмени, на той же почвѣ, въ той же странѣ, какъ и прежде и т. д. Но мы и не нуждаемся въ этихъ деталяхъ, такъ какъ Эвдемъ, его ученики и современники являются лишь частнымъ примѣромъ общаго правила, равно примѣнимаго ко всѣмъ другимъ поколѣніямъ и событіямъ. Однимъ словомъ такое грядущее возвращеніе всѣхъ нынѣшнихъ людей, вещей и событій неизбѣжно обусловлено точнымъ повтореніемъ всего уже разъ пройденнаго сплетенія причинностей. И это, какъ намъ кажется, составляетъ не одинъ изъ случайныхъ атрибутовъ, а самое зерно ученія. Мы встрѣчаемъ въ немъ двоякое содержаніе: вѣру въ строгую причинную связь всего происходящаго, и вѣру въ новую, точь-въ-точь подобную старой исходную точку этого ряда причинностей. Намъ не должна удивлять у пифагорейцевъ эта вѣра въ причинную связь всего происходящаго. Мы уже встрѣчали ее у Гераклита и по справедливости могли видѣть въ ней отголосокъ основныхъ открытій въ области физики, сдѣланныхъ Пифагоромъ. Вѣдь ученіе о числахъ зиждется ни на чемъ иномъ, какъ на той же вѣрѣ въ закономерность, управляющую совокупностью явленій. Также и Гераклитъ не дѣлалъ рѣзкаго различія между процессами природы и человѣческой души, и, такъ сказать, естественный и наивный детерминизмъ этой эпохи, когда еще не былъ поднятъ вопросъ о свободѣ воли, — не долженъ удивлять насъ. Что касается второй идеи, присутствіе которой въ пифагорейской доктринѣ засвидѣтельствовано сообщеніемъ Эвдема, то это ничто иное, какъ математически точное выраженіе теоріи циклическихъ возвращеній начальнаго мірового состоянія. Возвращеніе извѣстныхъ факторовъ природы, то же количество и распредѣленіе ихъ, тѣ же силы, управляющія ими, неизбѣжно требуютъ наличности того же источника, изъ котораго долженъ излиться какъ въ первый, такъ и во второй разъ до мельчайшихъ пылинокъ такой же потокъ причинныхъ свершеній. И тѣ изъ насъ, кто предполагаютъ, что хотя бы одна наша солнечная система вернется къ исходной точкѣ своего возникновенія, невольно придуть къ тѣмъ же выводамъ, что и пифагорейцы. Когда наполняющая пространство и оказывающая сопротивление среда вызоветъ постепенное ослабленіе первоначальнаго импульса, движущаго планеты, и вмѣстѣ съ тѣмъ усиленіе центробежной силы и въ результатѣ — паденіе планетъ

его и причисляютъ къ пифагорейцамъ, но онъ вмѣстѣ съ Геракли- томъ признавалъ огонь за первичную сущность и подобно ему училъ о періодическомъ разрушеніи и повообразованіи міра. Въ ученикѣ Гераклита естественно встрѣтить особенное подчерки- ваніе универсальной законмѣрности, царящей надъ жизнью при- роды и человѣка. И стойки, благоговѣвшіе передъ Геракли- томъ, скорѣе всего могли заимствовать у пифагорейца, про- шедшаго школу Гераклита, доктрину, игравшую столь значи- тельную роль въ ихъ системѣ. Однако мы не можемъ съ увѣрен- ностью утверждать это. Всякое опредѣленное разграниченіе въ этой школѣ представляетъ необыкновенныя трудности и часто совершенно безнадежно. Главнымъ препятствіемъ является благо- говѣніе пифагорейцевъ къ главѣ ихъ школы, которому они приписы- вали всѣ свои знанія, не выставя личныхъ заслугъ на показъ. Въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ названы личныя дѣянія, показанія опи- раются на апокрифическія сочиненія, которыхъ въ этой литера- турной области больше, чѣмъ гдѣ либо. Правда, до насъ дошли имена нѣсколькихъ древнѣйшихъ членовъ этой школы, но знаніе наше не идетъ дальше именъ. Ихъ носители и носительницы— ибо и женщины принимали дѣятельное участіе въ религиозно- философскомъ движеніи, поднятомъ Пифагоромъ,— жили въ тѣс- номъ единеніи. Взаимное довѣріе, объединяющее ихъ, дружба, доходящая до самопожертвованія, принадлежатъ къ характернымъ чертамъ этой общины, какъ и строгость нравовъ, воздержаніе и обузданіе страстей, предписываемое ею. Царящія въ ихъ научной системѣ понятія гармоніи и мѣры были вмѣстѣ съ тѣмъ идеаломъ ихъ жизни. Только одно лицо онредѣленно выступаетъ среди нихъ. Это былъ человѣкъ съ ярко выраженной индивидуальностью, астромическія познанія котораго указываютъ, что онъ находился скорѣй подъ влияніемъ древнихъ іонійцевъ, чѣмъ Пифагора, въ то время какъ посвященіе, предпосланное его ученому труду сви- дѣтельствуется о его близости съ членами пифагорейскаго союза.

5. „Алкмазонъ кротонскій, сынъ Периеоса“, такъ гласитъ начало его книги, отъ которой сохранилось къ сожалѣнію лишь нѣсколько отрывковъ, — „такъ говоритъ Бронтиносу, Леону и Ба- еиллу: одни лишь боги владѣютъ точнымъ знаніемъ невидимыхъ ве- щей. Для того же, чтобъ по человѣческому обычаю строить выводы, не выходящіе за предѣлы вѣроятности...“ — на этомъ, къ сожалѣнію, обрывается предложеніе, но и эта не завершенная мысль заключаетъ

въ себѣ цѣнное указаніе. Кротонскій врачъ, младшій современникъ Пивагора, хорошо сознаетъ предѣлы человѣческаго познанія. Если онъ рѣшается высказывать предположенія, выводитъ умозаключенія изъ того, что ускользаетъ отъ чувствепнаго воспріятія, то мы имѣемъ основаніе видѣть въ этихъ выводахъ плодъ долгихъ наблюденій, ибо у него нѣтъ недостатка въ осторожности. За этими вступительными словами слѣдуетъ, очевидно, не система охватывающая все человѣческое и божественное, а отдѣльныя научныя положенія, которыя тѣмъ значительнѣе, чѣмъ скромнѣе они выступаютъ.

Главные труды Алкмэона относятся къ области анатоміи и физиологіи. Онъ первый указалъ на мозгъ, какъ на центръ умственной дѣятельности, и за одно это заслуживаетъ неувядаемой славы. Опираясь на вскрытія животныхъ, приписываемыя ему свидѣтельствами, заслуживающими довѣрія, но о которыхъ самъ онъ упоминаетъ лишь вскользь—онъ открылъ главные нервы органовъ чувствъ (названные имъ, какъ и Аристотелемъ „ходами“ или „каналами“), ихъ пути и окончаніе въ мозговомъ центрѣ. Чтобы объяснить функціи этихъ нервовъ, современная наука производитъ наблюденія надъ заболѣваніями и поврежденіями мозга; также поступалъ и Алкмэонъ. Такъ напримѣръ, достовѣрно извѣстно, что онъ съ этой цѣлью изучалъ разстройство умственныхъ способностей, вызванное сотрясеніемъ мозга. Онъ вполне раціонально, хотя и нѣсколько односторонне объяснилъ его тѣмъ, что мы называемъ перерывомъ главнаго пути. Глухота и слѣпота наступаютъ вслѣдствіе того, что мозгъ сдвинутъ съ своего нормальнаго положенія и заграждаетъ пути, черезъ которые зрительныя и слуховыя впечатлѣнія достигаютъ до него. Широко распространенному мнѣнію, что мужское сѣмя происходитъ изъ спиннаго мозга противопоставилъ онъ наблюденіе, доказывающее, что въ позвоночномъ столбѣ животныхъ, убитыхъ послѣ совокупленія, нисколько не замѣчается уменьшеніе количества мозга, наполняющаго его. Само-собой разумѣется, что его позитивныя гипотезы въ области процесса размноженія и въ эмбриологіи имѣютъ мало значенія. Гораздо цѣннѣе—по крайней мѣрѣ по оказанному имъ воздѣйствію на послѣдующія теоріи—его ученіе о здоровьѣ и болѣзни. Первое поддерживается равновѣсіемъ (для обозначенія котораго онъ употребляетъ терминъ „изономія“) присущихъ тѣлу качествъ вещества; преобладаніе одного изъ нихъ вызываетъ заболѣваніе. Выздоровленіе же наступаетъ когда искусственнымъ или

естественнымъ путемъ возстановляется нарушенное равновѣсіе, чему особенно способствуетъ присутствіе парныхъ контрастовъ „почти во всемъ человѣческомъ“, а слѣдовательно и въ этихъ качествахъ; такъ, избытокъ холода можетъ быть удаленъ или уравновѣшенъ введеніемъ тепла, излишество сухости — противопоставленіемъ ей влаги и т. д. Этой теоріи суждено было долгое существованіе: мы встрѣчаемъ ее еще въ сочиненіяхъ Гебера, главы арабскихъ алхимиковъ. Она была ограничена и въ то же время окончательно формулирована въ Гиппократовской патологіи соковъ, видящей причину заболѣваній въ избыткѣ, или чрезмѣрномъ уменьшеніи важнѣйшихъ соковъ, входящихъ въ составъ тѣла.

Алкмеонъ посвятилъ обстоятельныя изысканія всеѣмъ органамъ чувствъ, за исключеніемъ осязанія, упущеніе, которое можно скорѣй поставить ему въ заслугу, такъ какъ онъ очевидно не хотѣлъ заполнять произвольными гипотезами пробѣлы эмпирическаго знанія. Во всеѣхъ своихъ теоріяхъ онъ исходитъ изъ анатомическаго строенія органовъ чувствъ, и это даетъ ему возможность открыть, что находящееся въ ухѣ пространство, заполненное воздухомъ, порождаетъ резонансъ, а также обратить вниманіе на влажность, мягкость, гибкость и кровеобиліе (онъ называетъ его теплотой) языка, дѣлающихъ его способнымъ превратить твердыя тѣла въ жидкое состояніе и этимъ вызывать вкусовые ощущенія. Кромѣ того, онъ первый обратилъ вниманіе на субъективность чувственнаго воспріятія и этимъ продолжилъ путь къ болѣе глубокому пониманію акта воспріятія и процесса познаванія вообще. Разумѣется онъ совершилъ въ этомъ направленіи лишь первые шаги. Искры, мелькающія въ глазу при сильномъ ушибѣ его, вызывали въ немъ живѣйшее удивленіе, и это послужило отправной точкой его научной фантазіи. Тотъ фактъ, что онъ основился на значеніи этого аномальнаго и рѣдкаго явленія, надѣясь найти въ немъ ключъ къ пониманію нормальнаго процесса зрѣнія, свидѣтельствуетъ, какъ мнѣ кажется, о глубинѣ его научнаго чутья. Но объясненіе его, разумѣется, не могло быть инымъ, какъ дѣтски наивнымъ. То, что мы называемъ специфической энергіей глазныхъ нервовъ онъ свелъ къ грубо матеріальному явленію. Глазъ якобы содержитъ пламя, и въ этомъ пламени, какъ и въ дѣйствительно находящейся въ немъ влагѣ, онъ видѣлъ два вспомогательныхъ фактора зрительной способности: свѣтящій и прозрачный элементъ.

Отъ рудиментовъ фізіологіи чувствъ онъ перешелъ къ на-

чаткамъ психологіи. Здѣсь онъ попытался хотя бы до нѣкоторой степени разобраться въ познавательныхъ функціяхъ человѣка, которыя его современники, не дифференцируя, смѣшивали между собой. Изъ чувственнаго воспріятія онъ вывелъ память, изъ нея—представленіе или мнѣніе (dóxa), изъ двухъ послѣднихъ—умъ или рассудокъ, который онъ приписывалъ однимъ лишь людямъ въ отличіе отъ низшихъ существъ. Душу онъ считалъ безсмертной и основывалъ это убѣжденіе на весьма странномъ на нашъ взглядъ рассужденіи. Душа безсмертна оттого, что она походитъ на безсмертныя существа, находясь въ постоянномъ движеніи подобно божественнымъ сущностямъ: мѣсяцу, солнцу, звѣздамъ и всему небу. Ясно, что дѣлая такой выводъ, онъ не считалъ душу вполне безплотной сущностью. Въ противномъ случаѣ онъ не сравнивалъ бы ее съ небесными свѣтилами, хотя и слывущими божественными и вѣчными, но все же тѣлесными и занимающими мѣсто въ пространствѣ; и тѣмъ болѣе не основывалъ бы ея безсмертіе на сходствѣ съ божественными сущностями, имѣя въ виду главнымъ образомъ ихъ непрестанное движеніе. Но изъ чего, спросимъ мы, вывелъ Алкмэонъ постоянное пространственное движеніе носителя психической энергіи? Ясно, что не изъ непрерывной смѣны душевныхъ состояній (представленій, аффектовъ, побужденій и т. д.). Вѣдь отсюда,—даже отвергнувъ возможность сна, лишеннаго сновидѣній,—онъ не могъ бы вывести преимущества души надъ тѣломъ съ его столь же непрерывнымъ движеніемъ: пульсаціей, дыханіемъ и т. д. Онъ очевидно понималъ „психею“ въ болѣе широкомъ смыслѣ, т. е. какъ источникъ и самочинныхъ движеній тѣла, какъ жизненную силу, и видѣлъ въ ней именно и главнымъ образомъ первоисточникъ силы вообще — представленіе, встрѣчаемое и у Платона, который развилъ и переработалъ это ученіе, и именно въ этомъ смыслѣ назвалъ душу „началомъ и источникомъ движенія“. Нашему вѣку этотъ аргументъ во всѣхъ своихъ частяхъ равно чуждъ. Ибо какъ звѣзды не кажутся намъ больше вѣчными, такъ же источникъ силы и жизненности мы видимъ въ однихъ только химическихъ процессахъ, обусловленныхъ дыханіемъ и питаніемъ. Глубокомысленный врачъ нашелъ, какъ ему казалось, аргументацію, объясняющую смертность тѣла. „Люди (мы должны добавить—и животныя) потому умираютъ,—говоритъ онъ,—что не умѣютъ связать начало съ концомъ“. Эти темныя слова благодаря той связи, въ которой они приводятся Аристотелемъ, пріобрѣтаютъ полную ясность. Алкмэонъ хочетъ сказать ими лишь то, что еслибъ ста-

рость являлась не только фигурально, но и буквально вторымъ дѣтствомъ, то люди (и животныя) могли бы жить вѣчно, ибо жизнь ихъ была бы безъ конца повторяющимся кругомъ. Но такъ какъ рядъ измѣненій, которымъ подвергается человѣческое тѣло (и тѣло животныхъ) въ разныхъ возрастахъ, носитъ не циклическій, а прогрессирующій характеръ, то нѣтъ ничего удивительнаго, что этотъ процессъ приводитъ ихъ къ нѣкоторому концу. Третій возможный выходъ—а именно, что этотъ рядъ измѣненій могъ бы походить на продленную въ безконечность прямую или кривую линію—Алкмеонъ не имѣлъ основанія допустить. Жизнь природы, которою онъ руководствовался, предоставляла ему выборъ лишь изъ первыхъ двухъ возможностей, и намъ должно казаться цѣннымъ то, что онъ сдѣлалъ свой выводъ по аналогіи съ природой и не прибѣгнувъ къ апріорному утвержденію, что „все имѣющее начало должно неизбѣжно и кончиться“, которымъ такъ часто довольствовались въ прежнее, какъ и въ послѣдующее и позднѣйшее время. Это утвержденіе, шаткое само-по-себѣ, къ тому же опровергнуто примѣромъ простѣйшаго органическаго образованія, протоплазмы. Мы можемъ добавить, что современное естествознаніе въ отношеніи этой проблемы не далеко ушло впередъ отъ „отца физиологіи“. Оно умѣетъ прослѣдить измѣненія организма, сопровождающія старость, измѣненія, которыя должны неизбѣжно привести его къ окончательному разрушенію, независимо отъ случайныхъ поврежденій, постоянно угрожающихъ сложному составу его, но причины этихъ измѣненій и понынѣ окутаны тѣмъ же мракомъ, какъ двадцать четыре вѣка назадъ.

Охотно познакомились бы мы обстоятельнѣе со взглядами кротонца. Невольно встаетъ вопросъ: чтò думалъ этотъ почтенный мыслитель о Божествѣ? о первичной сущности? о началѣ человѣческаго рода? Намъ не достаетъ источниковъ, чтобъ отвѣтить на это. И это отсутствіе матеріаловъ краснорѣчиво и полно значенія. Появленіе мыслителя, не имѣющаго, подобно своимъ предшественникамъ, готоваго разрѣшенія всякой проблемы, указываетъ на то, что мы далеко ушли отъ истоковъ греческой науки. Оно напоминаетъ, что мы вступили въ эпоху, въ которой духъ критики и сомнѣнія шире и могущественнѣе развернулъ свои крылья,

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

Переходъ отъ метафизики къ положи- тельной наукѣ.

Метафизическое умозаключеніе
есть либо ложное заключеніе, либо
скрытое опытное заключеніе.

Гельмгольцъ.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Ксенофанъ.

Тѣмъ, кому въ 500-хъ годахъ приходилось странствовать по Греціи, нерѣдко встрѣчался старый музыкантъ, бодро шествующій въ сопровожденіи невольника, несущаго клару и убогій домашній скарбъ. На рынкахъ и площадяхъ толпа тѣсно обступаетъ его. Для уличныхъ зѣвакъ у него припасенъ грошевый товаръ собственнаго и чужого издѣлія: исторіи героевъ и основаній городовъ; для болѣе освѣдомленныхъ кліентовъ извлекаетъ онъ изъ тайниковъ своей памяти иныя, рискованныя повѣствованія, умѣло вводя ихъ въ неподатливые умы своихъ слушателей. Ницій рапсодъ, получавшій лакомое блюдо въ награду за свое прославленное искусство, былъ дерзновеннѣйшимъ новаторомъ своего времени оказавшимъ на него огромное вліяніе. Профессія бродячаго музыканта давала ему лишь скудное пропитаніе, но зато служила отводомъ глазъ въ его опасной дѣятельности религіознаго и философскаго миссіонера. Этотъ старикъ съ морщинистымъ лицомъ, обрамленнымъ сѣдыми кудрями, въ молодости своей сражался противъ общегреческаго врага. И когда побѣдное знамя взвилось надъ войскомъ завоевателя, и Іонія обратилась въ персидскую провинцію (въ 545 г. до Р. Х.) — двадцатипятилѣтній юноша присоединился къ самымъ мужественнымъ своимъ соотечественникамъ, фокійцамъ, и обрѣлъ себѣ вторую родину на далекомъ Западѣ, въ италійской Элеѣ. Тамъ, гдѣ о древнемъ имени говоритъ лишь одиноко вздымающаяся башня, гдѣ море врѣзается глубоко въ землю, въ началѣ широкой долины, раздѣленной на три части двумя цѣпами холмовъ, спускающихся отъ снѣговыхъ вершинъ Калабрійскихъ горъ, — тамъ смежилъ свои усталыя очи девяностолѣтній Ксенофанъ, воспитавъ себѣ послѣдователей, поставившихъ его во главѣ школы, оказавшей на потомство могучее

вляніе. Его безконечныя эпическія пѣсни, воспѣвавшія основаніе его родного города, богатаго смолами Колофона, и заселеніе Элеи, отзвучали и забылись. Но изъ его глубокомысленной дидактической поэзіи и его прелестныхъ элегій, преисполненныхъ искрящагося остроумія и веселящаго сердца благодушія, сохранилось кое что цѣнное, пробуждающее въ насъ любовь и уваженіе къ неустрашимому мыслителю и одушевленному глубокой волею человѣку. Разумѣется онъ занесъ бичъ свой насмѣшки надъ многими, любезнымъ сердцу своего народа. Больше всего—надъ образами боговъ въ эпосѣ,—надъ обычаями и нравами тѣхъ боговъ, примѣромъ которыхъ „Гомеръ и Гесіодъ“, по его словамъ, только и научили людей, что „воровству, прелюбодѣйству и взаимному обману“. Вообще, человѣкоподобіе божественнаго встрѣчаетъ въ немъ сильнѣйшій протестъ. Еслибъ быки, лошади и львы имѣли руки, чтобъ писать картины и ваять статуи, говоритъ онъ, они изобразили бы боговъ въ видѣ лошадей, быковъ и львовъ, также какъ люди создаютъ ихъ по своему подобію.—Не менѣе враждебно и несочувственно относится онъ и къ другимъ сторонамъ народной жизни; то, напр., что на долю побѣдителя въ кулачномъ бою и поединкѣ, въ бѣгѣ и ристаніи выпадали высшія почести — представлялось ему верхомъ безсмыслицы. И тѣмъ тяжелѣе гнететъ его приниженность собственнаго положенія, когда онъ сравниваетъ его со славой, какой народная молва окружала грубыхъ бойцовъ. Ибо „неправедно отдавать предпочтеніе тѣлесной силѣ передъ истинной мудростью“ и „мудрость наша превышаетъ человѣческой и лошадиной силы“. Такъ касается онъ по очереди всѣхъ святыхъ эллинскаго міровоззрѣнія, культа силы и красоты не менѣе, чѣмъ почитанія превознесенныхъ небесныхъ прообразовъ земного существованія. Прежде чѣмъ идти дальше — зададимся вопросомъ: откуда происходитъ этотъ рѣзкій разрывъ съ народными традиціями? откуда это отклоненіе отъ національныхъ мѣрилъ мышленія и чувствъ, пробившее путь дерзновеннѣйшимъ новшествами послѣдующаго времени?

Отвѣтъ на это дастъ намъ тотъ роковой по своимъ послѣдствіямъ моментъ въ исторіи Греціи, свидѣтелемъ котораго Ксенофону довелось быть въ его юношескіе впечатлительные годы. Іонія склоняется подъ скиптромъ могущественнаго царя, обитатели ея послѣ недолгаго сопротивленія подчиняются чужеземному игу, граждане лишь двухъ городовъ—Фокеи и Теоса—отечеству

предпочитають свободу: какъ могли подобныя впечатлѣнія пройти безслѣдно для міровоззрѣнія и жизненной философіи подростящаго поколѣнія? Гибель отчизны, утрата національной независимости всегда призываютъ сильныя души къ самопознанію и къ преображенію. Подобно тому, какъ въ Германіи послѣ триумфовъ Наполеона, послѣ Іены и Ауерштѣдта, рационалистическое просвѣщеніе и космополитическое направленіе умовъ уступило мѣсто національному духу и исторической романтикѣ, — подобно этому и побѣды Кира надъ малоазійскими греками произвели не менѣе глубокій переворотъ въ эллинскомъ сознаніи. Нельзя было свалить всю вину въ гибельномъ пораженіи на восточную изнѣженность и роскошь. Правда, и колофонецъ укоряетъ вверху стоящую „тысячу“ своихъ согражданъ, „перенявшихъ отъ лидянъ бесполезную пышность и красующихся на площадяхъ, облекшись въ пурпуръ и умастившись маслами“. Но его пытливый умъ не могъ на этомъ успокоиться. Зоркому изслѣдованію подвергъ онъ и нравственныя мѣрила поведенія, и народныя идеалы, ихъ провозвѣстниковъ и ихъ источники. Что мудренаго, что его трезвый здоровый умъ и характеръ склонны были видѣть корень зла въ самой обмірщенной религіи и въ ея носительницѣхъ—эпической поэзіи (слишкомъ знакомой ему, какъ рапсоду), и что вслѣдствіе этого онъ оторвался, хотя и съ болью въ сердцѣ, отъ отечественнаго преданія? Такимъ образомъ Ксенофанъ отвернулся не только отъ обезславленнаго отечества, но и отъ его исконныхъ идеаловъ. Для его разрушительной критики въ высшей степени благотворною оказалась его безпримѣрно долгая странническая жизнь (которую самъ онъ опредѣлялъ въ 67 лѣтъ), и, вслѣдствіе этого, необычайная ширина его кругозора, обнимающаго столь многія времена и страны. Его зоркое сужденіе безпощадно обличаетъ не только противорѣчія, несообразности и непристойности пестраго эллинскаго сказанія о богахъ и герояхъ; — онъ заглядываетъ глубже, туда, гдѣ переплетаются корни антропоморфическаго религіознаго творчества, своимъ противорѣчивымъ многообразіемъ разрушающаго порою свою собственную работу. Онъ знаетъ, что негры творятъ своихъ боговъ черными и курносыми, а еракійцы своихъ—голубо-глазыми и рыжеволосыми. Почему-же думать намъ, что одни лишь греки правы, а еракійцы и негры заблуждаются? Ему извѣстенъ плачь египтянъ надъ Озирисомъ не менѣе, чѣмъ плачь финикійцевъ надъ Адонисомъ. Онъ осуждаетъ и тотъ и другой, и въ

нихъ—родственные имъ греческіе культы. Выбирайте одно изъ двухъ,—взываетъ онъ къ тѣмъ, кто оплакивають умершихъ боговъ:—или оплакивайте ихъ, какъ смертныхъ людей. или же чтите, какъ бессмертныхъ боговъ. Такимъ образомъ, онъ первый пользовался методомъ косвенныхъ нападогъ и взаимныхъ опроверженій, опирающихся на сравненіи и аналогіи,—методомъ, оказавшимся столь могущественнымъ въ рукахъ Вольтера и Монтескье въ ихъ борьбѣ съ положительными догматами и вѣроченіями.

2. Видѣть въ рѣчахъ мудреца изъ Колофона простое осмѣяніе религіи было бы, конечно, такъ же неосновательно, какъ искать одно это осмѣяніе и въ разсужденіяхъ фѣрнейскаго мудреца. И Ксенофанъ также чтить „высшее существо“. Ибо „единный Богъ есть высшій какъ среди людей, такъ и среди боговъ, ни образомъ, ни помыслами не подобный смертнымъ“. Онъ не творецъ вселенной, не внѣмірный или сверхмірный богъ, а—если не по буквѣ, то по смыслу его рѣчей—Міровая Душа, Вселенскій Духъ. „Озирая весь небесный строй—говоритъ Аристотель, очевидно передавая слова философа, а не собственный выводъ,—Ксенофанъ нарекъ Божествомъ это единое“. „Куда бы ни залетала моя мысль, все разрѣшается для меня въ нѣкое Единство“, такія слова влагаетъ ему въ уста авторъ осмѣивающей его ученіе сатиры, поэтъ Тимонъ фліазіецъ (около 300 до Р. Х.). Когда самъ мыслитель говорить о своемъ верховномъ богѣ, что „онъ правитъ всѣмъ силою духа“, то это какъ бы указываетъ на дуалистическое міровоззрѣніе. Однако тутъ-же, наряду съ этимъ, мы встрѣчаемъ выраженія, не вяжущіяся съ этимъ представленіемъ. „Онъ весь видитъ, весь слышитъ и весь мыслить“—въ этихъ словахъ, правда, отрицается присутствіе у божества человѣческихъ органовъ чувствъ и мышленія, но никоимъ образомъ не утверждается оно непространственнымъ существомъ. И если далѣе говорится: „вѣчно пребываетъ онъ недвижнымъ на одномъ мѣстѣ, и всякое движеніе ему чуждо“, то эти опредѣленія какъ разъ и характеризуютъ его, какъ нѣчто пространственно протяженное, — какъ Вселенную, можемъ мы добавить, которая, въ качествѣ Цѣлаго, остается неподвижною и неизмѣнною при всѣхъ измѣненіяхъ и передвиженіяхъ ея частей. При этомъ мы не можемъ удержаться отъ улыбки, поймавъ яростнаго противника антропоморфизма на неожиданныхъ антропоморфическихъ реминисценціяхъ: такъ, неизмѣнный покой

Всебожества обосновывается тѣмъ, что „не достойно его туда и сюда спѣшить.“ Вѣдь это означаетъ, что высшее существо должно уподобляться не хлопотливо мечущемуся туда и сюда, запыхавшемуся слугѣ, а въ величавомъ покоѣ возсѣдающему на престолѣ царю!

Колебаніе въ представленіяхъ Ксенофана о высшемъ существѣ между духомъ и матеріей можетъ быть подтверждено еще другимъ образомъ. Дуалистическій теизмъ совершенно чуждъ какъ предшественникамъ Ксенофана, такъ и его современникамъ и потомкамъ. И Первосущность Анаксимандра, одновременно матеріальная и божественная, и одаренный разумомъ Огонь Гераклита не должны насъ ни больше, ни меньше поражать, чѣмъ Богъ-Природа нашего мудреца. Въ совокупности доктринъ его учениковъ намъ не найти и слѣда ученія о творцѣ міра, или о закономерно правящемъ мастерѣ, или, еще менѣе того, о небесномъ отцѣ, личнымъ вмѣшательствомъ осуществляющемъ свою заботу, или, наконецъ, о ниспосылающемъ награды и кары судіи. Между тѣмъ, кому пришло бы въ голову считать метафизиковъ-элейцевъ учениками Ксенофана, еслибъ они расходились съ нимъ, бывшимъ въ несравненно большей степени богословомъ, нежели метафизикомъ, въ основномъ пунктѣ ученія о божествѣ. Вмѣстѣ съ тѣмъ его пантеизмъ не столько является смѣлымъ новшествомъ, сколько дальнѣйшимъ развитіемъ народныхъ религій, обусловленнымъ возрастающимъ сознаніемъ единства жизни природы и повышеніемъ нравственныхъ требованій. Эта религія, во всѣ времена въ корнѣ своемъ была, главнымъ образомъ, почитаніемъ природы, и потому можетъ быть было бы уместнѣе говорить о возвратѣ, нежели о дальнѣйшемъ развитіи. Реформаторъ является здѣсь не въ меньшей степени и реставраторомъ. Подъ фундаментомъ храма, разрушеннаго имъ, онъ наталкивается на другое и древнѣйшее святилище. Обрасывая самые поздніе, специфически-греческіе, воплотившіеся въ эпосѣ Гомера и Гесиода, религиозные пласты, онъ тѣмъ самымъ обнажаетъ первичный обще-арійскій пласть—сохранившуюся во всей своей чистотѣ у индусовъ и особенно у персовъ природную религію.

Съ этой же точки зрѣнія мы должны разсматривать и спорный вопросъ о томъ, признавалъ-ли Ксенофанъ, на ряду со своимъ Всеединнымъ Существомъ, и отдѣльныхъ боговъ. Литературныя свидѣтельства, за которыми теперь не признается значенія, отри-

цаютъ это. Несомнѣнно, однако, что подлинныя выраженія мыслителя, и въ особенности его толкованіе отношенія верховнаго бога къ подчиненнымъ, подлинность котораго засвидѣтельствована перифразою Эврипида, рѣшаютъ этотъ вопросъ въ положительномъ смыслѣ. Это отношеніе не должно мыслиться нами на подобіе отношеній властителя къ своимъ подданнымъ; въ противоположность произволу выступаетъ здѣсь господство законовъ,—такимъ образомъ въ этихъ словахъ мы, кромѣ того, можемъ усмотрѣть болѣе или менѣе ясное признаніе господства всеправящаго, закономѣрнаго порядка. вмѣстѣ съ тѣмъ нѣтъ внутреннихъ основаній, которыя могли бы поколебать это убѣжденіе. Можно быть увѣреннымъ, что ни къ чадамъ Латоны, ни къ бѣлокурой супругѣ Зевса колофонецъ не воздѣвалъ молитвенно рукъ. Ибо, если „смертные мнятъ, что боги зачаты и что они обладаютъ ихъ (смертныхъ) чувствами, голосомъ и подобіемъ“, то это и является въ его глазахъ злѣйшимъ заблужденіемъ, бороться съ которымъ онъ считаетъ себя призваннымъ. Однако же, стремленіе обездушить и обезбожить самое природу столь же чуждо его образу мысленія, какъ и направленію его предшественниковъ и современниковъ, орфиковъ, которые, столь же настойчиво подчеркивая единство міровой власти, нисколько не отрицали, однако, множественности божественныхъ существъ. И Гераклитъ, на ряду со своимъ мыслящимъ Первоогнемъ, признавалъ подчиненныхъ ему отдѣльныхъ боговъ, даже Платонъ и Аристотель не пожертвовали своему верховному Божеству богами небесныхъ свѣтилъ: исключительный и строго послѣдовательный монотеизмъ греческому духу всегда представлялся безбожіемъ. Величайшимъ чудомъ было бы, еслибъ Ксенофанъ, исполненный глубокой, но эллиноскою религіозности, въ столь ранній періодъ явился въ этомъ отношеніи исключеніемъ. Итакъ, многое побуждаетъ насъ (—и ничто не препятствуетъ намъ—) думать, что онъ почиталъ, какъ божества, великія силы природы. Не первымъ монотеистомъ былъ глава элейской школы, а скорѣе возвѣстителемъ новаго пантеизма, отвѣчавшаго возрѣнію на природу своихъ соотечественниковъ и обогащеннаго знаніями своего времени.

3. Этимъ, однако не исчерпывается значеніе этого выдающагося человѣка. Поэтъ и мыслитель, онъ былъ вмѣстѣ съ тѣмъ и первокласснымъ изслѣдователемъ. Таковымъ величаетъ его—или поноситъ—младшій современникъ его, Гераклитъ, (срв. стр. 55).

Это и не должно насъ удивлять. Не та-же ли жажда познанія вложила ему въ руки странническій посохъ и многіе десятки лѣтъ безъ устали гнала его „мыслящій духъ по всѣмъ предѣламъ Греціи“! Несомнѣнно, что онъ при этомъ скорѣе искалъ, нежели избѣгалъ крайнихъ границъ широко раскинувшейся цѣпи колоній. Ибо именно на этихъ передовыхъ постахъ эллинской цивилизаціи, въ египетскомъ Наукратисѣ или въ скиеской Ольбіи носитель національной поэзіи являлся столь же желаннымъ гостемъ, какимъ въ наши дни нѣмецкій поэтъ является въ Санъ-Луи или въ Нью-Йоркѣ. Благодаря этому, въ эпоху, когда личное ознакомленіе обогащало несравненно болѣе, чѣмъ книжное знаніе, ему были открыты всѣ возможности собрать и использовать богатую жатву знанія. Изъ отдѣльныхъ научныхъ дисциплинъ главнымъ образомъ геологія причисляетъ его къ своимъ старѣйшимъ адептамъ. Насколько намъ извѣстно, онъ первый извлекъ правильные и широкіе выводы изъ факта находженія ископаемыхъ остатковъ растеній и животныхъ. Въ позднихъ третичныхъ пластахъ знаменитыхъ сиракузскихъ каменоломень онъ нашелъ отпечатки рыбъ и, вѣроятно, водорослей, а въ древнѣйшей третичной формаціи острова Мальты—разнообразныхъ раковинъ морскихъ конфилій. Онъ выводилъ отсюда неизбѣжность превращеній, которыя земная поверхность должна была претерпѣть въ минувшія эпохи, и при томъ, въ качествѣ антикатастрофиста,—какъ бы мы сказали теперь послѣ Чарльза Ляейлля, — онъ считалъ эти превращенія не результатомъ единичныхъ, мощныхъ переворотовъ, а плодомъ постоянныхъ, неизмѣримо малыхъ процессовъ, лишь постепенно накопляющихъ великія измѣненія. Онъ провозглашалъ медленную, постепенную періодическую смѣну суши и моря,—взглядъ, напоминающій собою ученіе о круговращеніи, встрѣченное нами у его предполагаемаго учителя, Анаксимандра; съ этой идеей Ксенофанъ соединялъ аналогичную теорію постепеннаго, естественнаго развитія человѣческой культуры: „боги не все открыли смертнымъ отъ начала; но сами они, ища, находятъ постепенно лучшее“. Въ этихъ словахъ мы не можемъ не услышать голоса научнаго духа, который вноситъ въ образъ колофонскаго мудреца новую и значительную черту.

Сдѣлаемъ еще разъ краткій обзоръ этаповъ пути этого замѣчательнаго человѣка. Тягостныя юношескія переживанія рано пробудили въ немъ сомнѣніе въ благости и долговѣчности народнаго преданія,—въ особенности религіознаго. Столкновеніе съ безчи-

слепными вѣроученіями, правами и обрядами различныхъ племенъ и народовъ втеченіе семидесятилѣтней страннической жизни углубили и укрѣпили эти сомнѣнія и доставили ему мощныя средства для защиты ихъ. Расчистивъ себѣ такимъ образомъ путь, религіозный реформаторъ избралъ то направленіе, которое диктовалось ему одновременно его собственными нравственными идеалами, инстинктами, которые можно было бы назвать унаслѣдованными и атавистическими, и наконецъ результатами научнаго образованія его времени. Духъ его, чуждый всякому грубому насилію и исполненный прекрасной человѣчности и любви къ справедливости, влечетъ его къ устраненію изъ народныхъ вѣрованій всего того, что не отвѣчаетъ этому высокому требованію. Почитаніе природы, передававшееся каждому эллину какъ бы съ молокомъ матери и достигающее высшаго своего выраженія во всякой поэтически и религіозно настроенной личности, въ соединеніи съ признаніемъ законмѣрности вселенной, которое Ксенофанъ раздѣляетъ со своими наиболѣе передовыми современниками, приводитъ его къ такому представленію о верховномъ Божествѣ, которое рисуетъ его единою, проникающей вселенную, правящей ею на подобіе того, какъ душа править тѣломъ, оживляющей и движущей ее, но вмѣстѣ съ тѣмъ неразрывно связанною и спаянною съ нею первичной силою. Ко всѣмъ этимъ импульсамъ, однако, присоединяется еще и другой—его глубокой, созрѣвшей и окрѣпшей на критикѣ мнѣическихъ образовъ, духъ истины. Онъ побуждаетъ его осудить принятое богословіе не только по причинѣ его нравственной несостоятельности, но и по причинѣ недостаточной фактической обоснованности его. Ходячія ученія—такъ, повидимому, рассуждаетъ онъ—говорятъ о высшихъ предметахъ не только то, чему мы не должны вѣрить, но еще и то, чему вѣрить мы не можемъ. Его отталкиваетъ отъ нихъ не только малая цѣнность утверждаемаго ими, но и произвольность ихъ утвержденій. Такія морально невинныя, но фантастическія и противоестественныя созданія, какъ „гиганты, титаны и кентавры“, онъ съ суровостью клеймитъ, какъ „измышленія древнихъ“. И далѣе, онъ учитъ не только иному, чѣмъ его предшественники въ богословіи,—онъ учитъ меньшему, чѣмъ они. Онъ ограничивается немногими основными понятіями, не доводя ихъ при этомъ до окончательнаго и точнаго выраженія. „Ни о чемъ—такъ сѣтуетъ Аристотель—Ксенофанъ не высказался съ отчетливой полнотою“. Но воздержаніе простирается и далѣе того. Въ вѣчно памятныхъ строкахъ онъ оспариваетъ всякую вообще—а въ томъ

числѣ и заключающуюся въ его собственныхъ ученiяхъ—догматическую опредѣленность и, такъ сказать, снимаетъ съ себя всякую отвѣтственность за выходки догматизирующихъ учениковъ своихъ. „Достовѣрнаго знанiя, такъ провозглашаетъ онъ, о богахъ, о томъ, что я называю цѣлымъ природы, никто никогда не имѣлъ и не будетъ имѣть; и еслибъ даже кому нибудь и случилось высказать истинное, онъ самъ бы того не зналъ; ибо надъ всѣмъ царить мнѣнiе“. Эти памятные слова намъ еще не разъ придется встрѣтить. Прежде всего—у одного выдающагося пiонера здравыхъ естественно-научныхъ методовъ, у близкаго къ Гиппократу,—если не тождественнаго съ нимъ—автора сочиненiя „О древней медицинѣ“, который начинаетъ съ этихъ именно словъ великаго мудреца свою проникательную критику натурфилософскаго произвола. Но объ этомъ дальше. Мы можемъ заключить наше изложенiе тѣмъ наблюденiемъ, что Ксенофанъ, подобно всѣмъ истинно великимъ людямъ, соединялъ въ себѣ глубокiя, какъ бы взаимно исключаютелiя другъ друга противоположности, а именно упоенное божествомъ вдохновенiе и трезвѣйшую, остро прозрѣвающую границы человѣческаго познанiя ясность мысли. Онъ одновременно и сѣятель, и жнецъ. Одной рукою онъ забрасываетъ сѣмя, изъ котораго вскорѣ возникнетъ видное дерево въ лѣсу греческаго умозрѣнiя, другою—точить лезвiе топора, предназначеннаго на то, чтобъ подрубить какъ этотъ, такъ и много другихъ мощныхъ стволовъ.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Парменидъ.

1. Полибъ, зять Гиппократа, основателя научной медицины, начинаетъ свое сочиненiе „О природѣ человѣка“ съ оживленной полемики. Онъ выступаетъ противъ врачей и писателей, утверждающихъ, что тѣло человѣческое состоитъ изъ единой субстанци. Эту „всеединую“ субстанцию одни видятъ въ воздухѣ, другiе—въ огнѣ, третьи—въ водѣ, и всякiй „приводитъ въ пользу своего ученiя доводы и свидѣтельства, которые на самомъ дѣлѣ ровно ничего не доказываютъ“. Это станетъ очевиднымъ, какъ только

мы бросимъ взглядъ на тѣ словесные турниры, съ которыми они выступаютъ передъ публикой. Ибо человѣкъ, владѣющій истиной, долженъ былъ бы всегда и вездѣ съ помощью доказательствъ умѣть отстоять ее,—здѣсь же всякій разъ одерживаетъ верхъ другой, и именно тотъ, кто всѣхъ спорѣ на языкъ. „По мнѣ же, такъ заканчивается эта любопытная полемическая выходка, всѣ эти люди по неразумію своему рѣчами своими взаимно подрываютъ другъ друга—и тѣмъ самымъ положеніе Мелисса ставятъ на ноги“. Можно смѣло сказать, что ученія, о которыхъ говорится, что они „поставили на ноги“ извѣстное положеніе, т. е. служили ему опорой — вмѣстѣ съ тѣмъ расчистили ему путь, обусловили его появленіе и способствовали его торжеству. Поэтому не будемъ упускать изъ вида это краснорѣчивое свидѣтельство и припомнимъ его тамъ, гдѣ намъ важно будетъ выяснитъ основные мотивы элейской доктрины, достигшей своего высшаго расцвѣта въ Мелиссѣ. (Мелиссъ происходилъ изъ знатнаго рода съ острова Самоса; время его жизни точно опредѣлено благодаря морской побѣдѣ, одержанной имъ надъ аѳинянами въ 441 до Р. Х.). Прежде всего мы должны ясно понять разницу въ отношеніи естествоиспытателя, слова котораго мы привели выше, съ одной стороны къ натурфилософамъ, которыхъ онъ разбиваетъ съ такой мѣткостью и убѣдительностью, и съ другой—къ самосскому или—какъ можно назвать его по принадлежности къ извѣстной школѣ — къ элейскому метафизику. Отъ натурфилософовъ отдѣляютъ Полиба глубокія различія во взглядахъ,—но все же самое тяжкое обвиненіе его сводится къ тому, что всѣ они способствуютъ торжеству ученія Мелисса. Его слова звучатъ какъ призывъ добраго патріота, предостерегающаго своихъ партійныхъ противниковъ, какъ бы они не сыграли на руку вѣшному врагу. Внутренній раздоръ партій отступаетъ на задній планъ, когда дѣло идетъ о защитѣ отъ врага, всѣмъ равно несущаго гибель. Такъ и было на самомъ дѣлѣ. Крайнимъ полюсомъ, злѣйшими противниками натурфилософовъ и изслѣдователей природы всѣхъ толковъ и направлеялись философы, которыхъ современники объединяли подъ ній иронической кличкой: „противоестественники“ или „неподвижники“. „Положеніе Мелисса“ заключается не въ чемъ иномъ, какъ въ томъ, что мы, употребляя его собственныя выраженія, „не видимъ и не познаемъ сущаго“. Весь окружающій насъ многокрасочный міръ, о которомъ свидѣлствуютъ наши чувства, есть лишь призракъ, миражъ; всякое измѣненіе, передвиженіе,

рость и самый процессъ жизни, словомъ все, что составляетъ объектъ изслѣдованія природы и размышленій надъ нею—все это лишь тѣнь, лишь обманчивый призракъ. Единое реальное таится глубоко подъ этой лживой фантазмагоріей,—въ вопросѣ же о томъ, что представляетъ оно по существу, расходятся пути обоихъ главныхъ представителей школы. Однако, если они и не вполне сходятся въ своихъ положительныхъ утверженіяхъ, зато они совершенно единодушны въ предшествующей этимъ утверженіямъ отрицательной работѣ. Поэтому намъ слѣдуетъ, ознакомившись съ личностью старѣйшаго и значительнѣйшаго изъ нихъ, сперва рассмотреть ихъ общія сомнѣнія и отрицанія.

2. Этимъ предшественникомъ Мелисса былъ Парменидъ, истинный основатель прославленнаго ученія о единствѣ. Онъ былъ выходцемъ изъ Элеи и происходилъ изъ состоятельнаго и именитаго рода, вслѣдствіе чего не могъ остаться въ сторонѣ отъ политической жизни страны. Повидимому, онъ составилъ законы для своего родного города, и вѣроятно съ этимъ или съ какимъ нибудь другимъ актомъ общественной дѣятельности связываютъ достоверную дату, относящую расцвѣтъ его дѣятельности къ 69 Олимпіадѣ (504—501 до Р. Х.). Безъ сомнѣнія онъ былъ въ близкомъ общеніи съ Ксенофаномъ, умершимъ четверть вѣка спустя, во всякомъ случаѣ послѣ 478 г. Однако же мы затруднились бы назвать его ученикомъ Ксенофана въ собственномъ смыслѣ слова, хотя бы ужъ потому, что бродячій рапсодеъ, никогда не остававшійся по долгу на своей второй родинѣ, врядъ ли когда занимался учительствомъ. Напротивъ того, преданіе называетъ намъ пифагорейца Амейніа, сына Діохайта, который яко-бы приохотилъ Парменида къ философскимъ занятіямъ, и въ благодарность за то послѣ своей смерти былъ почтенъ имъ сооруженіемъ святилища (Неоон), т. е. того, что мы назвали бы часовней. И дѣйствительно, система Парменида, какъ мы увидимъ далѣе, несетъ на себѣ печать пифагорейскаго духа не менѣе, чѣмъ духа Ксенофана. Ученіе о всеединствѣ, построенное имъ по методу строгаго выведенія, заимствованному изъ математики, по формѣ своей обличаетъ въ немъ ученика пифагорейской школы, тогда какъ особенности его умственныхъ построеній явно свидѣтельствуютъ о томъ, что онъ не могъ найти полного удовлетворенія въ содержаніи пифагорейства. Такимъ образомъ, если его система въ основѣ своей опирается на пантеизмъ Ксенофана, а формой обязана математикѣ Пифагора, то направленіе

ея опредѣляется еще третьимъ ученіемъ, а именно системою Гераклита. Ибо „ученіе о вѣчномъ потокѣ“ Эфесскаго мудреца всего глубже поразило мысль Парменида, вызвало въ немъ самыя коренныя сомнѣнія и привело его, какъ и его послѣдователей, къ тому роду выводовъ, въ которомъ всего разительнѣй сказался своеобразный характеръ умозрѣнія элейцевъ. Однако, эти сомнѣнія и вытекающія изъ нихъ отрицанія мы выслушаемъ сперва изъ устъ младшаго представителя школы, такъ какъ его ясная и обстоятельная проза въ данномъ случаѣ желательнѣй тѣсной, громоздящей доводы на доводы, скупой на слова дидактической поэзіи его учителя. „Ибо, говоритъ Мелиссъ, если земля, вода, воздухъ и огонь, а также желѣзо и золото воистину с у т ь, если одно живо, другое мертво, одно бѣло, другое черно, и если подобно этому всѣ вещи, которыя люди считаютъ истинно сущими, дѣйствительно существуютъ, и мы правильно видимъ и слышимъ ихъ,—тогда всякая изъ нихъ должна бы быть такою, какою она явилась намъ впервые; она не должна превращаться или измѣнять форму, а быть всегда тѣмъ, что она есть. Мы же утверждаемъ, что мы правильно видимъ, слышимъ и познаемъ, и однако намъ кажется, что теплое становится холоднымъ и холодное—теплымъ, твердое—мягкимъ и мягкое—твердымъ, что живое умираетъ и возникаетъ изъ не-живого, что все измѣняется, и что нѣтъ ничего схожаго между тѣмъ, какой была вещь и какою стала. Само твердое желѣзо стирается на пальцѣ, который оно окружаетъ въ видѣ перстня, а также и золото, и драгоценныя камни, и все, что мы считаемъ самымъ твердымъ,—изъ воды же, напротивъ того, возникаетъ суша и камни. Итакъ, изъ этого слѣдуетъ, что сущаго мы и не видимъ, и не познаемъ“. Здѣсь предъявляется двоякое требованіе къ объектамъ чувственнаго воспріятія: ненарушимое постоянство существованія и ненарушимое постоянство свойствъ. Будучи строго взвѣшаны, эти объекты признаны слишкомъ легковѣсными и въ томъ, и въ другомъ отношеніи: имъ ставится въ вину какъ то, что они переходящи, такъ и то, что они измѣнчивы. Если эти два требованія, касающіяся двухъ различныхъ сужденій, сливаются здѣсь воедино, то въ этомъ повинно не сознание еще въ тѣ времена двоякое значеніе слова „быть“, которое употребляется то въ смыслѣ существованія, то какъ простая связка (солнце есть; солнце есть небесное тѣло). Мы можемъ оставить въ сторонѣ вопросъ о томъ, насколько правомѣрно было отнесеніе всего переходящаго и измѣнчиваго къ области призрачности и небытія.

Ничего нѣтъ понятнѣй исканія надежнаго, такъ сказать, устойчиваго объекта познанія и, съ другой стороны, столь же понятно, что, ввиду несовершенства господствовавшаго тогда ученія о веществѣ, невозможно было найти его въ предметахъ чувственнаго воспріятія. Нынче древесный листъ зеленъ и полонъ соковъ, завтра онъ желтѣетъ и засыхаетъ, а еще позже становится бурнымъ и свертывается. Гдѣ же найти сущность вещи, какъ уловить и закрѣпить въ ней непреходящее? Гераклитъ объединилъ сумму этихъ ежедневныхъ наблюденій, расширилъ ихъ область, перенесъ ихъ за предѣлы опытныхъ воспріятій, и возникшимъ изъ нихъ сомнѣніямъ сообщилъ парадоксальный, тревожащій мысль характеръ. Этимъ не только была отнята всякая почва у стремленія къ познанію—(поскольку оно не довольствуется спокойнымъ созерцаніемъ законмѣрной смѣны всего совершающагося, см. стр. 67)—но и глубоко задѣта естественная жажда внутренняго, чуждаго противорѣчій единства мышленія. „Всѣ вещи чувственнаго міра объаты неустаннымъ измѣненіемъ“—ужь и это воззрѣніе смущало духъ, но противъ положенія: „вещи существуютъ—и не существуютъ“ возставалъ самъ здравый разумъ,—и тѣмъ яростнѣй, чѣмъ строже была умственная дисциплина, пройденная философомъ. Естественно, что самый пылкій протестъ вызывало оно въ умахъ, прошедшихъ пифагорейскую, т. е. главнымъ образомъ математическую школу. Поэтому немудрено, что ученикъ пифагорейцевъ, Парменидъ, видѣлъ „два пути“ заблужденій: съ одной стороны—въ обычномъ міросозерцаніи, вѣрующемъ въ реальность чувственнаго міра, съ другой—въ ученіи Гераклита. Противъ этого послѣдняго направляетъ онъ самыя ядовитыя стрѣлы своей полемики. Тѣ, „кому бытіе и не-бытіе являются попеременно то тождественнымъ, то не тождественнымъ“, представляются ему „одновременно слѣпыми и глухими, беспомощно цѣпеняющими,—заблудшимъ, темнымъ родомъ“—онъ называетъ ихъ „одвухъ головахъ“ (мы бы сказали, съ головой Януса), намекая этимъ на двуликость, являемую вещами въ ихъ ученіи; ихъ, „незнающихъ“, увлекаетъ въ своемъ движеніи ученіе о потокѣ вещей,—„вспять ведетъ ихъ путь“, подобный пути, проходимому ихъ первостихіей.

Какъ ни знаменательны для умонастроенія элейца какъ эти нападки, такъ и все его отношеніе къ гераклитизму,—еще поучительнѣе и любопытнѣй представляется намъ его борьба съ другимъ и злѣйшимъ противникомъ, съ ходячими взглядами

людей. Глубокое внутреннее возбужденіе чуетса за бурнымъ потокомъ изреченій и стиховъ, которые, какъ непрерывно слѣдующіе одинъ за другимъ тяжкіе удары молота, должны въ основѣ потрясти и искоренить обычное міросозерцаніе съ его вѣрою въ реальность чувственныхъ объектовъ, ихъ возникновенія, уничтоженія, и вообще какого бы то ни было передвиженія и измѣненія. „Какъ можетъ сущее быть уничтожено,—какъ можетъ оно возникнуть во времени? Если оно возникло, то было время, когда его не было, и также, если его возникновеніе когда-либо предстоить“. „Какое начало найдешь ты для сущаго? Какъ и откуда могло бы оно возрасти? Не дозволю тебѣ утверждать или думать, что оно произошло изъ не-сущаго, ибо невыразимо и невысказимо не-сущее. И ради какой нужды могло оно быть призвано къ жизни именно въ такое-то время, а не въ иное?.. Но и то допустить, что изъ сущаго можетъ возникнуть съ нимъ рядомъ другое сущее—возбращаетъ тебѣ здравый разсудокъ“. Въ чемъ же однако обратная и положительная сторона всѣхъ этихъ отрицаній? Сущее не только „не возникаетъ и не уничтожается“, и слѣдовательно оно „безначально и безконечно“, ему не только чужды „перемѣщенія въ пространствѣ“ и „измѣнчивость окраски“,—но оно вмѣстѣ съ тѣмъ есть ограниченное и мыслящее существо, „неразложимое цѣлое, однородное, въ себѣ самомъ покоящееся, всюду равное самому себѣ, не болѣе сущее здѣсь, чѣмъ тамъ, подобное массѣ равномерно закругленнаго и всюду равнаго себѣ шара“. При этихъ словахъ читатель испытываетъ какъ бы нѣкоторый толчекъ, пробуждающій его отъ воздушныхъ мечтаній: только что мысль его вольно унеслась въ надзвѣздныя области—и вотъ уже снова охватываютъ ее тиски дѣйствительности. Кажется, будто самъ Парменидъ отважился на полетъ Икара, обѣщавшій унести его за предѣлы опытнаго міра въ сферу чистаго сущаго; но силы измѣнили ему на полъ-пути, онъ падаетъ обратно въ привычныя низины тѣлеснаго существованія. И дѣйствительно, хотя его „сущее“ и проложило путь родственнымъ ему концепціямъ позднѣйшихъ онтологовъ, но само оно отличается отъ нихъ еще слишкомъ явнымъ отпечаткомъ земного; не въ святая святыхъ метафизики вводитъ оно, а только въ преддверіе ея.

3. Однако, намъ не мѣшало бы еще разъ бросить взглядъ на то сужденіе Полиба, съ котораго мы начали изложеніе доктрины элейцевъ. Прозорливый врачъ провидѣлъ въ противорѣчивыхъ

утвержденіяхъ натурфилософовъ опору скепсиса элейцевъ. По-видимому, онъ этимъ хотѣлъ сказать слѣдующее: тотъ, кто утверждаетъ, что всѣ вещи суть воздухъ, оспариваетъ свидѣтельства всѣхъ чувствъ съ однимъ лишь ограниченіемъ; кто сводитъ ихъ къ водѣ, поступаетъ также съ другимъ ограниченіемъ; точно также дѣйствуетъ тотъ, кто сводитъ все къ огню. Такимъ образомъ представители этихъ ученій должны были играть на руку тѣмъ мыслителямъ (мы сказали бы болѣе—породить ихъ), которые суммировали эти единодушныя отрицанія и противорѣчивыя утвержденія. Погасивъ эти утвержденія одно другимъ, какъ если бъ это были взаимно другъ друга покрывающія отчетныя статьи, они свели всѣ частичныя отрицанія къ одному суммарному отрицанію (ср. стр. 44). Если мы продумаемъ эту мысль до конца, то у насъ не останется сомнѣнія относительно источника Парменидова ученія о сущемъ. Оно есть продуктъ разложенія, и при томъ остатокъ или осадокъ, получившійся послѣ саморазложенія ученія о первовеществѣ. Чѣмъ рѣшительнѣе взаимно уничтожали другъ друга тѣ противорѣчивыя формы, въ которыя попеременно облекалось ученіе о первовеществѣ,—тѣмъ прочнѣе вѣзывалось въ сознаніе общая имъ всѣмъ и незатронутая борьбою мнѣній основа. Вѣра въ то, что вещество не возникаетъ и не уничтожается, была, по словамъ Аристотеля, „ученіемъ, общимъ всѣмъ физикамъ“, подъ которыми онъ разумѣетъ именно натурфилософовъ, начиная съ Фалеса. Въ теченіе цѣлаго столѣтія доктрина эта была близка и привычна всѣмъ мыслящимъ и культурнымъ умамъ Греціи. Да и какъ могла она, перемѣнившая столько оболочекъ и при всѣхъ этихъ превращеніяхъ побѣдно сохранившая свою устойчивость, не показаться въ концѣ концовъ неуязвимою и не пріобрѣсти значенія нѣкоторой аксіомы? Однако, правда, что теперь это „старое, никѣмъ не оспариваемое положеніе“ (эти слова снова принадлежатъ Аристотелю) не только пріобрѣло, главнымъ образомъ благодаря своему противоположенію ученію эфесскаго мудреца болѣе строгое и крайнее выраженіе, но и обогатилось новыми чертами, происхожденіе которыхъ намъ предстоитъ вскрыть.

Мы уже познакомились съ первымъ и важнѣйшимъ изъ этихъ добавленій. Заполняющему пространство міровому существу Парменида присуща не только вѣчность, но и неизмѣнность. Оно не перетерпѣваетъ разнообразныхъ видоизмѣненій, подобно первостихіи Фалеса или Анаксимандра, Анаксимена или Гераклита, не выявляетъ изъ себя подобно ей и не поглощаетъ

снова многообразныя формы; сегодня, какъ вчера, оно являетъ собой не только то, чѣмъ было отъ вѣка, но и то, какъ было и будетъ въ вѣчности. Больше того, намъ встрѣчается выраженіе, которое какъ бы подвергаетъ сомнѣнію самое существованіе времени,—и дѣйствительно, какое значеніе можетъ имѣть понятіе времени тамъ, гдѣ ничто не происходитъ во времени, гдѣ отрицается всякая реальность за всѣми временными процессами? Однако, элеецъ, повидимому, не можетъ долго удержаться на этой точкѣ, составляющей вершину его способности къ абстракціи, но зато тѣмъ упорнѣе настаиваетъ онъ на постоянствѣ и неизмѣнности своей пространственной сущности. Къ требованію количественнаго постоянства, изначала логически связаннаго съ ученіемъ о первостихіи, а не только заложенаго въ самой природѣ его, и постепенно, особенно благодаря Анаксимену, все опредѣленнѣй выражавшемуся,—присоединяется требованіе качественнаго постоянства. Не только масса вещества не должна ни прибывать, ни убавляться, но и форма ея должна пребывать неизмѣнною. Краткое отступленіе, нѣсколько выходящее изъ рамокъ настоящаго изложенія, покажетъ намъ, до какой степени это дальнѣйшее дополненіе было заложено въ самомъ духѣ ученія. Насколько мы знаемъ, Анаксагоръ, которымъ мы вскорѣ займемся, никогда не былъ подъ влияніемъ доктрины Парменида, и однако общее имъ обоемъ основное ученіе породило и въ его системѣ ту же идею. Недавно открытый краткій отрывокъ изъ его книги всего лучше покажетъ намъ, какимъ образомъ дошелъ онъ, подобно многимъ другимъ, до этого дальнѣйшаго развитія ученія о первостихіи. „Какъ могъ бы неволось обратиться въ волосъ, не-мясо въ мясо?“—такъ вопрошаетъ онъ и мнитъ, что обличаетъ и опровергаетъ этими словами нѣчто, ни съ чѣмъ несообразное. Чтобъ ясно понять этотъ ходъ мысли, мы должны припомнить магическую власть рѣчи надъ мыслью самыхъ глубокихъ умовъ. Вещество не имѣетъ начала; изъ ничего не можетъ возникнуть нѣчто,—эти положенія, какъ было ужъ сказано, въ теченіе вѣка были ходячей истиной. Медленно и незамѣтно черезъ посредство ихъ совершался переходъ къ новой аксіомѣ. Если изъ не-сущаго никогда не возникаетъ сущее, какъ можетъ изъ не этого и того сущаго возникнуть это и то сущее? Единая формула обнимала оба постулата: изъ не-сущаго не можетъ возникнуть сущее, изъ не-блага и т. д. не можетъ возникнуть благо и т. д. Мы уже обратили вниманіе на

неразборчивое употребленіе слова „быть“ и на примѣненіе его то въ качествѣ обозначенія существованія, то въ качествѣ простой связки между субъектомъ и предикатомъ. Однако то обстоятельство, что этотъ новый постулатъ возникъ такимъ путемъ и былъ вызванъ къ существованію силой ассоціаціи идей и двусмысленностью рѣчи, ни въ коемъ случаѣ не должно вліять на нашу оцѣнку его значенія. Вѣра въ причинность, это порожденіе слѣпого инстинкта ассоціаціи, не можетъ похвалиться болѣе знатнымъ происхожденіемъ, — и однако, кто отважился бы выйти теперь изъ-подъ ея руководства послѣ того, какъ опытъ шагъ за шагомъ подтверждалъ ея ожиданія, и особенно послѣ того, какъ прививкою экспериментальнаго канона дичокъ былъ превращенъ въ благородное растение! Но если бѣ даже произошло дотола нвиданное, — если бѣ въ нашихъ рукахъ подломился посохъ, на который въ теченіе мириады лѣтъ опирались въ своемъ шествіи наши предки, если бѣ вода внезапно перестала утолять жажду или кислородъ — поддерживаетъ горѣніе, — то и тогда намъ не оставалось бы выбора и мы не должны были бы сожалѣть о томъ, что доселѣ довѣрялись той мысли, что будущее будетъ во всемъ подобно прошлому, и благодаря этому вступили на единственно возможный путь среди дикаго лабиринта природы.

Если и не совсѣмъ такъ, то сходно съ этимъ обстоитъ дѣло съ обоими постулатами, утверждающими постоянство вещества. Не совсѣмъ такъ, говоримъ мы, ибо міръ не сталъ бы хаотическимъ, и цѣлесообразные поступки оставались бы возможными и при одномъ лишь существованіи закономѣрно слѣдующихъ другъ за другомъ явленій, хотя бы за ними и не было постоянного субстрата. Однако, не будемъ останавливаться на подобныхъ предположеніяхъ. Допустивъ вообще существованіе матеріальныхъ тѣлъ и принявъ тотъ рядъ наблюденій, изъ котораго возникло и въ которомъ окрѣпло ученіе о первовеществѣ (ср. стр. 40), — мы должны будемъ признать, что дальнѣйшій прогрессъ познанія дѣйствительно былъ обусловленъ возможностью опредѣлять это протяженное и пространственное нѣчто, какъ нѣчто постоянное, — и при томъ не только количественно, но и качественно постоянное. Только такимъ путемъ могъ быть понятъ міровой процессъ, и будущее могло быть выведено изъ прошлаго; потребность въ этомъ пониманіи должна была мощно способствовать росту новаго вѣрованія, если она и не всецѣло породила его. Однако, судьба этихъ

двухъ развѣтвленій одного и того же ученія и до нашихъ дней весьма различна. Мы всё вѣримъ въ то, что изъ ничего не возникаетъ нѣчто и что нѣчто не переходитъ въ ничто: противорѣчащая этому видимость оказывалась обманчивой въ безчисленныхъ случаяхъ,—и при томъ чаще всего въ тѣхъ областяхъ, гдѣ наше знаніе установлено всего прочнѣе,—и такимъ образомъ данное ученіе ни разу не было поколеблено возраженіемъ, сколько-нибудь заслуживающимъ довѣрія. Утвержденія же, что нѣчто изъ ничего возникнуть не можетъ и что нѣчто не можетъ вернуться въ ничто,—этого утвержденія мы не можемъ принять ни отъ Парменида, ни отъ многочисленныхъ его послѣдователей-априористовъ. Мнимая логическая необходимость этого утвержденія призрачна. Въ одно понятіе—въ данномъ случаѣ въ понятіе „бытія“—собраны были различные признаки, которые затѣмъ такъ тѣсно срослись между собой и съ облекающею ихъ словесной оправою, что это искусственное порожденіе дѣйствительно стало производить впечатлѣніе естественнаго (если не сверхъестественнаго) порожденія. Сначала вѣчное постоянство было названо „сущимъ“, а затѣмъ намъ было ясно доказано, что такое „сущее“ не можетъ ни возникнуть, ни исчезнуть, ибо иначе оно не было бы „сущимъ“. Впрочемъ, это только попутное замѣчаніе. Второй изъ этихъ тѣсно сросшихся постулатовъ еще донинѣ составляетъ почти исключительное достояніе строго научныхъ умовъ. Онъ противорѣчитъ очевидности значительно больше, чѣмъ его старшій собратъ, и до сихъ поръ еще является скорѣе руководящей нитью изслѣдованія, чѣмъ его уже достигнутымъ и эмпирически подтвержденнымъ результатомъ. Въ духѣ современной науки этотъ постулатъ можетъ быть вкратцѣ выраженъ слѣдующимъ образомъ. Во всякомъ процессѣ природы есть какъ бы нѣкій центральный стволъ его, изъ коего бѣгутъ многочисленныя развѣтвленія. Этотъ центральный стволъ въ конечномъ счетѣ самъ является суммой движеній. Носителей этихъ движеній или перемѣщеній въ пространствѣ мы можемъ съ нѣкоторымъ вѣроятіемъ назвать безкачественными тѣльцами. Развѣтвленія или излученія ихъ суть тѣ чувственные образы, которые порождаютъ видимость качественного измѣненія. Воздушная волна—и соотвѣтствующее ей звуковое впечатлѣніе, эфирная волна—и соотвѣтствующее ей свѣтовое впечатлѣніе, химическій процессъ (т. е. въ конечномъ счетѣ разложеніе, соединеніе, и перемѣщеніе частицъ вещества)—и соотвѣтствующее ему вкусовое ощущеніе или ощущеніе обонанія—вотъ нѣсколько примѣровъ,

освѣщающихъ сказанное выше. Въ отдѣлѣ ученія о свѣтѣ и звукѣ уже изучены тѣ процессы движенія, которые сопровождаютъ исходящія отъ нихъ качественныя впечатлѣнія; въ области же химіи на этомъ пути еще такъ мало сдѣлано, что еще недавно одинъ выдающійся естествоиспытатель могъ назвать „математико-механическое изображеніе простѣйшаго химическаго процесса“— „задачею, достойной Ньютона химіи“ „Только въ томъ случаѣ химія стала бы наукой въ высшемъ человѣческомъ смыслѣ слова“, продолжаетъ онъ далѣе, „если бъ мы могли упругость, скорость, устойчивое и неустойчивое равновѣсіе частицъ, на подобіе движенія небесныхъ тѣлъ, разсматривать по закону причинности“. По поводу первыхъ, уже осуществленныхъ начинаній этой идеальной науки тотъ же изслѣдователь замѣчаетъ, что „врядъ ли существуетъ болѣе изумительное порожденіе человѣческаго духа, нежели теорія строенія вещества въ химіи. Шагъ за шагомъ возвести ученія, вродѣ ученія объ изомерическихъ отношеніяхъ углеводо́въ, на основѣ того, что непосредственному воспріятію пяти чувствъ является какъ качества и превращенія вещества,—было едва ли легче, чѣмъ вывести механику планетной системы изъ движенія свѣтящихся точекъ“.

4. Однако, возвратимся къ Пармениду. Мы рѣшились на такое длинное отступленіе, надѣясь, что указаніемъ на плоды, заключающіеся какъ въ сѣмени въ его ученіи о неизмѣяемости вещества, мы пойдемъ навстрѣчу болѣе глубокому пониманію его и вмѣстѣ съ тѣмъ отдадимъ дань памяти древняго мудреца. И дѣйствительно, мы теперь болѣе подготовлены къ тому, чтобы понять и оцѣнить нѣкоторыя парадоксальныя стороны его доктрины. Ибо что такое его отрицаніе свидѣтельства чувствъ, какъ не обратная сторона заложеннаго въ самомъ ученіи о первостихіи требованія и утвержденія неизмѣяемости матеріи,—утвержденія, питаемаго одновременно (какъ это намъ уже не разъ встрѣчалось) какъ правильнымъ чувствомъ, такъ и ложными ассоціаціями. Показанія чувствъ противорѣчатъ этому требованію,—поэтому за ними отрицается всякое значеніе. Правда, это отрицаніе не вполне послѣдовательно, ибо на чемъ, какъ не на свидѣтельствѣ чувства осязанія или, вѣрнѣе, мышечнаго чувства и чувства сопротивленія, покоится увѣренность въ наличности нѣкой сущности, заполняющей пространство—и даже самого пространства? Но Парменидъ, повидимому, чистосердечно вѣрилъ, что ему удалось изгнать изъ

своей концепціи міра все, порожденное воспріятіями чувствъ, и, поистинѣ, мы не можемъ ему поставить въ укоръ то, что онъ заблуждался въ этомъ отношеніи и, подобно Иммануилу Канту—чтобъ не называть многихъ другихъ,—проглядѣлъ чувственное происхождение пространственныхъ представлений. Удивительнѣе кажется намъ то, что онъ, не подвергнувъ критикѣ самое пространство и его тѣлесное содержаніе, въ то же время отнесъ къ области призрачнаго бытія движеніе въ пространствѣ, которое однако опирается на это же свидѣтельство. Это несомнѣнное противорѣчіе можетъ быть объяснено слѣдующимъ образомъ. Движеніе въ пространствѣ, къ которому относится также и измѣненіе въ объемѣ, во многихъ случаяхъ жизни природы идетъ рука объ руку съ тѣмъ, что представлялось Пармениду всего невѣроятнѣе—а именно съ измѣненіемъ свойствъ вещей. Припомнимъ все то, что мы включаемъ въ понятія органическаго роста, развитія, строительства и умиранія. Естественная связь этихъ двухъ рядовъ явленій нашла свое крайнее выраженіе въ Гераклитовомъ ученіи о потокѣ вещей, вполне отождествившемъ непрестанное пространственное перемѣщеніе съ непрестаннымъ качественнымъ измѣненіемъ. Немудрено поэтому, что смертельному врагу этого ученія не удалось строго различить оба элемента, столь тѣсно въ немъ слитые, и онъ вмѣсто того предпочелъ подвести ихъ оба подъ общій уничтожающій приговоръ. Эта и безъ того рѣзко выраженная тенденція нашла себѣ новую опору еще въ другомъ источникѣ. Въ недвусмысленныхъ, хотя чаще не правильно толкуемыхъ выраженіяхъ нашъ мыслитель оспаривалъ существованіе пустого пространства,—что, къ слову сказать, имѣетъ для насъ большое историческое значеніе. Только благодаря этому узнаемъ мы, что эта идея существовала уже и тогда,—и при томъ не въ зачаточномъ видѣ, а въ той вполне развитой формѣ, которая различаетъ цѣлостное, освобожденное отъ тѣлеснаго содержанія пространство отъ заключенныхъ въ самихъ тѣлахъ и раздѣляющихъ его частицы промежуточныхъ пространствъ,—и въ равной степени включаетъ въ себя оба эти понятія. Не безъ нѣкотораго вѣроятія можно предположить, что эта теорія, повидимому особенно плодотворная для объясненія явленій движенія, возникла тамъ, гдѣ въ то время мысль была направлена главнымъ образомъ на разрѣшеніе проблемы механики, т. е. въ кругу пифагорейцевъ. Пармениду-же, для котораго признаніе пустоты заключало въ себѣ какъ-бы признаніе существованія не-сущаго,

и который поэтому был вынужден оспаривать идею пустого пространства, — ему, в силу этого, и самый фактъ движения могъ показаться необъяснимымъ и, слѣдовательно, невозможнымъ. Такимъ образомъ на нашихъ глазахъ постепенно слагается Парменидова картина міра, — или можетъ быть вѣрнѣе было бы сказать — разлагается? Ибо много-ли остается отъ міра, одна лишь протяженность и пространственная наполненность котораго не отрицается, послѣ отпаденія какъ всего многообразія вещей и ихъ состояній, о которыхъ оповѣщаютъ насъ чувства, такъ и всѣхъ перемѣщеній въ пространствахъ? Ничего, кромѣ совершенно однородной, чуждой какихъ-либо признаковъ массы, глыбы вещества, — и притомъ глыбы, лишенной всякой формы и всякихъ граней, — принуждены были бы мы добавить, не будь нашъ метафизикъ въ то же время эллиномъ, одареннымъ пластическимъ чувствомъ, поэтомъ и ученикомъ Пифагора. По нашему разумнію лишь благодаря сліянію этихъ трехъ свойствъ вмѣсто безграничной и безформенной протяженности выступило нѣчто ограниченное и обладающее прекрасной формой уже знакомой намъ „закругленной, совершенной сферы“, ибо нѣтъ сомнѣнія, что изъ предпосылокъ самой системы скорѣе можно было-бы ожидать безконечнаго, чѣмъ конечнаго протяженія Парменидова пространственнаго существа. Всякая граница есть ограниченіе; — какъ же можетъ единое истинно сущее, все въ себѣ включающее, не терпящее ничего (даже самое „ничто“) внѣ себя, — какъ можетъ оно вмѣстѣ съ тѣмъ быть конечнымъ и ограниченнымъ? Если-бъ ученіе Парменида представляло въ этомъ отношеніи пробѣлъ, то на основаніи вышеприведенныхъ умозаключеній его можно было бы легко восполнить, и это восполненіе могло-бы претендовать на высшую степень внутренней вѣроятности. Однако, такого пробѣла нѣтъ, и элемецъ въ совершенно опредѣленныхъ выраженіяхъ рисуетъ нѣчто противоположное всему ожидаемому. Обоснованіе этой части его доктрины утеряно или непоправимо искажено, вслѣдствіе чего мы не можемъ знать, какъ онъ логически обосновывалъ ее, хотя угадываемъ ея психологическое объясненіе. Часть этого объясненія уже приведена нами выше. Образный умъ поэтически одареннаго эллина возсталъ противъ слѣдствій, которыя, казалось, съ неизбежностью вытекали изъ его собственныхъ предпосылокъ. Къ этому присоединяется то обстоятельство, что въ пифагорейской таблицѣ противоположностей неограниченное стояло въ ряду несовершеннаго. Далѣе, какъ эта мысль ни забавна, но мы должны признать, что за-

клятый врагъ обмана чувствъ самъ сталъ здѣсь, повидимому, жертвой грубаго оптическаго обмана,—ибо трудно допустить, чтобы мнимая небесная сфера, сводомъ осѣняющая землю, не была связана въ его представленіи съ шарообразной формой единаго сущаго. Наконецъ, еще одинъ вопросъ надлежитъ намъ разрѣшить. Неужели міровое существо Парменида было только веществомъ—тѣлеснымъ и протяженнымъ? Какъ могъ его творецъ, выше всего ставившій строгость мысли, отнестись мышленіе и сознаніе всецѣло къ области призрачной видимости?

Это кажется совершенно невѣроятнымъ. Все побуждаетъ насъ скорѣе принять, что единое реальное было для него одновременно протяженнымъ и мыслящимъ, что мышленіе и протяженность въ его глазахъ были—выражаясь терминами Спинозы—какъ бы двумя атрибутами единой субстанціи. Правда, что ни одно изъ сохранившихся мѣстъ его философской поэмы не указываетъ на такое положеніе вещей. Ибо два слѣдующія его изреченія, допускающія подобное толкованіе: „ибо одно и то же есть мышленіе и бытіе“ и „одно и то же есть мысль и то, о чемъ она мыслить“—требуютъ, въ связи съ контекстомъ, иного изъясненія. Они несомнѣнно утверждаютъ лишь то, что истинно сущее есть единственный объектъ мышленія, что мысль никогда не можетъ быть обращена на не-сущее. Однако, за недостаткомъ прямыхъ показаній и неоспоримыхъ свидѣтельствъ, рѣшающее слово должно остаться за внутренней необходимостью. Не однимъ мощнымъ оружіемъ снабдилъ ученіе Парменида дагматическій матеріализмъ,—но самъ онъ не былъ послѣдовательнымъ матеріалистомъ. Ибо, въ такомъ случаѣ, какъ могъ бы онъ слыть продолжателемъ Ксенофана, и какъ можно было-бы объяснить его роль въ элейской школѣ между пантеистами Ксенофаномъ и Мелиссомъ? И какъ могъ-бы въ такомъ случаѣ Платонъ, этотъ ярый врагъ матеріалистовъ и атеистовъ, называть его „великимъ“ и выказывать ему больше почтенія, чѣмъ кому-либо изъ своихъ философскихъ предшественниковъ? Все это должно насъ заставить задуматься. Примѣръ Спинозы, уже приведенный выше, и аналогія индусской философіи Веданты могутъ разсѣять послѣднія наши недоумѣнія. Безъ сомнѣнія, вещество Парменида было вмѣстѣ съ тѣмъ и духовною сущностью. Это есть одновременно и всевещество—правда, бесплодное, ибо неспособное ни къ какому развитію,—и вседухъ—правда, безсильный, ибо неспособный ни къ какой дѣятельности.

5. Пустыннымъ однообразіемъ вѣтъ на насъ изъ безкрасочныхъ предѣловъ этого строя мысли. Можно предположить, что самъ создатель его долженъ былъ почувствовать на себѣ его дыханіе. По крайней мѣрѣ онъ не удовольствовался „Словами истины“, но дополнилъ ихъ опирающимися на почву—какъ сказали бы мы—феноменальнаго міра „Словами мнѣнія“. Многіе изъ нашихъ предшественниковъ высказывали по поводу этого большое изумленіе. Мы же скорѣе изумлялись бы, если-бъ онъ воздержался отъ этого, если-бъ этотъ приобщившійся ко всѣмъ знаніямъ своего вѣка, необычайно подвижной и творческой умъ удовольствовался бы вѣчнымъ повтореніемъ всего лишь немногихъ—правда значительныхъ—но столь скудныхъ по содержанію и главнымъ образомъ отрицательныхъ положеній. Все побуждало или, какъ говоритъ Аристотель, „принуждало его обратиться къ явленіямъ“. И у него были на то основанія, ибо хотя онъ и отбрасывалъ воспріятія чувствъ, какъ ложныя свидѣтельства, но онъ все же не могъ устранить ихъ изъ міра. Деревья зеленѣли передъ нимъ, какъ и прежде, ручьи журчали, и онъ ощущалъ и аромать цвѣтовъ и сладость плода. И не онъ одинъ воспринималъ это, но и всѣ остальные люди и звѣри, и не только сегодня и здѣсь—но гдѣ-бы и когда-бы они ни были,—въ этомъ не было для него сомнѣнія. Поэтому ничто не препятствовало ему и во времени и въ пространствѣ выступать за предѣлы данной точки. Когда онъ трактуетъ о началѣ человѣческаго рода, о происхожденіи земли или о фазахъ жизни вселенной, то онъ говоритъ лишь о томъ, что такіе-то феномены представились бы взору его и ему подобныхъ существъ, если-бъ они тогда-то и тамъ-то уже жили. Кантова „Всеобщая исторія и теорія неба“, правда, предшествовала его „Критикѣ чистаго разума“, но она также могла-бы появиться и послѣ нея. Убѣжденіе въ томъ, что лишь „вещь въ себѣ“ обладаетъ объективной реальностью такъ-же мало могло бы помѣшать кенигсбергскому мыслителю вывести солнечную систему изъ первичной туманности, какъ ученіе о сущемъ эльскаго мыслителя—стать на пути его космогоническаго опыта. На эту точку зрѣнія и всталъ Парменидъ, замысливъ вторую часть своей философской поэмы; или, вѣрнѣе, онъ сознательно принялъ бы ее, если-бъ затронутыя здѣсь различія (объективнаго и субъективнаго, абсолютнаго и относительнаго) были ясно и послѣдовательно продуманы имъ, привычны ему и закрѣплены въ его сознаніи соотвѣтствен-

ной терминологіей. Что этого не было на самомъ дѣлѣ, на это указываетъ его способъ выраженія, и прежде всего то греческое слово (*δόξα*), которое мы принуждены передавать словомъ „мнѣніе“, но которое въ дѣйствительности отливаетъ разнообразными оттѣнками понятій; оно означаетъ какъ чувственное воспріятіе (нѣчто являющееся я человѣку), такъ и представленіе, взглядъ, мнѣніе (кажущееся ему истиннымъ). Такимъ образомъ, говорить о субъективной и относительной истинѣ, и съ твердой увѣренностью оперировать этимъ понятіемъ мѣшали элейцу свойственные его эпохѣ пріемы мысли и рѣчи. То, что онъ излагаетъ, „суть мнѣнія смертныхъ“,—и притомъ, конечно, не только чужія, но и его собственные мнѣнія,—поскольку они не опираются на незыблемыя основы мнимой логической необходимости. Развивая ихъ, онъ вмѣстѣ съ тѣмъ указываетъ на „обманчивую основу“ своего изложенія и, называя эту часть своего ученія лишь „вѣроятною“ и допустимою въ противоположность „истинной силѣ убѣжденія“, заключающейся въ разумномъ, основанномъ на понятіяхъ познаніи, предостерегаетъ читателя отъ слишкомъ большого довѣрія ему. Однако, обѣ части философской поэмы Парменида внушены ему Божествомъ, какъ онъ говоритъ объ этомъ въ своемъ вдохновенномъ посвященіи. Поэтому не слѣдуетъ думать, что вторая часть ея, заключающая въ себѣ многія изъ его характернѣйшихъ положеній, воспринятыхъ и, частью, высоко цѣнимыхъ во всемъ древнемъ мірѣ, должна была являть собой только мрачный фонъ для яркаго сіянія „ученія истины“. Кромѣ того, онъ, новидому, желалъ обнаружить все обиліе своихъ знаній, придавъ имъ такую форму,—не даромъ онъ говоритъ о томъ, что „никто изъ смертныхъ“ не долженъ „превзойти въ знаніяхъ“ читателя его труда; наконецъ, ему предоставляется тутъ случай удовлетворить свою потребность и свое душевное влеченіе смягчить рѣзкую противоположность своихъ взглядовъ общераспространеннымъ мнѣніямъ своихъ соотечественниковъ. Ибо онъ становится здѣсь не только на почву феноменовъ, но и на почву народныхъ вѣрованій, нѣсколько видоизмѣненныхъ подъ вліяніемъ орфизма, и вводитъ въ кругъ своего изложенія божества—„превыше всѣхъ царящую богиню“, престолъ которой высится въ „средоточіи вселенной“, и „первозданнаго Эроса“,—причемъ остается невыясненнымъ, въ какой мѣрѣ боги эти являются лишь персонификаціей природныхъ силъ. Врядъ ли было бы заблужденіемъ предположить кромѣ того въ душѣ поэта-философа болѣзненный внутренній раз-

ладъ, подобный тому, который въ недавнее время сказанъ въ явлении на ряду съ „Ученіемъ объ атомахъ“ Фехнера его „Дневныхъ и ночныхъ думъ“.

Въ своемъ ученіи о происхожденіи міра Парменидъ исходитъ изъ двухъ первичныхъ веществъ, необычайно напоминающихъ первыя выдѣленія изъ первосущности Анаксимандра: съ одной стороны—начало тонкое, свѣтлое, легкое, съ другой—плотное, темное и тяжелое. Только изъ взаимодействія этихъ двухъ началъ, которыя онъ называетъ, между прочимъ, просто свѣтомъ и тьмою, можетъ онъ объяснить возникновеніе вселенной. Допущеніе лишь одного первовещества и выведеніе всѣхъ явленій изъ него безъ помощи второго рѣшительно осуждается имъ, и это осужденіе падаетъ на доктрины Фалеса, Анаксимена и, разумѣется, болѣе всего, его главнаго философскаго противника—Гераклита. Въ недошедшихъ до насъ стихахъ описывалось возникновеніе „земли, солнца, мѣсяца, свѣтящаго заемнымъ свѣтомъ, вездѣсущаго зѳира, небеснаго млека, горняго Олимпа (уже извѣстнаго намъ) и горячей силы звѣздъ“. Съ полной достовѣрностью можно приписать ему представленіе о землѣ, какъ о шарообразномъ тѣлѣ; черезъ его посредство это представленіе впервые проникло въ литературу, при чемъ онъ, въ согласіи со старшими пифагорейцами, еще не оспаривалъ центральнаго положенія земли во вселенной. Затѣмъ ему принадлежитъ основаніе ученія о различныхъ зонахъ земли, которое онъ, однако,—вѣроятно вслѣдствіе ложныхъ аналогій съ небесными зонами, перенесенными имъ на центральную въ мірозданіи землю,—направилъ по невѣрному пути, значительно преувеличивъ размѣры земныхъ областей, неудобныхъ для жизни вслѣдствіе ихъ жаркаго климата. Различныя небесныя сферы, называемыя имъ „вѣнцами“, по его ученію концентрическими кругами обнимаютъ другъ друга и состоятъ частью изъ „безпримѣснаго огня“, частью изъ смѣшенія его съ темнымъ или земнымъ веществомъ. Въ его изслѣдованіи природы сказывается зависимость какъ отъ пифагорейскаго, такъ и отъ Анаксимандрова ученія. Мы уже имѣли случай подмѣтить вліяніе „таблицы противоположностей“;—еще яснѣе оно сказывается въ его теоріи произрожденія, которая связываетъ полъ эмбриона съ мѣстомъ его образованія, такъ что противоположеніе „мужскаго“—„женскому“ отождествляется съ противоположеніемъ „праваго“—„лѣвому“. Въ той же теоріи выступаетъ характерная для пифагорейски, слѣдовательно математически настроеннаго

мыслителя тенденція выводитъ качественныя различія изъ количественныхъ. Такъ, изъ числоваго отношенія, въ которомъ находится предполагаемое имъ (какъ уже ранѣе его Алкмэономъ) женское вещество къ мужскому, выводится объясненіе характерныхъ особенностей и, главнымъ образомъ, половыхъ склонностей. То же направленіе сказывается въ стремленіи сводить какъ интеллектуальное разнообразіе индивидуумовъ, такъ и ихъ смѣняющіяся душевныя состоянія къ различію въ количественномъ соотношеніи двухъ первоосновъ, образующихъ ихъ тѣла. Съ тѣмъ же складомъ мышленія встрѣтимся мы вскорѣ у Эмпедокла, и онъ-то и привелъ его къ переработкѣ ученія о первостихіяхъ въ значительную, истинно-научную теорію. Другія точки соприкосновенія обоихъ мудрецовъ мы укажемъ впоследствии. Намъ остается еще подвести общій итогъ всему наслѣдію Парменида, что мы и сдѣлаемъ, предварительно бросивъ взглядъ на младшихъ представителей элейской школы.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Ученики Парменида.

Мелиссъ есть enfant terrible метафизики. Наивная неумѣлость его ложныхъ умозаключеній выдаетъ не одну изъ тайнъ, которыя такъ бережно научилось хоронить искусство его болѣе утончившихся преемниковъ. Отсюда тѣ колебанія и неровность, которыя поражаютъ въ отношеніи этихъ послѣднихъ къ нему. То они пугаются внутренняго сродства его съ ними и отрекаются отъ него, какъ отъ члена своей семьи, за котораго приходится стыдиться, то они какъ будто радуются, встрѣчая уже въ такую раннюю пору свои собственныя убѣжденія и, покровительственно похлопывая по плечу неловкаго передоваго бойца, пытаются посредствомъ иносказательныхъ толкованій освободить его доказательства отъ самыхъ грубыхъ ошибокъ. Такъ, поочереды Мелиссъ то именуется „грубымъ“ и „плоскимъ“, то признается дѣльнымъ и заслуживающимъ вниманія мыслителемъ: и эти сужденія слѣдуютъ другъ за другомъ въ перемежку, начиная отъ Аристотеля и до нашихъ дней.

Мы уже знакомы какъ съ исходной точкою ученія Мелисса, такъ и съ его конечною цѣлью, поскольку оно совпадаетъ съ ученіемъ Парменида. Пунктовъ расхожденія было, насколько мы знаемъ, три. За сущимъ былъ сохраненъ атрибутъ протяженности, но все грубо тѣлесное было отъ него отнято; къ временной безконечности его присоединилась и пространственная; наконецъ, ему была приписана нѣкоторая жизнь чувствъ, которой чуждо всякое привхожденіе „боли и страданія“ и которую мы поэтому можемъ назвать состояніемъ ненарушимаго блаженства. Начатый Парменидомъ процессъ абстракціи сдѣлалъ, какъ мы видимъ, значительный прогрессъ; улетучиваніе матеріальной ткани міра зашло такъ далеко, что она ужъ близка къ тому, чтобы совсѣмъ раствориться и дать мѣсто нѣкому блаженному Духу. Въ этомъ отношеніи мы должны поставить Мелисса въ ряду мистиковъ; однако онъ отличается отъ огромнаго большинства какъ западныхъ, такъ и восточныхъ мистиковъ своимъ стремленіемъ—безразлично, успѣшнымъ или нѣтъ—опираться не только на влутреннее озареніе или интуицію, но и на строгую аргументацію. Теперь мы приступимъ къ разсмотрѣнію хода этой аргументаціи, причемъ едва ли возможно ясно изложить его, не освѣщая его въ то же время критически. „Если ничего нѣтъ, то какъ пришли мы къ тому, чтобы говорить о немъ, какъ о сущемъ“? Эти слова Мелиссъ поставилъ во главѣ своего сочиненія, и нельзя отрицать за нимъ того, что онъ по крайней мѣрѣ задумался надъ той мыслью, что исходная точка его разсужденій можетъ оказаться иллюзорной, и постарался устранить эту возможность посредствомъ доказательствъ. Мы не будемъ останавливаться на вопросѣ о томъ, выдерживаетъ ли критику это доказательство, и нельзя ли съ правомъ возразить на него слѣдующее: понятіе сущаго въ томъ строгомъ смыслѣ, въ которомъ только оно можетъ нести на себѣ выводимыя изъ него здѣсь слѣдствія, можетъ быть дѣйствительно покоится на иллюзій, на заблужденіи человѣческаго ума, который самъ Мелиссъ считалъ способнымъ такъ сильно заблуждаться. „То, что существуетъ, — такъ продолжалъ онъ, — существовало отъ вѣка и вѣчно будетъ существовать. Ибо еслибъ оно возникло, оно неизбѣжно должно было бы, прежде чѣмъ возникло, быть ничѣмъ. Если же оно когда то было ничто, то слѣдуетъ сказать, что изъ ничего никогда не можетъ возникнуть нѣчто. Если же оно не возникло и все же существуетъ, то оно было отъ вѣка

и пребудеть въ вѣчности; оно не имѣеть ни начала, ни конца, оно безконечно. Ибо еслибъ оно возникло, оно имѣло бы начало (такъ какъ, возникнувъ, оно должно было бы когда нибудь начаться) и конецъ (такъ какъ, возникнувъ, оно когда нибудь и окончилось бы). Если же оно не началось и не кончилось, а всегда было и всегда будетъ, то оно не имѣеть ни начала, ни конца. Также невозможно, чтобъ вѣчнымъ было что либо такое что не заключаетъ въ себѣ всего“. Чтобъ исключить возможность какого либо недоразумѣнія, слѣдуетъ привести еще два краткихъ фрагмента: „какъ оно (сущее) вѣчно существуетъ, также вѣчно должно оно быть безконечнымъ по величинѣ“ и: „что имѣеть начало и конецъ, не можетъ быть ни вѣчнымъ, ни безконечнымъ“. Кто не признаеть этотъ рядъ заключеній отважнымъ салтомортале изъ безконечности во времени къ безконечности въ пространствѣ? На это уже справедливо и съ надлежащей настойчивостью указывалъ и Аристотель. Но всего поразительнѣе и знаменательнѣе въ этой аргументаціи слѣдующее. То, что дѣйствительно нуждается въ доказательствѣ, предполагается, какъ нѣчто самоочевидное,—или же нужно искать доказательство между строкъ; то-же, что дѣйствительно самоочевидно, ибо тавтологично, облечено въ строгую форму до утомительности многословной аргументаціи. Къ первой категоріи принадлежитъ тезисъ: „то, что возникло должно перестать существовать“, который мимоходомъ не столько доказывается, сколько подтверждается вводнымъ предложеніемъ: „ибо, возникнувъ, оно когда нибудь кончилось бы“. Да къ тому же это положеніе, являющееся не болѣе и не менѣе, какъ естественнымъ обобщеніемъ опытнаго воспріятія, въ собственномъ смыслѣ и не можетъ быть доказано. Къ этой же категоріи принадлежитъ и слѣдующее—также выведенное изъ опытнаго воспріятія—положеніе: „только то, что не имѣеть ничего внѣ себя, чѣмъ оно могло бы быть повреждено или разрушено, можетъ быть вѣчнымъ“—мысль, которая естественно должна была предноситься нашему философу, ибо едва ли можно было придумать другое обоснованіе его утвержденію, что только Всецѣлому суждена вѣчность. Также оставлеться совершенно недоказанной составляющая основу всей его аргументаціи мысль о томъ, что „нѣчто никогда не можетъ возникнуть изъ ничего“. Здѣсь метафизикъ обогащается насчетъ физиковъ, отъ которыхъ онъ воспринимаетъ возникшее сперва изъ опытнаго воспріятія, все болѣе и болѣе подкрѣпляемое наблюденіемъ, но ни въ какомъ случаѣ

не выводимое изъ внутренней логической необходимости основоположеніе ученія о первовеществѣ. Напротивъ того,—строются умозаключенія, выводятся слѣдствія и выступаютъ самыя строгія формы доказательствъ какъ разъ тамъ, гдѣ въ дѣйствительности ничто не доказывается и никакія слѣдствія не выводятся, и утвержденія только мѣняютъ словесную оболочку: „то, что начинается, имѣетъ начало; что кончается, имѣетъ конецъ; что не начинается и не кончается, не имѣетъ ни начала, ни конца; что не имѣетъ ни начала, ни конца, то безконечно“. Однако, можемъ ли мы утверждать, что вслѣдствіе этого этотъ мнимый рядъ выводовъ лишень всякаго движенія мысли? Ни въ какомъ случаѣ, но если мысль и не стоитъ здѣсь неподвижно на одной точкѣ, если она пробивается сквозь кругъ тавтологіи, то исключительно благодаря помощи „экивокаціи“ или двусмысленности рѣчи, которая непримѣтно подставляетъ на мѣсто начала и конца во времени соотвѣтственные понятія пространства. Такимъ образомъ мы можемъ видѣть здѣсь великолѣпный образецъ апіористическаго, обходящагося безъ всякой опоры опыта, хода доказательствъ. Если онъ не хочетъ достигнуть цѣли, будучи столь же нищимъ, какимъ онъ былъ въ своей исходной точкѣ, то онъ долженъ по пути пополнить свой багажъ. И вотъ онъ втихомолку загребаетъ все, что бы ему ни поналось—подлинные результаты опыта не менѣе, чѣмъ пустые измышленія фантазіи. Двусмысленность рѣчи прикрываетъ контрабанду мысли и наполняетъ старые словесные футляры все новымъ, постепенно обогащающимся содержаніемъ. Результаты этой идейной контрабанды ослѣпляютъ нашъ взглядъ въ заемномъ пышномъ нарядѣ гордыхъ истинъ разума, или же ускользаютъ отъ нашего вниманія, прикрытые незначительными вводными замѣчаніями и молчаливыми предпосылками.

Изъ полученнаго такимъ способомъ установленія пространственной безконечности сущаго выводится его единство. „Ибо еслибъ его (сущаго) было два, то оно (сущее) граничило бы съ другимъ“. Иными словами: то, что пространственно неограничено, не можетъ быть ограничено или преграждено другимъ пространственнымъ. Положеніе столь же неопровержимое, сколь оно недоказательно. Доказательно оно только постольку, поскольку снова начинаетъ проявлять свою дѣятельность аппаратъ двусмысленности рѣчи и превращаетъ количественное опредѣленіе въ качественное. Одно немедленно превращается въ

единое и однородное. Через посредство этихъ понятій строятся умозаключенія, относящіяся къ составу сущаго и звучащіяся столь же убѣдительно, какъ еслибъ мы утверждали: кубъ перестаетъ быть кубомъ, если всѣ его шесть сторонъ не окрашены въ одну краску. Однако, предоставимъ слово самому Мелиссу: „Итакъ, оно (сущее) вѣчно, и безконечно, и едино, и совершенно однородно; и оно не можетъ ни уничтожиться, ни стать больше, ни испытать космическое превращеніе; столь же мало подвержено оно боли или страданію, ибо еслибъ оно что либо изъ всего этого испытало, оно перестало бы быть единымъ“. Мы подвергнемъ детальному разсмотрѣнію только нѣкоторыя части этихъ положеній. Отрицаніе всякаго „измѣненія“ обосновывается тѣмъ, что сущее въ такомъ случаѣ перестало бы быть однороднымъ: прежнее сущее должно было бы исчезнуть, а не-сущее—возникнуть. Такимъ образомъ требованіе однородности распространяется не только на одновременныя, но и на послѣдовательно смѣняющіяся состоянія сущаго, и это расширеніе понятія мотивируется тѣмъ, что невозможность возникновенія и уничтоженія относится не только къ бытію сущаго, но и къ его составу. Этотъ переходъ отъ что къ какъ не является для насъ чѣмъ то новымъ; ново здѣсь лишь его обоснованіе, достигнутое тѣмъ, что утрата прежде бывшихъ свойствъ и пріобрѣтеніе новыхъ отождествляется съ уничтоженіемъ нѣкаго сущаго и съ возникновеніемъ не-сущаго. Поражаетъ слѣдующая мысль: „еслибъ всеединое въ десять тысячъ лѣтъ измѣнилось хотя бы на волосъ, то по истеченіи времени оно уничтожилось бы“. Здѣсь прельщаетъ насъ не только ширина кругозора, такъ рѣзко отличающаяся отъ узости старыхъ, еще столь ребяческихъ космогоническихъ и міеологическихъ представленій. Мелиссу, конечно, дѣлаетъ великую честь то, что онъ воспринялъ развитое главнымъ образомъ въ геологическихъ умозрѣніяхъ Ксенафана ученіе о мощныхъ переворотахъ, являющихся лишь результатомъ накопленія множества непримѣтно малыхъ явленій, какъ это ученіе ни нарушаетъ послѣдовательности его собственнаго мышленія: ибо какое значеніе могутъ имѣть выводы почерпнутые изъ опытныхъ наблюденій тамъ, гдѣ всякому вообще опыту объявляется война? То-же пользованіе выводами изъ опыта въ связи съ непопозвоительными обобщеніями ихъ встрѣчаемъ мы въ аргументѣ, долженствующемъ подкрѣпить собою отсутствія страданія и боли у сущаго. „Оно не испытываетъ также ника-

кой боли. Ибо не может же оно все быть преисполнено боли: вещь преисполненная боли не могла бы существовать вѣчно. То, что испытываетъ боль, однако, отличается по составу отъ здороваго; такимъ образомъ, еслибъ оно испытывало (частичную) боль, то оно больше не было бы однороднымъ. Также оно испытало бы боль, еслибъ оно что нибудь утратило или пополнилось чѣмъ нибудь новымъ, и въ этомъ случаѣ оно также и по этой причинѣ перестало бы быть однороднымъ. Невозможно и то, чтобы здоровое испытывало боль; ибо въ такомъ случаѣ здоровое и сущее уничтожилось бы, а не-сущее возникло бы⁴. По отношенію къ страданію (греческое слово означаетъ огорченіе или душевную боль) примѣнимо то же доказательство. Нѣкоторые изъ встрѣчающихся здѣсь ложныхъ заключеній уже не новы читателю и не требуютъ спеціальнаго разъясненія. Поражаетъ наивное примѣненіе того эмпирическаго наблюденія, что боль есть явленіе, сопровождающее собою внутреннее нарушеніе равновѣсія, которое въ свою очередь весьма часто является предвѣстникомъ разрушенія, — наблюденіе, которое переносится здѣсь съ животнаго организма на столь мало съ нимъ схожее сущее. Одну изъ обычныхъ причинъ тѣлесной боли—функциональное разстройство — философъ нашъ новидимому забываетъ, и взглядъ его останавливается только на наиболѣе бросающихся въ глаза причинахъ тѣлесной боли,—на потерѣ членовъ организма и на образованіи болѣзненныхъ наростовъ. Было бы тщетно спрашивать себя, какъ ему пришлось бы видоизмѣнить ходъ своихъ доказательствъ, еслибъ онъ попытался оправдать и вторую часть своего положенія, т. е. отрицаніе возможности душевной боли; можно даже предположить, что самая трудность этого предпріятія удержала его отъ этой попытки. Возможность движенія сущаго оспариваетъ онъ съ помощью аргумента, встрѣченнаго нами уже у Парменида. Безъ пустого пространства нѣтъ движенія (это положеніе установлено физиками), пустота есть ничто, а ничто не можетъ существовать; кромѣ того и различія въ степени плотности отрицаются за сущимъ съ ссылкой на яко-бы доказанную однородность его.

Мы подошли къ послѣдней и труднѣйшей части доктрины Мелисса. Ею установлена была, какъ мы подробно показали, пространственная протяженность сущаго;—какъ же при этомъ могло ему быть отказано въ тѣлесности? Слѣдующія слова опредѣленно указываютъ на это: „будучи однимъ, оно не можетъ обладать тѣ-

ломъ; ибо еслибъ оно имѣло толщину, оно имѣло бы также и части и не было бы тогда однимъ“. Правда, и Парменидъ высказывался о своемъ первосуществѣ, что оно „неразложимо“. Однако, ничто не заставляетъ насъ приписать ему такую нелѣпость, будто онъ одновременно признавалъ за нимъ форму шара и отрицалъ—присутствіе частей. Мы считаемъ, что слѣдуетъ отнести это отрицаніе „разложимости“ не къ возможности идеальнаго дѣленія, а къ возможности фактическаго дѣленія. Въ такомъ смыслѣ неразложимось сущаго есть не болѣе, какъ частный случай утверждаемой Парменидомъ невозможности движенія. Къ Мелиссу, однако, это толкованіе непримѣнимо, ибо онъ совершенно опредѣленно обсуждаетъ не дѣлимость, а наличность частей. вмѣстѣ съ тѣмъ никто не станетъ серьезно защищать такое объясненіе, что, разумѣя подъ „толщиною“ третье измѣреніе, Мелиссъ отрицалъ его за сущимъ и, слѣдовательно, представлялъ себѣ это сущее въ видѣ сущности двухъ измѣреній, т. е. площади. Ибо не только эта мысль чужда всему духу античности, но она противорѣчитъ утверженію самого Мелисса, что первосущность наполняетъ собою все пространство. Остается только предположить, что Мелиссъ не отождествлялъ наполненность пространства съ тѣлесностью и хотѣлъ освободить вездѣсущее, обладающее вмѣстѣ съ тѣмъ полною блаженства Всесущество отъ всякой грубой матеріальности,—представленіе, которое по своей неясности хотя и ускользаетъ отъ всякой точной формулировки, однако же не имѣетъ недостатка въ аналогіяхъ, и даже въ аналогіяхъ среди новѣйшихъ ученій (припомнимъ не такъ давно вновь провозглашенное тождество пространства и Божества). Конечно, понятнѣе и послѣдовательнѣе было бы, еслибъ самосскій философъ вмѣстѣ съ выше приведеннымъ обоснованіемъ сущаго по отношенію къ нему рѣшительно отбросилъ категорію пространства, какъ и категорію времени. Ибо абсолютно понимаемое единство несовмѣстимо ни съ сосуществованіемъ въ пространствѣ, ни съ послѣдовательнымъ существованіемъ во времени. Какъ только мы забываемъ, что наши числовыя понятія, и среди нихъ понятіе единства, лишь относительно (дерево есть единица по отношенію къ другимъ деревьямъ и множество по отношенію къ своимъ вѣтвямъ, точно также эти послѣднія—по отношенію къ другимъ вѣтвямъ и къ своимъ листьямъ и т. д.), и начинаемъ понимать его абсолютно, тотчасъ же мы вступаемъ на путь, который въ концѣ

приводить къ полному опустошенію бытія,— не только матеріальному, но и духовному (въ смыслѣ временной смѣны состояній сознанія). Тогда лишенное всякаго содержанія единство превращается въ пустое ничто. Исторія такого превращенія, обратившаго онтологию или ученіе элейцевъ о сущемъ, о бытіи въ нигилизмъ или ученіе о небытіи, будетъ предметомъ дальнѣйшаго изложенія.

2. Какой бы суровой критики ни заслуживали методы и выводы Мелисса—и мы поистинѣ не скупимся на нее—одной заслуги нельзя за нимъ не признать. Отважный адмиралъ былъ воистину неустрашимымъ мыслителемъ. Не зная страха шель онъ по пути своей мысли, что бы ни ждало его въ концѣ ея—торжество или насмѣшки. Какія бы грубыя ошибки въ умозаключеніяхъ ни лежали на его совѣсти, приписывать ему, кромѣ искреннихъ заблужденій, и сознательный обманъ у насъ нѣтъ никакихъ основаній. То же честное и безстрашное мужество мысли, лучшее наслѣдіе Ксенофановой школы, было присуще и мощному критику-бойцу, къ разсмотрѣнію идей котораго мы теперь обратимся. Зенонъ изъ Элеи, красивый, рослый человѣкъ, близкій другъ Парменида, бывшаго на двадцать пять лѣтъ старше его, подобно своему учителю не оставался въ сторонѣ отъ политической жизни. Участіе его въ заговорѣ, имѣвшемъ цѣлью сверженіе узурпатора, было причиною его мученической смерти, муки которой онъ перенесъ съ непримѣрною стойкостью, прославленной какъ современниками его, такъ и потомствомъ. Онъ съ юныхъ лѣтъ взялся за оружіе діалектики. Къ ней влекъ его инстинктъ его склонной къ борьбѣ природы и жажда дать просторъ врожденному ему діалектическому дарованію. Потребность въ защитѣ пробудила его дарованіе. Ученіе о единствѣ Парменида вызвало громкій, прокатившійся по всей Греціи хохотъ. Этотъ взрывъ веселья и насмѣшки, столь же шумный и пустой, какъ тотъ, который не болѣе какъ два столѣтія назадъ встрѣтилъ провозглашенное Беркли отрицаніе матеріи, вызвалъ нашего бойца въ ряды сражавшихся. Онъ не хотѣлъ спустить этого. По словамъ Платона, онъ отплатилъ насмѣшникамъ „тою же монетою, и даже кое-чѣмъ большимъ“.

Вы осмѣиваете насъ—какъ бы говорить онъ имъ—за то, что мы отрицаемъ всякое движеніе, какъ невозможное и смѣхотворное; называете насъ глупцами за то, что мы называемъ лежцами чувства; за то, что мы признаемъ множественность вещей пустымъ

маревомъ—вы засыпаете насъ камнями; погодите, какъ бы вамъ самимъ не оказаться въ стеклянномъ домѣ. И онъ принялся опустошать свой колчанъ, полный остро отточенныхъ стрѣлъ. Какъ жемчугъ на нить, нанизываетъ онъ на хитрую нить своего діалектического искусства ту цѣпь тончайшихъ аргументовъ, которая составляла съ тѣхъ поръ отчаяніе столькихъ поколѣній читателей и въ которыхъ не одна крѣпкая голова—напомнимъ хотя бы мощнаго мыслителя Пьера Бэйля—видѣла прямо-таки непреоборимыя трудности.

Возьмемъ зерно проса и уронимъ его на землю. Падая, оно не произведетъ никакого шума. Точно также и второе, и третье, и другъ за другомъ всѣ десять тысячъ зеренъ, заключающихся въ цѣломъ четверикѣ. Но подберемъ всѣ эти зерна, высыпемъ ихъ обратно въ сосудъ и затѣмъ, опрокинувъ его, высыпемъ зерна на землю. Падая, они произведутъ значительный шумъ. Какъ же можно объяснить, вопрошалъ Зенонъ, что десять тысячъ беззвучныхъ явленій въ совокупности своей составляютъ нѣчто, производящее шумъ? Какъ можно объяснить то, что сумма десяти тысячъ полей ни въ какомъ случаѣ не равняется полю, а наоборотъ—весьма доступной воспріятію величиною? Здѣсь, и по нашему мнѣнію также, заложена не малая трудность, которую никакъ не удастся устранить, пока мы не проникнемъ глубже въ природу даннаго явленія. Это проникновеніе было совершенно недоступно всей той эпохѣ, и сомнѣнія или апоріи элейцевъ имѣли ту великую заслугу, что заставили всякую мыслящую голову живо почувствовать этотъ недостатокъ. Они какъ бы призываютъ къ психологическому анализу чувственныхъ воспріятій. Поскольку чувственные свойства разсматриваются какъ объективная природа вещей, апорія непреодолима. Преодолѣть ее удастся лишь тогда, когда мы сознательно отнесемъ къ акту воспріятія и осознаемъ всю огромную, порою безмѣрную фактическую сложность того явленія, которое на первый взглядъ кажется столь простымъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ у насъ должна зародиться мысль, что хотя за происходящей здѣсь затратой силъ и не слѣдуетъ, какъ въ другихъ случаяхъ, никакого видимаго дѣйствія, однако же эта затрата не потеряна и не должна приравняться полю. Одинъ примѣръ поможетъ намъ пояснить обѣ эти истины. Дѣтская рука тянетъ за веревку колокола; ей не удастся привести его въ видимое движеніе. Когда къ ней присоединяются еще нѣсколько дѣтскихъ рукъ, ихъ соединеннымъ

усиліямъ удается привести въ движеніе колоколь вмѣстѣ съ языкомъ. Когда же удвоится, утроится количество рукъ, имъ удастся наконецъ заставить языкъ удариться о мѣдь колокола. Но ударъ можетъ быть будетъ еще недостаточно сильнымъ, произведенныя имъ колебанія воздуха еще слишкомъ слабы, чтобъ вызвать въ нашемъ органѣ слуха физическія зміненія, необходимыя для пораженія звука. Но и достаточное для этого проявленіе силы можетъ все еще оказаться слишкомъ слабымъ для того, чтобъ произвести физиологическій процессъ, который мы называемъ раздраженіемъ слухового нерва. И далѣе, предположимъ, что это раздраженіе достигнуто, но не въ той степени интенсивности, которая нужна для того, чтобъ вызвать порожденный раздраженіемъ нерва необходимый процессъ въ мозговомъ центрѣ. Предположимъ, далѣе, что и этотъ процессъ на лицо, но не въ такой сильной степени, чтобы соотвѣтствующее ему психическое впечатлѣніе поднялось надъ порогомъ сознанія. Кромѣ того, рѣшающимъ моментомъ является здѣсь наше общее психическое состояніе въ данный моментъ. Если сонъ оковалъ наши чувства, или наше напряженное вниманіе направлено на другой объектъ, тогда сопротивленіе, которое нужно побороть новому впечатлѣнію, будетъ больше, чѣмъ при другихъ и болѣе благопріятныхъ условіяхъ. Не-наступленіе конечнаго эффекта ни въ какомъ случаѣ не доказываетъ того, что какой-либо изъ промежуточныхъ процессовъ (число которыхъ мы въ этой схемѣ, конечно, значительно уменьшили), самъ по себѣ не способствовалъ его наступленію. Этого нельзя сказать даже о первомъ, повидимому, столь безрезультатномъ усиліи дѣтской руки; и она участвовала въ томъ, чтобъ уменьшить сопротивленіе, окончательно одолѣть которое удалось только соединеннымъ усиліямъ многихъ рукъ. Требованіе, чтобы всякая единица начальной силы вызвала сотую часть достигнутаго конечнаго результата, произведеннаго сотнею такихъ единицъ, въ подобныхъ случаяхъ является необоснованнымъ. Зубчатое колесо можетъ имѣть въ діаметрѣ безразлично одинъ-ли или девяносто девять дюймовъ и все же не задѣвать за сосѣднее колесо; только если его діаметръ увеличится до ста дюймовъ, захватить оно отстоящее отъ него на такомъ разстояніи колесо и, задѣвъ его зубцами, вызоветъ весь рядъ явленій, связанныхъ съ движеніемъ этого колеса. То же можно сказать объ этомъ колесѣ по отношенію къ третьему и т. д., и т. д. Недостатокъ или наличность этого послѣдняго дюйма рѣшаетъ собою наступленіе или не-наступленіе оконча-

тельного дѣйствія машины. На такія и подобныя размышленія должны были навести „сомнѣнія“ Зенона. Когда же завоевано было правильное ученіе о чувственныхъ воспріятіяхъ, т. е. познаніе того, что эти послѣднія являются не простымъ отображеніемъ объективныхъ свойствъ, а результатомъ воздѣйствія объекта на субъектъ, опосредствованнаго многочисленной цѣпью причинныхъ процессовъ,—когда, говоримъ мы, было завоевано и въ то же время стало оказывать широкое и благотворное вліяніе это воззрѣніе, тогда столь подробно разсмотрѣнной нами „апоріи“ нельзя было отказать въ долѣ участія въ этомъ богатомъ послѣдствіями прогрессѣ науки.

3. Перейдемъ теперь къ знаменитымъ „сомнѣніямъ“, касающимся движенія въ пространствѣ. Сначала Зенонъ самъ подвергъ недостаточно глубокой критикѣ понятіе пространства. Если все сущее, реальное или вещь находится въ пространствѣ, то и это пространство само, если оно реально, должно находиться въ другомъ пространствѣ, это второе по той же причинѣ должно находиться въ третьемъ пространствѣ и такъ далѣе до безконечности. Поэтому намъ не остается другого выбора, какъ признать этотъ нелѣпый выводъ или же вовсе отрицать реальность пространства. Было бы неправильно сближать съ этимъ разсужденіемъ критику Канта и новѣйшихъ философовъ, направленную на понятіе пространства, и искать у Зенона предвосхищенія ея. Можно греческое слово (*tòpos*) замѣнить словомъ „мѣсто“, не лишая этимъ значенія данный аргументъ. Каждая вещь лежитъ на какомъ-нибудь мѣстѣ; это мѣсто, если только оно реально, должно также занимать какое-нибудь мѣсто и т. д. Такъ же, какъ и на вѣсполжность вещей, это сомнѣніе можетъ распространиться и на самое существованіе ихъ. Все дѣйствительное или существующее имѣетъ существованіе; если это послѣднее не призракъ, то и оно опять-таки должно имѣть существованіе, и т. д. Короче говоря, мы имѣемъ здѣсь передъ собой ничто иное, какъ стремленіе, заложенное въ духѣ языка и поддерживаемое примѣненіемъ существительныхъ для обозначенія и всякаго рода отвлеченныхъ понятій (какъ-то силъ, качествъ, состояній, отношеній),—стремленіе примѣнять вмѣстѣ съ тѣмъ ко всякому такому понятію мѣрило конкретныхъ вещей. Такое понятіе должно быть особаго рода вещью или же оно вовсе не должно существовать. Въ зависимости отъ того, выдерживало ли оно эту пробу или, вѣрнѣе, въ зависимости отъ того, можно ли было отказаться отъ его существованія или нѣтъ, его отно-

силы то къ области вымысла, то — и это чаще всего — представляли его себѣ въ видѣ вещи, какъ бы призракомъ нѣкоторой вещи. Значеніе этой апоріи заключается въ томъ, что она ясно вскрываетъ эту роковую тенденцію человѣческаго духа, праматерь самыхъ существенныхъ, почти неискоренимыхъ заблужденій и недоразумѣній и, черезъ посредство выведенныхъ изъ нея безсмысленныхъ выводовъ, можетъ оградить отъ ея вліянія.

Несравненно менѣе элементарны соображенія, высказанныя Зенономъ относительно самого движенія. Кому не извѣстны „Ахиллесъ и черепаха“! Высшій образецъ быстроты и одно изъ самыхъ медленныхъ животныхъ устраиваютъ состязаніе въ бѣгъ. И не странно ли то, что мы съ трудомъ можемъ понять, какъ первый можетъ догнать или опередить послѣднее! Ахиллесъ—такъ гласить предпосылка—даетъ черепахѣ сдѣлать одинъ ходъ впередъ и самъ бѣжитъ въ десять разъ скорѣе, чѣмъ она. Когда онъ достигнетъ конца пройденнаго ею,—предположимъ, одного метра,—она за это время уползла на одинъ дециметръ дальше; пока онъ дѣлаетъ эту часть пути, она уползаетъ еще на сантиметръ дальше; пока онъ настигаетъ ее на этой точкѣ, она проходитъ еще одинъ миллиметръ и т. д. до безконечности; мы видимъ, какъ они постепенно приближаются другъ къ другу, но какимъ способомъ можно будетъ преодолѣть то минимальное пространство, которое ихъ въ концѣ концовъ раздѣляетъ, этого мы понять не можемъ; итакъ Ахиллесъ—таковъ, слѣдовательно, выводъ—никогда не догонитъ черепаху. Велико будетъ удивленіе непосвященнаго въ математику, когда онъ узнаетъ, что это разсужденіе—отвлекаясь отъ его конечнаго вывода—признается совершенно правильнымъ всѣми знатоками этой науки. „Быстроногий“ сынъ богини Фетиды дѣйствительно не нагонитъ свою тяжеловѣсную соперницу ни на одной изъ намѣченныхъ здѣсь точекъ,—ни послѣ того, какъ она проползетъ одну десятую, ни послѣ того, какъ она проползетъ слѣдующую сотую, слѣдующую тысячную, десятитысячную, стотысячную, миллионную и т. д. часть второго метра. Но онъ настигнетъ ее,—такъ показываетъ намъ простое вычисленіе—въ тотъ мигъ, когда она пройдетъ одну девятую этого пути. Ибо въ то время, какъ она проползаетъ $\frac{1}{9}$ метра, онъ пробѣгаетъ $10 \times \frac{1}{9} = 1 \frac{1}{9}$ м. Весь этотъ безконечный рядъ цифръ въ: $\frac{1}{10} + \frac{1}{100} + \frac{1}{1000} + \frac{1}{10000} + \frac{1}{100000} \dots$ не превышаетъ величину $\frac{1}{9}$. Или же, чтобы придать этой задачѣ и ея рѣшенію болѣе общую форму, можно принять слѣдующее: если эти двѣ скорости относятся другъ къ другу, какъ 1: n, то ихъ

встрѣча не произойдетъ ни въ одной изъ точекъ всего ряда чиселъ: $\frac{1}{n} + \frac{1}{n^2} + \frac{1}{n^3} + \frac{1}{n^4} \dots$; между тѣмъ конечная величина $\frac{1}{n-1}$ включаетъ въ себѣ весь этотъ безконечный рядъ чиселъ. Построеніе это вполнѣ правильно. Данная величина можетъ быть дѣлима до безконечности, и все-таки не перестаетъ быть конечной величиной. Безконечная дѣлимость и безконечная величина два совершенно различныхъ понятія, хотя легко смѣшать ихъ между собою. вмѣстѣ съ тѣмъ не трудно объяснить себѣ ту призрачность, которою передъ нашимъ духовнымъ взоромъ обладаетъ пространство, раздѣляющее обоихъ участниковъ состязанія. У насъ крайне ограниченная способность представлять себѣ мельчайшія частички пространства; очень скоро наталкиваемся мы на грань, которую наше воображеніе не въ состояніи переступить. Поэтому, въ то время, какъ мы на словахъ продолжаемъ уменьшать самую малую единицу пространства, еще доступную нашему представленію, въ то время, какъ мы говоримъ о стотысячной или миллионной доль метра или фута, въ дѣйствительности стоитъ передъ нашимъ воображеніемъ все та же меньшая доступная ему единица пространства. При каждомъ дальнѣйшемъ дѣленіи она снова и снова встаетъ передъ нами, какъ бы вопреки всему нашему старанію ее совершенно уничтожить. Но въ дѣйствительности достаточны-ли всѣ эти соображенія для того, чтобы окончательно и безповоротно устранить раскрытыя и такъ блестяще доказанныя Зенономъ трудности? Отвѣтъ на вопросъ облегчилъ намъ самъ мощный атлетъ-діалектикъ тѣмъ, что придалъ своей апоріи и другой, болѣе простой видъ, освобожденный отъ всякихъ внѣшнихъ прикрасъ. Какъ можемъ мы, спрашиваетъ онъ, когда-либо пройти нѣкоторую часть пространства? Должны же мы, прежде чѣмъ достигнемъ цѣли, пройти сперва половину даннаго намъ пространства, затѣмъ отъ оставшейся половины опять половину, т. е. четверть, отъ оставшейся четверти опять половину, т. е. одну восьмую, потомъ одну шестнадцатую, тридцать вторую и т. д. до безконечности. Обыкновенно выставленное на это возраженіе, что для того, чтобы пройти до безконечности дѣлимое пространство, необходимо располагать не болѣе и не менѣе, какъ столь же безконечно дѣлимымъ временемъ, вполнѣ вѣрно, поскольку оно примѣнимо. Но примѣненіе его ограничено, такъ какъ вытекающее и изъ этой постановки вопроса затрудненіе въ дѣйствительности также касается главнымъ образомъ отношенія безконечнаго ряда къ конечной величинѣ.

Правда, математики утверждают и доказывают намъ, что рядъ чиселъ, полученный здѣсь дѣленіемъ на два, какъ въ первомъ случаѣ полученный дѣленіемъ на десять, не превышаетъ конечную величину. Какъ первый рядъ чиселъ ($1/10 + 1/100 + 1/1000\dots$) не превышаетъ $1/9$, такъ второй рядъ чиселъ ($1/2 + 1/4 + 1/8\dots$) не превышаетъ 1. Это и не трудно понять; но поражаетъ насъ дальнѣйшее, для даннаго случая единственно имѣющее значеніе утвержденіе, что какъ первый, такъ и второй рядъ чиселъ дѣйствительно достигаетъ означенной конечной величины ($1/9$ и 1). Мы преодолеваемъ нѣкоторое пространство однимъ шагомъ и насъ при этомъ не смущаетъ, когда объ этомъ пространствѣ говорятъ, что оно до безконечности дѣлимо. Но вступимъ теперь на противоположный путь и попробуемъ не аналитически, а синтетически построить конечную величину изъ предполагаемаго безконечнаго количества частей. Не будетъ ли у насъ постоянно получаться остатокъ, хотя бы очень мелкая дробная часть, которой будетъ не доставать для пополненія конечной величины? Развѣ возможно исчерпать неисчерпаемое? Математика находитъ и здѣсь исходъ въ томъ, что она позволяетъ себѣ отбрасывать въ концѣ ряда этихъ чиселъ безконечно или неуловимо малую часть, точно также какъ она поступаетъ при обращеніи періодической десятичной дроби въ правильную простую дробь. Это вполне законные приемы, способствующіе дѣлямъ естествоиспытанія, которые однако какъ бы доказываютъ, что нельзя слишкомъ довѣрчиво относиться къ понятію безконечности. Мы думаемъ, что въ дѣйствительности именно противъ этого послѣдняго понятія, а не противъ эмпирическаго понятія движенія вопреки волѣ ихъ автора направляють свои стрѣлы приведенныя выше апоріи.

Отдыхомъ отъ тѣхъ трудностей, въ которыхъ уму нашему приходилось разбираться, являются два послѣднихъ сомнѣнія, относящихся къ проблемѣ движенія. Третье, дошедшее до насъ въ недостаточно ясной формѣ, мы попробуемъ выразить слѣдующимъ образомъ: стрѣла спущена съ тетивы; длина ея равняется одному футу, и она пролетаетъ десять футовъ въ секунду. Не въ правѣ ли мы сказать, что стрѣла въ каждую десятую часть этаго времени занимаетъ пространство, въ точности равное своей длинѣ? Но занимать извѣстное пространство и находиться въ состояніи покоя вѣдъ одно и то же; какимъ же образомъ изъ десяти состояній покоя можетъ сложиться состояніе движенія? Вопросъ этотъ можно было бы поставить еще коварнѣй: движется ли пред-

метъ въ томъ пространствѣ, въ которомъ онъ находится, или же въ томъ, въ которомъ онъ не находится? Ни то, ни другое, ибо находиться въ какомъ либо пространствѣ, т. е. занимать это пространство, значитъ находиться въ состояніи покоя; въ томъ же пространствѣ, въ которомъ вещь не находится, она не можетъ ни дѣйствовать, ни подвергаться какому либо дѣйствию. Въ данномъ случаѣ мы можемъ отвѣтить только одно: такое предположеніи соблазнительно, но совершенно ложно; постоянно движущееся тѣло занимаетъ и въ самую малѣйшую частицу времени не одну часть пространства, — оно находится въ постоянномъ передвиженіи изъ одной части пространства въ другую. Однако же и эта апорія имѣетъ свою цѣнность, и именно потому, что она принуждаетъ насъ составить себѣ понятіе постоянства и твердо держаться его. Всѣ трудности этого вопроса происходятъ отъ недостатка точныхъ граней этого понятія, отъ смѣшенія постоянного или непрерывнаго съ совокупностью прерывныхъ единицъ. Съ противоположностью этихъ понятій мы въ скоромъ времени встрѣтимся. Четвертая изъ апорій, касающихся движенія относится къ быстротѣ движенія, и можетъ быть (съ помощью перенесенія древняго ипподрома въ современность) представлена слѣдующимъ образомъ. На трехъ параллельныхъ путяхъ находятся три поѣзда одинаковой длины. Первый (А) находится въ движеніи; второй (В) стоитъ неподвижно; третій (С) движется въ противоположномъ направленіи, но съ такой же быстротой, какъ А. Ясно, что время, которое нужно А для того чтобы дойти до конца В, будетъ вдвое длиннѣе по сравненію съ тѣмъ, что ему нужно, чтобы дойти до конца одинаково длиннаго С. На вопросъ, съ какой быстротой двигался А, мы должны дать разнорѣчивый отвѣтъ, смотря потому, сравниваемъ ли мы его быстроту съ движущимся С или же съ стоящимъ на мѣстѣ В. Пусть намъ возражать: „последній масштаб нормальный, ибо мы примѣняемъ его въ большинствѣ случаевъ, и всегда должны его примѣнять тамъ, гдѣ намъ надлежитъ опредѣлить лежащее въ основѣ быстроты проявленіе силы“. „Все равно“,—отвѣтилъ бы намъ Зенонъ—„истина и заблужденіе не имѣютъ отношенія къ большинству и меньшинству случаевъ; достаточно возможность указать на факты, подобные вышеприведеннымъ, которые съ правомъ дозволяютъ утверждать, что движущаяся масса проходитъ, одинъ и тотъ же путь, и въ продолженіи всего, и въ продолженіи половины даннаго времени. Если измѣре-

ніе движенія во времени есть что-то относительное, какъ можетъ въ такомъ случаѣ само движеніе быть чѣмъ то абсолютнымъ и совершенно объективнымъ, и потому чѣмъ то дѣйствительнымъ“?

4. Опирающіяся на показанія чувствъ множественность вещей долженъ былъ поколебать слѣдующій двойной аргументъ. Это предположеніе вело какъ-бы къ двумъ противорѣчивымъ выводамъ. Эти многія вещи въ одно и то же время не имѣютъ величины и бесконечно велики. Не имѣютъ величины, ибо не могло бы быть множества вещей, еслибъ каждая изъ нихъ не была единствомъ, единицею. Однако истинная единица не можетъ быть дѣлима. Вещь же остается дѣлимой, если только она состоитъ изъ частей; она должна состоять изъ частей, если только она протяженна. Если же это дѣйствительно единица, то ей не можетъ быть присуща протяженность, и вмѣстѣ съ тѣмъ, и величина. Съ другой стороны всѣ эти вещи должны быть и бесконечно велики, ибо каждая изъ нихъ должна, поскольку она вообще существуетъ, обладать величиною; если же вещь обладаетъ величиною, то она состоитъ изъ частей, которыя въ свою очередь имѣютъ величину. Части же должны быть раздѣльны другъ отъ друга, иначе они не были бы разными частями. Раздѣльны же другъ отъ друга они могутъ быть лишь тогда, когда между ними расположены другія части. Наконецъ эти междулежащія части должны въ свою очередь быть раздѣлены другими частями, снабженными въ свою очередь извѣстной долей величины и т. д. Такимъ образомъ каждое тѣло будетъ заключать въ себѣ бесконечное число частей, изъ которыхъ каждая имѣетъ извѣстную величину; другими словами, оно будетъ бесконечно велико.

Предпосылки этой аргументаціи не такъ ужъ произвольны, какъ это кажется на первый взглядъ. Слѣдуетъ прежде всего помнить, что здѣсь нельзя понимать единичность и множественность въ томъ обычномъ, относительномъ смыслѣ, въ которомъ мы обыкновенно употребляемъ эти понятія. Мы только что (стр. 166) подробно говорили о томъ, что единица, которая должна вездѣ и всегда оставаться таковой, фактически не должна имѣть частей, и что поэтому мы ее не можемъ встрѣтить ни въ мірѣ смежнаго сосуществованія, ни въ мірѣ смѣны существованія. Слѣдовательно, такая не относительная, а абсолютная единица въ дѣйствительности несомѣстима съ понятіемъ пространственной величины и протяженности; и съ этой точки зрѣнія первая часть этого

аргумента дѣйствительно неопровержима. Вторая часть со своей стороны опирается на предпосылку абсолютной множественности. Если нигдѣ и никогда нельзя разсматривать двѣ части тѣла какъ нѣкоторое единство, тогда должна, по крайней мѣрѣ, быть строго раздѣляющая ихъ граница (—вставляя оговорку „по крайней мѣрѣ“ мы хотимъ этимъ указать, что этотъ аргументъ слабѣ своего отраженія). Эта граница должна со своей стороны быть вполнѣ реальной; въ виду того, что предметъ, не обладающій величиною, считается не реальнымъ, она должна обладать величиною, т. е. тѣлесною протяженностью. Все протяженное опять-таки состоитъ изъ частей, поэтому относительно раздѣляющей границы надо сказать все то же самое, что мы сказали о раздѣленныхъ ею частяхъ тѣла, и такъ до бесконечности. Мы можемъ выразить эти два аргумента въ слѣдующей сокращенной формулѣ: „Если каждая изъ вещей дѣйствительно составляетъ нѣкоторую единицу, то она должна быть недѣлима, т. е. непротяженна и слѣдовательно не имѣть величины“, и далѣе: „если же есть множество вещей, то любыя смежныя вещи должны быть раздѣлены лежащею между ними вещью, которой присуща протяженность и, слѣдовательно, дѣлимость на части, которыя съ своей стороны должны быть раздѣлены, и такъ далѣе до бесконечности“. Насколько намъ кажется, и этотъ двойной аргументъ не лишенъ извѣстной цѣнности въ дѣлѣ роста познанія. Единство и множественность не суть абсолютныя понятія, но только относительныя. Смотря по тому, съ какой точки зрѣнія я смотрю и какую цѣль преслѣдую, я могу разсматривать лежащее передо мною яблоко какъ единицу, какъ часть собранія яблокъ, или же какъ нѣкую множественность, какъ агрегатъ его составныхъ частей. Чтобы имѣть возможность говорить о единицѣ и множественности въ абсолютномъ смыслѣ, о единицѣ, которая при случаѣ не можетъ быть и множественностью, или о множественности, которая не можетъ быть и единицею,—чтобы осуществить такое требованіе, въ дѣйствительности понадобились бы столь несообразныя условія, какъ тѣ, изъ которыхъ исходитъ этотъ рядъ выводовъ и которыя сами подрываются своими противорѣчивыми конечными результатами.

Въ этой апоріи мы наталкиваемся на основы многихъ другихъ, дѣйствительныхъ и возможныхъ апорій. Мы говоримъ о выявляющейся здѣсь враждебной противоположности единицы и множественности и о противорѣчьи обоихъ понятію реальности. Согласно своимъ предпосылкамъ школа эта считаетъ реальнымъ

лишь то, что имѣетъ величину, что, слѣдовательно, протяженно, дѣлимо, множественно; множественность предполагаетъ единицы, изъ которыхъ она слагается; единицы же въ качествѣ истинныхъ или абсолютныхъ должны быть мыслимы недѣлимыми, непротяженными, не обладающими величиной и, вслѣдствіе этого, и реальностью. Такимъ образомъ само понятіе сущаго или реальности оказывается здѣсь раздробленнымъ, проникнутымъ внутреннимъ противорѣчіемъ. Все реальное есть множественное, состоящее изъ единицъ; единицы же лишены реальности; слѣдовательно, колоссъ реальности покоится на глиняныхъ ногахъ ирреального. Если же мы попробуемъ, освободивъ реальное отъ его обманчивой опоры, поставить его на другое, не-подгнившее основаніе, ему отъ этого будетъ не лучше: оно рухнетъ само собою. Если множественность остается множественностью, и если части, изъ которыхъ она должна состоять, дабы сохранить протяженность, величину и, слѣдовательно, реальность, не сводятся къ единицамъ, тогда она теряетъ всякую сердцевину (прочную-ли или непрочную); она до безконечности дѣлима, ее можно дробить до безконечности и въ концѣ концовъ совсѣмъ уничтожить. Такимъ образомъ ни понятіе „единицы“, ни понятіе „множественности“ не оказываются, какъ сами по себѣ, такъ же и въ своемъ соединеніи, пригодными носителями понятія сущаго или реальности. „Единица“ (нѣчто простое) не реально; „множественность“ становится нереальной,—распадается ли она, если она построена на самой себѣ, въ ничто, или же, будучи построена на призрачности „единицы“, съ нею вмѣстѣ разсѣивается въ пространство.

Было бы несправедливо видѣть въ изложенныхъ здѣсь мысляхъ Зенона одну лишь игру абстракцій, не имѣющихъ ни основы, ни содержанія. Въ нихъ скорѣе заключается серьезно продуманная и не безплодная критика существовавшего тогда и отчасти державшагося еще понынѣ понятія матеріи. Приписываемая матеріи безконечная дѣлимость, казалось, грозила ей гибелью. Тогда возникла, вѣрнѣе всего въ пифагорейскихъ кругахъ, мысль, что этой дѣлимости не преступить нѣкоторой, хотя и очень отдаленной границы; дальнѣйшему безконечному дѣленію препятствуютъ мельчайшія зерна, которыя по величинѣ можно сравнить съ концомъ иглы или съ солнечной пылью. Неоспоримая заслуга Зенона заключается въ томъ, что онъ указалъ на противорѣчивость этого представленія. Либо эти зерна имѣютъ величину и протяженность, тогда и они подлежатъ закону дѣлимости; либо они ея не имѣютъ, и тогда

не могут служить матеріаломъ, изъ котораго построенъ міръ матеріи, ибо сколько бы мы ни слагали единицъ, не имѣющихъ величины, мы не получимъ величины; мы можемъ воздвигать цѣлыя горы изъ полей, и въ результатъ все-таки получится ноль.

Однако здѣсь кончается наше единомысліе съ Зенономъ. Даже и въ этихъ предѣлахъ мы должны ввести нѣкоторое значительное ограниченіе. Изобрѣтатели теоріи, которую Зенонъ такъ побѣдно опровергъ, оперировали надъ противорѣчивымъ представленіемъ, однако они все же не находились на ложномъ пути. Вскорѣ мы познакоимся съ ученіемъ о веществѣ, которое избѣгло этого противорѣчія, оставаясь на томъ же пути; естествознаніе новѣйшаго времени шло тѣмъ же путемъ, пожиная триумфъ за триумфомъ. Для того, чтобы цѣлое распалось на части, оно должно состоять изъ частей; но части могутъ быть на-лицо безъ того, чтобы въ ближайшемъ, отдаленномъ или даже отдаленнѣйшемъ времени наступилъ конечный распадъ. Хотя идеальная дѣлимость и фактическая раздѣленность по понятіямъ сродны между собой, но вовсе нѣтъ необходимости, чтобы они фактически шли рука объ руку. Представленіе о такихъ протяженныхъ, но фактически недѣлимыхъ матеріальныхъ частицахъ, какъ мы уже разъ замѣтили (стр. 51), независимо отъ того, является ли оно послѣднею правдой или нѣтъ, во всякомъ случаѣ значительно приближается къ истинѣ, или, точнѣе сказать, выводимыя отсюда слѣдствія въ такомъ широкомъ размѣрѣ согласуются съ эмпирическими фактами, что въ рукахъ послѣдователя-физика оно является несравненнымъ орудіемъ. Если бы это не звучало богохульствомъ, хотѣлось бы замѣтить: должно быть, создатель міра не былъ столь остроуменъ, какъ Зенонъ. Во всякомъ случаѣ его высокой мудрости не было нужды въ такомъ неукротимомъ стремленіи къ послѣдовательности во что бы то ни стало, какъ хитроумію задорнаго элейца. Собственно говоря, строгость понятій этого послѣдняго не такъ ужъ совершенна. Среди его аргументовъ часто встрѣчаются двѣ точки зрѣнія, изъ которыхъ каждую саму по себѣ можно защищать, но которыя совершенно исключаютъ другъ друга. Зенонъ поочередно противопоставляетъ одну другой, то соединяя понятія конечности и безконечности, то непрерывность пространства съ отдѣльными единицами времени, или же, наоборотъ, непрерывность времени съ отдѣльными единицами пространства.

Однако, чтобы вернуться къ нашей руководящей, т. е. исто-

рической точкѣ зрѣнія, спросимъ себя, остался ли Зенонъ дѣйствительно до конца тѣмъ, чѣмъ онъ былъ въ началѣ своего предпріятія т. е. вѣрнымъ оруженосцемъ Парменида? Это часто утверждалось, но утвержденіе это кажется намъ неосновательнымъ. Діалектическая дубинка, которой Зенонъ такъ ловко замахивался, должна была конечно прежде всего поразить противниковъ элейцевъ. Но могли ли эти послѣдніе дѣйствительно торжествовать побѣду? Да позволятъ намъ въ этомъ усумниться. Осталось ли въ этомъ столкновеніи неприкосновеннымъ „цѣлокупное единое“ Парменида, его „шарообразное“ всесущество, его протяженное сущее? Лишь не отступающая ни передъ какимъ насиліемъ искусственность изложенія могла бы защищать это. Всякому непредубѣжденному взгляду, напротивъ, должно быть ясно, что основныя идеи элейцевъ, понятія единства, протяженности, реальности, сами были поколеблены или лучше сказать разрушены этой критикой. Это очевидно ясно сознавалось въ кругу друзей и приверженцевъ означенной школы. Платонъ говоритъ отъ имени Зенона, что его произведеніе было продуктомъ юношескаго задора и необузданнаго духа борьбы; что оно было у него похищено и безъ его вѣдома предано гласности. Кто знаетъ Платона, пойметъ, что это значить. Отъ почитателя „великаго“ Парменида не ускользнуло то, какъ обоюдоостро оружіе которымъ пользовался съ столь несравненнымъ искусствомъ его ученикъ; ореолъ, освѣнявшій чело „изобрѣтателя діалектики“, не долженъ былъ въ равной степени освѣщать всѣ стороны его дѣла. Очевидно, буйной силою своего дарованія онъ дѣйствительно былъ увлеченъ далеко за предѣлы той цѣли, которую онъ себѣ намѣтилъ. Онъ выступилъ въ бой какъ правовѣрный адептъ ученія о единствѣ, какъ онтологъ; онъ вышелъ изъ него скептикомъ или, лучше сказать, нигилистомъ. Намъ пришлось много говорить о саморазложеніи ученія о первовеществѣ; въ дѣятельности Зенона мы видимъ передъ собою саморазложеніе ученія элейцевъ о сущемъ.

Какой долгій путь отъ Ксенофана до Зенона! И все же, какъ тѣсно соприкасаются начало и конецъ. Первый принципиально оспариваетъ возможность рѣшенія великихъ міровыхъ тайнъ (стр. 143), второй безжалостной рукою разрушаетъ и губить существующую попытку рѣшенія ихъ. Исторія этой школы— это исторія постепеннаго и мощнаго развитія духа критики. Когда мы видимъ Геркулеса, уже въ колыбели задушившаго двухъ

змѣй, мы ожидаемъ отъ него и другихъ болѣе значительныхъ подвиговъ. Критика прежде всего направила свое оружіе на пестрый и призрачный міръ боговъ; затѣмъ она разрушаетъ пестрое море міра чувствъ; она кончаетъ тѣмъ, что вскрываетъ внутреннія противорѣчія въ тѣхъ областяхъ мірозданія, которыя не подпали этому разрушенію. Путь развитія школы прямолинейнъ. Всѣ три главныхъ представителя элейской школы являются безпокойными умами, задача которыхъ состоитъ въ томъ, чтобы будить человѣчество изъ его тупой лѣнности мысли и догматической сонливости. Велика была самонадѣянность этихъ основателей критики, безгранична ихъ увѣренность, что міръ долженъ носить печать того, что имъ казалось разумнымъ. И также, какъ юношѣ подобаетъ избытокъ духа пылкаго, не подчиняющагося никакимъ правиламъ, также и юношескому возрасту науки подобаетъ избытокъ гордой, не поколебленной самоувѣренности. Если что вызываетъ неудовольствіе зрителя на среднемъ этапѣ этого пути, это нецѣльность и непоследовательность добытыхъ рѣшеній, незаконный остатокъ догматизма, который дѣйствуетъ тѣмъ болѣе отталкивающе, что онъ не просто оставляетъ нетронутою часть прежняго міровоззрѣнія, но замѣняетъ ее страннымъ превращеніемъ и искаженіемъ ея, одинаково мало удовлетворяющимъ какъ дѣтски наивный, такъ и мужественно зрѣлый умъ. Это отталкивающее впечатлѣніе смягчится, какъ только мы соединимъ это необоснованное утвержденіе съ послѣдующимъ отрицаніемъ и станемъ разсматривать ихъ какъ одно цѣлое. Въ этомъ постепенномъ возрастаніи критики заключается истинная цѣнность и историческое значеніе элейской школы. Это была первая великая палестра, въ которой выковывалось, закаливалось и пріобрѣтало сознаніе своей силы мышленіе Запада.

Результатомъ этого процесса является,—впервые ясно выступившее у Парменида, но проявлявшееся уже у Ксенофана,—строгое различеніе между знаніемъ и вѣрою, между познаніемъ и мнѣніемъ—различіе, которое предстанетъ намъ особенно значительнымъ, если мы вспомнимъ, насколько оба эти элемента были смѣшаны и слиты еще въ ученіяхъ пифагорейской школы. Мы находимся здѣсь какъ-бы на нѣкоторомъ водораздѣлѣ, съ котораго по двумъ разнымъ направленіямъ текутъ два потока, которые лишь значительно позже, во времена упадка, снова сольютъ свои воды.

„Двуликими“ бранилъ великій элонецъ учениковъ эфесскаго му-

дреца. Это прозвище примѣнимо къ нему самому, такъ какъ ученіе его, подобно Иокастѣ, произвело двухъ враждебныхъ другъ другу братьевъ. Послѣдовательный матеріализмъ и послѣдовательный спиритуализмъ, эти діаметрально противоположныя направленія въ области метафизики, произошли изъ одного и того же корня, изъ строгаго понятія субстанціи, которое хотя отнюдь не есть собственное созданіе элейцевъ, однако же именно ими было отвлечено и какъ-бы препарировано изъ основныхъ положеній ученія о первостихіи. Поворотъ къ спиритуализму—сперва къ антиматеріализму—долженъ былъ неминуемо наступить, какъ только уже назрѣвшая сила абстракціи сдѣлала еще шагъ впередъ и наравнѣ съ другими родственными ему чувствами, отвергла показанія мускульнаго чувства или чувства сопротивленія послѣ чего не оставалось ничего, кромѣ голаго понятія субстанціи, т. е. совокупности опредѣленій вѣчнаго пребыванія и вѣчной неизмѣнности. Здѣсь мысли снова представлялось перепутье. Можно было созданная такимъ образомъ метафизическія сущности сдѣлать носителями силы и сознанія, и можно было этого и не сдѣлать. Рѣшающимъ моментомъ являлась индивидуальная склонность, или же, какъ мы видимъ изъ примѣра Платона, смѣняющія другъ друга въ одной и той же личности — то склонность, то протестъ. Въ этомъ мы видимъ скорѣе косвенное, нежели непосредственное вліяніе элейской школы, ибо примѣръ Мелисса не имѣлъ болѣе или менѣе значительныхъ послѣдователей; только въ самой незначительной изъ сократическихъ школъ — въ мегарской — находимъ мы слѣды его вліянія. Чтобы найти ближайшую аналогію ничего не производящему и ничто не направляющему блаженному первосуществу мудреца изъ Самоса, мы должны обратиться къ Индіи, гдѣ въ ученіи философовъ Веданты міръ также мыслится обманчивымъ призракомъ, а скрытая за нимъ истина—существомъ, единственными атрибутами котораго являются бытіе, мышленіе и блаженство (*sat, cit* и *ānanda*). Другое, и для исторіи науки несравненно болѣе значительное направленіе, замѣнившее протяженное единство безчисленными матеріальными субстанціями, мы скорѣе встрѣтимъ въ первыхъ шагахъ атомистики, которая сходится съ Парменидомъ въ строгомъ опредѣленіи понятія субстанціи, но не въ отрицаніи какъ множественности вещей, такъ и раздѣляющаго ихъ пустого пространства и обусловленнаго этимъ движенія въ пространствѣ. Историческая связь и здѣсь очень вѣроятна. Мы можемъ, конечно, задать себѣ во-

прось о томъ, нужно ли было вообще—и въ какой мѣрѣ—такое посредничество между древнѣйшими формами ученія о перво-веществѣ и этимъ послѣднимъ и наиболее зрѣлымъ видомъ его? Отвѣтъ на этотъ вопросъ дастъ намъ разсмотрѣнiе двухъ мыслителей, которые настолько связаны какъ своимъ сходствомъ, такъ и различiемъ, что ихъ нельзя разсматривать отдѣльно.

ЧЕТВЕРТАЯ ГЛАВА.

Анаксагоръ.

Передъ нами два современника. Ихъ мысли устремлены на однѣ и тѣ же проблемы, ихъ изслѣдованiя построены на однѣхъ и тѣхъ же предпосылкахъ, въ ихъ выводахъ встрѣчаются изумительно родственныя черты. И тѣмъ не менѣе—какой рѣзкiй контрастъ! Одинъ—поэтъ, другой—геометръ; одинъ одаренъ пылкой фантазiей, другой—холоднымъ, трезвымъ разумомъ; одинъ хвастливъ и преисполненъ горделиваго чувства собственнаго достоинства, другой совершенно исчезаетъ за своими произведенiями. Одинъ утопаетъ въ пышномъ богатствѣ образовъ, другой выражается простой, лишенной прикрасъ рѣчью; одинъ цвѣтистъ и многостороненъ до расплывчатости, другой до нескладности прямъ и послѣдователенъ. Каждый обладаетъ въ высшей мѣрѣ тѣмъ, чего недостаетъ другому,—Эмпедоклъ блестящими, остроумными, часто до нелѣпости парадоксальными гипотезами, его старшiй современникъ — цѣльностью и опредѣленностью общаго строя мыслей.

Благодаря Анаксагору, философiя и естествознанiе были перенесены изъ Ионiи въ Атику. Анаксагоръ родился около 500 г. до Р. Х. въ Кладзоменѣ, близъ Смирны, и принадлежалъ къ знатному роду. Онъ бросилъ свое имущество и съ ранней молодости всецѣло посвятилъ себя исканiямъ истины. Какiя школы онъ посѣщалъ и гдѣ прiобрѣлъ свои познанiя, осталось неизвѣстнымъ. Ибо хотя онъ во многомъ сходится съ ученiемъ Анаксимандра и Анаксимена, все же преданiе, называющее его ихъ ученикомъ, противорѣчитъ хронологическимъ даннымъ. Въ возрастѣ сорока лѣтъ онъ переселился въ Аены и удостоился дружбы

великаго государственнаго мужа, сумѣвшаго возвысить Аѳины до значенія литературнаго и политическаго центра Эллады. Въ теченіе полувѣка былъ онъ украшеніемъ того избраннаго круга, который сгруппировался вокругъ Перикла. Зато и бѣдствія партійной борьбы не миновали его. Когда въ началѣ пелопонесской войны стала меркнуть звѣзда направлявшаго судьбы Аѳинъ государственнаго мужа, было поднято гоненіе также и на его обаятельную и высокоодаренную подругу жизни, и на его друга-философа, обвинявшихся въ возбужденіи религіоз-броженія. Изгнаніе принудило Анаксагора вернуться на родину въ Малую Азію, и семидесяти двухъ лѣтъ, окруженный вѣрными учениками, окончилъ онъ въ Лампсакѣ свою непорочную жизнь. Сохранились значительные отрывки его произведенія, составившаго нѣсколько книгъ безъискусственной, но не лишенной красоты прозы. Онъ обнародовалъ свой трудъ послѣ 467 г., въ которомъ произошло паденіе необычнаго метеора, описаннаго имъ въ этомъ произведеніи; это была, между прочимъ, первая книга въ греческой литературѣ, снабженная діаграммами.

Подобно своимъ старшимъ іонійскимъ собратьямъ онъ живо интересовался проблемой вещества. Рѣшеніе его, однако, было крайне своеобразно,—отдѣляя его вполне отъ его предшественниковъ, оно въ то же время свидѣтельствовало о томъ, что его нисколько не коснулось исходившее отъ элейцевъ критическое движеніе. Если онъ даже и зналъ дидактическую поэму Парменида, содержаніе ея, во всякомъ случаѣ, скользнуло безслѣдно по его сознанію. Ни единый намекъ изъ дошедшихъ до насъ отрывковъ и ни одно слово изъ дополняющихъ ихъ древнихъ свидѣтельствъ не указываютъ на то, чтобы онъ—не говоря уже обо всемъ остальномъ,—принялъ хоть сколько-нибудь во вниманіе столь настойчиво выражаемыя Парменидомъ сомнѣнія въ правомѣрности показаній чувствъ и въ множественности вещей или же хотя бы сдѣлалъ нѣкоторую попытку разобраться въ этихъ сомнѣніяхъ. Напротивъ того: безусловное довѣріе къ показаніямъ чувствъ является основаніемъ его системы; не только множественность вещей, но и неисчерпаемое количество изначала отличныхъ другъ отъ друга сущностей составляетъ глубочайшую предпосылку его ученія. Тѣмъ болѣе поражаетъ насъ, по крайней мѣрѣ при первомъ взглядѣ, то, что по отношенію къ столь пространно разсмотрѣнному нами двойному постулату онъ занимаетъ то же положеніе, что и Парменидъ. Нѣтъ возникновенія и уничтоженія,

нѣтъ измѣненія свойствъ. „Греки не правы, говоря о возникновеніи и объ уничтоженіи; ибо ни одна вещь не возникаетъ, ни одна не уничтожается; посредствомъ смѣшенія слагаются онѣ изъ существующихъ вещей и посредствомъ разложенія распадаются на отдѣльныя вещи; поэтому съ большимъ правомъ могли бы они назвать возникновеніе — смѣшеніемъ, а уничтоженіе — разложеніемъ“. Мы уже знаемъ, какимъ образомъ изъ ученія, предшествовавшаго двумъ постулатамъ Парменида, изъ „древняго“—говоря многозначительными словами Аристотеля—„всеобщаго, никѣмъ не оспариваемаго ученія физиковъ“ могло возникнуть второе, позднѣйшее ученіе, впервые зародившееся уже у Анаксимена; относительно того, какъ оно фактически развилось изъ него въ сознаніи Анаксагора, намъ больше не нужно строить догадокъ послѣ того, какъ это стало совершенно очевидно изъ одного, долго оставлявшагося безъ вниманія, краткаго, но знаменательнаго отрывка его труда (см. стр. 150). Изъ связи слѣдующихъ трехъ положеній: вещи таковы, какъ о нихъ свидѣтельствуютъ чувства; онѣ не возникаютъ и не уничтожаются; также не возникаютъ и не уничтожаются ихъ свойства,—выросла форма ученія о веществѣ, носящая имя Анаксагора и равно характерная какъ для неуклонной строгости его мышленія, такъ и для отсутствія у него качества, быть можетъ, еще болѣе необходимаго изслѣдователю природы. Мы говоримъ объ инстинктивномъ страхѣ передъ путями мысли, которые тѣмъ дальше уводятъ отъ истины, чѣмъ неуклоннѣе и послѣдовательнѣе идти по нимъ. Поэтому его ученіе представляетъ почти полную противоположность тому, что намъ открываетъ наука о веществѣ и о различныхъ соединеніяхъ его. То, что въ дѣйствительности суть въ высшей степени сложныя соединенія (а именно, органическія), кладзоменецъ принимаетъ за основныя формы вещества или стихіи; другія, тоже не простыя, но несравненно менѣе сложныя вещества, какъ вода или скопленія атмосферическаго воздуха, считаетъ онъ наиболѣе сложными соединеніями. Если когда-либо крупный умъ шелъ ложнымъ путемъ, оставаясь неизмѣнно вѣрнымъ ему, то это случилось именно съ Анаксагоромъ въ его ученіи о веществѣ, относящемся къ выводамъ химіи совершенно такъ же, какъ изнанка ковра—къ его лицевой сторонѣ. Онъ строилъ слѣдующія умозаключенія. Вотъ передъ нами каравай хлѣба. Онъ добытъ изъ растительныхъ веществъ и способствуетъ построенію нашего тѣла. Но составныхъ частей у челоувѣческаго и животнаго организма очень много, а именно: кожа,

мясо, кровь, жилы, сухожиліе, хрящи, кости, волосы и т. д. Каждая изъ этихъ составныхъ частей отличается отъ другой свѣтлой или темной окраской, мягкостью или твердостью, эластичностью или негибкостью и т. д. Какимъ образомъ все богатое многообразіе этихъ частей могло произойти изъ одного этого хлѣба, однородного по своему составу? Измѣненіе свойствъ немислимо. Остается только допустить, что многочисленныя соединенія вещества, входящія въ человѣческое тѣло уже заключены всѣ вмѣстѣ, какъ таковыя, въ питающемъ насъ хлѣбѣ. Отъ нашего воспріятія они ускользаютъ въ силу своей малой величины. Ибо чувствамъ нашимъ присущъ одинъ лишь недостатокъ—слабость ихъ, тѣсныя рамки ихъ воспримчивости. Процессъ питанія объединяетъ незримыя мелкія частицы и дѣлаетъ ихъ доступными нашему зрѣнію, осязанію и т. д. То, что сказано о хлѣбѣ, можетъ быть распространено и на хлѣбный злакъ, изъ котораго его добываютъ. Но какъ могло бы создаться все многообразіе его составныхъ частицъ, если бы оно же не было заключено въ землѣ, водѣ, воздухѣ, огнѣ (солнцѣ), которые хотя и кажутся по виду простѣйшими тѣлами, но въ сущности суть наиболѣе сложныя изъ всѣхъ. Они полны „сѣмянъ“ или первичныхъ веществъ всѣхъ возможныхъ родовъ и представляютъ собою ничто иное, какъ простую смѣсь или механическое соединеніе ихъ. И подобно свойствамъ частей человѣческаго тѣла, ароматъ cadaго лепестка розы, крѣпость cadaго пчелинаго жала, переливы красокъ cadaго павлиньяго глаза извѣчно присущи первичнымъ частичкамъ, которыя при благопріятныхъ условіяхъ вступаютъ въ соединенія, дабы явить намъ тотъ или другой изъ безчисленныхъ образовъ. Сколько бы разнообразныхъ формъ ни являли намъ наши чувства, вплоть до тончайшихъ и едва уловимыхъ оттѣнковъ, и сколько бы комбинацій ихъ ни встрѣчалось въ отдѣльныхъ тѣлахъ,—столь же неисчислимы должны быть и сами основные элементы. Кому не ясно, что сущность этой доктрины кореннымъ образомъ противорѣчитъ фактическимъ выводамъ новѣйшаго естествознанія? И однако же слѣдуетъ замѣтить, что и методъ, и руководящій стимулъ до поразительности совпадаютъ въ одномъ и въ другомъ случаѣ. Нашъ мудрецъ также стремится во всей полнотѣ объяснить всѣ явленія міра. Онъ сводитъ всѣ химическіе процессы къ механическимъ; даже со всѣхъ фізіологическихъ процессовъ снимаетъ онъ всякую печать таинственности, разсматривая и ихъ съ точки зрѣнія механики. Ибо соединенія и разединенія, другими словами, только перемѣщенія вещества при-

званы объяснить собою всѣ таинства превращенія и видоизмѣненія. Ученіе о веществѣ философа изъ Кладзомена есть опытъ, правда, грубый и несвоевременный, объяснить все происходящее въ матеріальномъ мірѣ, какъ слѣдствія движеній. Относительно большинства случаевъ мы не знаемъ, какимъ образомъ эта основная идея была проведена въ частности. Такъ, у насъ нѣтъ отвѣта на вопросъ, какимъ образомъ Анаксагоръ объяснялъ измѣненіе вида и состава вещей, сопровождающее перемѣны въ сдѣвленіи частицъ. Изъ этой области до насъ дошло только одно его довольно загадочное утвержденіе: снѣгъ столь же темень, какъ и вода, изъ которой онъ образовался, и тому, кто объ этомъ знаетъ, онъ уже болѣе не кажется бѣлымъ. Мы хорошо понимаемъ ту трудность, съ которой пришлось столкнуться въ данномъ случаѣ его ученію о веществѣ: „какъ можно объяснить измѣненіемъ въ расположеніи водяныхъ частицъ, вызваннымъ дѣйствіемъ холода, связанную съ нимъ перемѣну ихъ окраски?“ Ссылка на „слабость“ воспріятія нашихъ чувствъ въ данномъ случаѣ не могла быть принята въ расчетъ. Твердое убѣжденіе Анаксагора, что водяныя частицы должны при всѣхъ обстоятельствахъ оставаться темными, на этотъ разъ, думаемъ мы, сдѣлало великаго мыслителя жертвою грубаго обмана чувствъ. Въ цѣляхъ точнаго наблюденія онъ, вѣроятно, вглядывался такъ пристально и долго въ искрящуюся при солнечномъ свѣтѣ бѣлую пелену зимняго пейзажа, пока передъ его ослѣпленными глазами не пошли черные круги, и этотъ оптический обманъ онъ принялъ за подтвержденіе заранѣе создаваемаго въ немъ убѣжденія. Припомнимъ встрѣченные нами у Анаксимена не менѣе грубые промахи въ объясненіи физическихъ явленій (см. стр. 53), тогда и эта явная ошибка въ наблюденіи не покажется намъ невозможной. Высказанное впервые Гераклитомъ предположеніе о существованіи невидимыхъ частицъ матеріи и ихъ невидимомъ движеніи помогло Анаксагору отразить незамедлившія подняться противъ его теоріи возраженія со стороны представителей стараго ученія о первовеществѣ: „Какъ могутъ кореннымъ образомъ различныя вещи вліять другъ на друга и испытывать другъ отъ друга воздѣйствія?“ „Въ каждой вещи“—такъ отвѣчалъ онъ—„содержится нѣкоторая доля всѣхъ вещей; вещи въ нашемъ мірѣ не разъединены (совершенно) другъ отъ друга и не разсѣчены какъ бы топоромъ“ (это, кстати сказать, единственное образное выраженіе, встрѣчающееся въ длинномъ рядѣ сохранившихся фраг-

ментовъ); называется же каждая вещь по преобладающему въ немъ по количеству и, вслѣдствіе этого, первенствующему роду матеріи. Сомнѣнія въ реальности невидимаго вообще онъ устранялъ указаніемъ на сопротивленіе также невидимаго воздуха, который, напр., будучи заключенъ въ растянутую кишку, не поддается нашему давленію.

2. Космогонія Анаксагора движется до извѣстнаго предѣла по тому же пути, который проложилъ Анаксимандръ и изъ котораго его послѣдователи почти не выходили. Вначалѣ мы и здѣсь видимъ своего рода хаосъ. Только вмѣсто одной безгранично протяженной первостихіи мы видимъ неисчислимое множество также безгранично протяженныхъ первостихій: „Всѣ вещи были вмѣстѣ“; бесконечно малыя и перемѣшанныя между собою первичныя частицы составляли первоначальный хаосъ. Ихъ качественная неразличимость соотвѣтствуетъ безкачественности единаго мірового существа Анаксимандра. Изначала надѣленные различными свойствами матеріи „сѣмена“ или элементы не нуждались въ динамическомъ „выдѣленіи“, но лишь въ механическомъ разъединеніи. Необходимый для этого физическій процессъ Анаксагоръ не находилъ нужнымъ ни логически выводить, ни конструировать по извѣстнымъ аналогіямъ:—онъ находилъ его въ процессѣ, который дѣйствуетъ еще и по сей день и совершается ежедневно и ежечасно у насъ на глазахъ: въ (кажущемся) движеніи небснаго свода. Это вращательное движеніе не только въ началѣ временъ произвело первое разъединеніе матеріи, но продолжаетъ еще и до сихъ поръ свою работу въ другихъ точкахъ мірозданія. Эта попытка сблизить древнѣйшую эпоху съ современной, и эту послѣднюю въ свою очередь съ самымъ далекимъ будущимъ, доказываетъ такую силу вѣры въ однородность дѣйствующихъ во вселенной силъ и въ постоянство всѣхъ міровыхъ процессовъ, что она вызываетъ въ насъ живѣйшее удивленіе и составляетъ самый рѣзкій контрастъ миѣическому способу мышленія прежнихъ эпохъ. Если мы спросимъ, какъ могло это вращательное движеніе произвести приписываемый ему переворотъ, мы должны будемъ отвѣтить слѣдующимъ образомъ: сперва въ одной точкѣ міра должно было начаться вращательное движеніе, которое затѣмъ охватывало все болѣе и болѣе широкіе круги и которое никогда не прекратится. Какъ на исходную точку этого движенія можно съ нѣкоторой вѣроятностью указать на сѣверный полюсъ небснаго свода; распространеніе этого движенія можно себѣ

представить расходящимся кругами, вызываемыми ударомъ или толчкомъ, производимымъ каждою отдѣльною частицею вещества на всѣ ея окружающія частицы. Только такимъ путемъ первый толчекъ, о происхожденіи котораго мы сейчасъ будемъ говорить, могъ естественнымъ образомъ вызвать то могучее дѣйствіе, которое Анаксагоръ ему приписываетъ. „Сила и быстрота“ этого вращательнаго движенія, превосходящая всѣ земныя мѣры, разрыхлили своими толчками и сотрясеніемъ (въ этомъ, очевидно, заключается мысль философа изъ Кладзоментъ) единую до того времени компактную массу, побѣдили внутреннюю силу сдѣленія матеріальныхъ частицъ и, благодаря этому, дали имъ возможность слѣдовать влеченію въ различной степени присущей имъ тяжести. Только теперь могли и должны были образоваться массы однородныхъ веществъ и отложиться въ различныхъ предѣлахъ міра. „Все плотное, жидкое, холодное и темное соединилось тамъ, гдѣ находится теперь земля“ (т. е. въ центрѣ мірозданія), „все тонкое, теплое и сухое выдѣлилось и унеслось въ безконечную даль ээира“. Можно себѣ представить, какъ безконечна та цѣпь послѣдствій, которую влечетъ за собой этотъ первичный актъ,—начало вращенія въ ограниченномъ кругѣ міроваго пространства. Однако, этотъ актъ самъ по себѣ требуетъ объясненія. И онъ долженъ былъ имѣть свою причину. Въ данномъ случаѣ аналогіи изъ области фзики не могутъ помочь нашему философу; онъ прибѣгаетъ къ тому, что мы съ нѣкоторымъ правомъ можемъ назвать сверхъестественнымъ вмѣшательствомъ. Мы сказали—съ нѣкоторымъ правомъ, такъ какъ, если сила къ помощи которой онъ прибѣгаетъ, не есть вполне матеріальный, то и не вполне нематеріальный факторъ; если это не обыкновенная матерія, то это и не Божество; хотя онъ и называется „безграничнымъ и самодержавнымъ“, но его могущество проявляется въ столь рѣдкихъ, исключительныхъ случаяхъ, что ему, нельзя приписать фактическаго господства надъ природою, хотя по существу нельзя его и отрицать. Этотъ первый толчокъ произвелъ „Nus“,—это слово мы оставимъ безъ перевода, такъ какъ всякій переводъ, назовемъ ли мы его „духомъ“ „умомъ“ или „матеріей мысли“, сообщить его сущности чуждый оттѣнокъ. По собственному объясненію Анаксагора это есть „самое тонкое и самое чистое изъ всѣхъ вещей“, онъ „одинъ не смѣшанъ ни съ чѣмъ“; такъ какъ будь онъ смѣшанъ съ какой-нибудь одною вещью, то онъ былъ бы (вспомнимъ все сказанное ранѣе о несовершенномъ разъединеніи вещества) причастенъ и ко всѣмъ остальнымъ,

и это смѣшеніе мѣшало бы ему въ равной степени вліять на любую вещь, какъ это происходитъ теперь при его несмѣшанномъ состояніи. Если мы теперь, послѣ всего сказаннаго и послѣ дальнѣйшихъ поясненій, что „Nus“ кромѣ того обладаетъ „всѣми знаніями обо всемъ“, о „прошедшемъ, настоящемъ и будущемъ“, что ему присуща также „высшая сила“, захотимъ приравнять его къ высшему Божеству, то здѣсь мы снова натолкнемся надругія, противорѣчація этому и не менѣе важныя свойства. Анаксагоръ говоритъ, что „Nus“ присутствуетъ „то въ большемъ, то въ меньшемъ количествѣ“, онъ называетъ его дѣлимымъ и „присущимъ нѣкоторымъ вещамъ“,—разумѣя всѣ живыя существа.

Два очень различныхъ стимула дѣйствовали одновременно при зарожденіи этого ученія и вмѣстѣ съ тѣмъ стояли на сторожѣ другъ передъ другомъ. Все, что познается въ мірозданіи какъ порядокъ и красота, главнымъ образомъ все, что благодаря искусственному соединенію съ другими факторами является какъ бы средствомъ къ достиженію извѣстной цѣли, все это наводитъ на мысль о сознательной правящей силѣ и о преднамѣренномъ дѣйствіи. Дѣйствительно, аргументъ „цѣли“ и до сего времени является самымъ сильнымъ оружіемъ во власти философскаго теизма. Но если другіе, болѣе поздніе мыслители считали призваннымъ къ выполненію этой задачи лишь существо, лишенное всякой матеріальности, то Анаксагоръ думалъ, что эта роль можетъ быть выполнена особеннаго рода флюидомъ или ээиромъ:—видѣлъ же Анаксименъ въ воздухѣ, а Гераклитъ—въ огнѣ носителей мірового разума, хотя бы и не преслѣдующаго сознательныхъ цѣлей, а девять десятыхъ античныхъ философовъ видѣли въ индивидуальной „душѣ“ не лишенную матеріи, но до крайняго предѣла утонченную и подвижную матеріальную субстанцію. Однако это ученіе, въ которомъ впервые выступила телеологическая проблема съ тѣмъ, чтобъ ужъ больше не отступать, несло въ себѣ серьезную помѣху для успѣшнаго изученія природы. Но къ счастью, порою чрезмѣрно послѣдовательный мыслитель на сей разъ былъ очень непослѣдовательнымъ. За этотъ недостатокъ послѣдовательности упрекаютъ его какъ Платонъ, такъ и Аристотель, которые, будучи крайне восхищены введеніемъ новаго фактора, возмущаются однако тѣмъ, что Анаксагоръ прибѣгаетъ къ нему только въ крайнихъ случаяхъ, какъ къ послѣднему прибѣжищу. Они обвиняютъ Анаксагора въ томъ, что „Nus“ играетъ у него не большую роль, чѣмъ „машинный богъ“ у драматурга, который только тогда спу-

скаеть его съ небесъ, заставляя силою разрубать узелъ драматическаго дѣйствія, когда у него уже не остается другихъ средствъ, чтобы распутать этотъ узелъ. Для объясненій же частныхъ явленій Анаксагоръ прибѣгаетъ то къ „воздушнымъ и эфирнымъ теченіямъ, то къ разнымъ другимъ чудеснымъ явленіямъ“,—однимъ словомъ, скорѣе ко всему другому, чѣмъ къ своему флюиду, одаренному разумомъ. Однако же, если бы онъ поступилъ иначе и производилъ свои изслѣдованія исключительно (какъ этого требовалъ Платонъ) съ точки зрѣнія „высшаго“, если бы онъ при каждомъ единичномъ явленіи спрашивалъ себя не о томъ, какъ и при какихъ условіяхъ оно совершается, но о томъ, зачѣмъ и ради какой цѣли, тогда онъ прибавилъ бы еще несравненно меньше къ сокровищницѣ человѣческаго знанія, чѣмъ это было въ дѣйствительности. Онъ однако избѣжалъ этого ложнаго пути, ложнаго уже въ силу ограниченности нашего поля зрѣнія и вытекающей изъ нея невозможности познать предначертанія міроуправящаго существа. Онъ былъ не только наполовину богословомъ, но кромѣ того и вполне законченнымъ (хотя и очень односторонне одареннымъ) естествоиспытателемъ. По крайней мѣрѣ его современники видѣли въ немъ образецъ ученаго и, вѣроятно, именно потому, что новое богословское ученіе, если можно такъ назвать его ученіе о „Nus“ совершенно освободило его отъ оковъ древней міеологіи. Сами высшія природныя сущности представлялись ему уже не божествами, но матеріальными массами, подчиненными тѣмъ же законамъ природы, которымъ подвластны и всѣ другія большія или меньшія скопленія матеріи. То, что онъ, напримѣръ, въ солнцѣ видѣлъ не бога Геліуса, а не болѣе и не менѣе какъ „огненный клубъ“, было постоянной причиною возводимыхъ на него его современниками обвиненій. Только въ одномъ уже указанномъ мѣстѣ своего въ общемъ вполне механическаго и физическаго ученія о небѣ и происхожденіи міра, онъ оказался вынужденнымъ прибѣгнуть къ чудесному вмѣшательству. Этотъ первый толчекъ, благодаря которому до того времени недвижно покоившійся міровой процессъ какъ бы вступилъ во вращательное движеніе, въ высшей степени напоминаетъ собою тотъ первый толчекъ, который по предположенію нѣкоторыхъ современныхъ астрономовъ былъ данъ Божествомъ міру небесныхъ тѣлъ. Болѣе того, эти двѣ гипотезы не только напоминаютъ другъ друга, но онѣ вполне тождественны. Обѣ онѣ призваны заполнить одинъ и тотъ же пробѣлъ нашего познанія. Онѣ вытекаютъ изъ одной и той

же потребности ввести въ небесную механику наряду съ тяготѣніемъ другую неизвѣстнаго происхожденія силу. Чтобы не вызвать недоразумѣнія, замѣтимъ, что мы вовсе не хотимъ приписать философу изъ Кладзоменъ предвосхищеніе Ньютоновскаго закона всемірнаго тяготѣнія или же знаніе параллелограмма силъ и опредѣленіе кривыхъ, описываемыхъ небесными тѣлами, на основаніи двухъ факторовъ, однимъ изъ которыхъ является сила тяготѣнія, а другимъ—порожденная первичнымъ толчкомъ центробѣжная сила. Однако же его идеи самымъ тѣснымъ образомъ соприкасаются съ основами современной астрономіи, что мы и постараемся сейчасъ показать. Онъ утверждалъ въ дальнѣйшемъ ходѣ своей космогоніи, что солнце, луна и звѣзды были оторваны силою космическаго вращенія отъ земли, занимающей средоточіе вселенной. Такимъ образомъ онъ устанавливалъ тѣ же отдѣленія массъ, которыя были приняты Кантъ-Лапласовскою теоріею для объясненія образованія солнечной системы. Причину этого явленія онъ видѣлъ въ центробѣжной силѣ, которая, однако, могла проявить свое дѣйствіе не ранѣе наступленія космическаго вращательнаго движенія и достиженія имъ значительной силы и быстроты. Съ другой стороны Анаксагоръ, ссылаясь на упавшій въ Эгосиотамахъ исполинскій метеоръ, который сравнивали съ жерновомъ, утверждалъ, что подобно тому, какъ этотъ камень съ солнца, такъ и вся масса тѣлъ небесныхъ упала бы на землю, еслибъ только ослабла сила вращенія и не могла бы ихъ болѣе удержать на обычномъ пути.

Такимъ образомъ, разнообразныя наблюденія приводили его постоянно къ одной и той же исходной точкѣ, такъ сказать, къ первичной тайнѣ механики. Сила тяготѣнія, о которой у него, въ общемъ, было довольно смутное представленіе, такъ какъ онъ наряду съ нею допускалъ у нѣкоторыхъ веществъ абсолютное отсутствіе вѣса, казалась ему недостаточной для объясненія какъ распада массъ вещества, такъ и происхожденія, прочнаго существованія и движенія небесныхъ тѣлъ и всего небеснаго свода. Онъ выводилъ отсюда присутствіе противодѣйствующей тяготѣнію силы, которая развиваетъ какъ непосредственно, такъ и главнымъ образомъ черезъ посредство центробѣжной силы, которую она вызвала къ жизни, неисчислимое количество воздѣйствій, необходимыхъ для пониманія міроваго процесса. Происхожденіе этой силы въ глазахъ его покрыто непроницаемымъ мракомъ. Онъ сводитъ его къ тому начальному толчку, который также призванъ дополнить собою дѣйствіе силы тяготѣ-

ніа, какъ и тотъ толчокъ, въ которомъ предшественники Лапласа видѣли источникъ центробѣжной силы.

3. Чисто научной складъ ума Анаксагора всего болѣе сказывается въ томъ, что онъ не отступаетъ, гдѣ этого требуютъ факты, и передъ рискованными гипотезами, которыя умѣеть съ изумительнымъ искусствомъ, такъ оформить, что онѣ, подобно лучшимъ образцамъ законодательнаго искусства, одновременно отвѣчаютъ массѣ требованій. Минимумъ гипотезъ долженъ дать максимумъ объясненій. Въ предыдущемъ мы достаточно выяснили, насколько это ему удалось относительно единственнаго, якобы сверхестественнаго вмѣшательства, которое онъ допускалъ. Этой же самоумственной склонностью порождена замѣчательная попытка объяснить интеллектуальное превосходство человѣка (о которой мы поэтому и упомянемъ здѣсь). Анаксагоръ сводитъ его къ присутствію въ человѣческомъ организмѣ одного органа, именно руки, причѣмъ онъ, вѣроятно, сравнивалъ ее съ соответствующимъ органомъ тѣхъ существъ, которыя стоятъ къ намъ ближе всѣхъ по строенію своего тѣла. Это напоминаетъ намъ слова Вениамина Франклина о „существоѣ, производящемъ орудія“. Это сужденіе, подробностей котораго мы не знаемъ, вноситъ свою долю въ цѣлое,—оно выдаетъ то глубоко коренившееся отвращеніе передъ частымъ допущеніемъ специфическихъ различій и необъяснимыхъ въ конечномъ счетѣ фактовъ, которое, быть можетъ, всего больше характеризуетъ истиннаго философа въ отличіе отъ лже-мыслителя.

Все остальное въ астрономіи Анаксагора не болѣе, какъ старческое наслѣдіе милетцевъ. Этого великаго человѣка можно было бы упрекнуть въ томъ пристрастіи къ іонійскимъ двѣнадцати городамъ, которое Геродотъ такъ зло бичуетъ,—до такой степени невоспримчивъ онъ ни къ одному духовному влиянію, не исходящему изъ его родины. Онъ не зналъ о возвыщенной Парменидомъ шарообразной формѣ земли, или же не хотѣлъ ей вѣрить. Въ утвержденіи того, что земля плоская, и въ своемъ объясненіи ея неподвижнаго состоянія онъ вполнѣ сходится съ Анаксименомъ. Но мы встрѣчаемъ здѣсь одно пока необъяснимое и даже едва ли замѣченное затрудненіе. Если онъ дѣйствительно считалъ (какъ передаетъ Аристотель), что земля на подобіе крышки прикрываетъ собою центръ космоса и покоится какъ бы на воздушной подушкѣ, при чемъ находящійся подъ нею воздухъ не можетъ уйти, то непонятно, какимъ образомъ по его представленію (что подтвер-

ждается заслуживающими довѣрія свидѣтелями) звѣзды могли двигаться и подъ землею? Онъ полагалъ, что въ древнія времена этого не было, такъ какъ тогда созвѣздія обходили землю стороною, т. е., другими словами, никогда не скрывались подъ горизонтомъ. Наклоненіе земной оси, которое, казалось, должно было противорѣчить столь явно ощущаемой имъ законмѣрности, произошло, по его мнѣнію, съ теченіемъ времени,—по какому поводу, намъ неизвѣстно—а именно послѣ того, какъ возникла органическая жизнь: вѣроятно, вслѣдствіе того, что это необычайное событіе какъ бы требовало иныхъ, чѣмъ существующія нынѣ условія, и его, можетъ быть легче было привести въ связь съ вѣчной весною, чѣмъ со смѣной временъ года. Представленія Анаксагора о величинѣ небесныхъ тѣлъ еще совершенно младенческія. Объемъ солнца, по его мнѣнію, превосходитъ величину Пелопоннеса! Его объясненіе солнцеворота многимъ лучше: сгущенность воздуха принуждаетъ возвращаться наше свѣтило. А луна, въ виду своей меньшей теплоты, обладаетъ и меньшею силою сопротивленія сгущенному воздуху и поэтому должна чаще возвращаться. И все же Анаксагоръ (если только до насъ дошли вѣрныя свѣдѣнія) сдѣлалъ одно значительное открытіе въ области астрономіи. Онъ первый установилъ вѣрную теорію лунныхъ фазъ и теорію затмений, причемъ послѣднюю онъ, однако, исказилъ тѣмъ, что видѣлъ причину затмений въ тѣни, отбрасываемой не только землею и луною, но также (подобно Анаксимену) и темными небесными тѣлами. Въ высшей степени типичной какъ для его слабыхъ сторонъ, такъ и для его положительныхъ качествъ мыслителя-ислѣдователя является попытка объяснить массовое скопленіе звѣздъ въ млечномъ пути. По его мнѣнію, это скопленіе только кажущееся и производитъ потому такое впечатлѣніе, что въ этомъ мѣстѣ небеснаго свода свѣтъ звѣздъ рѣзче выдѣляется на фонѣ земной тѣни. Онъ, очевидно, рассуждалъ при этомъ слѣдующимъ образомъ: дневной свѣтъ мѣшаетъ намъ вообще видѣть звѣзды на небѣ, и только ночью, когда темно, мы ихъ видимъ; и чѣмъ темнѣе ночь, тѣмъ больше звѣздъ будетъ видно; поэтому совсѣмъ не нужно, чтобы количество звѣздъ было наибольшее, слѣдуетъ только, чтобы небо въ томъ мѣстѣ было темнѣе всего; для объясненія этого максимума темноты у него, однако, не было другого, кромѣ приведеннаго выше обоснованія. Правда, эта теорія идетъ въ разрѣзъ съ болѣе точными наблюденіями, и мы лишній разъ убѣждаемся, насколько односторонне

дедуктивнымъ было мышленіе Анаксагора и какъ мало онъ заботился объ оправданіи своихъ гипотезъ. Млечный путь имѣеть наклонъ къ эклиптикѣ, тогда какъ, еслибъ это объясненіе было вѣрно, онъ долженъ былъ бы съ нею совпадать; и отчего не наступаетъ лунное затменіе всякій разъ, какъ луна вступаетъ въ млечный путь? Все это, однако, не мѣшаетъ намъ считать это разсужденіе очень остроумнымъ и видѣть въ вопросѣ, затронутомъ здѣсь, не одно только праздное измышленіе фантазіи. Вѣроятно, Анаксагоръ, какъ его къ этому побуждало его ученіе о міровомъ умѣ, (Nus), въ чемъ мы уже однажды убѣдились, предъявлялъ необычайно высокія требованія къ симметріи космическихъ образованій. И въ наши дни астрономія по отношенію къ поразительному явленію млечнаго пути не успокаивается на простомъ предположеніи о изначально неравномѣрномъ распредѣленіи звѣздъ. Напротивъ, такъ же, какъ и философъ изъ Кладзоменъ, она усматриваетъ въ этой чрезвычайной неравномѣрности не болѣе, какъ оптической обманъ, сводящійся къ тому, что созвѣздія нашему глазу кажутся сдвинутыми благодаря предполагаемой чечевицевидной формы системы млечнаго пути, къ которой принадлежимъ и мы.

Въ области метеорологіи заслуживаетъ вниманія его объясненіе вѣтра посредствомъ разницы въ температурѣ и въ плотности воздуха: въ области географіи ему принадлежитъ отчасти вѣрное, но въ древности всѣми осмѣянное объясненіе разлива Нила таяніемъ снѣговъ въ горахъ Центральной Африки. Въ вопросахъ о зарожденіи органической жизни онъ идетъ по стопамъ Анаксимандра; ему лично принадлежитъ здѣсь лишь мысль о томъ, что первые зародыши растеній вмѣстѣ съ дождемъ низвергаются на землю изъ воздуха, насыщеннаго всѣми „сѣмянми“. Это, вѣроятно, связано было для него съ тѣмъ огромнымъ значеніемъ, которое онъ придавалъ воздуху во всей органической жизни. Онъ приписывалъ самимъ растеніямъ,—едва ли на основаніи точныхъ наблюденій,—своего рода дыханіе и первый открылъ, что рыбы дышатъ жабрами. Вообще для него не существуетъ непреодолимой преграды между животнымъ и растительнымъ міромъ. Въ всякомъ случаѣ растенія, по его мнѣнію, могутъ испытывать чувства удовольствія и неудовольствія; онъ думалъ, что процессъ роста сопровождается у нихъ первымъ изъ этихъ чувствъ, а потеря листьевъ вторымъ. Точно такъ же не были для него „отсѣчены какъ топоромъ“ другъ отъ друга и различные виды животнаго міра, хотя его ученіе о матеріи и должно было закрывать ему вся-

кій доступъ къ эволюціонной теоріи. Его, уже упомянутая нами, похвальная склонность безъ нужды не нагромождаютъ специфическихъ особенностей ограждала его въ данномъ случаѣ отъ многихъ ошибокъ позднѣйшихъ ученыхъ. Онъ признаетъ только градаціи въ духовной одаренности, надѣляя своимъ „разумомъ“ (Nus) то въ бѣльшемъ, то въ меньшемъ количествѣ всѣ животныя безъ исключенія, какъ самыя большія, такъ и самыя малыя, какъ высшія, такъ и низшія.

4. Для характеристики Анаксагорова ученія о чувствахъ, на которомъ мы считаемъ нужнымъ остановиться, не малое значеніе имѣетъ то, что онъ признаетъ принципъ относительности лишь тамъ, гдѣ факты говорятъ сами за себя, какъ, напримѣръ, въ вопросѣ ощущенія температуры. (Всякій предметъ, напримѣръ, вода, кажется намъ тѣмъ теплѣе, чѣмъ холоднѣе рука, которая ея касается). Въ остальномъ онъ считаетъ показанія чувствъ, хотя и не совершенными въ отношеніи силы, но въ отношеніи правдивости своей не оставляющими ничего желать. Изъ ихъ показаній, по его мнѣнію, слагается вполнѣ правдивая картина внѣшняго міра. Возникшее на этомъ основаніи ученіе Анаксагора о веществѣ въ достаточной степени знакомо нашимъ читателямъ. Не мѣшаетъ намъ, однако, здѣсь еще разъ припомнить его обоснованія. Изъ слѣдующихъ двухъ предпосылокъ: „превращенія свойствъ не существуетъ“ и „вещи въ дѣйствительности обладаютъ тѣми свойствами, о которыхъ свидѣлствуютъ намъ наши чувства“, принудительно вытекаетъ заключеніе: „всякое различіе чувственныхъ свойствъ исконно, первично и неистребимо; слѣдовательно, существуетъ не одна или нѣсколько, а безчисленное множество первовеществъ“. Или, точнѣе говоря, остается только различіе между „равночастичными“ соединеніями (гомемеріями) и неравночастичными скопленіями, и совершенно исчезаетъ различіе между первичными и производными формами вещества. Этими выводами Анаксагоръ вернулся къ наивному воззрѣнію первобытнаго человѣка, отрекся отъ ученія о первовеществѣ своихъ предшественниковъ, и даже, отмѣтивъ это, сдѣлалъ шагъ назадъ по сравненію съ тѣми попытками упростить матеріальный міръ, какія были сдѣланы уже Гомеромъ и которыя мы встрѣчаемъ въ Зендъ-Авестѣ, а также въ книгѣ Бытія. Однако, аргументы, лежавшіе въ основѣ этихъ ученій, съ настойчивой силой навязывавшіе пытливому

человѣческому разуму вѣру во внутреннее сродство безчисленныхъ отдѣльныхъ тѣлъ, не были всѣмъ этимъ поколеблены. Два равноцѣнныхъ требованія, казалось, стояли враждебно и непримиримо другъ противъ друга; изслѣдованіе проблемы вещества какъ бы пошло въ тупикъ или сѣло на мель. Одно только нижеслѣдующее разсужденіе открывало дальнѣйшій путь. Предпосылки ученія о первовеществѣ были окончательно опровергнуты выведенными изъ нихъ, какъ намъ теперь извѣстно, въ корнѣ ложными и, какъ объ этомъ могли уже судить современники Анаксагора совершенно невѣроятными заключеніями. Однако же, эти предпосылки могли, не будучи вовсе ложными, быть только несовершенными. Не нужно было ихъ уничтожать,—достаточно было дополнить ихъ. Камень преткновеція могъ быть устраненъ, и можно было сохранить такъ называемый второй постулатъ ученія о веществѣ, т. е. вѣру въ качественное постоянство вещества, если бы не всѣ, а только часть чувственно воспринимаемыхъ качествъ были признаны истинно-объективными. Новое ученіе о познаніи пришло на помощь древнему ученію о веществѣ. Возможность различать между объективными и субъективными, между первичными и вторичными свойствами вещей—въ этомъ заключалось то великое умственное достиженіе, которое одно могло примирить до того времени непримиримыя требованія,—и дѣйствительно примирило ихъ. Такимъ образомъ явилась возможность подняться на новую ступень науки, несравненно болѣе высокую, хотя, конечно, еще и не высшую. Вѣчная заслуга Левкиппа состоитъ въ томъ, что онъ совершилъ это великое дѣло и этимъ вернулъ свободу запутавшемуся въ сѣтяхъ философскому умозрѣнію. Не менѣе великая заслуга Анаксагора и, какъ намъ кажется, высшее изъ совершеннаго имъ, состоитъ въ томъ, что онъ, благодаря послѣдовательности своего мышленія, не знающаго преградъ, не останавливающагося даже передъ нелѣпостью, сдѣлалъ очевиднымъ и для самаго поверхностнаго взгляда необходимость этого дополненія ученія о веществѣ.

Тѣмъ, что его такъ высоко цѣнили въ древности, Анаксагоръ, какъ это часто бываетъ, вѣроятно, не меньше обязанъ недостаткамъ, чѣмъ положительнымъ качествамъ своего ума. Традиціонность его догматизма, стойкость и неуклюжесть его мышленія, безъ сомнѣнія также и его личности, пророческая увѣренность, съ которой онъ провозглашалъ всѣ свои теоріи, среди которыхъ были и рѣзко противорѣчившія здравому смыслу,—все это, несомнѣнно

производило сильное впечатлѣніе на широкіе круги народа. Недаромъ эти качества являлись столь рѣзкой противоположностью колеблющейся неувѣренности, крайней изворотливости ума того вѣка, мышленіе котораго было такъ же насыщено сѣменами скепсиса, какъ воздухъ или вода по ученію нашего философа „сѣменами“ вещей! Но вмѣстѣ съ тѣмъ его ученіе не могло не производить и иного впечатлѣнія. Когда этотъ почтенный мудрецъ съ опредѣленностью высказывался обо вѣсѣхъ тайнахъ міра, какъ будто онъ присутствовалъ при зарожденіи космоса, когда онъ съ тономъ непогрѣшимости проводилъ самыя парадоксальныя мысли, къ которымъ слѣдуетъ отнести его ученіе о веществѣ, въ особенности когда онъ съ убѣжденностью посвященнаго рассказывалъ о другихъ мірахъ, гдѣ все якобы происходитъ совсѣмъ также, какъ и на землѣ, гдѣ не только существуютъ люди, но они также строятъ себѣ жилища, воздѣлываютъ поля, вывозятъ свои продукты на рынки и т. д., съ постоянно возвращающимся, какъ припѣвъ, увѣреніями: „совсѣмъ, какъ у насъ“,—это, конечно, не могло не вызывать невольной улыбки, и насъ не удивляетъ, когда К с е н о ф о н т ъ высказываетъ не только какъ свое личное, но и какъ широко распространенное мнѣніе, предположеніе о томъ, что великій мудрецъ былъ не въ своемъ умѣ. Со скепсисомъ его эпохи, всецѣло проникнутой броженіемъ, связывала его только равно присущая имъ рѣзкая оппозиція народнымъ вѣрованіямъ. Въ общемъ этотъ философъ, чья твердая вѣра въ чувства напинаетъ простодушіе нашихъ естествоиспытателей, столь далекихъ отъ философіи, философъ, который не проявлялъ ни малѣйшаго пониманія въ діалектическихъ тонкостяхъ и вслѣдствіе этого оставилъ безъ вниманія и, можетъ быть, даже обошелъ съ презрѣніемъ всѣ тонкія разсужденія и доказательства Зенона,—философъ, который шелъ своимъ одинокимъ путемъ съ слѣпымъ безстрашіемъ лунатика, не считаясь съ возраженіями, не поддаваясь никакимъ сомнѣніямъ и не останавливаясь ни передъ какими трудностями,—этотъ сухой, лишенный всякой поэзіи и юмора провозвѣстникъ столь же аподиктическихъ, сколь фантастическихъ ученій долженъ былъ порою казаться нѣсколько смѣшнымъ среди разносторонне одаренныхъ, до крайности подвижныхъ умовъ своего вѣка. На многихъ изъ нихъ, однако, оказало сильное вліяніе его благородное спокойствіе, его твердая увѣренность; нѣкоторые ненавидѣли его, такъ какъ имъ казалось, что онъ не въ мѣру вмѣшивается въ дѣла боговъ; другимъ, и даже очень многимъ, онъ долженъ былъ ка-

заться нѣсколько наивнымъ, если и не вовсе потерявшимъ разсудокъ. Мы же считаемъ его высоко одареннымъ дедуктивнымъ умомъ, поразительно дѣятельнымъ и изобрѣтательнымъ и въ сильной степени надѣленнымъ чувствомъ причинности;—этимъ положительнымъ качествамъ, однако, противопоставляется въ немъ крайній недостатокъ здоровой интуиціи, и крайне слабое по сравненію съ тонкостью его гипотезъ стремленіе фактически обосновывать и подкрѣплять ихъ.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

Эмпедоклъ.

Тому, кто въ наши дни посѣтитъ Джирдженти, все, шагъ за шагомъ, будетъ напоминать объ Эмпедоклѣ. Ибо для благоговѣйной памяти итальянцевъ, воспитанной непрерывностью культурной жизни, не существуетъ пограничныхъ столбовъ, размежевывающихъ періоды исторіи. Какъ мантуанцу дорогъ и памятенъ его Виргилій, какъ жителю Катаніи—его Стесихоръ, сиракузцу—его великій „согражданинъ“ Архимедъ, такъ обитатель Джирдженти (Агригентумъ, Акрагасъ) чтитъ и лелѣетъ память своего великаго соотечественника, мірового мудреца и народнаго героя, Эмпедокла. Ученики Мадзини и Гарибальди славятъ его, какъ демократа, положившаго конецъ власти аристократіи, въ теченіе трехъ лѣтъ угнетавшей Агригентумъ, и даже презрѣвшаго предложенную ему корону правителя. Эти свѣдѣнія не лишены правдоподобія. Они не противорѣчатъ всему тому, что намъ извѣстно объ обстоятельствахъ его личной жизни и объ исторіи его города. И другіе города Сициліи въ то время также были охвачены глубокой смутою. Родъ Эмпедокла принадлежалъ къ одному изъ знатнѣйшихъ въ странѣ. Когда онъ появился на свѣтъ въ девяностыхъ или, самое позднее, въ восьмидесятыхъ годахъ пятаго вѣка, родъ его процвѣталъ въ богатствѣ и могуществѣ. Одноименный ему дѣдъ его одержалъ верхъ въ ристаніи на четырехконной колесницѣ въ Олимпіи въ 496 г. Отецъ его, Метонъ, участвовалъ въ 470 г. въ низложеніи тирана Фра-

сидѣя и пріобрѣлъ руководящее значеніе среди своихъ согражданъ. Поэтому насъ не должно удивлять, если его сыну, выдающемуся какъ благородствомъ духа такъ и происхожденіемъ, были открыты всѣ пути къ царской власти. Однако же, по всей вѣроятности не одни лишь демократическія симпатіи побудили его отказаться отъ единовластія и отъ участія въ аристократическомъ правленіи; къ этому могъ подвигнуть его и мудрый расчетъ. Человѣкъ, одаренный такимъ могуществомъ мысли и слова, имя котораго стоитъ среди именъ основателей риторическаго искусства, могъ надѣяться играть болѣе значительную роль въ демократически расчлененномъ обществѣ, нежели въ узкомъ кругу равныхъ ему по происхожденію людей. Отвергнутый вѣнецъ самъ по себѣ является уже не малой причиной славы, и при томъ славы, не забрызганной кровью или грязью. И наконецъ престолъ, возникшій изъ мутныхъ волнъ революціи легко могъ снова быть захлестнутъ ими,—въ тѣ смутныя эпохи и царское достоинство не являлось вѣрной защитой отъ превратностей народной симпатіи. Частному лицу по крайней мѣрѣ не грозила кровавая месть отъ руки какого-нибудь фанатика свободы;—когда его руководство надоѣдало невѣрной толпѣ, она по просту обрекала его на изгнаніе. Такова была, повидимому, и участь Эмпедокла, который въ возрастѣ 60 лѣтъ вслѣдствіе несчастнаго случая заболѣлъ и умеръ на чужбинѣ въ Пелопоннесѣ,—конецъ, казавшійся столь недостойнымъ великаго мужа, что одни изъ его біографовъ замѣняли его пресловутымъ прыжкомъ въ пламя Этны, другіе рассказывали о томъ, какъ онъ огненнымъ видѣніемъ вознесся къ небу.

Въ дѣйствительности честолюбіе великаго гордеца жаждало большаго, чѣмъ всѣ царскіе престолы. Пышный царскій дворецъ на берегахъ „желтаго Акрагаса“ можетъ быть и манилъ его, но что значила власть надъ какими-нибудь 800.000 подданныхъ по сравненію съ незнающей себѣ предѣла ни въ числѣ, ни во времени, ни въ пространствѣ властью надъ душами, доступной лишь мудрецу, духовидцу и чудотворцу? И что значить царь по сравненію съ божествомъ? Ибо не меньшаго хотѣлъ Эмпедоклъ, возгласившій своимъ вѣрнымъ: „Я для васъ нынѣ безсмертный богъ, а не смертный человѣкъ“. Въ пурпурной одеждѣ, препоясанной золотомъ, съ жреческимъ лавромъ въ длинныхъ волосахъ, обрамляющихъ смуглое лицо его, онъ изъ края въ край проходилъ Сицилію, окруженный толпами благоговѣй-

ныхъ почитателей и почитательницъ. Тысячи, десятки тысячъ людей славили его, хватались за края его одеждъ и вымаливали у него то счастливыя предсказанія, то излѣченія различныхъ немощей и болѣзней. Онъ утверждалъ, что имѣетъ власть и надъ вѣтромъ и непогодю и можетъ повелѣвать изсушающимъ солнечнымъ зноемъ и губительными ливнями. И онъ имѣлъ на то нѣкоторыя основанія. Ему удалось избавить городъ Селинунтъ отъ свирѣпствовавшаго тамъ мора, осушивъ его почву; своему родному городу онъ далъ болѣе здоровый климатъ, пробивъ въ скалѣ проходъ, открывшій доступъ освѣжающимъ сѣвернымъ вѣтрамъ. Въ качествѣ инженера, какъ и въ качествѣ врача онъ совершилъ, быть можетъ, много великаго, и еще больше общалъ. Мнимоумершую, пролежавшую тридцать дней „безъ дыханія и пульса“, онъ вывелъ изъ ея летаргическаго состоянія. Горгій, бывший его ученикомъ, видѣлъ его „чародѣйствующимъ“, причемъ мы врядъ ли будемъ правы, приписавъ его чудесныя излѣченія одному лишь гипнозу или силѣ воздѣйствія на воображеніе больныхъ.

Не легко составить себѣ вѣрное сужденіе о человѣкѣ, въ умѣ и характерѣ котораго чистое золото подлинныхъ дарованій и заслугъ такъ странно перемѣшалось съ мишурой пустого тщеславія. Для объясненія, если не для оправданія послѣдняго, вспомнимъ особенности его соотечественниковъ, можетъ быть и его согражданъ. Страсть къ театральнымъ зрѣлищамъ и къ внѣшнему блеску, повидимому, искони была заложена въ характерѣ обитателей острова, ставшаго колыбелью реторики. Въ полуразвалившихся остаткахъ храмовъ, вѣчающихъ холмы вокругъ Джирдженти, насъ поражаетъ склонность къ эффекту, ко всему причудливому и чрезмѣрному. Еще труднѣе проникнуть до послѣдняго источника ученій Эмпедокла, которымъ недоставало безусловно строгаго единства и которыя не избѣжали обвиненія въ поверхностномъ эклектизмѣ.

2. Въ глазахъ врача, жреца, оратора, политика, создателя общепользныхъ сооружений на первомъ планѣ стоитъ человекъ. Въ силу этого мы должны искать въ Эмпедоклѣ, поскольку онъ является философомъ, скорѣе антрополога, чѣмъ космолога, и поскольку онъ изслѣдователь природы, скорѣе фізіолога, химика и физика, нежели математика и астронома. Дѣйствительность не обманываетъ эти ожиданія. Изъ двухъ по-

слѣднихъ научныхъ областей наукою о числѣ и пространствѣ агригентецъ вовсе не занимался, въ астрономію же не внесъ какихъ-нибудь выдающихся новыхъ чертъ. Напротивъ того, біологическія изслѣдованія обогатилъ онъ многими новыми, плодотворными точками зрѣнія. Главное его дѣло, однако, заключается въ ученіи о веществѣ. Врядъ ли будетъ преувеличеніемъ сказать, что съ Эмпедокломъ мы какъ бы по мановенію ока переносимся въ современную химію. Три основныя идеи этой науки впервые отчетливо выступаютъ здѣсь передъ нами: гипотеза множественности, и при томъ ограниченной множественности основныхъ элементовъ; идея соединеній, въ которыя вступаютъ между собою эти элементы; и наконецъ, признаніе многочисленныхъ количественныхъ различій или измѣнчивости пропорцій въ этихъ соединеніяхъ.

Возможно, что въ данномъ случаѣ практикъ-врачъ указалъ путь изслѣдователю умозрительной химіи. Научное предположеніе о томъ, что болѣзни возникаютъ изъ столкновенія или нарушенія правильнаго соотношенія тѣхъ неоднородныхъ веществъ, которыя заключаются въ животномъ организмѣ, встрѣчается намъ уже у Алкмеона,—слѣдовательно, приблизительно за полвѣка до Эмпедокла. Оно пользовалось общимъ признаніемъ—по крайней мѣрѣ въ медицинскихъ кругахъ—и, какъ на это ясно указываетъ однажды уже упомянутое нами сочиненіе. Полиба (ср. стр. 143), выставлялось какъ аргументъ противъ монизма въ ученіи о веществѣ. Но и помимо этого, монизмъ вообще оказался безсильнымъ доставить точное объясненіе явленій природы. Между тѣмъ, чѣмъ дальше шло изслѣдованіе природы, тѣмъ больше стремились изслѣдователи, какъ это и естественно, перейти отъ смутныхъ обобщеній къ исчерпывающему детальному изученію. Какъ только неопредѣленный, не опирающійся ни на точное знаніе фактовъ, ни на строгую мысль трансформизмъ старшихъ іонійцевъ (изъ числа которыхъ мы должны исключить Анаксимена) былъ признанъ недостаточнымъ, дѣйствительно не оставалось ничего другого, какъ свести множественность феноменовъ къ первичной множественности міра матеріи. Въ то время, какъ старшій современникъ и, до нѣкоторой степени, единомышленникъ нашего философа, Анаксагоръ, такъ сказать, выбросилъ ребенка вмѣстѣ съ ванной, т. е. отказался отъ какого бы то ни было различенія между элементомъ и производнымъ веществомъ, и въ этомъ отношеніи возвратился къ младенческому состоянію человѣческой мысли,

Эмпедоклъ предпринялъ въ наукѣ не столь рѣзкое и насильственное измѣненіе. Отказавшись отъ единой стихіи, онъ не отказался отъ ученія о стихіяхъ вообще. Возможно, что школа практической политики научила его дѣлать компромиссъ и счастливо предохранила отъ опасности категорической альтернативы (единая первостихія—или вообще нѣтъ первостихій). Для того, чтобы получить множественность первостихій, достаточно было слить между собою ученія Фалеса, Анаксимена и Гераклита, или, вѣрнѣе, лежація въ основѣ ихъ безсознательныя начала народной физики, и слѣдуя по стопамъ этой послѣдней, присоединить къ водѣ, воздуху и огню еще и землю. Созидающія и одержащія міръ „четыре стихіи“, сохранившіяся теперь только въ народной рѣчи, да еще въ поэзи, имѣютъ за собою длинную и славную исторію. Авторитетъ Аристотеля, включившаго ихъ въ свое ученіе о природѣ, на вѣка сохранилъ значеніе за этой доктриной и наложилъ на нее печать нерушимаго догмата. Тѣмъ не менѣе она съ самаго начала была лишена всякаго внутренняго обоснованія. Ясно, что она опирается на грубое смѣшеніе, ибо безъ дальнѣйшихъ доказательствъ видно, что она въ послѣднемъ счетѣ сводится къ различенію трехъ способовъ сдѣлленія, выражающихся въ состояніи твердомъ, жидкомъ и разсѣянномъ, т. е. иначе говоря, трехъ основныхъ состояній, въ придачу къ которымъ, на равныхъ съ ними правахъ, присоединено было простое явленіе, ослѣпляющій чувства побочный феноменъ процесса горѣнія. Основные формы всего матеріальнаго міра заняли здѣсь мѣсто простѣйшихъ и единственныхъ основныхъ веществъ.

Тѣмъ не менѣе неизмѣрима была значительность этого ученія. Исторія науки не всегда оцѣниваетъ мѣриломъ объективной истинности. Какая-нибудь теорія можетъ быть совершенно истинной, но вмѣстѣ съ тѣмъ, появившись въ неблагоприятную, подготовительную стадію человѣческой мысли, она остается безплодной и непроизводительной; другая теорія можетъ быть совершенно ложной—и все же въ извѣстной фазѣ развитія она оказывается необычайно благотворной для прогресса познанія. Къ первой категоріи принадлежитъ,—по отношенію къ вѣку, о которомъ мы говоримъ, и даже для многихъ послѣдующихъ вѣковъ,—ученіе объ одной первичной матеріи; ко второй—по отношенію къ тому же и къ ближайшимъ слѣдующимъ вѣкамъ,—ученіе о четырехъ стихіяхъ. Нужды нѣтъ, что ни одна изъ нихъ въ дѣйствительности не есть первичная стихія, элементъ, что даже та изъ нихъ, которая всего

болѣе заслуживаетъ этого названія, т. е. вода, также является составнымъ тѣломъ, тогда какъ земля и воздухъ суть лишь названія для безчисленныхъ, частью простыхъ, частью сложныхъ тѣлъ, и притомъ названія, обнимающія собою лишь одну изъ многихъ формъ ихъ проявленія, не говоря ужъ о той небылицѣ, которою является „стихія огня,“—тѣмъ не менѣе эта лженаука была какъ бы личинкою, изъ которой могла впоследствии выйти истинная наука. Былъ данъ какъ бы образецъ, воплотившій собою основы искусства анализа, образецъ, съ помощью котораго эти основы впервые могли развиваться. Если бъ для созданія понятія элемента и сложнаго тѣла наука дожидалась того времени, когда въ распоряженіи ея оказались бы истинные элементы и истинныя соединенія ихъ, ей во вѣки не дождался этого, ибо лишь ложными путями можно было достигнуть истины въ ученіи о веществѣ, такъ же, какъ и въ астрономическихъ ученіяхъ (срв. стр. 101). Во всякомъ случаѣ мысль Эмпедокла была столь же истинна, сколь ложно было примѣненіе ея. Не говоря уже о томъ, что онъ, подобно вѣмъ своимъ предшественникамъ, не признавалъ ни возникновенія, ни уничтоженія, но и относительно утвержденій, являющихся обратной стороною этихъ отрицаній, у него были болѣе ясныя идеи, чѣмъ у кого-либо изъ нихъ. Подобно Анаксагору во всякомъ мнимомъ возникновеніи онъ въ дѣйствительности видитъ „лишь смѣшеніе“, въ мнимомъ исчезновеніи—распаденіе этого смѣшенія. Но онъ знаетъ и признаетъ также и тотъ фактъ, что чувственныя свойства соединеній зависятъ отъ характера соединенія. Онъ сообщаетъ это открытіе прежде всего посредствомъ необыкновенно краснорѣчиваго многозначительнаго сравненія. Чтобы объяснить безконечное многообразіе свойствъ, являемыхъ міромъ вещей нашимъ чувствамъ, онъ напоминаетъ о томъ процессѣ, который постоянно совершается на палитрѣ художника. Свои четыре основныя стихіи сравниваетъ онъ съ четырьмя основными красками, которыми пользовалась живопись его времени и изъ послѣдовательныхъ смѣшеній которыхъ получились безчисленные цвѣта и нюансы ихъ. На это можно съ правомъ возразить, что это только сравненіе, а не объясненіе. Однако же это сравненіе уже заключаетъ въ себѣ элементы объясненія. Прежде всего намъ дана здѣсь идея о томъ, что простое количественное различіе въ соединеніи двухъ или больше тѣлъ является основаніемъ качественнаго различія чувственныхъ свойствъ составнаго тѣла. Намъ нѣтъ нужды сложными умоза-

ключеніями доказывать, что нашъ философъ дѣйствительно раздѣлялъ этотъ взглядъ, такъ какъ это можетъ быть непосредственно показано на основаніи подлинныхъ источниковъ. Онъ сдѣлалъ попытку—въ частностяхъ своихъ довольно фантастическую—свести всѣ особенности различныхъ составныхъ частей животнаго организма главнымъ образомъ къ количественному различію ихъ химическаго состава. Такъ, напр., мясо и кровь состоятъ изъ равнаго—по вѣсу, а не по объему—количества частей четырехъ стихій; кости же заключаютъ въ себѣ $\frac{1}{2}$ огня, $\frac{1}{4}$ земли и $\frac{1}{4}$ воды. Несомнѣнно, что онъ дѣлалъ самое широкое примѣненіе этого объясняющаго принципа. Иначе какъ могъ бы онъ такъ убѣжденно настаивать на зависимости чувственныхъ свойствъ отъ способа соединенія составныхъ тѣлъ, какъ это явствуетъ, напримѣръ, изъ вышеприведеннаго примѣра? Сами по себѣ четыре основныхъ стихіи даютъ лишь очень малое число возможныхъ комбинацій, а именно одну четверную, четыре тройныхъ и шесть двойныхъ. Но какъ только каждая изъ стихій вступаетъ въ соединенія въ различныхъ пропорціяхъ, число возможныхъ комбинацій тотчасъ же возрастаетъ до безконечности, и въ такомъ случаѣ этотъ принципъ дѣйствительно оказывается способнымъ объяснить все неисчерпаемое разнообразіе тѣлъ. Прежде чѣмъ идти дальше, напомнимъ еще разъ о томъ, что здѣсь мы имѣемъ передъ собою одно изъ изумительнѣйшихъ предвосхищеній современной науки. Какія только задачи ни разрѣшала въ химіи девятнадцатаго вѣка со времени Дальтона теорія пропорцій и эквивалентовъ! Особенное значеніе приобрѣла она въ области органической химіи, къ четыремъ главнымъ элементамъ которой (С Н О N) буквально примѣнимъ почерпнутый изъ античной живописи примѣръ четырехъ основныхъ красокъ, въ особенности въ послѣднее время, когда новѣйшія изслѣдованія установили, что число атомовъ, входящихъ напр. въ бѣлковыя вещества, доходитъ до нѣсколькихъ сотъ.

3. Неизмѣнность природы основныхъ тѣлъ наряду съ измѣнчивымъ многообразіемъ сложныхъ образованій—на этой идеѣ Эмпедокль совершенно сходится съ современнымъ химикомъ. Однако, изъ двухъ обосновывающихъ эту идею научныхъ положеній, мы можемъ съ увѣренностью приписать ему лишь одно изъ нихъ, а именно изложенное выше воззрѣніе на значеніе количественнаго соотношенія простыхъ тѣлъ, входящихъ въ

составъ сложнаго. Знаніе же другого, и еще болѣе значительнаго факта, а именно того, что свойства сложнаго тѣла обусловливаются его строеніемъ, т. е. положеніемъ и движеніемъ его частицъ, и что тѣла, различныя въ этомъ отношеніи, производятъ въ связи съ этимъ и различное дѣйствіе на другія тѣла, между прочимъ на наши органы чувствъ,—этого знанія, или этой гипотезы онъ во всякомъ случаѣ опредѣленно не высказывалъ. И все же, нѣчто подобное онъ долженъ былъ предполагать или же вообще ему нужно было отказаться отъ всякаго пониманія того явленія, что стихіи въ своихъ соединеніяхъ, говоря его словами, „проникая другъ черезъ друга, являютъ измѣненный ликъ“. Мы также вовсе не находимъ у него столь неизбѣжнаго въ этой связи признанія и оцѣнки той роли, которую играетъ въ нашихъ чувственныхъ воспріятіяхъ субъективный факторъ. Однако онъ подходитъ къ этому признанію ближе, чѣмъ кто либо изъ его предшественниковъ,—за однимъ, впрочемъ, исключеніемъ. Это исключеніе составляетъ самостоятельный мыслитель и изслѣдователь, принадлежавшій къ пиеагорейскимъ кругамъ, Алкмэонъ, заслуги котораго долгое время не достаточно оцѣнивались. У него мы впервые встрѣчаемъ указаніе на субъективные феномены чувствъ. Къ нему примыкалъ, какъ это легко доказать, и нашъ великій мудрецъ. Подобно Алкмэону, и только ему одному, онъ представляетъ себѣ внутренность глаза въ преобладающемъ количествѣ состоящую изъ огня и воды. Основываясь на этомъ, онъ сравниваетъ строеніе глаза съ устройствомъ фонаря. Прозрачнымъ стѣнкамъ, защищающимъ пламя отъ задувающаго его вѣтра соотвѣтствуютъ въ глазу тонкія пленки, покрывающія собою часть огненное, частью влажное содержимое глазной полости. Здѣсь выступаетъ принципъ, по всей вѣроятности опирающійся на аналогію изъ области чувства осязанія и сопротивленія и утверждающій, что подобное познается подобнымъ. Соотвѣтственно этому, огненные составныя части глаза служатъ для познанія внѣшняго огня, водяныя же—для познанія воды, причемъ эти двѣ стихіи являются какъ бы типами свѣтлаго и темнаго. Актъ воспріятія происходитъ такимъ образомъ, что при приближеніи исходящихъ отъ тѣлъ огненныхъ или водяныхъ истеченій, имъ навстрѣчу выступаютъ изъ воронкообразныхъ глазныхъ поръ соотвѣтственныя огненные или водяныя частицы. Это выступленіе обусловливается взаимнымъ притяженіемъ всего однороднаго; происходящія же внѣ глаза, но вѣроятно на самой

поверхности его, касанія частицъ, извнѣ проникающихъ въ поры и тѣхъ, которыя выступаютъ изнутри, и порождаютъ собою воспріятіе. Такимъ образомъ, актъ зрѣніе разсматривается какъ нѣкое оцупываніе свѣтлага свѣтлымъ и темнаго темнымъ. Поэтому, въ зависимости оттого, которою изъ этихъ двухъ стихій обладаетъ глазъ различныхъ породъ животныхъ и различныхъ индивидуумовъ въ меньшемъ, т. е. недостаточномъ количествѣ,—въ зависимости отъ этого оказывается онъ болѣе приспособленнымъ воспринимать цвѣтотыя впечатлѣнія и, слѣдовательно, лучше видѣть при дневномъ свѣтѣ или же въ сумеркахъ. Какъ ни грубо и ни произвольно это представленіе о механизмѣ и процессѣ зрительныхъ воспріятій, какъ ни несовершенно объясняетъ оно даже то, что ставитъ себѣ задачей объяснить и, наконецъ, какъ ни многочисленны вопросы, на разрѣшеніе которыхъ оно и не претендуетъ,—все же въ одной заслугѣ нельзя ему отказать. Оно является,—хотя еще столь несостоятельною,—все же попыткою объяснить воспріятіе съ помощью посредствующихъ процессовъ (ср. стр. 169), и при томъ попыткой, отводящею извѣстную, сперва, правда, незначительную роль субъективному фактору, и, вслѣдствіе этого служащаго этапомъ пути, конечной цѣлью котораго является признаніе того, что наши чувственные воспріятія ни въ коемъ случаѣ не суть простыя отображенія внѣ насъ находящихся объективных свойствъ вещей. Теорія эта не отрицаетъ также нѣкотораго значенія и за основоположеніемъ релятивизма. Ибо не только большее присутствіе огненной или водной стихіи въ каждомъ глазу объясняетъ собою, какъ уже было указано, различіе воспріятій, но и самая форма и величина его поркъ должна была при этомъ, какъ и при другихъ чувственныхъ впечатлѣніяхъ, способствовать или же препятствовать вхожденію „истеченій“. Лишь соотвѣтствующія порамъ истеченія признаются Эмпедокломъ познаваемыми. Такимъ образомъ, и эта ложная теорія пролагала путь правильному взгляду на природу чувственнаго воспріятія. Человѣческая мысль постепенно отдалялась отъ той точки зрѣнія, которая не оставляла иного выбора, какъ слѣпое принятіе или не менѣе слѣпое отрицаніе показаній чувствъ. Эти послѣднія все больше освобождались отъ вѣхъ примѣсей, простекающихъ отъ индивидуальныхъ или временныхъ различій во впечатлѣніяхъ; область познанія, вырастающая изъ этого источника, одновременно и ограничивалась въ своемъ значеніи и,

вмѣстѣ съ тѣмъ, въ предѣлахъ этихъ границъ дѣлалась все достовѣрнѣе.

4. Достоинства и недостатки, присущія изслѣдованіямъ Эмпедокла по физиологіи чувствъ, свойственны и другимъ его теоріямъ, относящимся къ той же области. Всѣ онѣ направлены къ тому, чтобы свести физическіе и душевные процессы жизни чело-вѣка, животнаго и растенія къ общимъ процессамъ природы. Пограничные столбы между органическимъ и неорганическимъ, между сознательнымъ и безсознательнымъ должны быть снесены, или, вѣрнѣе, ихъ не нужно возводить. Это вѣщее прозрѣніе единства всей жизни природы и духа составляетъ силу и вмѣстѣ съ тѣмъ слабость Эмпедокла. Слабость потому, что его всеобъемлющія обобщенія не столько покоятся на доказательствѣ присутствія однороднаго въ разнородномъ, сколько на простомъ игнорированіи различій, и, наконецъ, потому, что все это предпріятіе было если и не болѣе, то во всякомъ случаѣ столь же грубо и преждевременно, какъ родственныя ему усилія Анаксагора (срв. стр. 186). Очевидно на мысль Эмпедокла оказало сильнѣйшее впечатлѣніе наблюденіе того, что подобное взаимно притягиваетъ другъ друга. Способствовать упроченію такого убѣжденія могли какъ массовыя скопленія однородныхъ веществъ (воздухъ, земля, облака, море), такъ и параллельное этому заимствованное изъ соціальной жизни и вошедшее въ Греціи въ поговорку наблюденіе, что „равный соединяется съ равнымъ“. Напротивъ того, на взаимопряженіе, основанное на различіи половъ, въ то время обращалось мало вниманія, а противорѣчащія этому основоположенію явленія природы, въ наше время знакомыя всякому и почерпнутыя, главнымъ образомъ, изъ ученія объ электричествѣ, и вовсе были неизвѣстны. У Эмпедокла этотъ мнимо-универсальный законъ природы всюду и всегда находитъ себѣ примѣненіе. Идетъ ли рѣчь о ростѣ растенія или происхожденіи человѣческаго рода, объясненіе того и другого сводится къ тому, что находящійся въ нѣдрахъ земли огонь стремится къ вышнему огню и черезъ это выгоняетъ на земную поверхность какъ растеніе, такъ и еще не оформленный, состоящій изъ земли и воды человѣческой зародышъ. Возникаетъ ли вопросъ о дыханіи животныхъ—и въ этомъ случаѣ объясненіе сводится къ тому, что заключающійся въ организмѣ огонь, движимый тѣмъ же стремленіемъ, выталкиваетъ обволакивающій его воздухъ и этимъ

производить выдыханіе. Преобладаніе одного изъ элементовъ, одной изъ стихій у различныхъ породъ животныхъ опредѣляетъ собою какъ ихъ различныя свойства, такъ даже—сообразно все тому же основному принципу—избираемая ими для жизни стихія: такъ насыщенный воздухомъ животныя стремятся къ воздуху, богатая водою—къ водѣ и богатая землею—къ землѣ. То, что равное познается равнымъ, является общей нормою, примѣняющей не только, какъ мы видѣли, къ чувственному воспріятію, но и къ мышленію въ собственномъ смыслѣ слова. Та потребность въ восполненіи равнаго равнымъ, съ которою мы встрѣтились въ теоріи зрительнаго воспріятія, лежитъ въ основѣ всякаго другого влеченія, напр. потребности въ питаніи, и объясняетъ собою, эмоцію удовольствія, наступающую при удовлетвореніи, и неудовольствія—при неудовлетвореніи этого влеченія. Какъ бы ни были односторонни и даже порою фантастичны эти теоріи, мы не можемъ не признать за ними нѣкотораго величія, напоминающаго мірообъемлющую широту гераклитовской мысли. Однако, всегда испытываешь облегченіе, когда однотонность этихъ объясненій прерывается подлиннымъ, хотя бы и искаженнымъ въ угоду теоріи, наблюденіемъ природы. Такимъ наблюденіемъ или вѣрнѣе истинной, полученной съ помощью эксперимента, Эмпедоклъ объясняетъ явленіе дыханія кожи или испарины. Онъ указываетъ на то, что если, плотно заткнувъ пальцемъ обращенное къ низу отверстіе пустого сосуда, опустить его въ воду, то онъ и послѣ удаленія пальца не наполнится водою, тогда какъ при другихъ условіяхъ вода тотчасъ же хлынетъ въ сосудъ и до краевъ наполнитъ его. Ему совершенно ясно, что въ первомъ случаѣ вхожденіе водѣ заграждаетъ воздухъ, наполняющій собою сосудъ и задержанный въ немъ пальцемъ. Подобно этому, въ тѣло только тогда можетъ проникнуть внѣ его находящійся воздухъ, когда кровь отливаешь отъ поверхности его и приливаетъ къ внутреннимъ органамъ. Правильная смѣна, въ которой совершается этотъ отливъ, обуславливаетъ собою столь же правильное дыханіе кожи, происходящее посредствомъ поръ.

Какъ ни велико было вліяніе, приписываемое Эмпедокломъ этому мнимо универсальному принципу природы—притяженію равнаго равнымъ—онъ во всякомъ случаѣ не могъ признать его единственнымъ парящимъ въ мірѣ закономъ. Ему противостоялъ,—ослабляя и ограничивая его, въ этомъ Эмпедоклъ не могъ сомнѣваться—противоположный принципъ, стремленіе къ разъеди-

ненію однороднаго и къ соединенію разнороднаго. Иначе какъ могли бы возникнуть и утвердиться органическія существа,—такъ долженъ былъ бы онъ себя прежде всего спросить,—ибо въ каждомъ изъ нихъ многія, если не всё четыре стихіи соединены въ одно цѣлое? Нынѣшнее состояніе міра являетъ собою какъ бы компромиссъ обоихъ основныхъ устремленій,—такъ въ образованіи всякой особи сказывается господство второго устремленія, тогда какъ въ ея питаніи (согласно изложенной выше Эмпедокловой теоріи его), какъ и въ конечномъ распаденіи ея, снова возвращающемъ землю землѣ, воздухъ воздуху и т. д., непреложно проявляется первое устремленіе. Теперь припомнимъ, что уже Анаксимандръ, также какъ и Анаксагоръ, учили, что распаденіе вещества или раздѣленіе стихій произошло во времени и что ему предшествовало состояніе совершенной вещественной однородности или полнѣйшей смѣшанности и взаимопроникновенія отдѣльныхъ веществъ. Если Эмпедоклъ—въ силу ли преемственности или собственныхъ размышленій—прочно держался за эту гипотезу, то онъ неминуемо долженъ былъ въ своемъ разсужденіи дойти до той точки времени, когда одна изъ двухъ основныхъ тенденцій міровой жизни господствовала безраздѣльно и взаимопротяженіе подобнаго было совершенно подавлено противоположнымъ принципомъ, взаимопротяженіемъ не-подобнаго. Въ такомъ случаѣ, нѣкій законъ архитектуроники мысли какъ бы настойчиво требовалъ, чтобъ и первому, еще болѣе мощному принципу, былъ также предоставленъ періодъ неограниченнаго единовластія. И если, наконецъ, выше (см. стр. 121 и сл.) столь пространно изложенныя основанія побуждали Эмпедокла не менѣе, чѣмъ Анаксимандра, Гераклита и по крайней мѣрѣ часть пифагорейцевъ, признать міровой процессъ циклическимъ, въ такомъ случаѣ смѣна этихъ двухъ эпохъ должна была представляться ему не однократною, а вѣчно сызнова повторяющеюся, вѣчно обновляющеюся смѣною міровыхъ періодовъ. И онъ дѣйствительно училъ такой смѣнѣ, факторовъ которой видѣлъ въ двоицѣ или парѣ взаимопротивоположныхъ силъ, попеременно одерживающихъ верхъ и этимъ достигающихъ временнаго полновластія. Эти правящія веществомъ потенціи онъ называетъ „дружбою“ и „раздоромъ“, причемъ первая собираетъ и единитъ разнородное, тогда какъ второй, когда наступаетъ его пора, снова уничтожаетъ его единеніе и предоставляетъ стихіямъ слѣдовать изначала присущему имъ стремленію объединять одно-

родное Не внезапно, не единымъ взмахомъ вытѣсняетъ одна изъ этихъ силъ другую, — наоборотъ, въ каждый изъ смѣняющихся другъ друга періодовъ обѣ онѣ борются между собой. То одна изъ нихъ, то другая является той восходящею силой, которая въ медленной борьбѣ постепенно ослабляетъ, и въ концѣ концовъ одолеваетъ другую. За конечной побѣдой, однако, снова слѣдуетъ нисхождение и пораженіе, вызываемое постепеннымъ усиленіемъ побѣжденной противной силы. Такимъ образомъ, въ этомъ приливѣ и отливѣ Эмпедокль различаетъ какъ бы два гребня волны и двѣ ложбины между волнами: побѣду „дружбы“ и возрастаніе „раздора“, побѣду „раздора“ и возрастанія „дружбы“. Если, какъ мы надѣемся, наше изложеніе правильно намѣтило исходную точку системы нашего философа, то мы должны будемъ отнести этотъ еще недостаточно освѣщенный нами элементъ ея, постепенность перехода! отъ преобладанія одной силы къ преобладанію другой на счетъ его глубокаго проникновенія въ природу, благодаря которому все внезапное и лишенное промежуточныхъ ступеней казалось ему неправдоподобнымъ, длительность же и постепенность всего совершающагося являлось ему основнымъ закономъ мірового процесса. Первая изъ этихъ вершинъ, господство „дружбы“, характеризуется состояніемъ, которое можетъ быть приравнено къ первичному „смѣшенію“ Анаксагора и къ его аналогіи у Анаксимандра. Необозримый шаръ обнимаетъ собою все до полнѣйшей неразличимости смѣшанныя и слившіяся стихіи. Противоположную картину являетъ собою господство „раздора“, почти совершенно раздѣляющее четыре основныхъ вещества и собирающее основную массу каждаго изъ нихъ въ нѣкоторое самостоятельное единство. Органическая жизнь, привлекавшая наибольшее вниманіе агригентца, не можетъ ни возникнуть, ни процвѣтать ни на одной изъ этихъ вершинъ. Ибо всякій организмъ слагается изъ многихъ, въ пзмѣняющихся пропорціяхъ соединенныхъ стихій, которыя во внѣшнемъ мірѣ, изъ котораго онъ черпаетъ себѣ питаніе, хотя и находятся, частью по крайней мѣрѣ, съ состояніи разъединенія (мы сказали бы, въ легко разложимыхъ соединеніяхъ), но должны быть способны и на соединеніе между собою. Первое изъ этихъ условій отсутствуетъ на первой изъ упомянутыхъ высшихъ точекъ, послѣднее — на второй. Объединенными находимъ мы эти два условія лишь на двухъ промежуточныхъ или переходныхъ ступеняхъ, раздѣляющихъ оба полюса космической эволю-

ціи. Такимъ образомъ органическая жизнь зарождается и упрочивается лишь въ узловыхъ пунктахъ перекрещивающихся теченій, въ средоточіи обѣихъ ложбинъ между гребнями волнъ; и всякій разъ, какъ одно или другое изъ восходящихъ движеній достигаетъ своей вершины и цѣли,—она гибнетъ и исчезаетъ.

5. Мы коснемся лишь въ краткихъ чертахъ частныхъ космологіи Эмпедокла. Ни положительныя, ни отрицательныя стороны ея не оказали реального воздѣйствія на будущее; къ тому же свѣдѣнія наши въ этой области очень неполны. Такъ напримѣръ, даже основной вопросъ о формѣ земли—шарообразной или барабановидной—можетъ быть рѣшенъ нами лишь съ нѣкоторымъ вѣроятіемъ. Подобно Анаксагору Эмпедокль считалъ, что донынѣ устроена и стала космосомъ лишь нѣкоторая часть первичной массы вещества. Тѣснѣйшее единеніе и взаимопроникновеніе веществъ, наступившее ко времени возобладанія „дружбы“, являетъ намъ ихъ въ формѣ неподвижнаго „шара“, разсматриваемаго какъ личное, блаженное существо (Sphairos). Раздѣленіе веществъ началось, какъ повѣствуетъ одинъ стихъ Эмпедокла, съ отдѣленія „тяжелаго“ отъ „легкаго“. Можно съ большой вѣроятностью предположить, что механическимъ агентомъ при этомъ процессѣ явилось вращательное движеніе, которое собрало все наиболѣе тяжелое, а именно перемѣшанное съ водою вещество земли въ центрѣ этого вращенія, т. е. въ томъ мѣстѣ, которое является нашей нынѣшнею обителью. Остается невыясненнымъ первый толчекъ, который вызвалъ это движеніе, охватившее „одинъ за другимъ всѣ члены божества“. Вверхъ поднялась часть воздуха, и прежде всего огонь. Подъ дѣйствіемъ огня воздухъ затвердѣлъ, какъ бы остеклѣлъ въ формѣ кристаллическаго небснаго свода. Въ оставшейся и застывшей въ неподвижности срединной массѣ длящееся движеніе, порожденное первичнымъ вращеніемъ, вытѣсняло изъ земли находящуюся въ ней воду въ граничащія съ нею предѣлы, въ то время какъ небесный огонь въ свою очередь посредствомъ процесса испаренія извлекалъ изъ моря, этой „испарины земли“, страннымъ образомъ затерявшіяся въ немъ частицы воздуха. Но почему же земля стоитъ неподвижно и, главное, почему она не падаетъ внизъ? На этотъ вопросъ мудрецъ изъ Агригента отвѣчаетъ умозаключеніемъ по аналогіи, которое хотя и вызываетъ въ насъ изумленіе передъ живостью и подвижностью

его фантазіи, умѣющей связать между собой самое отдаленное, но нисколько не убѣждаетъ насъ. Размышляя о причинахъ мнимой неподвижности земли, онъ вспоминаетъ одинъ фокусъ, столь же популярный въ ярморочныхъ балаганахъ древняго міра, какъ и въ современныхъ. Наполненные водой или какой-либо другой жидкостью кубки прикрѣпляются къ проволокамъ такимъ образомъ, что ихъ верхъ обращенъ внутрь, а низъ—наружу, и затѣмъ эту проволоку вращаютъ по кругу, причѣмъ вода не проливается изъ кубковъ. Эмпедоклъ увидѣлъ здѣсь разрѣшеніе стоявшей передъ нимъ загадки. При самомъ быстромъ круговращеніи кубковъ находящаяся въ нихъ вода не проливается,—при самомъ быстромъ круговращеніи неба не падаетъ находящаяся въ центрѣ его земля: эта аналогія совершенно удовлетворяла его, тогда какъ намъ это сравненіе кажется весьма страннымъ и на первый взглядъ даже вовсе неподходящимъ. Вѣдь мы знаемъ, что въ данномъ опытѣ ничто иное, какъ центробѣжная сила приковываетъ жидкость къ дну кубка и противодѣйствуетъ ея стремленію вылиться. Между тѣмъ центробѣжная сила не могла бы здѣсь играть никакой роли, еслибъ самая жидкость не вращалась вмѣстѣ съ кубкомъ, заключающимъ ее. Какимъ же образомъ можно было (такъ спрашиваемъ мы въ удивленіи) сравнивать относительный покой жидкости съ мнимымъ абсолютнымъ покоемъ земли? Но Эмпедоклъ былъ лишенъ яснаго пониманія закона причинности, и ему казалось, что какъ въ одномъ, такъ и въ другомъ случаѣ „быстрѣйшее“ круговращеніе побѣждало меньшую силу и быстроту стремленія къ паденію. Это ложное объясненіе крайне характерно для той поспѣшности и неразборчивости, съ которой пылкій сициліецъ отовсюду выискивалъ и набиралъ сравненія, и для всего его образа мысли, отличающагося скорѣе шириной, нежели глубиной. Смѣну дня и ночи онъ объяснялъ обращеніемъ неба, состоящаго изъ двухъ полушарій, одного—темнаго, и другого—свѣтлаго. Солнце не обладаетъ самостоятельнымъ свѣтомъ, оно есть стекловидное тѣло, собирающее и отражающее свѣтъ ээира (возможно, что въ этомъ утвержденіи Эмпедоклъ шелъ впереди младшихъ пифагорейцевъ, ср. стр. 105). Вмѣстѣ съ Анаксагоромъ онъ училъ, что луна заимствуетъ свой свѣтъ у солнца и вмѣстѣ съ нимъ же онъ правильно объяснялъ затменіе обоихъ свѣтилъ. Вмѣстѣ съ Алкмеономъ онъ отличалъ свободно движущіяся небесныя тѣла отъ неподвижныхъ звѣздъ, прикрѣпленныхъ къ небесному своду. Мы не будемъ останавли-

ваться на его частью правильныхъ, частью, хотя и ложныхъ, но все же остроумныхъ объясненійхъ метеорологическихъ явленій, и обратимся къ его глубокимъ теоріямъ, касающимся органической жизни и ея происхожденія.

6. Мы недостаточно освѣдомлены о томъ изъ двухъ способовъ возникновенія органическихъ существъ, который получается какъ слѣдствіе раздѣленія стихій. Намъ уже пришлось упомянуть о единственномъ относящемся сюда замѣчаніи, касающемся происхожденія безформенныхъ комьевъ, изъ которыхъ впоследствии возникли люди. Болѣе полны наши свѣдѣнія относительно протекающаго подъ знакомъ „дружбы“ образованія растительнаго и животнаго міра, постепенно восходящаго все къ большому совершенству. Первый предшествуетъ второму и относится къ періоду, въ которомъ еще не существовалъ нынѣшній наклонъ земной оси (это намъ снова напоминаетъ Анаксагора). Руководящей мыслью зоогоніи Эмпедокла, хотя и фантастической, но не лишенной нѣкотораго научнаго значенія, также является увѣренность въ томъ, что менѣе совершенное предшествуетъ болѣе совершенному. Сперва возникли изъ почвы отдѣльные члены: „головы безъ шеи и безъ туловища“, „руки, у которыхъ не было плечъ“, „глаза безъ лица“. Узы „дружбы“ соединили воедино многія изъ этихъ какъ бы раздробленныхъ созданій, другія же продолжали блуждать въ одиночку, не приставая къ „берегу жизни“ и не основываясь на немъ. Это объединеніе создало не мало чудесныхъ и чудовищныхъ формъ: существа „двухголова и съ двумя торсами“, „человѣческія существа съ головами быковъ“ „тѣла быковъ, съ человѣчьей головой“ и т. д. Эти чудовищныя порожденія, однако, вскорѣ исчезли, также какъ и первичные отдѣльные члены; лишь внутренне слившіяся комбинаціи оказались жизнеспособными, утвердились и путемъ рожденія себѣ подобныхъ упрочили свое существованіе. Кто не узнаетъ здѣсь дарвиновскую мысль о „переживаніи наиболѣе приспособленнаго“? Приходится признать, что здѣсь мы видимъ передъ собою хотя и необычайно грубую, но все же небезинтересную попытку объяснить естественнымъ путемъ загадку цѣлесообразности, царящей въ органическомъ мірѣ. Феномены растительной и животной жизни являются той областью, въ которой всего охонѣ бродитъ изслѣдующая мысль сицилійскаго мудреца. Геніальныя догадки переплетаются здѣсь съ вспышками ребяче-

скаго нетерпѣнія, мечтающаго съ налета сорвать съ природы ея покрывало и не прошедшаго и азбуки въ школьѣ отреченія. Къ первымъ принадлежитъ замѣчаніе: „одно и то же есть волосъ, листва и густое опереніе птицъ“;—эта мысль, дѣлающая Эмпедокла предшественникомъ Гете въ области сравнительной морфологіи, является вмѣстѣ съ тѣмъ второю, и въ древности столь же мало использованною основой для будущей теоріи происхожденія видовъ. Ко второй категоріи принадлежатъ фантастическія попытки объяснить тайну зачатія, рожденіе дѣтей мужского и женскаго пола, сходство ихъ съ отцомъ и матерью, зачатіе двойни и тройни, такъ называемый испугъ женщины, возникновеніе уродовъ, бесплодіе муловъ и т. д., и до нѣкоторой степени толкованіе явленія сна, какъ частичнаго, и смерти, какъ полнаго охлажденія крови.

Намъ уже приходилось указывать на тѣсную связь ученія Эмпедокла о веществѣ съ его ученіемъ о познаніи. Уже изъ положенія, что подобное познается подобнымъ, что „землю познается земля, водою—вода, божественный эфиръ—эфиромъ, огнемъ—истребляющій огонь“, можно заключить, что сама матерія представлялась ему одаренной сознаниемъ и что онъ не проводилъ рѣзкой грани между царствомъ одушевленнаго и неодушевленнаго. И дѣйствительно таково было убѣжденіе Эмпедокла. Не однимъ только растеніямъ приписывалъ онъ, подобно Анаксагору, способность ощущенія, но всему безъ исключенія:—„все обладаетъ способностью мышленія, все причастно разумности“,—такъ учитъ онъ. Отсюда ясно, какъ неправы тѣ, кто, вслѣдствіе введенія имъ двухъ нематеріальныхъ силъ, опредѣляющихъ собою смѣну міровыхъ періодовъ, поверженно отдѣляли его отъ его предшественниковъ, гилозоистовъ, и даже хотѣли представить его ихъ принципиальнымъ противникомъ. Правда, это введеніе вноситъ въ его систему зародышъ дуализма, который, однако, не пустилъ въ ней глубокихъ корней и не получилъ развитія. Ибо наряду и надъ этими двумя, попеременно достигающими господства силами царить,—какъ уже извѣстно читателю,—нѣкоторая, присущая самому веществу, воистину универсальная природная сила, тяготѣніе подобнаго къ подобному. И, наконецъ, еще эта приписываемая матеріи мыслительная способность и всеобщая, не знающая исключенія, одаренность сознаниемъ! Въ силу этого мы имѣемъ право называть его ученіе усиленнымъ гилозоизмомъ. Зерно его заключается болѣе, чѣмъ въ

оживленіи вещества,—въ одухотвореніи его. Слѣдуетъ упомянуть вотъ еще о чемъ: еслибъ онъ мыслилъ матерію какъ нѣчто косное и мертвое, повинующееся лишь внѣшнимъ толчкамъ и не обладающее самочиннымъ побужденіемъ къ движенію,—какой непослѣдовательностью съ его стороны было бы то, что онъ давалъ четыремъ стихіямъ имена боговъ, и между прочимъ такихъ, какъ Зевсъ и Гера, занимающіе высшее мѣсто въ греческомъ пантеонѣ! На это намъ возразятъ, что все это относится къ области поэтическихъ прикрасъ и не обладаетъ серьезной силой доказательства. Съ этимъ тоже нельзя вполне согласиться. Ибо тотъ, кто провозглашаетъ новое ученіе, обыкновенно ясно сознаетъ его новизну и противоположность старымъ ученіямъ, и поэтому стремится скорѣе излишне подчеркнуть ее, чѣмъ сгладить и ослабить ее приданной ему формой. Затѣмъ можно упомянуть, что Аристотель, напримѣръ, видѣлъ въ этихъ наименованіяхъ кое что большее, чѣмъ простыя риторическія фігуры; онъ опредѣленно высказывается: „богами считаетъ онъ и ихъ (т. е. стихіи)“. Однако всѣ эти болѣе или менѣе второстепенные аргументы излишни: вышеприведенный стихъ, обличающій въ его авторѣ провозвѣстника теоріи всеодухотворенности, совершенно опредѣленно рѣшаетъ вопросъ. Послѣдняя тѣнь сомнѣнія должна быть устранена слѣдующимъ разсужденіемъ. Всякій разъ, когда ко времени побѣды „дружбы“ совокупность всего вещества сплавляется въ качественно однородное единство, оно обращается въ „Сфѣйрость“, „блаженное Божество“. Но какъ допустить, чтобы то, что въ состояніи объединенія мыслится какъ нѣчто божественное и блаженное, и слѣдовательно, обладающее сознаніемъ и силою, въ состояніи разъединенія являлось лишенной всякой силы, движимою только извнѣ, косою и мертвой массой? Строгая послѣдовательность, съ которой агригентецъ развиваетъ здѣсь свои основныя мысли до ихъ крайнихъ выводовъ, явствуетъ изъ того что „блаженнѣйшій богъ“, которому онъ склоненъ былъ бы приписать всякаго рода познаніе, оказывается несостоятельнымъ въ одномъ пунктѣ: ему недостаетъ знанія „раздора“, ибо этотъ послѣдній чуждъ блаженному покою этого всеединства,—и какъ „дружбу“ можно узрѣть и познать только „дружбою“, такъ и „раздоръ—только страшнымъ раздоромъ“.

7. Однако, не придется ли намъ только что по праву выданное великому мудрецу свидѣтельство въ строгой послѣдователь-

ности снова отнять отъ него въ виду противорѣчиваго характера, являемаго его ученіемъ о душѣ?

Съ одной стороны—то, что можно было бы назвать ф и з и к о й души: все душевное сводится къ матеріальному, и притомъ непосредственно, безъ посредствующаго звена особеннаго душевнаго вещества. Всѣ различія психическихъ свойствъ и дѣйствій какъ у различныхъ видовъ, такъ и у отдѣльныхъ индивидуумовъ и въ смѣняющихся состояніяхъ одного и того же индивидуума основываются на соответствующихъ матеріальныхъ различіяхъ. „Степень ума въ человѣкѣ находится въ зависимости отъ количества вещества“ и „подобно тому, какъ вы сами мѣняетесь, въ постоянной смѣнѣ приходитъ вамъ мысль за мыслью“. Большая умственная одаренность выводится изъ богатства матеріальнаго состава и правильнаго способа смѣшенія. Поэтому органическія существа стоятъ выше неорганическихъ, заключающихъ въ себѣ лишь одну или немного стихій. На этомъ основаны всѣ индивидуальныя дарованія, напр. оратора, у котораго языкъ отличается именно въ этомъ отношеніи отъ языка прочихъ людей, или художника, у котораго такую является рука его; по этой же причинѣ составная часть тѣла, являющая собою совершеннѣйшее смѣшеніе стихій, призвана быть носителемъ высшихъ душевныхъ функцій. „Кровь сердца есть мысль“, говоритъ Эмпедокль, предполагая, что свободно и безъ помѣхи льющаяся изъ своего источника кровь заключаетъ въ себѣ всѣ четыре стихіи въ наиболѣе равномерномъ смѣшеніи.

Съ другой стороны ученіе Эмпедокла о душѣ является какъ бы богословіемъ души. Всякая душа есть „демонъ“, низвергнутый изъ своей небесной родины въ „долину скорби“, въ „безрадостные предѣлы“, гдѣ онъ принимаетъ разнообразнѣйшія обличія, то мальчика, то дѣвочки, то кустарника, то птицы или рыбы (обо всемъ этомъ Эмпедокль говоритъ по собственному опыту), къ этой земной юдоли его приковываетъ совершенное имъ преступленіе, порою смертоубійство или клятвoprеступленіе, и если онъ, этотъ „безпріютный скиталецъ“ и возвращается на свою прародину, то не ранѣе какъ черезъ 30.000 оръ или 10.000 лѣтъ. Это ученіе уже не ново для насъ. Это—орфикопиеагорейское ученіе о душѣ, воспринятое Эмпедокломъ, (—который вообще горячо прославляетъ „великую сокровищницу духа“ Пиеагора и воздаетъ ему дань благодарности—) и воспроизведенное имъ въ яркихъ краскахъ со всѣми чарами безудерж-

наго и вдохновеннаго краснорѣчія. Въ проникновенныхъ стихахъ изображаетъ онъ тѣ роковыя ошибки, на которыя обрекаетъ людей, не посвященныхъ въ тайну странствія души, сама ихъ благочестивая вѣра. Ослѣпленный отецъ, замысливъ принести приятную богамъ жертву, самъ того не зная, закалываетъ собственнаго сына и, шепча слова молитвы, готовится къ ужасной трапезѣ. Подобно этому сыны пожираютъ свою мать, и слишкомъ поздно преступники взываютъ къ смерти, которая охранила бы ихъ отъ совершенія страшныхъ преступленій. Лишь черезъ постепенное, тысячелѣтіями длящееся просвѣтленіе дано злосчастливымъ снова стать богами, послѣ того какъ въ качествѣ прорицателей, поэтовъ, врачей и руководителей человѣчества они достигнутъ высшихъ ступеней земнаго существованія. Рука объ руку съ нравственнымъ совершенствованіемъ дѣйствуютъ внѣшнія обряды посвященія, окропленія; имъ философъ посвятилъ отдѣльное поэтическое произведеніе—книгу „Очищеній“, немногіе отрывки которой вмѣстѣ съ фрагментами трехъ книгъ „О природѣ“ составляютъ его литературное наслѣдіе.

Какъ же объяснить, что два столь глубоко различныхъ ученія казалось бы совершенно исключаютъ другъ друга, въ такомъ полномъ согласіи соединяются въ умѣ одного человѣка? Ходячее понятіе эклектизма мало или вовсе ничего не объясняетъ. Ибо какъ неглубокъ и неразборчивъ долженъ былъ быть мыслитель, провозгласившій оба эти ученія, или на какихъ неглубокихъ читателей рассчитывалъ онъ, преподнося имъ два взаимно другъ друга исключаютія ученія, какъ выраженія своего глубочайшаго убѣжденія, еслибъ между этой спиритуалистической доктриной и той матеріалистической дѣйствительно была столь глубокая пропасть, какъ это кажется на первый по крайней мѣрѣ взглядъ! На самомъ дѣлѣ это совѣмъ не такъ. Мнимое противорѣчіе частью вовсе не существуетъ, частью же лежитъ на отвѣтственности не одного только Эмпедокла. Въ его глазахъ „демонъ“ души столь же мало, какъ въ глазахъ его предшественниковъ сама душа (психея), является носителемъ душевныхъ свойствъ, характеризующихъ индивидуумъ или родъ (ср. стр. 124—5). Относительно этого онъ выражается совершенно опредѣленно, говоря о собственномъ предсуществованіи; ибо „кустъ“, „птица“ или „рыба“, которыми онъ прежде якобы былъ, разумѣется ничѣмъ не походили на богато одаренную человѣческую личность, какою онъ является нынѣ. То же видимъ мы и въ народномъ вѣрованіи, отражен-

номъ еще Гомеровскимъ эпосомъ. Какъ бы намъ это ни казалось страннымъ, однако же нѣтъ ни малѣйшаго сомнѣнiя въ томъ, что „психея“ у Гомера играетъ такую же праздную роль въ человѣческомъ земномъ существованiи, какъ и демонъ души у Эмпедокла. Кажется, будто она существуетъ лишь затѣмъ, чтобъ въ смертный часъ отдѣлиться отъ тѣла и длить свое существованiе въ преисподней. Нигдѣ нельзя найти, чтобы она разсматривалась какъ живая сила, мыслящая, желающая и чувствующая въ насъ. Всѣ эти функции приписываются совершенно иному, переходящему существу, при смерти человѣка и животного растворяющемуся въ воздухъ. Въ силу этого съ полнымъ правомъ можно было бы говорить о теорiи двухъ душъ у Гомера. Эта вторая, смертная душа называется „тюмосъ“ (thymós). Это слово тождественно латинскому fumus (дымъ), санскритскому dhumás, древне-славянскому дыму и т. д. Непонятная природа этой души-дыма выясняется благодаря одному наблюденiю Альфреда фонъ-Кремера, который, изслѣдуя восточные народы и ихъ культурные слои, указалъ на то, что „паръ, поднимающiйся отъ свѣже пролитой, еще теплой крови“ разсматривается, какъ душевная сила. Эта душа-дымъ, слѣды первоначальнаго значенiя котораго можно еще найти въ нѣкоторыхъ оборотахъ Гомера,—такъ, при возвращенiи къ жизни человѣка, потерявшаго сознание, „тюмосъ“, готовившiйся разсѣяться, снова собирается въ груди или въ желудкѣ, имѣеть, какъ объ этомъ свидѣтельствуетъ наличность этого слова, частью съ сохраненiемъ того же значенiя во многихъ родственныхъ языкахъ, болѣе древнее происхожденiе, нежели исключительно греческая „психея“. Когда послѣ этого вошло въ сознание понятiе души-дыханiя, оно нашло почву уже занятой душою-дымомъ или душою-кровью и поэтому должно было довольствоваться болѣе скромной и вмѣстѣ съ тѣмъ болѣе возвышенной ролью. Въ теченiе долгихъ столѣтiй отношенiя оставались тѣ же. „Доколѣ движутся члены, спитъ душа, одна происходящая отъ боговъ“,—говоритъ поэтъ Пиндаръ;—какъ онъ, такъ и народное вѣрованiе не отказывали ей къ активности только во время сна человѣка. Когда же научные приемы мысли начали распространяться и на феномены души, снова повторился процессъ мышленiя, разыгравшiйся уже много столѣтiй назадъ. Давно поблѣднѣвшее, утратившее связь со своимъ происхожденiемъ понятiе „тюмоса“ не могло удовлетворить потребности въ матерiальномъ принципѣ,—такимъ образомъ Эмпедоклъ, увидѣвшiй въ крови сердца носителя душевной дѣятель-

ности, какъ бы вторично открылъ душу крови. Если онъ при этомъ не отказался и отъ вѣры въ безсмертную душу, то онъ поступалъ во всякомъ случаѣ не менѣе непосредственно, чѣмъ авторы эпоса, а также и его непосредственный предшественникъ Парменидъ. Ибо и тотъ также сводилъ какъ индивидуальныя свойства человѣка, такъ и его временныя душевныя состоянія къ матеріальнымъ причинамъ (срв. стр. 159—60); болѣе того онъ приписывалъ тѣлу, покинутому душою, даже способность чѣ- котораго воспріятія, а именно воспріятія темнаго, холоднаго и недвижнаго, и, кромѣ того, всему вообще существу, слѣдовательно и такимъ вещамъ, которыя ни въ одной стадіи своего существованія не были связаны съ „психеей“, приписывалъ особаго рода познаніе. Несмотря на все это онъ, однако, никоимъ образомъ не порывалъ съ вѣрой въ душу и ея безсмертіе; вѣрнѣе предположить, что онъ, очевидно подъ влияніемъ орфииковъ, вѣрилъ, что души нисходятъ въ аидъ съ тѣмъ, чтобъ оттуда снова возвратиться на землю. То же можно сказать и о младшемъ пиеагорейцѣ Филолаѣ. Ибо подобно тому, какъ Парменидъ выводилъ „разумъ людей“ изъ состава и „смѣшенія“ стихій въ различныхъ частяхъ ихъ тѣла, такъ Филолай самую душу называетъ „смѣшеніемъ и согласіемъ“ тѣлесныхъ элементовъ, что, однако, не мѣшаетъ ему вѣрить въ субстанціальную душу и въ то, что она по ученію „древнихъ богопосвященныхъ и прорицателей“ въ наказаніе и во искупленіе ниспослана въ тѣло.

Подведемъ итогъ сказанному. Возможность обойтись безъ вѣры въ безсмертную душу не мѣшала Эмпедоклу раздѣлять эту вѣру съ представителями народныхъ вѣрованій и съ его философскими предшественниками и современниками, что свидѣтельствуетъ лишь о томъ, что и онъ, подобно всѣмъ имъ, былъ движимъ религіозными побужденіями не менѣе, чѣмъ научными. Однако, не впадаетъ ли онъ въ противорѣчіе, ставя судьбу души въ зависимость отъ поступковъ людей, въ которыхъ она находитъ свое временное обиталище, и въ то же время выводя умственный и душевный укладъ людей, т. е. самый источникъ ихъ поступковъ, изъ матеріальнаго состава ихъ тѣла? Безъ сомнѣнія такъ. Однако это противорѣчіе дѣлили съ нимъ не одни только орфики, ибо несомнѣнно, что душа (психея) означала для нихъ лишь то же, что и для Пиндара и Парменида:—уже въ гомеровскихъ гимнахъ можно прослѣдить зерно того же противорѣ-

чія. Ибо что могли бы мы возразить тому, кто нашелъ бы несообразнымъ, что въ Одиссеѣ отдѣльные, по крайней мѣрѣ, души, какъ напр. Титіоса, Тантала, Сизифа, несутъ тяжкія кары за провинности, отвѣтственность за которыя по общимъ представленіямъ, царящимъ во всемъ эпосѣ вплоть до древнѣйшихъ его частей, не падаетъ на самое безсмертную душу? Исторія религій всѣхъ временъ вообще преисполнена подобныхъ несообразностей. Нужно ли напоминать о противорѣчии предопредѣленія и „вмѣненія“ въ средневѣковомъ ученіи церкви или о столь близкомъ къ орфической доктринѣ буддистскомъ ученіи о повыхъ, имѣющихъ значеніе наказаній, рожденіяхъ умершаго, за которымъ въ то же время не признается субстанціальной души? Какъ трудно, если не вовсе невозможно было устранить это противорѣчіе изъ центрального ученія наиболѣе распространенной религіи,—объ этомъ краснорѣчиво свидѣтельствуютъ изумительно глубокомысленныя и тонкія разъясненія этого противорѣчія въ „Вопросахъ царя Милинды“. Характерна для Эмпедокла лишь та необычайная интенсивность, съ которою эти оба враждующія между собою стремленія владѣли—съ одной стороны его научнымъ мышленіемъ, съ другой—его религіознымъ чувствомъ. Такимъ предстоить онъ нашему взору(—и это придаетъ его цѣльному облику какъ бы нѣкоторыя черты барокко): проникнутымъ глубокой религіозностью членомъ орфическаго братства,—и въ то же время ревностнымъ піонеромъ научнаго воззрѣнія на природу; запоздалымъ ученикомъ древнихъ мистиковъ и посвященныхъ жрецовъ,—и въ то же время непосредственнымъ предшественникомъ физиковъ-атомистовъ. Если этотъ расколъ и причиняетъ нѣкоторый ущербъ цѣльности его системы, до извѣстнаго пункта проведенной съ необычайной строгостью, зато онъ является блестящимъ показаніемъ всесторонней одаренности и внутренней полноты его богатой природы.

8. Однако мы не встрѣчаемъ почти ни единого слѣда этой двойственности тамъ, гдѣ всего больше ожидали бы встрѣтить ее, а именно въ Эмпедокловомъ ученіи о богахъ. Здѣсь ему удалось слить обѣ части его системы въ почти совершенно ясной и цѣльной гармоніи. Конечно, одаренная силой и сознаніемъ матерія не допускала существованія наряду съ нею внѣмірнаго, правящаго міромъ, направляющаго и даже творящаго его Божества; но ничто не препятствовало вѣрѣ въ божественныя существа, по природѣ родственныя міру, существа, которыя мы уже встрѣчали у

гилозонистовъ и назвали второстепенными богами (ср. стр. 50, 66, 139). Подобно тому, какъ всѣ четыре, чтимыя какъ божественныя, стихіи (ср. стр. 197) во время своего единенія сливаются въ Сфэйросъ и утрачиваютъ обособленное существованіе, ту же участь претерпѣваютъ (—и по всей вѣроятности въ тотъ же періодъ, возстановляющій первичное всеединство,—) и другіе боги, за которыми Эмпедоклъ опредѣленно отрицаетъ безсмертіе, называя ихъ не вѣчными, а лишь долговѣчными.

Міровые періоды, полагающіе границы этимъ долгимъ существованіямъ, вмѣстѣ съ тѣмъ вѣроятно кляли препоны и судьбамъ демоновъ душъ. Такимъ образомъ одни и тѣ же узы связуютъ Эмпедоклово ученіе о богахъ и о душѣ, при чемъ всѣмъ обособленнымъ существованіямъ, согласно стремящимся къ полному единству существованія, положена одна и та же цѣль. Лишь объ одномъ изъ этихъ, такъ сказать, второстепенныхъ боговъ имѣемъ мы болѣе опредѣленныя свѣдѣнія. Это Аполлонъ, котораго Эмпедоклъ (отрицая за нимъ обладаніе человѣческими членами) въ замѣчательномъ стихѣ называетъ „святымъ, неизрѣченнымъ, быстрою мыслью пробѣгающимъ міръ, душевнымъ существомъ (phren)“. Однако, неумѣстнымъ кажется намъ отождествлять этого демона съ „Сфэйросомъ“—Всебожествомъ или самою одухотворенной вселенной—и ставить его надъ нимъ, который, все въ себѣ самомъ заключаетъ.

Итакъ, направленный на Эмпедокла упрекъ въ эклектизмѣ, который не умѣлъ бы внутренне согласить объединенное имъ чуждое идейное достояніе, оказывается лишеннымъ серьезнаго основанія. Нѣкоторое основаніе однако придаетъ ему одинъ недостатокъ мышленія Эмпедокла, неразрывно связанный съ высшими качествами его. Его неутомимо дѣятельному, вѣчно гонящемуся за новыми проблемами, живо чувствующему природу духу не доставало съ одной стороны терпѣнія, нужнаго на то, чтобы каждую мысль продумать до конца, съ другой же—вопреки преизбыточному богатству его воображенія—той властной невозмутимости и презрѣнія къ ограниченіямъ, налагаемымъ познаніемъ фактовъ, которыя помогли Анаксагору возвести его фиктивную химию въ научную систему, хотя внѣшне и не выдерживающую критики, зато внутренне прочно спаянную. Эта особенность Эмпедокла всего яснѣе сказывается въ его отношеніи къ ученіямъ элейцевъ. Въ томъ, что ему была извѣстна дидактическая поэма Ксенофана, мы не сомнѣвались бы и въ томъ случаѣ, если бъ случайная полеми-

ческая ссылка и не давала намъ въ этомъ полной увѣренности. Его пантеизмъ, завершающійся ученіемъ о Сфэйросѣ, его полемика противъ антропоморфизма народныхъ вѣрованій, однажды, по крайней мѣрѣ, какъ мы видѣли раньше, открыто высказанная, могли быть вызваны предшествующей дѣятельностью колофонскаго рапсода. Парменида Эмпедокль не разъ перефразировалъ, — вообще онъ, повидимому, былъ близко знакомъ съ его поэмой. Посвященныя физикѣ въ широкомъ смыслѣ этого слова ученія его предшественника изъ „Словъ мнѣнія“ оказали на него мощное вліяніе. Въ меньшей степени можно сказать это относительно метафизики Парменида. Правда, онъ воспринялъ и почти буквально повторилъ его апріористическіе доводы противъ возможности возникновенія и уничтоженія. Но то, что мы назвали вторымъ постулатомъ ученія о веществѣ выступаетъ въ системѣ Анаксагора несравненно рѣзче и опредѣленнѣе, чѣмъ у Эмпедокла. Правда, мы и у него находимъ общее утвержденіе, что стихіи остаются неизмѣнно тѣми же, однако же болѣе точнаго проведенія этого принципа у него нѣтъ. Вся его оптика основывается на той предпосылкѣ, что всякой стихіи изначала присуща одна опредѣленная окраска; но относительно того, какъ изъ этихъ основныхъ красокъ возникаетъ все безконечное многообразіе различно окрашенныхъ веществъ, и какъ вообще возможно, что четыре стихіи, „перекрещиваясь между собою, мѣняютъ обликъ“, — относительно этого онъ во всякомъ случаѣ не далъ намъ опредѣленнаго отвѣта, столь же стройнаго и согласнаго съ постулатомъ „качественнаго постоянства“, какъ тотъ, который являетъ собою Анаксагорово ученіе о веществѣ, хотя и противорѣчащее фактамъ, но зато строго соблюдающее вѣрность этому постулату. И то обстоятельство, что по отношенію къ Анаксагору у насъ нѣтъ ни единаго доказательства того, чтобы онъ зналъ философскую поэму Парменида или принималъ ее хотя бы въ ея основныхъ чертахъ, утверждаетъ насъ въ нашемъ убѣжденіи, что не только первый, но въ равной степени и второй постулатъ ученія о веществѣ съ внутренней неизбѣжностью развился изъ теорій іонійскихъ фізіологовъ и что элейцамъ мы обязаны лишь точной формулировкой, а не открытіемъ ихъ (см. стр. 140). Вмѣстѣ съ этимъ мы, по моему мнѣнію, находимъ полный отвѣтъ на тотъ вопросъ, изъ котораго исходили двѣ послѣднія главы нашего изложенія.

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

Историки.

Не въ одной только области естествознанія вступили греки на путь умственнаго освобожденія. Миоическій складъ мышленія находится въ связи съ извѣстной ограниченностью кругозора времени и пространства. Случайныя расширенія его составляли предметъ нашего изслѣдованія. Одновременно и основательно были раздвинуты оба эти горизонта благодаря возникновенію двухъ родственныхъ наукъ, работа надъ которыми объединилась въ однѣхъ рукахъ.

Изъ городскихъ хроникъ, изъ церковныхъ записей и перечней побѣдъ въ національныхъ играхъ возникло начало греческой исторіи. Наемные солдаты, морскіе разбойники, купцы и колонисты стали піонерами землевѣдѣнія. Обѣ области знанія охватили прежде всего своимъ сильнымъ самостоятельнымъ умомъ Гекатэй, Дальнія путешествія и обширныя свѣдѣнія значительно расширили его кругозоръ и дали ему возможность мудрыми совѣтами направлять своихъ іонійскихъ земляковъ во время ихъ великаго возстанія противъ персидскаго владычества (502—496) и послужить опытнымъ посредникомъ. Результаты своихъ изслѣдованій онъ изложилъ въ двухъ сочиненіяхъ, отъ которыхъ уцѣлѣли лишь жалкіе остатки: изъ книгъ его „Землеописанія“, названныхъ по имени трехъ частей свѣта—Европы, Азіи и Ливіи (Африки) и изъ четырехъ книгъ „Генеалогій“. Какъ громогласныя трубы въ чистомъ утреннемъ воздухѣ звучатъ самоувѣренныя, разсудочно ясныя и спокойныя слова поставленныя во главѣ его послѣдняго историческаго произведенія: „Такъ говоритъ Гекатэй Милетскій. Я написалъ это такъ, какъ мнѣ оно казалось истиннымъ, ибо разнорѣчивы мнѣнія эллиновъ и смѣшными кажутся мнѣ“. Снова стоимъ мы у колыбели критики. Подобно тому какъ Ксенофанъ примѣнилъ критическій духъ къ изслѣдованію всей природы—Гекатэй сдѣлалъ это по отношенію ко всему человѣческому. Почему и какъ онъ это сдѣлалъ—объ этомъ въ достаточной мѣрѣ явствуетъ его смѣлое вступленіе. Противорѣчія въ историческихъ преданіяхъ вынуждаютъ его дѣлать среди нихъ выборъ. Ихъ нелѣпость, т. е. несогласіе съ тѣмъ, что

ему представлялось правдоподобнымъ и возможнымъ — изъ чего мы видимъ, что и онъ подпалъ духу рациональнаго просвѣщенія—внушили ему мужество съ рѣзкой критикой напасть на эти преданія. Ему мало принять одну версію и отвергнуть другую; онъ считалъ себя въ правѣ передѣлывать эти легенды, дабы извлечь изъ легендарной оболочки истинное зерно. Не даромъ хочеть онъ излагать событія такъ, какъ они ему кажутся истинными. Передъ нимъ не было источниковъ или свидѣтельствъ, давность, происхожденіе или взаимную зависимость которыхъ онъ могъ бы подвергать изслѣдованію, ибо тогда въ Греціи еще не велось правильныхъ записей современныхъ событій. Историческій матеріалъ проходитъ черезъ легенду и ея рассказчика поэта, къ которымъ съ 600 года присоединились и писатели прозаики. Слѣдовательно, ни очевидцевъ событій, ни свѣдѣній, за достоверность которыхъ можно было поручиться, у Гекатэя не было. Одинъ лишь внутренній критерій былъ въ его распоряженіи; онъ долженъ былъ или отказаться отъ критики, или пользоваться ею вполне субъективно. У него и не могло создаться иного метода, кромѣ такъ называемаго полу историческаго, или иначе говоря рационалистическаго—терминъ, которымъ злоупотребляютъ, и котораго мы поэтому предпочли бы избѣгнуть. Широкое знакомство съ чужеземными преданіями и исторіей не только пробудило недовѣріе къ національнымъ легендамъ, но и предначертало путь, по которому долженъ былъ идти всякій, имѣющій дѣло съ ними и не принявшій рѣшенія отказаться съ дерзновеннымъ радикализмомъ отъ всей миѣической традиціи. Вспомнимъ случай, произошедшій въ египетскихъ Оивахъ съ изслѣдователемъ, пользующимся широкой извѣстностью, и характеризующій впечатлѣніе, получаемое имъ и его подобными отъ столкновения съ болѣе древними культурными народами. Онъ показалъ Оивскимъ священникамъ,—вѣроятно, не безъ чувства самодовольства—свою родословную, во главѣ которой стоялъ предокъ божественнаго происхожденія, отдѣленный отъ него всего пятнадцатью поколѣніями. Тогда священники провели его въ галерею, въ которой были выставлены статуи первосвященниковъ Оивъ. Ихъ было цѣлыхъ триста сорокъ пять! Каждая статуя, по увѣренію его гладко выбритыхъ спутниковъ, была воздвигнута при жизни его оригинала; священническій санъ передавался по наследству, и въ этомъ длинномъ ряду онъ переходилъ каждый разъ отъ отца къ сыну,—всѣ они были люди, какъ всѣ,—ни

одинъ не былъ богомъ, или хотя бы полубогомъ. Прежде, добавили они, боги, дѣйствительно, жили на землѣ, но весь долгій промежутокъ времени, послѣдовавшій за этимъ, наполненъ документально засвидѣтельствованной человѣческой исторіей! Трудно изобразить впечатлѣніе, которое это сообщеніе произвело на озадаченнаго грека. Онъ долженъ былъ испытать нѣчто подобное тому, какъ если бы потолокъ галереи, въ которой онъ стоялъ, поднялся въ этотъ мигъ надъ его головой безпредѣльно ввысь, и оттѣснилъ небесный сводъ. Область человѣческой исторіи раздвинулась до безграничности, въ то время какъ поле дѣйствія божественныхъ силъ все болѣе и болѣе сокращалось. Въ событіяхъ относящихся по достовѣрнымъ свидѣтельствамъ къ сравнительно недавнему времени, какъ напримѣръ походъ Аргонавтовъ или Троянская война, боги и герои никоимъ образомъ не могли принимать участіе. Все въ нихъ должно было происходить приблизительно такъ, какъ оно происходитъ въ настоящее время; къ происшествіямъ эпохи, бывшей доселѣ ареной сверхъестественныхъ чудесъ и необычайныхъ приключеній, надлежало приложить мѣрило возможнаго, естественнаго и потому заслуживающаго вѣры. То, что Гераклъ привелъ быковъ, украденныхъ у Геріона, изъ легендарной, лежащей яко бы по близости Испаніи, Эритейи въ греческія Микены, казалось ему неправдоподобнымъ; вѣроятнѣй было предположить, что Геріонъ правилъ землей находящейся на сѣверо-западѣ отъ Эллады (въ Эпирѣ), славившейся своими сильными красивыми быками и получившей очевидно названіе Эритейи (красной земли) за кирпичную окраску своей почвы. Подобное звуковое указаніе и вообще весь неисчерпаемый источникъ этимологіи играли большую роль въ его толкованіи мифовъ.

Такимъ образомъ событія, связанныя съ Троянской войной, были истолкованы исторически, подобно тому какъ мы это вскорѣ увидимъ у Геродота. Но даже легендарный звѣрь, вродѣ трехголовата адскаго пса Цербера, не находилъ пощады передъ судомъ критика сказаній. Неизвѣстно, на основаніи какихъ источниковъ онъ былъ отождествленъ съ страшной змѣей, жилищемъ которой былъ нѣкогда лаконскій мысъ Тэнаронъ. Однако, довольно. Мы должны были лишь указать первое вторженіе духа критики и сомнѣнія въ область историческихъ изслѣдованій грековъ и выяснить положеніе, которое по необходимости заняла и утвердила въ этой области скептическая мысль.

2. Геродотъ изъ Галикарнаса (родился не задолго до 480 года), творецъ художественнаго историческаго сочиненія, которое будетъ восхищать человѣческія сердца, доколѣ они будутъ биться на землѣ, былъ тоже мыслителемъ въ своемъ родѣ. Степень его оригинальности трудно опредѣлить, ибо у насъ нѣтъ матеріала для сравненія. Однако именно потому, что Геродотъ представляетъ не только самого себя, но и нѣкоторыхъ изъ своихъ современниковъ, сочиненія которыхъ не дошли до насъ, необходимо остановиться на немъ нѣсколько подробнѣе. Да и что можетъ быть пріятнѣе, какъ зачерпнуть изъ этого чуднаго освѣжающаго источника? Уже самое начало его съ необычайнымъ искусствомъ построеннаго изложенія, связывающаго исторію человѣчества съ географіей и сплетающаго въ единую ткань всѣ нити многообразныхъ исторій народовъ—уже одно начало въ высшей степени поучительно для насъ. Онъ задается вопросомъ о происхожденіи древняго раздора, раздѣляющаго западъ и востокъ и достигшаго своей высшей точки въ персидскихъ войнахъ—главномъ объектѣ геродотовскихъ историческихъ повѣствованій. Прежде чѣмъ обратиться къ первому азіатскому властителю, воевавшему съ греками и покорившему ихъ—къ лидійскому царю Крезу, онъ устремляетъ мысль на троянскую войну и на ея причину—увозъ Елены, которому онъ опять таки предпосылаетъ связанную съ нимъ по его представленію исторію судьбы постигшей Іо, Европу и Медею.

Но какая своеобразная, хотѣлось бы сказать—современная печать лежитъ здѣсь на всѣхъ этихъ образахъ и событіяхъ, такъ хорошо знакомыхъ намъ изъ героическихъ сказаній Греціи! Нервность Геры виной тому, что Іо, возлюбленная Зевса, обращенная въ корову, скитается въ далекихъ странахъ,—не владыка неба увозитъ Европу въ образѣ быка,—не о чародѣйкѣ Медеѣ, внучкѣ солнечнаго бога, и не объ ея участіи въ добываніи золотого руна идетъ рѣчь. Лучезарныя героини уступили мѣсто безцвѣтнымъ принцессамъ; вмѣсто главнаго бога и богоподобнаго героя Язона выступаютъ финикійскіе купцы, критскіе морскіе разбойники греческіе пираты. Второе похищеніе женщинъ является возмездіемъ за первое, третье—должно искупить вину второго. Требованія международнаго права провозглашаются герольдами и посланниками, и лишь когда преступники уклоняются отъ кары—страдавшіе сами творятъ судъ, воздаявая равное за равное.

Всякій узнаетъ въ этомъ полу-историческій методъ, примѣняв-

пійся Гекатѣемъ, но въ бѣльшемъ масштабѣ и расширенный прагматизированный обличеніемъ съ мнимо-историческими эпизодами. Для подтвержденія своихъ словъ Геродотъ ссылается на финикійцевъ и персовъ, которые приписывали грекамъ вину раздора. Они указывали на ту суровость, съ какой греки взались отомстить за похищеніе женщины, снарядивъ могущественный флотъ и ради одной единственной женщины обложивъ и разрушивъ Иліонъ. При этомъ финикійцы прилагали всѣ старанія къ тому, чтобъ выгородить своихъ земляковъ, увѣряя, что Іо совсѣмъ не была силой уведена на палубу корабля, увезшаго ее изъ ея аргивской родины,—вѣрнѣй, что она вступила въ слишкомъ близкія сношенія съ капитаномъ и, боясь послѣдствій своей ошибки, добровольно бѣжала изъ страха родительскаго гнѣва. Что вызвало такую историческую анекдотичность и приниженіе величественнаго образа легенды? Вѣроятнѣй всего тотъ же мотивъ, который мы уже встрѣчали у Гекатѣя: вытекающее изъ расширения историческаго горизонта стремленіе все болѣе и болѣе суживать границы сверхъестественнаго, благодаря чему величественные, напоенные поэзіей образы легенды спускались до уровня естественнаго и правдоподобнаго, а вмѣстѣ съ тѣмъ и низменнаго и пошлаго. Самъ Геродотъ во всякомъ случаѣ настолько остороженъ, что воздерживается отъ всякаго сужденія объ историчности передаваемыхъ имъ фактовъ. Но то, что онъ пересказываетъ въ такихъ значительныхъ случаяхъ мнѣнія чужеземныхъ и потому равнодушно безъ благоговѣнія относящихся къ эллинскому мифу ученыхъ или „знатоковъ легендъ“, достаточно свидѣтельствуетъ о томъ, что и у него простодушное вѣрованіе наивной эпохи уступило мѣсто разсудку. Это проглядываетъ еще яснѣй въ его собственной интерпретаціи Троянской легенды. Вмѣстѣ съ Гекатѣемъ онъ, увѣряетъ что Елена находилась не въ Троѣ, а въ Египтѣ во время осады города. Неблагопріятные вѣтры занесли туда Париса, и благородный царь Протей задержалъ у себя супругу Мелелая, чтобъ возвратить ее тяжело оскорбленному, законному мужу. Мы не будемъ здѣсь разбираться въ томъ, какъ возникло это вѣрованіе въ Египтѣ, какъ воспользовался имъ поэтъ Стезихоръ и какъ Геродотъ пытался подтвердить его строками изъ Илиады. Но въ высшей степени характерно для новаго образа мышленія усердіе, съ которымъ онъ старается подкрѣпить внутренними мотивами эту псевдо-историческую версію.

Троянцы не прекращали долгихъ невзгодъ войны выдачей

Елены лишь потому, что ея и не было въ Троѣ. „Ибо ни Пріамъ, ни его сыновья не могли быть настолько сумасбродны, чтобъ жертвовать своей жизнью, жизнью дѣтей и благомъ Иліона только ради того, чтобъ Елена осталась женой Париса“. Отказъ былъ бы еще понятенъ въ началѣ борьбы, но не послѣ этихъ столкновеній, въ которыхъ погибало такое количество согражданъ и по два, по три сына Пріама; надо помнить и тотъ фактъ, что не Парисъ былъ наслѣдникомъ престола, а Гекторъ, старшій и несравненно болѣе доблестный царскій сынъ и т. д. и т. д.

Вотъ еще примѣръ такого полуисторическаго метода. О происхожденіи оракула въ Додонѣ мѣстные жрицы рассказывали слѣдующее историку. Черная голубка прилетѣла туда изъ египетскихъ Оивъ и съ дерева возвѣстила человѣческой рѣчью приказаніе основать здѣсь храмъ оракула. „Но какъ могло случиться, почти трусливо замѣчаетъ Геродотъ, что голубъ заговорилъ человѣческимъ языкомъ?“ И такъ какъ жрицы тутъ же сообщили ему, что одновременно съ этимъ другая черная голубка прилетѣла въ Ливію и положила тамъ основаніе Аммонскаго оракула, то историкъ не останавливается передъ тѣмъ, чтобы увидѣть, въ этой легендѣ отголосокъ имъ самимъ слышаннаго въ Оивахъ сообщенія. Двѣ святыя женщины, увезенныя финикійцами, были проданы въ рабство—одна въ Ливію, другая въ Грецію, гдѣ онѣ и основали эти прославленные въ древности храмы оракуловъ. Эту самоувѣренную выдумку, свидѣтельствующую о высокоуміи египтянъ принимаетъ онъ за истину, и она вызываетъ у него лишь мимолетный скептицизмъ, выразившійся въ замѣчаніи: „но откуда могли они имѣть объ этомъ такія точныя свѣдѣнія?“ Чужестранка могла сойти за птицу для жителей Додоны, такъ какъ ея непонятный говоръ напоминалъ имъ скорѣй птичій щебетъ, чѣмъ человѣческую рѣчь. Черной же голубкой египтянка была названа благодаря темному цвѣту кожи. По истеченіи нѣкотораго времени она научилась мѣстному языку: это означало, что голубъ заговорилъ по человѣчьи. Наконецъ она получила вѣсть о своей сестрѣ, попавшей въ Ливію, и распространила ее въ Додонѣ. Мы улыбаемся этому курьезному сплетенію дѣтской наивности и прозорливаго умничанья. Но когда мы вспомнимъ, какую большую роль игралъ процессъ историзированія въ духовномъ прогрессѣ человѣчества, наше неудовольствіе, вызванное безобразнымъ искаженіемъ народныхъ преданій, разсѣивается, и мы вновь обрѣтаемъ серьезное отношеніе къ дѣлу. Поэзія миеовъ

претендовала на дѣйствительность, — что мудренаго, что дѣйствительность съ своей стороны вторглась въ область поэзіи? Определенное разграниченіе обѣихъ областей было совершенно немыслимо при несовершенныхъ способахъ изслѣдованій того времени. Еще и понынѣ этотъ споръ о владѣніяхъ не вполне разрѣшенъ. Если „отецъ исторіи“ и былъ склоненъ пользоваться для исторіи всякой легендой, носящей мало-мальски исторической характеръ, то въ настоящее время противоположное направленіе переходитъ въ обратную крайность.

3. Если толкованіе легендъ было вызвано расширеніемъ временнаго и пространственнаго горизонта, а также обмѣномъ мнѣній съ чужестранными и потому равнодушными изслѣдователями народныхъ преданій, то этому не мало способствовала и мучительная, жаждущая примиренія борьба между старой вѣрой и новымъ знаніемъ. Расширеніе опыта и господства надъ природой укрѣпило вѣру въ постоянство ея законовъ. Но какъ избѣжать рѣзкаго, нечестиваго разрыва съ издавна освященными традиціями? Историзирующее толкованіе преданій жертвуетъ одной частью, чтѣбы спасти остальное. Это была одна изъ тѣхъ „срединностей“, за которыя инстинктивно хватались во все времена и которыя вызываютъ презрѣніе недалековидныхъ умовъ, въ сущности же заслуживаютъ величайшаго одобренія, наравнѣ съ „фигкціей“, и являются основой истиннаго прогресса. Другую такую благословенную середину мы встрѣчаемъ въ отношеніи къ самой дѣятельности боговъ.

Глубокая ложбина, образующая русло Пеней, говоритъ намъ Геродотъ, тессалійцы считаютъ за дѣло рукъ Посейдона. „Это не лишено основанія, могозначительно добавляетъ онъ, ибо тѣ, кто вѣрятъ, что Посейдонъ сотрясаетъ землю и приписываютъ этому богу разсѣлины, образовавшіяся отъ землетрясенія—увидя лоцину, естественно объяснить и ея происхожденіе дѣйствіемъ Посейдона. Мнѣ же кажется, что эта горная трещина есть послѣдствіе землетрясенія“. Означало ли это, что галикарнасець рѣшительно отрицалъ возможность вмѣшательства сверхъестественныхъ силъ и въ каждомъ богѣ видѣлъ лишь представителя одной изъ сферъ жизни или природы, управляемой равномерно дѣйствующими силами? Отнюдь нѣтъ. Глубоко сидящая склонность къ позитивному научному мышленію соединяются въ немъ съ не менѣ сильными побужденіями, выросшими на почвѣ древнихъ религіозныхъ вѣро-

ваній. Обь измѣненіяхъ земной поверхности онъ до извѣстной степени систематично размышлялъ, сводя единичныя явленія къ общимъ причинамъ и потому могъ въ этой области избѣжать непосредственнаго вмѣшательства боговъ. Въ этомъ случаѣ онъ можетъ считаться ученикомъ своихъ предшественниковъ Анаксимандра и Ксенофана, но не въ меньшей степени и своихъ египетскихъ учителей — на этотъ разъ безъ вреда для себя. При этомъ онъ даетъ вполне правильное и рациональное объясненіе происхожденія Нильской дельты, при чемъ насъ поражаетъ его тонкое наблюденіе природы и увѣренность, съ какой онъ распоряжается огромными мировыми періодами, — такъ напр. онъ считаетъ, что земля въ ея настоящемъ составѣ существуетъ не менѣе 20.000 лѣтъ. Подобное сомнѣніе въ непосредственномъ вмѣшательствѣ божественныхъ существъ проявляетъ онъ неоднократно. Персидскіе маги усмирили путемъ жертвъ и заклинаній жестокою бурю; передавая этотъ рассказъ, Геродотъ присовокупляетъ къ нему скептическое замѣчаніе: „а быть можетъ она улеглась и сама по себѣ“. Но именно по поводу этой бури, столь гибельной для персидскаго флота, онъ не берется опредѣленно рѣшить вопросъ, не вызвали ли ее аэиыяне жертвоприношеніями и заклинаніями Борея. Въ этомъ случаѣ его сомнѣнія, быть можетъ, были пробуждены непосредственной близостью скептическихъ сужденій, высказанныхъ греками и варварами. Въ тѣхъ же случаяхъ, гдѣ отсутствуетъ такой коррективъ и особенно тамъ, гдѣ сильный аффектъ отодвигаетъ на задній планъ трезвыя соображенія, [нашъ историкъ безъ конца рассказываетъ о чудесныхъ явленіяхъ боговъ, о ниспосланныхъ ими снахъ (которымъ онъ противопоставляетъ обыденные сны), о многозначущихъ знаменіяхъ и изумительныхъ предсказаніяхъ. Противорѣчія, встрѣчающіяся въ разныхъ частяхъ его произведенія, настолько сильны, что недостаточно глубокіе критики строили на этомъ выводы о времени созданія отдѣльныхъ книгъ и о перемѣнахъ въ мировоззрѣніяхъ Геродота, произошедшихъ въ промежуткахъ между ними. Но и такихъ гипотезъ, ненужныхъ по существу и лишенныхъ прочнаго основанія, было бы недостаточно, чтобъ сгладить всѣ противорѣчія въ Геродотовой теологіи.

Его взглядъ на божество въ основѣ своей шатокъ и измѣнчивъ. Настойчивость, съ какой онъ относитъ къ египетскимъ прообразамъ и вліяніямъ многія греческія обрядности и божества, его смѣлое заявленіе, что Гомеръ и Гезіодъ не далѣе „какъ вчера,

или позавчера (т. е. за 400 лѣтъ до его времени) создали греческую теогонию и надѣлили боговъ именами, званіемъ и профессіей, а также дали имъ вѣншній обликъ“, могутъ выставить его противникомъ не только очеловѣченія боговъ, но и политеизма вообще. Первое предположеніе подкрѣпляется еще тѣмъ, что онъ настойчиво противопоставляетъ религію природы персовъ греческому антропоморфизму, и повидимому не безъ внутренняго сочувствія рассказываетъ про нихъ, что они приносятъ жертвы великимъ силамъ природы, „солнцу и мѣсяцу, землѣ, огню, водѣ и вѣтрамъ“, а подъ Зевсомъ разумѣютъ не что иное, какъ „весь небесный сводъ“. Вообще, нельзя не признать, что онъ, быть можетъ подъ влияніемъ Ксенофана, или другихъ философовъ, дѣйствительно переживалъ подобныя сомнѣнія.

Однако, насколько они непрочно коренились въ его душѣ, доказываетъ между прочимъ тотъ страхъ, съ которымъ онъ, сказавъ однажды рѣзкую критику на греческій героическій миѳъ тотчасъ же вслѣдъ за этимъ въ смиренныхъ выраженіяхъ просить прощенья у обиженныхъ имъ „боговъ и героев“. И тутъ же онъ признаетъ „вѣрнѣйшимъ“ то ученіе эллиновъ, которое различаетъ двухъ Геракловъ—старого и дѣйствительно божественнаго происхожденія и младшаго, который былъ только героемъ и обожествленнымъ человѣкомъ, и посвящаетъ имъ разныя святилища. Кстати говоря, мы видимъ въ этомъ древнѣйшее примѣненіе того критическаго метода, который впоследствии такъ часто помогалъ сглаживать противорѣчія въ миѳическихъ рассказахъ. Слѣды подобныхъ проявленій скептицизма можно видѣть въ убѣжденіи, что человѣческое знаніе о божественныхъ вещахъ весьма не точно, и въ передачѣ поэтовъ онѣ являются какъ бы затуманенными покрываломъ. „Если бы можно было больше довѣрять эпическимъ поэтамъ“ — эта оговорка, высказанная по поводу частнаго случая, имѣетъ болѣе глубокое значеніе. И глубокая горечь звучитъ въ его жалобѣ, что „всѣ люди знаютъ одинаково много“—что значитъ: одинаково мало—„о божественныхъ вещахъ“. Мы не должны изъ за этого считать Геродота скрытымъ монотеистомъ, хотя вполне понятно, что онъ для многихъ прослылъ таковымъ. Не удивительно ли, что тамъ гдѣ онъ высказываетъ самостоятельныя сужденія о вопросахъ религіи, онъ говоритъ не объ Аполлонѣ, или Аѳинѣ, не о Гермесѣ или Афродитѣ, а почти исключительно о „богѣ“ и о „божественномъ“? Но наше изумленіе слабѣетъ, когда мы вспомнимъ, что во всѣхъ этихъ случаяхъ

рѣчь идетъ объ общихъ н о р м а х ъ міровой жизни. Гомеръ обыкновенно при этомъ ставитъ въ непосредственномъ сосѣдствѣ „боговъ“ и „Зевса“. Такъ, напримѣръ, въ этихъ превосходныхъ строфахъ гдѣ неподобно изображена вся превратность человѣческой судьбы:

Онъ о возможной въ грядущемъ бѣдѣ не помыслитъ покуда
 Счастіемъ боги лелѣютъ его и стоитъ на ногахъ онъ;
 Если жъ бѣду ниспослють на него всемогущіе боги,
 Онъ негодуетъ, но твердой душой неизбѣжное сносить;
 Такъ суждено ужъ намъ всѣмъ, на землѣ обитающимъ
 людямъ,

Что бъ ни послалъ намъ Кроніонъ, владыка безсмертныхъ
 и смертныхъ *).

Вездѣ, гдѣ боги дѣйствуютъ единодушно, гдѣ выступаютъ не отдѣльныя ихъ стремленія, а общая воля, естественно видѣтъ въ нихъ или исполнителей приказанія высшаго бога, или носителей общаго, всѣмъ имъ равно присущаго начала. Таковъ взглядъ Геродота, и мы не должны поэтому приписывать ему отрицаніе отдѣльныхъ боговъ, какъ бы смутны ни были его познанія объ этомъ и какъ бы ни возставалъ онъ противъ всякаго грубаго антропоморфизма. Его образъ мысли въ этомъ случаѣ тройко отличается отъ Гомеровскаго. Долгое, серьезное размышленіе о міропорядкѣ и судьбахъ человѣческихъ вмѣстѣ съ неоднократно указаннымъ нами, все растущимъ сознаніемъ единодушія правящихъ міромъ силъ, все чаще побуждало говорить объ общихъ нормахъ управляющихъ имъ. Благодаря ослабѣвшей вѣрѣ въ буквальную истинность миѣическихъ разсказовъ, не трудно было при случаѣ лишить главнаго бога кое какихъ человѣческихъ свойствъ, присущихъ раньше его природѣ. Наконецъ здѣсь можно увидѣтъ и вліяніе философовъ, уже давно нашедшихъ источникъ всего бытія въ безличномъ началѣ, которому подчинены отдѣльные боги. Существо, правящее міромъ, властвующее надъ человѣческой судьбой, не имѣетъ строго опредѣленныхъ, личныхъ, индивидуальныхъ чертъ и потому можетъ безъ особой непослѣдовательности носить названіе „бога“ или „божества“. Но вотъ еще противорѣчіе—важнѣйшее изъ всѣхъ! Этотъ первопринципъ, колеблющійся между личнымъ и безличнымъ, является то прови-

*) Одиссея. Пѣсня XVIII, 135. Пер. Жуковскаго.

денціалнымъ, благожелательнымъ въ глубинной основѣ существомъ, то злобнымъ и недоброжелательнымъ,—и тщетны всѣ попытки истолковать или хотя бы нѣсколько сгладить это противорѣчіе. „Осмотрительность божества въ силу мудрости своей“ надѣлила слабыхъ и боязливыхъ животныхъ чрезмѣрной плодовитостью, тогда какъ сильные и вредные обладаютъ ею лишь въ незначительной степени. Постольку значить божеству было дѣло до сохраненія и благополучія земныхъ созданій. Нерѣдко способствуетъ оно также человѣческимъ дѣяніямъ и благу людей посылая удачу или внушенія. Съ другой же стороны оно любитъ низвергать „все величающееся“, „ломать все выдающееся“, подобно тому какъ „молнія обрушивается на самыя высокія деревья и зданія“. Въ рѣчи, которую Геродотъ вложилъ мудрому Солону въ уста, онъ называетъ божество „исполненнымъ зависти и страсти разрушенія“. И не только отцовская забота и злорадная „зависть“ совмѣщаются въ этомъ божествѣ, слившемся здѣсь съ властью судьбы, но и справедливость, беспощадно карающая человѣческую вину. Эти полные противорѣчія элементы не были вполнѣ чужды и древней міеологіи. Однако болѣе глубокое размышленіе о пѣлесообразности міропорядка, пессимизмъ, развившійся подъ вліяніемъ рѣзко измѣнчивой судьбы и великихъ историческихъ переворотовъ, и окрѣпшее нравственное чувство обострили и увеличили не только противорѣчіе различныхъ толкованій свершающагося. Разногласіе усиливается еще тѣмъ, что враждующія другъ съ другомъ правящія воли совмѣщаются въ единомъ высшемъ божествѣ вмѣсто того, чтобы быть раздѣленными между отдѣльными, взаимодействующими существами.

Въ отношеніи этой одновременно совершающейся правящей дѣятельности божества, мы встрѣчаемъ въ высшей степени удивительное разнообразіе. То она проявляется какъ одна изъ сторонъ автоматически дѣйствующихъ законовъ природы, то какъ вполнѣ сознательная воля, искусно выбирающая средства для своей цѣли, смѣющаяся надъ человѣческими намѣреніями и подчиняющая ихъ себѣ. Когда Дарій отправилъ въ греческіе города пословъ, требуя ихъ сдаться, то въ Афинахъ и Спартѣ эти послы были умерщвлены въ знакъ издѣвательства надъ постановленіями международнаго права. „Не перечислить всѣхъ бѣдъ, павшихъ на Аѳинянъ (какъ возмездіе за такое злодѣяніе), не говоря уже о раззореніи ихъ страны и города“—откровенно признаетъ Геродотъ, „но я не думаю, добавляетъ онъ, чтобы это было вызвано этой

причиной“. На спартанцевъ же, повѣствуетъ онъ дальше, обрушился гнѣвъ полубожественнаго предка изъ рода ихъ пословъ (Талеѳіадовъ). Онъ разгнѣвался на своихъ согражданъ за умерщвленіе персидскихъ пословъ. Много лѣтъ подрядъ жертвоприношенія богамъ сопровождались дурными знаменіями. Тогда двое знатнѣйшихъ лакедемонянъ, Булисъ и Сперѳіасъ, рѣшили искупить вину, лежащую на ихъ родномъ городѣ, и отправились въ Сузу, предложивъ себя въ добровольную жертву преемнику Дарія. И хотя персидскій царь отвергъ ихъ предложеніе—этого было достаточно, чтобы на время усмирить гнѣвъ Талеѳіоса. Но черезъ нѣкоторый промежутокъ времени, въ первые года пелопоннесской войны, этотъ гнѣвъ вновь пробудился, и сыновья Булиса и Сперѳіаса, отправленные въ Азію въ качествѣ пословъ, были взяты въ плѣнъ еракійскимъ царемъ и выданы афинянамъ, которые и убили ихъ. Это событіе представляется Геродоту яркимъ доказательствомъ непосредственнаго вмѣшательства божества. „Ибо вполне справедливо (и естественно), что гнѣвъ Талеѳіоса обрушился на пословъ, и усмирился не ранѣе, какъ по осуществленіи своемъ. Что касается совпаденія, что это выпало на долю сыновьямъ именно тѣхъ двухъ людей, которые когда то отправились къ великому царю—то всякій признаетъ въ этомъ волю божества“.

4.—Мнѣніе Геродота колеблется между методомъ критическимъ и не критическимъ и въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ религіозное чувство не опровергаетъ и не сбиваетъ его. Древность осмѣяла его легковѣріе и бранила его „сказочникомъ“. Но если онъ часто вѣритъ тамъ, гдѣ долженъ бы сомнѣваться, то не рѣдко сомнѣвается онъ тамъ, гдѣ слѣдовало бы вѣрить. До него дошли лишь смутныя свѣдѣнія о долгихъ полярныхъ ночахъ. Вмѣсто того чтобы съ помощью доступнаго ему сравнительнаго метода (чѣмъ больше широта—тѣмъ длиннѣе зимняя ночь) высвободить эти свѣдѣнія изъ сказочной оболочки, онъ предпочитаетъ отнести это къ области вымысла и съ паѳосомъ восклицаетъ: „Я рѣшительно не могу допустить, чтобы были люди, которые спятъ шесть мѣсяцевъ подрядъ“! Ему хорошо было извѣстно, что олово, какъ и янтарь, греки получаютъ изъ Сѣверной Европы но онъ не довѣряетъ имъ, что родина этого металла на одной группѣ острововъ (Великобританіи), названной элиннами „Островами Олова“ именно за этотъ продуктъ ихъ природы. Онъ ссылается на то, что

несмотря на все усердіе и стараніе, не могъ найти человѣка, который бы по личному опыту зналъ морскія границы Сѣверной Европы и могъ бы поручиться за правду этого. Онъ зналъ склонность человѣческаго ума ожидать отъ природы болѣе чѣмъ слѣдуетъ равномерности и симметріи и потому не безъ права осмѣиваетъ своихъ предшественниковъ изображавшихъ на картахъ Европу и Азію одинаковой величины. Но не менѣе вызываетъ его „насмѣшку“ и то, что именно эти географы (здѣсь несомнѣнно подразумѣвается Гекатэй) изображаютъ „землю совершенно круглой, какъ будто она обведена циркулемъ“. Изъ этого мы видимъ, какъ мало онъ былъ подготовленъ къ тому, чтобъ присоединиться къ возвѣщенному Парменидомъ ученію о шарообразной формѣ земли. Но при этомъ удивительнѣй всего то, что онъ самъ однажды подпадаетъ той вводящей въ заблужденіе склонности искать несуществующую правильность, которую онъ видитъ и тамъ, гдѣ его предшественники уже стояли на вѣрномъ пути: такъ онъ предполагаетъ извѣстный параллелизмъ между теченіемъ Нила и Дуная, какъ двухъ величайшихъ рѣкъ извѣстныхъ ему. Устанавливать точныя границы между возможными разновидностями органическаго царства—было всегда одной изъ труднѣйшихъ задачъ. Нельзя обвинять Геродота въ томъ, что онъ съ самаго начала не призналъ невѣроятнымъ существованіе крылатыхъ змѣй (въ Аравіи), но невольно удивляешься тому, что онъ не счелъ выдумкой гигантскихъ, роющихъ золото муравьевъ индійской пустыни, которые величиной „больше лисицъ, но меньше собакъ“; существованіе же одноглазыхъ „Аримасцъ“, онъ оспариваетъ слѣдующими убѣдительными словами: „Не вѣрю я и тому, что есть люди, имѣющіе лишь одинъ глазъ, въ остальномъ же схожіе съ другими людьми“.

Въ заключеніе мы приведемъ одинъ изъ взглядовъ историка отражающій высшую точку его научнаго мышленія. Изъ всѣхъ разнообразныхъ попытокъ дать объясненіе разлитію Нила, Геродотъ съ наибольшимъ презрѣніемъ относится къ той, которая непонятнымъ для насъ образомъ связываетъ это загадочное явленіе съ рѣкой Океаномъ текущей вокругъ земли. Онъ относитъ ее къ тѣмъ двумъ теоріямъ, которыя по его словамъ „недостойны и упоминанія“, причемъ изъ нихъ она „наиболѣе непонятна, хотя въ то же время и наиболѣе чудесна“. Но когда онъ по поводу этой попытки дать объясненіе, говоритъ: „тотъ, кто по этому случаю ссылается на Океанъ, и этимъ

переносить вопросъ въ область неизслѣдимаго, тотъ этимъ самымъ выходитъ изъ сферы всякаго опроверженія“. Хочетъ ли онъ этими словами объявить неразрѣшимость этого вопроса и такимъ образомъ воздержаться отъ рѣшенія его? Очевидно нѣтъ, ибо этому противорѣчило бы откровенно высказанное выше презрѣніе и рѣзкая насмѣшка непосредственно слѣдующихъ за этимъ словъ: „миѣ лично ничего въ дѣйствительности неизвѣстно о рѣкѣ, называемой Океанъ, я лишь полагаю, что Гомеръ, или другой поэтъ выдумали это названіе и ввели его въ поэзію“. Скорѣй всего онъ хотѣлъ этимъ выразить то, что предположеніе въ такой степени далекое отъ области фактическаго, правдоподобнаго и разумнаго, что на него даже нечего возразить—этимъ самымъ является осужденнымъ. Другими словами: для того, чтобы гипотеза заслуживала вниманія и годилась для обсужденія, она должна быть доступна доказательствамъ. Въ этомъ единственномъ случаѣ онъ стоитъ на почвѣ чистаго позитивизма, хотѣлось-бы сказать: ультра—позитивизма. Здѣсь образуется непроходимая пропасть между изслѣдователемъ, открывающимъ научные факты и поэтомъ, создающимъ удобные для себя вымыслы. Нѣтъ сомнѣнія, что это лишь случайный просвѣтъ, ставящій Геродота рядомъ съ современнѣйшими изъ нашихъ современниковъ. Его взору, обостренному жаркой полемикой и желаніемъ превзойти своихъ предшественниковъ и соперниковъ, открывается во всей ясности основная методологическая истина: лишь вполне или частично доступныя провѣркѣ гипотезы оправдываются наукой. Если бы онъ уяснилъ себѣ самому все значеніе этой мысли—вѣроятно его испугала бы собственная смѣлость. Но и здѣсь оказывается справедливымъ глубокомысленное замѣчаніе Баттѣ (Batteux), что никогда не слѣдуетъ по отношенію къ древнимъ „довѣрчиво дѣлать выводы изъ ихъ принциповъ, или строить принципы на ихъ выводахъ“. Мы можемъ добавить, что это касается особенно тѣхъ древнихъ, которые стоятъ въ центрѣ переходной эпохи, какъ Геродотъ и Гекатей, эпохи съ которой мы теперь разстанемся, чтобъ при случаѣ разумѣется вновь возвратиться къ ней.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Врачи.

Эллинская нація имѣетъ за собой не одну заслугу. На ея долю, или по крайней мѣрѣ на долю тѣхъ геніальныхъ умовъ, которыхъ она создала, выпало грезить блестящіе спекулятивные сны. Имъ было дано создать несравненное въ области образовъ и словъ. Но болѣе чѣмъ несравненнымъ, прямо единственнымъ является другое твореніе греческаго духа: позитивная или раціональная наука. Если мы можемъ гордиться нашимъ господствомъ надъ природой и нашимъ пониманіемъ природы, служащимъ основой этому господству, если съ каждымъ днемъ мы все глубже проникаемъ, хотя и не въ сущность вещей, но все же въ связь феноменовъ, если науки о духѣ, идя по стопамъ естествознанія, начали познавать закономѣрную связь человѣческихъ отношеній и постепенно преобразовывая унаслѣдованное, занялись раціональнымъ устройствомъ жизни, руководясь отношеніемъ цѣлей и средствъ: то этими нашими пріобрѣтеніями мы обязаны творцамъ греческой науки. Нити связующіе древность и новое время легко прослѣдить, онѣ выступаютъ еще яснѣе въ теченіи настоящаго изложенія. На чемъ же основано это преимущество греческаго ума? Съ увѣренностью можемъ мы сказать, оно основывается не на спеціальному дарѣ эллинскаго народа. Научный смыслъ нельзя уподобить волшебному жезлу, который лишь въ рукахъ грековъ могъ добыть золото познанія изъ нѣдръ фактовъ. Другіе народы тоже могутъ гордиться успѣхами въ наукахъ: исчисленіе времени египтянъ, ученіе о звукахъ индійскихъ грамматиковъ могутъ выдержать сравненіе съ созданіями эллинскаго духа. Геродотъ видитъ преимущество Греціи въ „удивительно счастливомъ сочетаніи временъ года“. Тайна удивительнаго преусищванія заклю-

чается въ сочетаніи противоположностей. Чрезвычайное богатство творческой фантазіи и рядомъ съ нимъ всегда бодрствующее сомнѣніе, пытливое, не отступающее ни передъ какимъ дерзвеніемъ; могущественная способность къ обобщеніямъ въ соединеніи съ острой наблюдательностью, выслѣживающей всѣ особенности явленія; религія вполне удовлетворяющая душевныя потребности и не накладывающая оковъ на разумъ, анализирующей ея созданія. Къ этому нужно прибавить многочисленность различныхъ соревнующихъ между собою духовныхъ центровъ, постоянное столкновение силъ, исключющее возможность застоя, и въ концѣ концовъ государственное устройство и общественный укладъ, достаточно суровые, чтобы сдерживать „безпутныя дѣтскія стремленія“ безразсудныхъ, и достаточно свободные, чтобы не мѣшать смѣлому порыву выдающихся умовъ. Въ этомъ соединеніи даровъ и обстоятельствъ можно усмотрѣть источникъ преимущественнаго успѣха, котораго достигъ эллинскій духъ на поприщѣ научнаго изслѣдованія. На той точкѣ развитія, къ которой мы теперь переходимъ, особенно важно было особое напряженіе критической способности. Мы познакомились съ двумя теченіями, дававшими богатую пищу духу критики: это—метафизическо-діалектическія изслѣдованія элейцевъ и полуисторическая критика сказаній въ духѣ Геродота, и Гекатѣя. Третье теченіе вышло изъ школы врачей. Въ задачу этого направленія входило выдѣлить изъ наблюденія и познанія природы элементъ произвола, который въ большей или меньшей степени но всегда сопровождалъ начинанія. Укрѣпившееся наблюденіе и созданный имъ противовѣсъ послѣднимъ обобщеніямъ, критическое отношеніе утвердившаго себя чувственнаго наблюденія къ беспочвеннымъ фикціямъ, являются ли послѣдніе результатомъ необузданной фантазіи или созданіями апріорной спекуляціи—вотъ тѣ важные плоды, выросшіе на почвѣ занятій врачевнымъ искусствомъ. Прежде однако чѣмъ мы займемся врачевной наукой, постараемся познакомиться съ представителями этой отрасли знанія и ея источниками.

„Лѣкарь, право, стоитъ нѣсколькихъ другихъ людей“,—потомство не должно отвергать этой оцѣнки врачевнаго сословія, съ которой мы встрѣчаемся на порогѣ греческой литературы. Врачевное искусство первобытныхъ народовъ исходитъ изъ грубыхъ суевѣрій и изъ не менѣе грубаго опыта, плохо толкующаго факты; оно состоитъ изъ разныхъ чудодѣйственныхъ пріемовъ, частью безсмы-

сленныхъ, частью дѣйствительныхъ, хотя и возникшихъ на почвѣ нерасчлененнаго наблюденія. „Медикъ“ дикихъ, это главнымъ образомъ заклинатель, а кромѣ того хранитель старыхъ профессиональныхъ тайнъ, основанныхъ на истинномъ или мнимомъ опытѣ. Врачебная наука первыхъ индоевропейскихъ народовъ врядъ ли превзошла эту ступень. Мы имѣемъ памятникъ этой науки въ одной молитвѣ, индійская и германская версія которой настолько сходны, что въ первоначальномъ тождествѣ ихъ не можетъ быть сомнѣнія. Въ „пѣснѣ врача“ сохранился граціозный образъ самой древней медицинской практики въ Индіи; съ красивымъ ящикомъ для лѣкарствъ изъ фиговаго дерева бодро путешествуетъ онъ по странѣ, заботясь о полномъ выздоровленіи больныхъ, мечтая о богатомъ заработкѣ себѣ, которому нужны „конь, быкъ и одежда“. Его „травы извлекаютъ изъ тѣла все больное“, „всякая хворость бѣжитъ отъ нихъ, какъ отъ руки палача“; онъ называетъ себя не только „изгоняющимъ болѣзни“ но и „истребителемъ демоновъ“. Въ Индіи, какъ и повсюду въ былое время, болѣзнь признавалась либо посланнымъ богомъ наказаніемъ, либо дѣломъ враждебныхъ демоновъ, либо результатомъ людскихъ наговоровъ и чаръ. Гнѣвъ оскорбленнаго божества должно укрощать жертвами и молитвой, духа мучителя надо задобрить ласковымъ обращеніемъ къ нему или изгнать заклинаніемъ; вражеское преслѣдованіе отвращается протпвозаклинаніемъ и его по возможности обращаютъ на самаго заклинателя. Рядомъ съ заклинательными формулами, амулетами и символическими дѣйствіями, примѣняютъ цѣлительныя травы и мази, причемъ одно и то же цѣлебное средство примѣняется при различныхъ страданіяхъ. Все сказанное относится какъ къ индійскому врачебному искусству, какъ оно отразилось въ Атарва-Ведахъ, такъ и къ искусству врачеванія у всѣхъ остальныхъ первобытныхъ народовъ, а также и къ народному знахарству среднихъ вѣковъ и новаго, даже новѣйшаго времени. Сфера вліянія фантазіи здѣсь тѣмъ шире, что выборъ цѣлебнаго средства опредѣляется ассоціаціей идей въ бѣльшей степени, чѣмъ опытомъ. Такъ очанка считалась лѣкарствомъ противъ глазной болѣзни, потому что черное пятно въ вѣнчикѣ его цвѣтка напоминало зрачокъ, а красный цвѣтъ кровавика указывалъ на способность его останавливать кровотеченіе. Согласно египетскому повѣрью, кровь черныхъ животныхъ предохраняла отъ сѣдѣнія волосъ, а какъ въ былое время желтуха изгонялась въ желтыхъ птицъ въ Индіи,

въ Греціи, въ Италіи, такъ лечуть ее еще теперь въ Штиріи. Наибольше свободной отъ всякаго рода суевѣрій была хирургія, какъ мелкая, такъ и серьезная, достигшая поразительнаго развитія у всѣхъ народовъ древности, даже въ ту эпоху, о которой свидѣтельствуютъ намъ лишь доисторическія находки, такъ же, какъ у современныхъ дикарей, она не отступала передъ такими смѣлыми операціями какъ трепанація черепа или Кесарево сѣченіе.

Если мы обратимся къ самымъ старымъ свидѣтельствамъ греческой культуры, то насъ немало удивить, что Иліада не упоминаетъ ни о какихъ заговорахъ. Стрѣлы вынимаютъ изъ тѣла раненаго героя, кровотеченіе раны останавливаютъ, а саму рану смазываютъ мазью, истощенныхъ поятъ виномъ и другими напитками, но о какихъ-нибудь суевѣрныхъ приемахъ или заговорахъ не упоминается ни единымъ словомъ. Это обстоятельство, которое уже обратило на себя вниманіе древняго толкователя Гомера, вполне согласуется съ нѣкоторыми другими фактами, указывающими на зарю просвѣщенія. Позднѣйшая литература, начиная съ Гезіода, въ которой заговоры, амулеты, цѣлительные сны и т. д. играютъ такую большую роль, указываетъ на то, что это просвѣщеніе ограничивалось классомъ аристократіи. Уже Одиссея, рисующая зачатки городской жизни, и герой которой представляетъ собой значительно болѣе идеаль заблудившихся купцовъ и удалыхъ моряковъ, чѣмъ тѣхъ благородныхъ героевъ, упоминаетъ, по крайней мѣрѣ въ одномъ мѣстѣ, въ эпизодѣ объ охотѣ на кабановъ на Парнасъ, о заговорѣ или эподѣ, какъ о средствѣ для исцѣленія ранъ. Въ позднѣйшей эпической поэзіи впервые выступаютъ представители врачевнаго искусства, которые, подобно врачу въ Ригъ-Ведѣ, странствуютъ по городамъ и, подобно плотнику, пѣвцу, предсказателю, призываются на домъ въ качествѣ „работника“, чтобы за вознагражденіе оказать помощь нуждающимся въ немъ.

2. Сословіе врачей рано начало пользоваться уваженіемъ въ Эладѣ. На прелестномъ островѣ Косѣ и на сосѣднемъ полуостровѣ Книдосѣ, въ южной части западнаго малоазійскаго побережья, въ Кротонѣ Южной Италіи и въ далекой африканской Киренѣ, гдѣ произростало цѣнное какъ лечебное средство зонтичное растеніе, сильфіонъ, составлявшее королевскую регалію, — вотъ гдѣ находились самые старые и самые знаменитые разсадники вра-

чебнаго искусства. Города и князья наперерывъ одинъ передъ другимъ стремились пріобрѣсти услуги выдающихся врачей. Такъ кротонецъ Демокедъ былъ въ теченіе одного года на жалованіи города Афинъ, на слѣдующій годъ у общины Эгинцевъ, на третій у Поликрата. Его гонораръ быстро возвышался отъ 8.200 драхмъ или франковъ до 10.000 и до 16.400. Значительное обезцѣненіе денегъ съ того времени даетъ намъ далеко недостаточное представленіе объ этихъ суммахъ. Послѣ паденія властителя Самоса, онъ въ качествѣ плѣнника прибылъ въ Сузу, гдѣ мы видимъ его въ качествѣ „застольника“ и довѣреннаго совѣтчика царя Дарія (521—485). Опъ такъ хорошо пользовалъ послѣдняго и его супругу, что высокоцѣнимые придворные египетскіе врачи впали въ немилость и должны были опасаться за свою жизнь. Въ половинѣ пятаго столѣтія мы видимъ кипрскаго врача Оназилоса и его братьевъ при осадѣ города Эдаліона персами; они ухаживали за ранеными, пользовались большимъ уваженіемъ и были по княжески надѣлены богатыми имѣніями. Соотвѣтственно ихъ значенію, къ нимъ предъявлялись и высокія нравственныя требованія. Конечно въ томъ сословіи, члены котораго получали такое высокое вознагражденіе и пользовались такимъ почетомъ, не было недостатка въ шарлатанахъ и невѣжественныхъ мошенникахъ. Однако эти паразиты благороднаго отпрыска медицинской науки, если не были искоренены, то все же держались въ уздѣ благодаря высоко развитому сословному сознанію честнаго и искусства большинства врачей.

Мы обладаемъ документомъ, заслуживающимъ уваженія не только своей древностью: клятва врачей. Это крайне важный культурно-историческій памятникъ, который раскрываетъ намъ не одно внутреннее устройство цеха, но и указываетъ на тѣ моральныя требованія, какія предъявлялись къ врачамъ. Мы совершенно ясно наблюдаемъ здѣсь переходъ отъ замкнутой касты къ свободному практикованію медицинскаго искусства. Ученикъ обѣщаетъ уважать учителя какъ родителей, помогать ему во всякой нуждѣ и безвозмездно обучать его потомковъ, если они пожелаютъ избрать ту же профессію, и, кромѣ собственныхъ сыновей и учениковъ, обязавшихся договоромъ и клятвой, не обучать никого другого. Больному, такъ клянется онъ, будетъ онъ помогать „по мѣрѣ знанія и силъ“ и не будетъ примѣнять медицинскихъ средствъ во вредъ кому-либо и съ преступною цѣлью. Онъ не дастъ яду и тѣмъ, которые будутъ просить его объ этомъ, такъ же онъ не

будеть примѣнять средствъ для вытравливанія плода у женщинъ, наконецъ, онъ не произведетъ кастраціи даже въ томъ случаѣ, если это нужно для выздоровленія (эта операція особенно претила чувству греческаго народа). Наконецъ онъ общается не злоупотреблять своимъ искусствомъ въ особенности въ эротическихъ цѣляхъ какъ по отношенію къ свободнымъ, такъ и по отношенію къ рабамъ обоихъ половъ, и хранить всѣ тайны, узанныя имъ какъ при исполненіи своей профессіи, такъ и внѣ ея. Такимъ общаніемъ, сопровождаемымъ повторнымъ торжественнымъ призываніемъ боговъ, заканчивается знаменательный документъ. Его значеніе тѣмъ больше, что при отсутствіи всякаго государственнаго надзора онъ является единственнымъ руководящимъ принципомъ при пользованіи врачебнымъ искусствомъ. Многочисленныя мѣста медицинскихъ сочиненій этой эпохи служатъ его дополненіемъ: въ нихъ сурово бичуется и самоувѣренность невѣжества и мошенничество шарлатановъ. Врачи, являющіеся врачами „не по дѣлу, а только по имени“, сравниваются съ „нѣмыми персонажами“ или статистами драмы. Смѣлости знанія противопоставляется дерзость, какъ порожденіе невѣжества. Запрещается торговаться изъ-за гонорара, и въ случаѣ сомнѣнія рекомендуется привлечь другихъ врачей. Мы знакомимся здѣсь съ прекраснымъ изреченіемъ: „Гдѣ нѣтъ недостатка въ любви къ людямъ, тамъ не будетъ недостатка и въ любви къ своему призванію“. Когда представляются различные способы лѣченія, то слѣдуетъ выбирать наименѣе обращающій на себя вниманіе, наименѣе сенсаціонный; только „обманщики“ стремятся ослѣпить паціента искусственными и ненужными приемами. Порицается выступленіе передъ публикой въ цѣляхъ популярности съ рѣчами, въ особенности напичканными цитатами изъ поэтовъ. Осмѣиваются врачи, воображающіе, что они безошибочно узнаютъ о всѣхъ даже самыхъ мелкихъ нарушеніяхъ своихъ предписаній. Наконецъ слѣдуютъ точныя правила, какъ держать себя: предписывается самая педантичная чистота, рекомендуется изящество въ одеждѣ, которое не должно доходить до роскоши, при чемъ указываются такія детали, какъ напримѣръ то, что должно употреблять благовонія, но умѣренно.

3. Мы незамѣтно дошли до ряда сочиненій, приписываемыхъ „отцу медицины“. Гиппократъ, „великій“, какъ его называетъ уже Аристотель, родился на островѣ Косъ (460). Онъ былъ для всего

древняго міра тиномъ совершеннаго врача и писателя. Слава его далеко превзошла славу всѣхъ его товарищей по призванію. Этимъ и объясняется то, что огромное собраніе сочиненій носило его имя, хотя нѣтъ никакого сомнѣнія, что оно заключается въ себѣ произведенія различныхъ авторовъ и даже различныхъ враждующихъ между собою школъ. Это было извѣстно уже въ древности, хотя попытка древнихъ ученыхъ подраздѣлять ихъ имѣла такъ же мало успѣха, какъ и попытка современныхъ и самыхъ послѣднихъ критиковъ. Здѣсь не мѣсто касаться этой проблемы, одной изъ самыхъ трудныхъ въ исторіи литературы. Какъ имена авторовъ, такъ и время возникновенія этихъ сочиненій остаются скрытыми для насъ.

Намъ достаточно того, что мы можемъ утверждать, что за самыми незначительными исключеніями ни одна часть такъ называемаго Гиппократовскаго собранія не позднѣе начала четвертаго столѣтія. Такимъ образомъ эти сочиненія могутъ служить достовѣрнымъ свидѣтельствомъ занимающей насъ эпохи. Специальная наша тема даетъ намъ указаніе на правильность сдѣланнаго вывода. Въ этой массѣ книгъ изъ философовъ упоминаются лишь два: Мелиссъ и Эмпедоклъ. Другіе философы, вліяніе которыхъ обнаруживается въ одной или другой книгѣ, суть: Ксенофанъ, Парменидъ, Гераклитъ, Алкмеонъ, Анаксагоръ и неизвѣстный еще нашимъ читателямъ Діогенъ изъ Аполлоніи. Нѣтъ ни одного хотя бы самаго незначительнаго указанія, которое бы заставляло передвинуть указанную нами границу. Какъ странно было бы предположить, что въ эпоху духовнаго подъема и удивительно быстрого обмѣна идей, авторы медицины утверждали или опровергали такія системы, которыя либо устарѣли, либо приходили въ упадокъ. Два или три исключенія, если бы такія оказались въ дѣйствительности, не могутъ опровергнуть правильности нашихъ выводовъ о взаимодѣйствіи медиковъ и философовъ.

Ибо такое взаимоотношеніе существовало, если его часто и искали не въ надлежащихъ мѣстахъ и не достаточно глубоко. Дѣло не во внѣшнихъ совпаденіяхъ, къ которымъ относится четверное число тѣлесныхъ соковъ (кровь, слизь, желтая и черная желчь), играющихъ роль въ здоровіи и болѣзняхъ человѣка, и параллельное четверное количество элементовъ Эмпедокла, и не въ словесныхъ совпаденіяхъ, которыя не необходимо основываются на заимствованіяхъ и которыя даже и въ этомъ случаѣ не указы-

вають на заимствованія теорій. Дѣйствительно важнымъ здѣсь является духъ и методъ изслѣдованія. Мы должны вернуться назадъ. Несомнѣнно было время, когда весь научный запасъ греческаго знахаря равнялся приблизительно знаніямъ египетскаго практика' и состоялъ изъ волшебныхъ фѳормулъ и рецептовъ. Эмансипація отъ первоначальнаго суевѣрія, совершившаяся поразительно рано въ однихъ слояхъ народа, сравнительно поздно и никогда совершенно въ другихъ, привела и къ освобожденію терапіи отъ ингредиентовъ суевѣрія. Конечно, не къ полному освобожденію, ибо та народная медицина, въ которой заговоры и амулеты играютъ значительную роль, никогда совершенно не исчезла. Различіе эпохъ обнаруживается лишь въ томъ, что изживающее суевѣріе все болѣе стремится прикрыть свое убожество блестящей мишурой и прибѣгаетъ къ чужеземнымъ авторитетамъ, вродѣ аракійскихъ врачей, гетскихъ и гиперборейскихъ кудесниковъ (Залмоксисъ и Абарисъ) и персидскихъ маговъ; въ концѣ концовъ потокъ халдейскаго и египетскаго суемудрія воспринялъ въ себя весь этотъ чудодѣйственный хламъ и унесъ въ своемъ расширенномъ руслѣ. Рядомъ съ мірскимъ врачебнымъ искусствомъ постоянно существовало также и жреческое или гіератическое. Мы упоминаемъ лишь вскользь о снѣ во храмѣ и о пѣлебныхъ сновидѣніяхъ въ святилищѣ Асклепія. Эти суевѣрные способы, освященные національной религіей, тоже сдѣлались скоро предметомъ насмѣшекъ людей просвѣщенныхъ (достаточно вспомнить извѣстную сцену въ „Плутосѣ“ Аристофана), но они не потеряли своего значенія въ широкихъ слояхъ народа, и даже, напримѣръ, высоко цѣнились такимъ сумасброднымъ „образованнымъ чловѣкомъ“, какимъ былъ риторъ Аристидъ въ эпоху римскихъ императоровъ,—въ концѣ концовъ они даже пережили язычество. Не ослабѣвавшая притягательность этихъ мѣстъ объясняется отчасти примѣненіемъ также и раціональныхъ способовъ лѣченія, отчасти ихъ здоровымъ положеніемъ и окрестностями. Такъ, самый извѣстный изъ этихъ священническихъ курортовъ, Эпидавръ, расположенный недалеко отъ моря въ холмистой мѣстности, окруженный чудными хвойными лѣсами, защищенный высокимъ кражемъ отъ суроваго сѣвернаго вѣтра и снабженный прекрасной водой, отвѣчалъ вѣмъ требованіямъ современныхъ санаторій. Для развлеченія и увеселенія публики служили ипподромъ и театръ, остатки котораго сохранились до сихъ поръ. Въ древности утверждали, что свѣтская медицина въ значительной степени восполь-

зовалась замѣтками священниковъ о теченіи и лѣченіи болѣзней. Трудно этому вѣрить. Съ недавняго времени мы обладаемъ длиннымъ спискомъ подобныхъ замѣтокъ, найденныхъ въ Эпидаврѣ; они мало пригодны для медицинской науки. Съ большимъ правомъ ихъ можно было бы помѣстить въ „Тысячъ и одной ночи“. Разбитый бокалъ, который становится цѣлымъ безъ содѣйствія руки человѣка, голова, отдѣленная отъ туловища, которую подчиненные демоны, отрубившіе ее, не могутъ приставить, пока не является самъ Асклепій, совершающій это чудо,—вотъ примѣры тѣхъ сказокъ, о которыхъ намъ повѣствуютъ найденныя надписи. Дѣйствительно вліяющіе факторы діететики, или терапевтики какъ у этихъ врачей-священниковъ, такъ и у другихъ волшебниковъ частью ими самими не замѣчаются, частью намѣренно оставляются въ тѣни и скорѣе скрывались, чѣмъ предавались потомству. Свѣтская медицина прогрессировала, потому что матеріалъ наблюденія постоянно увеличивался, потому что богатое наслѣдіе столѣтняго опыта усваивалось потомствомъ и потому, наконецъ, что и врачи не были лишены той способности зоркой наблюдательности, которою столь богаты были одарены поэты и художники эллинской націи. Накопленіе и классификація сырого матеріала заложили по крайней мѣрѣ фундаментъ для зданія научной медицины. Возведеніе самого зданія оставалось задачей далекаго будущаго. Для этого необходима была другая предварительная работа, явившаяся результатомъ стремленія къ обобщенію, которое взросло и окрѣпло въ философскихъ школахъ Греціи болѣе, чѣмъ гдѣ бы то ни было.

Намъ нѣтъ надобности напоминать читателю о врачѣ-философѣ Алкмеонѣ и его фундаментальныхъ открытіяхъ. Разносторонности, какою была одарена личность Эмпедокла, не были лишены и врачи. Новѣйшія открытія показываютъ намъ еще нѣсколькихъ лицъ, соединяющихъ въ себѣ философовъ и врачей: таковы Филолай, Гиппонъ и названный выше Діогенъ изъ Аполлоніи. Но гораздо важнѣе такой личной связи была реальная связь обѣихъ областей. Къ объединенію этихъ областей побуждало убѣжденіе, постепенно укоренившееся въ тогдшнемъ образованномъ обществѣ, которое можно формулировать слѣдующимъ образомъ: человѣкъ, составляющій часть цѣлаго природы, не можетъ быть понятъ безъ послѣдней. Необходимо удовлетворительное общее представленіе о всемъ совершающемся. Если мы приобрѣ-

темъ его, то оно дастъ намъ ключъ къ раскрытію тайнъ врачебнаго искусства. Эту точку зрѣнія раздѣляетъ извѣстная часть такъ называемыхъ гиппократскихъ сочиненій. Они опираются на натурфилософскія системы или болѣе или менѣе эклектически пользуются ими. Большая часть ихъ примыкаетъ къ медицинскимъ ученіямъ книдской школы, при чемъ въ настоящее время нельзя точно установить, случайная ли это связь, или она обусловлена характеромъ этихъ доктринъ. Въ пользу послѣдняго говоритъ то обстоятельство, что именно у книдянъ преобладало болѣе физическое воззрѣніе на явленія жизни, напоминающее взгляды Эмпедокла (стр. 205). Такимъ образомъ мы можемъ различать двѣ большихъ группы медицинскихъ сочиненій; одни, въ которыхъ эта точка зрѣнія господствуетъ, другія—не раздѣляющія ея. Мы начнемъ съ первыхъ не потому, чтобы мы могли съ увѣренностью утверждать, что каждое сочиненіе первой группы древнѣе каждаго сочиненія второй, но въ такомъ отношеніи находятся основныя ихъ теченія и главныя ихъ творенія. Натурфилософія пріобрѣтаетъ вліяніе на врачебное искусство и начинаетъ преобразовывать его; затѣмъ наступаетъ обратное теченіе противъ такого вліянія и попытка вернуться къ старой—болѣе эмпирической—медицинѣ. Въ дальнѣйшемъ мы прослѣдимъ эту борьбу и ея исходъ, при чемъ—соотвѣтственно плану этого сочиненія—ограничимся наиболѣе характерными для ученій и методовъ обоихъ направленій моментами.

4. Авторъ творенія, обнимающаго четыре книги, „О дѣтѣ“ (можетъ быть Геродикъ изъ Селимбріи) выставляетъ въ началѣ книги слѣдующее положеніе. „Я утвержаю“, заявляетъ онъ въ заключеніи своего предисловія, „что тотъ, кто хочетъ правильно писать о дѣтѣ человѣка, долженъ прежде всего знать и познать природу человѣка. Онъ долженъ знать составныя части, изъ которыхъ она первоначально слагается; онъ долженъ узнать, что въ ней преобладаетъ. Ибо, если онъ не знаетъ первоначальнаго состава, то онъ не можетъ знать, каково его вліяніе, онъ не можетъ тогда знать, что человѣку нужно“. Дальнѣйшимъ требованіемъ выставляется знаніе состава всякой пищи и питья, и затѣмъ указывается на связь между работой и питаніемъ. „Ибо работа поглощаетъ имѣющееся въ наличности, а пища и питье имѣютъ цѣлью вновь заполнить (образовавшуюся) пустоту“. Пра-

вильное соотношеніе между работой и питаніемъ въ связи съ особенностью отдѣльнаго лица, съ возрастомъ, съ временемъ года, съ климатомъ и т. п. является основнымъ условіемъ здоровья. Здоровье можно было бы оградить отъ всякаго нарушенія, если бы отъ врача не ускользала еще до заболѣванія одинъ факторъ, именно индивидуальная конституція даннаго лица. Онъ обращается послѣ этого къ элементамъ тѣла человѣка и животныхъ; такихъ элементовъ два: огонь и вода. Мы видимъ здѣсь вліяніе Парменида, тогда какъ въ остальномъ онъ находится въ зависимости отъ гераклитовскихъ ученій. Въ огнѣ онъ видитъ универсальный принципъ движенія. „Когда огонь достигаетъ крайней границы воды“—авторъ очевидно имѣетъ въ виду движеніе небесныхъ тѣлъ—„то у него не оказывается больше пищи, онъ останавливается и снова возвращается къ источнику своего питанія; когда вода достигаетъ границы огня, то у нея изсыкаетъ движеніе, она останавливается и... поглощается какъ пища охватывающимъ огнемъ“. Существованіе вселенной въ ея настоящемъ состояніи обуславливается тѣмъ, что ни одинъ изъ этихъ двухъ элементовъ не получаетъ преобладанія. Внутреннюю связь указанной выше фізіологической теоріи съ этимъ ученіемъ о матеріи составляетъ—можетъ быть, заимствованная у Алкмэона—идея равновѣсія, въ первомъ случаѣ работы и питанія, во второмъ космическихъ носителей этихъ функцій.

Мы остановимся на этомъ. Для проникательнаго читателя сказаннаго вполнѣ достаточно, чтобы по крайней мѣрѣ приблизительно оцѣнить слабыя и сильныя стороны этого своеобразнаго сочиненія. Мы встрѣчаемъ мысль, значеніе которой, правда, нерасцѣнено ея авторомъ; ее можно выразить такъ: ненарушенное отправленіе организма обуславливается равновѣсіемъ полученія и сдачи. Мы намѣренно выбираемъ слова, чтобы избѣжать подозрѣнія, что мы, хотя бы ненамѣренно, приписали древнему автору современную мысль. Намъ станетъ понятнѣе это широкое обобщеніе, если вспомнимъ, что не въ столь широкой формѣ оно встрѣчается у другихъ медицинскихъ повидимому болѣе старыхъ писателей. Еврифонъ, глава книдской школы, ранній современникъ Гиппократы, предполагалъ причины болѣзни въ „избыточности“ пищи. Другой (?) книдецъ, по имени Геродикосъ, еще болѣе приближался ко взгляду нашего діететика: „Люди заболѣваютъ, когда при недостаточномъ движеніи они принимаютъ (обильную) пищу“. Во вся-

комъ случаѣ установленіе фундаментальной истины во всей ея общности остается заслугой нашего автора, и онъ одинаково со своими менѣе значительными предшественниками заслуживаетъ упрека въ томъ, что видѣлъ одну лишь причину здоровья. Требовать отъ піонера науки, чтобы онъ открылъ еще другія важныя истины и держался въ границахъ ихъ распространности, чтобы онъ слѣдовалъ потребности обобщенія и умѣлъ бы въ то же время въ достаточной мѣрѣ сдерживать эту потребность, значило бы требовать слишкомъ многого. Значенію достигнутаго результата вредить желаніе дать фізіологіи космологическую основу, желаніе само по себѣ похвальное, но недостижимое при недостаточныхъ средствахъ не только тогдашняго знанія. Чисто спекулятивное ученіе о матеріи и поразительно примитивное, прямо антропоморфическое представленіе о небесныхъ тѣлахъ должны были сами по себѣ причинять значительный вредъ. Также и безусловно грандіозная мысль, которая чаще тормозила, чѣмъ содѣйствовала успѣху изслѣдованія даже въ позднѣйшія эпохи, мысль, что человекъ является „отображеніемъ вселенной“, микрокосмомъ наряду съ макрокосмомъ, могла въ концѣ концовъ приводить лишь къ фантастическимъ сравненіямъ, напоминающимъ Шеллинго-Окенскую натурфилософію, вродѣ сравненія „желудка“, этой общей „кладовой, которая всѣхъ снабжаетъ и отъ всѣхъ получаетъ“, съ „моремъ“. Однако высокія начинанія нашего дѣтетика разбиваются не объ эти объективныя границы. Широта мысли ему болѣе свойственна, чѣмъ ясность ея. Онъ какъ бы охьяненъ загадочной мудростью Гераклита. Спокойному ходу его мыслей и изложенія существенно мѣшаетъ потребность освѣщать ученіе своего учителя новыми примѣрами, заимствуемыми изъ различныхъ областей. Въ значительной степени пользуется онъ также правомъ противорѣчить себѣ, правомъ по видимому узаконеннымъ примѣромъ эфесца и его парадоксальнымъ языкомъ. Въ одномъ мѣстѣ совершенно словами Гераклита говоритъ онъ о постоянномъ безостановочномъ „превращеніи“ матеріи; въ другомъ мѣстѣ сводитъ онъ все „возникновеніе и уничтоженіе“, точно слѣдуя Анаксагору и Эмпедоклу, къ „соединенію и раздѣленію“ и объясняетъ это словоупотребленіе приспособленіемъ къ популярной мысли и языку. Вообще онъ обязанъ Эмпедоклу многимъ такимъ, въ чемъ онъ не смогъ бы разобраться при помощи своихъ гераклитовскихъ представленій. Въ концѣ концовъ провозглашенный имъ вна-

чалъ законъ далеко не даетъ въ примѣненіи къ отдѣльнымъ случаямъ того, что общалъ. Правда, онъ остается руководящей точкой зрѣнія для большого числа діететическихъ предписаній, относящихся къ вопросамъ питанія и гимнастическихъ упражненій, трактуемыхъ особенно детально. Однако тщетно возобновляемые попытки вывести различія тѣлесныхъ и душевныхъ состояній изъ отношенія двухъ фиктивныхъ основныхъ элементовъ вредятъ и этой наиболее важной части сочиненія, гдѣ мы находимъ, впрочемъ, много фактическихъ наблюденій и даже одинъ оригинальный экспериментъ (искусственно вызываемая рвота для изслѣдованія степени сваренія различныхъ одновременно принятыхъ яствъ).

И въ концѣ концовъ заключительная часть! Хорошо сложенное тѣло женщины заканчивающееся рыбьимъ хвостомъ,—такъ можно охарактеризовать его словами Горація. Здѣсь говорится о „снахъ“. Она начинается уже знакомымъ намъ по Геродоту (стр. 230) различеніемъ сверхестественныхъ и естественныхъ разсказахъ о снахъ. Объясненіе первыхъ предоставляется специальнымъ толкователямъ сновъ, которые—и это къ сожалѣнію говорится безъ ироніи—обладаютъ „точными знаніями“ на этотъ счетъ. Сны, происходящіе отъ естественныхъ причинъ, должны давать возможность заключать о состояніи тѣла. По нѣкоторымъ снамъ можно вывести заключеніе о переполненіи желудка и устранить ихъ слабительнымъ средствомъ. Однако авторъ не долго остается въ границахъ разсужденій, которыя хотя и не общаютъ богатыхъ результатовъ, все же не переходятъ въ фантазію. Онъ скоро уже всецѣло уходитъ въ дѣтскія суевѣрія, прибѣгая къ наивнымъ обоснованіямъ въ стилѣ Артемидора и дѣлая заключенія, которыхъ мы не будемъ касаться.

Столь же противорѣчивъ и не менѣе привлекателенъ другой авторъ, съ которымъ мы знакомимся по маленькой книгѣ: „О мускулахъ“. Это сочиненіе указываетъ на предыдущее и общаетъ продолженіе; оно является, слѣдовательно, небольшой частью обширнаго сочиненія „О медицинской наукѣ“. Авторъ даетъ понять, что онъ практикъ съ большимъ опытомъ, который не мало видѣлъ и умѣетъ хорошо наблюдать, правда, лишь до тѣхъ предѣловъ, пока его наблюденію не мѣшаютъ предвзятая мнѣнія. Онъ первый опредѣлилъ, что такъ называемый спинной мозгъ совсѣмъ не есть костный мозгъ, что онъ соединенъ съ головнымъ мозгомъ и заключенъ въ оболочку, такимъ образомъ онъ, по край-

ней мѣръ несравненно ближе къ познанію его истинной природы и роли чѣмъ его предшественники. Онъ видѣлъ самоубійць, хотѣвшихъ перерѣзать себѣ горло и которые лишились голоса вслѣдствіе пораненія гортани; они снова пріобрѣтали способность голоса при закрытіи раны; онъ дѣлаетъ правильное заключеніе, что они лишились голоса оттого, что воздухъ выходитъ изъ отверстія раны и примѣняетъ это наблюденіе къ вѣрной теоріи образованія звуковъ голоса. Онъ не довольствуется одними наблюденіями или случайнымъ опытомъ при пораненіи и медицинской помощи; онъ самъ предпринимаетъ эксперименты, правда въ небольшомъ масштабѣ. Онъ знаетъ, что извлеченная изъ тѣла кровь свертывается, но онъ взбалтывалъ ее и этимъ предупреждалъ образованіе сгустковъ. Для изслѣдованія качествъ различныхъ тканей, онъ подвергалъ ихъ кипяченію и различалъ ткани легче и труднѣе подвергавшіяся сваренію; отсюда онъ дѣлалъ выводы объ ихъ составѣ. И однако, на ряду съ такими вѣрными наблюденіями, методическими опытами, правильными выводами, какая масса поразительно странныхъ ошибочныхъ наблюденій и произвольныхъ утвержденій! Вѣра въ значеніе числа семи, которое управляетъ всѣми явленіями природы и человѣческой жизни дѣлаетъ его прямо слѣпымъ къ очевиднымъ фактамъ. Такъ, напримеръ, онъ смѣло утверждаетъ, что недоношенный восьмимѣсячный ребенокъ никогда не оставался въ живыхъ! Рядомъ съ нормальнымъ временемъ беременности, девять мѣсяцевъ и десять дней ($280 = 40 \times 7$) только срокъ 7 мѣсяцевъ даетъ надежду на сохраненіе жизни. Онъ видѣлъ также семидневныхъ эмбрионовъ, у которыхъ можно было уже ясно различить всѣ части тѣла. Для него также является вполне установленнымъ что воздержаніе отъ пищи и питья можетъ продолжаться только семь дней, не приводя къ смерти въ теченіи этого промежутка времени, или позже (прибавляетъ онъ достаточно наивно). Тѣ, которые по прошествіи семи дней отказывались отъ этого способа самоубійства—нерѣдкаго въ древности—не могли уже быть спасены; тѣло ихъ отказывалось принимать предлагаемую пищу.

Послѣдовательность мышленія нашего врача уступала не только обольстительной силѣ числа. Онъ не могъ устоять и передъ другими соблазнами воображенія. Но какіе другіе отвѣты кромѣ фантастическихъ допускали вопросы, для рѣшенія которыхъ не было соотвѣтствующихъ средствъ не только въ древности, но которые даже и теперь не могутъ рассчитывать на приблизи-

тельное рѣшеніе. Предпринимаемая имъ попытки обречены заранѣе на бесплодность, сама постановка вопроса окончательно осуждена современной наукой. Нашего автора занимаетъ загадка органическаго творчества. Однако всякое представленіе объ эволюціи ему чуждо, а потому онъ стремится не къ тому, къ чему тщетно стремились самые пытливые наши современники, къ вопросу о возникновеніи на землѣ простѣйшихъ организмовъ; онъ хочетъ возсоздать изъ матеріи непосредственно человѣка, вершину земного живого міра,—и изъ какихъ еще элементовъ! Изъ теплаго и холоднаго, изъ сырого и сухого, изъ жирнаго и кашеобразнаго возникаютъ чрезъ гніеніе и отверденіе, чрезъ сгущеніе и утонченіе, чрезъ сплавленіе и кипяченіе отдѣльныя ткани и образуемый ими организмъ. Только въ видѣ исключенія въ этомъ догматическомъ и аподиктическомъ изложеніи попадаются фразы вродѣ: „мнѣ кажется“, указывающія на присутствіе сомнѣнія у автора. „Вотъ какъ возникло легкое“, „вотъ какъ возникла печень“, „селезенка образуется слѣдующимъ образомъ“, „суставы образуются слѣдующимъ образомъ“, „такъ вырастаютъ зубы“—такъ утомительно однотонно начинаются одна за другой отдѣльныя главы. Содержаніе ихъ несущественно нашимъ читателямъ. Сейчасъ намъ интересна лишь та ступень мысли, при которой возникаютъ эти преждевременныя попытки проникнуть въ тайны жизни природы. Мы должны однако побороть въ себѣ непріятное чувство отъ несообразности предпріятія автора и постараться открыть скрытое подъ фантастической внѣшностью здоровое зерно. Здѣсь всплываетъ мысль, которую не будетъ отрицать и наука нашихъ дней. Врачебное искусство, говоримъ мы, основывается на знаніи процессовъ болѣзней, а эти послѣдніе на знакомствѣ съ здоровой жизнью; знаніе устройства тѣла предполагаетъ знакомство съ органами его составляющими; а пониманіе послѣднихъ требуетъ знанія элементарныхъ составныхъ частей ихъ, веществъ и силъ на нихъ вліяющихъ; въ концѣ концовъ говоря словами Аристотеля, „кто наблюдаетъ вещи при ихъ возникновеніи, тотъ видитъ ихъ наилучшимъ (самымъ прекраснымъ) образомъ“. Другими словами: терапію надо основать на патологій, патологию на физиологій и анатоміи, объ послѣднія на гистологій, химіи и физикѣ; ученіе объ эволюціи указываетъ путь, ведущій отъ самыхъ низкихъ и простыхъ организмовъ до самыхъ высокихъ и сложныхъ; и какъ послѣдняя манящая цѣль еще недостигнутое прозрѣніе возникновенія органическаго изъ неоргани-

ческаго. Въ попыткѣ нашего автора отсутствуютъ всё промежуточные ступени или опѣ только слабо намѣчаются, конецъ длиннаго ряда прямо и непосредственно примыкаетъ къ началу. Однако это дерзновеніе столь характерное для нашего автора становится намъ понятнымъ, если мы будемъ смотрѣть на него, какъ на результатъ дѣтскаго ума, исполненнаго безмѣрной надежды и еще неотрезвленнаго неудачей, ума, которому высшая цѣль познанія представляется столь близкой, что нужно лишь протянуть къ ней руку. Авторъ книги „О мускулахъ“ приверженецъ натурфилософіи и не только духъ его изслѣдованія и частности его ученія обнаруживаютъ въ немъ ученика Гераклита, Эмпедокла и Анаксагора, писавшаго именно въ то время, когда началось эклектическое смѣшеніе этихъ доктринъ. Въ началѣ своего сочиненія онъ указываетъ на „общія ученія“ предшественниковъ и находитъ нужнымъ предпослать о „небесныхъ вещахъ“ статью, чтобы показать, „что такое человѣкъ и другія животныя, какъ они возникли, что такое душа, что такое здоровье и болѣзнь, что въ человѣкѣ злое и доброе и откуда приходитъ смерть“. За основное начало онъ считаетъ „теплое, которое безсмертно, которое все познаетъ, видитъ и слышитъ, знаетъ все настоящее и будущее“. Большая часть этого начала отошла въ верхнюю небесную сферу въ эпоху „катастрофы“ вселенной (являющейся для него какъ для Анаксагора и Эмпедокла исходнымъ пунктомъ космической жизни); это именно то, что древніе называли эфиромъ. И „обращеніе“ космоса представляется ему результатомъ этой катастрофы. Въ дальнѣйшія частности его ученія намъ нѣтъ повода входить.

Сочиненіе „О числѣ семи“, сохранившееся болѣе въ арабской и латинской передачѣ, которое мы считаемъ продолженіемъ книги „О мускулахъ“ (кстати сказать, неудачно озаглавленной) не надолго займетъ наше вниманіе. Народное представленіе о выдающемся значеніи этого числа находитъ широкое примѣненіе здѣсь. Мы еще разъ узнаемъ, что „эмбрионъ слагается въ теченіи семи дней и къ концу этого срока являетъ форму человѣка“. Снова, какъ въ книгахъ „О дѣтѣ“, намъ указываютъ на „семь гласныхъ“, т. е. на семь знаковъ гласныхъ греческаго языка, среди которыхъ находятся ϵ и ω , тогда какъ для удлинненныхъ α , ι и υ случайно не оказывается соответствующихъ знаковъ! О господствѣ числа семи при разграниченіи возрастовъ говорилъ никто иной, какъ Солонъ. Но и все міровое цѣлое, вѣтры, времена

года, человѣческая душа, человѣческое тѣло, устройство головы— все это якобы подчинено числу семи. Другая мысль, лежащая въ основѣ этого сочиненья, тоже извѣстно намъ изъ сочиненія „О дѣтѣ“, сравненіе отдѣльнаго существа съ міровымъ цѣлымъ, аналогія микрокосма и макрокосма. Послушаемъ самаго автора: „Животныя и растенія на землѣ обладаютъ свойствами одинаковыми со свойствами вселенной. Но если совпадаетъ цѣлое, то и части, его составляющія, должны обнаруживать то же сходство... Земля крѣпка и неподвижна, своими каменными, внутренними частями она подобна костямъ... Что окружаетъ эти послѣднія, схоже съ мясомъ человѣка... Вода въ рѣкахъ подобна крови, текущей въ жилахъ“ и т. д. Это сравненіе земли съ человѣческимъ тѣломъ продолжается далѣе, при чемъ семи частямъ тѣла противопоставляется семь частей земли. Целопонесъ, какъ „мѣсто-пробываніе благородно мыслящихъ людей“, ставится въ параллель съ „головой и лицомъ“, Іонія сравнивается съ грудобрюшной преградой, Египетъ и Египетское море съ животомъ, и тому подобное. Эти и подобныя проявленія необузданной фантазіи, находящія аналогію, можетъ быть, только въ алхиміи арабовъ съ ихъ семью металлами, семью камнями, семью летучими тѣлами, семью естественными и семью искусственными солями, семью родами квасцовъ, семью главными химическими операціями и т. д., должны были вызвать реакцію. Эта реакція наступила и наступленіе ея было зарей истинной греческой и западной науки.

5. Безъ дерзновенія и радости дерзанія нѣтъ науки или по крайней мѣрѣ познанія природы. Завоеваніе новой области знанія во многомъ напоминаетъ покореніе дѣвственной страны. Могущественныя обобщенія, не отступающія ни передъ какимъ препятствіемъ, соединяють подобно дорогамъ безчисленное множество раздѣленныхъ до того времени пунктовъ. Смѣлыя заключенія по аналогіи какъ бы перебрасываютъ громадныя арки черезъ пропасти. Наконецъ построеніе гипотезъ даетъ хотя временное убѣжище, пока ихъ мѣсто не заступятъ болѣе красивыя зданія, возведенныя на глубокомъ фундаментѣ изъ прочнаго матеріала. Однако, горе переселенцамъ, если ихъ рукой руководило болѣе слѣпое рвеніе, чѣмъ разумный расчетъ. Дороги заросли, богатыя зданія разрушены, города опустѣли. Такая судьба грозила созданіямъ духа той эпохи. За учебными годами, давшими въ результатъ голое накопленіе фактовъ, слѣдовали годы

ски тал чества блуждающей спекуляціи; они длились достаточно долго. Если наукѣ суждено было утвердиться, то этой пустой игрѣ ума долженъ былъ быть положенъ конецъ и должны были настать годы спокойной и методической обработки научнаго матеріала. Вѣчной заслугой греческой медицинскои школы останется, что она совершила этотъ поворотъ въ области врачебнаго искусства и этимъ оказала самое благотворное вліяніе на всю умственную жизнь человѣчества. „Это фикція, а это реальность“, таковъ былъ вначалѣ боевой кличъ въ борьбѣ противъ наростовъ и увлеченій натурфилософіи. И гдѣ же, какъ не на этой почвѣ, было возникнуть этой борьбѣ? Серьезная и благородная профессія врача, заставлявшая его ежедневно и ежечасно смотрѣть въ лицо природы, профессія, при которой теоретическія ошибки являлись причиной самыхъ губительныхъ практическихъ слѣдствій, была во всѣ времена школой настоящаго и неподкупнаго чувства истины. Лучшіе врачи должны быть и лучшими наблюдателями. Но тотъ, кто ясно видитъ, отчетливо слышитъ, вообще обладаетъ здоровыми чувствами, обостренными и утонченными отъ постоянного употребленія, тотъ рѣдко становится мечтателемъ. Граница, отдѣляющая дѣйствительность отъ образовъ фантазіи, какъ бы углубляется для него и расширяется до непереступаемой пропасти. Онъ будетъ постоянно бороться противъ проникновенія фантазіи въ область познанія. И въ нашъ вѣкъ освобожденіе отъ гнета натурфилософіи началось въ средѣ врачей. Самые язвительные отзывы объ ея заблужденіяхъ и ея пагубномъ вліяніи раздаются еще сейчасъ изъ устъ тѣхъ, кто когда-то преклонялся предъ великимъ физиологомъ и анатомомъ Иоганномъ Мюллеромъ. Не слѣдуетъ возрожать на это указаніемъ на то, что между натурфилософіей Шеллинга или Окена и натурфилософіей Гераклита и Эмпедокла совпаденіе только случайное, что здѣсь лишь сходство въ названіи. Важнѣе напомнить, что недостатокъ строгости мысли, образующій общую характерную черту въ современномъ направленіи и въ древнемъ, гораздо простительнѣе на той ранней ступени развитія, чѣмъ въ настоящее время. Что здѣсь есть результатъ вырожденія, регресса, проявленіе старческой слабости, то тамъ было необходимымъ свойствомъ научнаго духа, постепенно освобождавшагося отъ мистическихъ представленій младенческой эпохи. Во всякомъ случаѣ и здѣсь и тамъ нужно было разогнать мглу, которая въ первомъ случаѣ угрожала затемнить едва разгоравшійся свѣтъ, во второмъ уже давно въ полной силѣ свѣтившій.

Борьбу по всей линіи начинаетъ авторъ сочиненія „О древней медицинѣ“. Исполненный высоты и достоинства врачебнаго искусства, высоко цѣня значеніе его для блага людей, онъ не можетъ относиться равнодушно къ тому, что врачебное искусство принижается, къ тому, что стирается различіе между хорошимъ и дурнымъ врачомъ, и въ особенности къ тому, что угрожаетъ всему зданію науки. Онъ нападаетъ не на отдѣльные результаты противоположнаго метода изслѣдованія; онъ борется со зломъ въ его корнѣ. Методъ „модной“ врачебной науки безповоротно осуждается имъ. Врачебное искусство нужно основывать не на гипотезѣ. Правда это послѣднее удобно. Дѣло очень облегчаютъ себѣ тѣмъ, что „принимаютъ одну основную причину болѣзней и смерти, причину одинаковую для всѣхъ людей, и видятъ ее въ одномъ или двухъ факторахъ, въ теплѣ или холодѣ, во влажномъ или сухомъ или въ чемъ-либо другомъ, что кому вздумается... Но искусство врачеванія“—не шарлатанство, а искусство, которое имѣетъ дѣло съ осязательными вещами—„издавна обладаетъ всѣмъ, оно имѣетъ принципъ и проторенный путь, на которомъ въ теченіе долгаго времени было открыто многое и прекрасное и идя по которому будетъ открыто и все остальное, если люди съ соотвѣствующимъ талантомъ, вооруженные знаніемъ предшествующихъ открытій, будутъ дальше продолжать изслѣдованіе опираясь на эти открытія. Но тотъ, кто пренебрегаетъ всѣмъ этимъ и пытается вести изслѣдованіе въ другомъ направленіи, и утверждаетъ, что онъ открылъ нѣчто, тотъ обмануть и обманываетъ самого себя; ибо это невозможно“. Вначалѣ можетъ показаться, что мы имѣемъ здѣсь дѣло съ человѣкомъ цѣпко держащимся за старину и противящимся всякимъ нововведеніямъ. Однако подобное сужденіе было бы несправедливо. Намъ авторъ умѣетъ обосновать свое исключительное предпочтеніе къ старому эмпирическому (мы не говоримъ индуктивному) методу. Прежде всего онъ указываетъ на его заслуги, при чемъ значительно расширяетъ понятіе врачебнаго искусства сравнительно съ обычнымъ употребленіемъ этого слова. Въ него входитъ не только дѣтетика, но и переходъ отъ грубой пищи, общей человѣку съ животными, какъ онъ правильно замѣчаетъ, къ тонкой пищѣ культурныхъ народовъ. Намъ кажется это теперь само собой понятнымъ, это было однако „большимъ открытіемъ, которое созрѣвало и совершенствовалось въ теченіе долгихъ столѣтій и требовало значительной доли изобрѣтательности“. Опытъ, пріобрѣтенный въ

первобытное время о непереносимости первоначальнаго питанія, совершенно тождествененъ съ тѣмъ опытомъ, который заставилъ врача замѣнить пищу, годную для здороваго человѣка, діетой больного. Но не слѣдуетъ удивляться тому, что часть искусства, въ которой свѣдущъ до извѣстнаго пункта всякій, отдѣлена отъ другой части, которою обладаетъ специалистъ. Въ дѣйствительности искусство одно, приемъ въ обоихъ случаяхъ одинъ и тотъ же. И здѣсь и тамъ вопросъ шель о томъ, чтобы такъ смѣшать, смягчить и раскрошить продукты, которые въ сыромъ видѣ человѣческой организмъ не способенъ осилить, чтобы въ первомъ случаѣ здоровый, а во второмъ больной организмъ легко справлялся съ ними. Онъ обращаетъ затѣмъ вниманіе на индидуальные различія, обнаруживающіяся при діетѣ и зависящія частью отъ различія первоначальныхъ задатковъ, частью отъ привычки. Для объясненія этихъ различій нельзя исходить изъ какого-нибудь общаго принципа, а нужно ихъ непрестанно и тщательно наблюдать. Проистекающая отсюда необходимость строгаго индивидуализированія, правда дѣлаетъ невозможнымъ всегда вполне точное указаніе на правильное въ каждомъ данномъ случаѣ. Другой не менѣе обильный источникъ ошибокъ онъ видитъ въ томъ фактѣ, что вредъ можетъ быть прямо противоположный въ различныхъ случаяхъ. Нужно остерегаться какъ слишкомъ малаго, такъ и слишкомъ большого количества, какъ слишкомъ сильнаго, такъ и слишкомъ слабаго состава пищи. Здѣсь мы впервые встрѣчаемся съ понятіемъ „точной“ (т. е. допускающей количественныя опредѣленія) науки, правда только какъ идеаль, отъ достиженія котораго въ области діететики и медицины нужно разъ навсегда отказаться. „Надо стремиться къ извѣстной мѣрѣ; но мѣру, вѣсь или число, которое могло бы служить тебѣ руководствомъ, ты не найдешь; нѣтъ ничего кромѣ тѣлеснаго ощущенія“. И именно потому, что это только приблизительная не строго точная мѣрка, отклоненія отъ правильной линіи налѣво и направо неизбѣжны. Большой похвалы заслуживаетъ тотъ врачъ, на душѣ котораго незначительныя ошибки. Большую же часть можно сравнить съ тѣми кормчими, которые при спокойномъ морѣ и ясномъ небѣ безнаказанно совершаютъ многочисленныя ошибки и неопытность которыхъ обнаруживается роковымъ образомъ при сильной бурѣ.

Крайне важнымъ является выдвинутое противъ новой медицины возраженіе, что предпосылки ея и предписанія не соот-

вѣтствуютъ существующей сложности вещей. Новое ученіе—подъ нимъ имѣютъ въ виду какъ доктрину Алкмеона, такъ и доктрину, изложенную въ книгахъ „О діетѣ“ — предписываетъ „примѣнять теплое противъ холоднаго, холодное противъ теплаго, влажное противъ сухого и сухое противъ влажнаго“, и такъ всякій разъ „когда одинъ изъ этихъ факторовъ производитъ вредъ, то уничтожать этотъ вредъ противоположнымъ ему... Но врачи эти, поскольку мнѣ извѣстно, еще до сихъ поръ не открыли (или не выдумали) такого, что само по себѣ было бы теплымъ, холоднымъ, сухимъ или влажнымъ, что не было бы связано съ какимъ нибудь другимъ свойствомъ. Я думаю, что для нихъ существуютъ тѣ же явства и напитки, которыми пользуемся и мы. Поэтому они не могутъ прописать больному пріемъ „одного теплаго“. Ибо послѣдній сейчасъ же спроситъ: какого теплаго? Послѣ чего они или должны будутъ прибѣгнуть къ пустой болтовнѣ, или указать на одну изъ извѣстныхъ вещей“. Но при этомъ огромная разница, будетъ ли теплое въ то же время и стягивающимъ или расслабляющимъ или оно будетъ соединено съ какимъ нибудь другимъ изъ многочисленныхъ качествъ, встрѣчающихся въ природѣ; различіе въ дѣйствіи обнаруживается не только на человѣкѣ, но и на деревѣ, на кожѣ и на многихъ другихъ предметахъ, гораздо менѣе чувствительныхъ, чѣмъ человѣческое тѣло.

Но самое важное мѣсто этой книги это то, гдѣ основная точка зрѣнія автора выражена наиболее ярко. „Иные врачи и софисты“ (по нашему мнѣнію здѣсь подразумѣваются философы) „находятъ, что нельзя понять врачебнаго искусства, не зная, что такое человѣкъ; это долженъ узнать тотъ, кто хочетъ правильно пользоваться людьми. Подобныя рѣчи имѣютъ въ виду философію въ томъ родѣ, какъ поучалъ Эмпедоклъ и другіе, писавшіе о природѣ, что такое есть по существу человѣкъ, какъ онъ возникъ и какъ части его прилажены одна къ другой. Я же думаю, что все въ такомъ родѣ написанное или сказанное софистомъ или врачомъ о природѣ менѣе относится къ области врачебнаго искусства, чѣмъ къ области живописи. Я предполагаю наоборотъ, что вѣрное знаніе природы можно пріобрѣсти только основываясь на врачебной наукѣ. А это достижимо лишь тому, кто охватитъ врачебное искусство сполна во всемъ его объемѣ. А до того времени мнѣ кажется еще далеко, т. е. до такой учености, при которой можно указать, что такое есть человѣкъ, какъ онъ возникъ и все другое“.

Кое что требуетъ здѣсь объясненія и наводитъ на размышле-

ніе. Прежде всего поражает почти буквальное совпаденіе вступительныхъ словъ съ вышеприведеннымъ (стр. 248) мѣстомъ изъ книги „О діэтѣ“, въ которой оспариваемое здѣсь требованіе опредѣленно утверждается. Врядъ ли можно не видѣть здѣсь полемическаго намѣренія. На этомъ примѣрѣ ясно, какъ мы должны смотрѣть на единство Гиппократовскаго собранія сочиненій. Упоминаніе „живописи“ въ этой связи поражаетъ насъ въ первую минуту. Но небольшое размышленіе заставляетъ признать, что врядъ ли авторъ могъ дать болѣе подходящее выраженіе своей мысли. Онъ очевидно хочетъ сказать слѣдующее: представленія о происхожденіи животныхъ и человѣка въ родѣ тѣхъ, которыя даетъ Эмпедокль могутъ интересовать, привлекать, восхищать, но это не наука. Противоположность науки, ищущей не наслажденія, а истины, составляетъ область искусства, гдѣ преобладаетъ красочное описаніе, руководимое воображеніемъ. Типомъ такого искусства мы считаемъ поэзію, но она менѣе подходила сюда, благодаря поэтической формѣ эмпедокловскаго сочиненія и мало способствовала бы указанію на содержаніе ея. Рѣзкій, почти грубый приѣмъ противопоставленія авторомъ фикиціи и дѣйствительности, при чемъ онъ какъ бы выключаетъ первую изъ области серьезнаго обсужденія, напоминаетъ почти столь же рѣзкій отзывъ Геродота относительно океана (стр. 235 сл.). Намъ бы хотѣлось, чтобы намекъ, что медицинская наука, развитая въ полномъ объемѣ и стоящая на правильномъ пути, образуетъ исходную точку всякаго познанія природы, чтобы эта мысль была развита подробнѣе. Можемъ ли мы видѣть здѣсь прозрѣніе или хоть предугадываніе того, что всякое знаніе природы относительно, что цѣль достижимаго нами познанія состоитъ въ томъ, чтобы узнать не то, что природа есть сама по себѣ, а то, что она есть въ своемъ отношеніи къ человѣческой способности воспріятія? За такое предположеніе говорить по крайней мѣрѣ непосредственно слѣдующее важное мѣсто въ книгѣ: „Ибо и мнѣ“—продолжаетъ авторъ—„представляется необходимымъ, чтобы всякій врачъ понималъ природу и чтобы онъ всячески стремился къ ея пониманію, если онъ хочетъ стоять на высотѣ своей задачи. (Онъ долженъ знать), что такое человѣкъ по отношенію къ нищѣ и питью, воспринимаемымъ имъ, и что онъ такое по отношенію къ тому, что онъ дѣлаетъ, а именно, какое дѣйствіе производятъ различныя вещи на каждого. И (недостаточно) только заключать, что сыръ есть плохое кушаніе на

томъ основаніи, что онъ вызываетъ болѣзненное состояніе у того, кто наѣдается имъ; (нужно знать) каково это болѣзненное состояніе, чѣмъ оно причинено и какой составной части человѣческаго тѣла онъ не соотвѣтствуетъ. Ибо существуетъ много другихъ вредныхъ по своей природѣ кушаній и напитковъ, которые однако дѣйствуютъ на человѣка иначе. Примѣръ тому вино, которое въ чистомъ видѣ и воспринятое въ большомъ количествѣ, дѣйствуетъ на человѣка извѣстнымъ образомъ. Для всѣхъ очевидно, что это есть дѣйствіе вина. Мы знаемъ также, чрезъ посредство какой части тѣла оно производитъ это дѣйствіе. Я же, лалъ бы, чтобы такая же ясность господствовала и въ другихъ (относящихся сюда) случаяхъ“. Это мѣсто также нуждается въ объясненіи. Прежде всего обращаетъ вниманіе рѣзкій и какъ намъ думается намѣренный контрастъ тривіальнаго примѣра и обыденнаго тона съ высоко парящими претензіями и высокопарнымъ языкомъ какого нибудь Эмпедокла и его единомышленниковъ. Противникъ философовъ какъ бы говоритъ имъ: и я стремлюсь къ всеохватывающему познанію природы не меньше васъ, полагающихъ, что вы распутали нити вашей тайной загадки, и съ торжествомъ высокопарно вѣщающихъ объ этомъ. Мои же ближайшія цѣли весьма скромны, вашъ гордый полетъ мысли оставляетъ меня далеко позади, я остаюсь на почвѣ обыденныхъ фактовъ и вопросовъ, которые до этого были разрѣшены однако въ самой малой дозѣ. Нашъ писатель считаетъ себя совершенно лишеннымъ научнаго высокомерія. И однако онъ не избѣгъ судьбы! Немезида отмстила за насмѣшки, которыми онъ обильно осыпалъ своихъ предшественниковъ. Подвергая испытанію его знанія, можно почти сказать, что скромность его оказывается недостаточно скромной, его смиреніе и отреченіе все же высокомерны и дерзновенны! То небольшое, что онъ считаетъ достигнутымъ, что имъ признается само собой понятной истиной, было лишь видимостью знанія. Ибо принимая во вниманіе, что химія пищеваренія ему столь же чужда, какъ фізіологія мозга, сердца, сосудовъ, то объясненія его непереваримости сыра или опьяненія, причиненнаго виномъ, во всякомъ случаѣ совершенно неправильны.

Это странное, мы готовы сказать постыдное, заключеніе вызываетъ недоумѣніе. Чего достигъ нашъ трезвый врачъ со своею боязнью произвола, стремленіемъ къ чисто фактическимъ выводамъ, съ неустаннымъ рвеніемъ въ борьбѣ съ тѣми, которые хотѣли вывести „врачебную науку на новый путь гипотезы“?

Вѣдь и онъ самъ, не зная того, находится во власти гипотезы. Ибо надо не забывать, что вопросъ идетъ не объ одномъ или нѣсколькихъ ошибочныхъ наблюденіяхъ, и не объ ошибочныхъ толкованіяхъ отдѣльныхъ фактовъ, а о попыткахъ объясненія, вытекающихъ изъ чисто гипотетическихъ фізіологическихъ воззрѣній. Должны ли мы поэтому мало цѣнить работу нашего автора или осудить ее, или считать его полемику вполне праздною? Ни то, ни другое. Чтобы установить свой взглядъ мы должны покопаться глубже. Не будемъ бояться отклониться въ сторону; будемъ надѣяться, что такимъ образомъ мы сумѣемъ лучше оцѣнить оба борящіяся между собой направленія.

6. Гипотеза есть извѣстное принятіе или предположеніе. Пока мы не обладаемъ полной увѣренностью знанія, намъ необходимо выставлять предположенія; они необходимы въ двоякомъ смыслѣ; они нужны фактически и неизбежны субъективно. Неизбѣжны субъективно потому, что человѣческій умъ неспособенъ воспринять и удержать длинный рядъ отдѣльныхъ фактовъ, не связывая ихъ общей связью. Эту потребность въ облегченіи памяти въ примѣненіи къ одновременнымъ событіямъ удовлетворяетъ классификація, въ примѣненіи къ причинной послѣдовательности—гипотеза. Стремленіе къ пониманію и причинному прозрѣнію проявляется сперва въ видѣ робкихъ опытовъ. Подобныя попытки однако безусловно необходимы на раннихъ ступеняхъ мысли. Почти все, что теперь является прочной теоріей, было нѣкогда гипотезой. Если субъективно невозможно сохранить и психически изолировать одно отъ другого безконечное количество отдѣльныхъ фактовъ, разсѣянныхъ въ видѣ элементовъ представленія, которые находятъ свое мѣсто при окончательномъ построеніи широко охватывающей теоріи, то также объективно невозможно, чтобы отдѣльные факты были отысканы, собраны, разсортированы, даже вызваны къ жизни искусственнымъ способомъ (естественно-историческій экспериментъ), если упреждающая окончательный результатъ гипотеза не будетъ направлять шаги ищущаго и не освѣщать его путь. И тамъ, гдѣ вопросъ идетъ объ установленіи отдѣльнаго событія, не о приобрѣтеніи всеобщихъ истинъ, тамъ происходитъ совершенно тотъ же процессъ. Постановленію судебного приговора должны большею частью предшествовать подозрѣнія; а всякое такое подозрѣніе и выражается въ предположеніи или въ гипотезѣ. Далѣе, и свидѣтельскія показанія и другія свѣдѣнія, которыя

добываются на основаніи такой первой гипотезы, не могутъ приниматься живымъ умомъ безъ того, чтобы во всякой новой стадіи процесса не возникали новыя гипотезы, новыя и все болѣе точныя приближенія къ окончательной истинѣ. Предварительное принятіе не выполняетъ своего назначенія служить побѣдѣ истины только въ двухъ случаяхъ: или вслѣдствіе субъективнаго несовершенства интеллекта изслѣдователя, или вслѣдствіе объективнаго недостатка связаннаго со средствами изслѣдованія. Гипотеза не облегчаетъ, наоборотъ—она затрудняетъ достиженіе окончательнаго рѣшенія, когда у изслѣдующаго ума нѣтъ достаточной дозы гибкости и пластичности, почему онъ забываетъ предварительный характеръ своей гипотезы и успокаивается на ней, принимая иногда короткій промежутокъ пройденнаго пути за весь путь. Сама по себѣ гипотеза лишена научной цѣнности или по крайней мѣрѣ ея высшей степени, если по своей природѣ она не приурочена къ тому, чтобы изъ предварительно принятой гипотезы стать отвердѣвшей истиной, другими словами, если она не даетъ возможности провѣрки. Было бы несправедливо требовать полной ясности по этимъ вопросамъ метода отъ перваго писателя, у котораго мы вообще встрѣчаемъ соображенія о цѣнности гипотетическихъ изслѣдованій, который—посколько можно судить по литературнымъ памятникамъ—впервые употребляетъ слово „гипотеза“ въ техническомъ смыслѣ. Тѣмъ болѣе дѣлаетъ ему чести, что приведенныя здѣсь различенія совершенно не чужды ему. Правда онъ употребляетъ слово „гипотеза“ въ широкомъ смыслѣ, не различая точно провѣряемыя гипотезы отъ непровѣряемыхъ; но нападаетъ онъ именно на послѣднія и именно этотъ сортъ гипотезъ очевидно имѣетъ онъ въ виду, когда вообще выступаетъ противъ гипотезъ. Ибо желая освободить медицину отъ гипотезъ, онъ слѣдующимъ образомъ обосновываетъ свою борьбу съ новымъ методомъ. Эта наука не нуждается „въ пустой гипотезѣ, какъ нуждаются въ нихъ невидимыя и неизслѣдуемыя вещи. Въ отношеніи послѣднихъ конечно, если кто захочетъ сказать о нихъ что нибудь, то долженъ будетъ воспользоваться гипотезой. Напримѣръ о вещахъ на небѣ или подъ землей. Если даже кто нибудь зналъ бы на этотъ счетъ истинное и высказывалъ бы его, то ни ему самому, ни его слушателямъ не было бы извѣстно, истинно ли это или нѣтъ. Ибо у него нѣтъ мѣрки, которую онъ могъ бы приложить, чтобы достигнуть полной достовѣрности“.

Прежде всего запишемъ въ почетную книгу науки золотыя слова о „пустыхъ“ гипотезахъ, т. е. о гипотезахъ, совершенно не доказуемыхъ, которыя поэтому слѣдуетъ приравнять къ празднымъ фикціямъ и изгнать изъ предѣловъ истиннаго изслѣдованія. Вспомнимъ слова К с е н о ф а н а, настойчиво указывавшаго на важность провѣрки (сравн. стр. 143), слова, удивительно совпадающія со словами нашего автора. Наконецъ не забудемъ и сказаннаго въ томъ же родѣ Геродотомъ, внушеннаго ему сходнымъ настроеніемъ (стр. 236). Теперь мы можемъ сдѣлать выводъ изъ вышеприведеннаго разсужденія. Борьба противъ гипотетическаго направленія, въ основѣ которой лежало осужденіе извѣстнаго сорта гипотезъ, не должна была мѣшать нашему автору самому пользоваться гипотезами, и упрекъ въ непоследовательности его не касается. Если онъ составилъ себѣ гипотетическое представленіе о процессѣ пищеваренія или о причинѣ опьяненія, то это было столь же неизбѣжно, какъ и то, что эти и другія представленія, возникшія при младенческомъ состояніи фیزیологіи, оказались при дальнѣйшемъ изслѣдованіи неправильными. Но неправильная гипотеза это одно, а ненаучная, т. е. совершенно недоступная провѣркѣ въ цѣломъ или въ части,—это другое и очень отличное отъ перваго. Правда, можно возразить, что нельзя всегда узнать, суждено ли извѣстной гипотезѣ вѣчно оставаться гипотезой, или ей присуща способность создать изъ себя самой средства провѣрки, которыя должны въ концѣ концовъ хоть приблизительно рѣшить вопросъ объ ея истинности или неистинности. Мы отвѣтимъ: да, не всегда, но иногда. Но намъ нѣтъ нужды дальше заниматься этимъ вопросомъ. Вѣдь „теплое“ и „холодное“, „влажное“ и „сухое“ въ качествѣ основныхъ составныхъ частей чело-вѣческаго организма или также въ качествѣ дѣйствующихъ на этотъ организмъ факторовъ, были, строго говоря, меньше, чѣмъ просто гипотезы, это были вымыслы, или вѣрнѣе абстракціи, облеченныя видимостью реальности. Отдѣльныя качества выхватывались изъ всего комплекса свойствъ, съ которыми въ дѣйствительности они были неразрывно связаны, и кромѣ того надѣлялись главною ролью, которой они явно не имѣютъ; вѣдь перемѣна температуры и состоянія веществъ, о которыхъ здѣсь идетъ рѣчь, не влекутъ за собой глубокой перемѣны всѣхъ остальныхъ свойствъ. Большой позитивной заслугой разбираемаго сочиненія и является то, что оно указало на гораздо болѣе важное значеніе химическихъ свойствъ тѣлъ, а попутно и на дѣйствія, производимыя

этими тѣлами на вещества, не принадлежащія живымъ организмамъ (сравн. стр. 259). Поэтому нашъ авторъ былъ правъ, считая тепло и холодъ свойствами, которыя оказываютъ (сравнительно) мало вліянія на тѣло, и сопоставляя эти явленія съ явленіями реакціи организма, напримѣръ внутреннее нагрѣваніе тѣла, вызываемое холодной ванной.

Мы можемъ однако оставить въ сторонѣ эти частности и даже вопросъ о томъ, какая изъ гипотезъ обладаетъ болѣе научнымъ характеромъ или въ какой степени она оправдывается. Вопросъ о борьбѣ методовъ, который въ данную минуту насъ только и занимаетъ, можетъ быть рѣшенъ безъ большого затрудненія. „Исходить отъ извѣстнаго или доступнаго чувствамъ и отсюда заключать о неизвѣстномъ“, это правило здраваго человѣческаго разсудка, которое было такъ же хорошо извѣстно Геродоту и Эврипиду, какъ позднѣе Эпикуру, это правило было явно и грубо нарушено пріемами врачей идущихъ по стопамъ натурфилософіи. Проблемы, которыя не способна разрѣшить даже современная наука, какъ вопросъ о происхожденіи органической жизни или человѣческаго рода, были выдвинуты на первый планъ и предписаніе лѣкарскаго искусства ставились въ зависимость отъ гипотетическихъ, болѣе того прямо фантастическихъ рѣшеній. Можно ли удивляться тому, что наступила реакція? Можно ли сомнѣваться въ томъ, что она была благотворна? Однако и здѣсь слѣдуетъ остерегаться односторонности и преувеличеній. Выступленіе на новый путь было не только необходимою, и этотъ новый путь не былъ всецѣло и исключительно путь ошибочный. Натурфилософскія доктрины неизбѣжно должны были войти въ отдѣльныя науки и преобразовать ихъ. Элементъ произвола, присущій большинству этихъ ученій долженъ былъ быть изъ нихъ выдѣленъ. Однако разъ выставленный идеаль, даже если попытка его осуществленія потерпѣла жалкое пораженіе, не погибъ для послѣдующихъ поколѣній. Идеаломъ было, вырвать врачебное искусство изъ его изолированнаго состоянія, въ которомъ оно въ концѣ концовъ выродилось бы, и сдѣлать его одной изъ вѣтвей могучаго дерева естествознанія. Конечно на первыхъ порахъ этому смѣлому предпріятію недоставало достаточно твердой почвы и потому наступила реакція, проявившаяся возвращеніемъ къ старымъ пріемамъ изслѣдованія, замкнутымъ въ тѣсныя рамки. Отношеніе двухъ борящихся направленій представляли обычно въ слѣдующемъ певѣрномъ свѣтѣ: вмѣстѣ съ натурфилософіей

ушелъ изъ медицины ложный дедуктивный методъ, въ гипократовской медицинѣ побѣдилъ правильный индуктивный. Какъ возможно, чтобы тамъ, гдѣ дѣло идетъ о крайне сложныхъ процессахъ, слагающихся изъ безконечнаго количества отдѣльныхъ процессовъ, былъ бы наиболѣе подходящимъ какой-нибудь другой методъ кромѣ того, который строить цѣлое изъ его частей и такъ называемые эмпирическіе (т. е. выведенные) законы сводить къ простымъ и послѣднимъ законамъ? Невѣрно, что дедуктивный методъ ложенъ или непригоденъ; но дѣло въ томъ, что примѣнять его можно при безконечно болѣе совершенномъ состояніи науки, а тогдашней патологіи недоставало основы въ видѣ анатоміи и фізіологіи, а фізіологіи въ видѣ клѣточной фізіологіи, химіи и физики. Отчасти недостатокъ прочнаго основанія ощущается и теперь. Поэтому естественно, что было необходимо, а часто необходимо еще и теперь, прибѣгать къ болѣе грубымъ методамъ менѣе соотвѣтствующимъ предмету. Тогда началась та переходная эпоха, которая продолжается до настоящаго времени; только теперь наиболѣе развитые отдѣлы науки объ органической жизни допускаютъ отчасти дедуктивный методъ и такимъ образомъ вступаютъ въ послѣднюю и высшую фазу научной обработки. Типомъ самой совершенной дедукціи является математическое вычисленіе. Въ настоящее время оно находитъ себѣ широкое примѣненіе въ окулистикѣ, поскольку она пользуется оптикой. Однако и другіе наиболѣе развитые отдѣлы терапіи уже допускаютъ примѣненіе дедукціи. Взять, напримѣръ, антисептическое лѣченіе ранъ. Оно примѣняется въ цѣляхъ уничтоженія микроорганизмовъ, о которыхъ доподлинно извѣстно, что они есть возбудители болѣзней. Уничтоженіе этихъ микроорганизмовъ достигается веществами, химическія свойства которыхъ вызываютъ уже извѣстный результатъ. Совершенно иначе обстоитъ дѣло, когда такой ясной причинной связи не наблюдаютъ, и недостатокъ этого не можетъ быть возмѣщенъ ни непосредственными, вѣрными, сильными цѣлебными дѣйствіями (настоящій экспериментъ), ни рѣшающими благоприятными результатами большого числа наблюдений (статистическій методъ). Про такія медицинскія средства правильно говорили, что „сегодня ихъ рекомендуютъ, завтра всѣ ихъ хвалятъ, а черезъ два года о нихъ уже забыли!“ Итакъ заслуга коической школы не въ выборѣ и примѣненіи безотносительно лучшихъ пріемовъ изслѣдованія или пріемовъ ближе

подходящихъ къ идеальному совершенству. Высшая заслуга ея въ томъ, что она поняла, что для примѣненія дедуктивнаго метода не было необходимыхъ данныхъ, и что мѣсто нужныхъ и цѣнныхъ индуктивныхъ приѣмовъ заступаютъ фантастическія представленія. Мудрое самоограниченіе и резиньяція, предварительный отказъ отъ дѣйствительно высокихъ, манящихъ цѣлей, но для того времени и еще долго впоследствии недостижимыхъ,—таковы были достоинства, отличавшія представителей этой школы отъ ихъ противниковъ, достоинства, заслуживающія нашего полного уваженія. Они съ поразительнымъ и неутомимымъ рвеніемъ и мѣткой наблюдательностью разработали тѣ отрасли медицины, которыя были способны къ дальнѣйшей работкѣ не требуя болѣе глубокой основы, и прежде всего семіотику, ученіе о симптомахъ болѣзней; мѣткія наблюденія и тонкія различенія въ этой области произведенныя ими поражаютъ и поучаютъ современныхъ адептовъ этой науки. Но и они не могли отказаться отъ построенія всякой теоріи, и имъ тоже пришлось прибѣгать къ гипотезамъ, которыя были не менѣе ошибочны, чѣмъ гипотезы ихъ предшественниковъ; размѣръ ихъ ошибокъ былъ только потому меньшій, что гипотезы ихъ были не столь всеохватывающія и универсальны. Патологія соковъ, этотъ ярлыкъ гиппократовской школы, патологія, сводившая всѣ внутреннія болѣзни къ состоянію и взаимоотношенію предполагаемыхъ четырехъ основныхъ соковъ, содержатъ по мнѣнію современной науки ни крупницы истины болѣе, чѣмъ антропогонія книги „О мускулахъ“, или чѣмъ фиктивное ученіе о матеріи, которое оспаривается въ сочиненіи „О старой медицинѣ“.

7. Во всякомъ случаѣ Коіицы оказались крайне плодотворными во всякаго рода обобщеніяхъ, не касаясь вопроса о томъ, были ли эти обобщенія правильны или ложны. Побудительный мотивъ этого теоретизирующаго направленіе мы должны приписать натурфилософской спекуляціи. „Старая медицина“, къ которой стремились и предлагали возвратиться, была столь же мало похожа на „старую“, какъ Франція стараго режима на Францію время реставраціи. Цѣль и направленіе этого движенія опредѣлялись критическимъ смысломъ и скептическомъ складомъ ума гиппократовской школы. Школа эта заняла опредѣленное положеніе какъ противъ фантастическихъ увлеченій нѣкоторыхъ натурфилософскихъ доктринъ, и метафизическихъ ученій выходящихъ

за предѣлы опыта (сравн. стр. 143), такъ и противъ супранатуралистической теологіи. Здѣсь тоже выступаетъ противоположность Коійцевъ и Книдійцевъ. Въ сочиненіи „О природѣ женщинъ“, какъ и въ другомъ болѣе значительномъ сочиненіи (книги „О женскихъ болѣзняхъ“), гдѣ обнаруживаются Книдійскія вліянія, „божественное“ и „божественныя вещи“ играютъ выдающуюся роль въ сравненіи съ другими факторами. Во вступленіи гиппократовской „Прогностики“ упоминается о „божественномъ“ какъ о случайно дѣйствующемъ агентѣ, какъ о факторѣ настолько мало выходящемъ за предѣлы естественной законмѣрности, что считаютъ его находящимся въ предѣлахъ врачебнаго „предвидѣнія“. Однако особенно рѣзкому нападенію подвергается супранатурализмъ въ двухъ произведеніяхъ гиппократовской школы. Удивительное сочиненіе изъ этого собранія представляетъ собою книга „О воздухѣ, водѣ и положеніи“. Здѣсь съ нами говоритъ человѣкъ, побывавшій и въ южной Россіи и въ долині Нила, видѣвшій неисчислимое множество разнообразныхъ предметовъ, и стремившійся связать безчисленное количество отдѣльныхъ случаевъ въ одно цѣлое. Имъ сдѣлано много цѣнныхъ наблюденій, много поспѣшныхъ предположеній о связи климата со строеніемъ тѣла, о смѣнѣ временъ года и о распространеніи болѣзней, но все это отступаетъ передъ безсмертной заслугой первой попытки установить причинную связь между характеромъ народа и физическими условіями. Этотъ предтеча Монтеस्कё, основатель психологіи массъ, говоря о такъ называемой „женской болѣзни“ у скиеовъ, рѣшительно возстаётъ противъ утвержденія, будто эта или другая болѣзнь является результатомъ особаго божественнаго вмѣшательства. Почти въ такихъ же выраженіяхъ выступаетъ противъ того же заблужденія сочиненіе „о священной болѣзни“ (т. е. о падучей, или эпилепсіи, считавшейся согласно народному вѣрованію посѣщеніемъ божества). Какъ у перваго, такъ и у втораго автора отрицаніе сверхестественнаго вмѣшательства идетъ рядомъ съ убѣжденіемъ, что вѣра въ полную законмѣрность всего въ природѣ вполнѣ соединима съ религіозной вѣрой въ единый божественный первоисточникъ, изъ котораго въ послѣднемъ счетѣ исходитъ вся природа. „Все божественно, и все человѣческое“—такъ гласитъ формула автора книги „о священной болѣзни“; она означаетъ лишь то, поясняетъ онъ, что нѣтъ никакого основанія называть одну болѣзнь „болѣе божественной“ чѣмъ другую. Вѣдь всѣ онѣ вызываются есте-

ственными агентами, какъ тепло, холодъ, солнце, вѣтеръ, которые всѣ божественной природы, хотя ни одинъ изъ нихъ не закрытъ для человѣческаго ума и не изыятъ изъ человѣческаго вліянія. Раздвигая обобщеніе еще шире, „природа и причина этой болѣзни исходитъ изъ того же божественнаго, изъ котораго исходитъ все остальное“. Такъ же выражается и авторъ книги „О воздухѣ, водѣ и положеніи“: „Мнѣ самому представляются эти страданія божественными, а также и всѣ остальные; ни одно не болѣе божественно, не болѣе человѣческое, чѣмъ другое... Каждое изъ нихъ обладаетъ природой (т. е. имѣетъ естественную причину) и ни одно не возникаетъ безъ таковой“. Болѣе полемически настроенный авторъ книги объ эпилепсіи разсыпается въ язвительныхъ обвиненіяхъ противъ „площадныхъ шарлатановъ и хвастуновъ“, которые лѣчатъ болѣзни разными суевѣрными приѣмами, „очищеніями и заговорами“; „они хотятъ скрыть собственныя незнаніе и безпомощность подъ покровомъ божественнаго“ и—это самый сильный его козырь противъ нихъ—не вѣрятъ сами въ истинность своего ученія. „Ибо, если бы эти страданія устранялись подобными очищеніями и иными приѣмами, которые они примѣняютъ, то что же мѣшаетъ, другими подобными же приѣмами вызывать эти страданія у людей? Но тогда причиной ихъ было бы не божественное, а нѣчто человѣческое. Ибо если кто-нибудь могъ при помощи волшебныхъ или очистительныхъ средствъ удалить подобную болѣзнь, тотъ, примѣняя другія средства, могъ бы и вызвать ее и тогда уже не было бы божественнаго (и его вліянія)“. Также обстоитъ дѣло и съ остальными сходными приѣмами, которые всѣ—утверждаетъ онъ—основаны на предположеніи, что боговъ не существуетъ, или что они не имѣютъ никакой силы. „Ибо если бы человѣкъ могъ при помощи жертвъ и волшебства заставить спускаться луну и исчезнуть солнце, или вызвать бурю или хорошую погоду, то все это считалъ бы не божественнымъ, но чѣмъ то человѣческимъ, потому что въ этомъ случаѣ мощь божественнаго была бы подчинена человѣческому разсудку“. Кстати слѣдуетъ упомянуть, что это сочиненіе чрезвычайно замѣчательно тѣмъ, что въ немъ очень подробно и съ большимъ жаромъ опровергается открытая, какъ мы уже знаемъ, Алемэономъ роль мозга въ тѣлесной и въ особенности въ душевной жизни, (сравн. стр. 128). Къ такому мнѣнію приводитъ нашего автора, который какъ врачъ не является чистымъ гиппократикомъ, а въ философіи былъ эклектикомъ, сдѣланное имъ открытіе, подтвержден-

ное современными изслѣдованіями, а именно, что эпилепсія есть слѣдствіе болѣзни центрального органа.

Въ области врачебныхъ изслѣдованій возникло еще третье не менѣе могучее теченіе критическаго духа и благотворно пролилось дождемъ на всходы греческой науки. Авторы книги „О медицинѣ“ и двухъ послѣднихъ упомянутыхъ сочиненій показали себя вполне свободными отъ всякаго мистическаго налета, даже свободнѣе, чѣмъ Гекатэй и Ксенофанъ. Они окончательно освободились отъ остатковъ примитивнаго мышленія и—что отличаетъ ихъ отъ ихъ предшественниковъ, открывшихъ великую переходную эпоху—не остановились на одномъ отрицаніи; они сосредоточили свое вниманіе на методахъ позитивно-научнаго изслѣдованія и поставили себѣ девизомъ слова Эпихарма, философа драматурга изъ Сиракузъ: „Трезвость и постоянное сомнѣніе суть основа ума“. Затѣмъ они не только очистили поле для возможнаго дальнѣйшаго прогресса, выдвинувъ такое пониманіе божественнаго, которое совершенно не стѣсняло свободнаго развитія наукъ, они и сами не безъ успѣха работали въ своей спеціальной области. Приводить доказательства въ пользу послѣдняго утвержденія не входитъ въ задачу настоящаго труда. Однако прежде чѣмъ покончить съ еще малоизвѣстнымъ и малооцѣненнымъ гиппократовскимъ собраніемъ сочиненій, намъ хочется привести еще нѣсколько образчиковъ чисто научнаго духа, характеризующихъ значительную его часть. Значительныя мысли не отвергались и къ нимъ не относились съ пренебреженіемъ только потому, что они были высказаны въ первый разъ въ противномъ лагерѣ. Важное ученіе о необходимости равновѣсія между работой и питаніемъ, впервые высказанное въ средѣ книдской школы, выплываетъ снова въ книгѣ „О діетѣ при острыхъ болѣзняхъ“, въ которой рѣзко полемизируютъ противъ главнаго сочиненія этой школы „Книдійскія изреченія“. Авторъ вышеупомянутой книги такъ же далекъ отъ тщеславнаго стремленія къ оригинальности, какъ и отъ всякой погони за поверхностными успѣхами и триумфами. Такъ напримѣръ онъ, слѣдуя истиннымъ приемамъ изслѣдователя, старается сперва подкрѣпить новыми и серьезными аргументами опровергаемую имъ доктрину. „Опровергаемый нами взглядъ“, говоритъ онъ въ одномъ мѣстѣ, „можно попытаться поддержать слѣдующими аргументами“. Столь же твердое неиспорченное чувство истины обнаруживаетъ авторъ сочиненія „О сочлененіяхъ“, которое Литтре назвалъ „великимъ

хирургическимъ памятникомъ древности и вмѣстѣ образцомъ для всѣхъ временъ“. Этотъ строго мыслящій и благородный врачъ не боится указать на ошибки своего лѣченія. „Я намѣренно пишу объ этомъ—оправдываетъ онъ незабвенными словами свое упоминаніе,—ибо полезно знать и неудавшіеся опыты, понимать, отчего они произошли“. Какъ въ этомъ случаѣ ему не хочется скрыть отъ своихъ наслѣдниковъ какое бы то ни было полезное свѣдѣніе, такъ въ другомъ случаѣ онъ выходитъ изъ обычныхъ рамокъ изложенія въ цѣляхъ избавленія больного отъ излишнихъ страданій: „Подобное, могъ бы сказать всякій, лежитъ внѣ области врачебной науки; къ чему еще заниматься такими случаями, которыя уже неизлѣчимы? Неправильно, отвѣчаю я.. При излѣчимыхъ случаяхъ надо прилагать все стараніе, чтобы они не стали неизлѣчимыми.. А неизлѣчимые случаи надо научиться распознавать, чтобы избавить больного отъ ненужнаго причиненія ему страданія“. Этотъ до гениальности работоспособный человекъ не привыкъ ставить границъ своей работѣ. Онъ распространилъ свои анатомическія изслѣдованія на міръ животныхъ, сравнивалъ строенія человѣческаго скелета со скелетами другихъ позвоночныхъ, причемъ поставилъ это изслѣдованіе столь широко (какъ мы узнаемъ изъ двухъ его сообщеній), что мы безъ малѣйшаго колебанія назовемъ его раннимъ, быть можетъ, самымъ раннимъ представителемъ сравнительной анатоміи. Въ заключеніе мы укажемъ на прекрасное обобщеніе, которымъ мы обязаны тому же могучему уму, обобщеніе значительное по все вновь подтверждающейся его истинности и по крайней важности вытекающихъ изъ него выводовъ. Мы имѣемъ въ виду законъ о необходимости функции для поддержанія здоровья органа: „Всѣ части тѣла, предназначенныя для какого-нибудь употребленія, остаются здоровыми, хорошо растутъ и долго остаются молодыми, при соответственномъ употребленіи ихъ и упражненіяхъ, къ которымъ привыкла каждая изъ нихъ. При отсутствіи упражненія онѣ болѣютъ и гибнутъ“.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Физици-атомисты.

Преданіе издавна старалось связать два великихъ имени: „отца медицины“ Гипократа и того, кого мы имѣемъ право считать отцомъ физики,—Демокрита.

Разсказываютъ, что Демокритъ, будучи гражданиномъ города Абдеры, не разъ своими странностями приводилъ въ изумленіе согражданъ, такъ что они рѣшились наконецъ пригласить искуснаго врача, чтобы удостовѣриться въ умственной нормальности своего великаго соотечественника. Гипократъ явился и убѣдилъ ихъ, что они ошиблись. Съ этого времени начинается общеніе двухъ великихъ людей, сначала личное, а затѣмъ письменное. Весьма вѣроятно, что романъ въ письмахъ, который мы находимъ въ гипократовскомъ собраніи является до извѣстной степени отраженіемъ дѣйствительно бывшаго; по крайней мѣрѣ очень вѣроятно, что оба естествоиспытателя, много путешествовавшіе и бывшіе одного возраста (род. 460 г.), были въ близкихъ отношеніяхъ, тѣмъ болѣе что Гипократъ дѣйствительно бывалъ въ Абдерѣ, посѣщая больныхъ то у „Ѳракійскихъ воротъ“, то на „Священной дорогѣ“, то на „Верхней дорогѣ“. Поэтому, нужно признать, что изображаемый легендою домикъ въ саду близъ городской ограды и тѣнистый платанъ, подъ сѣнью котораго великій врачъ заставлялъ абдерскаго мудреца, окруженнаго свитками и вскрытыми трупами животныхъ, пишущаго, склоняясь на свои колѣни, все это вѣроятно, недалеко отъ дѣйствительности.

Богатый и торговый городъ Абдера на границѣ Ѳракіи и Македоніи, вблизи богатыхъ золотыхъ рудниковъ противъ острова Ѳазоса, былъ основанъ іонійцами; на долю его выпала кратковременная но чрезвычайно блестящая роль въ исторіи греческой науки. Здѣсь жилъ и окончилъ дни свои старшій другъ и учитель Демокрита, Левкиппъ, уроженецъ Милета и, по одному, не лишенному вѣроятія, сказанію, ученикъ проникательнаго Зенона въ Элеѣ. Онъ основалъ въ Абдерѣ школу, которую впоследствии

обезсмертилъ его ученикъ Демокритъ. За коллосальной фигурой ученика совершенно исчезъ обликъ его учителя. Его немногочисленныя писанія вошли въ составъ обширнаго собранія сочиненій Демокрита; о его личности и ближайшихъ подробностяхъ жизни было въ древности такъ мало извѣстно, что даже высказывалось сомнѣнiе въ его реальности. Теперь, впрочемъ, мы уже можемъ утверждать на основанiи немногихъ, но достовѣрныхъ свидѣтельствъ, что ему принадлежитъ основная схема того ученiя, зданiе котораго воздвигнуто Демокритомъ, снабдившимъ его безчисленнымъ множествомъ опытныхъ данныхъ и изложившимъ его съ тѣмъ краснорѣчiемъ, которое ставитъ его наряду съ первыми прозаиками Греции. Левкиппъ первый высказалъ положенiе, прочно устанавливающее безусловное значенiе причинности: „ничто не происходитъ безпричинно; все вызывается причиной, или необходимостью“. Въ его книгѣ „Мiростроенiе“, которая въ отличiе отъ сочиненiя Демокрита, кратко излагавшаго то же ученiе, была названа „Большое мiростроенiе“ заключается зерно атомистической физики. Другое его произведенiе „Объ умѣ“ излагаетъ въ главныхъ чертахъ характерное для его школы ученiе о душѣ. Мы не можемъ болѣе точно разграничить, что принадлежитъ одному и что другому. Мы принуждены отказаться отъ этого и изложить атомистическую теорiю въ цѣломъ. Но прежде намъ хотѣлось-бы обратить вниманiе читателя на личность несравненно болѣе знаменитаго преемника Левкиппа.

Для этого у насъ нѣтъ недостатка въ источникахъ. Возьмемъ хотя-бы собственныя слова Демокрита: „Я зашелъ дальше всѣхъ моихъ современниковъ; я расширилъ мои изслѣдованiя далѣе, чѣмъ всякiй другой, я видѣлъ больше странъ и земель и слушалъ больше ученыхъ людей; въ слаганiи линiй, сопровождаемомъ доказательствами, никто не превзошелъ меня, даже египетскiе землемѣры“. То преувеличенное значенiе, которое придается здѣсь именно объему образованiя, накопленiю знанiй, согласуется какъ нельзя лучше съ представленiемъ о человѣкѣ, въ которомъ мы должны видѣть скорѣе ученаго продолжателя, чѣмъ творца и новатора. Что-же касается впечатлѣнiя самохвальства, производимаго этимъ признанiемъ, то нужно имѣть въ виду нравы того времени. Не только „вѣжливость“, какъ замѣчаетъ—хотя и не безъ преувеличенiя Лессингъ,—„была совершенно неизвѣстна древнимъ“, но то-же самое можно еще съ большимъ правомъ сказать и о скромности. Примѣръ Эмпедокла еще свѣжъ, и

Θυκιδιδѣ, болѣе трезвый и тщательнѣе взвѣшивающій свои слова, не затрудняется назвать свой историческій трудъ „достояніемъ вѣчности“; самъ Платонъ, совершенно исчезающій въ своихъ діалогахъ за своимъ учителемъ Сократомъ, не стѣсняясь, вводитъ стихъ, въ которомъ онъ и его братья характеризуются какъ „богоподобное потомство достославнаго отца“. Самохвальство Демокрита можно объяснить и извинить еще однимъ особымъ обстоятельствомъ. Повидимому извѣстность его при жизни ограничивалась лишь городомъ въ какомъ онъ жилъ. „Я пріѣхалъ въ Аѣны. тамъ меня никто не зналъ“, говоритъ онъ въ другомъ мѣстѣ своей автобіографіи. Можетъ быть, оскорбленный тѣмъ, что, несмотря на огромные труды и ученыя занятія, ему не удалось достигнуть извѣстности въ столицѣ греческой умственной жизни, онъ рѣшилъ самъ распространять свою славу. А онъ вполне её заслужилъ. Всѣ отрасли знанія, начиная съ математики и физики и кончая этикой и поэтикой, онъ разрабатывалъ съ одинаковымъ рвеніемъ. Писанія его почти неисчислимы, а насколько значительно было ихъ содержаніе, свидѣтельствуеетъ компетентное мнѣніе о немъ такого судьи, какъ Аристотель. Послѣдній называетъ Демокрита человѣкомъ, „который, повидимому, размышлялъ обо всемъ. До него никто не высказалъ ничего кромѣ самого поверхностнаго о процессѣ роста и измѣненія“. Даже то благоговѣніе, съ которымъ Аристотель относится къ своему учителю Платону и та непроходимая бездна, которая отдѣляетъ его отъ атомистовъ, не мѣшаютъ ему расточать Демокриту и Левкиппу преувеличенныя похвалы въ ущербъ Платону. Объ ихъ ученіи о природѣ онъ отзывается, что, хотя оно и страдаетъ большими недостатками, но въ основаніи его лежитъ плодотворная гипотеза... Разница оказывается слѣдующая: привычка къ продолжительнымъ наблюденіямъ природы вырабатываетъ способность къ построенію гипотезъ, къ группировкѣ фактовъ. Постоянное оперированіе надъ отвлеченными понятіями уменьшаетъ эту способность. Оно отучаетъ насъ наблюдать дѣйствительность, позволяетъ разсматривать каждый разъ лишь небольшой кругъ фактовъ, а эта узость кругозора приводитъ къ созданію несовершенныхъ теорій.

2. Перейдемъ теперь къ изложенію самой „гипотезы“ и прежде всего тѣхъ ея негипотетическихъ основъ, которыя относятся къ ученію о познаніи и должны послужить къ разрѣшенію проблемы

матеріи. Её мы давно уже потеряли изъ виду. Мы оставили её въ рукахъ Анаксагора и въ крайне жалкомъ положеніи; ибо равно важныя требованія оказывались непримиренными и непримиримыми. Приходилось поступаться или качественной неизмѣняемостью, или внутреннею однородностью веществъ. Предстоялъ выборъ между однимъ или нѣсколькими элементами съ прерывно мѣняющимися свойствами съ одной стороны, и безчисленнымъ множествомъ первоначальныхъ веществъ, независимыхъ другъ отъ друга, лишенныхъ всякаго сродства — съ другой. Мы уже раньше упомянули, что здѣсь-то именно приходитъ на помощь спасительная рука абдерійцевъ, чтобы положить конецъ этой роковой дилеммѣ. Хотя слава такого завоеванія ума приписывается (какъ можно заключить изъ словъ Аристотеля) Левкиппу, но съ ученіемъ этимъ, составившимъ эпоху въ наукѣ, мы знакомимся чрезъ Демокрита. Онъ говоритъ: „по общепринятому мнѣнію существуетъ на свѣтѣ сладкое и горькое, существуетъ холодное и теплое, существуютъ цвѣта; на самомъ же дѣлѣ есть только атомы и пустое пространство“. Оставимъ пока въ сторонѣ атомы и пустое пространство и обратимъ наше вниманіе на первую, отрицательную часть высказаннаго положенія, которая имѣетъ особое значеніе. Мы называемъ эту часть отрицательной, потому что противоположеніе между такими свойствами какъ вкусъ (мы прибавили-бы также: запахъ и звукъ), цвѣтъ, температура съ одной стороны, и тѣмъ, что „на самомъ дѣлѣ“ существуетъ съ другой, не допускаетъ иного толкованія, какъ то, что объективность вышеупомянутыхъ свойствъ отрицается. Выраженіе „по общепринятому мнѣнію“ также требуетъ нѣкотораго объясненія. Противоположеніе природы тому, что установлено, общепринято, было обычнымъ въ то время. Обыкновенно неизмѣнность природы охотно противопоставляли измѣнчивымъ человѣческимъ установленіямъ (законамъ, обычаямъ). Такимъ образомъ, это послѣднее понятіе стало употребляться для выраженія идеи измѣнчиваго, произвольнаго, случайнаго. Что касается чувственныхъ воспріятій, то у Демокрита было обиліе наблюденій, которыми съ достовѣрностью доказывалась зависимость ихъ отъ различныхъ свойствъ индивидуумовъ, отъ мѣняющагося состоянія одного и того же субъекта, наконецъ, даже отъ различнаго распредѣленія однѣхъ и тѣхъ же частицъ матеріи. (Медь кажется горькимъ тому, кто боленъ желтухой; воздухъ и вода кажутся намъ холоднѣе или теплѣе, смотря по тому разго-

рячены мы или нѣтъ, (стр. 195) многіе минералы, при обращеніи ихъ въ порошкообразный видъ, мѣняютъ свой цвѣтъ и т. д. и т. д.). Въ наше время стараются вышеупомянутыя различія обозначать иначе и точнѣе; мы говоримъ о свойствахъ относительныхъ въ противоположность абсолютнымъ и объ истинѣ субъективной въ противоположность объективной. Болѣе глубокій анализъ обнаруживаетъ даже и въ такъ называемыхъ объективныхъ или первичныхъ свойствахъ вещей по меньшей мѣрѣ субъективный элементъ; съ другой стороны нѣтъ ни малѣйшаго сомнѣнія, что происхожденіе столь разнообразно мѣняющихся субъективныхъ впечатлѣній, подчинено законамъ, и нерушимо связано строго причинными нормами. Первое изъ этихъ возрѣній еще встрѣтится намъ въ дальнѣйшемъ изложеніи у античныхъ предшественниковъ Берклея и Юма, у такъ называемыхъ киренцевъ; послѣднее—какъ вскорѣ увидимъ—было далеко не чуждо Демокриту, равно какъ и современнымъ послѣдователямъ его, какому нибудь Гоббсу или Локку; да и самое значеніе закона причинности, которому училъ еще Левкиппъ, не терпѣло ни малѣйшихъ исключеній. Но въ данномъ случаѣ дѣломъ этого великаго человѣка было высказать вновь открытую истину глубочайшаго значенія въ возможно рѣзкой формѣ и потому безъ всякихъ ограниченій. Въ видѣ поразительной параллели можно указать на то, какъ понимается и высказывается по тому же вопросу другой, можетъ быть, еще болѣе сильный мыслитель. Великій Галилео Галилей—можетъ быть независимо отъ Демокрита—въ своемъ полемическомъ сочиненіи подъ заглавіемъ „Проба золота“ (1623) пишетъ слѣдующее: „какъ только я представляю себѣ вещество, или матеріальную субстанцію, я неминуемо долженъ представить себѣ его ограниченнымъ, имѣющимъ ту или другую форму... находящимся въ томъ или другомъ мѣстѣ, въ состояніи покоя или движенія, прикасающимся или неприкасающимся къ другому тѣлу“ и т. д. Съ другой стороны, онъ также убѣжденъ, „что всѣ эти вкусы, запахи, цвѣта и проч., отнесенные къ тому предмету, которому они повидимому принадлежать, суть не что иное, какъ только названія (non sieno altro, che puri nomi)“. Оба гиганта мысли,—одинъ пятого вѣка до Р. Х., другой семнадцатаго послѣ Р. Х.—знаютъ однако хорошо, что такъ называемыя вторичныя свойства вещей суть нѣчто большее, чѣмъ просто произвольныя обозначенія, условныя наименованія. При этомъ, они согласуются не только въ томъ, что уста-

навливаютъ вышеупомянутое важное разграниченіе, но даже и въ самомъ способѣ, которымъ они это дѣлають, способѣ, который (самъ по себѣ, пока не дополненъ другими мнѣніями этихъ же ученыхъ) можетъ произвести невѣрное и ошибочное впечатлѣніе. И нужно сказать, что рѣдко, можетъ быть даже никогда, вновь открытая основная истина появлялась на свѣтъ, или по крайней мѣрѣ, открывалась сознанію ея творца въ болѣе безупречной формѣ.

Но довольно о внѣшней формѣ произведенія. Внутреннее его содержаніе требуетъ нашего сосредоточеннаго вниманія. Съ его появленіемъ былъ устраненъ камень преткновенія, который лежалъ на пути, уже назрѣвшаго изслѣдованія. Могло ли теперь, показаться страннымъ, что листья растений, сегодня зеленые, завтра желтѣли, а затѣмъ и вовсе темнѣли? Кого отнынѣ могло смутить, что исполненный благоуханія цвѣтъ въ короткое время утрачивалъ свой ароматъ и смѣнялся увяданіемъ? Кого удивило бы теперь, что пріятный вкусъ фруктовъ тотчасъ измѣняется на противоположный, какъ только начинается гніеніе? Даже знаменитый Зеноновскій аргументъ съ зерномъ утратилъ свое жало; ему уже некого было сбивать съ толку... Какъ будто всѣ эти свойства вещей были лишены ихъ объективнаго значенія и изъяты изъ области объективной реальности. (Мы теперь понимаемъ, что именно Зенонъ далъ Левкиппу толчокъ къ разрѣшенію проблемы матеріи). Въ мірѣ матеріи былъ найденъ настоящій, опредѣленный, неизмѣнный объектъ познанія. Въ противоположность чувственнымъ свойствамъ, которыя мы называемъ вторичными, непрочнымъ, измѣнчивымъ, собственно говоря, даже не связаннымъ съ предметами выступила неизмѣнная матерія, какъ истинная реальность. Ея составныя части, отдѣльныя частицы, въ дѣйствительности ничѣмъ инымъ не отличаются другъ отъ друга, какъ только величиной и формой, включая сюда и мѣняющуюся въ зависимости отъ этихъ отличій способность производить давленіе и толчки на другія тѣла.

Эти основныя отличія тѣлъ въ зависимости отъ ихъ взаимныхъ отношеній Демокритъ отчетливо различалъ и выразилъ слѣдующими терминами: форма тѣлецъ (позволяемъ себѣ добавить: включая сюда и величину ихъ) распредѣленіе тѣлецъ и ихъ положеніе. Аристотель, чтобы сдѣлать эти различія болѣе наглядными, обозначаетъ ихъ греческими буквами и поясняетъ слѣдующими примѣрами: различіе по виду, или формѣ

онъ поясняетъ сопоставленіемъ А и N; различіе въ распредѣленіи (которое Демокритъ называетъ также соприкасаніемъ)—посредствомъ двойного изображенія AN—NA; наконецъ, различіе въ положеніи тѣлецъ (которое Демокритъ называетъ направленіемъ) поясняется поворачиваніемъ |—|, которое обращается отъ этого въ \perp . Здѣсь Демокритъ имѣлъ въ виду не крупныя матеріальныя образованія, но болѣе мелкія, уже невидимыя, а только воображаемыя составныя частицы, такъ называемыя „атомы“ или „недѣлимые“. На вопросъ, какимъ образомъ онъ и Левкиппъ пришли къ этому послѣднему выводу, равно какъ и къ характерному для нихъ примѣненію пустого пространства, мы можемъ отвѣтить указаніемъ на уже извѣстный нашимъ читателямъ фактъ, а именно, что ихъ теорія явилась результатомъ работъ ихъ предшественниковъ; атомистика была зрѣлымъ плодомъ древа ученія о матеріи, взращеннаго іонійскими фізіологами.

Когда Анаксименъ выводилъ различныя образованія своей основной матеріи изъ уплотненія и разрѣженія и при всѣхъ этихъ измѣненіяхъ основная форма сохранялась неизмѣнной, то едва-ли ему совершенно чужда была мысль, что при этомъ малѣйшія частицы, ускользящія отъ нашего наблюденія, то сближаются между собою, то удаляются другъ отъ друга (стр. 52). Когда Гераклитъ училъ о непрерывномъ измѣненіи вещей, а неизмѣнный составъ отдѣльныхъ вещей объяснялъ одною видимою, происходящею вслѣдствіе постоянного замѣщенія отдѣляющихся частичекъ матеріи новыми, то этимъ самымъ онъ по необходимости напередъ признавалъ существованіе невидимыхъ частицъ матеріи, равно какъ и ихъ передвиженія (срав. стр. 60). Наконецъ, когда Анаксагоръ, сожалѣя о „слабости“ нашихъ чувствъ, считаетъ каждый вещественный предметъ соединеніемъ бесконечно-многихъ „сѣмянъ“, или мельчайшихъ первоначальныхъ частичекъ, и внѣшній видъ его объясняетъ преобладаніемъ какого нибудь изъ безчисленныхъ элементовъ, то этимъ самымъ онъ только выражаетъ въ ясныхъ словахъ то, что мы должны были предположить у обоихъ его предшественниковъ (стр. 185/6). И дѣйствительно допустить такія объясненія пришлось подъ вліяніемъ настолько очевидныхъ и обыденныхъ наблюденій, что вполне понятно, что они имѣли мѣсто уже въ древности. Кусокъ холста или сукна промоченъ дождемъ и тотчасъ послѣ того высушенъ солнцемъ, частички

воды, которыми онъ былъ пропитанъ, исчезли, но глазъ не обнаружилъ этого. Какое нибудь пахучее вещество наполнило своимъ запахомъ комнату, въ которой оно сохранялось, но никто не видѣлъ частичекъ, распространившихъ запахъ, хотя въ сосудѣ замѣчается чрезъ нѣкоторое время уменьшеніе содержимаго. Частию эти, частию другіе обыденные опыты заставляютъ признать рядомъ съ невидимыми частицами матеріи и невидимыми движеніями также и невидимые пути или ходы, которые прорѣзаютъ во многихъ мѣстахъ тѣло, кажущееся по наружному виду немѣющимъ перерывовъ. Такимъ образомъ, воплѣ естественное допущеніе пустого, лишеннаго вещества пространства, которымъ мы повидимому обязаны пифагорейцамъ, нужно считать извѣстнымъ уже Пармениду; оно служило мишенью для его энергичныхъ нападокъ (сравни стр. 154).

Если эти два фактора—невидимыя подвижныя частицы и невидимыя же пустые промежутки—въ равной степени составляютъ матеріаль для атомистической теоріи, то два другихъ идеальныхъ агента оказали на нее свое вліяніе, наложили свой отпечатокъ. Мы имѣемъ въ виду оба достаточно выясненные нами постулата о матеріи, которые мы опять таки относимъ на счетъ іонійскихъ мудрецовъ. Правда, Парменидъ первый отлилъ ихъ въ опредѣленную форму. Одинъ изъ этихъ постулатовъ (именно—количественнаго постоянства) составляетъ зерно всего ученія о первичной матеріи, и, начиная съ Фалеса, лежалъ въ основѣ всѣхъ относящихся сюда теорій; самый же ранній слѣдъ второго постулата (качественнаго постоянства) мы находимъ уже у Анаксимена (срав. стр. 54). Въ полномъ развитіи мы видимъ его у Анаксагора, который, однако, не сходится съ элейцами ни въ какомъ другомъ пунктѣ, а въ существеннѣйшихъ вопросахъ діаметрально противоположенъ имъ. Съ другой стороны, завѣдомый послѣдователь Парменидова ученія, Эмпедокль ставитъ его менѣе опредѣленно и проводитъ менѣе послѣдовательно (срав. стр. 222). На обоихъ требованіяхъ, содержаніе которыхъ справедливо считалось непременнымъ условіемъ устойчивости въ области совершающагося въ матеріальной природѣ, съ неизмѣнной строгостью настаивалъ Левкиппъ, что, однако, не помѣшало ему впадать то въ Парменидово отрицаніе природы, то въ Анаксагорово наслованіе ея. Было ли ему самому ясно, что сами эти требованія по существу своему не болѣе, какъ вопросы, обращенные къ природѣ изслѣдователемъ,—это столь же сомнительно, какъ и то, что онъ лишь под-

крѣпилъ новое ученіе убѣдительными выводами изъ эмпирическихъ данныхъ. Извѣстна склонность многихъ великихъ изслѣдователей основывать важнѣйшіи свои открытія не на единственно истинной основѣ познанія—на опытѣ, а подкрѣплять ихъ доводами мнимой логической необходимости. Того же можно, повидимому, ожидать съ нѣкоторою вѣроятностью и отъ ученика метафизика Зенона. Однако, для зарожденія атомистическаго ученія намъ не достаетъ еще одного рѣшительнаго момента. Къ содержащимся въ двухъ постулатахъ о матеріи предположеніямъ неуничтожаемости и неизмѣняемости матеріи присоединено еще одно крайне цѣнное физическое понятіе. Мы имѣемъ въ виду непроницаемость матеріи. Въ пользу признанія этого свойства всеобщимъ, безъ всякихъ исключеній, послужили опыты въ родѣ тѣхъ, какіе были произведены Анаксагоромъ (срав. стр. 187). Нельзя же было не признать не только сопротивленія воздуха, заключеннаго въ надутомъ мѣхѣ, но также и того, что сопротивленіе замѣтно и быстро возрастаетъ при сдавливаніи. Но здѣсь появилось новое затрудненіе, котораго прежде не замѣчали и не могли замѣтить, пока строго-однородный характеръ матеріальнаго міра еще не былъ выясненъ, и былъ скрытъ за разнообразіемъ агрегатныхъ состояній. Въ спокойномъ, или почти спокойномъ, воздухѣ движеніе нашего тѣла не встрѣчаетъ не только непреодолимаго, но даже замѣтнаго, препятствія. Когда же подобные эксперименты, къ которымъ нужно присоединить и опытъ Эмпедокла, подтверждающій давленіе воздуха (срав. стр. 208), а также теоріи вещества, опирающіяся на аналогичныя наблюденія, въ особенности же теорія Анаксимена, обнаружили, что различіе агрегатныхъ состояній не является фундаментальнымъ, тогда упомянутое затрудненіе выступило съ полной силой. Воздухъ ли, вода ли, твердое ли тѣло,—ездѣ было передъ нами, въ всякаго сомнѣнія, вещество само по себѣ непроницаемое. Вслѣдствіе этого, приходилось спросить себя: какимъ образомъ вообще возможно движеніе въ предѣлахъ этого вещества? И затѣмъ, откуда происходитъ столь значительная разница въ сопротивленіи, которое встрѣчаетъ движеніе въ различныхъ средахъ? Какъ можетъ быть, что летящей стрѣлѣ воздухъ не представляетъ сколько-нибудь замѣтнаго сопротивленія, а скала оказываетъ непреодолимое. Тутъ на помощь явилось не совѣмъ уже новое—какъ было замѣчено—ученіе о пустомъ пространствѣ. Матеріальный міръ—такъ заключали—не представляетъ непрерывности; онъ скорѣе состоитъ изъ отдѣль-

ныхъ вполнѣ непроницаемыхъ частицъ вещества, отдѣленныхъ другъ отъ друга пустыми, вполнѣ проницаемыми промежутками. Поэтому, движеніе возможно и притомъ настолько, насколько одна непроницаемая частица можетъ отодвинуться, чтобы дать мѣсто другой. И въ зависимости отъ, обусловленной свойствами этихъ частицъ и разстояніемъ между ними, легкости, трудности или невозможности перемѣщенія ихъ, движеніе будетъ легко, затруднено или вовсе отсутствовать. Неуничтожаемость, неизмѣняемость и непроницаемость матеріи есть въ дѣйствительности неуничтожаемость, неизмѣняемость и непроницаемость этихъ невидимыхъ по ихъ малости частицъ, не идеально недѣлимыхъ, но въ дѣйствительности недѣлимыхъ матеріальныхъ единицъ, или атомовъ. Въ формѣ и величинѣ этихъ основныхъ тѣлецъ напли объясненіе свойствъ тѣхъ сложныхъ тѣлъ, которые изъ нихъ составлены.

3. Трудно исчерпать словами дѣйствительность и значеніе великаго ученія. Прежде всего приходится говорить вообще о томъ, что можетъ дать теорія сама по себѣ и о томъ, что она въ дѣйствительности дала современному знанію. Затѣмъ уже своевременно будетъ указать на несовершенство ея древнѣйшей формы и ея первоначальнаго примѣненія. Пространственные перемѣщенія всякаго рода становятся при ея помощи объяснимыми, т. е. они согласуются съ непроницаемостью матеріи; это относится до пространственныхъ явленій всякаго рода и всякаго размѣра, будь театромъ ихъ дѣйствія міровое пространство или капля воды, все равно. Не менѣе понятными становятся различія между тремя агрегатными состояніями, смотря по тому, какъ однѣ и тѣ-же группы атомовъ или молекулы жидкости подъ вліяніемъ холода тѣснѣе сближаются другъ съ другомъ и обращаются въ твердое тѣло, или же подъ дѣйствіемъ тепла разрѣжаются и разсѣиваются въ газообразное состояніе. Неуничтожаемость матеріи противорѣчитъ только внѣшнему, поверхностному наблюденію. Кажущееся возникновеніе новаго тѣла есть не болѣе какъ соединеніе комплекса атомовъ, которые до того были разъединены, уничтоженіе же есть разъединеніе тѣхъ же атомовъ. Отъ механики массъ, т. е. отъ условій равновѣсія и движенія обширныхъ группъ атомовъ, мы спускаемся къ механикѣ самихъ атомовъ и ближайшихъ къ нимъ группъ, т. е. къ молекуламъ, представляющимъ мельчайшія соединенія атомовъ и составляющимъ предметъ химіи.

Фактъ, что соединеніе различныхъ тѣлъ происходитъ хотя и въ весьма разнообразныхъ, но никогда не мѣняющихся произвольно, а всегда опредѣленныхъ отношеніяхъ по объему и по вѣсу, объясняется въ современной наукѣ тѣмъ, что каждый разъ опредѣленное количество атомовъ одного рода вступаетъ въ соединеніе съ опредѣленнымъ количествомъ другого, или нѣсколькихъ другихъ (эквивалентъ, атомный вѣсъ). Отъ условій расположенія и отъ характера движенія мельчайшихъ частицъ тѣла зависятъ его чувственныя свойства, а также отчасти и его физическія свойства. Поэтому вполне естественно, что одно и то же скопленіе однородныхъ атомовъ представляетъ разную окраску, въ зависимости отъ того или иного способа расположенія атомныхъ группъ (молекулъ): такъ напримѣръ, обыкновенный фосфоръ желтоватаго цвѣта, а аморфный—краснаго (аллотропія). Тоже самое и при химическихъ соединеніяхъ. Атомы одного и того же рода обнаруживаютъ различныя свойства, въ зависимости отъ того, какъ построено соединеніе (изомерія). И мы можемъ, вмѣстѣ съ Фехнеромъ, прибавить, что „если атомы въ одномъ направленіи располагаются иначе, чѣмъ въ другомъ, то тѣло пріобрѣтаетъ въ разныхъ направленіяхъ разныя свойства (различіе въ растяжимости, спайности, твердости и т. д.)“. Отношеніе между свойствами сложнаго тѣла и свойствами его составныхъ частей не можетъ быть вполне простымъ и яснымъ, ибо если ходъ какойнибудь химической реакціи имѣетъ своимъ послѣдствіемъ глубокія измѣненія (уплотненіе, освобожденіе теплоты и т. д.), то мы не въ правѣ ожидать, что свойства соединенія будутъ представлять собою не болѣе какъ сумму свойствъ составныхъ частей. Факты, что свойства воды не суть просто совокупность свойствъ кислорода и водорода, что цвѣтъ синяго купороса не есть просто смѣсь цвѣта сѣрной кислоты и мѣди, и подобныя этому наблюденія смутили нѣкоторыхъ мыслителей (напр. Джона-Стюарта Милля) и заставили ихъ усомниться въ способности химіи къ дальнѣйшему усовершенствованію. Однако, какъ только что пояснено, факты эти нисколько не противорѣчатъ тому, что атомы остаются внутри соединенія безъ измѣненія, тѣми же самими, какими они снова станутъ послѣ выхода изъ состава соединенія. Въ настоящее время иногда оказывается возможнымъ прямо указать, что нѣкоторыя свойства сохраняются неизмѣненными; изслѣдованіе новѣйшаго времени вступило на путь, обещающій значительно расширить возможность такихъ предска-

заній и пролить свѣтъ на закономѣрную зависимость свойствъ сложныхъ тѣлъ отъ свойствъ ихъ составныхъ частей. Специфическая теплоемкость элементовъ сохраняется и въ ихъ соединеніяхъ; способность углерода преломлять свѣтъ проявляется и въ углеродныхъ соединеніяхъ. Зависимость свойствъ химическаго цѣлаго отъ его частей все болѣе и болѣе выясняется; нерѣдко удается даже предсказывать свойства такихъ соединеній, которые опытнымъ путемъ еще не получены и т. д. Такимъ образомъ, покоящаяся всецѣло на основахъ атомистическаго ученія, химія все болѣе и болѣе приближается къ стадіи завершения, когда простая грубая эмпирика уступаетъ мѣсто дедукціи или выведенію. Вѣдь удалось же ей недавно установить связь между физическими свойствами элементовъ (какъ ихъ растяжимость, плавкость, летучесть) и объемомъ и вѣсомъ соотвѣтствующихъ атомовъ и наконецъ даже предсказать—на подобіе опшломляющихъ астрономическихъ открытій—существованіе и свойства новыхъ элементовъ, послѣ чего предсказанія были подтверждены фактическимъ открытiемъ ихъ. О другихъ доказательствахъ и подтвержденіяхъ атомистическаго ученія мы здѣсь умолчимъ; сказаннаго достаточно для того, чтобы вполне оправдать слѣдующее изреченіе Курно: „Ни одна изъ идей, завѣщанныхъ намъ древностью, не имѣла не только большаго, но даже равнаго успѣха. Развѣ современное атомистическое ученіе не есть повтореніе теоріи Левкиппа и Демокрита? Изъ нея оно произошло и есть плоть отъ плоти ея“. Въ какой мѣрѣ творецъ новаго естествознанія Галилей (род. 1564), знавшій, разумѣется, Демокритово ученіе, находился подъ его вліяніемъ и насколько онъ самостоятельно и заново переработалъ его главнѣйшія основанія, рѣшить теперь трудно. Но тотъ, кому принадлежитъ окончательное введеніе атомистическаго ученія въ современную физику, французскій священникъ Петръ Гассенди, (род. 1592), тщательно изучалъ жизнь, писанія и ученіе Эпикура, продолжателя теоріи Левкиппа и Демокрита, и славился какъ глубокій знатокъ и цѣнитель его. Наконецъ Рене Декартъ (род. 1596), хотя и отвергалъ само атомистическое ученіе, но стоялъ—если исключить вопросъ о первоначальномъ источникѣ движенія—до такой степени на почвѣ строго-механическаго объясненія явленій природы, что вызвалъ упрекъ, будто-бы эта часть его ученія—не болѣе какъ „заплата изъ Демокритовыхъ лоскутковъ“.

Атомистическое ученіе имѣетъ свою длинную и многообразную исторію, начало которой къ сожалѣнію недостаточно всесторонне освѣщено. Трактовать объ его превращеніяхъ и преобразованіяхъ, а также о тѣхъ возраженіяхъ, которые были сдѣланы противъ него такъ называемыми динамистами, не входитъ въ нашу задачу. Только на одномъ изъ главныхъ разногласій между современной и античной атомистикой мы позволимъ себѣ остановиться. Современная физика не считается съ понятіемъ пустого пространства. Она замѣнила его эфиромъ, и это допущеніе оказываетъ несравненно болѣе услугъ для объясненія явленій природы. Въ рѣшающемъ моментѣ однако объ концепціи согласуются вполне. Абсолютно-проницаемое, которое облекаетъ непроницаемыя частицы со всѣхъ сторонъ, есть эфиръ, которому приписываютъ абсолютную упругость; но туже роль можетъ играть и пустота. Другое разногласіе, болѣе глубокое состоитъ въ слѣдующемъ: современная химія обходится семьюдесятью слишкомъ элементами, и ея представители уже болѣе не сомнѣваются—особенно послѣ открытія „естественной таблицы элементовъ“,—что будущее науки носить въ себѣ зачатки значительнаго уменьшенія числа элементовъ, вѣроятно даже приведенія всѣхъ элементовъ къ единому основному веществу. Левкиппъ считалъ атомы безконечно различными, хотя и ни въ какомъ иномъ отношеніи, какъ только по формѣ и величинѣ. Такимъ образомъ, гипотеза его обнаружила, къ немалой для нея чести, значительно большую производительность, чѣмъ приписывалъ ей самъ основатель. Число качественныхъ различій, происходящихъ только отъ разнаго количества и распредѣленія атомовъ, входящихъ каждый разъ въ составъ какого-нибудь образованія, оказалось несравненно большимъ, чѣмъ могли предвидѣть Левкиппъ и Демокритъ. Такъ напримѣръ, имъ трудно было предугадать, что столь различныя вещества, и по своему виду и по дѣйствию, какъ винный спиртъ и сахаръ, состоятъ изъ однихъ и тѣхъ же трехъ родовъ атомовъ, только соединенныхъ въ разныхъ пропорціяхъ; или что сильный ядъ (мускаринъ) содержитъ только на одинъ атомъ больше кислорода, чѣмъ вещество входящее въ составъ всѣхъ животныхъ и растительныхъ клѣтокъ (невринъ). Равнымъ образомъ, они не могли знать, что все неисчерпаемое разнообразіе органическихъ соединеній сводится болѣею частію къ комбинированію четырехъ различныхъ родовъ атомовъ въ различныхъ пропорціяхъ и различныхъ строеніяхъ. Несмотря на это невольно спрашиваешь себя удивленно: почему же атомисты не

довольствовались менѣ парадоксальнымъ предположеніемъ? Правильный отвѣтъ на это будетъ такой: эта крайность объясняется желаніемъ нанести ударъ общепринятому ненаучному пониманію матеріальнаго міра, а со стороны Демокрита также и Анаксагорову ученію о матеріи. „Не нужно вашихъ безчисленныхъ качественныхъ различій“, возмашали творцы новой теоріи къ своимъ противникамъ, „ни одного изъ нихъ на самомъ дѣлѣ не требуется. Для объясненія всего необозримаго разнообразія явленій вполне достаточно отличія основныхъ элементовъ по величинѣ и по формѣ“. Этимъ былъ сдѣланъ огромный шагъ впередъ въ смыслѣ упрощенія основныхъ положеній. Ударъ былъ направленъ на расточительность природы въ качественномъ отношеніи. Не должна-ли она проявлять бережливость и въ другомъ отношеніи? Съ начала къ этому не было никакого повода. Вѣдь все дѣло было въ томъ, чтобы представить гипотезу въ такомъ видѣ, который могъ бы удовлетворить самымъ строгимъ, даже преувеличеннымъ требованіямъ. Можно было ожидать, что разъ природа являетъ такое богатое изобиліе формъ въ другихъ случаяхъ, то въ этомъ главномъ отношеніи будетъ то же. Только постоянный ростъ положительнаго знанія могъ оказать здѣсь умѣряющее и ограничивающее вліяніе. Затѣмъ, Демокритово ученіе признавало отдѣльное существованіе двойныхъ атомовъ; понятіе-же атомныхъ группъ, или молекулъ было ему по существу чуждо. Такимъ образомъ, задача, которую приходится выполнять въ современной наукѣ этому послѣднему представленію, выпадала на долю самого атома; поэтому-то ему пришлось приписать большее многообразіе. Однако, если эта часть гипотезы и была одѣлена черезчуръ щедрой рукой, богатство это, во всякомъ случаѣ, не было растрчено напрасно; оно должно было найти самое выгодное примѣненіе, какое только можно себѣ представить. Всѣ безъ исключенія физическія особенности простыхъ тѣлъ были приведены къ упомянутому выше различію атомовъ по величинѣ и по формѣ. Необходимости принимать какія-либо другія отличія Демокритъ надѣялся избѣгнуть. Не обо всемъ сюда относящемся мы освѣдомлены достаточно хорошо. Мы знаемъ однако его объясненіе удѣльнаго вѣса, который онъ выводилъ изъ большей, или меньшей плотности различныхъ скопленій матеріи. Если одинъ и тотъ-же объемъ одной матеріи легче, чѣмъ такой-же объемъ другой, то значитъ, первый содержитъ больше пустого пространства, чѣмъ второй. Здѣсь опять явилось новое затрудненіе: согласно съ основной гипотезой, твер-

дость также должна была возрастать и убывать одновременно съ плотностью. Какъ теперь быть въ томъ случаѣ, когда твердость и удѣльный вѣсъ не совпадаютъ? Желѣзо тверже свинца, но свинецъ тяжелѣе желѣза. Тутъ помогло слѣдующее остроумное соображеніе. Причиной этого противорѣчія разница въ способѣ распределенія пустаго пространства. Кусокъ свинца, думалъ Демокритъ, содержитъ болѣе массы и меньше пустаго пространства, чѣмъ такой-же величины кусокъ желѣза; иначе его вѣсъ не могъ-бы быть больше, чѣмъ вѣсъ желѣза. Но распределеніе пустаго пространства въ свинцѣ должно быть болѣе равномернымъ; содержащаяся въ немъ масса матеріи раздѣлена болѣе многочисленными, хотя и меньшими пустыми промежутками; иначе твердость его не могла-бы оказаться меньшей.

4. Впрочемъ, какія тѣла Демокритъ считалъ простыми и какія сложными—объ этомъ мы не имѣемъ точныхъ свѣдѣній. Только относительно двухъ пунктовъ той области, которую можно назвать физиологіей чувствъ, пробивается лучъ подлиннаго его ученія. Здѣсь мы узнаемъ, по крайней мѣрѣ, что допущеніе безконечнаго разнообразія въ величинѣ и формѣ атомовъ явилось не какъ результатъ невозможности признать, или предположить сложное въ кажущемся простомъ. Его въ высшей степени замѣчательное ученіе о цвѣтахъ, которое—кстати замѣтитъ—повидимому очень нуждается въ новой компетентной разработкѣ, исходитъ изъ четырехъ основныхъ цвѣтовъ: бѣлаго, чернаго, краснаго и зеленаго. Послѣдній введенъ здѣсь на мѣсто желтаго въ ряду основныхъ цвѣтовъ, признанныхъ уже таковыми Эмпедокломъ. Всѣ остальные цвѣта получаются путемъ смѣшенія основныхъ. Отсюда мы усматриваемъ, что по крайней мѣрѣ все множество тѣлъ, которыя окрашены какимъ либо другимъ кромѣ этихъ четырехъ основныхъ цвѣтовъ, должны быть признаны тѣлами сложными по природѣ, т. е. состоять изъ элементовъ не одного только рода, а разныхъ. Его попытка объяснить разнообразіе вкусовыхъ впечатлѣній основывается почти исключительно на различіи формы, рѣже величины входящихъ въ составъ вещества атомовъ. Острый вкусъ происходитъ, по его мнѣнію, отъ острыхъ, имѣющихъ остроконечную форму основныхъ частицъ, сладкій—отъ частицъ круглой формы и сравнительно большаго размѣра; подобнымъ образомъ объясняются вяжущій, горькій, соленый и другіе вкусы. Прежде всего, нѣсколько словъ объ этихъ попыткахъ

объяснить вкусовые, осязательныя и другія, ощущенія, попыткахъ, основанныхъ большею частію на однихъ неопредѣленныхъ аналогіяхъ. Нѣтъ сомнѣній, что онѣ въ основаніи своемъ ошибочны и кромѣ того поражаютъ своею грубостью. Однако, читатели, можетъ быть, отнесутся къ нимъ снисходительнѣе, когда познакомятся съ „Опытомъ о возбужденіи нервныхъ и мускульныхъ волоконъ“ Александра Гумбольдта и убѣдятся, что почти тождественныя теоріи, объяснявшія вкусовые различія различіемъ формъ частицъ вещества, еще въ минувшемъ столѣтіи не только были ходячими, но даже пользовались неоспоримымъ значеніемъ. Но здѣсь насъ особенно интересуетъ другое. Объясненіе вкусовыхъ ощущеній формой атомовъ производитъ такое впечатлѣніе, будто многочисленныя вкусовые вещества, или „соки“, образуются изъ атомовъ одного только рода, именно изъ такихъ, которые имѣютъ нужную для даннаго случая форму и величину. Однако достаточно припомнить только что сказанное о смѣшанныхъ цвѣтахъ, чтобы убѣдиться, что это не могло быть мнѣніемъ самого Демокрита, ибо если онъ могъ безъ противорѣчія сказать это, напримѣръ, о бѣломъ цвѣтѣ соли, то нельзя было утверждать того же о золотисто-желтомъ медѣ, или о желто-коричневой (человѣческой) желчи. Сладость меда и горечь желчи онъ долженъ былъ объяснять, конечно, присутствіемъ другихъ атомовъ, обусловливающихъ эти два вкусовыхъ свойства; но такъ какъ онъ считалъ желтый и коричневый цвѣтъ составными, то ему пришлось сдѣлать заключеніе, что какъ медъ, такъ и желчь содержатъ, кромѣ этихъ, еще и другіе атомы. Поэтому, истинный смыслъ этого объясненія можетъ быть только таковъ, что во всѣхъ веществахъ, окрашенныхъ въ составные цвѣта, тотъ именно родъ атомовъ, который является причиной ихъ специфическаго вкуса, оказывается преобладающимъ, имѣющимъ перевѣсъ надъ другими. Въ довершеніе всего, Теофрастъ, являющійся главнымъ источникомъ нашихъ свѣдѣній объ ученіи Демокрита о чувствахъ, совершенно ясно говоритъ, что онъ именно такъ и училъ.

Отъ отдѣльныхъ атомовъ перейдемъ къ ихъ соединеніямъ. Демокритъ считалъ, что въ этихъ соединеніяхъ атомы между собою дѣйствительно связаны, или сцѣплены въ настоящемъ значеніи этого слова. Ему казалось, что это сцѣпленіе и сплетеніе атомовъ произошло отъ ихъ непосредственнаго соприкосновенія между собою. Чтобы это было возможно, пришлось придать ато-

мамъ соотвѣтствующую форму. Демокритъ придумалъ огромное число такихъ формъ и долженъ былъ, основываясь на своемъ предположеніи, изобрѣтать еще безконечное множество формъ. Онъ различалъ между элементами такіе, которые не имѣютъ особыхъ частей для прикрѣпленія и удерживаются на мѣстѣ только охватывающей ихъ со всѣхъ сторонъ оболочкой, и затѣмъ другіе, которые могутъ быть соединены другъ съ другомъ въ одномъ или въ двухъ мѣстахъ посредствомъ ушка или крючка, помощьюъ загнутыхъ краевъ, выпуклости и углубленія или отростковъ. Подобные различные способы связи должны были повидимому объяснять большую или меньшую степень подвижности болѣе или менѣе тѣсную связь частицъ и соотвѣтственно этому различныя свойства сложныхъ тѣлъ. Этотъ способъ объясненія соединеній матеріи, послѣдній отголосокъ котораго мы встрѣчаемъ у Декарта и Гюйгенса, намъ теперь совершенно чуждъ. Но да будетъ позволено напомнить, что принятое современной наукой, отчасти взаимно этого грубо механическаго воззрѣнія понятіе сродства и т. под., также не рѣшаютъ вопросъ вполне удовлетворительно; ихъ терпятъ развѣ только какъ удобныя образныя выраженія, какъ пригодныя фикціи, или, говоря языкомъ современныхъ химиковъ-философовъ, какъ слова, употребляемыя „взаимно отсутствующаго яснаго представленія“. Позволяемъ себѣ указать еще и на то, что склонность объяснять всякое взаимодѣйствіе частицъ матеріи не дѣйствіемъ силъ на разстояніи (притяженіе), но ихъ прикосновеніемъ (другъ къ другу), хотя бы и передающимся черезъ среду (эфиръ), склонность, все болѣе и болѣе овладающая современнымъ естествознаніемъ, есть слѣдствіе переворота, подготовленнаго глубокомысленнымъ сочиненіемъ Гюйгенса „Рѣчь о причинѣ тяжести“. Несмотря на все это, придется и къ Демокриту отнести сужденіе, высказанное Паскалемъ по поводу картезіанскаго ученія о матеріи: „Въ общемъ, приходится признать, что это происходитъ въ силу формы и движенія; но чтобы объяснить это, собрать эту машину... все оказывается ненадежнымъ, бесполезнымъ и тщетнымъ“.

Кружась въ пустомъ пространствѣ, способные къ соединенію атомы случайно наталкиваются другъ на друга, сплетаются въ цѣлое большихъ размѣровъ и постепенно образуютъ оболочку, которая охватываетъ и сдерживаетъ вмѣстѣ отдѣльныя, остающіеся несоединенными атомы; затѣмъ отдѣляясь отъ безграничнаго пустого пространства, они образуютъ отдѣльный міръ или космосъ,

каковыхъ существуетъ безконечное множество. Они образуются тамъ, гдѣ есть условія для ихъ возникновенія и разрушаются, т. е. распадаются, возвращаясь въ первоначальное свое состояніе, коль скоро условія оказываются неблагоприятными для ихъ дальнѣйшаго существованія. Но въ космосъ — по крайней мѣрѣ, насколько мы его знаемъ—входятъ не только огромныя скопленія атомовъ, не только происходящія въ большомъ масштабѣ соединенія; здѣсь должно также происходить въ соответствующемъ-же масштабѣ и распредѣленіе матерій. Не просто беспорядочное скопленіе атомовъ, но небольшое число однородныхъ или почти однородныхъ массъ вещества находится передъ нашими глазами: тамъ—небо, здѣсь—твердыня земли, а въ ея пизинахъ въ ширь и въ даль раскинулось море. Старый вопросъ встаетъ передъ атомистами, и они находятъ для него свое рѣшеніе, хотя опять таки не вполне новое. Влеченіе подобнаго къ подобному, которое въ ученіи Эмпедокла играло роль устроителя міровъ, опять появляется, хотя и въ нѣсколько измѣненномъ видѣ. Демокритъ также признаетъ стремленіе подобнаго соединиться съ подобнымъ тою нормою, которая управляетъ ходомъ міра. Но онъ не считаетъ его конечнымъ фактомъ, не поддающимся объясненію, или не нуждающимся въ немъ; ему хочется объяснить его и, такъ какъ здѣсь дѣло идетъ о матеріи, то онъ старается привести все къ физической, или механической причинѣ. Существованіе массовыхъ скопленій однородной матеріи и то обстоятельство, что одна частичка земли располагается рядомъ съ другой, одна капля воды рядомъ съ другой, означаютъ, по его мнѣнію, что, опредѣляющія особыя свойства земли, воды и другихъ веществъ, атомы или комплексы атомовъ нѣкогда отложились вмѣстѣ въ огромныхъ массахъ. Поэтому, онъ видитъ себя стоящимъ передъ проблемою, которую и старается разрѣшить. Рѣшеніе онъ находитъ въ одинаковой способности къ противодѣйствію одинаковыхъ по формѣ и по величинѣ частицъ матеріи. Когда онъ размышляетъ о грозныхъ явленіяхъ, придавшихъ нашему міру его теперешній видъ, то это напоминаетъ ему дѣйствіе, которое производитъ работа вѣялки или удары морскихъ волнъ во время прибоа. Находящаяся въ вѣялкѣ смѣсь различныхъ полевыхъ злаковъ будучи приведена въ сотрясеніе рукою земледѣльца, (всѣдствие происходящаго при этомъ, по его мнѣнію, тока воздуха), отбрасывается и отсѣивается: „чечевица ложится къ чечевицѣ, ячмень

къ ячменю, пшеница къ пшеницѣ“. Совершенно также и на берегу моря: „движеніемъ волнъ продолговатые камешки откидываются въ одно мѣсто, круглые—въ другое“.

Роль вѣялки, или морского прибора въ космическихъ явленіяхъ играетъ атомный вихрь. Вездѣ, гдѣ въ мировомъ пространствѣ находящіеся въ движеніи цѣпи атомовъ налетаютъ другъ на друга, они вызываютъ вращательное движеніе, или вихрь, который охватываетъ съ начала два столкнувшихся ряда, потомъ распространяется дальше и дальше, захватываетъ сосѣднія съ ними сплетенія атомовъ, и наконецъ вся собранная здѣсь масса раздѣляется и распредѣляется по сортамъ. Этотъ отборъ достигается тѣмъ, что частицы имѣющія одинаковыя форму и величину одинаковымъ образомъ реагируютъ на полученный импульсъ, причемъ сопротивленіе полученному воздѣйствію возрастаетъ вмѣстѣ съ величиной частичекъ и наоборотъ. Такимъ образомъ объясняются не только скопленія однородныхъ частицъ—водяныхъ, воздушныхъ и т. д.—но получаетъ объясненіе и распредѣленіе отлагающихся массъ, такъ какъ меньшія и, благодаря ихъ формѣ, болѣе подвижныя частички оказываютъ и меньшее сопротивленіе полученному импульсу, а большія и, въ силу ихъ формы, не столь подвижныя элементы—большее. Вотъ почему земля, масса которой состоитъ изъ атомовъ послѣдняго рода, составляетъ середину происшедшаго такимъ образомъ космоса, а состоящій изъ меньшихъ огненныхъ атомовъ эфиръ его наружную оболочку. Правильное пониманіе этого космогоническаго ученія раскрыто всего какой нибудь десятокъ лѣтъ двумя изслѣдователями, которымъ удалось независимо одинъ отъ другого устранить массу лже-толкованій, накопившихся столѣтіями, и возстановить ученіе Левкиппа и Демокрита въ его первоначальной чистотѣ. На одно только почтенные изслѣдователи не обратили вниманія. Они не указали, что примѣненіе вихрей для объясненія космическихъ образованій вовсе не представляетъ новшества, введеннаго атомистами. Уже у Анаксагора и Эмпедокла встрѣчаются подобныя предположенія. Источникъ, изъ котораго черпали и тѣ и другіе мыслители, можетъ быть установленъ съ значительной долей вѣроятности; это никто иной, какъ праотецъ космогоническаго изслѣдованія вообще, Анаксимандръ изъ Милета. На него почти несомнѣнно указываетъ одно замѣчаніе Аристотеля, на которое долго не обращали вниманія. Не менѣе замѣчательно не только согласіе между упомянутыми учеными, но также и различіе

въ томъ, какъ они пользуются этимъ вспомогательнымъ средствомъ мірообразования. Первый импульсъ къ вращательному движенію Анаксагоръ приписываетъ нематеріальному началу или, по крайней мѣрѣ, наполовину нематеріальному; это движеніе освобождаетъ перемѣшанные до того времени въ безпорядкѣ массы путемъ преодоленія внутренняго тренія и даетъ имъ возможность, отдѣлившись другъ отъ друга, располагаться въ зависимости отъ ихъ удѣльнаго вѣса. Что касается Эмпедокла, мы не можемъ рѣшить, въ чемъ онъ видѣлъ первый толчекъ производившій движеніе и вызывавшій вихрь, при помощи котораго происходилъ затѣмъ отборъ вещества смѣшаннаго въ божественномъ „шарѣ“. Одно можно сказать съ увѣренностью,—механическій процессъ у него подчиненъ одной изъ двухъ вѣматеріальныхъ потенцій, а именно „раздору“. У атомистовъ такой подчиненности нѣтъ и слѣда. Мірообразовательный процессъ у нихъ не есть средство для достиженія какой нибудь намѣченной цѣли; онъ столь-же мало явился результатомъ намѣреній нѣкоего всеобразующаго ума (*нус*), какъ не является и послѣдствіемъ дѣятельности какой нибудь другой, правящей міромъ высшей силы. Онъ явился вполне и исключительно какъ результатъ дѣятельности силъ, лежащихъ въ самой матеріи и естественныхъ въ самомъ строгомъ смыслѣ слова. Принятіе его служитъ исключительно для цѣлей научнаго объясненія; оно должно дать вполне правдивый, свободный отъ всякой задней мысли отвѣтъ на вопросъ: какъ могло случиться, что здѣсь и тамъ, на безконечномъ протяженіи пустого пространства, въ тотъ или иной моментъ безконечнаго теченія времени, произошелъ такой отборъ и распредѣленіе матеріальныхъ массъ, примѣромъ чему, конечно не единичнымъ, можетъ служить окружающій насъ міръ? Одна часть этого отвѣта издавна уже неправильно толковалась; чтобы выяснитъ этотъ вопросъ намъ придется дольше на немъ остановиться.

Въ началѣ этого изложенія мы говорили объ атомахъ, которые носятся въ пустомъ пространствѣ. Мы рассказали какъ по Левкиппу и Демокриту скопленія этихъ атомовъ сталкиваются другъ съ другомъ; тѣ изъ нихъ, которые способны соединиться, соединяются между собою, остальные отчасти удерживаются вмѣстѣ помощью покрова изъ атомныхъ сплетеній и благодаря этому избѣгаютъ совершеннаго разобщенія. Наконецъ, мы перешли къ подвижнымъ комплексамъ атомовъ, которые, задѣвая одинъ за другой, образуютъ міровой вихрь. Два вопроса возни-

никаютъ здѣсь: одинъ частичный, другой общій, принципиальный. Первый касается вихря и приписываемыхъ ему дѣйствій. Дѣйствія эти совершенно противоположны тому, чѣмъ они должны быть по законамъ физики. Развивающаяся при вращательномъ движеніи центробѣжная сила какъ нельзя лучше способствуетъ отбору массъ матеріи. Но этотъ отборъ — какъ можно убѣдиться на любой центробѣжной машинѣ—происходитъ такимъ образомъ, что самыя тяжелыя вещества отбрасываются на самое дальнее разстояніе. [Какъ судилъ объ этомъ Анаксимандръ, мы не имѣемъ не только достовѣрныхъ свѣдѣній, но даже сколько нибудь вѣроятныхъ предположеній. Преемники его приняли ротационную гипотезу, но искали на землѣ аналогій космогоническимъ вихрямъ. Одну изъ такихъ параллелей они нашли въ области метеорологическихъ явленій и были ею сбиты съ толку! Вихрь умѣренной силы, какъ напримѣръ тотъ, который нерѣдко образуется при лѣтнемъ сѣверномъ вѣтрѣ въ Элладѣ, уноситъ легкіе предметы, но онъ недостаточно силенъ, чтобы поднять болѣе тяжелые. Къ тому же, движеніе каждаго вихря вблизи земной поверхности, встрѣчая треніе, направляется внутрь и потому дѣйствительно стягиваетъ въ неподвижный центръ болѣе мелкіе предметы. Отсюда вѣроятно и произошло ошибочное мнѣніе, что это свойство лежитъ въ природѣ вихревого движенія, какъ такового, и что будто бы и предполагаемый космическій вихрь долженъ сопровождаться такими же послѣдствіями.

Несравненно болѣе значенія имѣеть вопросъ о причинахъ всѣхъ этихъ движеній и встрѣчаемыхъ ими препятствій. Онъ изстари занималъ умы и породилъ важнѣйшее изъ возраженій, которыя вообще когда-бы-то ни было дѣлались атомистическому ученію. Въ извѣстной мѣрѣ, даже весьма значительной, вопросъ этотъ сразу допускалъ удовлетворительный и ясный отвѣтъ. Ударъ, давленіе, противодѣйствіе, сопротивленіе, возрастающее съ увеличеніемъ массы—таковы были важнѣйшіе, заимствованные изъ опыта факторы, которые считались дѣйствующими и въ космическихъ явленіяхъ. Здѣсь также предполагалось отскакиваніе одного атома отъ другого и слѣдовательно необходимая для этого упругость абсолютно твердаго тѣла,—и это могло оказаться роковымъ для атомистической теоріи въ ея общепринятомъ толкованіи, но это не относится къ принципиальному вопросу, о которомъ здѣсь идетъ рѣчь. Въ болѣе раннихъ стадіяхъ мірового процесса,

влияніе этихъ факторовъ оказывалось гораздо болѣе значительнымъ, чѣмъ это могло казаться при поверхностномъ разсмотрѣніи, потому что летающіе въ пустомъ пространствѣ атомы могли вѣдь въ безконечное теченіе прошедшаго времени встрѣтиться съ другими атомами и слѣдовательно получить толчки, приведшіе ихъ въ движеніе. Но это соображеніе нельзя, во всякомъ случаѣ, считать достаточнымъ. Если допустить, что А получаетъ толчекъ отъ В, В—отъ С, С—отъ D и т. д., и вслѣдствіе этихъ толчковъ они приходятъ въ движеніе, то прослѣдивъ этотъ процессъ путемъ размышленія, неизбѣжно придешь къ вопросу объ исходномъ пунктѣ этого ряда, какъ бы ни были многочисленны члены его составляющіе. Отповѣдь, которую въ этомъ случаѣ даетъ Демокритъ спрашивающимъ, возбудила у большого числа послѣдующихъ мыслителей неудовольствіе, справедливость котораго мы должны подвергнуть обсужденію. Отвѣтъ состоялъ въ томъ, что упомянутое движеніе атомовъ есть первичное, вѣчное, неизмѣняющее начала, что бесполезно и нелѣпо искать начало и причину въ безначальномъ. На это ему возражали, что объясненіе его разбиваетъ, настойчиво проводимый имъ-же самимъ и его учителемъ, принципъ причинности, не допускающій исключеній, что оно подымаетъ значеніе безпричинности, случайности до степени владычества надъ міромъ, ставитъ случай во главѣ всего мірового процесса и т. под. Эти возраженія не умолкали съ Аристотеля и до нашихъ дней. Чтобы справедливо разрѣшить этотъ споръ, нужно прежде всего ясно установить понятіе причины. Самое слово, выражающее это понятіе на нѣмецкомъ языкѣ, помогаетъ намъ освѣтить скрытый въ немъ двойственный смыслъ и вмѣстѣ съ нимъ главный поводъ къ вышеупомянутому давнему раздору. Подъ причиною (Ursache) можно понимать нѣкоторую вещь (Sache), которая предшествуетъ какому нибудь событію и вызываетъ его; это есть—въ самомъ широкомъ смыслѣ слова—вещь, сущность, нѣкотораго рода субстанція. Очевидно, что Демокритъ имѣлъ полное и неоспоримое право не принимать подобной причины для изначальнаго бытія, потому что разъ онъ смотрѣлъ на атомы какъ на существующіе отъ вѣчности, то ужъ, конечно, не законъ причинности могъ заставить его предпослать этому первоначальному нѣчто еще болѣе первоначальное. Но слово причина имѣетъ еще и другое значеніе, которое въ настоящее время преобладаетъ въ наукѣ. Подъ нимъ мы понимаемъ, говоря кратко, совокупность условій, вызвавшихъ какое бы то ни было явленіе,

все равно находятся-ли эти условія—хотя-бы отчасти только—внѣ предмета, являющагося мѣстомъ дѣйствія, или же это исключительно такія силы и свойства, которыя присущи самому предмету, и опредѣляютъ то или другое свойственное ему дѣйствіе. И въ этомъ послѣднемъ смыслѣ вопросъ о причинѣ изначальнаго бытія не вызываетъ сомнѣній. Отвѣтить на этотъ вопросъ значитъ въ данномъ случаѣ указать свойство атомовъ, опредѣлившее ихъ движеніе помимо всякаго и ранѣе всякаго предшествующаго внѣшняго толчка. И если требуется удовлетворяющій самымъ строгимъ требованіямъ отвѣтъ, то въ немъ должно заключаться также и указаніе на законъ, управляющій вышеупомянутымъ свойствомъ, иначе говоря должны быть указаны сила и направленіе начального движенія. Въ соотвѣтствіи съ первой частью этихъ требованій, но не со второй, Демокритъ объяснялъ движеніе какъ первоначальное или естественное состояніе атомовъ, по не рѣшался высказаться относительно направленія и силы этого движенія. И дѣйствительно, онъ не могъ этого сдѣлать, просто по неимѣнію въ своемъ распоряженіи нужнаго матеріала для наблюдений. Вся извѣстная ему, да и вообще людямъ, матерія давно уже вышла изъ того первобытнаго состоянія, откуда только и можно было почерпнуть что либо для опредѣленія тѣхъ законовъ движенія. Въ особенности согласно съ Демокритовымъ предположеніемъ она подверглась дѣйствію того вихревого движенія, которое предшествовало теперешнему состоянію міра, какъ его начало. Но даже помимо этого, гдѣ теперь найти частичку матеріи, которая въ теченіи огромнаго промежутка времени не столкнулась съ другими частичками, не испытала толчка или давленія? Да даже, если-бы и была такая частичка, доступная наблюденію изслѣдователя и потому сама по себѣ пригодная для вывода закона начального движенія, какъ могъ бы изслѣдователь вывѣдать отъ нея этотъ законъ, разъ онъ не знаетъ ея предшествующей механической исторіи. Поэтому Демокритъ имѣлъ право, даже былъ обязанъ отклонить это требованіе, какъ неумѣстное и невыполнимое, и ограничился разъясненіемъ, что атомы находятся въ движеніи отъ вѣчности. Кто оспариваетъ его право на это, тотъ совершенно не понялъ или не уяснилъ себѣ мысль Демокрита. Левкиппъ и его ученикъ поставили себѣ задачей объяснить теперешній ходъ вещей и прежде всего, какъ предусловіе всего современнаго хода вещей, состояніе и происхожденіе одного

космоса, какимъ является нашъ, а также объяснить отборъ и распредѣленіе составляющихъ его массъ матеріи. Для нихъ, какъ для истинно научныхъ мыслителей, исходящихъ отъ извѣстнаго и отсюда заключающихъ къ неизвѣстному, было важно опредѣлить тотъ минимумъ предположеннаго, изъ котораго, при помощи эмпирически-установленныхъ свойствъ матеріи, можно было вывести построеніе міра и фактически доказать дѣйственность его составныхъ частей. Одна изъ такихъ гипотезъ предполагала, что элементы съ самого начала находились не въ покоѣ, а въ движеніи. Затѣмъ, они могли натолкнуться другъ на друга, могли сплестись между собою; затѣмъ, коль скоро эти сплетенія атомовъ извѣстнымъ образомъ встрѣчались одно съ другимъ, они могли и даже должны были произвести вихрь и т. д. Но утверждать что бы то ни было, даже высказывать какія-либо предположенія относительно свойствъ этого движенія,—было бы смѣлостью, не оправдываемой характеромъ самой проблемы. То обстоятельство, что они не поддались на вызовъ своихъ противниковъ дѣлаетъ честь ихъ сдержанности и научной скромности.

Но именно здѣсь намъ на пути встаютъ мнимыя метафизическія трудности, вѣрнѣе сказать, глубоко вкоренившіеся метафизическія предразсудки. Ихъ можно назвать неискоренимыми, если только вспомнить, что вопросъ о связи между матеріей и движеніемъ еще недавно былъ причисленъ однимъ изъ крупнѣйшихъ естествоиспытателей къ неразрѣшимымъ міровымъ загадкамъ. И это еще наименѣ претенціозное одѣяніе, въ которое драпируется эта воображаемая трудность. Разумѣется, всѣ послѣдніе факты устройства міра, самое бытіе того, „что носится въ пространствѣ“, какъ и его движеніе, загадочны, т. е. недоступны тому, что мы называемъ объясненіемъ. Но что въ самомъ „понятіи“ матеріи есть нѣчто такое, что мѣшаетъ мыслить ея изначальную связь съ движеніемъ, или—какъ думаетъ большинство метафизиковъ — даже не допускаетъ этой связи,—это мнѣніе кажется намъ однимъ изъ достопамятнѣйшихъ примѣчательныхъ заблужденій, какія только тяготѣли надъ человѣческимъ умомъ, склоннымъ вообще къ разнаго рода заблужденіямъ. Какъ въ другихъ подобныхъ случаяхъ, также и въ этомъ, мы видимъ лишь результатъ привычки. Самое удивительное, пожалуй, въ своемъ родѣ единственное въ этой привычкѣ мышленія, ставшей на мѣсто нормы, это то, что мы съ

полной опредѣленностью можемъ указать границы, и даже очень тѣсныя, той нашей способности воспріятія, откуда она происходитъ. Во вселенной матерія находится не въ покоѣ, а въ движеніи; таково, насколько мы знаемъ, правило, почти не имѣющее исключеній. Абсолютнаго покоя, не относительнаго, наука вовсе не знаетъ. Планета, на которой мы живемъ, равно какъ и тѣ небесныя тѣла, которыя мы видимъ надъ собою, находятся одинаково въ неутомимомъ бѣгѣ. Они также мало знаютъ покой, какъ атомы и молекулы, изъ которыхъ составлено все тѣлесное. Только случайное обстоятельство, что мы не замѣчаемъ непосредственно того движенія, которое уноситъ въ пространство насъ самихъ вмѣстѣ съ нашимъ обиталищемъ, и столь же случайная ограниченность нашихъ чувствъ, скрывающая отъ нашего взора непрерывное круженіе частицъ матеріи, только это соединеніе случайностей заставляеть насъ обращать нашъ глазъ почти исключительно на матеріальныя образованія средней величины; а таковыя, если не разсматривать ихъ какъ часть цѣлаго, или какъ цѣлое по отношенію къ своимъ частямъ, дѣйствительно нерѣдко являютъ собою картину перемирія движущихъ силъ, которое даетъ иллюзію вѣчнаго мира. Въ этомъ и только въ этомъ, по нашему мнѣнію, нужно искать корень того страннаго, возведеннаго до степени догмата мнѣнія, будто для матеріи болѣе естественно состояніе покоя, нежели движенія, или даже, что нелѣпо считать движеніе изначальной принадлежностью матеріальнаго міра.

Противъ этой догмы возстала съ наступленіемъ новаго времени группа избранныхъ умовъ: Джіордано Бруно и Беконъ Веруламскій; затѣмъ, вопреки авторитету Декарта, Лейбницъ и Спиноза, а также выдающіеся естествоиспытатели девятнадцатаго вѣка. Одинъ изъ нихъ Джонъ Тиндаль прекрасно выразился слѣдующимъ образомъ: „Если матерія вступила въ міръ какъ нищая, то это оттого, что Іаковы теологіи лишили ее природнаго ея права“. Только на мѣсто „теологіи“ нужно поставить метафизику, которая такъ часто беретъ на себя прикрашиваніе и прославленіе человѣческихъ предразсудковъ. Съ признаваемыми за Божествомъ предикатами всемогущества и премудрости лучше согласуется то, что оно сразу сотворило матерію движущейся, чѣмъ то, что оно потомъ, какъ бы спохватившись, придало ей движеніе. Съ такими вопросами Демокриту, разумѣется, нечего было дѣлать. Взглядъ на матерію, какъ на какую-то „бездѣятельную массу“ какъ на „пребывающій въ покоѣ грузъ“,

который повинуется лишь внѣшнимъ толчкамъ, — позднѣйшаго происхожденія. „Обнаженная и страдающая матерія“ — говоря языкомъ Бэкона — „это измышленіе человѣческаго ума“, еще дремало въ зародышѣ будущаго. Гилозонастамъ она не была извѣстна и слѣдуетъ отмѣтить, что и атомисты, несмотря на ихъ склонность разсматривать міръ какъ механизмъ, тоже счастливо убереглись отъ этого ошибочнаго обобщенія, выросшаго на почвѣ механики земныхъ массъ; и въ этомъ, какъ и въ остальномъ, они были наслѣдниками своихъ великихъ предшественниковъ, іонійскихъ фізіологовъ.

5. Обычно указываютъ на связь атомистовъ съ творцомъ ученія о единствѣ. Читатель, внимательно слѣдившій до сихъ поръ за нашимъ изложеніемъ, сдумѣетъ отвѣтить на этотъ вопросъ. Но, можетъ быть, онъ не прочь услышать отвѣтъ изъ устъ того, кому въ древности принадлежалъ главнѣйшій авторитетъ въ этой области? „Левкиппъ, бывшій родомъ изъ Элеи или изъ Милета, — говоритъ Теофрастъ — былъ знакомъ съ ученіемъ Парменида, но пошелъ не по той дорогѣ, какъ онъ и Ксенофанъ, а насколько мнѣ кажется, по противоположной. Въ то время какъ послѣдніе признавали единство и неподвижность вселенной и не признавали ея возникновенія и даже запрещали спрашивать о несуществующемъ, т. е. о пустомъ пространствѣ, Левкиппъ предполагалъ безконечное множество тѣлецъ или атомовъ, находящихся въ вѣчномъ движеніи и обладавшихъ безконечно-разнообразными формами. Ибо въ вещахъ онъ видѣлъ непрерывное возникновеніе и непрерывное измѣненіе. Затѣмъ, онъ считалъ существующее не болѣе реальнымъ, чѣмъ несуществующее (т. е. пустое пространство); въ обоихъ онъ въ равной степени усматривалъ причину всего случающагося“. Впрочемъ если даже видѣть въ вышеприведенныхъ словахъ то, чего по нашему мнѣнію, въ нихъ нѣтъ, а именно, что Левкиппъ былъ ученикомъ Парменида, то во всякомъ случаѣ это былъ ученикъ, который такъ же могъ радовать своего учителя, какъ мало радовалъ отцовъ іезуитовъ ихъ ученикъ Вольтеръ. Конечно тѣ, которые считаютъ второй постулатъ о матеріи созданіемъ Парменида, должны думать объ этомъ иначе и, несмотря на столь вѣрно и настойчиво установленную Теофрастомъ діаметральную противоположность ихъ основныхъ ученій, утверждать глубокую зависимость атомистической доктрины отъ

ученія элейцевъ. Намъ не хотѣлось-бы утомлять читателя повтореніемъ тѣхъ основаній, по которымъ мы видимъ въ обоихъ постулатахъ э матеріи плодъ и достояніе іонійскаго естествознанія, хотя мы равнымъ образомъ не хотѣли-бы ни въ какомъ случаѣ умалять заслугу точной формулировки ихъ Парменидомъ; этой заслугѣ, впрочемъ, не мало вредить тщетная попытка подкрѣпить ихъ апіорными аргументами. Во всякомъ случаѣ, элейскіе метафизики не совсѣмъ напрасно примѣняли свои способности къ абстракціи. Принятіе второго постулата, качественного постоянства матеріи, оставляло открытыми только два пути: назовемъ ихъ для краткости, одинъ—Анаксагоровымъ, другой—Левкипповымъ: нужно было либо признать столько основныхъ веществъ, сколько въ дѣйствительности бываетъ комбинацій чувственныхъ качествъ, либо одно основное вещество, которому общія основныя качества тѣлеснаго свойственны, а различныя не присущи. Послѣднее воззрѣніе подготовлено Парменидомъ въ томъ отношеніи, что и онъ дѣлалъ различіе между свойствами, которыя характеризуютъ вещественное, какъ таковое, и другими такъ сказать, случайными его свойствами. Его „сущее“ правда есть только нѣчто вѣчное и неизмѣнное, наполняющее пространство. Такъ какъ онъ находилъ, что движеніе немислимо, а слѣдовательно и невозможно, то и механическія свойства тѣлеснаго, обусловливающія и производящія движеніе не имѣютъ для него никакого значенія. Ни объ ударѣ, ни о давленіи, со всѣми модификаціями этихъ явленій ничего не говорится въ его ученіи. Хотя вслѣдствіе этого пограничная черта, которую онъ проводитъ между истиннымъ бытіемъ и обманчивой иллюзіей отнюдь не совпадаетъ съ установленными Левкиппомъ разграниченіями между объективно и чисто субъективно реальнымъ, между первичными и вторичными свойствами вещей, хотя онъ относитъ къ области иллюзіи то, что составляетъ центральный пунктъ атомистическаго объясненія міра, именно движеніе: все же тѣмъ, что онъ вообще предпринялъ такое раздѣленіе, что онъ отличаетъ существенныя свойства своего сущаго отъ несущественныхъ и строго проводитъ это различіе, онъ, можно сказать противъ своей воли, оказываетъ помощь атомистическому объясненію. Отрицающій всякое движеніе, всякое видоизмѣненіе, всякое бваніе и этимъ отнимающій у естествознанія его содержаніе, „противоестественникъ“, и „неподвижникъ“, онъ несознательно, безъ всякаго намѣренія помогъ естествознанію, ко-

торое всецѣло признаетъ именно видоизмѣненіе, бываніе и все приводитъ къ механическому движенію. Такъ странно сплетаются пути умственнаго прогресса! Но этимъ же воздается должное заслугѣ элейскаго умозрѣнія въ непосредственномъ содѣйствіи успѣху положительнаго знанія. Болѣе того. Кто знаетъ, можетъ быть Левкиппъ, стоя передъ вышеупомянутой альтернативой, и безъ участія Парменида взялъ бы вѣрное направленіе и сдѣлался бы противникомъ Анаксагора. Впрочемъ, бесполезно ломать надъ этимъ голову. Однако было-бы ошибочно, основываясь на другихъ соприкосновеніяхъ обоихъ ученій, дѣлать заключенія зависимости одного отъ другого. Въ дѣйствительности они соприкасаются между собою именно по той-же причинѣ и постольку же, поскольку соприкасаются противоположности. Элейцы разсуждаютъ слѣдующимъ образомъ: безъ пустоты нѣтъ движенія; пустоты нѣтъ, слѣдовательно нѣтъ и движенія. Атомисты говорятъ напротивъ: безъ пустоты нѣтъ движенія; движеніе есть, значитъ, есть и пустота. Однако, какъ ни рѣзокъ контрастъ въ заключительныхъ выводахъ, развѣ атомистъ не обязанъ элейцамъ первой посылкой и слѣдовательно первымъ толчкомъ къ построенію по крайней мѣрѣ этой части ихъ ученія? Такъ утверждали нерѣдко, но по нашему мнѣнію безъ всякаго права, ибо не элейцы могли быть создателями этой общей обоимъ ученіямъ предпосылки. Не только Мелиссъ трактуетъ уже о пустомъ пространствѣ, и даже совсѣмъ не такъ, будто онъ самъ придумалъ эту гипотезу, только для того чтобы ее оспаривать. Самъ Парменидъ знаетъ и оспариваетъ предположеніе пустоты, или не-сущаго такимъ тономъ, который не оставляетъ сомнѣнія въ томъ, что эта доктрина, и именно въ видѣ вспомогательнаго средства для объясненія явленій природы, была извѣстна уже раньше. Поэтому приходится предположить, что въ данномъ случаѣ Левкиппъ былъ не подъ вліяніемъ Парменида, а имъ обоимъ предшествовали болѣе ранніе мыслители, имена которыхъ не сохранились (вѣроятно изъ пиеагорейцевъ, какъ уже было замѣчено [стр. 154 стр. 279]). Рѣшаемся сдѣлать еще одинъ шагъ впередъ. Не только пустота, но даже аналогъ атома былъ уже придуманъ этими неизвѣстными. Такъ Парменидъ говоритъ о чемъ-то,—мы можемъ признать это только пустымъ пространствомъ—что, по признанію ревностно оспариваемыхъ имъ противниковъ, частью занимаетъ опредѣленное пространство, частью „всюду правильно распределено“. Другими словами, онъ знаетъ

доктрину, которая принимает не только пространство въ цѣломъ лишенное матеріи, но также и тѣ промежутки пустого пространства, которые проникаютъ весь матеріальный міръ. Что окруженные этими промежутками, какъ сѣтью каналовъ, островки матеріи (если можно такъ выразиться) по своему назначенію, по меньшей мѣрѣ, очень близко подходятъ къ атомамъ Левкиппа, что это представленіе массы матеріи равномѣрно и повсюду пронизанной отверстиями едва-ли могло быть порождено чѣмъ нибудь другимъ кромѣ желанія объяснить универсальный фактъ, и именно фактъ движенія,—вотъ выводы, значеніе которыхъ намъ не кажется меньшимъ оттого, что они до сихъ поръ не были сдѣланы. Такимъ образомъ, здѣсь наблюдается органическій ростъ идей и непрерывность ихъ развитія, которая увеличиваетъ цѣнность научныхъ трудовъ, не умаляя однако заслугъ ихъ творцовъ.

6. Спросимъ теперь себя: въ чемъ состоитъ главная заслуга Левкиппа? Которая часть его ученія носитъ въ особенности отпечатокъ его оригинальнаго генія? Пустое пространство не онъ ввелъ въ науку, основы ученія объ атомахъ были уже до него, правда только въ зачаточномъ состояніи, онъ развилъ ихъ, усовершенствовалъ и поднялъ до значенія законченной системы. На различіе между существенными и несущественными, или (какъ говорятъ со временъ Локка) между первичными и вторичными свойствами вещей было уже раньше указано Парменидомъ. Напротивъ, что касается попытки Левкиппа связать міръ субстанцій съ міромъ феноменовъ, вмѣсто того чтобы подобно элейцамъ, отвергнувъ этотъ послѣдній какъ призракъ или обманъ, выбросить его изъ храма науки,—то въ этомъ онъ не имѣетъ предшественниковъ. Ему удалось перекинуть мостъ между двумя мірами, которые раньше смѣшивали, затѣмъ стали различать, въ то же время разорвавъ между ними связь. Онъ свелъ совокупность чувственныхъ свойствъ вещей къ функціямъ ихъ тѣлесныхъ свойствъ, ихъ величины, формы, распредѣленія, положенія, большей или меньшей степени удаленія другъ отъ друга, и такимъ образомъ, не отрицая и не насилуя природы, далъ ей объясненіе.—Вотъ собственно въ чемъ сущность великаго дѣла Левкиппа. Въ этомъ самая оригинальная, и самая неизмѣнная часть его ученія, по истинѣ несокрушимая. Можетъ быть атомистическая гипотеза уступить когда нибудь мѣсто другой; различіе первич-

ныхъ и вторичныхъ свойствъ уже далеко не имѣетъ теперь своего теоретико-познавательнаго значенія. Но попытка привести все качественное разнообразіе къ различію по величинѣ, по формѣ, по положенію и по движенію сама по себѣ способна пережить всевозможныя перемѣны мнѣній и пониманій. Сведеніе всего качественного къ количественному, или точнѣе говоря, установленіе опредѣленныхъ отношеній между ними—и есть основаніе всякаго точнаго познанія природы. Въ этой попыткѣ заключена какъ въ зародышѣ вся математическая физика. Отсюда начинаются изслѣдованія новѣйшихъ временъ. Галилей, Декартъ и Гюйгенсъ, всѣ пошли одной дорогой. Галилей, на примѣръ, говоритъ: „я не думаю, чтобы для возбужденія въ насъ ощущеній вкуса, запаха, звука нужно было что-нибудь иное кромѣ величины, формы, множества и медленнаго или быстраго движенія“. Гюйгенсъ предполагаетъ, что всѣ тѣла состоятъ изъ одной и той же матеріи, „въ которой нѣтъ никакихъ качественныхъ отличій..., только различія въ величинѣ, въ формѣ и въ движеніи“. Такова же и точка зрѣнія Декарта. Всѣмъ этимъ передовымъ борцамъ современнаго естествознанія извѣстно — по ихъ собственному признанію—ученіе, называемое ими Демокритовымъ, но которое по справедливости слѣдуетъ приписать Левкиппу. Кстати замѣтить, что получаемое такимъ путемъ проникновеніе въ связь естественныхъ феноменовъ и приобретаемое отсюда господство надъ природой нисколько не зависитъ отъ того міросозерцанія, какое мы предпочитаемъ или къ которому могутъ когда нибудь почувствовать склонность наши потомки. Электрическая лампа свѣтитъ одинаково и агностику, для котораго сокровенный смыслъ міроваго хода темень и составляетъ на вѣки непроницаемую тайну. Законы отраженія и преломленія свѣта тѣ же для послѣдователя механическаго міровоззрѣнія, какъ и для того, который видитъ сущность міроваго процесса не въ матеріи и ея движеніи, а въ чемъ то другомъ. Какъ-бы ни былъ приговоръ будущаго относительно этихъ основныхъ вопросовъ человѣческаго познанія, одно никогда не будетъ поколеблено: то, что движенія частицъ, будучи элементомъ, поддающимся количественному опредѣленію, представляютъ ключъ, которымъ раскрыты и впредь будутъ раскрываемы безчисленные тайники природы, и Левкиппъ, давшій своимъ ученіемъ въ руки человечеству этотъ ключъ, имѣетъ полное право на высшую, непреходящую славу въ безусловномъ смыслѣ.

Рядомъ съ этимъ, не имѣеть большого значенія то обстоятельство, что собственныя его попытки подкрѣпить дарованное имъ міру ученіе часто носятъ печать того априористическаго метода, который онъ вѣроятно заимствовалъ отъ Зенона. Свою великую гипотезу онъ обосновалъ не только на тѣхъ опытныхъ данныхъ, которыя дѣйствительно лежатъ въ ея основѣ, не только ссылкой на такіе, получившіе благодаря ей объясненіе, факты, какъ движеніе въ пространствѣ, разрѣженіе и уплотненіе, сжатіе и увеличеніе объема, частный случай чего представляетъ собою ростъ органическихъ существъ; онъ постарался также придать своимъ доказательствамъ такой видъ, который закрывалъ путь его противнику; приводилъ его къ противорѣчію и къ абсурду въ случаѣ, если послѣдній опровергалъ новую теорію. Одна изъ его аргументацій начинается примѣрно такъ: „то, что полно, не можетъ ничего болѣе вмѣстить въ себя“. Разумѣется, нѣтъ, можемъ мы прибавить, такъ какъ „быть полнымъ“ (въ строгомъ смыслѣ) и „не быть въ состояніи ничего вмѣстить въ себя“, это только два разныхъ выраженія одной и той же вещи. Если мы налили въ сосудъ столько воды, что больше ея онъ вмѣстить не можетъ, то мы говоримъ, что сосудъ полонъ; обратно, если мы считаемъ, что сосудъ полонъ, то подъ этимъ мы понимаемъ не что иное, какъ то, что онъ больше ничего не можетъ въ себя вмѣстить. Однако, сейчасъ будетъ видно, для того ли предназначается эта невинная тавтологія, чтобы только разъяснить представленіе „полнаго“, или же нѣтъ. „Если бы“, продолжаетъ Левкиппъ, „полное могло вмѣстить въ себя еще что-нибудь и если бы такимъ образомъ тамъ, гдѣ помѣщалось прежде одно тѣло, могло помѣститься два (одинаковыхъ по величинѣ) тѣла, тогда, значить, тамъ же помѣстилось бы и какое угодно количество тѣлъ, слѣдовательно меньшее вмѣстило бы въ себя большее“. Этимъ положеніемъ былъ сдѣланъ рѣшительный козырный ходъ. Въ немъ однако скрытъ двойственный смыслъ, разъясненіе котораго подрываетъ все доказательство. Что меньшее можетъ вмѣстить въ себя большее какъ таковое, что, напримѣръ, въ орѣховой скорлупѣ можно спрятать слона, съ этимъ, разумѣется, не обязанъ былъ соглашаться ни одинъ изъ противниковъ атомистическаго ученія. Но что объемъ матеріи, величиною со слона, можно настолько сжать, что онъ помѣстится въ скорлупѣ орѣха или яйца, это хотя фактически и не вѣрно, но въ этомъ утверженіи нѣтъ ничего несообразнаго, или противорѣ-

чиваго. Оно было бы таковымъ, если предположить, что несжимаемость матеріи уже признана, другими словами, если предположить доказаннымъ то, что еще требуетъ доказательства. Неправильное заключеніе достигается вступительной частью доказательства, въ которой понятіе „полнаго“, являющееся съ начала только въ эмпирическомъ смыслѣ, одинаково допускаемомъ въ любой теоріи, при помощи якобы только объяснительнаго опредѣленія „немогущее больше вмѣстить“, приведено къ понятію непроницаемаго и несжимаемаго, а затѣмъ и замѣнено имъ. Только съ помощью такой подмѣны первая посылка можетъ привести къ такому заключенію; иначе самое заключеніе является необоснованнымъ. Еще болѣе уродливымъ, но гораздо менѣе невиннымъ образчикомъ той же категоріи доказательствъ является доводъ, при помощи котораго атомисты—и именно самъ Левкиппъ—старались доказать безчисленность различныхъ формъ атомовъ. „Нѣтъ основаній, почему атомы должны имѣть ту или другую форму“,—поэтому, въ нихъ должны быть представлены всевозможныя формы. Поскольку здѣсь высказывается ожиданіе, что существующее въ другихъ областяхъ богатство формъ природы не измѣнитъ и въ этомъ случаѣ,—здѣсь есть (какъ мы уже замѣтили однажды) заключеніе по аналогіи, которому нельзя отказать въ нѣкоторой скромной долѣ справедливости, какъ предварительному предположенію. Но какъ аргументъ рѣшающаго значенія онъ, разумѣется, ничтоженъ. Онъ предполагаетъ такое проникновеніе въ источники жизни и такое пониманіе ея границъ, которое для насъ, людей, навсегда останется недоступнымъ. Въ смыслѣ метода это напоминаетъ употребленное Анаксимандромъ мнимое доказательство того, что земля находится въ покоѣ, равно какъ и упомянутыя выше подобныя же попытки тѣхъ метафизиковъ механиковъ, которые пытались априорно обосновать законъ инерціи вмѣсто того, чтобы установить его на эмпирическихъ данныхъ (срав. ст. 46); разница лишь въ томъ, что послѣдніе мыслители дали невѣрное обоснованіе реальному явленію природы, тогда какъ здѣсь сомнителенъ самый фактъ, не говоря уже объ ошибочности его обоснованія. Болѣе склонному къ эмпирическимъ толкованіямъ Демокриту, вѣроятно, принадлежитъ слѣдующая попытка непосредственно подтвердить существованіе пустого пространства: нѣкоторое помѣщеніе, наполненное пепломъ, можетъ вмѣстить въ себя столько же воды (слѣдовало бы сказать: почти столько), какъ если бы въ немъ не было вовсе пепла. Это возможно

только потому, что пепель содержитъ много пустого пространства. Нужно ли говорить, что истолкованіе наблюдаемаго сдѣлано невѣрно. Пористое тѣло, какъ пепель, заключаетъ въ себѣ большое количество воздуха, который наливаемая въ сосудъ вода вытѣсняетъ. Конечно, если бы дать такое объясненіе Демокриту, онъ возразилъ бы куда же дѣвается воздухъ, вытѣсненный водою, если все пространство уже занято непроницаемой матеріей? И въ этой формѣ аргументъ подтверждаетъ не больше и не меньше, чѣмъ всякое указаніе на движеніе въ пространствѣ, которое, разъ непроницаемость матеріи уже удостовѣрена инымъ способомъ, дѣлаетъ признаніе пустого пространства неизбѣжнымъ.

7. Всѣ эти промахи вмѣстѣ и каждый въ отдѣльности таковы, что не могутъ особенно омрачить памяти нашихъ героевъ мысли. Нѣтъ никакого сомнѣнія, что доказана атомистическая теорія, собственно говоря, никогда не была, ни въ древности, ни въ новѣйшее время. Она была, есть и остается не теоріей въ строгомъ смыслѣ слова, а гипотезой, конечно гипотезой огромной жизненной силы и долговѣчности и безпримѣрной неистощимой плодотворности, опорнымъ пунктомъ для физическихъ и химическихъ изслѣдованій вплоть до самыхъ послѣднихъ дней. Такъ какъ съ ея помощью уже извѣстные факты получаютъ все болѣе удовлетворительное объясненіе, а вмѣстѣ съ тѣмъ открываются новые, то въ ней очевидно должна заключаться значительная доля объективной истины; точнѣе говоря, она должна на значительномъ протяженіи идти параллельно съ объективной дѣйствительностью. Все же она остается только гипотезою и притомъ такою, которая, въ силу своихъ построеній, выходящихъ далеко за предѣлы нашей способности воспріятія, должна навсегда остаться недоступной для непосредственной провѣрки. Косвенное же подтвержденіе какой-нибудь гипотезы становится достаточнымъ лишь тогда, когда доказано, что она не только вполне согласуется съ объясняемыми ею явленіями, но что никакая другая гипотеза не можетъ объяснить ихъ такъ же или лучше. Такое, болѣе полное, доказательство едва ли когда-нибудь можетъ быть дано въ этомъ случаѣ, гдѣ дѣло идетъ о сокровеннѣйшихъ явленіяхъ природы, наиболѣе скрытыхъ отъ нашихъ чувствъ, вѣрнѣе всего, такое доказательство никогда не можетъ быть дано. Мудрые современники, относясь съ величайшемъ уваженіемъ къ атомистической

гипотезѣ, въ то же время видятъ ей не болѣе какъ предположеніе, которое достаточно близко къ конечной истинѣ, чтобы пользоваться имъ съ значительной пользой и щедро вознаграждаемымъ успѣхомъ, хотя и съ молчаливой оговоркою, что гипотеза эта не должна считаться конечной истиной, или даже послѣдней доступной для насъ истиной. Совершенно иного рода и болѣе серьезную оговорку мы принуждены сдѣлать, если станемъ на точку зрѣнія теоріи познанія. Гносеологъ сомнѣвается, можетъ ли онъ въ послѣднемъ счетѣ знать о внѣшнемъ мірѣ что-нибудь больше, чѣмъ то, что ему даетъ рядъ закономерно связанныхъ ощущеній; столь важное и полезное въ началѣ познанія различіе первичныхъ и вторичныхъ свойствъ теряетъ для него свое фундаментальное значеніе; самонаблюденіе принуждаетъ его свести къ ощущеніямъ не только запахи, цвѣты или звуки, но даже и признаки тѣлеснаго и признать, что даже понятіе матеріи лишается своего содержанія, коль скоро мы отвлекаемся отъ воспринимающаго субъекта. Но даже для мыслителей, принявшихъ эту точку зрѣнія, атомистическая теорія не потеряла своей высокой цѣнности. Они видятъ въ ней „математическую модель для изображенія фактовъ“ и приписываютъ ей „въ физикѣ ту-же функцію“, какую имѣютъ „извѣстныя математическія вспомогательныя понятія“. Впрочемъ, мы еще остановимся подробнѣе на этомъ въ другомъ мѣстѣ. Здѣсь необходимо было по крайней мѣрѣ бѣгло упомянуть объ этомъ только для того, чтобы отмѣтить, что основателямъ атомистики была чужда всякая мысль о возможныхъ сомнѣніяхъ, связанныхъ съ дальнѣйшимъ спекулятивнымъ развитіемъ. И въ этомъ спасеніе науки, можемъ мы прибавить, ибо ничто не вредитъ больше ея развитію, какъ то, если энергія ея представителей бываетъ сбита съ толку и парализована перспективами отдаленныхъ и высшихъ цѣлей.

Если это наивное, ни одной крупницей теоретико-познавательнаго сомнѣнія неомраченное, самоограниченіе тѣлеснымъ міромъ назвать матеріализмомъ, подобно тому какъ противоположное ему названо идеализмомъ, то Левкиппъ и Демокритъ были матеріалистами. Они были ими еще и въ томъ смыслѣ, что они не предполагали безсмертія „психей“ или душидыханія; они окончательно изгнали само это понятіе, которое, какъ мы видѣли, уже у Парменида и Эмпедокла играло совершенно незначительную, бесполезную для объясненія фактовъ роль, и замѣнили его атомами души. Но они не были

матеріалистами, если подѣ этимъ словомъ понимать мыслителей, которые отвергають или оспаривають бытіе духовной субстанціи, по той простой причинѣ, что въ то время вообще еще не распространяли понятія субстанціи на область духа. И ихъ опять слѣдуетъ назвать матеріалистами, какъ и всѣхъ натурфилософовъ ихъ предшественниковъ и современниковъ, за исключеніемъ Анаксагора, такъ какъ единственную причину или условіе состояній и свойствъ сознанія они искали въ матеріальномъ. Ихъ отношеніе къ божественному ничѣмъ существеннымъ не отличалось отъ взглядовъ большинства ихъ предшественниковъ. Они, какъ и эти послѣдніе, не знали міротворящаго божества; отдѣльныхъ безсмертныхъ боговъ они признавали не болѣе, чѣмъ Эмпедокль. Вѣру въ такихъ боговъ и въ ихъ могущество Демокритъ объяснялъ страхомъ, который наводили на первобытнаго человѣка громъ, молнія, солнечныя и лунныя затменія и другія ужасныя явленія. Однако онъ самъ повидимому признавалъ божествами созвѣздія, должно быть, вслѣдствіе ихъ огненной природы, какъ состоящія по его ученію изъ атомовъ души; о существованіи сверхчеловѣческихъ существъ, живущихъ долгой, хотя и не безконечною жизнью, онъ думалъ такъ же, какъ Эмпедокль. Хотя въ общемъ и въ цѣломъ онъ считалъ міровой процессъ изъятымъ отъ ихъ вліянія и тѣмъ самымъ избѣжалъ необходимости допускать ихъ существованіе ради чисто научныхъ требованій, все же онъ не могъ рѣшиться отнести къ области басенъ все, что рассказывали о богахъ и ихъ вліяніи на человѣческую судьбу. Такъ, онъ допускалъ возникновеніе, вѣроятно путемъ столкновенія и сцѣпленія атомовъ, разнообразіе которыхъ по числу и по формѣ давало богатѣйшій матеріалъ для такихъ построеній, особыхъ существъ, превосходящихъ по величинѣ и по красотѣ все человѣческое. Они могли двигаться въ воздушномъ пространствѣ, а исходящія отъ нихъ отображенія могли проникать въ различные органы нашего тѣла и такимъ образомъ или непосредственно, или же посредственно чрезъ наши органы чувствъ, являться намъ во снѣ, говорить намъ, возбуждая благотворное или гибельное дѣйствіе.

8. Послѣднія фразы даютъ намъ нѣкоторое представленіе объ ученіи Демокрита и его учителя о душѣ и о воспріятіи. Эта часть ихъ доктрины была мало плодотворна, хотя Эпикуръ и его школа не затруднились включить ее въ составъ

своего построения. По всёмъ этимъ причинамъ будемъ насколько возможно кратки и отложимъ большую часть до изложенія эпикуреизма, для знакомства съ которымъ у насъ есть болѣе богатые источники, чѣмъ сообщенія противниковъ, выхватывающихъ подобно Теофрасту, отдѣльные пункты изъ Демокритова ученія о познаніи съ цѣлью подвергнуть ихъ рѣзкой критикѣ. Носителями психическихъ функцій Демокритъ считалъ наиболѣе подвижные изъ атомовъ, какъ потому вѣроятно, что вошедшая въ пословицу быстрота мысли („быстрый какъ крылья, или какъ мысль“ говорится еще у Гомера) нуждалась въ подобномъ вспомогательномъ средствѣ, такъ и потому, что жизненный процессъ признаваемый продуктомъ душевной дѣятельности, отождествляемой съ жизненной силой, являлъ собою образъ непрерывнаго измѣненія. Поэтому, психическія функціи приписывались маленькимъ, круглымъ и гладкимъ атомамъ; на долю дыханія выпадала задача, частью удерживать въ тѣлѣ при помощи тока воздуха тѣ частицы, которыя стремятся въ силу своей подвижности удалиться, частью привлекать къ нему новыя; прекращеніе же этого процесса должно было имѣть своимъ послѣдствіемъ окончательное разсѣяніе этихъ атомовъ. Такъ какъ атомы души происходили изъ внѣшняго міра, то вполне понятно, что Демокритъ, идя здѣсь по слѣдамъ Парменида и Эмпедокла, не проводилъ рѣзкой границы между одушевленнымъ и неодушевленнымъ міромъ, но допускалъ между ними только различіе въ степени. Наблюдая теплоту высшихъ организмовъ и безпрерывную подвижность, свойственную пламени, онъ (въ этомъ случаѣ опять-таки согласно съ Гераклитомъ) отождествилъ атомы души съ атомами огня. Изъ различныхъ процессовъ воспріятія наиболѣе обстоятельно изложенъ процессъ зрѣнія. Поразительный фактъ, удивительный и нынѣ еще для всякаго, на кого повседневная привычка не оказала своего притупляющаго вліянія, что отдаленные предметы поражаютъ наши зрительные органы, онъ считалъ необъяснимымъ безъ участія посредствующаго агента. Но тамъ, гдѣ наша физика говоритъ объ эфирѣ, онъ думалъ обойтись воздухомъ. Роль послѣдняго предполагалась въ томъ, что онъ принималъ отъ видимыхъ предметовъ отпечатки—отпечатки въ буквальномъ смыслѣ, такіе, какіе получаются на воскѣ отъ печати—и передавалъ ихъ нашему зрительному аппарату. Отъ самихъ предметовъ, по его мнѣнію, отдѣлялись безконечно тонкія чешуйки, или пленки, которыя въ случаѣ непосредственной близости

проникали въ глазъ и дѣлались видимы какъ изображенія въ зрачкѣ; въ другихъ случаяхъ то же дѣйствіе производилось черезъ посредство воздуха. Но какъ, бы ни казался воздухъ необходимымъ для этой цѣли, его не считали безусловно способствующимъ зрительнымъ воспріятіямъ; затемняющему вліянію этой же среды приписывали также и неясность и наконецъ совершенное исчезновеніе удаленныхъ и самыхъ дальнихъ предметовъ. Демокритъ думалъ, что, если бы не было такого затемнѣнія, то мы могли бы разсмотрѣть муравья, ползающаго по небесному своду. Изъ этого бѣлаго очерка читатель можетъ видѣть, до какой степени великому мыслителю были чужды самыя основы оптики, его ввелъ въ заблужденіе пріемъ не безъ нѣкотораго успѣха примѣнявшійся имъ въ другихъ областяхъ, — выводить дѣйствіе одного предмета на другой изъ ихъ непосредственнаго соприкосновенія другъ съ другомъ и изъ непосредственнаго механическаго воздѣйствія (давленіе и ударъ). Нельзя умолчать, что именно въ связи съ этой чертой его основнаго ученія спекуляціи его въ области оптики грубы и представляютъ шагъ назадъ въ сравненіи съ опытами Алкмеона и Эмпедокла. Мы не можемъ сказать, какъ онъ справился съ трудностями, выросшими изъ самой его гипотезы. Принялъ ли онъ во вниманіе, что это безпрестанное отдѣленіе тончайшихъ атомныхъ слоевъ или пленокъ (названныхъ имъ „идолами“ или изображеніями) съ теченіемъ времени должно причинить замѣтное уменьшеніе объема тѣлъ, или онъ устранилъ это возраженіе указаніемъ на тлѣнность всѣхъ чувственныхъ объектовъ. Одно только въ этомъ странномъ ученіи заслуживаетъ похвалы. Сводя галлюцинаціи и такъ называемыя субъективныя ощущенія къ подобнымъ извнѣ проникающимъ „изображеніямъ“ ученіе это соприкасается съ теперешней наукой въ томъ отношеніи, что оно не отвергаетъ общности между чувственными ощущеніями, производимыми самыми различными раздраженіями. Но когда, вмѣсто того чтобы выдвинуть общій субъективный факторъ, оно дѣлаетъ обратное, — вмѣсто того, чтобы признать и отмѣтить специфическую энергію чувственныхъ нервовъ и такимъ образомъ свести воспріятіе къ галлюцинаціи, оно сводитъ галлюцинацію къ воспріятію, то можно ли удивляться этому, принимая во вниманіе, что исходнымъ пунктомъ этого ученія является несмущаемая никакимъ сомнѣніемъ

и никакимъ анализомъ, твердая какъ скала вѣра въ тѣлесное какъ въ единственно и безусловно реальное?

Мы считали и считаемъ Демокрита свободнымъ отъ припадковъ скептицизма, хотя среди скудныхъ отрывковъ его произведеній неоднократно попадаются такія мнѣнія, которыя даютъ поводъ предполагать противоположное. Но это ошибочно. Они распадаются на три группы, которыя не всегда достаточно тщательно разграничивали. У него также, какъ и у Фавуста, „почти готово сгорѣть сердце“ при мысли, что, несмотря на всю работу ума и труды изслѣдованія въ теченіе долгой жизни, посвященной наукѣ, онъ такъ мало могъ узнать, что ему только случайно, укладкой удавалось заглянуть во внутренний ходъ вещей въ природѣ. „Истина обитаетъ въ глубинѣ“, „отъ человѣка дѣйствительность сокрыта“—такіе и подобные возгласы вырывались изъ его груди. Они дошли до насъ въ отрывкахъ сочиненія, озаглавленнаго „Подтвержденія“, въ которомъ авторъ придерживается преимущественно индуктивнаго, или эмпирическаго направленія (можетъ быть съ умысломъ идя противъ апіористическихъ тенденцій Левкиппа). Трогательная жалоба слышится намъ еще въ одномъ мѣстѣ того же произведенія: „мы не воспринимаемъ въ дѣйствительности ничего несомнѣннаго, но только то, что мѣняется въ зависимости отъ состоянія нашего тѣла и отъ того, что къ нему притекаетъ и что ему противостоитъ“. Кто вмѣстѣ со скептикомъ древности, приводящимъ это мнѣніе Демокрита и пользующимся имъ въ своихъ цѣляхъ, захочетъ сдѣлать выводъ, что Демокритъ хотя бы только по временамъ склонялся къ принципиальному скептицизму, тотъ упускаетъ изъ виду слѣдующее соображеніе. Основаніемъ для этой жалобы была именно природа матеріальнаго, въ которой философъ, высказывая эти слова, сомнѣвался менѣе, чѣмъ когда либо. „Въ дѣйствительности существуютъ атомы и пустое пространство“... Демокритъ нигдѣ не выражаетъ сомнѣнія въ безусловномъ значеніи этого основного положенія своего ученія. Мы можемъ утверждать это тѣмъ рѣшительнѣе, что именно Секстъ, тотъ самый скептикъ древности, который такъ охотно привѣтствовалъ великаго атомиста, какъ своего единомышленника, перерывая съ этою цѣлью его сочиненія и безъ устали подбирая подходящія мѣста, несмотря на все проявленное въ этомъ дѣлѣ рвеніе, не сумѣлъ розыскать ничего подобнаго.

Но не ошибаемся ли мы? Развѣ не приводитъ также одинъ

изъ любимыхъ учениковъ Эпикура, Колотъ, одно изреченіе Демокрита, въ основѣ отвергающее всякую достовѣрность познанія, изреченіе, которымъ, какъ полагаетъ Колотъ, онъ „привелъ въ замѣшательство саму жизнь“. Дѣло выяснено уже давно, и въ этомъ повидимому столь роковомъ изреченіи мы имѣемъ свидѣтельство не принципиальныхъ колебаній Демокрита, но именно того несокрушимаго довѣрія, съ которымъ онъ относился къ своему основному положенію и къ слѣдствіямъ, изъ него вытекающимъ. Самое положеніе: „вещь нисколько не болѣе такая, чѣмъ иная“, какъ несомнѣнно показываетъ контекстъ, относится къ тѣмъ именно свойствамъ вещей, которыя мы на современномъ языкѣ называемъ вторичными, и объективную реальность которыхъ—какъ нашимъ читателямъ давно извѣстно—Демокритъ отрицалъ. Тотъ фактъ, что медъ сладокъ на вкусъ здороваго, но горекъ для больного желтухой, и подобные факты были всѣмъ извѣстны и всѣми признаны, но общепринятый способъ выраженія былъ неправиленъ. Здѣсь выражались нисколько не болѣе правильно, чѣмъ это дѣлаетъ въ наше время большая часть образованныхъ людей. Обыкновенно говорили и говорятъ, что „медъ сладокъ, но больнымъ желтухой онъ кажется горькимъ“. Нѣтъ, возражаетъ Демокритъ, на самомъ дѣлѣ не такъ: истинность или ошибочность опредѣляется не числомъ; если бы большинство заболѣло желтухой и только немногіе остались нетронуты ею, то измѣнился бы масштаб истинности; здѣсь дѣло не въ разницѣ между тѣмъ, что есть и что кажется, а только въ различіи большинства и меньшинства. Какъ одно, такъ другое ощущеніе одинаково субъективны, одинаково относительны, одинаково внѣшни самому предмету. Нормальная сладость столь же мало составляетъ объективное свойство меда, какъ и ненормальная его горечь. Медъ „нисколько не болѣе сладокъ,“ чѣмъ горекъ. Онъ есть комплексъ атомовъ извѣстной формы, извѣстной величины, извѣстнымъ образомъ распределенныхъ, съ извѣстной долею пустого пространства; все остальное есть лишь дѣйствіе его на другія тѣла и между ними на человѣческой органъ вкуса, дѣйствіе, которое слѣдовательно зависитъ и отъ самихъ этихъ тѣлъ и ихъ (постоянныхъ, или временныхъ, общихъ или индивидуальныхъ) свойствъ. Не какос-нибудь сомнѣніе въ объективномъ существованіи тѣлъ и ихъ свойствъ искушало его. Его одушевляло желаніе отдѣлится по возможности рѣзче и опредѣленнѣе неизмѣнность этихъ причинъ отъ измѣнчивости производимыхъ ими дѣйствій

въ связи съ измѣненіемъ субъективнаго фактора, и этимъ ограничить область неизмѣннаго отъ вліянія сомнѣнія, возбужденнаго этой измѣнчивостью. Вотъ единственно, что заставило Демокрита высказать то, что онъ высказалъ.

Наконецъ, къ третьей категоріи принадлежатъ знаменитое изреченіе, проводящее границу между истиннымъ и неяснымъ познаніемъ. Въ одномъ мѣстѣ его главнаго трехтомнаго сочиненія по логикѣ „Канонѣ“ трактуемъ и обосновываемъ по всей вѣроятности индуктивную логику, читаемъ слѣдующее: есть два рода познанія: истинное и неясное. Къ неясному относятся зрѣніе, слухъ, обоняніе, вкусъ, осязаніе; истинное же совершенно отдѣлено отъ перваго“. Конца предложенія Секстъ по торопливости не приводитъ. На первый взглядъ кажется, будто правы тѣ, которые хотятъ сдѣлать изъ абдерскаго физика метафизика или онтолога. Можно думать, что онъ рѣшительно отвергаетъ свидетельства чувствъ; что же ему остается, какъ не воспарить въ высоты чистаго бытія? Но какъ ни торопливо дѣлаетъ Секстъ выписки изъ своего автора, онъ все же даетъ намъ достаточно, чтобы исправить это первое ошибочное впечатлѣніе. Послѣ короткой вставки, онъ снова подхватываетъ брошенные нити выдержки и прибавляетъ вторую, къ сожалѣнію тоже повидимому изуродованную фразу: „(истинное познаніе начинается тамъ), гдѣ неясное оказывается уже (недостаточнымъ), гдѣ слишкомъ малое уже нельзя ни видѣть, ни слышать, ни обонять, ни осязать, ни воспринимать вкусомъ, оно слишкомъ мало для этого“. Можно сказать, что страстнымъ желаніемъ Демокрита былъ микроскопъ идеальной досягаемости! Изъ того, что онъ увидѣлъ бы съ его помощью, онъ отбросилъ бы цвѣтъ, какъ субъективный придатокъ, а остальное принялъ бы какъ высшую достижимую объективную истину. Всѣ наши органы чувствъ по его мнѣнію идутъ не достаточно далеко, они отказываются служить намъ именно тамъ, гдѣ дѣло идетъ объ овладѣніи тѣми мельчайшими тѣльцами и тѣми тончайшими процессами, изъ которыхъ слагаются матеріальныя массы и происходящія между ними явленія. Тѣлесные предметы и матеріальные процессы—вотъ для него объекты его истиннаго, незатемненнаго познанія, переходящаго предѣлы неяснаго, или затемненнаго разумѣнія.

По недостатку упомянутыхъ точныхъ инструментовъ идеальнаго совершенства (которыхъ нѣтъ и у насъ), его вспомогательными средствами познанія въ этой области естественно были

только логическія заключенія, которыя должны были дать ему доступъ къ пониманію отношеній матеріальнаго міра; основаніемъ для нихъ могло служить не что другое, какъ показанія тѣхъ же чувствъ, столь презираемыхъ имъ за несовершенство, и все же не отвергнутыхъ вполнѣ, а въ силу ихъ взаимнаго контроля и самопровѣрки способныхъ достигать значительныхъ результатовъ. Эти заключенія дѣлались очевидно или по аналогіи, или—по скольку они принимали болѣе строгій характеръ—путемъ индукціи; они исходили изъ воспринимаемыхъ фактовъ, причемъ предполагалось, что открытія такимъ образомъ силы или свойства сохраняютъ свое значеніе и за предѣлами воспріятія. На вопросъ, что же означаетъ скептицизмъ Демокрита, теперь легко отвѣтить въ нѣсколькихъ словахъ. Скептицизмъ этотъ не затрагивалъ не только вѣры въ матеріальный міръ, онъ не касался и высшихъ или основныхъ предположеній образованія тѣлъ изъ атомовъ и пустого пространства, равно какъ и первичныхъ свойствъ матеріи. Сомнѣнія его ограничивались областью объясненія явленій природы въ частностяхъ, выясненія связи между движеніями атомовъ съ одной стороны и наблюдаемыми явленіями съ другой. Какіе реальные процессы, ускользящіе отъ непосредственнаго наблюденія, можемъ мы предполагать за явленіями доступными нашимъ чувствамъ? Каковъ долженъ быть характеръ движенія частицъ, чтобы ими можно было объяснить силы природы и свойства вещей?—вотъ проблемы особенно занимавшія умъ абдерскаго ученаго,—вотъ что неотступно внушало ему сознаніе недосыгаемости его внутреннихъ и внѣшнихъ вспомогательныхъ средствъ и заставляло раздражаться постоянными жалобами, которыя служатъ равно убѣдительнымъ свидѣльствомъ какъ его неутомимаго влеченія къ наукѣ, такъ и его никогда неусыпленной самокритики.

9. Правила изслѣдованія, которыя заключались въ Демокритовомъ „Канонѣ“, или „руководствѣ“, для насъ пропали и забыты. Теорію, которой онъ руководствовался, приходится извлекать изъ его практики, или скорѣе изъ критики, которой эта послѣдняя подвергалась. Этой критикой занимался, главнымъ образомъ, Аристотель, и за это мы очень ему благодарны даже и тогда, когда совершенно не согласны съ нимъ. Порицаніе, высказываемое Аристотелемъ методу изслѣдованія Демокрита, превращается въ нашихъ глазахъ въ величайшую похвалу.

Онъ ставить абдерскому ученому въ упрекъ, что на вопросъ о послѣднихъ причинахъ явленій природы онъ не сумѣлъ дать другого отвѣта, какъ: „это происходитъ всегда такъ“, или „и прежде происходило такъ“. Иначе говоря, послѣднимъ источникомъ нашего знанія о природѣ онъ считалъ опытъ, полагая, что какъ бы ни была длинна цѣпь нашихъ выводовъ, изъ сколькихъ бы звеньевъ она ни состояла, мы въ концѣ концовъ достигаемъ такого пункта, гдѣ объясненіе оказывается недостаточнымъ, и намъ не остается ничего другого, какъ признать явленіе, которое не можетъ быть выведено изъ другихъ. Что всякая дедукція сводится въ послѣднемъ счетѣ къ индукціи, этой основной истины и Аристотель никогда принципиально не отрицалъ; но въ отдѣльныхъ случаяхъ его потребность объясненія часто не могла успокоиться на одномъ признаніи послѣднихъ эмпирическихъ данныхъ, совершенно непонятныхъ намъ. Въ его ученіи о природѣ нерѣдко выступаетъ мнимое объясненіе тамъ, гдѣ просто слѣдовало бы отказаться отъ дальнѣйшаго проникновенія въ истину. Демокритъ совершенно не зналъ подобныхъ мнимыхъ объясненій, большею частью являющихся слѣдствіемъ предвзятаго мнѣнія. Такъ, платоно-аристотелевская теорія „естественныхъ мѣстъ“ (огненное стремиться вверхъ, земное—внизъ и т. д.) была ему такъ же чужда, какъ и разсмотрѣнное уже нами произвольное утвержденіе, будто матерія должна была извнѣ получить первый толчокъ къ движенію. Если, вслѣдствіе этого, Аристотель и ставитъ въ упрекъ ему и Левкиппу, что они не занялись изслѣдованіемъ источника движенія, то современное естествознаніе оказывается не на сторонѣ перваго, а всецѣло на сторонѣ порицаемыхъ. Критическій разборъ метода атомистовъ, который дѣлаетъ Аристотель, поразительно напоминаетъ возраженія противъ Галилея и его изслѣдованія природы въ письмахъ Декарта къ Мерсенну. Въ обоихъ случаяхъ метафизическій умъ не могъ по справедливости оцѣнить безпретенціознаго, но плодотворнаго примѣненія эмпирическихъ методовъ.

Труднѣе судить о справедливости или несправедливости обоихъ направленій въ отношеніи проблемы цѣли. Въ вопросѣ о происхожденіи и устройствѣ міра, или вѣрнѣе, міровъ атомисты совершенно оставили въ сторонѣ точку зрѣнія цѣли и избрали путь механическаго истолкованія природы; они не покинули этого пути и при разсмотрѣніи процессовъ органической жизни. Въ обоихъ пунктахъ Аристотель является ихъ обвинителемъ. Онъ

считаетъ предположеніе, что благоустройство космоса произошло само собою, столь же недопустимымъ, какъ и то, что цѣлесообразная организація животныхъ и растений сложилась безъ участія того же скрытаго принципа цѣли, или употребляя мѣткое выраженіе Карла Эрнста фонъ-Бэра, точно отвѣчающее аристотелевскому представленію, безъ „цѣлестремительности“. Онъ находитъ это столь же нелѣпнымъ, какъ если бы кто-нибудь, говоря объ оперированіи больного, видѣлъ главную причину въ ланцетѣ хирурга, а не въ намѣреніи излечить больного. Мы вступаемъ здѣсь на почву еще и понынѣ существующаго спора. Сверхъ того, мы такъ мало знаемъ методъ, который атомисты примѣняли въ отдѣльныхъ случаяхъ, что судить объ его правильности намъ трудно даже и въ томъ случаѣ, если бы разсматриваемые здѣсь вопросы быля принципиально рѣшены въ настоящее время. Конечно, въ популярныхъ руководствахъ по матеріализму довольно часто можно встрѣтить суммарное рѣшеніе этого вопроса, которое можетъ быть выражено формулой: оленямъ даны длинныя ноги не для того, чтобы скоро бѣгать, но они бѣгаютъ скоро потому, что у нихъ длинныя ноги. Разумѣется, такое превращеніе связи между причиной и слѣдствіемъ въ связь между средствомъ и цѣлью играетъ въ человѣческомъ мышленіи огромную роль. Разумѣется телеологическое міросозрѣніе перѣдко съ успѣхомъ можетъ быть опровергнуто соображеніемъ, что сохраниться можетъ лишь устойчивое, тогда какъ несовершенное, хотя и можетъ иногда появиться, но рано или поздно должно погибнуть, должно быть побѣждено въ борьбѣ за существованіе. Однако то или другое рѣшеніе проблемы цѣли только тогда было бы удовлетворительнымъ, если бы, по крайней мѣрѣ, въ области органической жизни не было двухъ существенныхъ факторовъ, которые, какъ кажется, требуютъ иного объясненія. Таковы явленія совмѣстнаго участія нѣсколькихъ, иногда очень многочисленныхъ, органовъ и ихъ составныхъ частей въ общемъ дѣйствіи; равнымъ образомъ также столь чудно приспособленное къ соотвѣтствующему вліянію внѣшнихъ агентовъ устройство органовъ и прежде всего органовъ чувствъ. Наука твердо надѣется разрѣшить и эту великую загадку, не смотря на то, что ожиданія, которыми встрѣченъ былъ вначалѣ опытъ разрѣшенія ея Дарвиномъ, нѣсколько ослаблены позднѣйшими изслѣдованіями, и спеціалисты склонны видѣть въ „самопроизвольномъ измѣненіи“ и въ „переживаніи наилучше приспособленныхъ“ только одинъ изъ факторовъ, а не всю ихъ со-

вокупность. Какъ бы то ни было, но сдѣланный атомистами опытъ механическаго истолкованія природы оказался во всякомъ случаѣ болѣе плодотворнымъ, чѣмъ противоположныя теоріи, которыя останавливаются на ближайшей стадіи изслѣдованія и преждевременно ставятъ предѣлъ стремленіямъ къ познанію, то принятіемъ сверхъестественнаго вмѣшательства, то введеніемъ неопредѣленныхъ силъ (въ родѣ „жизненной силы“ прежнихъ виталистовъ).

10. Какъ ученіе Демокрита не ставило неизмѣнныхъ границъ между отдѣльными областями жизни природы на землѣ, такъ было оно далеко и отъ того, чтобы принять естественное на первый взглядъ раздѣленіе вселенной на различныя области. Оно ничего не говоритъ о контрастѣ между измѣнчивостью подлуннаго міра съ одной стороны, и неизмѣннымъ постоянствомъ божественныхъ созвѣздіи съ другой—различіе, пріобрѣтшее такое большое и роковое значеніе въ Аристотелевой философіи. И здѣсь Демокритъ находится въ полнѣйшемъ согласіи какъ съ мнѣніями великихъ людей, которые, подобно Галилею, освободили современную науку отъ оковъ аристотелизма, такъ и съ фактическими результатами изслѣдованій послѣднихъ трехъ столѣтій. Кажется почти чудомъ, какъ, благодаря одной лишь удивительной ясности взора, Демокриту удалось предугадать то, что съ помощью телескопа и спектральнаго анализа раскрылось впоследствии какъ фактическая истина. Безчисленное множество міровыхъ системъ, различныхъ по величинѣ, нѣкоторыя въ сопровожденіи многочисленныхъ лунъ (другія безъ лунъ и безъ солнца), одни въ періодѣ зарожденія, другія (вслѣдствіе столкновенія) въ періодѣ разрушенія, нѣкоторыя изъ нихъ лишеныя всякой жидкости... Когда читаешь эти и подобныя имъ проричанія, можно подумать, что слышишь голосъ астронома теперешняго времени, который самъ видѣлъ спутниковъ Юпитера, обнаружилъ недостатокъ водяныхъ паровъ вокругъ луны, наблюдалъ туманныя пятна и потемнѣвшія звѣзды, все, что стало доступно глазу, вооруженному новѣйшими средствами наблюденія. И однако такое согласіе объясняется единственно, или почти единственно, отсутствіемъ властнаго, скрывающаго истинную суть дѣла, предубѣжденія и смѣлымъ, но не дерзновеннымъ предположеніемъ, что разнообразнѣйшія возможности нашли свое осуществленіе въ безконечности времени и пространства. Въ отношеніи

безконечнаго многообразія атомовъ, предположеніе это не нашло пощады передъ судомъ современнаго знанія, въ отношеніи же космическихъ явленій и образованій, на его долю выпало полнѣйшее подтвержденіе. Можно было съ полнымъ правомъ сказать, что Демокритово міровоззрѣніе побороло геоцентрическую точку зрѣнія. Что и фактическая побѣда надъ послѣдней, одержанная Аристархомъ Самосскимъ, была подготовлена и даже вызвана имъ же—это можно считать въ высшей степени вѣроятнымъ. Въ другомъ мѣстѣ мы прослѣдимъ тѣ частью скрытыя нити, которыя связываютъ Демокрита съ Коперникомъ древности, съ великими александрійскими физиками и ихъ ученикомъ, Архимедомъ, а этого послѣдняго съ Галилеемъ и другими мыслителями новаго времени.

Для отвѣта на вопросъ, есть ли земля единственное обиталище живыхъ существъ, у насъ теперь, конечно, почти такъ же мало опытныхъ данныхъ, какъ было ихъ два тысячелѣтія тому назадъ. Однако, едва ли Демокрита и его послѣдователей можно упрекнуть въ дерзновеніи, если они считали себя въ правѣ отвергать въ этомъ отношеніи исключительное положеніе земли. Только нѣкоторые міры—утверждалъ самъ Демокритъ—лишены растений и животныхъ, вслѣдствіе отсутствія тамъ потребной для ихъ питанія влаги. Это утвержденіе Демокрита въ высшей степени замѣчательно, ибо въ основѣ его, очевидно, лежитъ предположеніе той однородности вселенной и составляющей ее матеріи, равно какъ и управляющихъ ею законовъ, которая съ несомнѣнной ясностью установлена современной астрофизикой. Въ немъ говорить тотъ самый духъ, который внушилъ одному послѣдователю Демокрита, Метродору Хиосскому, слѣдующее блестящее сравненіе: „единственный колосъ ржи среди безграничной равнины былъ бы не болѣе удивителенъ, чѣмъ единственный космосъ посреди безконечности пространства“.

11. Еще болѣе значительнымъ, чѣмъ геніальное предвосхищеніе новѣйшихъ воззрѣній, представляется намъ взглядъ на жизнь, вытекающій изъ этого міросозерцанія. Какъ мелекъ долженъ казаться себѣ человекъ, какъ ничтожны жизненныя цѣли, которыя большая часть изъ насъ преслѣдуетъ, какъ велики должны быть его смиреніе и скромность и какъ мала его гордость, какъ далекъ онъ долженъ быть отъ всякаго высокомерія, коль скоро отъ обитаемой имъ планеты отняты всѣ преимущества, коль скоро она пред-

ставляется ему лишенной своего особаго привилегированнаго положенія, какой-то песчинкой на берегах безконечности. Этимъ—думаемъ мы—опредѣляется главный пунктъ Демокритовой этики. Великій абдеріецъ потому именно и прослылъ для потомства какъ „смѣющійся философъ“, что поступки людей казались ему совершенно несообразными, противорѣчащими ихъ положенію и значенію. Къ сожалѣнію, для детальнаго знакомства съ моральной философіей Демокрита приходится пользоваться болѣею частью, мутными источниками. Объ одномъ изъ его главныхъ этическихъ сочиненій мы знаемъ достаточно, чтобы познакомить съ частью его аргументаціи. Оно трактовало о душевномъ спокойствіи, или о „хорошемъ расположеніи духа“ и замѣчательно тѣмъ, что ставитъ крайне скромную цѣль человѣческимъ стремленіемъ. Это было не счастье или блаженство, но просто „блаженствіе“, не нарушаемый суевѣрнымъ страхомъ или преобладашемъ аффекта, душевный миръ, „сдержанность“, или то равновѣсіе духа, которое сравнивали съ гладкою, незамутною волнами поверхностью моря. Сочиненіе начиналось изображеніемъ мучительнаго состоянія большинства людей, которые въ постоянномъ безпокойствѣ терзаются вѣчной всепожирающей жаждой счастья, хватаются то за одно, то за другое и снова бросаютъ, не получивъ продолжительнаго удовлетворенія. Безмѣрность желаній, незнаніе тѣсныхъ границъ, поставленныхъ человѣческому счастью, нарушенія внутренняго мира, происходящія отъ суевѣрія—вотъ что, повидимому, считалъ онъ главнѣйшими источниками несчастья. Мы не можемъ составить себѣ яркаго представленія объ этой книгѣ въ виду недостаточности нашихъ источниковъ. Изъ массы прреченій, относящихся къ философіи морали, приписываемыхъ Демокриту, находится много несомнѣнно поддѣльнаго, а попытки разобрать настоящее отъ поддѣльнаго до сихъ поръ давали только спорные результаты. Многое, что выдѣляется остроуміемъ формы и индивидуальной окраской, приходится признать несомнѣнной собственностью великаго абдерца. Таковъ прежде всего великолѣпный, хотя въ неполномъ видѣ дошедшій до насъ, но вѣрно возстановленный въ существенныхъ чертахъ отрывокъ, который бичуетъ величайшее зло демократическаго устройства, зависимость властей отъ народнаго суда и, значитъ, отъ тѣхъ именно, кого держать въ уздѣ составляетъ ихъ главнѣйшій долгъ. Этотъ отрывокъ гласитъ приблизительно такъ: „въ существующемъ теперь государственномъ строѣ невозможно, чтобы правители,

даже и самые лучшіе, не творили неправды, потому-что дѣло поставлено какъ разъ такъ, какъ еслибы (царскій) орелъ былъ переданъ во власть гада. Слѣдовало бы позаботиться о томъ, чтобы карающій преступниковъ не попалъ въ ихъ руки; законъ, или другое установленіе, должны бы вполне ограждать того, кто отправляетъ правосудіе“. Если бы нельзя было поручиться за подлинность ни одного изъ этихъ отрывковъ, все-же въ цѣломъ—какъ бы ни казалось это парадоксальнымъ—они вѣрно характеризуютъ Демокритово ученіе о морали. Нужно представить себѣ какой огромный ударъ былъ нанесенъ его чисто механическимъ міровоззрѣніемъ какъ языческому, такъ и церковному правовѣрію. Несмотря на это и христіанскіе и языческіе писатели древности наперерывъ старались приписать ему множество изреченій, которые носятъ на себѣ отпечатокъ благороднѣйшаго образа мыслей и возвышеннаго взгляда на жизнь. Откуда-же спрашивается, какъ не изъ подлинныхъ сочиненій Демокрита могло получиться такое впечатлѣніе? За его писаніями чувствовалась личность, внушавшая уваженіе и вызывавшая почитаніе. Они не содержали ничего, что давало бы поводъ людямъ предвзятымъ или партійнымъ ложно толковать ихъ или умалять ихъ значеніе. Еще понынѣ широко распространенное предубѣжденіе, будто между научнымъ матеріализмомъ и тѣмъ, что можно назвать этическимъ матеріализмомъ, существуетъ необходимая связь, ничѣмъ нельзя лучше опровергнуть, какъ тѣмъ образомъ, въ который еще въ древности воплотилась личность и жизненные воззрѣнія абдерскаго ученаго и который сохранился неомраченнымъ до позднѣйшихъ временъ.

ТРЕТЬЯ ГЛАВА.

Побочныя вѣтви натурфилософіи.

Атомистика была завершеніемъ многовѣковыхъ усилій разрѣшить проблему матеріи. Можно было думать, что гипотеза, которой выпало на долю болѣе чѣмъ двухтысячелѣтнее существованіе, удовлетворила своихъ современниковъ и тотчасъ-же сдѣ-

лалась исходнымъ пунктомъ дальнѣйшихъ успѣховъ. Однако къ этому было много разныхъ препятствій. Ни искусство производить опыты, ни математическія науки не были достаточно развиты, чтобы доставить быстрый расцвѣтъ тому плодоносному зародышу, который былъ скрытъ въ атомистикѣ. Другимъ обстоятельствомъ, затруднявшимъ господство новой доктрины, было твердо установленное значеніе ея старшихъ соперницъ. Различныя формы, которыя послѣдовательно принималъ матеріалистическій монизмъ,—какъ мы указывали на это выше (стр. 149)—опровергали одна другую, и колебали значеніе каждаго ученія о матеріи въ отдѣльности, а кромѣ того пробуждали сомнѣніе въ самомъ свѣдѣтельствѣ чувствъ, а вмѣстѣ съ этимъ и въ основахъ общаго имъ ученія. Но еще и другой результатъ долженъ былъ сказаться. Рядомъ съ разногласіемъ отдѣльныхъ ученій, на примѣръ Фалеса, Анаксимена, Гераклита, въ ихъ ученіяхъ можно было наблюдать и нѣкоторое сходство въ основныхъ положеніяхъ. Появились и другія значительныя ученія. Было вполне естественно, что возникла попытка примирить эти авторитеты другъ съ другомъ; при этомъ то, на чемъ они могли сойтись, выдвигалось на первый планъ, а то, что ихъ разъединяло, старались сгладить путемъ переработки. Этимъ стремленіямъ благопріятствовалъ тотъ фактъ, что кругъ возможныхъ вообще, или по крайней мѣрѣ возможныхъ на данной ступени познанія, попытокъ найти разрѣшеніе старыхъ вопросовъ былъ завершенъ. Подъ знакомъ компромисса и эклектизма стоятъ нѣсколько новыхъ системъ, появившихся въ это время и заключающихъ собою ту эпоху, на отдѣльныхъ этапахъ которой мы такъ долго останавливались. Съ однимъ изъ такихъ эклектиковъ, Гиппасомъ (ср. стр. 126/7), пытавшимся согласовать ученія Гераклита и Пифагора, мы уже познакомились. Сейчасъ познакомимся и съ другими представителями этого направления. Наиболѣе значительнымъ изъ нихъ былъ Діогенъ Аполлонійскій. Движимый жаждою познанія, можетъ быть привлекаемый извѣстностью Анаксагора, пришелъ онъ въ Афины, гдѣ свободомысліе его готовило ему тѣ-же опасности какъ и великому класоменянину. Обширный анатомическій отрывокъ его сочиненія „о природѣ человѣка“ обличаетъ въ немъ хорошее знакомство съ медициной того времени и даетъ основаніе предположить, что онъ самъ принадлежалъ къ врачебному сословію. Цѣлью его было примирить Анаксагора съ Анаксименомъ, точнѣе говоря, ученіе перваго объ умѣ (нус) съ ученіемъ втораго о ма-

теріи. Въ извѣстной степени повліялъ на него также и Левкиппъ, у котораго онъ заимствовалъ ученіе о мірообразующемъ вихрѣ и въ языкѣ котораго встрѣчается то-же самое слово „необходимость“, которое было и его излюбленнымъ выраженіемъ. Насмѣшки, которыми осыпали его въ комедіяхъ, отголоски его доктрины какъ въ драмахъ Еврипида, такъ и въ специально научныхъ (врачебныхъ) сочиненіяхъ указываютъ на то, что Дюгенъ принадлежалъ къ очень замѣтнымъ личностямъ вѣка Перикла.

Съ системой его, лишенной всякой оригинальности и внутренней законченности, мы знакомы не только по косвеннымъ источникамъ. До насъ дошли сравнительно богатые остатки его главнаго произведенія „О природѣ“, которые отличаются полной достоинства простотой и удивительной ясностью—авторскія достоинства, къ которымъ онъ, какъ говорится во введеніи, сознательно стремился. Благодаря этому, упомянутые отрывки ясно показываютъ намъ главные идеи и методъ его изслѣдованія; они обнажаютъ намъ то, о чемъ у его предшественниковъ мы можемъ только умозаключать. Мы приводимъ слова Дюгена, которыми онъ стремится доказать истинность основной идеи ученія о матеріи. „Ибо если бы изъ всего того, что существуетъ теперь въ этомъ мірѣ: земли, воды, и всего иного, если бы что нибудь изъ этого было не тѣмъ, что остальное, а чѣмъ нибудь другимъ по своей природѣ, и не оставалось бы тѣмъ же самымъ, несмотря на многообразныя измѣненія и превращенія, тогда различныя вещи не только не могли-бы смѣшиваться, но не могли бы также служить на пользу, или во вредъ одна другой: растеніе не могло-бы произрастать изъ земли, не могло-бы зародиться ни животное, ни что другое, если бы оно не было тѣмъ же по своему составу. Но все это происходитъ изъ одного и того-же, становится вслѣдствіе измѣненія другимъ, и вновь возвращается къ прежнему своему состоянію“. Вмѣстѣ съ тѣмъ, и Анаксагорово доказательство въ пользу пѣли произвело на него сильное впечатлѣніе... „Ибо не можетъ быть, чтобы безъ руководства разума (точнѣе, безъ дѣятельнаго участія „нус“) все могло быть распредѣлено, въ мѣру: зима и лѣто, ночь и день, дожди, вѣтра и сіяніе солнца. И въ остальномъ, если подумать, то найдешь, что все устроено столь прекрасно, насколько только возможно“. Если-же онъ не удовлетворялся ученіемъ Анаксагора и находилъ необходимымъ дополнить его болѣе древнимъ ученіемъ Анаксимена о воз-

духъ, то къ этому у него могли быть двѣ побудительныя причины. Анаксагорово ученіе о матеріи, конечно, казалось ему нелѣпнымъ и необоснованнымъ, каково оно и есть на самомъ дѣлѣ. Это видно изъ того, что онъ его отвергъ. Но „pus“ или міроустраояющій принципъ онъ очевидно считалъ связаннымъ съ одной изъ извѣстныхъ намъ формъ матеріи; только при этомъ казалось ему понятнымъ и объяснимымъ его господство и въ особенности его универсальная распространенность и дѣйственность. Это высказано имъ въ слѣдующихъ недопускающихъ сомнѣнія словахъ: „Но то, что обладаетъ разумомъ, представляется мнѣ тѣмъ, что люди называютъ воздухомъ и, по моему мнѣнію, онъ и есть то, что всѣмъ управляетъ и надъ всѣмъ господствуетъ; потому что отъ него-то, мнѣ кажется, и происходитъ „pus“ и (помощью этого носителя своего) всюду проникаетъ, все устраиваетъ и во всемъ присутствуетъ. И нѣтъ ничего, что не принимало-бы въ этомъ участія. Но ничто не участвуетъ въ равной мѣрѣ съ другимъ. Напротивъ, есть много видоизмѣненій, какъ самого воздуха, такъ и разума; ибо воздухъ можетъ быть весьма различнымъ: то теплѣе, то холоднѣе, то суше, то сырѣе, то спокойнѣе, то въ состояніи сильнѣйшаго движенія; есть еще и другія безчисленныя отличія его по запаху и цвѣту. Далѣе, и душа всѣхъ живыхъ существъ есть одно и то-же, именно воздухъ, но болѣе теплый, чѣмъ окружающій насъ, однако гораздо холоднѣе того, который находится около солнца. Эта теплота никогда не бываетъ одинакова у разныхъ животныхъ и у разныхъ людей. Разница въ ней вообще незначительна, но достаточно велика для того, чтобы получилось сходство, но не полная тождественность. Однако все, что измѣняется, должно прежде стать тѣмъ же самымъ и потомъ только можетъ изъ одного стать другимъ“ (т. е. переходъ черезъ основныя, или первоначальныя формы матеріи есть необходимое условіе и промежуточная ступень для возникновенія одной матеріальной формы изъ другой). „Такъ какъ измѣненія весьма разнородны, то и живыхъ существъ множество и притомъ самыхъ разнородныхъ, которыя, вслѣдствіе огромнаго числа измѣненій, не похожи другъ на друга ни по наружному виду, ни по роду жизни, ни развитіемъ интеллекта. При всемъ томъ существуетъ нѣчто одно и то-же, чѣмъ они всѣ живутъ, видятъ и слышатъ; и остальные проявленія интеллекта являются у нихъ оттуда-же (т. е. изъ воздуха)“. Доказательство послѣднихъ изъ этихъ утвержденій даетъ конецъ другого отрывка, который былъ уже отчасти приведенъ

выше: „Кромѣ того, въ пользу этого есть сильныя доводы: чело-
вѣкъ и другія животныя живутъ, вдыхая воздухъ. Онъ для нихъ
столько-же душа, какъ и разумъ... И если онъ ихъ оставляетъ,
то они умираютъ и разумъ покидаетъ ихъ“. Это первосуше-
ство Діогенъ называлъ то „вѣчнымъ безсмертнымъ тѣломъ“
(или матеріей), то „великимъ“ могущественнымъ, вѣчнымъ, без-
смертнымъ, многосвѣдущимъ существомъ“, а при случаѣ и „боже-
ствомъ“.

Излишне было бы знакомить нашихъ читателей со всѣми
отдѣльными ученіями аполлонійца, которыя онъ, кромѣ вышеупомя-
нутыхъ двухъ сочиненій, изложилъ еще и въ своемъ „ученіи
о небѣ“. Онъ былъ крайне разностороненъ; подвижной умъ
его касался всѣхъ областей тогдашняго естествознанія. Со всѣхъ
сторонъ онъ вбиралъ въ себя впечатлѣнія, учился у всѣхъ учи-
телей и если не устранилъ и не преодолѣлъ внутреннихъ про-
тиворѣчій этихъ разнородныхъ доктринъ, то все-же наложилъ
на нихъ печать своего ума. Всѣ пути изслѣдованія предше-
ственниковъ вели его къ основному его началу—воздуху. Въ
этомъ сочетаніи многосторонности и односторонности, неразбор-
чиваго эклектизма и упрямой послѣдовательности кроется тайна
его успѣха. „Кто предлагаетъ многое, у того всегда найдется что
нибудь для каждаго“. Механическое міросозерцаніе, телеологическое
воззрѣніе на природу, матеріалистическій монизмъ и подчиненіе
матеріи разумному началу—все это и многое другое умѣщалось
подъ просторнымъ покровомъ его эклектической системы. Ученіе
о единой основной матеріи было ходячимъ уже въ те-
ченіе нѣсколькихъ поколѣній среди образованныхъ людей
Греціи: оно и не отвергалось. Принятіе устроющаго міръ начала
стало съ нѣкотораго времени признаваться многими: оно при-
знается и Діогеномъ. Происхожденіе космоса изъ слѣпой необхо-
димости получило остроумное объясненіе и нашло себѣ откликъ:
и этому ученію нашлось мѣстечко въ новой философіи. Вихрь
Левкиппа долженъ былъ братски примириться съ
„нус“омъ Анаксагора, а этотъ послѣдній съ боже-
ствомъ воздуха Анаксимена. Но даже и людямъ старины не-
чего было страшиться новомодной науки. Вѣдь Гомеръ, по утвер-
жденію ея провозвѣстника, не просто рассказывалъ мифы и сказки,
но пользовался ими какъ покровомъ для голой истины. Его Зевсъ
не что иное, какъ воздухъ. Словомъ, Діогенъ вступилъ даже на
путь аллегорическаго истолкованія народной поэзіи и на-

родных вѣрованій. Въ этомъ отношеніи онъ сталъ предшественникомъ стоической школы, которая черезъ посредство книжниковъ обязана ему нѣсколькими отдѣльными физическими доктринами.

Оборотной стороной картины была доведенная до крайности односторонность теории, которая во всѣхъ явленіяхъ, физическихъ и космологическихъ, въ физиологическихъ и даже психическихъ, старается обнаружить дѣйствіе единого матеріальнаго начала. Воздухъ представлялся ему проводникомъ чувственныхъ воспріятій. Процессъ зрѣнія онъ объяснялъ (слѣдуя въ данномъ случаѣ, вѣроятно, Левкиппу) отпечаткомъ, который черезъ посредство воздуха производитъ въ зрачкѣ воспринимаемый предметъ. Его изобрѣтеніемъ было здѣсь то, что зрачекъ въ свою очередь передаетъ этотъ отпечатокъ воздуху въ мозгу. Нужно замѣтить при этомъ, что дѣлая мозгъ средоточіемъ чувственныхъ воспріятій, онъ слѣдовалъ, вѣроятно, Алкмеону. Діогенъ зналъ, что бываетъ воспаленіе зрительнаго нерва и что оно производитъ слѣпоту. Онъ объясняетъ это такъ: воспаленная жила (онъ считаетъ нервы жилами) препятствуетъ якобы доступу воздуха въ мозгъ, вслѣдствіе чего, если даже изображеніе и получается въ зрачкѣ, то зрительнаго воспріятія все же не происходитъ. Своимъ высокимъ интеллектомъ человекъ обязанъ своей прямой походкѣ, которая позволяетъ ему вдыхать чистый воздухъ, тогда какъ животныя, у которыхъ голова наклонена къ землѣ, вбираютъ въ себя воздухъ загрязненный земною сыростью; нѣчто подобное происходитъ и съ дѣтьми вслѣдствіе ихъ болѣе низкаго роста. И аффекты тоже объясняли воздухомъ и его дѣйствіемъ на кровь. Если онъ по своему качеству плохо смѣшивается съ кровью, то послѣдняя отъ этого становится менѣ подвижной, застаивается, и наступаетъ болѣзненное ощущеніе; въ обратномъ случаѣ, когда кровообращеніе благодаря воздуху ускоряется, появляется чувство удовольствія. Если это ученіе, по приведеннымъ выше причинамъ, произвело значительное впечатлѣніе на современниковъ, то отъ проницательной критики послѣдующихъ поколѣній какъ и отъ насмѣшекъ комедіи не могли укрыться его слабыя стороны. Почему птицы, восклицаетъ Теофрастъ въ своемъ критическомъ разборѣ психологіи Діогена, не превосходятъ насъ умомъ, если чистота вдыхаемаго воздуха имѣетъ рѣшающее вліяніе на степень его остроты и проницательности? Почему наше мышленіе не измѣняется съ

*

переменной нашего мѣстопробыванія, смотря по тому, вдыхаемъ ли мы горный воздухъ, или болотный? И на этотъ разъ съ ученымъ послѣдователемъ Аристотеля страннымъ образомъ сходится „шаловливый любимецъ грацій“. Въ „Облакахъ“ (поставленныхъ на сцену въ 423-мъ году) Аристофанъ съ ѣдкимъ остроуміемъ осмѣялъ разнообразнѣйшія произведенія просвѣтительной эпохи и при этомъ, какъ уже давно замѣчено, не былъ пощаженъ и Діогенъ. Богохульный крикъ „да здравствуетъ царь вихрь, низвергнувшій съ престола Зевеса“, Сократъ, подвѣшенный въ корзинѣ надъ землею, чтобы вдыхать чистый, не загрязненный земной сыростью воздухъ, а съ нимъ и чистѣйшій разумъ, богиня „Дыханіе“, къ которой ея ученики съ мольбою воздѣваютъ руки, наконецъ хоръ облаковъ-женщинъ съ исполинскими носами, чтобы возможно больше вбирать въ себя духа-воздуха,—всѣ эти удары были направлены на Діогена и несомнѣнно вызывали въ аѳинскомъ театрѣ хохотъ и бурные знаки одобренія.

2. Старшій товарищъ Аристофана, охотникъ до вина, поэтъ Кратинъ посвятилъ одну изъ своихъ комедій осмѣянію философіи того времени. Она называлась „Всеvidцы“ (Panoptai), эпитетъ, который прежде присваивался только Зевесу и еще тысячеглазому Аргусу, сторожившему Іо, а на этотъ разъ ради жестокой насмѣшки данъ ученикамъ-философамъ, которые слышатъ какъ растеть трава. Всеvidцы составляютъ хоръ драмы, и ихъ можно сразу узнать по маскамъ—двѣ головы съ безчисленнымъ множествомъ глазъ. Мишенью насмѣшекъ былъ на этотъ разъ Гиппонъ (по прозвищу „атеистъ“), пріѣхавшій въ Аѳины изъ нижней Италіи, если не съ Самоса. Невелики наши свѣдѣнія объ этомъ мыслителѣ и изслѣдователѣ, изъ сочиненій котораго недавно отыскался крошечный отрывокъ и котораго Аристотель причисляетъ къ самымъ „неуклюжимъ“ умамъ и даже, „по скудости его мыслей“, едва соглашается признать его философомъ. Мы причисляемъ его къ эклектикамъ, такъ какъ онъ старается связать ученіе Парменида съ ученіемъ Фалеса. Въ основу мірового процесса онъ кладетъ „влажное“, изъ котораго произошли „холодное“ и „теплое“ (вода и огонь), причемъ огонь сыгралъ роль дѣятельнаго мірообразовательнаго начала, а вода роль страдающей матеріи.

Ближе къ Діогену, чѣмъ Гиппонъ, стоялъ Архелай, аѳинянинъ или милетецъ, называемый ученикомъ Анаксагора, хотя

онъ существенно измѣнилъ ученіе послѣдняго. Въ особенности онъ отступилъ отъ своего учителя въ космогоніи. По Архелаю „nus“ не извнѣ былъ привнесенъ въ матерію, чтобы устроить и преобразовать ее въ космосъ; онъ предполагаетъ, если только мы вѣрно понимаемъ показанія нашего источника, что онъ присущъ матеріи съ самого начала. Это именно и приближаетъ его опять къ болѣе старымъ представителямъ натурфилософіи и вмѣстѣ съ тѣмъ, можно прибавить, къ духу древне-эллинскаго возрѣнія на міръ и природу. Отчасти этимъ, отчасти же потребностью видѣть въ матеріи нѣчто божественное, потребностью, которую не могло удовлетворить раздробленіе матеріи на безконечно-малыя „сѣмена“, или на Левкипповы атомы, объясняется то, что устанавливая связь между ученіями Анаксагора и Анаксимена, онъ сдѣлалъ это немногимъ иначе, чѣмъ аполлоніецъ Діогенъ. Онъ не отвергаетъ безчисленныхъ элементовъ, „сѣмянъ“ или гомемерій клазоменянина, но у него опять выступаютъ на первый планъ большія матеріальныя формы, игравшія главную роль въ ученіи „фізіологовъ“. Воздуху, какъ наименѣ матеріальной изъ матерій, пришлось оказаться первоначальной формой этихъ сѣмянъ и въ то же время вмѣстилищемъ nus'a, духовнаго начала, вызвавшаго мірообразование. Изъ этой посредствующей формы матеріи должны были произойти, то путемъ разрѣженія, то путемъ уплотненія, т. е. при помощи разъединенія, или сближенія „сѣмянъ“ огонь и вода, носители движенія и покоя. Нужно ли напоминать, что здѣсь Архелай оказался подъ вліяніемъ идей не только Анаксимена, но также и Парменида, пожалуй Анаксимандра. Въ высшей степени оригинальной кажется его попытка изобразить начала человѣческаго общества и изложить основныя этикополитическія понятія. Но объ этомъ придется говорить въ другомъ мѣстѣ.

3. Стремленіе примирить новое со старымъ, въ данномъ случаѣ, новое знаніе со старой вѣрой обнаруживаетъ и другой ученикъ Анаксагора Метродоръ изъ Лампсака, стремленіе котораго дать аллегорическое объясненіе Гомера прежде всего отталкиваетъ насъ своей фантастичностью. Что могло заставить его отождествить Агамемнона съ эфиромъ, Ахилла—съ солнцемъ, Гектора—съ луной, Париса и Елену—съ воздухомъ и землею, а въ Деметрѣ, Діонисѣ и Аполлонѣ видѣть части тѣла животнаго, именно: печень, селезенку и желчь? Намъ это напоминаетъ

сумасбродныя толкованія мифовъ въ наше время и подобныя же рискованныя попытки другихъ эпохъ, когда проявилась потребность видѣть въ священныхъ разсказахъ, буквальную правду которыхъ нельзя было сохранить, только одну оболочку иной сущности. Вспомните еврейско-греческаго религіознаго философа, Филона Александрійскаго, у котораго садъ райа понимается какъ божественная мудрость, вытекающія изъ него четыре рѣки—какъ четыре основныхъ добродѣтели, алтарь и дарохранильница—какъ умопостигаемые объекты познанія и т. под. Ренанъ имѣлъ полное право замѣтить про это весьма чреватое послѣдствіями аллегорическое толкованіе Филона, что не капризный произволь, а благочестіе лежало въ основѣ этого приема, столь чуждаго всѣмъ научно-мыслящимъ людямъ. „Прежде, чѣмъ отречься отъ ставшаго близкимъ вѣроученія, (или отъ авторитета признанныхъ сочиненій), „прибѣгаютъ къ такимъ толкованіямъ“, которые на каждого, стоящаго внѣ этого круга, производятъ впечатлѣніе совершеннѣйшаго сумасбродства. Въ данномъ случаѣ, Метродоръ смѣло пошелъ по тому пути, уже задолго до него открытому.

Еще въ VI-го вѣкѣ Θεагенъ изъ Регіона для того, чтобы спасти авторитетъ Гомера, сильно оспариваемый Ксенофаномъ, пробовалъ прибѣгать, къ аллегорическому толкованію. Битва боговъ, описанная въ 20-й книгѣ, вызывала ужасный соблазнъ. Чтобы небесныя силы, въ которыхъ все болѣе привыкали видѣть носителей общаго естественнаго и нравственнаго порядка, схватывались другъ съ другомъ въ рукопашную, это должно было по видимому дѣйствовать какъ пощечина, на здравый человѣческой смыслъ и здоровое моральное чувство. Въ устраненіе этой неловкости сообщалось, что поэтъ подразумѣвалъ подъ богами отчасти враждебные другъ другу элементы, отчасти же противорѣчивыя свойства человѣческой природы. Участіе въ схваткѣ бога огня Гефеста и повелителя моря Посейдона, Аполлона и его сестры Артемиды, отождествляемыхъ съ богомъ солнца и богиней луны,—и наконецъ бога рѣки Ксанфа—давало нѣкоторый поводъ для такого толкованія. За остальнымъ обратились къ излюбленному въ древности неисчерпаемому средству—этимологіи и къ разнымъ нравоучительнымъ соображеніямъ; примѣромъ можетъ служить, достойная какого-нибудь Elihu Buritt'a, выдумка, что богъ войны Аресъ есть олицетворенное неразуміе и потому противоположность воплощеннаго въ Аѳинѣ разума. При этомъ именно случаѣ упоминается имя Θεагена, какъ древнѣйшаго „аполло-

гета“ гомеровской поэзіи. И Демокритъ и Анаксагоръ не отказывались усиленно содѣйствовать аллегорическому истолкованію народной поэзіи; о Діогенѣ Аполлонійскомъ уже было говорено выше; въ Антисеенѣ, ученикѣ Сократа, мы тоже встрѣтимъ представителя этого направленія, которое изъ школы киниковъ перешло къ стоикамъ и тамъ достигло самаго пышнаго расцвѣта.

Г Л А В А IV.

Начало науки о духѣ.

Постоянно возобновляемыя попытки къ компромиссу между старонаціональнымъ взглядомъ на жизнь и новымъ жизне-и міросозерцаніемъ указываютъ на глубокой разрывъ между ними. Незамѣтный ростъ опытнаго познанія природы, богатая пища, почерпнутая критическимъ умомъ изъ углубившейся спекуляціи философовъ, изъ расширенія интеллектуальнаго кругозора благодаря прогрессамъ географіи и этнографіи, изъ борьбы медицинскихъ школъ и изъ установившагося довѣрія къ чувственному воспріятію въ противовѣсъ всякаго рода произвольнымъ гипотезамъ—все это достаточно извѣстно нашимъ читателямъ. Намъ нужно теперь познакомиться вкратцѣ съ тѣми перемѣнами, которыя произошли въ государственной и общественной жизни грековъ послѣ эпохи тиранновъ (сравни стр. 7—9). Въ Аѣнахъ, которыя стали съ тѣхъ поръ центромъ умственной жизни грековъ, а также и въ другихъ мѣстахъ, борьба сословій закончилась побѣдой горожанъ. Преимущества аристократіи были понемногу устранены и обладатели движимостью (торговцы и ремесленники) постепенно получили преобладаніе надъ владѣльцами земли. Городское населеніе увеличивалось вслѣдствіе движенія изъ селъ къ городу и вслѣдствіе переселеній изъ другихъ странъ; иностранцы, въ томъ числѣ много бывшихъ рабовъ, въ большомъ количествѣ вошли въ число гражданъ. Реформа Клисеена (509 д. Р. Х.), послѣдовавшая вскорѣ послѣ паденія Пизистратидовъ имѣла въ виду именно сліяніе этихъ элементовъ. Рѣшаю-

шій моментъ этой эволюціи въ направленія полной демократіи совпадаетъ съ персидскими войнами. Отразить могущественнѣйшаго врага можно было только при использованіи всѣхъ наличныхъ силъ. Какъ раньше усилѣхъ оказывался на сторонѣ тяжело вооруженныхъ пѣшихъ горожанъ въ борьбѣ съ конницей аристократовъ, такъ теперь рѣшительное вліяніе оказало примѣненіе массъ во флотѣ. Всеобщая воинская повинность въ теченіи нѣсколькихъ десятилѣтій привела къ всеобщей политической равноправности. Опираясь на свои морскія силы, Аѣины вскорѣ стали во главѣ союза, при которомъ постепенно вмѣстѣ съ политическими условіями измѣнились и экономическія условія этого государства. Прибыльныя торговыя монополіи, значительные доходы отъ таможенныхъ сборовъ, отъ взносов и судебныхъ уплатъ союзниковъ, наконецъ дѣлежъ владѣній отпавшихъ союзниковъ—таковы были источники, которые окупали содержаніе многочисленныхъ горожанъ. Возникшее на этой почвѣ народовластіе послужило образцомъ для государствъ, находившихся въ зависимости отъ Аѣинъ, а отчасти и для другихъ. Однако и при полной и при умѣренной демократіи наиболѣе вліятельнымъ орудіемъ въ политической жизни большей части Эллады вскорѣ стала рѣчь. Даже больше. Ибо не только въ совѣтѣ и въ народномъ собраніи, но и въ народномъ судѣ, происходившемъ иногда при участіи сотенъ присяжныхъ, повсюду рѣчь была тѣмъ оружіемъ, умѣлое пользованіе которой доставляло побѣду. Талантъ и способность рѣчи были не только единственнымъ путемъ къ могуществу и почести, они была также и единственнымъ средствомъ защиты отъ всякой несправедливости. Кто былъ лишенъ этого оружія, тотъ былъ такъ же беззащитенъ у себя на родинѣ и въ мирное время, какъ если бы онъ ринулся въ бой безъ щита и меча. Поэтому вполнѣ естественно, что въ демократическихъ общинахъ этой эпохи впервые стали культивировать искусство риторики, и что оно вскорѣ стало играть значительную роль въ преподаваніи молодежи.

Но риторика имѣетъ двѣ стороны; она наполовину діалектика, наполовину стилистика. Для того чтобы обладать ею въ совершенствѣ, нужно умѣть быстро соображать и разбираться въ различныхъ точкахъ зрѣнія соотвѣтственно разнообразнымъ сторонамъ общественной жизни, пужна и увѣренность въ выборѣ способовъ выраженія. Однако тенденція новаго времени не исчерпывалась этимъ могучимъ и разностороннимъ стремленіемъ къ ф о р м а л ь н о м у образованію. Новое и богатое с о д е р ж а н і е

мышленію и изслѣдованію давала политическая жизнь. Новый укладъ государственныхъ и общественныхъ отношеній вызывалъ массу проблемъ. На нихъ набрасывались, ими занимались со страстью. Всякій интересовался результатомъ разсужденія; столкновение мнѣній и направленій было столь же оживленно, какъ и столкновение интересовъ. И какъ отъ риторики, этой формальной вспомогательной дисциплины политики, распространялось въ разныя стороны это умственное движеніе, такъ еще болѣе отъ самой политической науки. За вопросами: что правильно и справедливо въ этомъ частномъ случаѣ при этихъ данныхъ обстоятельствахъ? непосредственно слѣдовалъ другой вопросъ, болѣе общій: что вообще правильно и справедливо въ государствѣ? Возбужденная политикою любознательность не могла остаться въ предѣлахъ послѣдней и распространялась на всѣ области человѣческой дѣятельности и творчества. Наряду съ политикой выступила экономія, педагогика, ученіе объ искусствѣ, и прежде всего этика. И далѣе, рядомъ съ такимъ общимъ вопросомъ о нормахъ человѣческаго поведенія возникъ вопросъ о происхожденіи этихъ нормъ, о генезисѣ государства и общества.

Въ числѣ факторовъ, влияющихъ на развитіе наукъ, необходимо упомянуть о духовномъ укладѣ той эпохи. Въ значительной мѣрѣ утвердилось критическое направленіе, враждебное авторитету. Оно должно было еще болѣе укрѣпиться при тѣхъ социальныхъ и политическихъ условіяхъ, которыя характеризуютъ пятое столѣтіе. Основа всякой критики есть сравнивающее наблюденіе. Для такого наблюденія богатый матеріалъ дало соприкосновение грековъ съ чуждыми племенами во время персидскихъ войнъ. Развитіе торговли и личныхъ сношеній среди членовъ аттического морского союза имѣеть можетъ быть еще больше значенія. Значительная часть обширной расчлененной Эллады была теперь связана въ одно цѣлое. Между отдѣльными городами союза и главнымъ городомъ циркулировалъ непрерывный потокъ съ одной стороны малоазійскихъ грековъ и островитянъ, съ другой аеинянъ. Скопление въ городахъ массъ разноплеменнаго народа, принадлежащаго разнымъ государствамъ, должно было вызывать обмѣнъ мнѣніями и свѣдѣніями и содѣйствовать тому, что было мѣтко названо треніемъ умовъ. Наконецъ, нужно припомнить еще то обстоятельство, что вторженіе чуждыхъ культуръ, послѣдовавшее послѣ персидскихъ войнъ, значительно повліяло на распространеніе сектъ въ Аѣинахъ; на этой почвѣ произошло объ-

единеніе афинянъ и иностранцевъ; исключительному господству національной религіи былъ нанесенъ ударъ, а это значительно содѣйствовало эмансипаціи умовъ.

2. Таковы, поскольку мы можемъ судить, были тѣ условія, при которыхъ произошелъ огромный прогрессъ въ интеллектуальной жизни Греціи и человѣчества. Рядомъ со своею старшею сестрою, наукою о природѣ, выступила этика или наука о духѣ, причемъ сразу во всей широтѣ. Ибо она никогда не отрицала своей связи съ практическими потребностями, изъ которыхъ она возникла. Отсюда ея свѣжесть, жизненность, а вмѣстѣ часто ощущаемый недостатокъ точности понятій и систематической полноты. Устраненію этихъ недостатковъ мѣшала потребность въ художественной законченности выраженія. Специалистовъ во всѣхъ этихъ областяхъ не было, не считая составителей рѣчей. Для этихъ послѣднихъ существовали сухія и методически разработанныя руководства ихъ искусства. Все остальное обращалось къ широкимъ кругамъ образованной публики и должно было удовлетворять вкусу избалованному первоклассными произведеніями искусства. Окончательный однако союзъ красоты съ истиной былъ заключенъ лишь на вершинахъ познанія. Но развитіе науки требуетъ точнаго разграниченія понятій и полной ихъ ясности, что несовмѣстимо съ непосредственной популяризаціей ея. Въ этомъ направленіи поработали два выдающихся человѣка: Продикъ, занимавшійся различіемъ синонимовъ, и сынъ занимающей насъ эпохи, тотъ, вліяніе котораго было наименѣ замѣтно и наиболѣе плодотворно. Мы говоримъ о Сократѣ, сынѣ Софрониска. Своими разговорами, лишенными всякихъ прикрасъ, которые начинались съ обычныхъ житейскихъ темъ и доходили до самыхъ высокихъ вопросовъ, онъ умѣлъ направлять мысль и испытывать ея глубину и чистоту; его перекрестный допросъ какъ бы требовалъ свидѣтельства у всякаго понятія, раскрывалъ всякую неясность, всякое скрытое противорѣчіе. Такимъ путемъ онъ значительно содѣйствовалъ очищенію и проясненію понятій, что было особенно необходимо для тогдашняго времени.

Если Сократъ, о которомъ подробнѣе мы будемъ говорить позже, стоялъ выше своихъ современниковъ, то въ другомъ отношеніи онъ вполне совпадалъ съ ними. Мы имѣемъ въ виду ту повышенную оцѣнку всего разсудочнаго, которую можно назвать интеллектуализмомъ. Это наиболѣе характерная

черта той эпохи. Вмѣстѣ съ довѣріемъ къ мышленію, явившимся какъ результатъ критики и боязни авторитета, возросла и тонкость мысли. Прежде всего это обнаружилось на итальянской и сицильнской почвѣ. Наши читатели живо помнятъ хитрыя аргументаціи элейца Зенона. Поль-вѣка ранѣе законодательствовавшій въ Катаніи Харондъ удостоился слѣдующей характеристики Аристотеля: „Точностью и тонкостью онъ превзошелъ даже современныхъ законодателей“. Возьмемъ одинъ примѣръ изъ многихъ. Опекунъ надъ сиротами Харондъ раздѣлилъ между родственниками отца и матери такимъ образомъ, что на долю первыхъ выпадала забота объ имуществѣ, на долю вторыхъ о личности опекаемаго. Благодаря этому управленіе имуществомъ попадало въ руки тѣхъ, которые, какъ вѣроятные наследники, были наиболѣе заинтересованы въ усцѣпномъ веденіи дѣлъ, тогда какъ жизнь и здоровье сироты поручались тѣмъ, кто не имѣлъ интереса вредить ему. Съ того времени сознательная техника жизни и стремленіе къ подчиненію твердымъ разумнымъ нормамъ все увеличивались. Настало время когда бессознательный опытъ долженъ былъ все болѣе уступать осознанымъ правиламъ. Не было области жизни, которой бы не коснулась эта тенденція. Гдѣ не реформировали, тамъ по крайней мѣрѣ кодифицировали. Чаше однако и то и другое шло рядомъ. По всѣмъ отраслямъ стала возникать специальная литература, во множествѣ появились учебники. Вся человѣческая дѣятельность, отъ приготовленія пищи до изготовленія предметовъ искусства, отъ гулянья и до веденія войны, подверглась регулпрованію и сведенію къ принципамъ. Нѣсколько примѣровъ помогутъ уяснить сказанное. Систематически трактовались поварское искусство *Митаккомъ*, тактика и борьба оружіемъ—философомъ *Демокритомъ*, діететика, какъ отдѣльная отъ медицины дисциплина—*Геродикомъ* изъ *Селимбріи*, даже искусство управленія лошадьми нашло своего автора въ лицѣ *Симона*. Всѣ отдѣлы искусства были теоретически разработаны. Примѣру *Лаза* изъ *Герміона*, который еще въ шестомъ вѣкѣ расширилъ и теоретически обосновалъ средства музыкальнаго выраженія, послѣдовали другіе, въ ихъ числѣ личный другъ *Перикла Дамонъ* и *Гиппій* изъ *Элиды*, который училъ ритмикѣ и гармоніи. Даже *Софокль*, предшественникомъ котораго въ этой области было мало извѣстный *Агатархъ*, не считалъ унизительнымъ писать о техникѣ сценическаго искусства, а великій скульпторъ *Поликлетъ* вычислялъ въ своемъ „Канонѣ“ основныя отношенія ча-

стей человѣческаго тѣла. По теоріи живописи писалъ Демокритъ, о сценической перспективѣ кромѣ послѣдняго говоритъ Анаксагоръ. Первые письменныя указанія относительно сельскаго хозяйства находятся въ крестьянскомъ календарѣ Гезіода („Дѣла п дни“), съ философской стороны къ этому вопросу подходитъ также Демокритъ. Для пріемовъ мантики или предсказаній было составлено не одно руководство. Ничто не представлялось теперь случайностью. Искусство стройки городовъ нашло себѣ реформатора въ лицѣ Гипподама изъ Милета, оригинальнаго человѣка, проявляющаго и внѣшне свою оригинальность въ одеждѣ и прическѣ. Система прямыхъ улицъ пересѣкающихся подъ прямыми углами, предлагавшаяся этимъ новаторомъ, символизируетъ все утверждающееся стремленіе къ рациональному урегулированію всѣхъ отношеній.

3. Въ эту безпокойную эпоху, жадную къ новизнѣ, само собой возникали вопросы: откуда происходитъ право, нравственность законъ? на чемъ основывается ихъ обязательность? И далѣе каковы тѣ высшія мѣрила, которыми руководится повсюду проснувшееся стремленіе къ реформированію? Этотъ вопросъ: откуда, приводитъ къ мысли о началѣ человѣческаго рода. Народныя сказанія и дидактическая поэзія давно уже разрисовывали блестящими красками блаженства золотого вѣка. Гезіодъ является для насъ самымъ древнимъ представителемъ этихъ вѣрованій далекаго прошлаго. Они вполне согласуются съ пессимистическимъ теченіемъ, свойственнымъ ему и окружающей его средѣ. Именно отъ труда и заботъ повседневной жизни уходила мысль грековъ, какъ и другихъ народовъ, въ радостныя обители заоблачнаго блаженства или блаженной старины (сравни. стр. 74—75). Въ глазахъ критическаго вѣка, гордаго своими культурными успѣхами и ожидающаго дальнѣйшаго безпредѣльнаго прогресса, образъ доисторическаго времени рисуется иначе. Кто считаетъ себя выше прошлаго, кто гордится собственнымъ просвѣщеніемъ, тотъ мало склоненъ искать свой идеаль въ сумеречной дали времени, тотъ не станетъ восторженно заглядывать впередъ или тоскливо взирать назадъ. Съ такимъ настроеніемъ связаны часто правильныя взгляды. На зарѣ исторіи культура отсутствуетъ,—таково теперь общее мнѣніе, оно становится само собой понятнымъ общимъ мѣстомъ. Человѣчскій родъ медленно и постепенно, изъ грубаго звѣроподобнаго состоянія, поднялся до первыхъ, а затѣмъ и до дальнѣйшихъ, ступеней

нравственности. Медленно и постепенно,—такъ выражается научная мысль, которая уже не вѣрять въ чудесное и сверхестественное вмѣшательство; она выражается такъ, потому что изъ естествознанія она узнала, какимъ образомъ незначительныя измѣненія суммируются въ крупный результатъ. Мы можемъ напомнить то, что мы говорили о зачаткахъ теоріи происхожденія видовъ у Анаксимандра (стр. 49), объ антикатастрофической геологіи Ксенофана, и о идущемъ объ руку съ ней, можно сказать, тоже антикатастрофическомъ воззрѣніи на развитіе культуры, которое мы встрѣтили у того же мыслителя (стр. 141). Въ такомъ же родѣ разсужденія встрѣчаемъ мы у писателя врача, когда, по поводу искусства изготовленія пищи, онъ говоритъ объ отличіи современнаго человѣка отъ его грубыхъ предковъ и далѣе отъ животнаго міра (стр. 257/8).

Изъ обитателей пещеръ, которые совершенно не знали употребленія плуга и всякихъ другихъ желѣзныхъ орудій, грубость которыхъ доходила до каннибализма, произошли культурные люди, воздѣлывающіе хлѣба и виноградъ, возводящіе постройки и укрѣпленные города и въ концѣ концовъ воздающіе почестъ погребенія умершимъ. Такъ обрисовываетъ начало культуры поэтъ трагикъ Мосхіонъ въ четвертомъ столѣтіи до Рождества Христова. Онъ не рѣшаетъ вопроса, была ли нравственность подаркомъ расположеннаго къ людямъ титана Прометея, явилась ли она результатомъ потребности или „долгаго упражненія“ и „постепенной привычки, въ которой сама „природа“ играла роль „наставницы“. Подобныя мысли являлись уже у выдающихся умовъ пятого вѣка; мы находимъ ихъ во вступительныхъ стихахъ трагедіи „Сизифъ“ (сочиненіе афинскаго государственнаго дѣятеля Критія) и въ заглавіи потерянной книги Протагора изъ Абдеры „О первобытномъ состояніи“ человѣческаго рода, на которую намекаетъ Мосхіонъ въ словахъ: „вамъ раскрыто первобытное состояніе человѣчества“. Представленіе Мосхіона о прогрессѣ культуры можно назвать органическимъ. Ибо, хотя онъ мимоходомъ и касается преданія о Прометейѣ, но центральное мѣсто его изложенія занимаютъ вліянія, оказываемыя природой, потребностью, привычкой и, прежде всего, „временемъ, которое все рождаетъ и все питаетъ“. Здѣсь преобладаетъ идея развитія, плодомъ котораго является общественное устройство, совершенно такъ же, какъ у Критія „звѣздное сіяніе неба“ считается „прекраснымъ созданіемъ мудраго художника“, именно „времени“.

Немного инымъ было рѣшеніе этой проблемы у Протагора. Въ противоположность органическому взгляду представленіе послѣдняго можно назвать механистическимъ (въ нашемъ смыслѣ слова) или интеллектуалистическимъ. Мѣсто природы, произвольнаго, бессознательнаго и привычки заступаетъ намѣреніе, изобрѣтеніе, соображеніе. Такое приблизительно представленіе можемъ мы составить по Платоновской передачѣ, которая не лишена нѣкоторой каррикатурности, но именно потому указываетъ на черты оригинала. Первобытные люди, говорится тамъ, не могли побѣдоносно противостоятъ дикимъ звѣрямъ, ибо они не обладали еще „искусствомъ государственнаго управленія, часть котораго составляетъ военное искусство“. Они несправедливо относились другъ къ другу по той же причинѣ, ибо не знали искусства государственной жизни. Похищеніе огня, которое мнѣ приписываетъ Прометей, получаетъ новое толкованіе; Прометей якобы похитилъ „мудрость искусства“ изъ покоя, въ которомъ Аѳина и Гефестъ предавались своему ремеслу. Если онъ затѣмъ похитилъ также огонь и подарилъ его людямъ, то только потому, что мудрость искусства безъ этой вспомогательной стихіи мало бы помогла имъ. И такъ какъ Зевсъ шлетъ на землю „право и стыдъ“, то Гермесъ посредникъ этого дара подымаетъ вопросъ, долженъ ли онъ равномѣрно распредѣлить эти драгоценныя дары между всѣми людьми или раздѣлить ихъ между ними приблизительно такъ, какъ распредѣлено между ними искусство, а именно такъ, что „мастеръ (специалистъ) стоитъ многихъ простыхъ людей“. И благодаря „искусству“ люди начали произносить членораздѣльные звуки и создавать языкъ. Съ помощью „искусства“, „мудрости“ и „добродѣтели“ (эти слова очевидно намѣренно употреблялись какъ равнозначущія) строить они дома, управляютъ государствомъ, исполняютъ завѣты морали. „Искусство“ и его исполнители, „мастера“—два слова указывающія больше на ремесло, чѣмъ на искусство въ современномъ смыслѣ—на одной сторонѣ, „природа и случай“ на другой, образуютъ постоянную противоположность. Черезъ всю Платоновскую каррикатуру пробивается жизнепониманіе, которое мы уже готовы встрѣтить въ этомъ вѣкѣ: чрезмѣрно повышенная оцѣнка разсудка, рефлексіи, изучаемаго и подчиненнаго правиламъ, съ оттѣнкомъ учительства и педантизма. Этотъ взглядъ на жизнь вполне подходитъ къ юношеской порѣ пробуждающейся науки о духѣ. Мы встрѣтимся въ этой эпохѣ съ нимъ еще не

(1632—1704) встрѣчаемся съ тезисомъ о томъ, что государственная жизнь возникла по добровольному соглашенію и свободному выбору правителей и формъ управленія; онъ защищаетъ этотъ взглядъ вполне серьезно, и безуспѣшно пытается подогнать историческіе и этнографическіе факты въ рамки этой ложной теоріи. Правда у противниковъ его, теоретиковъ абсолютизма, мы встрѣчаемъ еще болѣе странные взгляды. Они стоятъ на почвѣ еще болѣе нелѣпой фикціи, чѣмъ теорія Локка. Адамъ, по мнѣнію этихъ сторонниковъ божескаго происхожденія королевской власти, получилъ отъ создателя совокупность всѣхъ властей и передалъ ихъ отъ себя всѣмъ монархамъ земли. И вопросъ получаетъ такую постановку, какъ будто только и есть выборъ между этими двумя исторически ложными и бессмысленными теоріями, да вдобавокъ одна изъ нихъ необходимо должна стать опорой въ вопросѣ современнаго права. Правда, порою у Локка сквозитъ правильная мысль, что „заключеніе отъ того, что было, къ тому, что должно быть по праву, имѣетъ мало силы“. Это соображеніе не мѣшаетъ ему однако посвящать сотни страницъ разбору вопроса о политической свободѣ въ томъ смыслѣ, какъ будто дѣло свободы находится въ тѣсной зависимости отъ его псевдоисторической теоріи. Не иначе обстояло дѣло въ эпоху, стоящую у порога современнаго міросозерцанія, въ началѣ четырнадцатаго столѣтія. Когда Марсилій изъ Падуи (род. 1270 г.), старшій современникъ Петрарки и другъ смѣлаго мыслителя, минорита Вильгельма Оккама, защищалъ въ своемъ посвященномъ Людовику Баварскому сочиненіи „Защитникъ свободы“ ученіе объ общественномъ договорѣ, то онъ былъ преисполненъ убѣжденіемъ, что только признаніе суверенитета народа и псевдо-историческаго основанія его способно создать почву, на которой возможна съ нѣкоторой надеждой на успѣхъ борьба противъ іерархическихъ притязаній и за преобладаніе сословно или демократически ограниченной монархіи. Прямо противоположная тенденція, желаніе подчинить свѣтскую государственную власть церковному авторитету, приводила къ аналогичнымъ результатамъ въ началѣ среднихъ вѣковъ. Она поддерживаетъ распространенное мнѣніе, что государство возникло изъ состоянія смуты, послѣдовавшей за грѣхопадениемъ, что своимъ происхожденіемъ оно обязано не божественному установленію, а нуждѣ и общественному договору, какъ средству борьбы со смутю.

Мнѣніе, согласно которому свободная волевая дѣятельность въ сферѣ государства позволительна современникамъ только въ томъ

случаѣ, если ихъ предки въ отдаленномъ прошломъ ею пользовались, кажется намъ столь же страннымъ, какъ если бы кто нибудь заявилъ намъ: вы тогда лишь имѣете право ходить на двухъ ногахъ, если, будучи младенцемъ, вы не ползали на четверинкахъ. Мы видѣли, какъ эти мысли, имѣющія источникомъ чрезмѣрную оцѣнку позитивнаго права, возникали въ новое время. У Руссо, этого предтечи французской революціи, эта тенденція достигла своего апогея. Это общеизвѣстно. Эта опора теоріи общественнаго договора была чужда древности, но не сама теорія. Мы уже указали на психологическіе корни ея. Теорія эта есть вполне простодушный, лишенный всякой тенденціи и ошибочный благодаря отсутствію историческаго пониманія, отвѣтъ на вопросъ: „Какимъ образомъ наши предки рѣшились отказаться отъ ихъ мнимой индивидуальной самостоятельности и согласиться на ограниченія налагаемыя государственнымъ союзомъ?“—Отвѣтъ гласитъ: „Они согласились на этотъ ущербъ ради бѣльшей выгоды; они отказались въ извѣстной мѣрѣ отъ свободы, чтобы имѣть защиту отъ нарушеній свободы другими, для защиты жизни и собственности своей и своихъ близкихъ“. Это все проявленіе той же ложной умственной тенденціи. Что выполняетъ какую нибудь цѣль, то должно являться результатомъ извѣстнаго устройства намѣренно приспособленнаго къ этой цѣли. Уже Платонъ знакомъ съ этимъ ученіемъ; онъ слѣдующимъ образомъ излагаетъ его въ началѣ своей книги „Государство“. „Такъ какъ люди причиняютъ другъ другу и терпятъ другъ отъ друга несправедливость, то тѣмъ, которые не хотятъ перваго и желаютъ избѣжать втораго, представляется полезнымъ вступить въ извѣстное соглашеніе...“ Такимъ образомъ люди стали составлять законы и заключать договоры; предписываемое законами они называли правомѣрнымъ, закономѣрнымъ; таково происхожденіе справедливости и въ этомъ заключается ея сущность. Эпикуръ присвоилъ себѣ эту теорію и такъ какъ онъ многимъ обязанъ Демокриту, то легко предположить, что онъ и въ данномъ случаѣ идетъ по слѣдамъ своего великаго предшественника. Однако въ настоящее время это предположеніе не можетъ считаться достовѣрнымъ и остается лишь въ предѣлахъ вѣроятности.

5. Правда въ другомъ вопросѣ мысль Демокрита двигалась въ такомъ же направленіи. Мы говоримъ о происхожденіи языка. Въ этомъ вопросѣ въ древности боролись два противополо-

ложных мнѣнiя. Споръ этотъ представляетъ поразительный примѣръ того, что Милль называлъ „обмѣномъ полу-истинъ“. Одни утверждали естественное происхожденiе языка, другiе— условное. Первая теорiя заключала въ себѣ два очень разныхъ утвержденiя. Языкъ возникъ не въ силу намѣренно-сознательной людской дѣятельности, а явился результатомъ самопроизвольно-инстинктивнаго позыва, и первоначальную естественную связь между звукомъ и его значенiемъ можно еще теперь обнаружить въ различныхъ образованiяхъ современнаго языка (въ греческихъ словахъ). Насколько правильно по убѣжденiю современныхъ изслѣдователей первое изъ этихъ утверждений, настолько же ложно второе. Стоитъ только подумать, какъ трудно намъ указать съ полной несомнѣнностью на дѣйствительно первичную словесную форму. Даже въ корняхъ первоначальнаго индогерманскаго языка, раскрытыхъ путемъ сравнительнаго анализа, намъ не удается съ полной увѣренностью открыть дѣйствительно начальныя словесныя образованiя, лишеныя предшествующей эволюцiи. А насколько благоприятѣе въ этомъ смыслѣ наше положенiе въ сравненiи съ положенiемъ тѣхъ греческихъ изслѣдователей, которые знали почти одинъ только языкъ и у которыхъ не было материала для сравненiя и для болѣе подробнаго анализа. По отношенiю къ проблемѣ возникновенiя языка, которая еще и теперь не можетъ считаться окончательно разрѣшенной, древнiе были не менѣе беспомощны, чѣмъ въ вопросѣ о происхожденiи органическихъ существъ. Здѣсь, какъ и тамъ, легко поддавались искушенiю принимать наиболѣе сложное за простое, конечный членъ длиннаго эволюцiоннаго ряда за первоначальное. Въ результатѣ получалась спутанная игра съ совершенно произвольной этимологiей. Къ полной неспособности осилить фактическiя трудности присоединялся могучiй субъективный факторъ ошибки, власть привычной ассоциаци слова и его значенiя. Невольно припоминается тотъ французъ, который считалъ свой языкъ наиболѣе естественнымъ, ибо по нѣмецки rain обозначалось словомъ Brot, а по французски pain, какъ оно и есть. И даже тамъ, гдѣ прибѣгали къ болѣе рациональному трактованiю предмета, гдѣ съ большей надеждой на успѣхъ пытались обращать вниманiе не на слова, а на впечатлѣнiя ими производимыя, впадали въ новыя ошибки и не достигали ни малѣйшаго, сколько нибудь вѣрнаго результата. Съ этимологами, спекуляци которыхъ Платонъ поноситъ въ своемъ диалогѣ „Кратилъ“, даже тамъ, гдѣ попытки ихъ имѣютъ хоть

нѣкоторую видимость вѣроятія, происходитъ то же самое, что съ тѣми неспеціалистами въ нашей средѣ, которые, напр., въ глаголѣ „rollen (катить, гремѣть)“ видятъ созвучіе съ звуковымъ ощущеніемъ, производимымъ громомъ или ѣдущей телѣгой. Они не знаютъ, что это слово происходитъ отъ позднѣйшаго латинскаго „rotula“, уменьшительнаго отъ „rota“ (колесо), что „rota“ и нѣмецкое „Rad“ одного корня съ „rasch“ и что поэтому созвучіе это чистая случайность. Самымъ раннимъ представителемъ этого ученія, являющаго такую странную смѣсь истины съ ложью былъ Гераклитъ. Однако повидимому правильнѣе сказать, что онъ молчаливо предположилъ эту теорію, чѣмъ возвѣстилъ или подкрѣпилъ ее. Безъ сомнѣнія въ созвучіи словъ онъ видитъ указанія на внутреннее сродство соответствующихъ имъ понятій, какъ это доказываютъ нѣкоторые приводимые имъ примѣры (сравни стр. 58). Онъ и въ языкѣ находитъ подтвержденіе своего ученія о противоположностяхъ; однимъ и тѣмъ же словомъ (bios и biós) обозначаются въ одномъ случаѣ жизнь въ другомъ орудіе смерти, именно лукъ. Сомнительно, чтобы онъ изслѣдовалъ вопросъ о возникновеніи языка и излагалъ свой взглядъ. Но такъ какъ для него всѣ человѣческія дѣянія были отображеніемъ и истеченіемъ божественнаго бытія, то ему была чужда мысль видѣть въ звуковыхъ воплощеніяхъ душевныхъ процессовъ исключительно искусственное и какъ бы дѣланное. Это предположеніе должно было оттолкнуть его, еслибы, что мало вѣроятно, оно уже имѣло въ его время своего представителя.

Основателемъ, или, по крайней мѣрѣ, древнѣйшимъ представителемъ второй, противоположной теоріи называютъ Демокрита. Мы познакомимся прежде всего въ краткихъ чертахъ съ тѣми аргументами, которые онъ выставляетъ противъ естественной теоріи языка. Мудрый философъ указалъ на „многозначность“ иныхъ словъ и на противоположность этого, на многоименность (синонимы) многихъ вещей. Онъ припомнилъ затѣмъ случаи перехода названій и наконецъ „безъимянность“ нѣкоторыхъ вещей или понятій. Понятно, что онъ хочетъ доказать двумя первыми указаніями. Если предположеніе, что между обозначеніемъ и обозначаемымъ предметомъ существуетъ необходимое внутреннее отношеніе, то не можетъ быть случаевъ (какъ напр. у насъ замокъ или ключъ), при которыхъ одинъ и тотъ же комплексъ звуковъ обозначаетъ различныя вещи. Такъ же противорѣчитъ этому предположенію случай, когда одинъ предметъ получаетъ два названія

вродѣ „комната“ и „покой“, „лошадь“ и „конь“. Третій аргументъ представляетъ собою разновидность перваго. Ибо нѣтъ большой разницы въ томъ, обладаетъ ли предметъ одновременно нѣсколькими названіями, или у него послѣдовательно будутъ смѣняться названія, какъ напр. нѣмецкое слово „apfelsine“ (апельсинъ) вытѣснило въ началѣ восемнадцатаго столѣтія укоренившееся до этого въ сѣверной Германіи слово „Orange“ или „Pomeranze“, или какъ французское слово „Champagne“ (шампанское) уступило новому модному слову „Sect“ (сектъ). Но четвертый аргументъ повидимому выходитъ изъ рамокъ этой аргументаціи. Ибо то обстоятельство, что извѣстныя вещи или понятія лишены обозначенія, врядъ ли можетъ быть доказательствомъ отсутствія внутренней связи между вещью и ея названіемъ. Намъ кажется, что мысль Демокрита имѣла въ виду нѣчто болѣе общее. Повидимому, онъ разсуждалъ такъ: если языкъ есть божественный даръ или созданіе природы, то въ его образованіяхъ мы должны были бы найти болѣе высокую степень цѣлесообразности, чѣмъ оказывается въ дѣйствительности. Въ одномъ случаѣ недостатокъ, въ другомъ излишекъ, тамъ непостоянство и, въ концѣ концовъ, полное отсутствіе средства для цѣли, — такую картину представляютъ часто несовершенныя произведенія человѣческаго изобрѣтенія, но не созданія, приписываемыя нами дѣятельности природы или заботѣ божественнаго существа. Въ переводѣ на современный языкъ эту мысль Демокрита, какъ мы ее понимаемъ, можно кратко выразить такъ: языкъ не есть организмъ, ибо организмы обнаруживаютъ гораздо большую степень совершенства, чѣмъ какая существуетъ въ языкѣ. Это долженъ былъ допустить и нашъ философъ не настроенный телеологически.

Эта мѣткая критика естественной теоріи языка опровергаетъ правда эту теорію въ ея наиболѣе грубой и несовершенной формѣ. Демокритъ доказалъ, что люди не принуждаются въ силу непреодолимаго инстинкта называть вещи существующими въ данный моментъ, а не другими словами; для этого правда было достаточно указанія на одновременное существованіе различныхъ языковъ. Но главный грѣхъ этой теоріи, смѣшеніе первоначальнаго съ постепенно возникшимъ, незнаніе всего того, что мы называемъ ростомъ и развитіемъ языка, падаетъ въ той же мѣрѣ и на ученіе Демокрита. Чтобы избѣжать затрудненій, связанныхъ съ этой теоріей, онъ принужденъ сдѣлать предположеніе, связанное съ неменьшими трудностями. Происхожденіе языка вполне

условно. Первобытные люди согласились якобы принять тѣ или иные названія, чтобы не быть лишенными этого важнаго средства общенія. Но какъ могли они — возражали древніе критики и прежде другихъ Эпикуръ—согласиться на извѣстныхъ названійхъ, если они были лишены средствъ общенія, именно языка? Должны ли мы (вопрошаетъ авторъ-эпикурецъ въ написанной на камнѣ книгѣ, съ которою мы познакомились нѣсколько лѣтъ тому назадъ) представлять себѣ этого „распредѣлителя названій“ въ родѣ „школьнаго учителя“, который, показывая своимъ питомцамъ камень или цвѣтокъ, сообщаетъ имъ соотвѣтствующее названіе? Что заставляетъ наставляемыхъ придерживаться этихъ названій? Какъ могутъ они въ неискаженномъ видѣ передаться дальнему потомству? Или мы должны предположить, что это чудесное поученіе было сообщено одновременно большой массѣ людей? Было ли оно сообщено письменно? но письменность не могла предшествовать языку. Или это произошло такимъ образомъ, что разсѣянные массы людей въ эпоху, когда не было никакихъ средствъ сообщенія, оказались въ одномъ мѣстѣ? Мы не знаемъ, насколько изложеніе Демокрита заслуживаетъ въ дѣйствительности такъ обильно изливаемыхъ на него насмѣшекъ. Возможно, что онъ воздержался отъ подробной разработки главной мысли и удовольствовался тѣмъ, что противопоставилъ теорію условности, какъ единственно возможное рѣшеніе проблемы, естественной теоріи, которая существовала до него и которую онъ былъ принужденъ отвергнуть. На долю Эпикура выпало освѣтить мракъ, сгустившійся надъ этимъ вопросомъ и разрѣшить проблему принятіемъ какъ естественнаго, такъ и условнаго элемента въ языкѣ, насколько это было возможно при тѣхъ несовершенныхъ средствахъ, которыми располагала древность. Если не раньше, то по крайней въ этомъ пунктѣ нашего изложенія, полезно ближе подойти къ проблемѣ и дополнить правильную въ основѣ попытку Эпикура тѣмъ, что дало намъ съ того времени сравнительное изученіе языковъ.

Одинъ лишь примѣръ, чтобы ясно представить себѣ понятіе естественнаго и условнаго элемента въ языкѣ. Первоначальный индогерманскій языкъ обладалъ корнемъ *nu*, который означалъ „очищать“. Мы предполагаемъ, что очень вѣроятно, что это дѣйствительно первоначальный корень, не выведенный, и позволимъ себѣ построить гипотезу о томъ, какъ этотъ маленькій комплексъ звуковъ приобрѣлъ данное основное значеніе. Когда мы ртомъ,

этимъ органомъ языка, хотимъ очистить какой нибудь предметъ, то сдуваемъ частицы пыли, песку, покрывающіе его поверхность. Если мы это производимъ энергично, сжимая при этомъ вытянутыя губы, то мы издаемъ звукъ п, пф, или пу. Такъ могло по крайней мѣрѣ это послѣднее словесное образованіе получить свое первоначальное значеніе. Въ данномъ случаѣ, какъ безъ сомнѣнія и въ безчисленныхъ другихъ случаяхъ, опредѣленное положеніе и движеніе частей рта образуетъ связь между звукомъ и значеніемъ. По нашему мнѣнію именно эти подражательныя движенія служили главнымъ распространеннымъ источникомъ словесныхъ формъ, гораздо болѣе, чѣмъ подражаніе не произведенныхъ, а лишь воспринятыхъ звуковъ, какъ въ словѣ „кукушка“ или въ нѣмецкомъ глаголѣ „ripsen“. Конечно объ этомъ можно быть различнаго мнѣнія. Во всякомъ случаѣ въ обоихъ указанныхъ случаяхъ мы имѣемъ дѣло съ вполне доступными нашему пониманію элементами языка, незатуманенными мистическимъ налетомъ. Но если мы посмотримъ на разнообразныя производныя отъ этого начальнаго корня въ различныхъ индогерманскихъ языкахъ, то попадаемъ уже въ сферу произвола и выбора. Ибо рядомъ съ обозначеніемъ акта очищенія выступаютъ многія другія, которыя хотя указываютъ на тотъ же актъ, но съ различными другими оттѣнками. Тутъ не можетъ быть уже рѣчи о томъ, что римлянинъ былъ принужденъ пользоваться прилагательнымъ „rigus“, происходящимъ отъ этого корня, или что римляне и греки необходимо должны были создать слово роена и роинѣ (наказаніе). Можно указать лишь на то, что нѣкоторые случаи примѣненія этихъ словъ въ особенности въ связи съ понятіями души, ума и настроенія мысли (*mens pura*, *pureté d'ame*, *purity of mind* и т. п.) соотвѣтствуютъ начальному корню и сохраняютъ отдаленную связь съ первоначальнымъ значеніемъ. И для обозначенія наказанія, какъ религіознаго искупленія или очищенія, производное отъ этого корня оказалось болѣе соотвѣтствующимъ, чѣмъ выводное отъ корней, которые обозначаютъ тотъ же актъ, но съ оттѣнкомъ болѣе грубаго примѣненія силы (какъ стирать, обдирать, мыть). Здѣсь не можетъ быть рѣчи о принудительной необходимости, тутъ играетъ роль лишь тенденція, которая можетъ быть и преодолѣна случайностью, и оказаться побѣдительницею. Углубляясь въ исторію языка и слѣдя за его развитіемъ до настоящаго времени, мы обнаруживаемъ все большее вліяніе перекрестныхъ случайностей въ теченіе длиннаго истори-

ческаго процесса, все болѣе испаряется сила присущей естественному элементу первоначальной тенденціи, чтобы уступить мѣсто произволу говорящаго или пишущаго. Ибо слово однажды присвоенное извѣстному понятію устами народа или писателемъ, пользующимся авторитетомъ, уже сохраняетъ впредь данное значеніе. Такимъ образомъ слова становятся мало по малу голыми знаками общенія, стертыми монетами, первоначальный отпечатокъ которыхъ удается иногда раскрыть и возстановить только геніальной способности выдающихся знатоковъ или художниковъ языка. Въ иныхъ случаяхъ отъ высохшихъ цвѣтковъ мысли еще вѣтъ нѣкогда бывшимъ ароматомъ и благодаря этому указывается путь дальнѣйшаго примѣненія и для менѣе тонкаго народнаго чутья. Если одно изъ новыхъ зубныхъ средствъ названо Puritas, то это произволь изобрѣтателя. Но во французскомъ reine (напр. à reine), въ нѣмецкомъ Rein, нѣтъ больше слѣдовъ первоначальнаго значенія. Названіе „пуританцевъ“ было дано представителямъ этой партіи на томъ основаніи, что они хотѣли возстановить церковныя учрежденія въ первоначальной формѣ, очищенной отъ позднѣйшихъ наслоеній. Оттѣнокъ значенія первоначальнаго корня врядъ ли оказалъ въ данномъ случаѣ какое нибудь вліяніе; но отдаленное бессознательное вліяніе его сказалось въ томъ, что однажды созданное названіе было вскорѣ перенесено въ нравственную область, а именно, стали говорить о моральномъ пуританизмѣ и т. п.

Приведенный Демокритомъ аргументъ о многихъ значеніяхъ нѣкоторыхъ словъ не всегда примѣнимъ даже и въ тѣхъ случаяхъ когда дѣло идетъ о звуковомъ тождествѣ первоначальныхъ (не производныхъ) словесныхъ образованій. Въ этомъ убѣждаетъ насъ приведенный примѣръ. Когда мы сдуваемъ что нибудь, то мы производимъ это не всегда съ цѣлью очистить предметъ; мы желаемъ иногда при этомъ удалить отъ себя нѣчто гадкое или отвратительное (иногда мы дѣйствуемъ инстинктивно и съ успѣхомъ). Поэтому, какъ увѣряетъ Дарвинъ, у многихъ народовъ это выраженіе сдѣлалось символомъ отвращенія; по той же причинѣ и звукъ произносимый при этомъ, какъ у насъ „пфуй“ или „poo“ у англичанъ и у обитателей Австраліи, сталъ словеснымъ выраженіемъ того же чувства. Отъ того же корня произошли греческія и латинскія слова, обозначающія дурной запахъ, гніеніе, гной. Въ новѣйшее время въ англійскомъ языкѣ это слово употребляется уже въ глагольной формѣ и потому англичанинъ, желая выразить

сомнѣніе въ чистотѣ намѣреній кого нибудь, можетъ употребить оба первоначальныхъ значенія этого корня въ одной фразѣ: „I pooh-pooh the purity of your intentions“.

6. Какъ ни значительно представляется намъ начало этого большого спора о происхожденіи языка, но еще важнѣе то противорѣчіе, которое выступаетъ въ немъ между „природой“ и „установленіемъ“. Антитеза эта намъ уже извѣстна. Мы встрѣтились съ нею въ лейкипо-демокритовомъ ученіи о чувственномъ воспріятіи. Тамъ понятіе установленія считалось типомъ измѣнчиваго, субъективнаго и относительнаго, которое противопоставлялось неизмѣнному постоянству объективнаго міра. Но собственно очагомъ возникновенія этой антитезы была не область чувственного воспріятія и не область языка, но сфера государственныхъ и общественныхъ явленій. Какъ на перваго литературнаго представителя этого фундаментальнаго различія указываютъ на Архелая, ученика Анаксагора. Однако объ этой сторонѣ его дѣятельности достовѣрно извѣстно намъ лишь то, что онъ говорилъ „о прекрасномъ, справедливомъ и о законахъ“ въ смыслѣ указанного различія и въ связи съ этимъ объ „отличіи“ людей отъ остальныхъ живыхъ существъ, а также о началѣ общественнаго союза. Указанная противоположность чужда всѣмъ тѣмъ эпохамъ, въ которыя критическій духъ не достигъ еще значительной ступени развитія. Повсюду, гдѣ безраздѣльно господствуютъ авторитетъ и традиціи, существующія нормы считаются естественными, или, правильнѣе, ихъ отношеніе къ природѣ не вызываетъ вопроса, о немъ даже не упоминаютъ. Магометаянъ, для котораго откровеніе Аллаха, какъ оно выражено въ Коранѣ, есть высшая инстанція, не допускающая спора по всѣмъ вопросамъ религіи, права, морали и политики, является представителемъ этой ступени мышленія, онъ какъ бы живое ископаемое въ современномъ мірѣ. Два ряда слѣдствій вытекаютъ изъ установленія и признанія этого очень важнаго различія. Съ одной стороны оно даетъ оружіе для рѣзкой нестѣсненной критики, которая обращается на все существующее; съ другой стороны оно даетъ новую мѣрку для реформы, которую тотчасъ начинаютъ предпринимать во всѣхъ областяхъ. Многозначность присущая слову „природа“ и раскрытая правда въ позднѣйшую эпоху древняго міра дѣлаетъ эту мѣрку крайне шаткой и невѣрной. Однако это обстоятельство только усиливаетъ

тенденцію пользоваться этимъ понятіемъ, такъ какъ подъ такую общую неопредѣленную формулу легко подвести все, къ чему стремятся. Такъ поэтъ Эврипидъ восклицаетъ: „это совершила природа, не знающая установленій“ (нормъ); онъ имѣетъ въ виду силу природнаго влеченія, которое не считается съ ограничивающими и стѣсняющими нормами. Говоря о незаконно-рожденномъ онъ восклицаетъ: „Его позоритъ слово, природа одинакова“; этимъ онъ хочетъ указать на фактическія свойства человѣка и на независимость ихъ отъ искусственныхъ социальныхъ различій. Приблизительно въ такомъ же смыслѣ высказывается риторъ Алкидамъ (въ четвертомъ столѣтіи) въ мессенской рѣчи: „Божество предоставило свободу всѣмъ, природа никого не сдѣлала рабомъ“. Ораторъ очевидно представляетъ себѣ первобытное состояніе, въ которомъ царитъ равенство; или онъ имѣетъ въ виду обусловленное послѣднимъ естественное право, требующее большаго признанія, чѣмъ всѣ человѣческія учрежденія.

Насъ интересуетъ прежде всего критическое или отрицательное примѣненіе этого новаго различія. Знакомство съ различными моральными и политическими укладами разныхъ племенъ, націй, эпохъ, обнаруживаетъ пестрое разнообразіе нравовъ и законовъ. Сопоставленіе рѣзкихъ контрастовъ стало однимъ изъ любимыхъ занятій. Отсюда возникъ спеціальнѣйшій родъ литературы, достигшій въ древнемъ мірѣ своей высшей точки въ сочиненіи сирійскаго гностика Бардезана „О судьбѣ“ (около 200 г. по Р. Х.) и нашедшій подражаніе въ эпоху энциклопедистовъ. Уже Герсдотъ любилъ заниматься подобными антитезами. Дарій—повѣствуешь онъ—обратился къ грекамъ, находившимся при его дворѣ, съ вопросомъ, за какую плату они согласились бы сѣсть трупы своихъ отцовъ. Они отвѣтили, что они не согласились бы на это ни за какую плату. Тогда персидскій король призвалъ представителей того индійскаго племени, у котораго именно господствовалъ ужасающій грековъ обычай, и спросилъ ихъ черезъ переводчика, за какую плату они согласились бы сжечь трупы своихъ отцовъ. Они громко закричали и просили короля не говорить о подобныхъ ужасахъ. Историкъ дѣлаетъ отсюда слѣдующее заключеніе: если бы всѣмъ людямъ предоставили выборъ самыхъ лучшихъ изъ всѣхъ гдѣ-либо существующихъ обычаевъ, то всякій народъ избралъ бы существующіе у него. Пиндаръ, говоритъ онъ въ заключеніе, правильно высказалъ: „Обычаи суть властители всѣхъ людей“. Эта же

мысль въ еще болѣе рѣзкой формѣ высказана въ отрывкѣ, который по всей вѣроятности нужно отнести къ той же эпохѣ: „Я думаю, что если предложить всѣмъ людямъ собрать обычаи, которые они считаютъ хорошими и благородными и затѣмъ выбрать изъ нихъ тѣ, которые признаются свѣрными и низкими, то въ концѣ концовъ ничего не останется и всѣ они окажутся распределенными между всѣми“. Болѣе наглядно и опредѣленно врядъ ли можно высказаться. Нѣтъ того обычая или установленія, какъ бы отвратительны и плохи они ни были, которые бы не пользовались высокимъ уваженіемъ хотя небольшой части людей. Остановимся на минуту на освобождающемъ влияніи этого релятивистскаго взгляда. Нигдѣ онъ не воплощенъ лучше, чѣмъ въ драмахъ Еврипида, этого великаго поэта, поборника просвѣщенія. Мы уже видѣли, какъ мало позорнаго онъ видѣлъ въ незаконномъ рожденіи. Столь же мало значенія онъ придаетъ позорному клейму на лбу раба. И здѣсь опять, по его мнѣнію, играетъ роль установленіе и названіе, а не сама природа. „Раба позорить только его названіе; во всемъ остальномъ благородный слуга нисколько не меньше, чѣмъ свободный человѣкъ“. Также думаетъ онъ и о различіи знатнаго и незнатнаго происхожденія. „Знатенъ для меня благородный; но кто не чтить право, будь Зевесъ его отцомъ, или еще высшій, тотъ для меня низкій“. Немногого не хватаетъ для уничтоженія граней національностей и возникновенія идеала всемірнаго гражданина, съ которымъ мы встрѣчаемся у киниковъ. Къ этому идеалу приближался Гиппій изъ Элиды, которому Платонъ влагаетъ въ уста слѣдующія слова: „Вы, присутствующіе здѣсь, я считаю васъ всѣхъ родственными мнѣ, братьями, согражданами по природѣ, не по установленіямъ. Ибо сходное родственно сходному по природѣ, установленія же, эти насильники людей, насилуютъ насъ часто вопреки природѣ“.

7. Если одни подъ словомъ „природа“ понимали социальный инстинктъ и дѣйствительное или мнимое равенство людей, то нашлись представители и противоположнаго взгляда. Такіе факты, какъ побѣда сильнаго надъ слабымъ, господство болѣе одареннаго надъ менѣе способными, не могли не обратить на себя вниманія, особенно въ обществѣ, основанномъ на завоеваніяхъ и на рабствѣ. Въ этихъ вещахъ нельзя было не видѣть проявленія самой природы. Нужно вспомнить лишь Гераклита и его восхваленіе войны, которую онъ называетъ „отцомъ и княземъ“ всѣхъ вещей, отдѣ-

лившимъ людей отъ боговъ и „свободныхъ отъ рабовъ“ (сравни стр. 65). Эфесскій мудрецъ первый понялъ огромное значеніе войны и насилія при основаніи государства и расчлененіи общества. Сходный взглядъ, правда менѣ категоричный и немного затуманенный національнымъ предрасудкомъ, мы найдемъ у Аристотеля, который пытается обосновать рабство на природѣ и оправдываетъ этотъ институтъ въ интересахъ самихъ рабовъ, какъ неспособныхъ къ самоопредѣленію; онъ выступаетъ противъ людей, видящихъ въ немъ только произвольное „установленіе“. Имѣло ли это направленіе литературныхъ представителей въ великую эпоху просвѣщенія, это неизвѣстно; скорѣе на этотъ вопросъ нужно отвѣтить отрицательно. По крайней мѣрѣ Платонъ, который не сочувствуетъ ему, выбираетъ адвокатомъ его среди современниковъ Сократа не писателя и не учителя молодежи, а ожесточеннаго врага ихъ, который хочетъ быть только практикомъ, неизвѣстнаго намъ Калликлеса. Въ уста послѣднему Платонъ въ своемъ діалогѣ „Горгій“ и влагаетъ страстную защиту правъ сильнѣйшаго. Калликлесъ указываетъ на господство сильнаго надъ слабымъ какъ на фактъ обусловленный самой природой, который онъ поэтому и обозначаетъ словомъ „законъ природы“. Законъ природы въ его устахъ скоро превращается въ „естественное право“ или „справедливое по природѣ“. Этотъ легко понятный переходъ отъ признанія какого нибудь факта природы къ одобренію поведенія ему соответствующаго вызывался въ значительной мѣрѣ тѣмъ, что существовала одна область, въ которой двѣ эти стороны почти совершенно совпадали. Мы говоримъ о международныхъ отношеніяхъ. Что могущественныя государства подчиняли себѣ и поглощали слабыя, это считалось и естественнымъ и законнымъ. Однако это объясненіе не исчерпывающее. Ибо Калликлесъ, который правда ссылается на право завоеванія и на примѣръ всего животнаго міра, отличается отъ Гераклита и отъ Аристотеля въ двухъ существенныхъ пунктахъ. Онъ хочетъ подчиненія не одной части людей, но всего человѣчества въ совокупности; его симпатіи, если не всецѣло, то въ большей степени обращены къ сильному, способному въ противоположность массѣ слабымъ и неспособнымъ. Онъ беретъ сторону гения силы, „сверхчеловѣка“, какъ сказали бы теперь, противъ толпы, которая хочетъ связать душу героя, свести его къ своему низкому уровню. Онъ заранѣе торжествуетъ при мысли, что послѣдній подобно

наполовину укрощенному льву развернется въ своей гордой мощи, „разорветъ свои оковы, отброситъ весь бумажный хламъ, всѣ вздорныя формулы и противоестественные законы, затопчетъ ихъ ногами и явится намъ согласно праву природы не какъ нашъ слуга, а какъ нашъ господинъ“. Въ этихъ словахъ чувствуется эстетическое любованіе необузданной силой мощной природы и сквозитъ то настроеніе, которое внушило современнымъ теоретикамъ абсолютизма формулу: „господство сильнѣйшихъ есть навѣки установленный Богомъ порядокъ“. Однако въ дальнѣйшемъ Платонъ заставляетъ Калликлеса защищать положеніе стоящее въ гораздо меньшемъ противорѣчьи съ духомъ народныхъ учреждений. Господствовать долженъ лучший, наиболѣе прозорливый, правда не безъ того (такъ какъ мы не живемъ въ идеальномъ мірѣ) чтобы онъ самъ не извлекалъ для себя изъ этого выгоды; иными словами наиболѣе способные должны имѣть наибольшее вліяніе въ государственной жизни, получая въ то же время высшую награду. Но въ теченіе разговора обликъ Калликлеса получаетъ новую окраску. Изъ представителя Карлейлевскаго культа героевъ, Галлерской теоріи государства и принципа строгой аристократіи онъ становится провозвѣстникомъ евангелія необузданной погони за наслажденіями. Что это направленіе не имѣло также въ ту эпоху защитниковъ, это явствуетъ изъ словъ Платона: „Ты говоришь то, что другіе хотя и думаютъ, но не рѣшаются высказать“. Мы можемъ смѣло утверждать, что поэтъ-философъ намѣренно смѣшалъ разныя внутренно чуждыя другъ другу доктрины, чтобы выставить первую въ неприглядномъ свѣтѣ. Тѣмъ болѣе подлиннымъ можемъ мы считать выпады противъ ига нивелирующаго господства большинства и плохого правленія толпы—вполнѣ понятный протестъ противъ тогдашняго государственнаго строя съ его свѣтлыми и темными сторонами, того строя, который принималъ разныя формы въ зависимости отъ темперамента и образа мысли участвующихъ въ управленіи лицъ. Одни склонялись къ культу героевъ, моделью которыхъ являлся тогда какой нибудь Алкивиадъ, другіе хотѣли возродить аристократическій или полуаристократическій строй; самъ Платонъ ненавидѣвшій демократію, проповѣдывалъ утопическое господство философовъ. Такимъ образомъ „природа“ и „естественное право“ стали опорой и лозунгомъ съ одной стороны проповѣди равенства доходившаго до космополитизма, съ другой стороны аристократизма и культа сильной личности. Обоиъ направленіямъ было въ равной

мѣръ свойственно желаніе разорвать узы, въ которыя власть обычая и авторитетъ преданія заключили души людей.

8. Возникаетъ два вопроса. Сколь велика была ограничительная власть авторитета? Что достигалось имъ? Ни на одинъ изъ этихъ вопросовъ нельзя дать даже приблизительно точнаго отвѣта. Одно вполнѣ ясно, что ни одна область вѣры и жизни не была защищена отъ нападокъ критики. Скептицизмъ эпохи не останавливался даже передъ вопросами о богахъ. Діагоръ изъ Мелоса, дионрамбическій поэтъ, отъ котораго сохранилось лишь нѣсколько стиховъ, проникнутыхъ однако религіозностью, ставъ жертвой несправедливости оставшейся безнаказанной, сдѣлался скептикомъ, не вѣрующимъ въ справедливость боговъ. Религіозныя сомнѣнія Протагора выражены въ гораздо болѣе умѣренной формѣ. Имъ, а также Продикомъ съ его религіозно-исторической теоріей, мы займемся позже. Престоль покинутый авторитетомъ былъ занятъ разсудочной рефлексіей. Всѣ вопросы человѣческаго поведенія становятся предметомъ обсуждения. Все выносится на судъ разума. Не только філософскіе писатели и риторы, но и поэты и историки поражаютъ насъ тонкостью своихъ аргументовъ. Драматическій діалогъ, въ которомъ уже у Софокла мы видимъ вліяніе новаго духа времени, у Еврипида становится діалектическимъ турниромъ. Самъ Геродотъ съ его старозавѣтными взглядами, разбирая великіе вопросы человѣческаго бытія, прибѣгаетъ къ діалектической тонкости. Проблема счастья поставлена имъ и Эврипидомъ и трактуется обоими съ одинаковой методичностью. Такъ первый въ разговорѣ Солона съ Крезомъ противопоставляетъ другъ другу два абстрактныхъ типа: богача, лишеннаго счастья въ остальномъ, и бѣдняка счастливаго во всѣхъ другихъ областяхъ жизни. Въ своемъ „Беллерофонѣ“ Еврипидъ представляетъ трехъ соперниковъ палмы счастья: низкорожденнаго, но богатаго, благороднаго, но бѣднаго и третьяго, равно лишеннаго обоихъ указанныхъ преимуществъ, которому при помощи парадоксальной аргументаціи и присуждается награда. Когда Геродотъ изображаетъ словесный турниръ трехъ благородныхъ персовъ о лучшей формѣ правленія, то, хотя онъ и влагаетъ въ уста защитника предпочитаемой имъ самимъ демократіи наиболѣе сильныя основанія, однако обнаруживаетъ и значительную діалектическую изощренность, надѣляя и поборниковъ монархіи и олигархіи также серьез-

ными аргументами. Особенно ревностно обсуждалась въ то время тема воспитанія. Наибольшій интересъ и самыя разнообразныя отвѣты возбуждали вопросы о томъ, что является наиболѣе значительнымъ факторомъ развитія, воспитаніе или естественныя задатки, теоретическое обученіе или практическія упражненія и привычка. Эврипидъ, доступный самымъ разнообразнымъ влияніямъ, одинъ разъ подчеркиваетъ возможность обученія „мужеской добродѣтели“ и необходимость ранняго пріученія ко всему хорошему, въ другой разъ онъ же устами одного изъ своихъ героевъ восклицаетъ. „Итакъ природа все, и напрасно воспитаніе стремится передѣлать дурное въ хорошее“. Сравненіе духовнаго воспитанія съ выращиваніемъ полевыхъ плодовъ становится общимъ мѣстомъ. Свойство земли сравниваютъ съ талантомъ, обученіе съ разбрасываніемъ сѣмянъ, прилежаніе учащагося съ постоянной обработкой поля и т. п. Въ этомъ образѣ, къ которому мы еще при случаѣ вернемся, мы наблюдаемъ уже сліяніе первоначально разобщенныхъ тезисовъ педагогики.

Въ эту же эпоху зародились и широкія реформистскія идеи. Фалей изъ Халкедона, во второй половинѣ пятаго столѣтія указывалъ на желательность уравниенія состояній и предлагалъ къ этому мѣры, правда касающіяся лишь недвижимыхъ имуществъ. Въ его реформистскую программу входитъ также производство ремесленныхъ работъ за счетъ государства при помощи государственныхъ рабовъ. Извѣстный уже нашимъ читателямъ Гипподамъ изъ Милета хотѣлъ измѣнить не только внѣшній видъ городовъ, но и ихъ внутренній укладъ. Они должны были состоять изъ трехъ сословій: ремесленниковъ, земледѣльцевъ и воиновъ; частную собственность должна была составлять только третья часть земли, вторая треть предоставлялась на нужды богослуженія, третья должна была служить для содержанія воиновъ; всѣ должностныя лица должны были избираться всею общиной насчитывающей 10000 членовъ. Эта любовь къ числу трехъ обнаруживается и въ дѣленіи уголовныхъ законовъ, три отдѣла которыхъ соотвѣтствуютъ тремъ категоріямъ преступленій: противъ жизни, противъ чести и противъ собственности. И дѣла управленія подраздѣляются на три группы: дѣла гражданъ, дѣла сиротъ и дѣла чужестранцевъ. Впервые въ этомъ проектѣ мы встрѣчаемся съ мыслью, что государство должно награждать авторовъ полезныхъ изобрѣтеній отличіями; впервые также предложено Гипподамомъ учрежденіе апелляціоннаго

суда и условное оправданіе обвиняемых ab instantia (за недостаткомъ уликъ). Новизну другого его предложенія, воспитывать дѣтей павшихъ на полѣ битвы на государственный счетъ, Аристотель оспариваетъ. Но конечно наиболѣе смѣлыми оказались ученики Сократа. Въ ихъ кругѣ сомнѣніе начало подтачивать основы тогдашняго и даже настоящаго общественнаго строя.

Но не считая даже этихъ крайнихъ выводовъ, сдѣланныхъ впервые Платономъ и киниками, все же указаннаго вполне достаточно, чтобы заставить насъ вспомнить радикализмъ французской революціонной эпохи. Однако мы замѣчаемъ и огромное различіе. Греческая просвѣтительная эпоха не даетъ серьезной попытки примѣнить теоріи къ практикѣ государственной и общественной жизни. Это можно иллюстрировать примѣромъ. „Богиня разума“ имѣла свой культъ въ Парижѣ, хотя и очень краткій. И Аѳины занимающей насъ эпохи знаютъ эту богиню, но только на комической сценѣ, въ пародіи Аристофана, гдѣ Эврипидъ молится слѣдующими словами: „Услышь меня, о разумъ, и вы органы обонянія“. Другія радикальныя доктрины того времени тоже не выходили за предѣлы книгъ и школъ. Отсюда было бы неправильно сдѣлать заключеніе о малой степени интенсивности древняго радикализма. Исторія школы киниковъ показываетъ намъ, что не было недостатка въ людяхъ, совершенно серьезно умѣвшихъ проводить въ жизнь свои убѣжденія въ рѣзкомъ противорѣчьи съ всеми обычаями. Косвенное же вліяніе философскаго радикализма на культурное развитіе слѣдующаго столѣтія было огромно. Если же философія, будучи вообще могучимъ ферментомъ духовной жизни, не сдѣлалась факторомъ непосредственно переходящимъ въ жизнь, то причину этого мы должны искать въ послѣдующихъ обстоятельствахъ. Экономическое положеніе массъ было въ то время вполне сносно, за исключеніемъ Спарты третьяго вѣка; насильственные столкновенія были не рѣдки, но они не отличались существенно отъ борьбы сословій предшествующихъ столѣтій; крайнее обостреніе ихъ въ теченіе целопонезской войны явилось результатомъ временной политической констелляціи; религія была достаточно пластична, чтобы примѣниться къ коренной перемѣнѣ міровозрѣнія; и наконецъ въ самомъ характерѣ Грековъ и въ особенности Аѳинянъ лежала нелюбовь къ внезапной перемѣнѣ и склонность къ ровному развитію. Таковъ предварительный отвѣтъ на поставленные выше вопросы. Прежде чѣмъ пойти дальше намъ нужно познако-

миться съ нѣкоторыми изъ главныхъ фигуръ великаго умственнаго движенія, съ риторамъ, учителями юношества, поэтами и историками.

Г Л А В А П Я Т А Я.

Софисты.

Какъ ни былъ богатъ пятый вѣкъ литературными произведеніями, однако его нельзя назвать вѣкомъ „бумагомаранія“. Грекъ все же предпочиталъ воспринимать духовную пищу слухомъ, а не зрѣніемъ. Мѣсто вымирающаго рапсода въ общественной жизни грековъ заступаетъ новый типъ. Подобно тому какъ раньше рапсодъ въ пурпурной одеждѣ говорилъ на торжественныхъ собраніяхъ героическіе стихи, такъ теперь выступалъ въ такой же одеждѣ въ Олимпіи и другихъ мѣстахъ „софистъ“ и держалъ торжественныя рѣчи имъ сочиненныя. Болѣе тѣсныя круги общества также внимали искусно разработаннымъ рѣчамъ по вопросамъ науки и жизни. Съ этимъ связана перемѣна происшедшая въ обученіи юношества передъ началомъ послѣдней трети этого вѣка. Скучныя элементарныя свѣдѣнія (чтеніе, письмо, счетъ) вмѣстѣ съ музыкой и гимнастикой составляли все образованіе юношества, къ которому потомъ присоединилось рисованіе. Все это уже неудовлетворяло повышеннымъ требованіямъ политической жизни и умственнымъ запросамъ. Для того образованія, которое даетъ наша средняя и высшая неспеціальная школа не было ни частныхъ, ни общественныхъ учреждений. Настало время когда оригинальные и талантливые люди пожелали самостоятельно заполнить этотъ пробѣлъ образованія. Появились странствующие учителя, путешествующіе изъ города въ городъ; они собирали вокругъ себя юношей и обучали ихъ. Въ этихъ урокахъ молодому человѣку преподавались элементы позитивныхъ наукъ, ученія натуръ-философовъ, излагались и объяснялись поэтическія творенія, правила только что появившейся грамматики, тонкости метафизики. Но центръ этого преподаванія составляла подготовка къ практической, въ особенности къ общественной жизни. Платонъ, говоря о первомъ изъ

этихъ странствующихъ учителей, о Протагорѣ изъ Абдеры, такъ поясняетъ задачу его наставленій: „освѣдомленность въ домашнихъ дѣлахъ, чтобы юноша сѣумѣлъ въ будущемъ хорошо обставить свою домашнюю жизнь,—и въ дѣлахъ гражданскихъ, чтобы онъ былъ способенъ управлять дѣлами города“. Однимъ словомъ центръ этого обученія составляли моральныя и политическія науки съ ихъ отраслями. Душою же практической политики было ораторское искусство, на высокое значеніе и культивированіе котораго мы уже указывали (сравн. стр. 329). Было вполне естественно, что люди, называвшіе себя „софистами“, т. е. учителями мудрости, не ограничивались обученіемъ юношества. Талантъ и знаніе, дававшіе имъ возможность заниматься преподаваніемъ, они употребляли и на ораторскую и литературную дѣятельность. По своему положенію они были лишены всякой поддержки государства и вполне предоставлены своимъ собственнымъ силамъ; чаще пребывая среди чужестранцевъ, чѣмъ среди своихъ согражданъ, они были принуждены выносить неудобства своего положенія и въ тяжелой борьбѣ пробивать себѣ дорогу. Все это заставляло ихъ безустанно заниматься разнообразной дѣятельностью. Въ современномъ мірѣ нѣтъ соответствующей параллели. Отличіемъ софиста по сравненію съ нашимъ профессоромъ является отсутствіе какъ поддержки, такъ и стѣсненія со стороны государства, а также отсутствіе всякой ограничивающей спеціальности. Какъ ученые они были по большей части универсалистами; въ качествѣ ораторовъ и писателей, они всегда были готовы къ борьбѣ, какъ наши журналисты и литераторы. Наполовину профессоръ, наполовину журналистъ,—такъ можетъ быть ближе всего можно опредѣлить софиста пятаго вѣка. Они пользовались и большей популярностью у толпы, и необыкновенно большимъ матеріальнымъ успѣхомъ; наиболѣе выдающіеся изъ нихъ, которыхъ, по словамъ Платона, носили на рукахъ, возбуждали необычайный энтузіазмъ греческой молодежи, очень воспримчивой къ красотѣ и къ образованію.

Появленіе нѣкоторыхъ изъ этихъ корифеевъ было событіемъ приводившимъ въ волненіе широкіе круги аѳинской молодежи. Вотъ какъ описываетъ это событіе Платонъ. Еще до восхода солнца входитъ благородный юноша въ домъ Сократа, въ его спальню и будитъ его словами: „Знаешь ли ты большую новость?“ Мудрецъ вскакиваетъ испуганно: „Кляцусь Зевсомъ, ты не приносишь дурного извѣстія?“—„Сохрани меня богъ! самую

лучшую. Онъ пришелъ“. — „Кто?“ — „Великій софистъ изъ Абдеры“. Молодой человекъ проситъ Сократа похлопотать за него у знаменитаго Протагора, чтобы послѣдній припялъ его въ число своихъ учениковъ. Лишь только разсвѣло, оба отправляются въ домъ богатаго Каллія, у котораго гоститъ абдерскій чужестранецъ. Все тамъ уже въ движеніи. Въ преддверіи ходитъ взадь и впередъ Протагоръ сопровождаемый тремя близкими друзьями съ каждой стороны (среди нихъ хозяинъ дома и два сына Перикла) и цѣлой толпой почитателей второго разряда. „Особенно восхищало меня“ — иронизируетъ платоновскій Сократъ — „какъ тщательно ученики слѣдили за тѣмъ, чтобы не опередить учителя и какъ, когда голова процессіи достигала стѣны, хвостъ раздвигался и снова сдвигался за чествуемымъ мужемъ и сопровождающими его“. Внутри дома въ разныхъ покояхъ сидятъ другіе софисты, каждый подобно красавицѣ окруженный сонмомъ почитателей. Сократъ въ простыхъ словахъ излагаетъ свою просьбу и искусникъ слова отвѣчаетъ ему длинной складной рѣчью въ торжественномъ разбѣренномъ тонѣ; между ними завязывается философскій споръ, а остальные, собравъ со всего дома скамьи и стулья, располагаются вокругъ и услаждаютъ свой слухъ и умъ; Протагоръ спрашиваетъ собраніе, долженъ ли онъ отвѣтить Сократу сжато или пространно, прибѣгая къ мнѣю или рѣчью; лишь только онъ начинаетъ говорить слушатели напряженно слѣдятъ за движеніями его губъ и лишь только онъ кончаетъ вырывается долго сдерживаемый гулъ одобренія. Все это неизгладимыми штрихами обрисовано Платономъ. Все изложеніе въ значительной степени каррикатурно, но и подъ каррикатурой можно легко узнать черты дѣйствительности.

2. Если теперь насъ спросятъ: что же общаго было въ дѣйствительности у различныхъ софистовъ? — мы отвѣтимъ: только ремесло учительства и условія его выполненія въ различныя времена. Что кромѣ этого объединяло ихъ, такъ это то же самое, что связывало ихъ со многими не-софистами, а именно участие въ умственныхъ теченіяхъ эпохи. Неправильно и нелѣпо говорить о софистическомъ складѣ ума, о софистической морали, о софистическомъ скептицизмѣ и т. п. Да и какъ же могло случиться, чтобы софисты, т. е. получающіе гонораръ учителя юношества, въ еракійской Абдерѣ и въ пелопоннесской Элидѣ, въ средней Греціи и въ Сициліи, оказались ближе другъ къ другу,

чѣмъ другіе представители тогдашней духовной жизни. Можно заранѣе предположить, что чествуемые учителя и писатели этой эпохи въ большинствѣ случаевъ примыкають къ прогрессивнымъ и побѣдоноснымъ, а не къ вымирающимъ направленіямъ. Такъ оно и есть въ дѣйствительности. Софисты, будучи въ крайней зависимости отъ своей публики, должны были стать органами если не господствующаго направленія, то по крайней мѣрѣ нарождающагося. Поэтому не совершенно лишено основанія мнѣніе, согласно которому на членовъ этого сословія въ общемъ нужно смотрѣть какъ на носителей просвѣщенія, хотя конечно не всѣ софисты были просвѣтителями, а тѣмъ менѣе всѣ просвѣтители софистами. Можетъ быть въ виду указанной выше зависимости софистовъ, большая ихъ часть держалась крайне умѣренно и ни одинъ изъ нихъ не доходилъ до того соціального и политическаго радикализма, который смѣло проповѣдывали Платонъ и циники.

Однако слова „софистъ“, „софистично“, „софистика“, имѣють свою исторію, которую полезно знать нашимъ читателямъ, чтобы не находиться во власти привычныхъ ассоціацій. Слово *sophistes* или софистъ происходитъ отъ прилагательнаго *sophos* (мудрый), и отъ глагола *sophisomai* (выдумывать, мудрствовать) и означаетъ всякаго, кто достигъ извѣстнаго совершенства въ какой нибудь области. Это названіе примѣняли и къ великимъ поэтамъ, и къ философамъ и музыкантамъ, и къ тѣмъ семи мудрецамъ, ставшимъ извѣстными своими глубокомысленными изреченіями. Довольно рано однако къ этому слову сталъ примѣшиваться оттънокъ неодобренія; вначалѣ конечно почти незамѣтный, иначе Протагоръ и его послѣдователи не приняли бы сами этого названія. Неодобреніе это имѣло разные источники. Прежде всего всякая попытка проникнуть въ тайны природы вызывала недовѣріе религіозно настроенныхъ людей. Философы-натуралисты казались подозрительными съ теологической точки зрѣнія и другія названія, вначалѣ вполне нейтральныя, какъ напр., „метеорологи“ (ислѣдователи неба), приобрѣли предосудительный оттънокъ. „Не вѣруютъ въ божественное“, „ислѣдуютъ) небо и поучають тому же другихъ“—эти двѣ вещи были связаны въ народномъ вотумѣ, предложенномъ Діопейтесомъ и направленномъ противъ Анаксагора. Что удивительнаго въ томъ, что пробуждающаяся спекуляція о проблемахъ познанія, нравственности и права навлекала на себя упрекъ въ излишнемъ мудрованіи? Къ этой боязни передъ дѣйствительною или мнимою

опасностью занятія науками присоединилось нерасположеніе къ новому классу людей занимающихся наукой. Міровоззрѣніе Грековъ всегда было аристократическимъ. Занятіе ремеслами пользовалось у нихъ еще меньшимъ уваженіемъ, чѣмъ у другихъ обладающихъ рабами націй. „Меньше всего презирали ремесленниковъ коринтяне, больше всего лакедемоняне“, говоритъ Геродотъ, подымающій вопросъ о томъ, не заимствовали ли эллины пренебреженіе къ ремесламъ отъ египтянъ. Въ Фивахъ существовалъ законъ, допускавшій избраніе на должности только лицъ, въ теченіе десяти лѣтъ не участвовавшихъ въ рыночной торговлѣ, и даже Платонъ и Аристотель находили нужнымъ лишать гражданскаго полноправія ремесленниковъ и торговцевъ. Очень небольшое число промысловъ, въ числѣ ихъ дѣятельность врача, пользовались общественнымъ уваженіемъ. Примѣненіе умственнаго труда въ пользу другого, который вознаграждалъ платою, считалось особенно унизительнымъ. Это было какъ бы добровольнымъ рабствомъ. Спеціальность составителя рѣчей или адвоката при самомъ возникновеніи своемъ подверглась насмѣшкѣ комедій, не меньшей чѣмъ софисты. Кто, подобно оратору Исократу, занимался нѣкоторое время этимъ дѣломъ, тотъ старался по возможности стереть воспоминаніе объ этомъ; когда тотъ же Исократъ припужденъ былъ открыть школу ораторскаго искусства, то при первомъ же полученіи гонорара онъ будто бы плакалъ отъ стыда. При этомъ невольно воспоминается то непріятное чувство, которое испытывалъ лордъ Байронъ и аристократы основатели журнала „Edinburg Review“, при полученіи своего перваго писательскаго гонорара. Третій источникъ нелюбви къ софистамъ шелъ отъ тѣхъ людей, которые безуспѣшно пытались устранить преподаваніе софистовъ и оказывались менѣе вооруженными въ общественныхъ дѣлахъ и въ частныхъ правовыхъ спорахъ сравнительно съ образованными противниками. Въ этомъ смыслѣ положеніе софистовъ въ торговыхъ Аѳинахъ довольно мѣтко сравнивали съ положеніемъ учителя фехтованія въ обществѣ, гдѣ поединокъ былъ установленнымъ институтомъ. Къ этимъ общимъ причинамъ присоединилось сознательное вліяніе могущественной личности обладавшей самымъ высокимъ писательскимъ дарованіемъ. Платонъ презиралъ все современное ему общество; самые крупные государственные дѣятели казались ему столь же малозначительными, какъ и поэты и другіе духовные вожди. Онъ опредѣленно стремился отграничить свое ученіе и

свою школу, въ которой онъ видѣлъ единственное спасеніе будущаго общества, отъ всего того, что можно было смѣшать съ ними; онъ какъ бы окружилъ свою школу ровомъ и окопомъ. Этотъ человѣкъ блестящаго таланта и аристократическаго происхожденія подвергался, очевидно, осужденію и преслѣдованію, и въ особенности со стороны своихъ близкихъ. Этимъ объясняется, что вмѣсто того, чтобы творить открыто, на виду, и участвовать въ общественной жизни, онъ предпочелъ „шепотомъ общаться съ нѣсколькими юношами“ въ стѣнахъ школы, копаться въ словахъ и расчленять понятія. Онъ страстно стремился къ возрожденію человѣчества, и рѣзко отрицательно относился ко всему, что направлялось на другія менѣе высокія цѣли. Мы укажемъ позже, какъ не безъ труда ему удалось сохранить для потомства образъ Сократа, выдѣливъ его изъ массы софистовъ, съ которыми современники совершенно его смѣшивали; они даже видѣли въ немъ типичнаго софиста.

Платонъ въ своей сатирѣ пользуется всѣми средствами, грубыми и тонкими. Въ своихъ нападкахъ на софистовъ онъ всеобъемлющъ. Ни одинъ представитель этого сословія не уходитъ со сцены его діалога безъ печати пѣкотога презрѣнія или смѣхотворности. Впрочемъ я ошибаюсь. Существуетъ одно исключеніе. Какъ будто нечаянно, по ошибкѣ, по поводу одного софиста Платонъ высказалъ нѣсколько словъ несомнѣннаго уваженія. Въ діалогъ „Лизисъ“ говоря о совершенно неизвѣстномъ намъ (своей незначительностью защищенномъ отъ нападковъ, можемъ мы прибавить) Миккось, онъ называетъ его „другомъ и поклонникомъ Сократа“ и вмѣстѣ съ тѣмъ „дѣльнымъ и основательнымъ софистомъ“. Въ остальныхъ случаяхъ онъ даетъ волю своей злости. Когда ученіе софиста не даетъ ему повода для нападковъ, онъ достигаетъ впечатлѣнія комизма тѣмъ, что заставляетъ его выступать какъ разъ не впадать; такъ поступаетъ онъ съ Гиппиемъ и Продикомъ. Слабое здоровье послѣдняго и всесторонній талантъ перваго въ равной мѣрѣ подвергаются насмѣшкѣ. Крупной фигурѣ Протагора отдается дань уваженія за его личную честность; за то устарѣвшее его краснорѣчіе, переданное съ большимъ искусствомъ, осмѣивается, а дѣйствительно или мнимо слабья стороны его мышленія ярко освѣщены. Чаше всего Платонъ выдвигаетъ тѣ черты, которые больше всего претятъ аристократическому вкусу его согражданъ и въ особенности лицамъ его сословія. Онъ любитъ намекать на профессиональную, ремеслен-

ную сторону их дѣятельности, въ особенности на денежное вознагражденіе, получаемое софистами за преподаваніе, причемъ ничтожность этого гонорара онъ объясняетъ малозначительностью ихъ работы, а на высокій гонораръ смотритъ какъ на несоразмѣрное и незаслуженное вознагражденіе. Насколько мало скромность считалась добродѣтелью въ эпоху Платона, мы уже хорошо знаемъ (сравни стр. 273 — 74). Нѣтъ ничего невѣроятнаго въ томъ, что софисты, которымъ приходилось съ трудомъ пробиваться въ жизни, дѣлали все возможное чтобы обезпечить себѣ успѣхъ выступленія. Зависть и соперничество были столь же обычны среди нихъ, какъ и въ средѣ всякой другой специальности, члены которой тѣсно соприкасаются другъ съ другомъ. Я не хочу этимъ сказать, чтобы одностороннее изображеніе тѣхъ формъ, которыя принимала въ этомъ сословіи всюду присутствующая человѣческая слабость, могло дать болѣе вѣрное представленіе, чѣмъ тотъ же пріемъ въ примѣненіи къ современнымъ наслѣдникамъ софистовъ, профессорамъ и писателямъ популяризаторамъ, или къ представителямъ другихъ сословій, адвокатамъ и народнымъ представителямъ. Осмѣиваніе софистовъ Платономъ можно сравнить съ Шопенгауеровскимъ презрѣніемъ къ „профессорамъ философіи“ или съ выпадами Огюста Конта противъ „академиковъ“.

Въ одномъ однако пунктѣ критика Платона даетъ безъ сомнѣнія вѣрное представленіе. Представляя діалектическую борьбу софистовъ съ Сократомъ онъ всегда заставляетъ Сократа побѣждать. Хотя всѣ эти разговоры суть лишь свободныя измышленія, однако эту черту мы должны признать исторически правильной. Вѣдь діалектическое преимущество Сократа составляло неоспоримую основу его славы и его значительнаго вліянія на послѣдующее время. Однако странно, что именно въ тѣхъ сочиненіяхъ, въ которыхъ Платонъ нападаетъ на софистовъ, пользуясь уже не легкимъ оружіемъ насмѣшки, а серьезной аргументаціей, что тамъ не только исчезаютъ имена Протагора, Гиппія, Продика и т. д., но и сама „софистика“ является въ иномъ свѣтѣ. Тѣ, настоящіе, старые софисты оказывались совершенно неспособными вести перекрестный діалогъ по методу Сократа въ краткихъ вопросахъ и отвѣтахъ; наоборотъ въ позднѣйшихъ сочиненіяхъ указывается именно на эту способность какъ на сильную сторону софистовъ. Разрѣшеніе этой загадки уже давно найдено. Литературная дѣятельность Платона обнимаетъ по крайней мѣрѣ поло-

вину столѣтія. Поэтому неудивительно, что тѣ „софисты“, противъ которыхъ направлены его позднѣйшія сочиненія, совершенно не похожи на тѣхъ, которыхъ имѣють въ виду его первыя произведенія. Это тѣмъ болѣе понятно, что послѣдніе уже сходили со сцены къ тому времени, когда Платонъ началъ писать. По крайней мѣрѣ три комедіи, остріе которыхъ направлено на дѣятельность софистовъ и на вводимые ими новые педагогическіе приемы, были написаны въ то десятилѣтіе, когда родился Платонъ. „Обжоры“ Аристофана были поставлены на сценѣ за нѣсколько мѣсяцевъ до рожденія Платона (зимой 427 года); его же „Облака“ и „Льстецы“ Эвполиса появились на сценѣ въ то время, когда Платону было отъ 4-хъ до 6-ти лѣтъ (423 или 421). Вполнѣ естественно, что аѣинскій мыслитель въ позднѣйшую эпоху своей жизни очень мало думалъ объ этихъ софистахъ, а гораздо болѣе о другихъ ненавистныхъ ему философахъ, которыхъ онъ называлъ этимъ именемъ.

Бичуемые Платономъ софисты въ діалогѣ „Софисты“ и въ другихъ діалогахъ, близкихъ къ первому по времени и по содержанию, суть ученики и ученики учениковъ Сократа, и прежде всего ненавистный врагъ Платона Антисѣенъ со своими послѣдователями! Правда Платонъ пытался провести связующія нити между этими „софистами“ и тѣми другими, по праву носящими свое названіе; но искусственность этой попытки не ускользнетъ отъ внимательнаго читателя „Эвтидема“ и „Софистовъ“. Та же терминологія перешла и къ Аристотелю, который нигдѣ прямо не обозначаетъ этимъ именемъ представителей стараго поколѣнія, и только одинъ разъ, говоря о способахъ зарабатыванія гонорара, рѣзко противопоставляетъ честную фигуру Протагора „софистамъ“. Онъ употребляетъ это слово въ тройкомъ смыслѣ: въ старомъ наивномъ, безъ примѣси какого либо порицанія, какъ онъ называлъ софистами семь мудрецовъ; затѣмъ для обозначенія отдѣльныхъ философовъ, по большей части мало ему симпатичныхъ, какъ Аристиппъ, ученикъ Сократа; и наконецъ, наиболѣе часто, для обозначенія тѣхъ „эристиковъ“, т. е. діалектическихъ спорщиковъ, вышедшихъ изъ школъ Антисѣена и, поселившася въ Мегарѣ, сократика Эвклида, съ которымъ онъ былъ во враждѣ въ продолженіе всей своей жизни. Такъ какъ именно эти философы изощряли свое остроуміе въ разныхъ ложныхъ силлогизмахъ, то и случилось, что не только слова „софистъ“ и „софистика“, но и „софизмъ“, „софистично“ приобрѣли то значеніе, ставшее пре-

обладающимъ въ послѣдствіи, которое имъ придали престарѣлый Платонъ и Аристотель въ ихъ полемикѣ противъ эристиковъ. Въ томъ же значеніи, какъ у Аристотеля, это слово продолжало примѣняться до конца древней исторіи. При случаѣ оно употреблялось еще въ старомъ нейтральномъ, если не почетномъ, значеніи, особенно во время такъ называемой позднѣйшей софистики эпохи римскихъ императоровъ. Гораздо чаще однако оно примѣнялось съ болѣе или менѣе сильнымъ оттѣнкомъ презрѣнія. Въ этомъ смыслѣ уже Платона называли софистомъ его противники и современники, ораторы Лизій и Исократъ, также и Аристотеля—историкъ Тимей, племянника Аристотеля, Каллистана—Александръ Великій, послѣдователя Демокрита, Анаксарха—Эпикуръ, академика Карнеада—стоикъ Посейдоній, и такъ далѣе, каждаго философа его противники, въ концѣ концовъ софистомъ обозвалъ Лукіанъ и основателя христіанства.

3. Исторія этого слова разсказывается здѣсь не впервые. Однако полезно останавливаться на ней, излагая ее каждый разъ съ новыми подробностями, чтобы вдолбить ее и читателю-спеціалисту. Ибо многіе, будучи принуждены признать правильность указанныхъ фактовъ, обыкновенно легко забываютъ о нихъ или не принимаютъ ихъ во вниманіе. Иной начинаетъ съ откровеннаго признанія, что двусмысленность слова „софистъ“, и въ особенности нелестное значеніе, которое оно приобрѣло въ послѣдствіи, было причиной несправедливаго отношенія къ его носителямъ и что на насъ лежитъ обязанность возстановить ихъ честь. Однако неожиданно для себя онъ снова попадаетъ въ обычное русло и трактуетъ ихъ, какъ будто бы они дѣйствительно были просто спорщики, безсовѣстные обманщики или провозвѣстники вредныхъ ученій. Даже когда, казалось бы, умъ вполне свободенъ, все же трудно преодолѣть силу укоренившихся ассоціацій. Какъ будто злой рокъ тяготѣлъ надъ софистами. Краткій промежутокъ опяняющаго успѣха былъ приобретенъ цѣною тысячекратней несправедливости. Два могущественныхъ врага соединились противъ нихъ: капризъ языка и геній великаго, если не величайшаго, писателя всѣхъ временъ. Конечно Платонъ, пуская ракеты своего остроумія и своей ироніи, не могъ предвидѣть, что воздушныя созданія его богатаго воображенія и его юношескаго пыла будутъ служить важными историческими свидѣтельствами. Онъ игралъ съ живыми не съ мертвыми. Третье зло-

счастье постигшее софистовъ было то, что они умерли. Странствующіе учителя не основали школы. Не было толпы вѣрныхъ учениковъ, которая могла бы сберечь ихъ писанія и сохранить ихъ память. Уже черезъ два столѣтія отъ ихъ литературныхъ произведеній сохранились лишь жалкіе остатки; а изъ послѣднихъ до насъ дошли только немногочисленные обрывки; безстрастныхъ свидѣтельствъ ихъ дѣятельности у насъ совершенно нѣтъ.

Прежде чѣмъ перейти къ ознакомленію съ отдѣльными софистами и съ ихъ ученіями, полезно упомянуть объ одномъ литературномъ памятникѣ; хотя памятникъ этотъ и не носитъ подписи софиста, однако, оставляя въ сторонѣ всякія предположенія о личности его автора, мы все же можемъ судить по нему объ одномъ изъ родовъ ихъ литературы. Гиппократовское собраніе, которое, какъ помнятъ наши читатели, заключаетъ въ себѣ крайне разнообразный матеріалъ, содержитъ одно сочиненіе, которое мы съ полной увѣренностью можемъ приписать этому кругу и отнести къ ихъ эпохѣ. Маленькое сочиненіе „Объ искусствѣ“, (т. е. о врачебномъ искусствѣ) есть защита медицины противъ обвиненій, въ которыхъ издавна не было недостатка. „Апология врачебнаго искусства“ обнаруживаетъ всѣ черты, которыя мы можемъ ожидать встрѣтить въ произведеніи софиста этой эпохи. Это не столько статья, сколько устная рѣчь, тонко распланированная и искусно составленная. Если уже по этому одному ее нельзя приписать врачу, то другія обстоятельства не оставляютъ сомнѣнія въ правильности нашего предположенія. Въ концѣ рѣчи авторъ противопоставляетъ ее „фактическимъ доказательствомъ врачей“; онъ выражаетъ свое уваженіе врачамъ, какъ бы вѣжливо раскланиваясь съ ними на прощаніе, и ждетъ того же отъ нихъ для себя и своихъ товарищей по профессіи. Онъ ссылается на другую рѣчь, которую онъ намѣренъ составить впоследствии о другихъ искусствахъ. Касаясь вопроса теоріи познанія, причѣмъ обнаруживается, что онъ противникъ Мелисса, онъ указываетъ на болѣе подробное изложеніе этой темы; и здѣсь повидимому авторомъ является опять онъ же самъ. Онъ такъ привыкъ къ словесному состязанію, что какъ бы видитъ передъ глазами оппонента и спѣшитъ предупредить его возраженія. Образованіе его энциклопедическое и онъ охотно пользуется всякимъ случаемъ, позволяющимъ ему выйти за предѣлы своей главной темы, чтобы щедро сыпать мыслями по самымъ разнообразнымъ во-

просамъ. Такъ, на пространствѣ нѣсколькихъ страницъ онъ касается проблемы возникновенія языка, причинности, отношенія мощи чело-вѣка къ случайности, воспріятія къ реальности, естественныхъ задатковъ къ приѣмамъ воспитанія, обработки къ сырому матеріалу и т. д. Его по всей справедливости можно назвать наполовину риторомъ, наполовину философомъ. Однако черты школьнаго учителя прости-паютъ въ немъ. Привычка къ преподаванію сказывается и въ выдержанно увѣренномъ тонѣ и въ той старательности, съ которою онъ расчленяетъ и опредѣляетъ вновь образуемыя понятія. Стремленіе къ ритму свидѣтельствуетъ о томъ, что изложеніе не такъ давно освободилось отъ оковъ размѣренной рѣчи, а правильность построенія фразы, тщательное выдѣленіе отдѣловъ и рельефное выдвиганіе подчеркиваемыхъ словъ обнаруживаетъ младенческое состояніе художественной прозы. Легко представить себѣ энтузіазмъ, который вызывала эта новая литературная форма, это краснорѣчіе, соединявшее въ себѣ богатое содержаніе съ внѣшне законченной формой. Однако мы замѣчаемъ и слабыя, темныя стороны, которыя повидимому давали оружіе врагамъ. Напыщенность оратора и его явно нескрываемое самолюбованіе, его чванство своею „мудростью“ и „образованіемъ“—какъ чванился своею „мудростью“ уже рапсоде Ксенофанъ (сравни стр. 136)—не могло нравиться изощренному вкусу. Буйное краснорѣчіе, неудержно скользящее по поверхности мысли, мало содѣйствовало основательности аргументаціи. Пристрастіе къ неожиданнымъ оборотамъ, къ полемическимъ выраженіямъ могло объясняться стремленіемъ къ эффекту. Однако и стиль рѣчи, напоминающій произведенія архаическаго пластическаго искусства съ его застывшими формами, съ неподвижной правильностью и яркими красками, долженъ былъ скоро устарѣть и производить холодное и непріятное впечатлѣніе рядомъ съ болѣе совершенной архитектуроникой, отличающей прозу Платона и отчасти Изократа.

4. Однако мы должны быть осторожными въ обобщеніяхъ. Несомнѣнно, что вышеприведенная характеристика содержитъ больше, чѣмъ только индивидуальныя черты. Но мы впадемъ въ ошибку, если сочтемъ типическимъ значительное по своимъ мыслямъ сочиненіе „Объ искусствѣ“ (мы будемъ говорить о немъ еще въ другомъ мѣстѣ). Ибо въ частностяхъ и даже по духу своихъ ученій софисты настолько расходятся, что, объединяя ихъ въ одну главу, мы руководимся скорѣе установившимся обычаемъ, чѣмъ

внутренними мотивами, и этимъ поддерживаемъ ложный взглядъ, будто они образуютъ особый классъ въ кругу греческихъ мыслителей.

Продикъ изъ Кеоса прибылъ въ Аѳины въ качествѣ посланца своихъ соотечественниковъ и приобрѣлъ здѣсь значительное вліяніе. Обычно его считаютъ наиболѣе безобиднымъ изъ софистовъ, удѣляютъ ему особое мѣсто и даже называютъ „предшественникомъ Сократа“, съ которымъ онъ дѣйствительно дружилъ. Однако Платонъ обошелся съ нимъ не лучше, чѣмъ съ другими его сотоварищами по профессіи. „Всемудрый“ Продикъ является для него предметомъ ѣдкой и довольно грубой насмѣшки. Не избѣгнувъ онъ и насмѣшекъ комедіи. Въ „Вертеляхъ“ Аристофана мы читаемъ слѣдующія строки: „Если его не испортила книга, то это дѣло совершилъ болтунъ Продикъ“. Сократикъ Эсхинъ въ своемъ діалогѣ „Каллій“ указываетъ на двухъ „софистовъ, Анаксагора и Продика“—обращая вниманіе на это сопоставленіе—и упрекаетъ послѣдняго въ томъ, что онъ воспиталъ оппортунистичнаго, часто называемаго безпринципнымъ, политика Терамена, высоко однако цѣнимаго Аристотелемъ, какъ это мы узнали недавно. Параллелизмъ съ Сократомъ бросается въ глаза. Послѣдній тоже считался развратителемъ юношества, и на него также прежде всего обрушилась комедія; ему тоже указывали на результаты его воспитанія (Алкивиадъ и Критій). Но ни эта параллель, ни сопоставленіе съ почтеннымъ Анаксагоромъ не могло спасти имени Продика. Помогло ему лишь то случайное обстоятельство, что сохранились другія безпристрастныя свидѣтельства, умѣряющія нападки противниковъ, философа и сатирика; послѣдній однако въ другомъ мѣстѣ съ похвалою отзывается о мудрости софиста.

Продикъ былъ глубокой и серьезной натурой. Черезъ посредство киниковъ онъ оказалъ значительное вліяніе на послѣдующее время. Мы не можемъ сказать, что онъ сдѣлалъ, какъ натурфилософъ; объ этой сторонѣ его научной дѣятельности свидѣтствуютъ лишь заглавія двухъ книгъ: „О природѣ“ и „О природѣ чловѣка“. Изъ ироническихъ замѣчаній Платона мы узнаемъ о другой сторонѣ его дѣятельности, о его опытахъ синонимики, т. е. сопоставленіи словъ одинаковаго значенія и различеніи ихъ оттѣнковъ. Руководило ли имъ въ этомъ занятіи желаніе создать опору для стилистики, какъ этимъ въ дѣйствительности и воспользовался Эукидидъ, или онъ хотѣлъ точнымъ разграниченіемъ

понятій содѣйствовать научному мышленію, или и то и другое вмѣстѣ,—объ этомъ мы знаемъ также мало, какъ и о томъ, насколько онъ достигъ своей цѣли. Мы можемъ лишь утверждать, что такое предпріятіе шло на встрѣчу дѣйствительной потребности эпохи. Спекуляція о языкѣ, какъ в космоическія теоріи, обращалась прежде всего къ самымъ труднымъ, къ совершенно недоступнымъ для того времени проблемамъ; свести ее съ этихъ высотъ, обратить вниманіе на форму и на матеріалъ существовавшего тогда языка вмѣсто того, чтобы заниматься вопросомъ о происхожденіи языка, это было уже само по себѣ полезнымъ предпріятіемъ. Мы увидимъ, что и П р о т а г о р ь занимался анализомъ формъ языка. П р о д и к ь первый удостоилъ научнаго вниманія матеріалъ языка. Если онъ хотѣлъ этимъ помочь художественному пользованію языкомъ, то опытъ его прежде всего однако долженъ былъ отразиться на мышленіи. Можно пожалѣть, что его попытка не нашла болѣе ревностныхъ подражателей. Различный смыслъ словъ и отсутствіе яснаго пониманія ихъ значенія служили обильнымъ источникомъ ошибокъ, какъ мы это видѣли при разсмотрѣніи элейскихъ доктринъ. Если бы дѣло Продика продолжалось, то были бы избѣгнуты многіе ложные выводы, которыхъ не мало и у Платона; жатва мнимыхъ апріорныхъ доказательствъ и эристическихъ ложныхъ заключеній была бы менѣе обильна.

Гораздо лучше знаемъ мы морально-философскіе взгляды Продика. Міросозерцаніе его было мрачнымъ; онъ можетъ быть названъ древнѣйшимъ пессимистомъ. Его имѣетъ въ виду Э в р и п и д ь, говоря о человѣкѣ, который находитъ, что зло міра превѣшиваетъ его блага. Обусловливалось ли такое міросозерцаніе его слабымъ здоровьемъ, или въ немъ отразилось отношеніе къ жизни его соотечественниковъ, обитателей острова Кеоса, среди которыхъ самоубійства были чаще, чѣмъ среди другихъ Грековъ,—мы не можемъ рѣшить этого вопроса. Когда Продикъ своимъ низкимъ голосомъ, съ потрясающей силой вырывавшимся изъ его хилого гѣла, рассказывалъ о злосчастіяхъ человѣческой судьбы, когда онъ перебиралъ всѣ возрасты начиная съ поворожденнаго, который жалобными криками встрѣчаетъ свое вступленіе въ жизнь, кончая вторымъ дѣтствомъ глубокой старости, когда онъ говоритъ о смерти какъ о жестокосердномъ кредиторѣ, который отбираетъ отъ плохого плательщика одинъ залогъ за другимъ, слухъ, зрѣніе, подвижность членовъ: то по рядамъ слуша-

телей пробѣгало замѣтное волненіе. Въ другой разъ—упреждая Эпик ура—онъ пытался оградить своихъ учениковъ отъ страха смерти, стараясь доказать, что смерть не затрагиваетъ ни живыхъ, ни умершихъ: ибо, пока мы живемъ, смерти нѣтъ, а когда мы умираемъ, насъ больше нѣтъ. У него не было недостатка въ поводахъ къ подобнымъ ободряющимъ душу наставленіямъ. Заключительнымъ выводомъ его пессимистической мудрости была не тупая резиньяція или аскетическое отреченіе отъ міра, и не поощреніе погони за наслажденіями въ мутномъ потокѣ жизни. Выше наслажденія ставилъ онъ трудъ. Практика согласовалась у него съ теоріей. Древность прославила его какъ человѣка, который, вопреки своему болѣзненному состоянію, полностью выполнялъ свои гражданскія обязанности. Часто онъ путешествовалъ въ качествѣ посланца своей родины. Героемъ его былъ Гераклъ, образецъ мужественности и полезной дѣятельности. Прославленіе Продикомъ предковъ лакедемонскихъ царей могло быть причиной того, что его цѣнили и почитали въ Спартѣ, нерасположенной вообще къ иностраннымъ учителямъ-философамъ. Всякій знаетъ басню „Гераклъ на распутьи“, обращеніе поучительнаго краснорѣчія, составленную по образцу софокловскаго „суда Париса“ (состязаніе Аенны и Афродиты). Эта басня имѣла большое вліяніе въ древнемъ мірѣ и отразилась даже въ ранней христіанской литературѣ какъ напр. въ „Пастырѣ“ Гермия и въ другихъ сочиненіяхъ. Произведеніе въ которое входила эта басня называлась „Оры“; мы не знаемъ, что оно включало кромѣ нея: можетъ быть вышеприведенныя пессимистическія разсужденія, можетъ быть, въ противовѣсъ имъ, также и оцѣнку здоровыхъ наслажденій, меньше всего подвергающихся злоупотребленію, наслажденій природою и ея созданіями; подобныя разсужденія могли встрѣчаться и въ хвалѣ земледѣлію, приписываемой нашему философу. Такимъ образомъ его міровоззрѣніе и его жизненные идеалы довольно ясно обрисовываются намъ. Онъ до дна испыталъ горечь человѣческаго существованія. Этому онъ противопоставляетъ мужественность, которая связана, по его мнѣнію, не съ пассивнымъ наслажденіемъ, а съ энергичной работой и съ наиболѣе простыми условіями жизни. Онъ не былъ однако только провозвѣстникомъ поваго идеала: его тонкій умъ проявляетъ себя и въ сочиненіи „О правильности языка“, и въ морально-философскихъ изслѣдованіяхъ. Въ ученіе о нравственности онъ ввелъ понятіе, которое играло впоследствии большую

роль у киниковъ и ихъ послѣдователей, стоиковъ: понятіе безразличія вещей самихъ по себѣ, которыя пріобрѣтаютъ цѣнность только при правильномъ употребленіи ихъ, предписываемомъ разумомъ; сюда онъ причислялъ богатство и все то, что обычно называютъ внѣшнимъ благомъ. Мы увидимъ впоследствии, насколько онъ приближался въ этомъ пунктѣ къ Сократу. Слѣдуетъ упомянуть еще объ одномъ ученіи мудраго кеосца, о происхожденіи вѣры въ боговъ. Онъ предполагалъ, что тѣ объекты природы, которые производятъ наиболѣе сильное и наиболѣе благотворное вліяніе на человѣческую жизнь, удостоились прежде всего божескаго почитанія, таковы: солнце, луна, рѣки (онъ имѣлъ въ виду почитаніе Нила), также полевые плоды (при этомъ онъ могъ имѣть въ виду культъ вавилонянъ). Къ этимъ объектамъ природы онъ прибавлялъ затѣмъ героевъ культуры, которыхъ люди обожествляли за важныя и полезныя изобрѣтенія. Такъ, напримѣръ, Діонисъ былъ, по его мнѣнію, человѣкомъ,—мнѣніе раздѣляемое въ нашу эпоху и Іоганномъ Генрихомъ Фоссомъ (1834), который называетъ его „обожествленнымъ изобрѣтателемъ вина“. Если въ этомъ вопросѣ Продикъ стоялъ на ложномъ пути, то онъ по крайней мѣрѣ раскрылъ одну изъ основъ религіознаго культа, фетишизмъ. Допускалъ ли онъ существованіе объекта вѣры, или же просто оспаривалъ реальность божественнаго? Почти навѣрное первое. Иначе какъ объяснить, что такой религіозный человѣкъ, какъ Ксенофонтъ, только съ похвалой отзываясь о Продикѣ, а видный представитель пантеистически настроеннаго стоицизма, любимый ученикъ основателя школы Зенона, Персей въ своей книгѣ „О богахъ“ хвалитъ вышеприведенное ученіе кеосца. Такимъ образомъ является предположеніе, что остріе этого ученія было направлено противъ боговъ народной вѣры и что оно не имѣло намѣренія обезбожить весь міръ.

5. Какъ мы видимъ, Продикъ занимался изученіемъ природы и языка, моральной философіей и исторіей религіи, и все-таки разносторонностью дарованій и дѣятельности Гиппій значительно превзошелъ его. Астрономія, геометрія и ариѳметика, фонетика, ритмика и ученіе о музыкѣ, пластикѣ и живописи, изученіе сказаній и народовъ, хронологія и мнемоника въ равной мѣрѣ занимали его умъ. Онъ писалъ моральныя проповѣди и исполнялъ по порученію своего роднаго города, пелопоннесской

Элиды, обязанности посланца. Изъ подъ его пера вышло много самыхъ различныхъ поэтическихъ произведеній, эпическихъ поэмъ, трагедій, эпиграммъ и диоирамбовъ. Наконецъ онъ изучилъ большую часть ремеслъ. Такимъ образомъ онъ могъ однажды появиться на торжественномъ празднествѣ въ Олимпіи въ костюмѣ, который изготовилъ собственноручно, начиная съ обуви и кончая дорогимъ плетенымъ поясомъ и кольцами на пальцахъ. Врядъ ли въ нашу эпоху раздѣленія труда серьезно отнесутся къ такой многосторонности. Однако не всегда къ этому относились такъ. Въ инія времена человѣка цѣнили больше, чѣмъ его творенія. Ростъ личности, богатое развитіе таящихся въ человѣкѣ задатковъ, сознаніе, что онъ способенъ преодолѣть всякую задачу и не остановится ни передъ какимъ затрудненіемъ, умѣлость во всякомъ дѣлѣ—все это, казалось, вполне искупило размѣниваніе силъ. Такъ смотрѣли въ эпоху Перикла, а также и въ эпоху возрожденія въ Италіи. Здѣсь мы встрѣчаемъ точное подобіе Гиппія. Венеціанецъ Леоне Баттиста Альберти (1404—1472) славился какъ архитекторъ, какъ живописецъ и какъ писатель прозаикъ и поэтъ (на итальянскомъ и на латинскомъ языкахъ); онъ писалъ и по вопросамъ домашняго хозяйства и о пластическихъ искусствахъ; онъ былъ мастеръ въ шуточныхъ разговорахъ и въ различныхъ тѣлесныхъ упражненіяхъ; наконецъ онъ изучилъ всѣ „ремесла міра, выпрашивая всѣхъ ремесленниковъ вплоть до сапожника, про ихъ приемы и тайны“.

Разумѣется цѣнность этихъ разнородныхъ дѣятельностей будетъ не одинаковой. Стихотворныя произведенія Гиппія исчезли безслѣдно. Прогрессъ геометріи обязанъ ему кое-чѣмъ довольно существеннымъ. Его искусство „мнемоники“, въ которомъ его предшественникомъ былъ лишь поэтъ Симонидъ, достигало говорить, значительныхъ результатовъ. При помощи этого искусства онъ, уже будучи старикомъ, могъ безошибочно, не измѣняя порядка, повторить пятьдесятъ названій, слышанныхъ имъ впервые. Его хронологическія замѣтки „Записи олимпійскихъ побѣдителей“ отвѣчали потребности тогдашней историографіи, лишенной опоры для прочнаго лѣтоисчисленія, и шли параллельно съ подобными же попытками, вродѣ историческаго изложенія Гелланика, веденнаго въ формѣ записи аргивскихъ жриць Геры. Насколько обосновано мнѣніе Плутарха о недостоверности этой записи, мы не можемъ судить. Изъ его „собранія“ достопримѣчательныхъ событій кромѣ ничтожныхъ обрывковъ сохранилось

лишь короткое предисловіе, которое знакомитъ насъ съ граціей его рѣчи и совѣмъ не заслуживаетъ упрека въ тщеславной пышности, которую ему приписывали, основываясь на насмѣшкахъ Платона. Въ этомъ вступленіи онъ является передъ нами въ роли скромнаго компилятора, который выбираетъ самое важное изъ всего того, что рассказывали до него поэты и прозаики, греки и не греки, классифицируетъ это по предметамъ и такимъ образомъ старается придать своимъ историческимъ рассказамъ характеръ новизны и разнообразія. Для остроумія критики это чтеніе, предназначавшееся для развлеченія, врядъ ли могло дать много пищи. Однако въ немъ были разсыпаны замѣчанія вродѣ случайно сохранившагося указанія, что слово „тираннѣ“ впервые появилось въ стихахъ Архилоха. О сочиненіи подѣ заглавіемъ „Названія народовъ“ намъ очень мало извѣстно, но все же достаточно, чтобы замѣтить, что недоступная ученая матерія не отпугивала разносторонняго софиста. Весьма возможно, что именно изслѣдованія о нравахъ и преданіяхъ самыхъ различныхъ народовъ послужили Гиппію основаніемъ для того, чтобы придать такое большое значеніе уже упомянутому нами противопоставленію „природы“ и „установленія“, (сравни выше стр. 346). Вышеуказанный уклонъ къ космополитизму проявляется въ томъ, что софистъ и пользуется не-греческими источниками, и распространяетъ свои изслѣдованія на не-греческія племена. Его жизненной цѣлью, какъ и цѣлью киниковъ, испытавшихъ его вліяніе, была „самоудовлетворенность“. Изъ его моральныхъ поученій къ сожалѣнію ничего не дошло до насъ. Главнымъ произведеніемъ его въ этой области былъ діалогъ между Несторомъ и сыномъ Ахилла, Неоптолемомъ, на мѣстѣ покоренной Трои. Въ этомъ „Троянскомъ діалогѣ“, по всей вѣроятности самомъ древнемъ продуктѣ этого рода литературы, старый, много испытавшій, царь преподноситъ массу мудрыхъ и благородныхъ совѣтовъ и указываетъ правила жизни молодому, жаждущему славы, наслѣднику храбрѣйшаго изъ Грековъ. Другой темой нашего моралиста было сравненіе Ахилла и Одиссея, причемъ предпочтеніе отдавалось первому за его высокую любовь къ истинѣ, добродѣтель не слишкомъ цѣнимую Греками. Подобными рѣчами, тщательно обработанными, но лишенными всякой напыщенности, Гиппій достигалъ огромнаго успѣха на торжественныхъ собраніяхъ въ самыхъ различныхъ мѣстахъ Эллады. Большое число городовъ почтили его правами гражданства и великъ

былъ его заработокъ. Очень многозначительно сообщеніе, что Гиппій, какъ и Продикъ, пользовался большимъ уваженіемъ среди старозавѣтныхъ Спартанцевъ, чуждающихся всякой новизны, которыхъ онъ развлекалъ историческими разказами и моральными поученіями.

6. Если Гиппія изъ Элиды нельзя причислить къ числу про-свѣтителей, то тѣмъ болѣе нельзя примѣнить этотъ эпитетъ къ софисту Антифону. Этотъ послѣдній, котораго считаютъ обычно менѣе значительнымъ членомъ сословія софистовъ, былъ не только метафизикомъ и моралистомъ, не только геометромъ и физикомъ, но и толкователемъ сновъ и знаменій! Онъ написалъ сочиненіе состоящее изъ двухъ книгъ, озаглавленное „Истина“. Въ остаткахъ отъ второй книги мы находимъ натурфилософскія ученія, приближающіяся къ старымъ доктринамъ. Содержаніе первой книги касалось общихъ вопросовъ метафизики и теоріи познанія. Тутъ же была и полемика противъ опредмечиванія (гипостозированія) понятій; на кого она была направлена, остается для насъ неизвѣстнымъ. Отрывокъ гласитъ такъ: „познающій нѣкіе длинные предметы не можетъ видѣть длину глазами, ни познавать ее духомъ“. Понятіе длины очевидно имѣетъ здѣсь типическое значеніе. Вопросъ идетъ безъ сомнѣнія о субстанціальномъ существованіи общихъ понятій. Антифона можно назвать первымъ номиналистомъ. Подобныя мысли мы встрѣчаемъ у Антисеена и Теопомпа, которые боролись съ платоновскимъ ученіемъ объ идеяхъ. Но послѣдняго еще не существовало, когда писалъ Антифонъ, современникъ Сократа. Мы должны отказаться отъ возможности назвать этого противника и удовольствоваться тѣмъ, что языкъ, выражая абстракціи существительными и потому какъ бы овещствляя ихъ, подготовлялъ путь наивному реализму (въ философскомъ смыслѣ слова), слѣды котораго мы уже и видимъ въ эту эпоху. Затѣмъ древній міръ получилъ отъ него „Искусство утѣшеній“, произведеніе открывшее собою богато расцвѣтшій впоследствіи родъ литературы. Но самымъ значительнымъ было его сочиненіе „Объ е д и н о м ы с л и и“; въ сохранившихся отрывкахъ мы находимъ удивительное богатство мыслей, гладкую рѣчь и прекрасный стиль, опѣвенный уже въ древности. Это была книга житейской мудрости, въ которой жестоко бичуется эгоизмъ, слабость характера, тупая косность, смотрящая на жизнь какъ на игру въ шашки,

которую можно начать сначала послѣ проигрыша, и отсутствіе дисциплины, это „самое худшее изъ человѣческихъ золъ“; вмѣстѣ съ тѣмъ тамъ восхваляется самообладаніе какъ результатъ основательнаго знанія страстей человѣка и въ теплыхъ и красивыхъ выраженіяхъ объясняется значеніе воспитанія.

Недавно благодаря остроумному и правильному использованію источниковъ, число фрагментовъ этого сочиненія значительно пополнилось. Эти новые отрывки богаты полезными поученіями. Въ нихъ обнаруживается тонкое пониманіе человѣческой натуры; вотъ образчикъ: „Людямъ непріятно чтить другого человѣка: имъ кажется, что при этомъ они терпятъ нѣкоторый ущербъ“. Но еще важнѣе, что въ этихъ большихъ связанныхъ отрывкахъ мы впервые имѣемъ передъ глазами примѣръ моральныхъ наставленій софистовъ. У насъ есть наконецъ документальное доказательство того, что давно дознано и высказано проникательными мыслителями. Уже почти полстолѣтія тому назадъ Гротъ писалъ: „Софисты были правовѣрными учителями греческой морали и стояли не выше и не ниже средняго уровня своего времени“. Можетъ быть это обобщеніе идетъ слишкомъ далеко, слишкомъ устраняетъ оригинальность отдѣльныхъ софистовъ, но въ одномъ нельзя сомнѣваться: въ силу зависимости софистовъ отъ широкихъ слоевъ публики, они не могли проповѣдывать антисоціальныхъ ученій; гораздо легче они могли впасть въ прстивоположную крайность, проповѣдывать гиперсоціальные доктрины, если такъ можно выразиться, подчиняющія въ слишкомъ большой степени отдѣльное лицо господству общественнаго мнѣнія.

Именно таково впечатлѣніе, выносимое нами изъ разбора этихъ новыхъ отрывковъ. Надо присмотрѣться къ этому умственному и чувственному укладу, который только и возможенъ въ демократическомъ обществѣ и въ наше время не наблюдается нигдѣ, кромѣ Швейцаріи и Соединенныхъ Штатовъ. Стремленіе заручиться расположеніемъ согражданъ, приобрести значеніе среди нихъ, добиться уваженія проявляется тутъ особенно рѣзко. Мы не намѣрены распространяться о темныхъ и свѣтлыхъ сторонахъ такого соціальнаго строя и о нравственной атмосферѣ, имъ создаваемой. Можно только сказать, что, рядомъ съ очень благотворнымъ вліяніемъ, искорененіемъ противообщественныхъ инстинктовъ и пробужденіемъ къ общественно-полезной дѣятельности, строй этотъ несетъ и опасность для тѣхъ областей жизни, гдѣ разнообразіе и оригинальность необходимы для развитія отдѣльной личности

а потому косвенно и для цѣлаго. Что „тираннія большинства“ гораздо менѣ стѣсняла индивидуальную самостоятельность въ Аѳинахъ пятого столѣтія до Р. Х., чѣмъ въ большей части другихъ странъ и въ другія историческія эпохи, въ томъ всякаго, кто этого не знаетъ, можетъ убѣдить одно изъ самыхъ цѣнныхъ свидѣтельствъ свободомыслія духа, которыми когда-либо обладало человѣчество: надгробная рѣчь Перикла, переданная Фукидидомъ. Тѣмъ не менѣ въ виду этихъ новыхъ свидѣтельствъ, рисующихъ строй мыслей, который ставитъ индивидуума въ полную зависимость отъ цѣлаго, въ полное рабство отъ коллективной ответственности, какъ скажутъ многіе, мы вполне понимаемъ возмущеніе и протестъ выдающихся и вѣрящихъ въ себя личностей. Рѣчи вродѣ тѣхъ, которыя Платонъ влагаетъ въ уста Калликлеса, презирающему народъ и ненавидящему софистовъ, становятся для насъ понятнѣе. Въ нѣкоторыхъ выраженіяхъ вновь воскресшаго Антифона, такъ напр., въ яростныхъ нападкахъ его на лжеученіе гласящее „что повиновеніе законамъ есть трусость“, слышится какъ бы протестъ противъ того направленія, глашатаемъ котораго является Калликлесъ въ Горгіѣ, а представителями въ жизни Критій и Алкивиадъ.

Воспитанію Антифонъ отводилъ высшее мѣсто среди всего человѣческаго. „Каково сѣмя, которое погружаютъ въ землю, таковы и плоды, которыхъ можно ждать. И если привить молодой душѣ благородное образованіе, то получится цвѣтеніе, которое продержится до конца, которое не осыпется ни отъ дождя, ни отъ суши“.

Это напоминаетъ намъ подобныя же выраженія важнѣйшаго изъ софистовъ, Протагора, который уже извѣстенъ нашимъ читателямъ, но образъ котораго мы попытаемся нарисовать настолько полно и правдоподобно, насколько позволятъ намъ наши скудные источники.

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

Протагоръ изъ Абдеры.

Протагоръ происходилъ изъ Абдеры. Тамъ вдохнулъ онъ атмосферу просвѣщенія. Врядъ ли есть основаніе сомнѣваться, что онъ зналъ своего старшаго соотечественника, Левкиппа, и младшаго

Демокрита. Онъ недолго занимался изслѣдованіями природы. Главнымъ образомъ интересы его приковывались къ человѣческимъ дѣламъ. Не достигнувъ еще возраста тридцати лѣтъ, онъ посвятилъ себя новой тогда спеціальности странствующаго учителя или софиста. Часто бывая въ Аѣинахъ, онъ удостоился интимной дружбы съ Перикломъ и находился въ близкихъ отношеніяхъ съ Эврипидомъ и другими выдающимися людьми. Центральнымъ пунктомъ его преподаванія, къ которому жадно стремились, составляло подготовленіе къ общественной жизни; кромѣ этого оно заключало и другія самыя разнообразныя наставленія. Ораторское искусство и вспомогательныя къ нему дисциплины, затѣмъ педагогика, наука о правѣ, политика и мораль занимали его плодотворный разносторонній умъ. Онъ былъ настолько разностороненъ, что могъ одинаково успѣшно изобрѣтать полезное приспособленіе для насильщиковъ тяжестей и законодательствовать. Послѣдняя задача была возложена на него, когда весной 443 года Аѣины основали городъ Оуріи въ плодородной долинѣ вблизи разрушеннаго Сибариса. Возложенное на Протагора Перикломъ порученіе состояло новидимому въ томъ, чтобы примѣнить принятые въ Нижней Италіи законы „тонкаго“ Харонда къ спеціальнымъ условіямъ новой колоніи. Онъ сдѣлалъ законы еще болѣе сложными, чѣмъ они были. Эта миссія была вышею точкою его жизни. Въ Оуріяхъ сошлись многіе изъ выдающихся умовъ тогдашней Эллады, одни находились тамъ временно, другіе основались навсегда. Когда Протагоръ совершалъ прогулку подъ коллонадами, красиво и правильно по плану Гипподама (срав. стр. 332) построеннаго города, то онъ могъ вести разговоръ и съ Геродотомъ по вопросамъ народовѣдѣнія, и съ Эмпедокломъ о проблемахъ естествознанія. Быстрый расцвѣтъ колоніи, представлявшей собою цѣстру смѣсь всѣхъ греческихъ племенъ и, какъ показываетъ дѣленіе гражданъ на десять землячествъ, основанной въ цѣляхъ идеи панэллинизма, могъ служить благоприятнымъ предзнаменованіемъ единенія Грековъ. Но если подобныя надежды наполняли Протагора и другихъ учителей мудрости, писателей, мыслителей, истинныхъ носителей національной идеи объединенія, то имъ пришлось испытать горькое разочарованіе. Не прошло и десяти лѣтъ, какъ два могущественнѣйшихъ государствъ, Аѣины и Спарта, оказались въ непримиримой враждѣ; вся Эллада раздѣлилась на два лагеря. Когда къ трудностямъ войны въ Аѣинахъ присоединились ужасы опустошительной чумы,

Протагоръ находился тамъ и былъ свидѣтелемъ геройскаго самообладанія, съ которымъ его покровитель Периклъ перенесъ тяжелые удары судьбы. Послѣ смерти послѣдняго онъ писалъ: „Онъ стойко перенесъ смерть своихъ молодыхъ и прекрасныхъ сыновей, умершихъ въ теченіи восьми дней. Онъ сохранялъ спокойствіе духа, которое помогало ему переносить страданіе и вызывало уваженіе народа. Ибо всякій, кто видѣлъ, какъ стойко онъ переносилъ собственное несчастье, считалъ его высоко благороднымъ, мужественнымъ и гораздо лучшимъ себя, хорошо зная собственную беспомощность въ подобномъ же положеніи“. Если національное несчастье, и особенно несчастье Аѣинъ, положило тяжелыя тѣни на жизнь нашего софиста на склонѣ его лѣтъ, то онъ былъ избавленъ отъ тягостей глубокой старости. Этому онъ былъ обязанъ тому внезапному припадку нетерпимости, отъ которой не былъ застрахованъ аѣинскій демось. Въ возрастѣ семидесяти лѣтъ Протагоръ, основываясь на уваженіи, котораго онъ достигъ въ теченіе своей долгой почетной дѣятельности, рѣшился изложить свои смѣлыя мысли въ неприкрытой, хотя и умѣренной формѣ. Повидимому, въ домѣ Эврипида онъ впервые прочелъ свою книгу „О богахъ“ и этимъ согласно античному обычаю предалъ ее гласности. При этотъ случаѣ нѣкто Пифодоръ, богатый кавалерійскій офицеръ, врагъ тогдашняго политическаго строя, принявшій вскорѣ участіе въ заговорѣ четырехсотъ, почувствовалъ необходимость спасти общество. Послѣдовало обвиненіе въ оскорбленіе религіи; книга была осуждена, уже розданные экземпляры были собраны и публично сожжены. Самъ Протагоръ, еще до приговора вѣроятно, покинулъ Аѣины, направляясь въ Сицилію; по дорогѣ его корабль потерпѣлъ крушеніе и онъ погибъ въ волнахъ. Его другъ Эврипидъ посвятилъ (если мы не ошибаемся) его смерти нѣсколько строчекъ въ трагедіи „Паламедъ“ (поставленной весною 415 г.): „Да, вы убили его, всемудраго, безвиннаго соловья музъ“.

Протагоръ, котораго самого называли „мудростью“, напоминаетъ изобрѣтательнаго Паламеда, которому завидуютъ за его мудрость и который гибнетъ жертвой гнусаго обвиненія. Однако намъ трудно составить себѣ ясное представленіе о томъ, что именно вызывало удивленіе современниковъ. Матеріалы, изъ которыхъ мы должны построить образъ этого замѣчательнаго чловѣка слѣдующія: отрывки, едва достигающія двадцати строкъ, толкованіе которыхъ служить предметомъ ревностнаго спора,

свидѣтельства, въ значительной степени окрашенные нерасположеніемъ къ Протагору, подборъ частью сомнительныхъ, частью непоятныхъ сообщеній, переданныхъ рукою ужаснаго компилятора, затѣмъ блестящая характеристика Платона, но имѣющая полемическую цѣль, и рядомъ съ нею противорѣчащія ей же сообщенія Платона, въ которыхъ спутано фактическое и постулируемое, серьезное и шуточное.

2. Прежде всего Протагоръ былъ искуснымъ и прославленнымъ учителемъ. Въ качествѣ такового онъ посвятилъ себя проблемѣ воспитанія. Высказываемыя имъ по этому вопросу сужденія обнаруживаютъ умъ свободный отъ односторонности и крайне уравновѣшенный. „Для ученія нужны и природныя задатки и упражненіе; мы должны учиться съ юности.—Ни теорія безъ практики, ни практика безъ теоріи не имѣютъ значенія.—Образованіе не даетъ ростка въ душѣ, если не доходить до извѣстной глубины“. Такъ гласятъ немногіе изъ сохранившихся отрывковъ, изъ которыхъ послѣдній поразительно напоминаетъ глубокое изреченіе Евангелія (Матѣ. 13,5). Протагоръ первый ввелъ въ преподаваніе грамматику. Однимъ изъ поразительныхъ фактовъ греческой умственной жизни было то, что до него не было ни одной, хотя бы самой скромной, попытки различать и расчленять формы языка и сводить ихъ къ основнымъ положеніямъ. Правда, самыя грубыя различія, вродѣ различія между глаголомъ и существительнымъ, были отмѣчены языкомъ; но даже и эти элементарныя понятія не были точно установлены и не употреблялись достаточно послѣдовательно. Что такое нарѣчіе или предлогъ? каковы правила пользованія наклоненіями или временами?—обо всемъ этомъ ни Пиндаръ, ни Эсхилъ не слышали ни одного слова. Искусство владѣнія языкомъ достигло своего апогея и въ то же время не было сдѣлано даже попытки отдать себѣ отчетъ въ правилахъ языка. Здѣсь не мѣсто обсуждать вопросъ, насколько такое положеніе свидѣтельствуетъ о томъ, въ какой мѣрѣ примѣненіе языка независимо отъ сознательнаго усвоенія этихъ нормъ и въ какой мѣрѣ необходимо и полезно стараться освѣщать умъ ребенка грамматически-логическими абстракціями. Въ ту эпоху, когда пробудившаяся жажда знанія стремилась упорядочить всякій матеріалъ доступный познанію и всюду искала основаній и правилъ, было вполне естественно и своевременно сдѣлать предметомъ наблюденія само орудіе мысли и

ея передачи. Свои грамматическія изслѣдованія Протагоръ соединилъ въ одну книгу подъ названіемъ „Правильность рѣчи“. Это названіе указываетъ приблизительно, къ чему онъ стремился. Онъ былъ столь же далекъ отъ единственно плодотворнаго историческаго метода изслѣдованія языка, какъ вся древняя наука. Но и кодификація правилъ языка представляла благодарную почву для дѣятельности. Въ эту гордую своимъ умомъ эпоху и такое предпріятіе необходимо сопровождалось реформаторскими попытками. Познаніе извѣстной нормы языка вело къ вопросу объ основаніи этой нормы или о намѣреніи, которое руководило законодателемъ языка (ибо таково было въ ту эпоху господствующее воззрѣніе). Это намѣреніе, какъ оказывалось, было выполнено не вполне послѣдовательно; въ этомъ случаѣ устраненіемъ мнимыхъ отклоненій пытались возстановить дѣло законодателя въ его первоначальной чистотѣ на подобіе того, какъ очищаютъ отъ ошибокъ переписчиковъ испорченный текстъ. Повидимому въ этомъ смыслѣ Протагоръ, котораго мы имѣемъ полное основаніе причислить къ защитникамъ условной теоріи (стр. 338), и занимался проблемами языка. Познаніе язычныхъ нормъ получаемое изъ наблюденія и основанное на немъ руководство къ правильному употребленію языка—это и составляло по всей вѣроятности главное содержаніе книги; въ нее же вошли нѣкоторыя попытки реформы языка. Онъ первый указалъ на различія временъ глаголовъ и на формы предложеній. Послѣднія онъ называлъ „основами“ рѣчи и различалъ „желаніе, вопросъ отвѣтъ, приказаніе“. Эти четыре формы предложеній выражались, по его мнѣнію, четырьмя наклоненіями глагола, которыя мы называемъ желательнымъ, сослагательнымъ, изъявительнымъ и повелительнымъ (въ одномъ случаѣ здѣсь была натяжка). Онъ повидимому охотно приводилъ изъ Гомера примѣры этихъ и другихъ правилъ и указывалъ на ошибки, которыя, какъ ему казалось, онъ находилъ. Не случайность, что изъ трехъ грамматически-критическихъ замѣчаній намъ извѣстныхъ два относятся къ первымъ словамъ первой строки Иліады. Ему могло доставлять удовольствіе находить недостатки языка въ самомъ хваленемъ поэтическомъ произведеніи, подвергшемся такой рѣзкой критикѣ Ксенофана со стороны содержанія. Повелительное наклоненіе въ фразѣ „Гнѣвъ, о богиня, воспой“ употреблено неправильно, такъ какъ поэтъ обращаетъ къ музѣ не повелѣніе, а просьбу. Затѣмъ слово „ménis“, означающее по гречески „гнѣвъ“, употреблено въ

женскомъ родѣ, тогда какъ ему подходитъ мужской родъ. О смыслѣ этого замѣчанія можно только строить догадки. Вѣроятно его правильно понимали въ томъ смыслѣ, что аффекту гнѣва свойственны скорѣе мужскія, нежели женскія черты. Очень мало вѣроятно, чтобы Протагоръ хотѣлъ произвести смѣлую попытку совершенно реформировать родовое обозначеніе существительныхъ во всемъ греческомъ языкѣ. Такая попытка оставила бы больше слѣда, чѣмъ одно мимоходное замѣчаніе Аристотеля объ одномъ только словѣ. Въ дѣйствительности дѣло могло обстоять слѣдующимъ образомъ.

Ни въ какой части языка не сохранились такъ ясно слѣды процесса роста языка, какъ въ грамматическомъ родѣ существительныхъ неодушевленныхъ. То удивительное обстоятельство, что многія семейства языковъ смотрятъ на неживое какъ на одушевленное, а потому какъ на мужское или женское, обуславливается, если это толкованіе правильно, тѣмъ же стремленіемъ къ одушевленію и персонификаціи, которое какъ мы видѣли (стр. 13) играетъ такую большую роль въ началѣ образованія религій. При персонификаціи играетъ большую роль поразительно тонкое чувство аналогіи, которому движущееся, дѣятельное, нервное, плотное, острое, крѣпкое представляется какъ мужское, а покоящееся, страдающее, кроткое, нѣжное, широкое и мягкое какъ женское. Рядомъ съ этой аналогіей чувства существовала еще аналогія формъ языка и оба эти вліянія перекрещивались. Если извѣстное окончаніе существительнаго было однажды присвоено одному роду, то новое образованіе съ тѣмъ же окончаніемъ относили къ этому роду, часто не принимая въ соображеніе его чувственного содержанія. Въ другихъ случаяхъ и въ особенности въ эпоху еще свѣжей творческой силы языка вліяніе содержанія превышало вліяніе формъ. Отсюда масса путающихъ исключеній изъ правилъ, основанныхъ частью на общности чувственного содержанія, частью на общности формъ, и приводящихъ въ отчаяніе нашихъ школьниковъ. Протагоръ былъ сыномъ эпохи просвѣщенія и потому былъ безучастенъ къ продуктамъ наивнаго творчества сѣдой старины (ср. стр. 333); съ характернымъ для него стремленіемъ къ разсудительности и правильности онъ пытался внести порядокъ и въ эту запутанность. Вотъ примѣръ его критики въ этомъ вопросѣ: онъ находилъ, что слово „шлемъ“ (πέλις) должно употребляться въ мужескомъ родѣ. Очень мало вѣроятно, чтобы онъ опирался въ данномъ случаѣ на правило, согласно

которому всё существительныя обозначающія принадлежности войны как занятія мужчинъ должны быть мужскаго рода. Имъ могло руководить болѣе скромное соображеніе. Окончаніе *x* по правилу есть признакъ женскаго рода, но не исключительно. Среди исключеній есть нѣсколько словъ, обозначающихъ части вооруженія. Основаніе для этихъ трехъ исключеній онъ видѣлъ въ томъ, что есть общаго въ ихъ значеніи, и хотѣлъ подвести подъ это исключеніе и четвертое слово относящееся къ той же категоріи. И въ отношеніи вышеупомянутаго слова „*ménis*“ его требованіе подкрѣплялось соображеніемъ, что окончаніе *is* вовсе не исключительно присуще женскимъ существительнымъ. Имѣла ли насмѣшка Аристофана, которую справедливо относили къ реформистскимъ стремленіямъ нашего софиста, фактическое основаніе или нѣтъ,—это остается неизвѣстнымъ. Въ этомъ случаѣ Протагоръ хотѣлъ, очевидно, восполнить недостатокъ языка, при которомъ слово соотвѣтствующее нашему „пѣтухъ“ употреблялось въ обоихъ родахъ, новымъ образованіемъ по аналогіи съ образованіями „зайчиха“ отъ „зайца“, „ослица“ отъ „осла“, какъ если бы мы сказали „пѣтушиха“.

3. Съ понятіемъ правильности, какъ руководящимъ понятіемъ Протагора, мы встрѣчаемся и въ другихъ областяхъ его дѣятельности. Одно изъ сочиненій, въ которомъ онъ трактуетъ объ этикѣ (какъ именно онъ разбираетъ этические вопросы, мы не знаемъ, но по всей вѣроятности не очень оригинально, не удаляясь отъ общегреческаго типа) носило заглавіе: „О неправильномъ поведеніи людей“. Другая морально философская его книга называлась: „Повелительное слово“,—заглавіе подходящее къ той догматической самоувѣренности, какою его надѣляетъ Платонъ, давая его характеристику. Содержаніе его сочиненія „О государствѣ“ намъ совершенно неизвѣстно. Можетъ быть онъ касался здѣсь тѣхъ вопросовъ уголовного права, которыми мы сейчасъ займемся, вопросовъ о томъ, кто „согласно правильному мнѣнію“ является дѣйствительно виновнымъ. Мы можемъ напомнить здѣсь о насмѣжкѣ Платона надъ стремленіемъ Протагора свести все человѣческое поведеніе и всё поступки къ искусствамъ, т. е. къ системамъ правилъ; мы можемъ сопоставить съ этимъ двѣ фразы изъ вышеупомянутаго сочиненія „Объ искусствѣ“. мысли и выраженія котораго часто напоминаютъ намъ Протагора: „Но гдѣ для правильнаго и неправильнаго указаны границы,

какъ же то не искусство? Ибо не искусствомъ я называю то, гдѣ лѣтъ ни правильнаго, ни неправильнаго“. То сильное стремленіе къ рациональному пониманію и рационализированію всѣхъ сторонъ жизни, которое является характернымъ признакомъ всей эпохи и которое достигло высшаго выраженія въ сократизмѣ, было уже очень дѣйственно и живо у Протагора. Оно побудило его вынести на судъ разума какъ созданія права, такъ и созданія языка. Что мы знаемъ о немъ съ этой стороны, не велико, но очень замѣчательно.

Аѣинскіе злые языки съ удовольствіемъ рассказывали о четырехчасовомъ разговорѣ государственнаго человѣка, управляющаго Аѣинами, съ чужестранцемъ софистомъ; тема разговора казалась не была достойной занимать время и интересъ по крайней мѣрѣ перваго изъ двухъ. Одинъ изъ участниковъ въ военной игрѣ нечаянно копьемъ убилъ своего товарища. И вотъ Периклъ и Протагоръ разсуждаютъ якобы цѣлый день о томъ, кто заслуживаетъ наказанія: устроитель ли игрѣ, метатель ли копья или наконецъ само копьѣ. Намъ удивляетъ прежде всего третья возможность рѣшенія и заставляетъ на первый взглядъ предполагать въ этомъ прекрасно засвидѣтельствованномъ сообщеніи злую шутку. Однако именно это и даетъ ключъ къ пониманію. Осужденіе безжизненныхъ предметовъ намъ представляется нелѣпностью какъ и осужденіе животныхъ. Но въ древнее время и не только у грековъ разсуждали иначе. Процессы животныхъ знаетъ какъ греческое право, такъ и римское, какъ древне-норвежское, такъ и древне-персидское, какъ еврейское, такъ и славянское. Всѣ средніе вѣка полны такими процессами, они встрѣчаются и значительно позже. Французскіе судебные акты сообщаютъ намъ о быкахъ и свиньяхъ, окончившихъ жизнь на висѣлицѣ въ пятнадцатомъ, шестнадцатомъ, даже въ началѣ семнадцатаго столѣтія.

Послѣдніе отзвуки обычая, сохраняющагося на востокѣ еще теперь, относятся къ 1793 и 1845 годамъ. Когда ученый юристъ того времени Камбасересъ, занятый въ ту пору реформой юстиціи, присутствовалъ въ гостинницѣ „боа быковъ“ въ Парижѣ при исполненіи приговора революціоннаго трибунала 27 Брюмера II года надъ собакой—то его удивленіе врядъ ли было сильнѣе, чѣмъ удивленіе греческаго софиста, когда онъ видѣлъ какъ въ Аѣинахъ очищали оружіе и другіе предметы, причинившіе смерть кому нибудь, и относили ихъ съ торжественной церемоніей на границу страны. Поэтому вполне понятно, что этотъ

разговоръ касался именно этого вопроса. Правда онъ можетъ быть вышелъ за предѣлы его. „Это былъ споръ“—такъ высказалъ Гегель— „о большомъ и важномъ вопросѣ о вѣнненіи“. Мы думаемъ, что дѣло идетъ о еще болѣе важномъ вопросѣ, о цѣ ли наказанія. Какъ разъ Протагоръ могъ ухватиться за такой случай крайней безразсудности или „неправильности“ (какъ онъ бы сказалъ) для разсужденія постепенно приводящаго къ важнымъ вопросамъ; онъ могъ при этомъ случаѣ изслѣдовать цѣнность и сущность примѣняемаго уголовного права, могъ обнаружить главные его мотивы, желаніе возмездія и потребность искупленія, могъ связать съ этимъ вопросъ о томъ, дозволительно ли на этихъ основаніяхъ причинять сильное страданіе членамъ общества; наконецъ онъ могъ искать болѣе прочной основы для уголовного права. Гдѣ онъ нашелъ эту основу и что составило позитивное зерно его предложенія, объ этомъ мы можемъ говорить не только предположительно. Ибо когда Платонъ влагаетъ въ уста Протагору въ діалогѣ, носящемъ то же имя, опредѣленный протестъ противъ одного только грубаго возмездія за содѣянную несправедливость и заставляетъ его проповѣдывать теорію устрашенія, то намъ начинаетъ казаться, что мы стоимъ въ домѣ Перикла, слушаемъ серьезную и оживленную бесѣду, и мы полагаемъ, что лучше понимаемъ ея смыслъ, чѣмъ передатчики этого сообщенія, Ксантипъ, выродившійся сынъ великаго государственнаго человѣка, и извѣстный силетникъ памфлетистъ Стезимбротъ.

4. Какъ относился сильный критическій умъ Протагора къ проблемамъ теологіи? Точный отвѣтъ на этотъ вопросъ поглотило первое литературное ауто-да-фэ. Намъ сохранилась лишь первая фраза, стоящая въ самомъ началѣ этой книги: „О богахъ не могу знать ни то, что они есть, ни то, что ихъ нѣтъ; ибо многое мѣшаетъ знать это, неясность предмета и краткость человѣческой жизни“. Здѣсь у насъ возникаетъ масса вопросовъ и прежде всего слѣдующій: Каково можетъ быть содержаніе книги, первая фраза которой объявляетъ предметъ ея недоступнымъ человѣческому познанію и этимъ, какъ будто, устраняетъ вопросъ? Намъ остается лишь возможно внимательнѣе вчитаться въ эти слова и возможно точнѣе истолковать ихъ. Прежде всего бросается въ глаза два раза употребленное слово „знать“, какъ бы подчеркнутое повтореніемъ. Знать и вѣрить,—эти два понятія въ той области, о которой сейчасъ идетъ рѣчь, древніе различали

такъ же строго, какъ мы привыкли это дѣлать. Врядъ ли нужно напоминать опредѣленное и послѣдовательное дѣленіе Парменида на „познаніе“ и „мнѣніе“ (сравни стр. 157 и 180). Даже обычный языкъ обозначалъ религіозныя убѣжденія и прежде всего принятіе существованія Бога словомъ (*nomizein*), неимѣющимъ ничего общаго съ понятіемъ научнаго познанія. Такимъ образомъ, слѣдуя указанію Христіана Августа Лобека, мы должны утверждать, что не вѣра въ боговъ, а познаніе боговъ составляетъ тему этого разсужденія. Вообще многія соображенія заставляютъ признать крайне невѣроятнымъ, чтобы Протагоръ могъ нападать или хотя бы только подвергать сомнѣнію вѣру въ боговъ. Платонъ разсказываетъ о томъ своеобразномъ приѣмѣ, съ помощью котораго софистъ уклонялся отъ всякаго спора о высотѣ приличествующаго ему гонорара. Когда по окончаніи ученія юноша отказывался выплатить требуемый гонораръ, то Протагоръ велъ его въ храмъ и заставлялъ тамъ подъ клятвою объявить, какъ высоко онъ самъ опѣниваетъ полученныя наставленія. Аргументомъ въ пользу приведеннаго мнѣнія можетъ служить также разсказъ Протагора о происхожденіи человѣческаго общества въ діалогѣ Платона. По крайней мѣрѣ очень мало вѣроятно, чтобы такой умѣлый въ характеристикѣ писатель вложилъ въ уста человѣку, который оказался въ концѣ своей жизни противникомъ почитанія боговъ, мнѣе, не только отъ начала до конца трактующій о богахъ и ихъ вторженіи въ человѣческую судьбу, но заключающій также слѣдующую фразу: „Такъ сдѣлавшись причастнымъ божественному удѣлу, человѣкъ во первыхъ (черезъ сродство съ божествомъ) одинъ между животными сталъ признавать боговъ и принялся воздвигать имъ алтари и священныя изображенія“ Такимъ образомъ все приводитъ насъ къ тому выводу, что въ указанномъ отрывкѣ рѣчь идетъ не о вѣрѣ въ боговъ, а о научномъ познаніи или познаніи ихъ бытія разумомъ. Слово, переданное нами словомъ неясность, имѣетъ особый оттѣнокъ; прежде всего оно выражаетъ противоположность доступному чувствамъ. Въ этой связи указаніемъ на неясность какъ на препятствіе для познанія Протагоръ хочетъ сказать ни болѣе, ни менѣе какъ то, что боги не составляютъ предмета прямого чувственнаго воспріятія. Но гдѣ воспріятіе недоступно намъ, тамъ мѣсто его заступаетъ умозаключеніе. Указаніе на краткость человѣческой жизни имѣетъ тотъ смыслъ, что за наше краткое существованіе мы не получаемъ достаточно опытаго матеріала, чтобы вы-

вести заключеніе, подкрѣпляющее или отвергающее существованіе боговъ. Вотъ то, что можно съ увѣренностью вывести изъ этого отрывка. Все остальное—область предположенія. Для послѣдняго мы лишь тогда имѣли бы сколько-нибудь прочную точку опоры, если бы знали, какія попытки доказательствъ современниковъ въ пользу и противъ бытія боговъ имѣлъ въ виду Протагоръ, указывая на ихъ несостоятельность и рекомендуя воздерживаться отъ сужденія. Самонадѣянности утвержденія и отрицанія онъ противопоставлялъ тѣсныя границы человѣческаго познанія и этимъ отмѣтилъ важный этапъ въ исторіи развитія научнаго духа. Можетъ быть онъ согласился бы съ тѣмъ, что написалъ Ренанъ незадолго до своей смерти (1892): „Мы ничего не знаемъ; это все, что мы можемъ опредѣленно утверждать о томъ, что лежитъ за предѣлами конечнаго. Не будемъ ничего утверждать, не будемъ ничего отрицать, будемъ надѣяться“.

5. Отъ теологіи къ метафизикѣ одинъ только шагъ. И здѣсь намъ извѣстна лишь одна фраза, которая должна намъ замѣнить знакомство съ цѣлой книгой. Приводятъ три различныхъ ея заглавія: „О сущемъ“, „Истина“ и „Ниспровергающія рѣчи“. Послѣднее заглавіе обнаруживаетъ, что сочиненіе въ значительной степени было посвящено полемикѣ, и мы не вполне лишены свѣдѣній о ея цѣляхъ. Одинъ изъ позднѣйшихъ читателей древности, неоплатоникъ Порфірій († скоро послѣ 300 г. по Р. Х.) сообщаетъ самъ, что стрѣлы полемики Протагора были направлены на элейцевъ. Единственная сохранившаяся фраза, стоявшая въ началѣ книги, гласитъ такъ: „Человѣкъ есть мѣра всѣхъ вещей существующихъ, что онѣ существуютъ, и несуществующихъ, что онѣ не существуютъ“. Стилистическое родство этого метафизическаго отрывка съ теологическимъ бросается въ глаза и онъ также требуетъ объясненія. Прежде всего нужно установить, каковъ не можетъ быть смыслъ этого важнаго и къ сожалѣнію совершенно обособленнаго фрагмента. Онъ не можетъ имѣть этического значенія, не можетъ быть лозунгомъ моральнаго субъективизма, чѣмъ онъ нерѣдко становился въ рукахъ популяризаторовъ. Ибо ни точныя слова этой фразы, ни полемическое направленіе ея противъ ученія элейцевъ о единствѣ не даютъ ни малѣйшаго основанія для такого толкованія. Положеніе о человѣкѣ, какъ мѣрѣ вещей (Homo-mensura-Satz какъ

говорять нѣмцы), безъ всякаго сомнѣнія имѣлъ теоретико-познавательный смыслъ. Затѣмъ „человѣкъ“, противопоставляемый совокупности вещей, не можетъ быть индивидуумомъ, а лишь человѣкомъ вообще. Не нужно доказывать, что именно такое толкованіе наиболѣе естественно и что его приметъ безпристрастный читатель. Такимъ читателемъ былъ, наир., Гёте, который, только вскользь прочитавъ изреченіе Протагора, своимъ инстинктомъ генія лучше понялъ его, чѣмъ многіе истолкователи. „Мы можемъ—писатьъ Гёте—наблюдать природу, мѣрять ее, вычислять, взвѣшивать, какъ хотимъ; все же это только наша мѣра и нашъ вѣсъ, какъ человѣкъ есть мѣра вещей?“

Это рѣшеніе въ пользу не индивидуальнаго, а общаго смысла достигаетъ полной увѣренности, если прибѣгнуть къ строгой аргументаціи. Ибо если кто изъ писателей-специалистовъ придерживается прежняго индивидуалистическаго толкованія, недавно только серьезно поколебленнаго, тотъ необходимо долженъ избрать одинъ изъ двухъ путей, которые мы должны въ равной мѣрѣ признать ошибочными. Если одинъ изъ этихъ путей логически возможенъ, то онъ не возможенъ грамматически; другой, будучи возможнымъ грамматически, не допустимъ логически. Если бы Протагоръ хотѣлъ признать мѣрой всѣхъ вещей индивидуума, то онъ долженъ былъ бы имѣть въ виду либо свойства, либо существованіе вещей. Первое изъ этихъ предположеній мы не считаемъ вполнѣ недопустимымъ. Вѣдь индивидуальныя различія чувственнаго воспріятія начали уже обращать вниманіе философовъ того времени. Однако эта интерпретація безусловно падаетъ благодаря греческому словечку, которое мы вмѣстѣ со многими освѣдомленными толкователями передаемъ словомъ „что“, а не „какъ“, и которое и не можетъ быть передано иначе, какъ это неоспоримо доказывается многочисленными параллельными мѣстами, въ томъ числѣ вышеприведеннымъ отрывкомъ изъ книги о богахъ. Можно указать еще на то, что иначе отрицательная часть фразы („несуществующихъ, какъ они не суть“) была бы лишена всякаго разумнаго смысла; ибо какой смыслъ спрашивать объ отрицательныхъ свойствахъ вообще несуществующаго? Наконецъ третье и послѣднее: присутствіе этого положенія въ самомъ началѣ книги, обобщающія выраженія употребляемая при этомъ („мѣра всѣхъ вещей..“), большое значеніе, очевидно придаваемое ему его авторомъ, все это говорить не въ пользу того, что эта фраза была посвящена про-

возглашенію хотя и не безсодержательной, но все же подчиненной и частной истины, индивидуальнымъ различіямъ чувственныхъ ощущеній (медь имѣеть горькій вкусъ для страдающаго желтухою и т. п.). Что касается второй возможности индивидуалистическаго толкованія, то здѣсь дѣло рѣшается слѣдующимъ простымъ соображеніемъ. Какое значеніе можетъ имѣть, что человѣческой индивидуумъ объявляется канономъ или масштабомъ существованія вещей? Если это можетъ имѣть какое-нибудь значеніе, то только какъ полное отрицаніе познаваемой объективной дѣйствительности. Въ этомъ случаѣ это было бы мало удачнымъ выраженіемъ той теоретико-познавательной точки зрѣнія, которую мы теперь называемъ феноменалистической; въ древности ее представляла та сократовская школа, которая по мѣсту своего пребыванія, въ африканской Киренѣ, называется Киренской. При этой точкѣ зрѣнія нѣтъ мѣста ни для „вещей“, ни для понятія объективнаго бытія или вообще существованія, здѣсь существуютъ только субъективныя „впечатлѣнія“. Но что ученіе Протагора совершенно не совпадаетъ съ ученіемъ Аристиппа и его учениковъ—это несомнѣнно и по внѣшнимъ, и по внутреннимъ причинамъ. Подведемъ итогъ. Знаменитый и возбуждавшій споры отрывокъ, стоявшій въ началѣ „Ниспровергающихъ рѣчей“, высказываетъ теоретико-познавательное положеніе. „Человѣкъ“ не есть здѣсь тотъ или иной экземпляръ вида, не Иванъ или Петръ, не индивидуумъ, а человѣкъ вообще; положеніе это имѣеть общее, а не индивидуальное значеніе. Наконецъ человѣкъ ставится мѣрою не свойствъ вещей, а ихъ существованія. Дальнѣйшее разъясняетъ намъ свидѣтельство Порфирія о томъ, что полемика Протагора направлена противъ элейцевъ. Въ этомъ смыслѣ прежде всего нужно вспомнить о ближайшемъ современникѣ Протагора, о Мелиссѣ. И вотъ оказывается, что въ „положеніи Мелисса“ (стр. 144 и 146) мы имѣемъ точную соотносительную противоположность отрывку Протагора. Элейское отрицаніе свидѣтельствъ чувствъ приобрѣтаетъ у Мелисса особенно рѣзкую форму: „Итакъ оказывается, что мы не видимъ и не познаемъ существующее (собственно: существующія)“. Этому огульному отрицанію реальности чувственнаго міра Протагоръ противопоставляетъ столь же огульное утвержденіе его. Человѣкъ или природа человѣка есть мѣрило существованія вещей. Это значитъ: только дѣйствительное можетъ быть нами воспринято; не-

дѣйствительное не можетъ быть предметомъ воспріятія. И въ этихъ мысляхъ (мы не знаемъ, какъ обоснованныхъ) присутствуетъ повидимому побочная мысль, сквозящая въ этомъ подчеркиваніи слова „человѣкъ“: мы, люди, не можемъ пробить грани нашей природы; достижимая для насъ истина должна лежать въ предѣлахъ этой природы. Если мы отрицаемъ свидѣтельство нашихъ способностей воспріятія, то по какому праву мы довѣряемъ другимъ нашимъ способностямъ? и прежде всего, гдѣ найдемъ мы тогда матеріалъ для воспріятія? Больше того: гдѣ искать намъ тогда критерій истины и какой смыслъ будутъ имѣть слова „истинный“ и „неистинный“, если мы отбросимъ только для насъ существующую, человѣческую истину?

Въ болѣе строгой связи съ положеніемъ Мелисса и въ болѣе рѣзкой антитезѣ къ нему находится положеніе Протагора въ уже много разъ упомянутомъ сочиненіи „Объ искусствѣ“, гдѣ оно приняло слѣдующую формулировку. „Сущее“ (вѣрнѣе, суція) „всегда и видится и познается; а не-сущее“ (вѣрнѣе, не-суція) „никогда не видится и не познается“. Какъ можешь ты, такъ, примѣрно, возглашаетъ авторъ Мелиссу, утверждать, что вещи, которыя мы воспринимаемъ, недѣйствительны? Какъ могло бы недѣйствительное восприниматься нами? „Ибо, если“—здѣсь идутъ собственные слова автора непосредственно предшествующія этой фразѣ—„не-сущее можно также видѣть, какъ и сущее, то я не знаю, какъ можетъ кто либо считать это не-сущимъ, если только его можно видѣть глазами или познавать умомъ какъ сущее. Но это не такъ, а сущее“ и т. д. (смотри выше). Въ этомъ крайне замѣчательномъ мѣстѣ мысль автора приобретаетъ легкій уклонъ къ релятивизму или феноменализму. Онъ твердо вѣритъ, что нашимъ воспріятіямъ всегда соответствуетъ нѣчто воспріятое, объективное. Однако если бы вопреки всякому ожиданію это не оправдалось, даже тогда, такъ думаетъ онъ, человѣкъ долженъ былъ бы успокоиться на томъ, что ему даютъ его способности воспріятія. Это будетъ (такъ должны мы дополнить его мысль) единственная ему доступная, относительная или человѣческая истина. „Но это не такъ!“ Этимъ отъ внезапно освѣтившаго его релятивистскаго возрѣнія онъ снова поворачиваетъ на дорогу стараго болѣе наивнаго міросозерцанія.

Эта реабилитация свидѣтельствъ чувствъ создала между Протагоромъ и естествоиспытателями отношеніе прямо противополо-

ложное тому, которое создалось между этими послѣдними и „противоестественникомъ“ и „неподвижникомъ“ Меллисомъ (сравни стр. 144). Въ дѣйствительности въ сочиненіи „Объ искусствѣ“ мы находимъ не только положеніе о человѣкѣ какъ о мѣрѣ вещей, но и другія основныя ученія строго эмпирическаго метода и міровоззрѣнія. Но объ этомъ позже; здѣсь же только одно замѣчаніе. Единственное скудное свидѣтельство, которое мы имѣемъ о занятіи Протагора математикой (о чемъ онъ написалъ книгу), сообщаетъ также нѣчто объ эмпирическомъ направленіи его мысли. „Линейка (или нарисованная касательная) касается круга не въ одномъ пунктѣ—на это указалъ Протагоръ въ томъ мѣстѣ, гдѣ онъ спорить съ геометрами“. Приблизительно такъ выражается Аристотель, подкрѣпляя свое непосредственно предшествующее замѣчаніе: „Ибо и чувственно воспринимаемыя линіи не таковы, какъ ихъ представляетъ геометръ; ибо ничто чувственно воспринятое не такъ прямо и не такъ криво“. Это значитъ, говоря словами Д. С. Милля,—„нѣтъ дѣйствительныхъ вещей, вполне отвѣчающихъ (геометрическимъ) опредѣленіямъ; нѣтъ точекъ безъ протяженія, нѣтъ линіи безъ толщины, нѣтъ совершенно прямыхъ линій, нѣтъ круга, всѣ радіусы котораго были бы равны“ и т. д. Въ этомъ вопросѣ не было разногласія у представителей самыхъ различныхъ мнѣній. Споръ начинается при дальнѣйшемъ вопросѣ, заимствованы ли опредѣленія геометріи изъ чувственнаго міра и суть ли они абстракціи только приблизительно истинныя, но отвѣчающія цѣлямъ науки, или они сверхчувственного происхожденія и сами по себѣ обладаютъ строгой истинностью. Врядъ ли можно сомнѣваться, что Протагоръ придерживался перваго взгляда, что онъ даже первый его высказалъ и сталъ такимъ образомъ предшественникомъ тѣхъ мыслителей, которые, какъ въ XIX столѣтіи Лесли, Гершель, Милль и наконецъ Гельмгольцъ, утверждали опытное происхожденіе геометрическихъ познаній, аксіомъ и опредѣленій.

Въ пользу такого толкованія взгляда нашего софиста говорить и Платоновское толкованіе положенія о человѣкѣ какъ о мѣрѣ вещей. Онъ находитъ это положеніе вполне тождественнымъ тезѣ: „познаніе есть чувственное воспріятіе“, или: всякое знаніе основывается на такомъ воспріятіи. Но дальше мы уже не должны полагаться на свидѣтельство Платона на томъ простомъ основаніи, что остальные его, относящіяся сюда, замѣчанія не суть свидѣ-

тельства, а попытки вывести слѣдствія, дѣйствительно или мнимо содержащіяся въ положеніи Протагора. Если чувственныя воспріятія, такъ приблизительно заключаетъ Платонъ, совершенно истинны, а воспріятія одного индивидуума часто рознятся отъ воспріятія другого, то изъ этого положенія вытекаетъ, что изъ противоположныхъ воспріятій получаются одинаковыя истины. И далѣе, такъ какъ Протагоръ вмѣстѣ съ большею частью своихъ современниковъ не различалъ повидимому достаточно строга дѣйствительныхъ воспріятій отъ выводовъ изъ нихъ получаемыхъ, то изъ положенія Протагора Платонъ выводитъ дальнѣйшее слѣдствіе, что и противоположныя мнѣнія обладаютъ одинаковою истинной, что, говоря короче, „для всякаго истинно то, что ему кажется истиннымъ!“ И вотъ мы и получимъ осмѣянное мнимо Протагоровское ученіе, которому оказываютъ еще большую честь, называя его крайнимъ субъективизмомъ или скептицизмомъ. Скорѣе его можно назвать крайнимъ сумасбродствомъ. Оно нарушаетъ всякое мышленіе, всякую правильность жизни, всякое преподаваніе, всякую науку, всякое ученіе. И однако этотъ мнимый отрицатель всякой объективной истины, и вмѣстѣ съ тѣмъ всѣхъ общеобязательныхъ нормъ, былъ больше чѣмъ четыре десятилѣтія посѣщаемымъ и высокопочитаемымъ учителемъ, прославленнымъ ораторомъ и писателемъ; онъ не только выставилъ цѣлый рядъ позитивныхъ принциповъ, онъ далъ имъ яркое выраженіе и возвѣщалъ ихъ какъ пророкъ. Онъ пытался установить законы въ самыхъ различныхъ областяхъ знанія. Различіе правильнаго и неправильнаго, соответствующаго правилу и несоответствующаго играетъ въ кругѣ его мыслей не малое, а скорѣе слишкомъ большое значеніе.

Однако—можетъ спросить тотъ или другой изъ читателей—развѣ мы не слышимъ скептическихъ мыслей изъ устъ самого софиста? Развѣ не обнаружилъ онъ своего сомнѣнія въ существованіи боговъ словами, которыя опредѣленно рисуютъ его умственный укладъ? Совершенно вѣрно. И однако именно этотъ отрывокъ даетъ рѣшительный, недопускающій возраженія, аргументъ, что скепсисъ такого рода, какой Платонъ вычиталъ изъ положенія о человѣкѣ какъ мѣрѣ вещей, совершенно чуждъ его автору. Протагоръ обосновываетъ свое воздержаніе отъ сужденія въ этомъ единичномъ случаѣ фактическими основаніями, лежащими въ основѣ именно этой частной проблемы. Никто до

сихъ поръ (такъ примѣрно говоритъ онъ) не видѣлъ боговъ; но для того, чтобы съ нѣкоторою увѣренностью увидѣть слѣды ихъ дѣятельности въ мірѣ или отрицать таковыя, для этого недостаточно человѣческой жизни, время нашего наблюденія слишкомъ невелико. Поэтому на этотъ вопросъ онъ не можетъ дать ни положительнаго ни отрицательнаго отвѣта. Совершенно инымъ долженъ былъ гласить его отвѣтъ, если бы въ основѣ его мыслей лежала максима: „для всякаго истинно то, что ему кажется истиннымъ“. Тогда отвѣтъ его былъ бы таковъ: Боги существуютъ для тѣхъ, которые въ нихъ вѣрятъ; они не существуютъ для тѣхъ, кто въ нихъ не вѣритъ.

Однако не только скудныя аутентическія фразы софиста опровергаютъ эту конструкцію; самъ Платонъ свидѣтельствуетъ противъ нея. Въ діалогѣ „Протагоръ“ онъ далъ образъ человѣка, конечно вѣрный въ основѣ, хотя и написанный въ рѣзкихъ тонахъ и съ несимпатичнымъ оттѣнкомъ, который не имѣетъ однако ничего общаго съ ложнымъ изображеніемъ того же человѣка въ „Θεεтетъ“. Тому мыслителю, который въ первомъ діалогѣ характеризуется избыткомъ увѣренности и догматической напыщенности, во второмъ случаѣ приписывается отрицаніе всякаго различія между истиной и заблужденіемъ. И надо обратить вниманіе: въ первомъ діалогѣ онъ выводится какъ живой, во второмъ онъ упоминается какъ давно умершій. Тамъ живо воспоминаніе о дѣйствительно видѣнномъ, здѣсь мысль руководится голыми схемами. Тамъ передъ нами лицо, здѣсь—формула. Тамъ созерцаніе, здѣсь умозаключеніе, тамъ живо нарисованная картина, здѣсь тонкое кружево разсужденія. Всякій, кто замѣтилъ это противорѣчіе и кто дѣйствительно знаетъ Платона, не будетъ колебаться въ вопросѣ, гдѣ нужно искать историческую правду и гдѣ Платонъ хотѣлъ ее дать.

Разсмотрѣніе цѣли, которая руководила авторомъ „Θεεтета“, займетъ насъ, когда мы перейдемъ къ разбору этого сочиненія Платона. Однако здѣсь уместны нѣкоторыя замѣчанія. Писаніе діалоговъ создало Платону совершенно своеобразныя трудности. Главнымъ лицомъ своихъ разговоровъ онъ сдѣлалъ Сократа. Однако онъ не хотѣлъ и не могъ отказаться отъ разбора и критики послѣ-сократовскихъ ученій. Правда онъ не особенно старался избѣгать анахронизмовъ. Однако одно было невозможно. Сократъ не могъ выступать противъ ученій, которыя появились послѣ его смерти. Здѣсь нужны были обходы; нужно было выдумать

пріемы, которые бы никогда не ставили въ затрудненіе изобрѣтательный умъ поэта-философа. Одинъ разъ Сократъ узнаетъ объ одной доктринѣ „во снѣ“—только потому, что указанное изображеніе не позволяло, чтобы Сократъ могъ узнать о ней (доктрину эту создалъ его ученикъ Антисоенъ) болѣе обычнымъ способомъ. Также поступаетъ онъ и въ „Фететѣ“. Здѣсь онъ заставляетъ Сократа излагать и оспаривать теорію познанія, которая признается „тайнымъ ученіемъ“ Протагора, очень отличнымъ отъ того, что софистъ открылъ большой массѣ. Принимающій участіе въ разговорѣ, ревностный почитатель Протагора, глубокій знатокъ его метафизическихъ сочиненій, пораженъ этимъ разоблаченіемъ. Однимъ словомъ Платонъ говоритъ своимъ читателямъ настолько ясно, насколько это допускаетъ избранная имъ форма, что онъ прибѣгаетъ къ ф и к ц и . Въ дѣйствительности, какъ это уже давно извѣстно, но еще не всѣми признано, Платону нужно было разобраться съ теоріей Аристиппа. Правда Платонъ, для котораго *nil molitur inepte*, вмѣсто этой фиктивной формы могъ бы прибѣгнуть къ другой, если бы онъ не хотѣлъ указать на внутреннюю связь ученія Аристиппа съ ученіемъ Протагора. Вступленіемъ и необходимой подготовкой къ этой прозрачной мистификаціи является то изложеніе Протагоровскаго положенія о мѣрѣ вещей, о которомъ мы сказали выше. Здѣсь главной задачей Платона было бороться съ трудностями проблемы познанія, причемъ изложеніе и оспариваніе слегка замаскированнаго ученія Аристиппа составляло лишь одинъ шагъ этого длиннаго пути; и такъ какъ упоминаніе о Протагорѣ вызвано лишь художественной необходимостью, то въ задачу Платона совершенно не входили освѣщеніе и оцѣнка исторической его личности. Потому ничто не мѣшало ему, и напротивъ многое требовало, отдѣлить Протагоровское положеніе отъ автора и отъ обстановки; не нужно было спрашивать, какъ авторъ понималъ и примѣнялъ это положеніе, нужно было только вычитать изъ этой формулы, что въ ней содержалось. Было бы неправильно говорить о нарушеніи исторической истины тамъ, гдѣ писатель намѣренно устраняетъ отъ читателя всякую мысль объ исторической точности.

Но произошло неожиданное. Въ этомъ случаѣ, такъ же, какъ и въ отношеніи „софистики“ необычайный авторитетъ „божественнаго Платона“ оказалъ прямо анти-историческое вліяніе. Почти вся древность и все новое время до самого недав-

ного времени принимали Платоновское толкованіе этого положенія за чистую монету. Тамъ и сямъ изъ сообщеній отдѣльныхъ древнихъ писателей проступаетъ иное толкованіе; но большая часть даже не отдавала себѣ труда серьезно разобраться въ маленькомъ отрывкѣ. Это и не удивительно, если уже Тимонъ (незадолго до 300 г. до Р. Х.), судя по его шуточнымъ стихамъ, не постарался грамматически правильно понять отрывокъ о богахъ. Къ пренебрежительному отношенію къ литературѣ софистовъ, отгѣсненной вліяніемъ Платона, къ этому отрицательному фактору, присоединился въ данномъ случаѣ еще позитивно дѣйствующій, Платоновское толкованіе. До самаго послѣдняго времени никто даже не поднималъ вопроса, какъ согласить явное для всякаго противорѣчіе между изображеніемъ „Протагора“ и „Θεετета“, а также отрывка о богахъ и другихъ фрагментовъ съ мнимымъ скептицизмомъ ихъ автора. Наши читатели могутъ удивленно спросить, не повиненъ ли и Аристотель въ столь распространенной ошибкѣ. Мы отвѣтимъ: и да, и нѣтъ! Въ двухъ мѣстахъ своей „метафизики“ онъ упоминаетъ о положеніи homo mensura почти словами Платона въ „Θεεтетѣ“ (и въ „Кратилѣ“, близкомъ по содержанію и по времени и почти дословно повторяющемъ „Θεεтета“). Въ третьемъ мѣстѣ мы находимъ иное пониманіе и иное толкованіе. Здѣсь „человѣкъ“ для него не единственный человѣкъ, а носитель свойствъ рода; индивидуалистическое толкованіе замѣняется здѣсь общимъ. И протагоровская фраза, казавшаяся ему опаснымъ парадоксомъ, уничтожающимъ всякое понятное разъясненіе, представляется теперь ему претенціозной тривиальностью: „Но если Протагоръ говоритъ, что человѣкъ есть мѣра всѣхъ вещей, то это значитъ, что знающій или чувственно воспринимающій есть мѣра; это потому, что одинъ обладаетъ чувственнымъ воспріятіемъ, другой наукой, которыя мы и называемъ мѣрой ихъ предметовъ. Какъ ни ничтожно положеніе Протагора, все же оно кажется очень значительнымъ по содержанію“.

Настоящее изложеніе можно упрекнуть не только въ разрывѣ съ большею частью древнихъ традицій; его можно обвинять въ недостатокѣ полноты. И не безъ нѣкоторой доли основанія. Объ отношеніи Протагора къ проблемамъ теоріи познанія можно сдѣлать еще кой-какія предположенія. Намъ кажется, однако, мало-полезнымъ поднимать второстепенные вопросы, пока не разобранъ главный вопросъ. Только на прочномъ фундаментѣ можно построить гипотетическое сооруженіе. Одно предположеніе намъ

все же хочется высказать. Многія обстоятельства заставляютъ признать крайне вѣроятнымъ, что въ спорѣ съ элеатами и съ ихъ отрицаніемъ свидѣтельствъ чувствъ Протагоръ указывалъ на субъективную истину, на правдивость, или вѣрнѣе, неустрашимость всякаго чувственного ощущенія, что при этомъ онъ достаточно тонко различалъ ощущеніе, воспріятіе, сужденіе воспріятія и сужденіе вообще и благодаря этому, если и не заслужилъ, то далъ поводъ упреку, будто онъ приписываетъ равную истинность всѣмъ представленіямъ или мнѣніямъ,—взглядъ, отъ котораго могло зависѣть дальнѣйшее ложное толкованіе положенія homo-mensura. Но какъ мало ни знаемъ мы о протагоровскомъ ученіи о познаніи, одно безусловно вѣрно. Случилось ли Протагору когда-нибудь или гдѣ-нибудь, въ пылу полемики или запутавшись въ несовершенной тогда психологической терминологіи, высказать что-нибудь, что давало поводъ къ такому обвиненію: сохранившіеся отрывки, несмотря на ихъ скудость, вполне достаточны, чтобы лишить силы предположеніе, что универсальный скептицизмъ могъ, когда бы то ни было, лежать въ основѣ его мышленія.

6. „О всякой вещи существуетъ два противоположныхъ утвержденія“. И этимъ цѣннымъ отрывкомъ воспользовались для той же теоріи, которую мы такъ долго опровергали. При этомъ просмотрѣли, что, если бы это выраженіе имѣло влагаемый въ него смыслъ и было тождественно утвержденію, что всякое мнѣніе одинаково правильно, то говорилось бы не о двухъ утвержденіяхъ, а о безконечномъ числѣ утвержденій. Смыслъ этого фрагмента разъясняется изъ передачи его другомъ Протагора, поэтомъ Эврипидомъ, а также изъ контекста, въ которомъ онъ попадаетъ у Исократъ. Эврипидъ влагаетъ въ уста Амфіону въ „Антиопѣ“: „Искусство оратора умѣетъ возбудить борьбу двухъ рѣчей изъ всякой вещи“. А ораторъ Исократъ считаетъ бесполезнымъ и нелѣпымъ парадоксомъ, которымъ плѣнялись прежнія поколѣнія, утвержденіе, гласящее: „невозможно утверждать двухъ мнѣній относительно одной и той же вещи“. Поэтому въ изреченіи этомъ не нужно искать скептическаго направленія и вообще ничего иного, кромѣ довольно распространенной истины, формулированной еще Дидро: „Во всѣхъ вопросахъ за исключеніемъ математическихъ... существуетъ «за» и «противъ»“. Какъ на „центральную мысль“

первой части книги Милля „О свободѣ“ было справедливо указано на „необходимость „разбирать противоположное всякаго позитивнаго утвержденія, противъ всякаго положенія выставять противоположеніе. Всякому читателю парламентскихъ рѣчей и газетныхъ статей вполнѣ очевидно, насколько бесплодно и подвержено ошибкамъ всякое обсужденіе практическихъ вопросовъ, пока оно ограничивается указаніемъ либо на одни выгодныя, либо на одни невыгодныя стороны какой-нибудь практической мѣры или постановленія; достигъ путемъ дискуссіи удовлетворительнаго рѣшенія слабый умъ человѣка можетъ лишь при равно исчерпывающемъ освѣщеніи вопроса съ двухъ противоположныхъ точекъ зрѣнія. Въ теоретической, какъ и въ практической, области важно не то, „какое мнѣніе можно высказать, а то, можно ли высказать больше въ пользу или противъ этого мнѣнія. Истинное знаніе и дѣйствительно прочныя убѣжденія имѣетъ только тотъ, кто можетъ и опровергнуть противоположное мнѣніе, и успѣшно защитить собственное отъ нападокъ“. Вотъ именно этотъ принципъ, который Милль считаетъ крайне важнымъ и который можно оцѣнить, читая Платона, содержится въ Протагоровскомъ положеніи. Но когда великій софистъ провозглашалъ его, то онъ обращалъ главное вниманіе на пропедевтическое значеніе. Онъ разсуждалъ, можетъ быть, подобно Гёте, который славить магаметанъ за то, что они „начинаютъ преподаваніе философіи ученіемъ, что не существуетъ ничего, о чемъ нельзя высказать противоположнаго; они заставляютъ юношей упражняться въ задачахъ, состоящихъ въ томъ, чтобы находить противоположное мнѣніе для всякаго утвержденія, чѣмъ должно пріобрѣтаться большое искусство мышленія и рѣчи“. Разъ пробужденное сомнѣніе (такъ приблизительно продолжаетъ Гете) влечетъ умъ къ дальнѣйшему изслѣдованію, откуда потомъ уже произойдетъ увѣренность. „Вы видите“, такъ заключаетъ онъ слова, обращенныя къ Эккерману, „что въ этой системѣ нѣтъ недостатка и что со всѣми нашими системами мы не ушли дальше“. Если собесѣдникъ Гёте упоминаетъ, при одобреніи послѣдняго, о грекахъ, „философское воспитаніе которыхъ должно было быть подобнымъ же“—то во главу пособій къ такому воспитанію нужно поставить „Антилогіи“ Протагора.

Къ несчастію, изъ двухъ книгъ знаменитаго творенія мы имѣемъ только одну указанную фразу, по всей вѣроятности, начинавшую эту книгу. О содержаніи книги мы ничего не знаемъ. Лишь изъ одного не цѣликомъ дошедшаго до насъ сообщенія ученаго музы-

канта, Аристоксена, можемъ мы, хотя и не съ полной увѣренностью, заключить, что Платонъ въ значительной мѣрѣ воспользовался этимъ твореніемъ для своихъ остроумныхъ діалектическихъ разсужденій на тему о справедливости, которыя мы читаемъ въ первой книгѣ его „Государства“. Даже если это извѣстіе невѣрно, оно все же не лишено всякой цѣны. Ибо Аристоксень, младшій современникъ Платона, вышедшій изъ его школы, не могъ бы говорить чего-нибудь подобнаго, если бы содержаніе тогда еще не забытыхъ „Антилогій“ не соприкасалось съ темами главнаго сочиненія Платона. Такимъ образомъ „Антилогіи“ навѣрное трактовали въ діалектической формѣ также и этико-политическіе вопросы. Здѣсь Протагоръ былъ послѣдователемъ „изобрѣтателя діалектики“, Зенона. Анекдотическая традиція поставила этого „искуснаго спорщика“ (какъ его называетъ Тимохъ) въ связь съ элейскимъ Паламедомъ. Аргументъ съ зернами переданъ намъ, какъ помнятъ наши читатели (стр. 168), въ формѣ діалога между Зенономъ и Протагоромъ. Къ послѣднему, какъ защитнику достовѣрности свидѣтельства чувствъ, обращаетъ первый, оспаривающій ихъ, свои щекотливые вопросы. Этотъ разсказъ, приписывающій элейцу активную роль, а абдериту пассивную, вполне согласуется съ неспособностью, проявляемой софистомъ при перекрестномъ допросѣ его Сократомъ въ Платоновскомъ діалогѣ; и традиція не приписываетъ ему ни одного логическаго фокуса.

Мы можемъ такимъ образомъ составить довольно опредѣленное представленіе объ его діалектикѣ. Діалектика въ вопросахъ, основателемъ которой былъ Зенонъ, которую разработалъ Сократъ и главнымъ представителемъ которой были сократическіе мегарики была повидимому, чужда Протагору. Его діалектика была болѣе риторическаго характера. Не короткіе вопросы и отвѣты, цѣль которыхъ запутать противника и поставить въ противорѣчіе съ собой, а длинныя рѣчи, слѣдовавшія одна за другой, составляли основу его искусства спора. Прототипомъ такихъ ораторскихъ состязаній были ораторскія игры, оглашавшія залъ суда и трибуны.

Не можетъ быть ни малѣйшаго сомнѣнія, что поэтъ-драматургъ Эврипидъ многое заимствовалъ у Протагора. Вышеприведенные два стиха изъ „Антиопы“ свидѣтельствуютъ о признательности ученика къ учителю. Было бы странно, если бы не испыталъ этого вліянія и тотъ писатель, у котораго мы находимъ бо-

гатство точекъ зрѣнія и удивительное искусство выискивать противоположные интересы и аргументы, и развертывать ихъ передъ нашими глазами. Но не только Ѳукидидь, философъ среди историковъ черпалъ отсюда, изъ этого желѣзистаго источника черпалъ силу и гибкость самъ Платонъ. Этому не должно противорѣчить то обстоятельство, что одинъ изъ позднихъ діалоговъ „Софистъ“ полонъ выпадовъ противъ „антилогикъ“ всякаго сорта. Въ старости Платонъ сурово относился ко всякой діалектикѣ. Въ своемъ послѣднемъ сочиненіи „Законы“ онъ какъ бы распрощался съ нею и ея воспитательную роль замѣнилъ математикой и астрономіей. Если бы „Софистъ“ былъ потерянъ, то эту его часть можно было бы построить а priori. Ибо прежде чѣмъ анти-діалектическая тенденція окончательно возобладала въ умѣ Платона, она должна была побѣдить тамъ, гдѣ она встрѣчала наименьшее сопротивленіе. Въ „Софистѣ“ борьба была направлена противъ Антисѣена. Но онъ углубляетъ критику Антисѣеновскихъ приемовъ діалектической методы тѣмъ, что прослѣживаетъ начало „антилогикъ“ въ прошедшемъ. Здѣсь мы встрѣчаемъ имя Протагора въ такой связи, которая заслуживаетъ нашего полного вниманія.

7. Упрямыми спорщиками (такъ приблизительно говорится тамъ) дѣлаетъ „софистъ“ всѣхъ, кто находится съ нимъ въ общеніи и при томъ во всѣхъ областяхъ: какъ въ вопросахъ о божествѣ, такъ и всего того, что находится на небѣ и на землѣ, по вопросамъ бытія и становленія, а также законовъ и всѣхъ государственныхъ учрежденій. „И въ отношеніи всѣхъ искусствъ“—продолжаетъ участникъ діалога—„и каждаго искусства въ отдѣльности, всякій ищущій найдетъ въ этихъ сочиненіяхъ что возразить противъ всякаго мастера“. „Ты имѣешь въ виду“—гласитъ отвѣтъ—„Протагоровскія писанія объ искусствѣ борьбы и о другихъ искусствахъ“.—„Его сочиненія, милѣйшія, и многихъ другихъ“... Это все, что мы узнаемъ объ этой отрасли писательства Протагора. Изъ подъ его пера какъ видимъ вышли статьи или полемическія рѣчи объ искусствѣ борьбы, о другихъ отдѣльныхъ искусствахъ и одно сочиненіе о всѣхъ искусствахъ. О направленіи мы ничего не узнаемъ изъ этого легкаго намека. Поспѣшность съ которою Платонъ касается и затѣмъ оставляетъ эту тему показываетъ, что она даетъ лишь небольшую опору для его тезы. Важнѣе напомнить о томъ, что въ сочиненіи „Объ

искусствѣ“, многократно упомянутомъ нами, мы имѣемъ образецъ разбираемаго нами литературнаго рода. Это сочиненіе, какъ извѣстно нашимъ читателямъ, написано неизвѣстнымъ софистомъ въ защиту врачебнаго искусства. Оно не лишено грубыхъ ошибокъ и преувеличеній и въ то же время полно діалектической пронипательности и ораторской ловкости. Неудачи медицины оно объясняетъ трудностью ея задачи и бездарностью вѣкоторыхъ ея представителей. Напримѣръ, мы читаемъ тамъ слѣдующее: „Но тѣ, кто обвиняетъ врачей въ томъ, что они не пользуютъ пораженныхъ неисцѣлимыми болѣзнями, требуютъ такимъ образомъ, чтобы они дѣлали и должное и недолжное; это требованіе вызываетъ восхищеніе тѣхъ, которые врачи только по имени и насмѣшку дѣйствительныхъ врачей. Ибо мастера ремесла не нуждаются въ глупыхъ хвалителяхъ и хулителяхъ, но въ такихъ, которые разбираютъ, гдѣ трудъ достигаетъ своей цѣли и гдѣ онъ не достигаетъ ея, и которые замѣчаютъ ошибки, въ какихъ виновны въ однихъ случаяхъ мастера ремесла, а въ другихъ обстоятельства“. Конецъ этого отдѣла гласитъ такъ: „(Лѣченіе ясно обнаруженныхъ болѣзней), открыто не тѣмъ, которые хотятъ заниматься этимъ ремесломъ, а только тѣмъ изъ послѣднихъ, которые это могутъ; могутъ же это только тѣ, природа которыхъ не противится и у которыхъ нѣтъ недостатка въ средствахъ образованія“. Отсюда видно, что и здѣсь нѣтъ недостатка въ выраженіяхъ порицанія „мастерамъ ремесла“ и что единственная характерная черта полемическихъ рѣчей, указанная въ діалогѣ „Софистъ“, присутствуетъ и въ этой сохранившейся намъ рѣчи. Но еще значительнѣе другое. Непосредственно послѣ вышеприведеннаго конца главы слѣдуетъ фраза: „Что касается другихъ искусствъ, то объ этомъ въ другое время въ другой рѣчи“. Такимъ образомъ авторъ имѣетъ въ виду статью посвященную остальнымъ искусствамъ и указываетъ на нее совершенно въ тѣхъ же словахъ, въ которыхъ Платонъ въ „Софистѣ“ говоритъ о такомъ сочиненіи Протагора какъ о существующемъ. Это совпаденіе въ связи съ многими другими обстоятельствами заставляетъ насъ приписать авторство псевдо-Гиппократовской книжки „Объ искусствѣ“ абдерскому софисту. Нашимъ читателямъ уже извѣстно (сравни стр. 361 и 384), что его метафизическое положеніе снова появляется въ этомъ сочиненіи и притомъ съ указаніемъ, на „другія рѣчи“, которыя должны точнѣе освятить его (можетъ быть „Ниспровергающія рѣчи“). Такъ какъ языкъ,

стиль и тонъ книжки подходятъ къ эпохѣ Протагора и даже сходны со стилемъ самого Протагора, вполнѣ до замѣчательныхъ совпаденій съ Протагоровскою рѣчью, изображенною у Платона, то мы думаемъ, что имѣемъ право приписать нашему предположенію значительную степень вѣроятія. Слѣдующее можетъ служить подтвержденіемъ сказаннаго. Разсужденія объ отдѣльныхъ искусствахъ, по свидѣтельству указаннаго выше мѣста изъ „Софиста“ принадлежали разнымъ лицамъ и потому эти совпаденія могутъ казаться необъидительными. Но въ обоихъ случаяхъ рядомъ съ указаніемъ на разсужденія объ отдѣльныхъ искусствахъ упоминается еще общее разсужденіе объ искусствѣ, въ одномъ случаѣ какъ общаніе, въ другомъ какъ уже существующее. Такое совпаденіе не можетъ не обратить нашего вниманія. Правда это можетъ быть былъ противникъ Протагора, выступившій на состязаніе съ нимъ и въ этой области. Но такому предположенію противорѣчитъ совпаденіе основныхъ метафизическихъ возрѣпій. Такимъ образомъ, если не принять тождества авторства, то остается слѣдующая альтернатива. Либо нужно предположить, что нашъ философъ, вообще не лишенный оригинальности, на этотъ разъ идетъ по проторенной дорогѣ, либо очень близко стоящій къ нему софистъ, можетъ быть его ученикъ, хотѣлъ превзойти его. Какъ Протагоръ говорилъ о различныхъ искусствахъ, остается намъ неизвѣстнымъ. Можно лишь съ большимъ основаніемъ предположить, что обсужденіе отдѣльныхъ искусствъ было очень различнымъ. Ибо, въ то время какъ реальность такъ часто оспариваемаго врачебнаго искусства нуждалась въ обоснованіи и защитѣ, этого совершенно нельзя сказать про ремесленные искусства. Польза врачебнаго искусства для здоровья часто подвергалась сомнѣнію; но никогда не отрицалось, что ткацкое искусство производитъ ткани для одежды, а башмачное искусство обувь. Соответственно этому въ однихъ статьяхъ могла преобладать критическая тенденція, въ другихъ апологетическая. Поводовъ для критики исполнителей работы какъ здѣсь, такъ и тамъ было достаточно. Оправданіе какого нибудь искусства отъ нападокъ на него происходило часто за счетъ обвиненія ихъ представителей. И въ концѣ концовъ, если подобныя возраженія оказывались опровергнутыми, то все же они были отмѣчены и потому Платонъ могъ упоминать о нихъ въ указанномъ смыслѣ.

Мы такъ долго остановились на этомъ предметѣ потому, что

сочинение „Объ искусствѣ“ хорошо характеризуетъ дѣятельность софистовъ пятого столѣтія, а если приписать его Протагору, то оно прибавляетъ не мало существеннаго къ его образу. Можно сказать, что духъ позитивной, почти современной научности не проступаетъ такъ сильно и такъ ясно ни въ одномъ изъ твореній той эпохи. Чувственное воспріятіе и выводы, которые можно на нихъ построить, считаются авторомъ этого сочиненія единственными источниками врачебнаго и всякаго другого знанія. Природа, которая не отвѣчаетъ на вопросы добровольно, подвергается пыткѣ и принуждается къ дачѣ показаній. Это Бэконовское сравненіе, столь понятное нашему времени, было, насколько намъ извѣстно, совершенно чуждо древности. Гдѣ наблюденіе, экспериментъ и построенный на нихъ выводъ не достаточны, тамъ находятся непреступаемыя границы человѣческаго разумнія. Повсемѣстное господство причинности принимается въ такомъ безусловномъ значеніи, какое въ ту эпоху придавалось ему только атомистами. Отношеніе причины къ слѣдствію считается основой всякаго предвиднія, а это послѣднее основой всякой цѣлесообразной дѣятельности. Вещи обладаютъ прочными точно ограниченными свойствами. Чтобы достичь различныхъ результатовъ, нужно пользоваться различными причинами; что въ одномъ случаѣ приноситъ пользу, должно приносить вредъ въ противоположномъ или очень отличномъ случаѣ; что оказывалось цѣлебнымъ при правильномъ употребленіи, то должно оказаться вреднымъ при неправильномъ примѣненіи. Ограниченность человѣческой мощи ясно признается и подчеркивается. Авторъ такъ же далекъ отъ неумѣренныхъ притязаній въ отношеніи достижимаго человѣкомъ господства надъ природою, какъ и отъ фантастическихъ построеній при объясненіи и описаніи природы. Очень странно, что то сочиненіе, которое даетъ такое ясное изложеніе евангелія индуктивнаго духа и такъ обостряетъ всѣ вопросы, ускользнуло отъ наблюдательности историковъ и естествоиспытателей. Впрочемъ мы преувеличиваемъ. Равнодушіе вызывающее наше изумленіе имѣло исключеніе. Блестящій представитель послѣдней великой эпохи просвѣщенія Пьеръ Жанъ Жоржъ Кабанисъ въ своей книгѣ „О степени увѣренности въ медицину“ воздалъ должное книгѣ „Объ искусствѣ“, которая была для него твореніемъ великаго Гиппократы. Въ своей аргументаціи врачъ, лѣчившій Мирабо, не только близко сходится съ излагаемыми взглядами, онъ приводитъ и большія

выдержки оттуда. Въ концѣ своего сочиненія, подводя итогъ своимъ разсужденіямъ, онъ почти повторяетъ въ нѣсколько измѣненной формѣ основныя мысли близкаго ему сочиненія.

8. Здѣсь мы могли бы разстаться съ Протагоромъ, если бы его занятія риторикой не требовали нѣсколькихъ замѣчаній. Прежде всего о несправедливости въ отношеніи къ нему. Эллины—такъ приблизительно говоритъ Аристотель—справедливо упрекали Протагора въ томъ, что онъ хвастался, что самую незначительную рѣчь (или вещь) онъ можетъ превратить въ значительную. Здѣсь необходимы поясненія. Аристотель касается здѣсь пункта, который всегда выставлялся какъ обвиненіе противъ философовъ и раторовъ. Сократъ въ своей защитительной рѣчи, приведенной у Платона, указываетъ на это обвиненіе, „которое всегда держать наготовѣ противъ всѣхъ философовъ“. Ораторъ Изократъ при подобныхъ же обстоятельствахъ упоминаетъ объ этомъ, ибо для враговъ своихъ онъ тоже былъ развратителемъ юношества и крючкотворцемъ. Трудно повѣрить, чтобы Протагоръ, который, говоря словами Тимона, „постоянно старательно избѣгалъ всего непристойнаго“, хвастался именно тѣмъ, что нѣсколько десятилѣтій позже считалось оскорбительнымъ упрекомъ. Но хорошо-ли былъ освѣдомленъ Аристотель, не былъ ли онъ обманутъ ложнымъ преданіемъ, во всякомъ случаѣ намъ необходимо отдѣлить эту форму отъ содержанія. Форма была непопулярна и возбуждала серьезное неудовольствіе, ибо она создавала видимость, будто ораторъ, помогая слабѣйшему дѣлу, служить дурному, т. е. несправедливости. Однако право и мораль не касаются вопроса непосредственно. Дѣлать слабѣйшее дѣло сильнѣйшимъ, т. е. побѣждать слабѣйшими самими по себѣ аргументами сильнѣйшія, это и была въ дѣйствительности цѣль, которую преслѣдовала вся античная риторика. Ее же имѣли въ виду и Аристотель, отъ котораго мы имѣемъ учебникъ риторики, какъ и другіе представители ея. Что этою діалектическою ловкостью злоупотребляли и что въ рукахъ злонамѣренныхъ людей она дѣлалась источникомъ зла, объ этомъ врядъ ли существовало и въ древности разногласіе мнѣній. Но когда Платонъ въ Горгіѣ по этимъ и другимъ соображеніямъ отвергъ риторику (которую онъ возстановилъ на другой осповѣ въ Федрѣ), то именно Аристотель рѣшительно возражалъ противъ этого. Онъ особенно настаивалъ на томъ, что съ ораторскимъ искусствомъ дѣло обстоитъ

такъ же, какъ и съ съ другими полезными вещами. Всѣ вещи можно употреблять во зло, а „наиболѣе полезныя чаще всего; таковы: тѣлесная сила, здоровье, богатство, военное искусство; все это при правильномъ употребленіи приноситъ высшую пользу, при неправильномъ наибольшій вредъ“. Поэтому порицанія заслуживаетъ не способность, а направление ума, примѣняющее ихъ во зло. Въ концѣ концовъ такъ же постыдно и даже постыднѣе не умѣть защищаться рѣчью, чѣмъ не умѣть защищаться кулакомъ.

Отсюда сравненіе заимствованное Платономъ у Горгія, и затѣмъ повторенное представителями всѣхъ школъ, стоиками, эпикурейцами, скептиками—иногда впрочемъ и отвергавшееся—сравненіе ораторскаго искусства съ оружіемъ, которое можетъ служить и правому и неправому дѣлу, къ которому нельзя относиться съ презрѣніемъ на томъ основаніи, что его можно употреблять во зло. „Атлетъ“ — говорится тамъ—„который насилуетъ своего отца, дѣлаетъ это не въ силу своей ловкости, но въ силу своей нравственной низости“. И риторика Аристотеля постоянно стремилась къ тому, чтобы придать возможно больше силы личному запасу аргументовъ. Нѣтъ недостатка въ наставленіяхъ, какъ нужно „увеличивать“ или „уменьшать“, т. е. какъ раздуть незначительную вещь и какъ лишать значенія важную. Онъ учитъ, слѣдуя Горгію, какъ нужно умѣть лишать силы тяжеловѣсную серьезность противника, прибѣгая къ шуточнѣй болтовнѣ, и какъ отражать тяжелымъ щитомъ собственной серьезности стрѣлы его насмѣшки. Ни одинъ приемъ адвокатскаго краснорѣчія не вызываетъ его неодобренія. Онъ выходитъ далеко за предѣлы, допускаемыя современными понятіями (очевидно, вынуждаемый необходимостью древней жизни, сравн. стр. 328). Однако и мы находимъ, что въ интересахъ права желательно, чтобы какъ обвиненіе, такъ и защита велись возможно искуснѣе и сильнѣе, чтобы самый незначительный аргументъ доходилъ до полного развитія и овѣщенія, допуская даже рискъ, что ловкость адвоката, противъ котораго выступаетъ менѣе искусный борець, можетъ спутать судью и оказать болѣе сильное вліяніе на рѣшеніе, чѣмъ это нужно. Аристотель всегда предполагаетъ при этомъ, что ни одинъ изъ этихъ приемовъ не долженъ примѣняться съ дурнымъ намѣреніемъ. У насъ нѣтъ никакихъ основаній сомнѣваться въ томъ, что такая же оговорка имѣетъ полную силу и для Протагора. Въ пользу личной честности софиста говорить какъ указан-

ный Платономъ и одобряемый Аристотелемъ пріемъ въ вопросѣ о гонорарѣ, такъ и вся характеристика его у Платона. Всякій разъ, какъ въ діалогѣ Платона Протагору предстоитъ выборъ между двумя этическими взглядами, Платонъ всегда заставляеть его выбрать наиболѣе высокій, причемъ одинъ разъ это подкрѣпляется соображеніемъ, что онъ руководствуется не потребностями минуты, а „имѣеть въ виду всю свою жизнь“. И наконецъ его морально-философскія сочиненія, среди которыхъ мы еще не упоминали двухъ: „О добродѣтеляхъ“ и „О честолюбіи“. Въ томъ, что они вполне соответствовали тогдашнему моральному канону, убѣждаетъ насъ какъ изображеніе, данное Платономъ, такъ и многозначительное молчаніе другихъ его противниковъ.

Вѣрный своему принципу, что практическія упражненія не менѣе цѣнны, чѣмъ теоретическое наставленіе, Протагоръ всячески стремился развивать способности своихъ учениковъ. Онъ выставлялъ тезисы и предлагалъ занимающимся риторикой высказываться въ ихъ защиту и противъ нихъ. Это были самыя общіе вопросы, вѣ въ связи съ дѣйствительностью и потому наиболѣе пригодныя для подготовки къ разбору болѣе трудныхъ и сложныхъ задачъ. При этомъ вспоминается совѣтъ, который давалъ Аристотель какъ начинающимъ, такъ и зрѣлымъ поэтамъ: они должны дать возможно краткую формулировку сложному содержанію эпоса или драмы и затѣмъ погрузить его въ индивидуализирующую обстановку. Другое упражненіе заключалось въ сведеніи къ общимъ мѣстамъ. Тутъ не было надобности подыскивать аргументы въ пользу или противъ какого-нибудь тезиса; нужно было направить теченіе рѣчи въ опредѣленное русло и предоставить его тамъ свободному теченію. Это были рѣчи въ похвалу или порицаніе, объекты которыхъ были безспорны и общеизвѣстны: пороки и добродѣтели, носители ихъ, поступки и т. п. Если въ первомъ случаѣ стремились достигнуть проницательности и умѣлости въ аргументаціи, то здѣсь цѣлью было пріобрѣсти силу, ясность и полноту выраженія и накопить запасъ мыслей и оборотовъ рѣчи, который нужно было всегда имѣть наготовѣ, чтобы примѣнять въ подходящихъ случаяхъ. Благодаря этому, говоря словами Квинтиліана, давались какъ бы части тѣла изъ которыхъ ораторъ могъ впоследствии слѣпить цѣлую фигуру.

Эти пособія риторическаго искусства дошли по прямой преемственности до нашего времени въ видѣ сочиненій и рѣчей на тему, практикуемыхъ въ школахъ. Не безъ основанія высказы-

вають сожалѣніе по поводу преобладанія нездороваго формализма, пріученія къ заимствованію чужихъ мыслей и не выношенныхъ чувствъ; вина въ этомъ случаѣ падаетъ на насъ за недостатокъ нашей рѣшимости порвать съ наслѣдіемъ, а не на тѣхъ выдающихся людей, которые за два съ половиною тысячелѣтія создали пріемы образованія, повелительно требуемыя тогдашними условіями жизни. Но довольно объ этомъ. Какъ судебное краснорѣчіе разрабатывалось Протагоромъ, такъ другой родъ его разрабатывалъ другой выдающійся его современникъ и товарищъ по профессіи. Къ этому послѣднему мы теперь и перейдемъ.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

Горгій изъ Леонтины.

Лѣтнимъ утромъ 427-го года на скалистой терассѣ, именуемой „Пниксъ“, расположенной къ западу отъ акрополя, происходило большое движеніе. Отъ сицилійскихъ городовъ прибыли посланцы просить защиты отъ угрожающихъ Сиракузъ. Послѣ того какъ посланные изложили свою просьбу передъ совѣтомъ пятисотъ, они были представлены народу, собравшемуся на Пниксъ, чтобы и передъ нимъ защищать свое дѣло. Лучшимъ ораторомъ выступилъ здѣсь Горгій, сынъ Хармада. Его послали цвѣтуція въ то время Леонтины, именемъ которыхъ еще по сію пору зовется маленькій городокъ Лентини, лежащій у желѣзной дороги, соединяющей Катанію съ Сиракузами. Художественное краснорѣчіе было не совсѣмъ чуждо аѣинянамъ. Одинъ представитель его, извѣстный ораторъ Тразимахъ изъ Халкедона, былъ нѣсколько мѣсяцевъ передъ этимъ осмѣянъ въ „Обжорахъ“ Аристофана. Однако ни послѣдній, отталкивающую характеристику гордой и бурной природы котораго далъ впоследствии Платонъ, ни умершій за два года передъ тѣмъ „олимпіецъ“ Периклъ со своимъ могучимъ натурализмомъ не доставляли избалованному вкусу аѣинянъ такого наслажденія, какъ сицилійскій іоніецъ, голосъ котораго они впервые слышали. Горгій былъ въ Аѣинахъ по крайней мѣрѣ еще одинъ разъ. Какъ и въ другихъ областяхъ

Греціи (въ особенности на большихъ торжественныхъ собраніяхъ въ Дэльфахъ и въ Олимпіи) онъ пожиналъ тамъ лавры и былъ высоко почитаемъ какъ народомъ, такъ и монархами (такъ, напр., Язономъ, властителемъ Феръ въ Фессалии). Онъ окончилъ свою жизнь, сохранивъ полную свѣжесть духа и доживъ болѣе чѣмъ до ста лѣтъ. „Сонъ уже передаетъ меня своему брату“, съ этими шутливыми словами онъ отошелъ въ вѣчность. Золотая статуя, которую онъ самъ посвятилъ дельфійскому оракулу и другая, которую воздвигнулъ одинокому его внучатный племянникъ Эвмольпъ „изъ любви къ нему и въ благодарность за образованіе (отъ него полученное)“, вѣщаютъ потомству о его славіи. Недавно открытая надпись на подножіи статуи гласитъ: „Ни одинъ изъ смертныхъ не изобрѣлъ болѣе прекраснаго искусства, чтобы закалять душу для трудовъ мужеской добродѣтели“.

Горгій былъ одинъ изъ основателей греческой художественной прозы. Древніе знатоки стиля различали два рода рѣчей и рядомъ съ ними еще третій, промежуточный. Первые—это блестящія и легкія съ размѣреннымъ движеніемъ, красочныя и цвѣтистыя; онѣ то обольщаютъ душу вкрадчивымъ тономъ, то поражаютъ и трогаютъ смѣлостью и величіемъ образовъ. Таковыми были по преимуществу торжественныя рѣчи. Другія были точны и холодны, ясны и трезвы, съ быстрымъ иногда бурнымъ темпомъ, онѣ дѣйствовали больше аргументами, чѣмъ образами, больше на разсудокъ, чѣмъ на фантазію. Таковъ былъ типъ судебныхъ рѣчей. Надъ развитіемъ этого послѣдняго рода трудился Протагоръ, разработкой первыхъ пріобрѣлъ извѣстность Горгій. Блестящее остроуміе и богатство фантазіи были основными свойствами его ума. Мѣткія слова, сохранившіяся намъ отъ него, обнаруживаютъ эти духовныя его качества. Таково, напр., его выраженіе объ иллюзіи сцены, когда обманутый оказывается мудрѣе, чѣмъ необманутый; или его жалоба на тѣхъ, которые отвертываются отъ философіи, чтобы предаваться отдѣльнымъ отраслямъ знанія, и которыхъ можно сравнить съ „женихами Пенелопы, затѣвующими любовныя интриги со служанками“. Иныя его сравненія порицаются античными пуристами; на примѣръ, когда онъ (такъ же, какъ Шекспиръ въ Макбетѣ) называетъ коршуновъ „живыми могилами“, или Ксеркса „Зевсомъ персовъ“. И мы замѣчаемъ извѣстную искусственность его стиля, читая большіе отрывки. Мы позволимъ себѣ привести часть обширнаго фрагмента изъ его „надгробной рѣчи“ въ память аѳинянъ, павшихъ на войнѣ: „Ибо чего не было

у этихъ мужей, что должно быть у людей? Могу ли я сказать, что хочу, и хотѣть то, что долженъ, не возбуждая неудовольствія боговъ, не будя недоброжелательства людей. Ибо они обладали добродѣтелью, какъ божественнымъ, и смертною, какъ человѣческимъ. Кроткую справедливость они часто предпочитали суровому праву, хрупкости обычая правильность оцѣнки, принимая за самое божественное и самое общее установленіе, дѣлать правое на правильномъ мѣстѣ и говорить, и молчать, и переносить...“

Мы должны вспомнить, что при великихъ реформахъ стиля художественному часто предшествуетъ искусственное. Примѣры эпохи возрожденія доставляютъ намъ поразительныя параллели того, что въ древнее и въ новое время такъ усердно порицали въ прозѣ Горгія. „Любовь къ равному числу словъ въ двухъ антитетическихъ предложеніяхъ, даже къ равному числу слоговъ, подчеркиваніе противопоставляемыхъ словъ ассонансомъ или настоящей римой“, рядомъ съ этимъ „чрезмѣрность гиперболъ и искусственныхъ метафоръ“ — эта характеристика вполнѣ подходит къ стилю нашего софиста, хотя она заимствована изъ изображенія „alto estilo“ испанца Гувары, введеннаго въ Англiю Джономъ Лили (книга Гувары: *Libro aureo de Marco Aurelio* вышла въ 1529 году). Когда Шекспиръ осмѣиваетъ стиль, обращикомъ котораго былъ романъ Лили „*Euphues*“ (1578), то онъ дѣлаетъ это въ такихъ выраженіяхъ, которыя какъ бы выдуманы для того, чтобы возстановить передъ нами уродство стиля Горгія. For, Harry, nord I do not speak to thee in drink but in tears, not in pleasure but in passion; not in words only, but in woes also. Мы имѣемъ право говорить здѣсь именно объ уродствахъ. Исторія новыхъ пріемовъ стиля — не только въ ораторскомъ искусствѣ — обнаруживаетъ три фазы: частое, но не чрезмѣрное примѣненіе ихъ тѣми, кто ихъ изобрѣли или снова ввели; затѣмъ уже злоупотребленіе со стороны подражателей, въ неуклюжихъ рукахъ которыхъ извѣстный пріемъ становится манерностью; и наконецъ новыя средства становятся привычными пріемами въ расширенномъ кругу, и примѣняются въ определенныхъ случаяхъ. Двѣ первыхъ стадіи въ современныхъ параллельныхъ явленіяхъ по мнѣнію знатоковъ представлены Гувара и Лили, а въ древности Горгіемъ и авторомъ (или авторами) псевдо-горгіанскихъ декламаций („Похвала Еленѣ“ и „Паламедъ“), а отчасти и Исократомъ. Однако такъ называемый „эвфуизмъ“ (отъ романа „*Эвфуйс*“) былъ для Шекспира не только предме-

томъ насмѣшки. Одинъ изъ его элементовъ и именно тотъ, гдѣ Гувара непосредственно сходилъ съ Горгіемъ перешло въ плоть и кровь Шекспира, такъ же какъ и Кальдерона. Мы имѣемъ въ виду то жонглированіе остроумными словечками и то чрезмѣрное богатство быстро смѣняющихся образовъ, которые не служатъ уясненію или оживленію мысли; они не средства къ цѣли, они являются сами въ извѣстномъ смыслѣ самоцѣлью. Своеобразныя черты языка Горгія и двойника его въ эпоху возрожденія можно, можетъ быть, свести къ двумъ основнымъ причинамъ: къ характерному для начала великой литературной эпохи исканію новыхъ способовъ выраженія, которые вначалѣ цѣнятся слишкомъ высоко; и къ духовной полнотѣ молодой и свѣжей жизни, переливающейся черезъ край, необузданной, рѣзнящейся и неоттоленной существующими формами. Мы и теперь еще встрѣчаемъ людей, у которыхъ слишкомъ много творческаго духа и которые настолько плохо владѣютъ имъ, что самыя обыкновенныя вещи не умѣютъ выразить иначе, какъ на необычный ладъ, какъ будто мысль не хочетъ облечься въ уже готовую одежду; всякій разъ она съизнова сама готовитъ себѣ ее.

Изъ рѣчей Горгія намъ извѣстны пять, частью по короткимъ сообщеніямъ, частью по отрывкамъ: олимпійская и пелійская рѣчи, похвала Ахиллесу и похвала элейцамъ, и наконецъ вышеупомянутая надгробная рѣчь. Послѣдняя и олимпійская рѣчи отличаются панэллинистскою тенденціей. Мы уже отмѣтили однажды (стр. 374), что странствующие учителя, чувствовавшіе себя какъ дома во всѣхъ областяхъ Греціи, были въ такой же мѣрѣ, если не больше, чѣмъ поэты, исполнены всегреческаго патріотизма и являлись носителями національной идеи единства Эллады, раздѣленной политически. Два мѣста въ рѣчахъ Горгія подкрѣпляютъ такое предположеніе. Въ олимпійской рѣчи софистъ призываетъ грековъ раздираемыхъ междуусобіями „дѣлать предметомъ побѣды своего оружія не собственные города, а страну варваровъ“. А въ афинской надгробной рѣчи онъ вспоминаетъ о подвигахъ, проявленныхъ въ общей борьбѣ съ персами: „побѣды одержанныя надъ варварами требуютъ радостныхъ гимновъ, побѣды же надъ греками жалобныхъ пѣсней“.

2. Однако Горгію долженъ занять насъ не столько какъ реформаторъ стиля, не столько какъ патріотъ, сколько какъ мыслитель. Онъ занимался и натурфилософіей, и нравственной

философіей, и діалектикой. Къ несчастію у насъ нѣтъ точныхъ свѣдѣній о двухъ первыхъ отрасляхъ его дѣятельности. Мы знаемъ лишь, что онъ занимался вопросами оптики и, идя по стопамъ своего учителя Эмпедокла и исходя изъ его воззрѣній, пытался объяснить дѣйствіе зажигательнаго стекла. Въ качествѣ учителя добродѣтели онъ не выступалъ, а потому, если возможно провести рѣзкую грань между риторамъ и софистамъ, то его нужно причислить къ первымъ. Однако, такъ какъ онъ былъ на половину риторомъ, на половину философомъ, то его можно причислить къ софистамъ въ широкомъ смыслѣ этого слова. Если онъ не училъ добродѣтели, то онъ все же разбиралъ эти вопросы въ своихъ сочиненіяхъ. При этомъ онъ стремился не къ упрощенію этого понятія, не къ сведенію различныхъ подвидовъ его къ одному общему корню, но предпочиталъ излагать и разбирать отдѣльныя добродѣтели и доблести въ ихъ разнообразіи, различая въ нихъ однѣ, болѣе подходящія мужчинамъ, и другія болѣе подходящія женщинамъ. Въ качествѣ діалектика онъ прослѣдилъ саморазложеніе элейскаго ученія о бытіи, которое мы встрѣчаемъ у Зенона, до полнаго отрицанія понятія бытія. И здѣсь намъ тоже приходится сожалѣть, какъ мало намъ извѣстно объ ученіи, содержащемся въ его книгѣ „О природѣ или о не-бытіи“ (можетъ быть только въ первой ея части, вторая ея часть посвящена физикѣ), а также объ его обоснованіи. Главнымъ нашимъ источникомъ является книженка, которая приписывалась нѣкогда Аристотелю, но которую въ дѣйствительности надо признать позднѣйшимъ произведеніемъ его школы. Это сочиненіе разсматриваетъ кромѣ того доктрины Ксенофана и Мелисса и притомъ, по общему мнѣнію, на него нельзя вполнѣ полагаться. По отношенію же къ ученію Горгія находятъ возможнымъ считать ея свидѣтельство достаточнымъ. Однако не нужно забывать, что наше довѣріе въ данномъ случаѣ болѣе широко только потому, что у насъ совершенно нѣтъ оригинальныхъ отрывковъ и почти нѣтъ побочныхъ дополнительныхъ свѣдѣній, могущихъ контролировать наши свѣдѣнія.

Горгій хотѣлъ доказать троякій тезисъ: сущее не существуетъ; если бы оно существовало, то оно было бы непознаваемо, а если бы оно было познаваемо, то этого познанія нельзя было бы сообщить.

Въ пользу перваго тезиса приводятся два аргумента. Въ качествѣ „перваго, специально Горгію принадлежащаго, аргумента“ является слѣдующее. Выставляется незначительное и повиди-

мому безобидное положеніе: „Не-бытіе есть не-бытіе“. Отсюда выводятся очень важныя заключенія. Если не-бытіе есть хотя бы только не-бытіе, то оно все же есть нѣчто, слѣдовательно оно есть и ему можно приписать существованіе. Этимъ уничтожается различіе между бытіемъ и не-бытіемъ. И далѣе: если не-бытіе (какъ было только что доказано) есть или существуетъ, то отсюда слѣдуетъ, что бытіе, какъ противоположность его, не есть или не существуетъ. Такимъ образомъ намъ представляется на выборъ: либо различіе между бытіемъ и не-бытіемъ считается упраздненнымъ (какъ того требовала первая часть аргументаціи); тогда ничего не существуетъ: ибо не-сущее не существуетъ, а потому не существуетъ и, оказавшееся равноцѣннымъ ему, сущее; либо различіе не упразднено; тогда (какъ требуетъ вторая часть аргументаціи) бытіе все же не существуетъ, именно благодаря своей противоположности къ не-бытію признанному существующимъ.

Врядъ ли нужно кому нибудь указывать, что слова „бытіе“ и „сущее“, „не-бытіе“ и „не-сущее“ употребляются здѣсь безъ различія, и мы не знаемъ, виновать ли въ этой спутанности самъ Горгій или наши источники. Нѣтъ надобности тоже напоминать и о томъ, что не-бытіе, какъ только ему приписано бытіе, уже не можетъ считаться не-бытіемъ, а авторъ этого заключенія въ дѣйствительности тѣмъ именно и оперируетъ, что мнимо положительную сторону этого заключенія онъ выставляетъ противъ отрицательной. Но даже и положеніе тождества, изъ котораго исходитъ эта аргументація, несостоятельно по нашему мнѣнію, и даже бессмысленно. „Вѣлое есть бѣлое“, это, думается намъ, не само собой понятное, а просто непонятное выраженіе, понятіе субъекта просто повторяется здѣсь какъ предикативное понятіе, тогда какъ сужденіе или задача предложенія заключается въ томъ, чтобы связать два понятія или члена предложенія (субъектъ и предикатъ) и указать намъ этимъ на фактически существующую связь. Подробнѣе говорить намъ объ этомъ здѣсь не мѣсто. Важнѣе другое. Изъ этого положенія тождества возможны такія заключенія только благодаря двусмысленности слова „есть“. Въ положеніи „не-бытіе есть не-бытіе“ „есть“ играетъ лишь роль связки. Однако въ дальнѣйшемъ словечко это примѣняется въ такомъ смыслѣ, какъ будто оно означаетъ существованіе и притомъ виѣшнее объективное существованіе. Это подобно тому, какъ если бы изъ положенія „кентавръ есть продуктъ

фантазіи“ хотѣли сдѣлать выводъ, не только что представленіе кентавра должно существовать въ нашемъ сознаниі прежде, чѣмъ мы можемъ говорить о немъ, что было бы вполне правильно,—но что кентавру присуще также и внѣшнее и объективное существованіе. Къ этому присоединяется и неопозволительное обращеніе сужденія въ противоположную сторону, что производится во второй части аргументаціи. Ибо, даже если допустить, что „не-бытіе есть“, то все таки отсюда никакъ не будетъ слѣдовать, что „сущее не есть“. Развѣ изъ положенія „не бѣлое существуетъ“ можно вывести заключеніе, что „бѣлое не существуетъ“? Однако какъ ни велики всѣ эти ошибки, они все же совсѣмъ не характерны только для Горгія. Злоупотребленіе положеніями тождества, связкой, неопозволительное обращеніе сужденій—все это мы встрѣтимъ еще часто, особенно часто у Платона, и притомъ не только въ томъ ослѣпительномъ діалектическомъ фейерверкѣ, который именуется „Парменидомъ“.

Второй аргументъ въ пользу перваго тезиса совершенно иного характера. Здѣсь Горгій исходитъ изъ противорѣчащихъ утвержденій, къ которымъ пришли его предшественники, и подводитъ имъ итогъ. Сущее должно быть единымъ или многимъ, оно должно быть либо возникшимъ, либо не возникшимъ. Но всякое изъ этихъ предположеній опровергается отчасти Зенономъ, отчасти Мелиссомъ (отчасти должны мы прибавить, слянїемъ ихъ аргументовъ) одинаково основательными,—или одинаково мнимыми?—аргументами. Но если сущее не есть ни единое, ни многое, ни возникшее, ни не возникшее, то оно вообще не можетъ существовать. Въстѣ со всѣми предикатами, которые отрицаются отъ него, падаетъ и его реальность. Примѣняемая здѣсь аргументація займетъ насъ впоследствии какъ принципъ „исключеннаго третьяго“. Здѣсь тѣмъ менѣе надобности останавливаться на этомъ, что остается спорнымъ, не приписывалъ ли Горгій этому второму аргументу только условное значеніе. Можетъ быть онъ долженъ былъ только означать слѣдующее: если признать силу за противорѣчивыми аргументами философовъ, въ особенности Мелисса и Зенона противъ множества, единства и т. д. сущаго, то необходимо сдѣлать и дальнѣйшій выводъ, несдѣланный ни однимъ изъ обоихъ философовъ, что это якобы сущее не существуетъ. На такое толкованіе указываетъ по крайней мѣрѣ нашъ главный источникъ, гдѣ различаютъ его „собствен-

ный“ аргументъ отъ второго аргумента, въ которомъ „онъ соединяетъ все то, что было сказано другими“.

Мы переходимъ ко второму тезису; непознаваемости сущаго даже въ томъ случаѣ, если допустить его существованіе. Мы позволяемъ себѣ вольно передать его суть. Если бы сущее было познаваемо, то что-нибудь должно бы ручаться за правильность такого познанія. Но гдѣ искать этого ручательства? Не въ чувственномъ воспріятіи, необманчивость котораго такъ сильно оспаривается. Значить въ мышленіи и представленіи? Это можно было бы допустить, если бы, какъ извѣстно, мы не могли представлять ложное, напр., бѣгъ колесницы по поверхности моря. И если согласіе многихъ въ отношеніи чувственного воспріятія не доказываетъ его правдивости, то какъ можетъ доказать это согласіе многихъ въ мышленіи и представленіи? Это было бы возможно лишь въ томъ случаѣ, если бы у насъ не было способности представлять нереальное; но вышеуказанный примѣръ показываетъ, что это не такъ.

Здѣсь нужно обратить вниманіе на связь сказаннаго съ философіей того времени, и въ особенности съ Парменидомъ. Наши читатели помнятъ его слова: „Неизрѣченно и немыслимо небытіе, (сравн. стр. 148) и „Мышленіе и бытіе есть одно и то же“ (ср. стр. 156). Въ такихъ выраженіяхъ можно дѣйствительно открыть утвержденіе, что неистинное непредставимо. А такъ какъ именно Мелиссъ особенно рѣзко оспаривалъ обманчивость чувственного воспріятія, то вполне допустимо предположеніе, что этотъ аргументъ Горгія былъ направленъ противъ элейцевъ; его можно было бы выразить такъ: Мелиссъ училъ нереальности чувственныхъ вещей и направлялъ наше познавательное влеченіе на „сущее“ скрытое за ними. На чемъ же должно основываться это наше познаніе? Только на мышленіи и представленіи, согласно утвержденію Парменида, что послѣднее направляется только на дѣйствительное. Но этому противорѣчить вышеуказанный примѣръ, гдѣ мы представляемъ нереальное. Съ другой стороны это и правильно и неправильно, что наше представленіе не можетъ обращаться къ голымъ фантазіямъ. Это правильно, поскольку дѣло идетъ объ элементахъ нашихъ представленій, это неправильно, поскольку дѣло идетъ объ ихъ комбинаціяхъ. Бѣгъ колесницы по поверхности моря есть произвольная комбинація представленій, несвойственная природѣ вещей, также какъ кентавръ или окрыленный левъ. Но отдѣльные элементы,

входящіе въ этотъ комплексъ представленій, должны были уже раньше быть въ нашемъ сознаніи. Они то по крайней мѣрѣ эмпирически истинны. Это различіе элементарныхъ и комбинированныхъ представленій очень существенно; аргументація Горгія совершенно не коснулась его. Однако и здѣсь нужно напомнить о томъ, что въ этой ошибкѣ виноватъ не одинъ Горгіи, а вся его эпоха. Вопросъ: возможно ли и какъ вообще возможно представлять ложное? составлялъ серьезное затрудненіе для мыслителей той эпохи и послѣдующей. Мы увидимъ какъ серьезно и не напрасно борется съ этою трудностью Платонъ въ „Феететѣ“.

Третій тезисъ гласитъ: Познаніе сущаго, если это послѣднее есть и если бы оно было познаваемо, все же не можетъ быть передаваемо. Тезисъ подерѣпляется слѣдующимъ образомъ. Средство сообщенія есть языкъ. Но какъ можно словами или какимъ либо другимъ знакомъ, который какъ таковой по существу не однороденъ съ обозначаемымъ, сообщать что бы то ни было другое, кромѣ словъ и другихъ знаковъ? Напримѣръ, какъ передать красочное воспріятіе? „Какъ взоръ не познаетъ звуковъ, такъ и слухъ не воспринимаетъ цвѣта“. И если указываютъ кому-либо на предметъ, который производитъ въ насъ извѣстное красочное впечатлѣніе, то что ручается намъ за то, что впечатлѣніе произведенное въ другомъ совершенно совпадаетъ съ нашимъ? Недостающая въ нашемъ источникѣ заключительная часть гласила приблизительно такъ: еще меньше можетъ языкъ, составляющій часть нашей природы, давать представленіе другимъ о внѣшнемъ и чуждомъ нашей субъективной сущности бытія, даже если бы мы сами имѣли о немъ понятіе.

Для обосноваія этого тезиса нужно замѣтить, что онъ содержитъ дѣйствительно цѣнную мысль и неопровержимо доказываетъ и обосноваетъ ее, именно ту мысль, что мы совершенно не можемъ быть увѣрены въ полномъ тождествѣ элементарныхъ ощущеній нашихъ и другихъ людей. При этомъ несущественно, что въ аргументацію влилось нѣсколько обычныхъ въ то время ошибочныхъ заключеній. „Въ двухъ субъектахъ не можетъ быть одно и то же представленіе, ибо тогда единое было бы вмѣстѣ съ тѣмъ двоякимъ“. (Смѣшеніе тождества по качеству съ тождествомъ по числу). „И даже допустивъ это, все же одно могло бы являться обимъ различнымъ, такъ какъ они не вполнѣ подобны; ибо если бы они были таковыми, то ихъ было бы не двое, а одинъ“ (такое же смѣшеніе).

3. Значительно труднѣе судить собственно о цѣли этого вѣнка тезисовъ, нежели о его логической цѣнности. Никто не сомнѣвается, что полемическое сочиненіе Зенона дало образецъ. Но былъ ли и руководящій мотивъ тотъ же, что у Зенона, объ этомъ по крайней мѣрѣ можно ставить вопросъ. Этотъ послѣдній хотѣлъ, какъ извѣстно нашимъ читателямъ, отплатить за тѣ нападки, которымъ подвергался его учитель Парменидъ (срав. стр. 167). Возможно, что подобный мотивъ былъ и у Горгія. Во всякомъ случаѣ между сравнительно наивной вѣрой въ свѣдѣтельность чувствъ, которую исповѣдывалъ Эмпедоклъ, и элейскимъ отрицаніемъ ея — цѣлая пропасть. Эмпедокловское ученіе о природѣ должно было быстро устарѣть въ виду новыхъ умственныхъ теченій; какой-нибудь Зенонъ или Мелиссъ не могли смотрѣть на него иначе какъ съ насмѣшливымъ пренебреженіемъ. И дѣйствительно древность уже имѣла „критику“ эмпедокловскаго ученія, вышедшую изъ подъ пера Зенона. Мы видѣли уже, что аргументація Горгія была главнымъ образомъ, если не исключительно, направлена противъ элейцевъ. Съ особеннымъ удовольствіемъ онъ натравляетъ одного на другого двухъ младшихъ представителей ученія о бытіи. Такъ, во второй аргументаціи перваго тезиса, которую мы должны разсмотрѣть подробнѣе. Изъ стараго догмата физиковъ, изъ вѣчности или временной неограниченности міра, Мелиссъ вывелъ его пространственную неограниченность (ср. стр. 162). Горгій подробно доказываетъ ему, что такое безконечное не можетъ существовать. Ибо гдѣ можетъ оно существовать? Не въ себѣ и не въ другомъ; такъ какъ въ послѣднемъ случаѣ оно не было бы безконечнымъ, въ первомъ же случаѣ существовало бы двѣ безконечности; содержащая и содержимая. А что при этомъ онъ опирается на зеноновскій аргументъ касающійся пространства, это опредѣленно указывается въ нашемъ главномъ источникѣ. Это опроверженіе одного изъ младшихъ элейцевъ другимъ во всякомъ случаѣ очень забавляло его, и возможно, что тутъ было замѣшано и личное чувство.

Съ бѣльшею достовѣрностью рѣшается вопросъ о томъ, предназначался ли нигилизмъ Горгія для разрушенія фундамента всѣхъ наукъ и содѣйствовалъ ли онъ этому. Таково было всеобщее мнѣніе, противъ котораго возражалъ до сихъ поръ только Георгъ Гротъ. Его предположеніе, что Горгій не касался феноменальнаго міра, а лишь за нимъ лежащаго, „ультрафеноменальнаго

или ноумена“, было встрѣчено замѣчаніемъ: „наши свѣдѣнія не содержатъ ни малѣйшаго указанія на такое ограниченіе“. Конечно нѣтъ. Но развѣ нужно ясное указаніе или хотя бы намекъ тамъ, гдѣ недвусмысленно говорятъ факты? Способъ выраженія Грота слишкомъ современенъ и потому не вполне адекватенъ. Но совершенно аналогичное отношеніе, какъ между кантовскимъ феноменомъ и стоящимъ за нимъ ноуменомъ или „вещью въ себѣ“, существовало между чувственнымъ міромъ и „сущимъ“ Парменида и Мелисса, хотя это сущее еще носитъ на себѣ слѣды эмпирическаго происхожденія и хотя оно все же еще мыслится какъ пространственное. Правда, мы напрасно ищемъ у Горгія термина, который бы рѣзко указывалъ на это различіе. Но развѣ ктонибудь думаетъ серьезно, что Горгій, отказываясь отъ „сущаго“, былъ склоненъ отказаться отъ всякаго пониманія природы вещей? Развѣ онъ отрицалъ всякую правильность въ природѣ? Развѣ онъ не ожидалъ восхода солнца слѣдующаго дня, возврата ближайшей весны, повторенія одинаковыхъ событій при одинаковыхъ обстоятельствахъ, развѣ не вѣрилъ онъ въ прочность вообще свойствъ, какъ и его философскіе противники? Кто не думаетъ этого и не склоненъ приписывать тонкому мыслителю грубой, бросающейся въ глаза, непослѣдовательности, тотъ долженъ предположить, что это различіе, отмѣчено ли оно или нѣтъ техническимъ терминомъ, во всякомъ случаѣ существовало въ его умѣ. А тогда можетъ быть напрашивается предположеніе, что это отсутствующее обозначеніе можно найти тамъ, гдѣ Горгій говоритъ съ нами собственными словами, а именно въ названіи книги: „О природѣ или о не-сущемъ“. Правда недавно это заглавіе назвали „грубымъ фарсомъ“ и увидѣли въ немъ доказательство того, что Горгій шутилъ со своими тезисами. Но въ противовѣсъ этому слѣдуетъ напомнить, что коринскій философъ, Ксеніадъ (современникъ Демокрита), полагалъ, что все исходитъ „изъ не-сущаго“ и снова погружается „въ не-сущее“. Ученіе Платона о матеріи даетъ намъ примѣръ, совершенно серьезно задуманнаго примѣненія понятія не-сущаго.

Если мы не ошибаемся, то настоящій и самый глубокій основной мотивъ полемики Горгія мы находимъ во второмъ тезисѣ. Изъ него мы узнаемъ, что въ аргументаціи элейцевъ онъ нападалъ на то, что долженъ находить неправильнымъ всякій непредубѣжденный читатель. При чтеніи Парменида и Мелисса, у насъ все время невольнo навязывается возраженіе.

Какъ можете вы—хочется сказать обоимъ мыслителямъ—такъ увѣренно относить значительную часть всего человѣческаго познанія къ области обмана, остальную часть считать неоспоримой истиной. Гдѣ ручательство за то, что одна часть вашихъ способностей васъ всецѣло обманываетъ, тогда какъ другая ведетъ къ безошибочному пониманію? Гдѣ мостъ, ведущій васъ изъ міра субъективной иллюзіи, въ которую вы сами вполне погружены, къ область чистаго объективнаго бытія? Ученіе Парменида давало тѣмъ болѣе повода такому возраженію, что оно всецѣло основывало душевную жизнь на тѣлесной. Правда онъ выражается такъ только въ „словахъ мнѣнія“ (сравн. стр. 157). Однако и въ „словахъ истины“ нѣтъ ничего, что бы противорѣчило этому. Ему и его послѣдователямъ нельзя было ухватиться за принципъ: тѣло вводитъ насъ въ заблужденіе, но бессмертная душа несетъ намъ вѣсти изъ міра чистой истины. Ибо ни одно слово не указываетъ на то (а все наоборотъ говоритъ противъ), чтобы Парменидъ приписывалъ „психеѣ“, которая, по его мнѣнію и согласно орфико-пифагорейскому ученію, переживала тѣло и испытывала разнообразныя превращенія, какое бы то ни было участіе въ бодрственной душевной жизни и въ процессѣ познанія (ср. стр. 219). Врядъ ли мы ошибемся, предполагая, что неудовлетворенность столь мало обоснованными догматическими утвержденіями и являлась самымъ сильнымъ мотивомъ полемики Горгія противъ элейцевъ и отстаиваемаго ими ученія о бытіи.

4. Здѣсь кстати напомнить о родственныхъ явленіяхъ той же эпохи. Растущее самоограниченіе, борьба противъ самоувѣреннаго догматизма старыхъ школъ, — вотъ та главная черта поворота, произведеннаго Гиппократомъ и его учениками во врачебной наукѣ. Съ этимъ связывался уклонъ къ релятивизму, первые намеки котораго мы встрѣчаемъ уже у Гераклита. Не то, что человѣкъ есть самъ по себѣ, а что онъ есть по отношенію къ тому, что онъ ѣстъ и пьетъ, а также къ тому, что онъ дѣлаетъ — вотъ та скромная, но вмѣстѣ съ тѣмъ и трудно достижимая цѣль изслѣдованія, намѣченная глубокомысленнымъ авторомъ книги „О старой медицинѣ“ (сравн. стр. 260). Пышныя фантазіи, изгнанныя имъ изъ области науки, онъ замѣнили скудными, но вѣрными результатами наблюденія и опыта. Такое же умѣреніе высоко парящихъ до сего времени притя-

заній и тотъ же духъ релятивизма находимъ мы въ единственномъ сохранившемся намъ памятникѣ такъ называемой „софистики“, въ рѣчи „Объ искусствѣ“. Назовемъ ли мы Протагора авторомъ этого сочиненія или нѣтъ, во всякомъ случаѣ мы встрѣчаемъ тамъ главное метафизическое положеніе этого софиста, и притомъ въ такой формѣ, которая ясно указываетъ на вліяніе этого релятивистскаго духа; при этомъ мыслитель, который такъ опредѣленно ставилъ „человѣка“ на первомъ планѣ познанія, не могъ не видѣть что познанія ограничены предѣлами человѣческихъ способностей.

Самоограниченіе и релятивизмъ, эти черты мы снова встрѣтимъ при характеристикѣ ближайшей эпохи, въ ученіи Сократа; другимъ признакомъ повышенной строгости научныхъ требованій является стремленіе къ точному ограниченію понятій. Шагъ въ этомъ направленіи дѣлаетъ Продикъ своимъ точнымъ различеніемъ синонимовъ, къ несчастію извѣстнымъ намъ только въ общихъ чертахъ. Точностью въ примѣненіи словъ отличаются и рѣчи, влагаемыя Платономъ въ уста Протагору. Видѣть здѣсь прогрессъ не мѣшаетъ намъ даже намѣренно каррикатурное изложеніе. Такъ напримѣръ, когда Платонъ заставляетъ софиста говорить о примѣненіи оливковаго масла въ поваренномъ искусствѣ, цѣль котораго лишь въ томъ, „чтобы заглушить отвратительныя впечатлѣнія отъ кушаній и приправъ, достигающія черезъ носъ“, то комичность заключается здѣсь въ несоразмѣрности тонкости выраженія съ тривиальностью его примѣненія. Однако этотъ ловкій приѣмъ несравненнаго каррикатуриста, не можетъ заставить насъ не видѣть заслуги въ строгомъ разграниченіи чувственнаго впечатлѣнія и его объекта съ одной стороны, и чувственнаго ощущенія и сопровождающаго его чувства удовольствія и неудовольствія съ другой, каковое различеніе было совершенно чуждо той эпохѣ. Собственно попытку опредѣленія понятія мы впервые встрѣчаемъ въ сочиненіи „Объ искусствѣ“, въ слѣдующей фразѣ: „И прежде всего я хочу опредѣлить, что я считаю сущностью (или цѣлью) врачебнаго искусства, а именно: полное устраненіе страданія больныхъ и смягченіе силы страданія и“ (какъ прибавляется съ намѣренной парадоксальностью) „не осмѣливаться подходить къ тѣмъ, которые уже осилены болѣзнью“. Невыполненное намѣреніе опредѣленія мы встрѣчаемъ у Демокрита: „Человѣкъ есть то, что мы всѣ знаемъ“, а его же опредѣленія понятій тепла и холода,

извѣстныя Аристотелю, не сохранились. Первоначальной родиной этихъ попытокъ была область математики. На это указываетъ (не говоря уже о приписываемомъ Θαλесеу опредѣленію числа указанная выше полемика Протагора противъ опредѣленія касательной, а также тѣ опредѣленія, которыя Автоликъ приводитъ въ началѣ своихъ книгъ: „О подвижномъ шарѣ“ и „О восходѣ и заходѣ звѣздъ“. (Если эти книги и относятся къ исходу четвертаго вѣка, то во всякомъ случаѣ онѣ предполагаютъ длинный рядъ предшественниковъ). Пифагорейцы (какъ сообщаетъ Аристотель) пытались опредѣлить нѣкоторыя моральныя понятія. Наконецъ мы находимъ два опредѣленія у Горгія: опредѣленіе риторики, котораго мы не коснемся, и опредѣленіе цвѣта. Приводя въ первый разъ это опредѣленіе, Платонъ шутитъ надъ его словеснымъ выраженіемъ, но въ другомъ своемъ сочиненіи зрѣлаго возраста онъ соглашается съ нимъ по существу, также точно, какъ онъ распространяетъ въ старости свое уваженіе къ личности этого софиста и на его этическія доктрины. Опредѣленіе основывается на эмпедокловомъ ученіи о „порахъ“ и „истеченіяхъ“, согласно которому воспріятіе цвѣта происходитъ лишь въ томъ случаѣ, когда одно соотвѣтствуетъ другому. Опредѣленіе это гласитъ: „Цвѣтъ есть истеченіе, исходящее отъ пространственно оформленнаго, соотвѣтствующее зрѣнію и достигающее воспріятія“. Это опредѣленіе юный Менонъ слышалъ изъ устъ Горгія въ Тессалии, гдѣ софистъ жилъ въ послѣдніе годы своей жизни (передано въ діалогѣ Платона Менонъ).

Такъ какъ Платонъ избѣгаетъ безцѣльныхъ анахронизмовъ, то изъ этого указанія можно заключить, что Горгій занимался вопросами физики еще въ старости, долгое время спустя послѣ изданія своихъ діалектическихъ тезисовъ. Съ этимъ согласуется и то, что большая часть его учениковъ, хотя они и были преимущественно риториками и политиками, обнаруживаютъ слѣды естественно научнаго образованія. Мы имѣемъ прекрасную рѣчь Алкидама уже извѣстнаго нашимъ читателямъ какъ представителя естественнаго права (ср. стр. 345), въ ней восхваляется искусство импровизаціи, и произведенія этого рода признаются гораздо болѣе цѣнными, чѣмъ письменныя разработанныя рѣчи. Его перу принадлежала книга, трактующая о физикѣ, можетъ быть написанная въ діалогической формѣ. Другой менѣ значительный ученикъ Горгія, ораторъ Поль является у Платона тоже природоуловомъ. Наконецъ, хотя Исократъ одинаково отказался какъ

отъ физики, такъ и отъ діалектики, онъ тѣмъ не менѣ прославлялъ Горгія какъ своего учителя въ естествознаніи; на изображеніи, украшавшемъ его могилу, можно было видѣть софиста, указывавшаго на небесный глобусъ. Трудно представить, чтобы въ памяти ученика сохранился образъ учителя какъ представителя ранней, имъ самимъ отвергнутой впоследствіи, стадіи своей дѣятельности; а потому и это обстоятельство говоритъ противъ предположенія, что эти парадоксальные тезисы входили какъ бы клиномъ въ дѣятельность софиста и дѣлили ее на двѣ неравныя части. Правда мы совершенно не знаемъ ни того, сопровождалъ ли онъ свои физическія теоріи подобно Пармениду оговоркой, ни то, имѣлъ ли онъ въ виду при оспариваніи понятія бытія исключительно строгую элейскую его форму или перешелъ къ феноменалистическому воззрѣнію и избѣгалъ ли какъ ученикъ его, Ликофронъ, употребленія глагола „быть“ въ качествѣ связки. Мы не можемъ даже разрѣшить противорѣчіе между двумя свидѣтельствами нашихъ главныхъ источниковъ; съ одной стороны Горгій якобы утверждалъ, что „ничто существуетъ“, съ другой онъ будто бы оспаривалъ само понятіе какъ бытія, такъ и не-бытія.

Такъ называемымъ нигилизмомъ Горгія хотѣли объяснить то, что онъ будто бы отказался отъ научныхъ занятій и преданъ исключительно искусству діалектики; но такъ какъ факты противорѣчатъ этому, то говорятъ, что, будучи послѣдовательнымъ, онъ долженъ бы былъ поступить такъ. Однако никто не хочетъ сдѣлать такого же заключенія въ другомъ аналогичномъ случаѣ. По словамъ Ксенофонта Сократъ особенно выдвигалъ противорѣчія въ философіи, которыя раздѣляли его предшественниковъ, совершенно также какъ это дѣлалъ Горгій. Одни утверждали, что сущее только одно, другіе, что оно безконечно по числу; одни говорили о постоянномъ движеніи, другіе отстаивали всеобщую неподвижность, одни утверждали возникновеніе и гибель всѣхъ вещей, другіе отрицали и то и другое. Отсюда Сократъ дѣлалъ заключеніе о бесплодности и безрезультатности подобныхъ изслѣдованій; выходящихъ, какъ онъ думалъ, за предѣлы человѣческихъ способностей. Однако онъ не дѣлаетъ дальнѣйшаго заключенія о тщетности всякой попытки, направленной къ пониманію природы. Онъ хочетъ, чтобы его ученики приобрѣтали извѣстный запасъ свѣдѣній о природѣ нужный для практическаго примѣненія, напр., чтобы по астрономіи они знали столько,

сколько нужно для кормчаго. Мысль, что вся наука лишена почвы до тѣхъ поръ, пока не устранено это противорѣчіе мнѣній, совершенно чужда Сократу, настолько чужда, что онъ напротивъ хочетъ открыть для изслѣдованія новую область, дѣлая предметомъ основательнаго прозрѣнія „человѣческія вещи“. И въ этомъ предпріятіи его не смущаетъ сомнѣніе, явившееся результатомъ обнаруженія указанныхъ противорѣчій.

Правда Сократъ не расчленялъ критически и не отвергалъ подобно Горгію понятіе „сущаго“. Но никто вѣдь не будетъ утверждать, что это понятіе, которому Сократъ, какъ и Горгіій, не хотѣлъ приписывать съ увѣренностью никакихъ предикатовъ, играло какую бы то ни было роль въ его ученіи. Правильно лишь то, что онъ оставилъ старыя истоптанныя тропы изслѣдованія, такъ какъ онѣ не вели, казалось, къ желанной цѣли. Здѣсь мы касаемся пункта, который имѣетъ большое значеніе для характеристики эпохи. Разочарованіе въ возможности разрѣшить задачи, надъ которыми бились предшествующія поколѣнія, является однимъ изъ факторовъ того переворота, который мы уже наблюдали на многочисленныхъ примѣрахъ. Космологія (въ самомъ широкомъ смыслѣ слова) все болѣе и болѣе оттѣсняется антропологіей (тоже въ самомъ широкомъ смыслѣ этого слова). Мы уже пытались дать подробную оцѣнку нѣкоторымъ изъ этихъ факторовъ, (ср. стр. 328—329). Слѣдуетъ однако упомянуть еще объ одномъ, самомъ непримѣтномъ и въ то же время самомъ дѣйствительномъ, факторѣ, о времени. Нужно было пройти значительному времени, прежде чѣмъ человѣкъ сталъ для себя достойнымъ объектомъ научнаго разсмотрѣнія. Нужно было время и обусловленный имъ ростъ самооцѣнки, и рядомъ съ этимъ постепенно увеличивающееся господство надъ природою и усовершенствованіе государственной и общественной жизни, наконецъ и накопленіе духовныхъ сокровищъ. Сначала пробуждающееся стремленіе къ изслѣдованію обращалось исключительно на внѣшнюю природу. Если при этомъ человѣкъ не вполне забывалъ себя, то онъ казался себѣ зеркаломъ, мутнымъ и хрупкимъ зеркаломъ внѣшняго міра. Наступилъ наконецъ моментъ, когда самосознаніе обратило его вниманіе на его собственныя способности какъ на границы и условія всякаго познанія; какъ слѣдствіе безплодныхъ попытокъ разрѣшить проблему міра явился упадокъ духа. Эти обстоятельства вмѣстѣ съ повышенной самооцѣнкой направили вниманіе изслѣдователя на человѣка, какъ „на самую насущную

заботу чловѣчества“. Однимъ изъ слѣдствій такого переворота была глубокая серьезность и повышенная интенсивность. Перво-разрядные умы, которые полъ-столѣтія раньше навѣрное увеличили бы собою ряды натурфилософовъ, обратились теперь согласно требованію Сократа къ занятіямъ „чловѣческими вещами“. Прежде чѣмъ перейти къ такъ много разъ уже упомянутому нами аѳинскому мыслителю, который рѣшительнѣе всѣхъ выставилъ это требованіе и осуществилъ его, мы бросимъ взглядъ на перемѣну произошедшую въ силу указанныхъ нами вліяній въ историографіи.

ВОСЬМАЯ ГЛАВА.

Расцвѣтъ исторической науки.

Широкаго развитія достигли въ эту эпоху историческія изслѣдованія. Наряду съ огромными собраніями преданій въ родѣ сочиненія Ферекида, появляется и изображеніе непосредственной современности. Историкъ рассказываетъ не только объ Уранѣ и Кроносѣ, но и о Периклѣ и Кимонѣ. Отъ эфирнаго сіянія Олимпа его взоръ спускается къ скандальной хроникѣ повседневной жизни. Фазіецъ Стесимбротъ въ своей книгѣ, „О мистеріяхъ“ съ равнымъ усердіемъ собираетъ полузабытые мѣны и грязныя сплетни, которыми его историческій памфлетъ очернилъ величавые образы аѳинскихъ государственныхъ дѣятелей. При этомъ онъ еще находилъ время въ отдѣльномъ сочиненіи рассказывать жизнь Гомера и толковать его поэмы. Кромѣ него были и другіе значительные дѣятели въ области исторіи искусства и литературы. Изъ древнѣйшихъ можно назвать Дамаста и Главка изъ Регіона; первый былъ авторомъ сочиненія „О поэтахъ и софистахъ“, причемъ подъ софистами подразумѣваются просто философы, очевидно ради параллели съ поэтами; второй былъ современникомъ Демокрита и написалъ сочиненіе: „О старыхъ поэтахъ и музыкантахъ“. И великій энциклопедистъ занимался изслѣдованіемъ источниковъ поэзіи въ своихъ произведеніяхъ, посвященныхъ Гомеровскимъ поэмамъ; въ

другихъ сочиненіяхъ онъ говоритъ о музыкѣ и по этому поводу высказываетъ мысль, подтвержденную позднѣе Платономъ и Аристотелемъ, что почвой для научнаго и художественнаго творчества является досугъ и извѣстная доля матеріальнаго благополучія. Еще древнѣе названныхъ произведеній можетъ считаться хронологически составленный перечень поэтовъ и музыкантовъ, хранившійся въ Сикіонѣ и использованный Гераклидомъ Понтскимъ. Хронологія, впрочемъ, играла не только служебную роль при историческихъ изысканіяхъ, какъ въ этомъ случаѣ, или у Гелланика и Гиппія (смотри стр. 367); она находила и самостоятельную обработку, приблизительно въ VI вѣкѣ въ лицѣ Клеострата, писавшаго стихами, въ V вѣкѣ въ лицѣ Гарпала и др., и особенно въ лицѣ великихъ реформаторовъ календаря Ойнопида и Метона. Уже греки не довольствовались изложеніемъ исторіи своего народа; Харонъ изъ Лампсака и Діонисій Милетскій писали „Персидскія исторіи“, а лидіецъ Ксантъ при составленіи своихъ „Лидійскихъ исторій“, пользовался греческимъ языкомъ, подобно тому какъ это дѣлали всѣ иностранцы въ позднѣйшую эпоху. Разказы путешественниковъ-ислѣдователей, вродѣ Скилакса изъ Каріанды и Эвѣмена изъ Массалии, доставляли исторіи новый матеріалъ; этому же способствовала возникающая литература мемуаровъ, къ которой принадлежатъ „Путешествія“ поэта Іона, произведеніе, отъ котораго намъ сохранилось лишь очень немного, но весьма цѣнное.

Но гораздо важнѣе внѣшняго расширенія горизонтовъ, та внутренняя перемѣна, которую испытываетъ исторіографія. Политическое развитіе достигаетъ высоты, по сравненію съ которымъ Геродотовское представленіе государственности кажется наивностью дѣтскаго возраста рядомъ съ просвѣтленной умственной силой зрѣлыхъ мужей. Первые слѣды этого переворота встрѣчаемъ мы въ единственномъ уцѣлѣвшемъ остаткѣ брошюрной литературы, создавшейся въ концѣ V-го вѣка.

2. Произведеніе „О государствѣ аеипнянъ“—одно изъ своеобразнѣйшихъ литературныхъ явленій всѣхъ временъ. Тѣсное соединеніе страстности политика и созерцательности ученаго выдаетъ исключительно сильную мысль и исполненное горечью сердце. Автора можно сравнить съ военнымъ, предпринявшимъ развѣдки непріятельскихъ укрѣпленій съ цѣлью открыть ихъ слабые пункты и измыслить особый планъ атаки. Въ то же время

его такъ поражаетъ искусное расположеніе всей крѣпости и соотношеніе ея частей, что онъ не только предостерегаетъ отъ чрезчуръ поспѣшнаго нападенія, но и выражаетъ откровенное восхищеніе пѣлесообразному плану постройки, и такимъ образомъ становится почти панегиристомъ глубоко ненавистнаго врага. Во всякомъ случаѣ только ненависть могла въ такой степени обострить взоръ этого аѣинскаго олигарха и открыть ему нѣкоторыя основныя политическія истины, до тѣхъ поръ невѣдомыя. Здѣсь впервые вскрывается соотвѣтствіе государственнаго устройства съ общественнымъ укладомъ, согласованность внѣшнихъ формъ съ внутреннимъ содержаніемъ общественной жизни. Морское могущество Аѣинъ, проистекающее отсюда торговое преобладаніе ихъ, военная тактика, соотношеніе между арміей и флотомъ, демократическое устройство и многое такое, что для поверхностнаго наблюдателя кажется только злоупотребленіемъ демократіи, напр., подсудность союзниковъ, затяжка процессовъ, распущенность вольноотпущенниковъ и рабовъ,—все это приведено во внутреннюю связь, освѣщено и сведено къ общимъ причинамъ. Такимъ образомъ не безъ основанія указывали на то, что это сочиненьице представляетъ собою первый образецъ дедуктивной разработки социальнo-политическихъ вопросовъ.

Правда, эта похвала не безусловна. Какъ ни похвально обнаруживающееся здѣсь стремленіе подвести массу отдѣльных явленій подъ общую точку зрѣнія, какъ ни полезно при этомъ чувство причинности: все это не мѣняетъ того факта, что дедуктивный методъ оказывается мало пригоденъ для объясненія историческихъ явленій и для освѣщенія эволюціоннаго процесса. Нашъ авторъ обнаруживаетъ рѣдкое богатство тонкихъ наблюденій и глубокомысленныхъ замѣчаній. Въ нѣкоторыхъ вопросахъ его можно считать предшественникомъ Бѣрка, Макіавелли и Паоло Сарпи. Но было преувеличеніемъ, когда про это сочиненіе говорили, что оно является „первой попыткой познать законы государственныхъ формъ“. Исходной точкой всѣхъ его разсужденій является внутренняя связь между господствомъ на морѣ и демократіей. Конечно эта связь является результатомъ специфическаго историческаго развитія Аѣинъ. Но что здѣсь не проявляется „законъ природы“, въ этомъ можетъ насъ убѣдить примѣръ Карфагена и Венеціи, Голландіи и Англіи. Его дедукціи можно упрекнуть въ нѣкоторой насильственности. Въ самомъ

началѣ сочиненія онъ въ слѣдующихъ словахъ высказываетъ тезисъ, который онъ собирается доказать: „Я хвалю Аѳинянъ не за то, что они предпочли извѣстный родъ государственнаго устройства; ибо они предпочли благосостояніе плохихъ людей благосостоянію хорошихъ. Но я хочу доказать, что, рѣшившись на одно, они сохраняли свою конституцію, и въ остальномъ, что грекамъ казалось ошибочнымъ, достигли своей цѣли“. Въ концѣ сочиненія онъ говоритъ: „Для улучшенія конституціи можно многое выдумать; но не легко выдумать такое, что произвело бы серьезное улучшеніе при сохраненіи демократіи. Этого можно достигнуть только въ незначительной степени, прибавляя немного въ одномъ, убавляя въ другомъ“. Аѳинская демократія представлялась ему законченнымъ художественнымъ произведеніемъ, которое должно быть такимъ, и не можетъ быть инымъ для своей цѣли, удовлетворенія массъ. При этомъ опредѣленно и съ явнымъ преувеличеніемъ указывается на то, что правятъ „низость и неразуміе“, а въ совѣтѣ и народномъ собраніи первую роль играютъ „сорванцы“. Но народу, который по праву преслѣдуетъ свои собственные интересы, полезнѣе „невѣжество, порочность и благосклонность“ его настоящихъ вождей, чѣмъ „способность, проницательность и недоброжелательство хорошихъ“ или „благородныхъ“. Правда, въ этомъ случаѣ не получается лучшаго государственнаго устройства, но демократія наилучшимъ образомъ сохраняется. „Ибо народъ не хочетъ быть рабомъ въ законно и хорошо устроенномъ государствѣ, онъ хочетъ быть свободнымъ и господствовать... Какъ разъ изъ того, что ты считаешь незаконнымъ устройствомъ, почерпаетъ народъ свою силу и свою свободу“. Нужно ли указывать на то, что въ этихъ, вполнѣ объективныхъ по видимости, реально-политическихъ разсужденіяхъ чувствуется значительная доза раздраженнаго доктринерства, или правильнѣе, раздраженности, скрытой подъ покровомъ доктрины? А если это неразуміе, эта негодность и безрасудность вождей подвергаютъ опасности мощь государства, если они ведутъ къ потерѣ флота, дани, владѣній? Въ чемъ же тогда выгода народа? Несомнѣнно, что замѣчаніе нашего олигарха во многихъ случаяхъ попадаютъ въ цѣль, но все же перомъ его руководитъ опредѣленная тенденція. Вся его проницательность служитъ его партійной страстности, все его мышленіе есть одно изъ средствъ выраженія своего раздраженія. Аѳинская демократія якобы не-исправима въ полномъ смыслѣ этого слова. Самые большіе

недостатки, наиболѣе тяжело ощущаемые людьми, принадлежавшими къ тому же сословію и къ той же партіи, что и авторъ, являются якобы исключительнымъ и неотвратимымъ слѣдствіемъ главнаго государственнаго принципа. Попастъ въ самый корень, въ самый жизненный нервъ аѳинскаго государства значитъ осудить его. Онъ какъ бы говоритъ своимъ друзьямъ: Не надѣйтесь на реформы! Не ожидайте ничего отъ компромиссовъ! То, что вамъ кажется случайной неудачей, недостаткомъ, временной порчей, все это проявленія одного губительнаго государственнаго принципа. Съ этимъ связано благополучіе массы, которая потому и будетъ всегда руководиться имъ. Не нужно половинчатости и поспѣшности! И прежде всего не нужно несвоевременныхъ выступленій съ недостаточными силами! Если нанести ударъ, то онъ долженъ быть рѣшительнымъ, онъ долженъ сразу и навсегда покончить съ верховенствомъ „проклятаго демоса“ (выражаясь языкомъ того времени). Вы должны быть хорошо вооружены и исполнены рѣшимости, у васъ не должно быть также недостатка въ союзникахъ. „Ибо“—здѣсь намъ уже не нужно читать между строкъ,—„не мало нужно для того, чтобы покончить съ аѳинскимъ народовластіемъ“.

3. Это замѣчательное произведеніе политической страсти и политическаго смысла появилось въ томъ самомъ году (424 г. д. Р. X.), когда оказался обреченнымъ на праздность человекъ такого же приблизительно склада, но болѣе крупный и болѣе гармоничный. Эта праздность была ему необходима для завершенія труда всей его жизни. Эукидидъ, сынъ Олора, очень богатый человекъ знатнаго происхожденія, въ жилахъ котораго кромѣ греческой текла также еракійская кровь, командовалъ въ качествѣ стратега отрядомъ флота у острова Эазоса, откуда онъ недостаточно быстро явился на выручку осаждаемаго города Амфиполиса. Эту проволочку онъ долженъ былъ искупить двадцатилѣтнимъ изгнаніемъ. Часть времени онъ употребилъ на путешествія, другую часть провелъ въ своемъ помѣстьи на берегу Эракіи, работая надъ тѣмъ сочиненіемъ, которое имѣетъ неоспоримое и лишь изрѣдка подвергаемое сомнѣнію право считаться величайшимъ историческимъ памятникомъ древности. Мы бросимъ лишь бѣглый взглядъ на духъ его исторіографіи, на методы его изслѣдованія и также кратко коснемся другихъ принципиальныхъ пунктовъ, попадающихъ въ рамки нашего изложенія. Врядъ ли наши читатели по-

сѣтуютъ на насъ, если мы немного дольше, чѣмъ это безусловно необходимо, займемся великимъ аѳиняниномъ и его безсмертнымъ твореніемъ. Въ этомъ пунктѣ мы достигаемъ высочайшей вершины духовнаго развитія. Мы стоимъ передъ самымъ высокимъ по строгому отношенію къ истинѣ, передъ самымъ высокимъ въ смыслѣ полноты идей, передъ самымъ высокимъ по художественной силѣ.

Врядъ ли два современника представляютъ большій контрастъ, чѣмъ Геродотъ и Эукидидъ. Между появленіями ихъ сочиненій лежитъ промежутокъ въ двадцать лѣтъ; по духу же различіе ихъ можно опредѣлить столѣтіями. Геродотъ даетъ впечатлѣніе древней старины, Эукидидъ впечатлѣніе современности. Наклонность къ религіозно-политическому, къ легендарному, анекдотическому, простодушная вѣра галикарнасца, только изрѣдка смягчаемая лучами критики,—все это безслѣдно исчезаетъ у его младшаго товарища. Его взоръ направленъ прежде всего на политическіе факторы, на реальное соотношеніе силъ, можно сказать, на естественную основу историческихъ событій. Причины этихъ явленій онъ видитъ совсѣмъ не во внушеніяхъ и участіяхъ сверхестественныхъ существъ; индивидуальнымъ настроеніямъ и страстямъ приписываетъ онъ также самое незначительное вліяніе. Позади ихъ онъ ищетъ общія движущія силы, состояніе народовъ, интересы государствъ. Прежде чѣмъ указать на всѣ отдѣльные пункты спора, изъ-за котораго возникла пелопонезская война, онъ дѣлаетъ замѣчаніе: „Самой истинной, но наименѣе выясненной, причиной войны было слишкомъ развившееся могущество Аѳинъ, возбуждавшее опасеніе Спарты“. Сообщение его біографа, что онъ былъ ученикомъ физика механиста, Анаксагора, вполнѣ согласуется съ его міровоззрѣніемъ и съ его обработкой исторіи. Онъ стремится къ тому, чтобы обрисовать процессъ человѣческой исторіи какъ процессъ природы при свѣтѣ неумолимой причинности. Онъ настолько объективенъ, что можно читать большіе отрывки его сочиненія, не зная въ какую сторону склоняются его симпатіи. Что онъ не лишень сильнаго чувства, должно быть понятно всякому, кто знаетъ, что интенсивное углубленіе въ человѣческую жизнь и живое ея изображеніе возможно только на почвѣ личнаго живого участія. Подъ старательно сохраняемымъ объективнымъ спокойствіемъ чувствуется внутреннее волненіе; описаніе гибельнаго сициліанскаго предпріятія полно трагическаго паѳоса.

Геродотъ пишетъ исторію, „чтобы то, что случается съ людьми, не заглохло со временемъ и чтобы великія и удивительныя дѣянія... не прошли безславно“. Конечно, въ глубинѣ души Эукидидъ движимъ тѣми же мотивами. Но на первый планъ онъ, какъ бы для собственного оправданія, выставляетъ „ту пользу, которую въ будущемъ можно почерпнуть изъ точнаго знанія прошедшаго, въ особенности при сужденіи о сходныхъ событіяхъ, которыя создаются (все той же) человѣческой натурой“. Онъ хорошо сознаетъ, что, откидывая все мифическое, онъ дѣлаетъ свое произведеніе „менѣе привлекательнымъ“. Поэтому онъ не безъ самодовольства называетъ его „скорѣе богатствомъ на долгое время, чѣмъ блестящей мишурой на мгновеніе“. Трезвой строгости въ преслѣдованіи своей цѣли соотвѣтствуетъ то же отношеніе въ выборѣ средствъ. Въ послѣднее время выражали удивленіе, почему Эукидидъ взялъ темой своихъ изслѣдованій короткій промежутокъ времени, а не значительную часть міровой исторіи. Отвѣтъ на вопросъ даетъ самъ историкъ въ часто повторяемой жалобѣ на трудность получить вполнѣ вѣрныя свѣдѣнія даже о событіяхъ своего времени. „Военныя событія мнѣ не хотѣлось рассказывать со словъ перваго встрѣчнаго, а также и не такъ, какъ онѣ могли мнѣ показаться истинными (слѣдуетъ вспомнить при этомъ Гекатэя, ср. стр. 223), но я или былъ самъ ихъ свидѣтелемъ или старался получить точныя свѣдѣнія. Но было трудно доискаться истиннаго, ибо и очевидцы не согласовались между собою, но расходились въ своихъ показаніяхъ въ зависимости отъ своихъ симпатій и въ мѣру своей памяти“. Какой горечью звучитъ его жалоба на то, что „для большинства людей, отысканіе истины есть совсѣмъ нетрудное дѣло, такъ какъ они берутъ то, что лежитъ у ихъ рукъ“ (Вспоминаются слова Бэкона: „ex iis quae praesto sunt“). Со свойственной всѣмъ грекамъ склонностью къ осужденію, которую проявилъ даже добродушный Геродотъ по отношенію къ Гекатэю (ср. стр. 234), Эукидидъ выискиваетъ ошибки Геродота, особенно въ сообщеніяхъ его о спартанскихъ учрежденіяхъ, и замѣчаетъ при этомъ, что „люди заблуждаются даже относительно того, что еще существуетъ и не затмѣнено временемъ“.

Однако Эукидидъ не хотѣлъ или не могъ совершенно отказаться отъ занятій исторіей сѣдой старины. При этомъ выступаютъ своеобразныя стороны его метода, на которыя слѣдуетъ обратить вниманіе. Особенно нужно указать на два основныхъ

пункта. Фукидидъ первый вводитъ въ историческую науку методъ обратныхъ умозаключеній. Гдѣ нѣтъ достовѣрныхъ извѣстій, тамъ онъ исходитъ отъ состояній, учреждений и названій современности, чтобы вывести отсюда заключеніе о прошедшемъ. Такъ, въ доказательство того, что пространство афинскаго акрополя заключало нѣкогда въ себѣ весь городъ, онъ приводитъ словоупотребленіе своего времени, когда слово „городъ“ (polis) обозначало всегда „кремль“ (acropolis). Или какъ другое основаніе того же утвержденія онъ приводитъ фактъ, что самыя важныя святилища помѣщались или въ предѣлахъ акрополя или по близости его и что извѣстные культы связаны именно съ находящимся тамъ источникомъ. Этотъ же методъ мы встрѣчаемъ во вновь открытой книгѣ Аристотеля. Второй пунктъ касается примѣненія современныхъ состояній у менѣ развитыхъ народовъ для освѣщенія раннихъ ступеней культуры уже цивилизованныхъ націй. Этотъ приемъ, которымъ такъ широко пользуются въ наше время въ исторіи морали, религіи и права и который такъ сблизилъ этнологію и изслѣдованія доисторическаго времени,—слѣдуетъ вспомнить, напримѣръ, „каменный вѣкъ“, продолжающійся въ центральной Бразиліи еще въ настоящее время, и свайныя постройки въ современной Новой Гвинее и въ современной Европѣ—встрѣчается впервые также у Фукидида. Въ Одиссеѣ Несторъ, спрашивая Телемака, пристающаго къ Пилосу о дѣли его поѣздки, упоминаетъ рядомъ съ торговыми дѣлами также и пиратство, не вкладывая въ это слово ни тѣни порицанія. Отсюда тягостныя недоумѣнія и всякаго рода освѣдомленія у представителей придворной учености въ Александріи и у иныхъ книжныхъ ученыхъ нашего столѣтія. Первые уже потеряли чутье древней наивности, другіе еще не приобрѣли его. Фукидидъ возвышается надъ тѣми и другими; онъ далекъ отъ того, чтобы навязывать стихамъ эпоса чуждый имъ смыслъ, онъ просто объясняетъ грубую мысль гомеровскихъ богатырей указаніемъ на складъ жизни отсталыхъ греческихъ племенъ, какъ и въ другихъ случаяхъ онъ освѣщаетъ образъ того ранняго времени подобными же параллелями.

О допустимости примѣненія подобнаго свидѣтельства Гомера не можетъ быть сомнѣнія. Если народная поэзія не можетъ свидѣтельствовать ни о чемъ другомъ, то, по крайней мѣрѣ, она говоритъ о складѣ мыслей тѣхъ, для кого она предназначена. Фукидидъ идетъ, однако, дальше и примѣняетъ свидѣтельства эпоса въ своей попыткѣ воссозданія доисторической Эллады. Здѣсь

при сравненіи съ современнымъ критическимъ методомъ ему трудно избѣгнуть упрека, что, подобно Геродоту и Гекатею, онъ слѣдуетъ полу-историческому методу. Но, прибавимъ мы, и подобно Аристотелю и почти всѣмъ другимъ мыслителямъ и писателямъ древности. Точка зрѣнія Ѣукидида такова. Въ общемъ онъ вѣритъ въ историческую реальность лицъ и дѣяній, о которыхъ сообщаетъ эпосъ и въ извѣстной степени преданіе вообще. Для него Эллинъ, родоначальникъ эллиновъ, столь же историческое лицо, какъ Іонъ, родоначальникъ іонійцевъ, является исторической личностью для Аристотеля. Здѣсь мы можемъ быть вполне увѣрены, что нашъ скептицизмъ основателенъ и что ошибается довѣрчивость наиболѣе критически настроеннаго изъ грековъ. Можемъ ли мы сказать то же самое въ отношеніи рода Атридовъ, Агамемнона, троянской войны? Наука не сказала объ этомъ послѣдняго слова. Героическая легенда заимствуетъ большую часть свои центральныя событія и центральныя фигуры изъ дѣйствительности, въ остальномъ крайне свободно обращаясь съ фактами. Французскій средневѣковый эпосъ перемѣшиваетъ всѣ эпохи; онъ, напр., заставляетъ Карла Великаго участвовать въ крестовыхъ походахъ! Однако, онъ не выдумалъ ни Карла Великаго, ни крестовыхъ походовъ, не сдѣлалъ заимствованій изъ миеологии. Съ своей стороны, Ѣукидидъ также придерживается только основныхъ чертъ преданія, передаваемого поэтами; онъ часто выражаетъ недовѣріе къ частностямъ и совершенно отбрасываетъ столь любимую его предшественниками анекдотичность. Онъ не хочетъ истолковывать или гармонизировать, онъ хочетъ лишь пополнять. Ясно понимая, что у него нѣтъ средствъ получить сколько-нибудь вѣрную картину отдаленнаго прошлаго, очистивъ его отъ прикрасъ, преувеличеній и искаженій поэта, онъ вступаетъ на совершенно новый путь изслѣдованій, свидѣтельствующій о его удивительной дальновидности и глубокомыслии. Онъ прибѣгаетъ къ дедукціи, при томъ къ дедукціи въ такой формѣ, которая одна только и пригодна для распутыванія историческихъ проблемъ,—это о б р а щ е н н о - д е д у к т и в н ы й методъ или методъ обратнаго умозаключенія. Вооруженный такими средствами, одаренный зоркостью, отъ которой ничто не укрывается, не ослѣпленный національной гордостью, безъ склонности къ прикрасамъ, онъ могъ дать вѣрную въ основныхъ чертахъ картину древнѣйшей Эллады, пользуясь небольшимъ количествомъ данныхъ, признанныхъ достовѣрными. Въ результатѣ

оказалось, что греки очень поздно сознали свое національное единство, что на болѣе ранней ступени они мало отличались отъ варваровъ или не-грековъ, что на морѣ, какъ и на сушѣ, грабежъ былъ главнымъ источникомъ наживы и что необеспеченность сношеній, недостатокъ людей и средствъ надолго задержали культурный расцвѣтъ. Для полученія этихъ результатовъ авторъ воспользовался и тѣми измѣненіями, которыя произошли въ устройствѣ города и прогрессомъ въ судостроеніи и перемѣнами въ одеждѣ и головномъ уборѣ, даже измѣненіемъ одѣянія олимпійскихъ побѣдителей. Защищенность Аттики отъ завоеваній вслѣдствіе скудости ея почвы (ср. стр. 4), отсутствіе рѣзкихъ измѣненій въ ея судьбѣ, обусловленный этимъ притокъ чужихъ родовъ, быстрое возрастаніе населенія, и какъ слѣдствіе колонизація Іоніи; непрочная осѣдлость, благодаря неурегулированности хлѣбопашества, и любовь греческихъ племенъ къ передвиженію, перемѣна состава владѣній, которому подвергались особенно часто самыя плодородныя страны, наконецъ, переходъ патріархальныхъ монархій, вызванный возрастаніемъ богатства, къ такъ называемой тиранніи— вотъ нѣсколько примѣровъ умозаключеній, примѣненныхъ Ѳукидидомъ въ этой области, и полученныхъ имъ выводовъ.

4. Если нашъ историкъ относится съ холоднымъ сомнѣніемъ къ поэтамъ, когда они говорятъ о событіяхъ и о возможномъ вообще, то это недовѣріе переходитъ въ полное отрицаніе всякихъ чудесныхъ исторій и рассказовъ о богахъ. Повидимому, онъ принадлежалъ къ тому кругу лицъ, гдѣ это невѣріе считалось чѣмъ-то само собою понятнымъ и не нуждалось въ спеціальному обоснованіи. Какъ далеки мы здѣсь отъ того суетливаго рвенія, съ которымъ Геродотъ оспариваетъ кажущіяся ему неправдоподобными преданія (ср. стр. 228). Для Ѳукидида все такое просто не существуетъ. Онъ ни на одно мгновеніе не можетъ допустить, чтобы у него могли предполагать вѣру въ нарушимость естественнаго хода вещей. Къ оракулу и предсказаніямъ онъ относится съ холоднымъ пренебреженіемъ, пороку съ ѣдкой насмѣшкой. Онъ хорошо знаетъ тѣ недуги разсудка, которыя способствуютъ подобнымъ суевѣріямъ, и часто мѣтко характеризуетъ ихъ. Когда къ трудностямъ войны присоединилась чума, въ Аѣянахъ вспомнили старое изреченіе оракула, гласившее: „Наступитъ дорійская война и съ нею чума“. Это привело къ спору, —продолжаетъ историкъ,—одни указывали на то, что изреченіе говорило не о чумѣ (loimós), а о голодѣ (limós).

„Но естественно, что въ это время побѣдило мнѣніе, что говорилось о чумѣ; ибо люди подгоняютъ свои воспоминанія къ своимъ переживаніямъ. И я думаю, что если когда-нибудь вновь возникнетъ дорійская война, а съ нею наступитъ голодъ, то и стихъ этотъ будутъ читать ипаче“. Съ подобнымъ сарказмомъ говоритъ онъ не только о безымянныхъ предсказаніяхъ, онъ выражается въ такомъ же родѣ объ изреченіяхъ пивійскаго бога. Когда населеніе ушло изъ опустошенной пелопоннезцами страны въ Аѣины, то и такъ называемое Пелазгово или Пеларгово поле, лежащее къ сѣверо-западу отъ Акрополя, было заселено бѣглецами, несмотря на то, что оракуль предостерегалъ отъ этого. Необходимость заставила отнестись безъ уваженія къ божественному запрету; однако, вскорѣ нарушенію этого завѣта были отчасти приписаны тѣ бѣдствія, которыя вскорѣ постигли Аѣины. „Мнѣ кажется“,—говоритъ Оукидидъ,— „что предсказаніе оракула исполнилось въ обратномъ смыслѣ чѣмъ это полагали. Не заселеніе (этого поля), нарушающее запретъ, породило несчастье, постигшее государство, но война создала необходимость заселенія, и оракуль, хоть и не упоминалъ о войнѣ, но очень хорошо предвидѣлъ, что это заселеніе можетъ произойти не иначе, какъ въ случаѣ крайней нужды“. Это суетвѣріе представляется ему не только пустымъ, но и губительнымъ, такъ какъ при такихъ обстоятельствахъ, „которыя еще допускаютъ спасеніе при помощи силъ человѣка, оно заставляеть толпу обращаться къ прорицаніямъ, изреченіямъ оракула и тому подобнымъ вещамъ, что вызываетъ (ложныя) надежды и тѣмъ причиняеть гибель“. Указаніе на единственное оправдавшееся пророчество, ему извѣстное, о томъ, что пелопоннезская война будетъ длиться „трижды девять лѣтъ“, врядъ ли имѣеть иное значеніе, въ виду приведенныхъ выше заявленій, кромѣ того, что онъ видѣлъ здѣсь удивительное совпаденіе, достойное упоминанія. Такъ нужно смотрѣть и на перечисленіе грозныхъ и опустошительныхъ явленій природы, сопровождавшихъ событія великой войны и усиливавшихъ ея ужасы. Въ этомъ мѣстѣ вступленія, передъ началомъ великой драмы, когда готовъ подняться занавѣсъ, писатель, желавшій выставить въ яркомъ свѣтѣ мощь и величіе избраннаго имъ сюжета, не могъ взывать къ осторожности. Но онъ дѣлаеть это въ другомъ мѣстѣ, когда говоритъ о прорицаніяхъ пророковъ и о дѣйскомъ землетрясеніи, которое, „какъ думали и говорили“, возвѣстило начало войны; онъ не преминулъ вставить

многозначительный намекъ: „И если что подобное случилось гдѣ-нибудь, о всемъ старательно освѣдомлялись“.

Великій аэнимянинъ былъ совершенно чуждъ вѣрованій своего народа, это неоспоримый фактъ. Въ его устахъ слово „миѳическій“ имѣетъ то же презрительное значеніе, что и въ устахъ Эпикура. Однако хотѣлось бы узнать не только то, что онъ отвергаетъ но и то, что онъ утверждаетъ, и прежде всего, какъ онъ относится къ великимъ проблемамъ возникновенія міра и руководства міромъ. Ни одно слово его сочиненія не даетъ намъ на это даже намека. Мы уже сказали, что у него исчезла вѣра въ сверхъестественное вмѣшательство. Будучи одаренъ спеціальнымъ талантомъ для наблюденія и объясненія природы, онъ, и помимо цѣлей борьбы съ суевѣріемъ, любитъ сводить къ естественнымъ причинамъ удивительныя или признаваемыя многозначительными явленія, какъ затменія, грозы, наводненія, водоворотъ Харибды. Мы напомнимъ о его добросовѣстномъ разъясненіи географическихъ явленій, обуславливающихъ постепенное соединеніе группы острововъ у истока Ахелоса съ материкомъ, затѣмъ о его мастерскомъ описаніи аэинской чумы, вызывавшей во всѣ времена удивленіе специалистовъ. Если его тянуло къ физикамъ и „метеорологамъ“ и если мы должны радоваться счастливому обстоятельству, что онъ предпочелъ исторію естествознанію, то врядъ ли можно предполагать, что онъ удовольствовался бы однимъ изъ рѣшеній великой міровой загадки, будь то теорія Левкиппа или Анаксагора. Его оттолкнуло бы не противорѣчіе ихъ съ вѣрованіями народной религіи, а ихъ дерзновеніе и недоказуемость. Человѣкъ, сожалѣющій о невозможности получить вѣрныя свѣдѣнія о ходѣ битвы отъ участниковъ ея съ обѣихъ сторонъ, такъ какъ каждый можетъ сообщать только о происходившемъ въ непосредственной его близости—какъ можетъ онъ соглашаться съ тѣми, которые думаютъ, что могутъ рассказать про возникновеніе міра съ достовѣрностью очевидца? Въ результатъ глубокаго размышленія мы видимъ часто воздержаніе отъ сужденія, вызываемое сомнѣніемъ. Нѣтъ сомнѣнія, что Фукидидъ постоянно размышлялъ о великихъ вопросахъ интересующихъ умъ человѣка.

Неутомимость его стремленія къ истинѣ, не отступающая ни передъ какой жертвой, ни передъ какимъ трудомъ, и повышенныя требованія, которыя онъ ставитъ при ея достиженіи, составляютъ можетъ быть наиболѣе характерную черту нашего историка. Какъ

ни важна была для него художественная законченность, онъ однако не задумывался нарушать общую гармонію и даже единство языка приведеніемъ аутентическихъ свидѣтельствъ и подлинныхъ договоровъ писанныхъ на дорійскомъ нарѣчій. Однако—не говоря о нѣкоторыхъ неважныхъ ошибкахъ, которыя доказываютъ только то, что не требуетъ доказательствъ, а именно что и Эукидидъ могъ ошибаться—развѣ его привычка приводить рѣчи историческихъ лицъ, вѣрная передача которыхъ часто невозможна, не стоитъ въ противорѣчій съ его правиломъ? На это можно отвѣтить, что самъ историкъ высказался въ одномъ мѣстѣ своего труда о своемъ приемѣ и этимъ устранилъ всякія недоразумѣнія. Если въ изображеніи событій онъ стремится къ возможно болѣе полной „точности“, то онъ отказывается (таковы приблизительно его слова) отъ подобной недостижимой цѣли при передачи рѣчей; онъ только „приблизительно“ фактическія, отчасти же истинность ихъ внутренняя, основанная на соотвѣтственной ситуаціи и на характерѣ говорящихъ. Такимъ образомъ вплетеніе рѣчей было тѣмъ художественнымъ средствомъ, которое позволяло ему вкладывать душу въ тѣло исторіи.

5. Поразительно употребленіе Эукидидомъ этого художественнаго средства, которое не выдуманно имъ, но впервые примѣнено въ большомъ масштабѣ. Не говоря о драматическомъ оживленіи рассказа, приемъ этотъ преслѣдуетъ двѣ цѣли: характеристику говорящаго и выраженіе мыслей автора. Для первой цѣли оказалось очень удачнымъ, что рѣчи образуютъ части діалоговъ, въ которыхъ представители противоположныхъ направленій смѣняютъ одинъ другого и тѣмъ отбѣняютъ другъ друга, напримѣръ при дебатахъ о сицилійскомъ предпріятіи въ аѣинскомъ народномъ собраніи, когда Алкивиадъ и Никій выступали одинъ противъ другого. Каждое слово перваго полно огня, бури, страсти, свойственной этой геніальной натурѣ, а на этомъ фонѣ рѣзко выдѣляется осторожная мысль и ѣдкая насмѣшка многоопытнаго старца, который проявивъ себя сильнымъ въ критикѣ, оказался неспособнымъ на практикѣ. Иногда какая нибудь личность характеризуется не только тѣмъ, что она говоритъ, но и тѣмъ, о чемъ она умалчиваетъ. Не случайность, что Перикль въ своей сильной надгробной рѣчи, въ которой рядомъ съ ея глубокимъ содержаніемъ было много необходимыхъ при этомъ случаѣ условностей, совершенно не касается образовъ народной ре-

лиги. Мы узнаемъ въ этомъ опредѣленный умыселъ автора, желаніе указать на полную отчужденность свободомыслящаго ученика Анаксагора отъ какой бы то ни было міеологіи. Рѣчами наконецъ даются характеристики не только индивидуумовъ, но и племенныхъ и сословныхъ типовъ. Такъ беотійцамъ, обладавшимъ живымъ темпераментомъ, онъ вкладываетъ въ уста скорѣе аффектированныя, чѣмъ содержательныя рѣчи; а когда на сцену выступаетъ спартанецъ, эфоръ Стенелайдъ, то его рѣчь характеризуется не только лаконизмомъ, но также природнымъ остроуміемъ и находчивостью, свойственной широкимъ слоямъ дорического племени.

Что же касается этого же приѣма, какъ выраженія взглядовъ историка, позволяющаго ему черпать изъ безмѣрно богатаго запаса идей, не выступая навязчиво отъ своего лица,—то нужно ли говорить о томъ, какъ умѣло слѣдуетъ имъ пользоваться. Какую массу мѣткихъ наблюденій, остроумныхъ выводовъ, вѣчныхъ правилъ мы здѣсь находимъ! Подобную сокровищницу политической мудрости мы встрѣчаемъ только въ сочиненіяхъ Маккіавелли. Отъ сравненія аѳинянина съ флорентинцемъ выигрываетъ не второй, а первый, и не только потому, что у Θукидида всѣ разсужденія какъ бы ненамѣренно вытекаютъ изъ историческихъ ситуацій и не имѣютъ характера книжности и систематической сухости. Случайныя рѣчи расширяются у него иногда до обширныхъ философскихъ разсужденій.

Выше мы выразили предположеніе, что Протагоръ первый пытался построить уголовное право на теоріи устрашенія. Здѣсь умѣстно указать на то, что Θукидидъ по необыкновенно удачному поводу вкладываетъ въ уста одному оратору (аѳинянину Діодоту во время дебатовъ о наказаніи лесбосскихъ мятежниковъ) глубокомысленное опроверженіе этой теоріи, можетъ быть направленное противъ Протагора. Въ иныхъ случаяхъ недостатокъ систематической обработки восполняется у внимательнаго читателя тѣмъ, что разбросанныя въ разныхъ мѣстахъ книги отдѣльныя черты собираются въ цѣльный образъ; такъ напримѣръ создается общее представленіе о характерѣ аѳинскаго народа.

Можно ожидать, что двѣ цѣли, которымъ одновременно служатъ рѣчи, мѣшаютъ одна другой, что въ особенности выраженіе взглядовъ автора вредитъ характеристикамъ лицъ. У Θукидида такъ много чего сказать, что неудивительно, если онъ порою пользуется и неподходящимъ лицомъ для передачи своихъ

мыслей. Въ этомъ отношеніи было трудно, если не невозможно, не выйти за предѣлы художественнаго, ибо ситуаціи, дающія поводъ для разсужденія, столь же исторически реальны, какъ и лица въ нихъ участвующія. Мы не утверждаемъ что историкъ всегда преодолевалъ всѣ трудности. Однако, насколько мы можемъ судить, неудачные случаи очень рѣдки, и кромѣ того въ нихъ есть своеобразная прелесть. Въ этихъ недостаткахъ художественнаго построенія ярко просвѣчиваетъ личность. Въ надгробной рѣчи Перикла, этой до квинтэссенціи сгущенной философіи аѳинской государственной жизни, въ этомъ удивительномъ твореніи, въ которомъ античный матеріалъ какъ бы обработанъ перворазряднымъ умомъ современности, какимъ нибудь Токвиллемъ, въ этомъ можетъ быть самомъ драгоценномъ алмазѣ греческой прозы, особенно ярко отлѣнена одна характерная особенность аѳинской общественной жизни, индивидуальная свобода, безпрепятственное, не стѣсняемое никакимъ насиліемъ большинства свободное устройство частной жизни. Объ этомъ наиболѣе цѣнномъ дарѣ государственнаго строя Аѳинъ историкъ заставляетъ говорить также и Никія въ его послѣдней рѣчи непосредственно передъ рѣшительной битвой въ гавани Сиракузъ. Врядъ ли мы ошибаемся, полагая, что это упоминаніе гораздо менѣе естественно въ устахъ стараго полководца, человѣка съ формальной безупречностью, преданнаго стариннымъ обычаямъ, чѣмъ въ устахъ друга философовъ, Перикла; здѣсь гораздо больше принята во вниманіе ситуація, чѣмъ лицо въ ней участвующее, и на этотъ разъ устами Никія говоритъ съ нами самъ Фукидидъ, который даетъ волю своему чувству, забывая о личности оратора. Нѣкоторыя подобныя шероховатости скрываются отъ насъ, такъ какъ съ характеромъ лицъ мы знакомимся большею частью именно по Фукидиду, и изображеніе ихъ другими нельзя поставить въ уровень съ его характеристиками; и все же такіе случаи рѣдки. Ибо именно въ этомъ пунктѣ проявляется необычайное искусство мастера. Одинъ примѣръ поможетъ обосновать это сужденіе. Ни одна изъ фигуръ на сценѣ великой исторической картины не пользуется меньшимъ расположеніемъ Фукидида, чѣмъ кожевникъ Клеонъ. Однако какъ отлично умѣетъ онъ пользоваться рѣчью ненавистнаго ему человѣка, чтобы указать на темныя стороны на фонѣ блестящихъ свойствъ аѳинскаго народа, свойствъ, такъ часто и навязчиво указываемыхъ.

Что образованіе аѳинянъ страдаетъ перегрузкой, что тонкость ихъ мышленія часто вредитъ увѣренности и здоровью, что сыны Аттики сбиты съ толку обиліемъ взглядовъ и что они болѣе остроумны, чѣмъ разсудительны,—все это явно убѣжденія самого историка, которыя кажутся ему наиболѣе яркими въ устахъ грубаго демагога, мало затронутого высшимъ образованіемъ. Историкъ заставляеть его сказать своимъ соотечественникамъ суровыя слова порицанія: Вы рабы парадокса, съ презрѣніемъ взирающіе на обычное; вы также слѣдите за дебатами самыхъ насущныхъ вопросовъ данной минуты, какъ если бы дѣло шло о безцѣльномъ состязаніи на словахъ. Вы видите факты только преломленные въ рѣчахъ; на нихъ вы взираете, чтобы заключить о будущемъ, чтобы судить о прошедшемъ; видимость и дѣйствительность, реальность и ея изображеніе помѣнялись для васъ своими мѣстами!

Имя Клеона связано съ вопросомъ о безпартійности Ѳукидида. Ни въ какомъ пунктѣ вопросъ о его безпартійности не подвергался большому сомнѣнію и, какъ мы охотно прибавимъ, наиболѣе основательно, чѣмъ по отношенію къ Клеону. Нѣтъ сомнѣнія, что шумная стремительность Клеона, его плебейское отношеніе ко всему утонченному отталкивали нашего историка и сдѣлали его слѣпымъ въ отношеніи заслугъ Клеона. Ошибка, въ которую впалъ и Аристотель въ „Государствѣ аѳинянъ“. Но то, что мы можемъ это утверждать, этимъ мы обязаны исключительно тому матеріалу, который въ такомъ изобиліи и въ безупречной формѣ предоставляетъ намъ самъ Ѳукидидъ. Въ особенности событія на островѣ Сфактеріи, рассказанныя историкомъ, и выведенное имъ сужденіе находятся въ рѣзкомъ противорѣчій, которое не можетъ ускользнуть отъ самаго поверхностнаго читателя. Клеонъ обѣщаль привести въ Аѳины въ теченіе двадцати дней, живыми или мертвыми, четыреста спартанскихъ гоилитовъ, находящихся на островѣ Сфактеріи и отрѣзанныхъ отъ остальныхъ силъ. Онъ располагаетъ значительно превосходящими силами, беретъ лучшаго тогдашняго аѳинскаго полководца, Демосѳена,—и успѣхъ вполне оправдываетъ его ожиданія. И однако историкъ, полный пренебреженія и не лишенный по видимому личной ненависти, называетъ это обѣщаніе Клеона „сумасброднымъ“. Но именно этотъ случай яркой партійности является сильнымъ аргументомъ въ пользу его любви къ истинѣ. Ему легко было, если не совершенно уничтожить противорѣчіе

между сужденіемъ и фактами, то по крайней мѣрѣ смягчить его. Онъ могъ бы указать на непредвидѣнные счастливыя случайности, помогшія осуществленію этого „сумасброднаго общанія“. Но его сообщеніе не содержитъ ни одного слова въ этомъ смыслѣ. Ненависть затемнила ясность его сужденія, но онъ оказывается лишеннымъ всякаго лукавства, далекимъ отъ всякаго тенденціознаго искаженія и прилаживанія фактовъ. Таковъ же онъ и тогда, когда его сужденіе окрашено чувствомъ теплаго расположенія. Когда Никій своею кровью запечатлѣлъ неудачу несчастнаго сицилійскаго предпріятія, Фукидидъ раздражается жалобами по поводу его смерти, въ которыхъ проявляется не только теплое участіе къ трагической судьбѣ несчастнаго человѣка, но и высокое мнѣніе о немъ. Однако онъ не умолчалъ ни объ одной изъ многочисленныхъ едва понятныхъ ошибокъ Никія; онъ далъ намъ въ руки просто уничтожающій матеріалъ для обвиненія, если не человѣка, то полководца. Ему свойственно было то чистосердечіе, или та „простота“ души, которая, говоря его словами, „составляетъ такую существенную черту душевнаго благородства“.

Намъ нужно однако разстаться съ Фукидидомъ. Мы скоро снова встрѣтимся съ нимъ. Ибо прежде чѣмъ заняться духовнымъ дѣяніемъ Сократа, первой серьезной попыткой систематическаго обоснованія этики, намъ необходимо дать хоть самую общую характеристику этическаго и политическаго состоянія умовъ. При этомъ намъ придется черпать изъ твореній поэтовъ въ особенности трагическихъ, а также изъ отзывовъ ораторовъ, историковъ, и въ особенности наиболѣе глубокомысленнаго между послѣдними.

Примѣчанія и добавленія.

Эпиграфъ къ первой части заимствованъ изъ Н. S. Main, *The Rede-Lecture of May 22, 1875* p. 38.

(Стр. 4). Срв. Bursian, *Geographie von Griechenland* I 5—8. Nissen, *Italische Landeskunde* I 216: «Нигдѣ нельзя найти на такомъ маленькомъ пространствѣ такое великое множество разнообразныхъ бухтъ, предгорій, горныхъ цѣпей, долинъ, плоскогорій, низменностей и острововъ». G. Perrot, *Revue des deux mondes* Fevrier 1892: «Le sol et le climat de la Grece», въ особенности стр. 544.—Слова о «скудости» принадлежать Геродоту (VII 102).—Къ стр. 13 снизу см. Фукидидъ I 2.

(Стр. 5). Подробнѣе о расширеніи географическаго горизонта см. Н. Berger, *Geschichte der wissenschaftlichen Erdkunde* I 16 ff., Ed. Meyer, *Geschichte Agyptens* S. 367.—О поселеніяхъ съ острова Самоса въ Ливійской пустынѣ упоминаетъ Геродотъ, III 26.

(Стр. 7, § 2). Та же точка зрѣнія у В. Erdmannsdorfer: «Das Zeitalter der Novelle in Hellas» (*Preussische Jahrbücher* 1869).

(Стр. 7). О «котлахъ» и «треножникахъ» см. Илиаду 9, 264 сл.; Одиссею 13, 13 сл. и 217; они упоминаются для обозначенія единицъ цѣнности въ критскихъ законахъ (Comparetti въ *Museo italiano* III passim), и наконецъ въ качествѣ побочнаго знака воспроизводятся на критскихъ монетахъ. Если даже, какъ предполагаетъ Svoronos (*Bulletin de corr. hell.* XII 405), законы разумѣютъ именно эти монеты, то все же свидѣтельство указанныхъ мѣстъ у Гомера достаточно краснорѣчиво.

(Стр. 9 внизу). Творцы хоровой пѣсни: вспомнимъ Стесихора и его своеобразную обработку мѣта о Еленѣ, срв. Otrf. Müller, *Geschichte der griechischen Litteratur* I² 363 ff.

(Стр. 10, § 3). Относительно какъ азіатскаго, такъ и египетскаго вліянія на такъ называемый микенскій стиль срв. Schuchhardt, *Schliemanns Ausgrabungen*, Leipz. 1890, S. 358 и Reisch, *Die mykenische Frage* въ *Verhandlungen der 42 Versammlung deutscher Philologen* S. 104. Въ то время, какъ въ Атикѣ и на островахъ микенскій стиль продолжалъ развиваться дальше, въ Пелопоннесѣ развитіе его внезапно прекратилось, по всей вѣроятности вслѣдствіе завоеванія дорійцъ. Египетское вліяніе на начатки статуарнаго искусства признаютъ между прочимъ Collignon, *Histoire de la sculpture grecque* I 119 и Lechat, *Bull. de corr. hell.* XIV 148.

(Стр. 10). Греческіе наемники увѣковѣчили себя надписью на ногахъ колосса въ Abu-Simbel въ Лубѣ (Inscript. Graecae antiquissimae ed. Roehl, Berlin 1882, p. 127). Исамметихи I и II имѣли подъ своими ногами тысячи такихъ наемниковъ, срв. E. Meyer, *op. cit.* 360 сл. Въ Вавилоѣ въ качествѣ наемнаго воина жлъ Антименидъ, братъ поэта Аллея (Strabo 13, 617).

(Стр. 12, § 4). О климатѣ Юлія говоритъ Геродотъ I, 142. Къ происхожденію іонянъ срв. Ed. Meyer въ *Philologus* Neue Folge, II 273, также v. Wilamowitz въ *Hermes* XXI 108. О многосторонности дарованій ихъ и причинѣ ея

срв. великолѣпныя замѣчанія Grote къ его Hist. of Greece III² 236 сл.— Относит. «кровнаго смѣшенія» срв. Sprenger, Versuch einer Kritik von Hamdānis Beschreibung и т. д. (стр. 367 въ отд. отискѣ изъ Zeitschrift d. deutschen Morgenländ. Gesellschaft, Bd. 45): «Можно сказать, что мусульманская культура, которую мы обыкновенно называемъ арабской, произошла отъ скрещенія арабской крови и духа съ персидской».

(Стр. 13, § 5). Авторъ, разсмотрѣвшій эти вопросы въ своей прежней маленькой работѣ: «Traumdeutung und Zauberei» Wien 1866, и донынѣ раздѣляетъ точку зрѣнія Юма, который слѣдующимъ образомъ формулируетъ ее въ своей «Естественной исторіи религіи»: There is an universal tendency among mankind to conceive all beings like themselves, and to transfer to every objekt those qualities with which they are familiarly acquainted and of which they are intimately conscious» (Essays and treatises, Edinburgh 1817, II 393).

Наука о религіи въ наше время страдаетъ отъ недостатка точно установленной терминологіи. Важный терминъ «анимизмъ» употребляется тѣмъ самымъ выдающимся изслѣдователемъ, который главнымъ образомъ и ввелъ его въ литературу (и основными трудами котораго мы обильно пользовались), то въ тѣсномъ, то въ болѣе общемъ смыслѣ; обращаемъ вниманіе на его собственное объясненіе (Tylor, Primitive Culture II 100). Еще неопредѣленнѣе терминъ «фетишизмъ», который означаетъ то поклоненіе великимъ явленіямъ и объектамъ природы, то почитаніе дѣлаго ряда неодушевленныхъ предметовъ, то, наконецъ, обоготвореніе незначительныхъ отдѣльныхъ предметовъ, какъ то странной формы камня, причудливо окрашенной раковины и т. д. Разнообразіе значеній этого термина сильно препятствовало росту знанія. Законная реакція противъ того предположенія, что почитаніе фетишей послѣдняго рода было первичной формой религіи вообще, по нашей мнѣнію, пошла слишкомъ далеко и привела, наипримеръ, Герберта Спенсера къ неосновательному отрицанію всякаго значенія за фетишизмомъ. Правильное предположеніе о томъ, что объекты почитанія, называемые фетишами, часто являются вторичными религіозными объектами, что нерѣдко они вызываютъ почитанія лишь какъ обиталища (временныя или постоянныя) какого нибудь духа или божества, обобщено было до утвержденія «that fetishism is a sequence of the ghost-theory» (H. Spencer, Principles of Sociology, I 345). Мы считаемъ себя въ правѣ употреблять это слово въ его обычномъ, хотя и противорѣчащемъ этимологич. значенію (относительно этимологич. см. Réville, Prolegomènes de l'histoire des religions² 130), и повторяемъ, что попытка англійскаго мыслителя свести всякое почитаніе природы къ поклоненію духамъ и въ особенности душамъ предковъ вовсе не кажется намъ убѣдительной.

Кажущаяся убѣдительность доказательства того, что вся религія сперва была почитаніемъ предковъ или духовъ, поконится на слѣдующемъ обстоятельстве. На нашихъ глазахъ происходятъ постоянныя возрастанія числа подобныхъ боговъ (напр. въ Индіи, см. Grant Allen, The evolution of the idea of God p. 32 & Lyall, Asiatic studies², 1—54). Великіе фетиши природы давно какъ бы совершенно забыты, и важнѣйшими жизненными интересами людей завѣдуютъ божества, въ свою очередь ставшіе древними. Между тѣмъ, значеніе всѣхъ *общепризнанныхъ* боговъ съ теченіемъ времени неизбѣжно стирается. Возникаетъ потребность въ цовыхъ отдѣльныхъ божествахъ, долженствующихъ заключить болѣе тѣсный союзъ со своими почитателями. Поэтому то продолжающійся на нашихъ глазахъ процессъ религіознаго творчества и является главнымъ образомъ культомъ душъ.

Данная въ текстѣ картина образованія религіозныхъ представленій должна обнимать собою *совокупность* всѣхъ, по нашему убѣжденію, участвующихъ въ немъ силъ, независимую отъ того, проявляють ли онѣ свою дѣятельность въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ или нѣтъ. Изслѣдованія послѣднихъ десятилѣтій внесли въ эту область несравненно большую, чѣмъ прежде дифференціацію. Такъ долго недостававшій примѣръ совершенной безрелигіозности доставленъ. P. и F. Sarrasin въ ихъ трудѣ «Die Weddas

(Стр. 29, середина). Срв. Rohde op. cit. 1² 251 A. 3, затѣмъ работу автора «Beiträge zur Krit. u. Erkl. griech. Schriftsteller II, 35.

(Стр. 30). Гипотеза о влиянии обычая сжиганія трупa была высказана Rohde, op. cit. 1², 27 сл. Однако, мы встрѣчаемъ «въ ведійской древности ...оба обычая погребенія въ равномъ почитаніи». (Zimmer, Altindisches Leben 401 сл. срв. также 415), при чемъ отъ этого не страдаетъ культъ предковъ.

(Стр. 30 середина). Относительно жизнерадостности Гомеровской поэзии срв. напр. Илиаду, I 396 сл., съ Гесиодовой Теогоніей, 148 сл. Здѣсь борьба титановъ, тамъ то, что можно было бы назвать «дворцовой революціей» въ кругу олимпійцевъ.

(Стр. 31 внизу). Относительно солнца и луны см. Tylor op. cit. I 260—262.—О солнечномъ характерѣ Симсона см. Goldziher, Der Mythos bei den Hebräern, S. 128. Разсказъ этотъ принадлежитъ къ однимъ изъ наиболѣе прозрачныхъ естественныхъ мифовъ.—Для послѣдующаго см. A. Kaegi, Der Rigveda 2 59 сл.—См. Tylor op. cit. II 189, также Прометей Эхсила 369 сл. (Kirchhoff).

(Стр. 32 середина). Трогательный мифъ маори (новозеландцевъ) былъ впервые записанъ лѣтъ сорокъ назадъ сэромъ Дж. Греемъ (см. Tylor op. cit. I 290 сл.). Версію его, въ основномъ съ нимъ сходную, мы находимъ у Bastian, Allerlei aus Volks- und Menschenkunde I 314. Здѣсь дѣти Ранги и Папы послѣ того, какъ одинъ изъ нихъ замѣтилъ солнечный лучъ, «проскользнувшій подъ мышкой у Ранги», восклицаютъ всѣ вмѣстѣ: «Мы убьемъ нашего отца за то, что онъ заключилъ насъ во мракъ». Однако, въ концѣ концовъ они слѣдуютъ совѣту того, кто убѣждаетъ ихъ не убивать отца, а оттолкнуть его ввысь. Китайскую легенду см. Tylor op. cit. I 294. Финикійское сказаніе толкуетъ Евсевій, Praer. evang. I 10 по Филону изъ Библа и его источнику, Санхуниаэону (Σαγχουνιάθων). Обратитъ вниманіе въ особенности на слова: $\omega\varsigma\ \kappa\alpha\iota\ \delta\iota\alpha\ \sigma\tau\eta\ \nu\alpha\iota\ \alpha\lambda\lambda\eta\lambda\omega\ \nu\ \delta\ \delta\epsilon\ \sigma\upsilon\rho\alpha\sigma\ \acute{\alpha}\ \pi\omicron\ \rho\ \chi\omega\rho\eta\ \sigma\alpha\varsigma\ \alpha\upsilon\tau\eta\varsigma\ \chi\tau\acute{\epsilon}.$

(Стр. 32, 7 снизу). Гесиодъ Теогонія 154 сл.

(Стр. 33) «Cherchez la femme»—это восклицаніе принадлежитъ опытному полицейскому комиссару въ романѣ Dumas père «Les Mohicans de Paris» II 16.—Для дальнѣйшаго см. Гесиодъ Теогонія 570 сл. и Труды и Дни 90 сл.—Относительно мифа о Пандорѣ срв. Buttman, Mythologus I 48 сл., который его справедливо сравниваетъ, но ошибочно отождествляетъ со сказаніемъ о Евѣ.

(Стр. 35, 4 стр.). Въ этомъ смыслѣ Геродотъ (II 53) объединяетъ имена Гомера и Гесиода.

(Стр. 35, 2 снизу). См. Kaegi op. cit. 117.—Также у Гомера (Илиада XIV, 259 сл.). Ночь выступаетъ въ образѣ высокой богини, на которую самъ Зевсъ взираетъ съ благоговѣйнымъ трепетомъ. Въ космогоніи маори «праматерь Ночь» стоитъ у корня генеалогическаго дерева живыхъ существъ. За нею слѣдуютъ утро, день, пустое пространство и т. д. См. Bastian op. cit. 307 (стр. 36).—Относительно бога любви у Гесиода срв. Schoemann, Opuscula academica II 64—67.

(Стр. 37 красн. стр.). Относительно «Arsū» и «Tiamat» см. Sayce въ Records of the Past (2 Serie) I. 122 сл.; затѣмъ Lenormant-Babelon, Histoire ancienne de l'Orient V 9 230 сл. и Halévy въ Mélanges Graux 58—60, а также Jensen, Kosmologie der Babylonier 300. Fritz Hommel переводитъ Arsū—«небеснымъ океаномъ», «tiummu-ti'āmat»—«хаосомъ»=морскою пучиною» (Deutsche Rundschau Juli 1891, S. 110/1). Относительно хаоса скандинавовъ см. James Darmesteter, Essais orientaux 177 сл. Аналогія этого хаоса, первичное безграничное пустынное море, встрѣчается и въ космогоніи индѣйцевъ shipreway, см. Fritz Schultze, Der Fetischismus 209. Древне-индуская параллель въ Ригъ-Ведѣ X 129 ст. 1—4:

Zu jener Zeit war weder Sein noch Nicht-Sein.
Nicht war der Luftraum, noch der Himmel drüber;
Was regte sich? und wo? in wessen Obhut?
War Wasser da? und gab's den tiefen Abgrund?

(H. Grassmann's Uebersetzung II 406).

Стр. 37 середина). Мы полагаемъ, что Шёмаппъ (ор. cit.), заключая изъ понятія разверстости, лежащей въ основѣ греческаго слова «хаосъ» (ср. *χάινω* и *χάσμα*), что древніе греки мыслили этотъ хаосъ ограниченными, ищеть у нихъ несравненно большей опредѣленности въ понятіяхъ, чѣмъ сколько можно отъ нихъ ожидать.

(Стр. 38). «Дживья рѣчи»—срв. Гесіодъ Теогонія 224 сл., также 211 сл. Правильно судить о потомствѣ «Ночи» (исключая предположеніе о «редакторѣ», которымъ несомнѣнно долженъ былъ быть самъ Гесіодъ) О. Gruppe, *Die griechischen Kulte und Mythen*, I 571. Несравненно живненнѣй, чѣмъ эти призраки у Гесіода являются даже тѣ изъ образовъ Гомера, которые болѣе всего можно назвать аллегорическими, наприм. Ате (Ослѣпленіе) и Литаі (Мольбы)—срв. гл. образомъ Иліаду XIX, 91 сл. и IX, 502 сл.

Часть I, гл. 1 (стр. 39).

Здѣсь полезно коснуться нѣкоторыхъ вопросовъ болѣе общаго характера. Граница между философіей и наукой признается нами не устойчивой; всѣ попытки точно указать эту границу оказываются одинаково ошибочными. Обычныя *опредѣленія* философій либо слишкомъ широки, либо слишкомъ узки. Въ действительности они касаются только одной части философій (какъ «Обработка понятій» Гербарта), или они не ограничиваются только областью философій. Ибо когда говорятъ о «наукѣ о принципахъ» или объ «излѣдованіи сущности вещей и общихъ законовъ происходящаго», то непонятно, почему основныя истинны физики или химіи должны находиться внѣ этого опредѣленія. Конечно, между принципиальными вопросами науки и детальными огромная разнища. Однако, намѣреніе выдѣлнть первые изъ отдѣльныхъ наукъ и передать разработку ихъ самостоятельной дисциплинѣ можетъ одобрить лишь тотъ, кто думаетъ, что для рѣшенія принципиальныхъ вопросовъ у насъ имѣются въ распоряженіи другія средства познанія, чѣмъ для рѣшенія детальныхъ вопросовъ. Всякая наука несетъ въ себѣ свою философію. Философія языка, напримѣръ, представляетъ собою верхній этажъ науки о языкѣ, а не самостоятельное отдѣльное зданіе. Кому вздумалось бы считать философію природы или философію языка не высшими обобщеніями этихъ наукъ, а чѣмъ то другимъ, къ тому врядъ ли представителю этихъ наукъ отнеслись бы серьезно. Разъяснитъ этотъ вопросъ можетъ лишь историческій обзоръ. Философія была изначала *универсальной наукой* и притомъ въ древнемъ смыслѣ, а именно какъ сила, руководящая и опредѣляющая жизнь. По мѣрѣ того, какъ отдѣльныя отрасли знанія увеличивались въ объемѣ, въ особенности когда онѣ стали совершенно наполнять жизнь отдѣльныхъ изслѣдователей, онѣ какъ бы начали выкристаллизовываться изъ молочнаго раствора и становились отдѣльными спеціальными дисциплинами. Можно было предполагать, что старой универсальной наукѣ предстояло съ теченіемъ времени совершенно распастись на отдѣльныя науки. Однако, утверждать это было бы опасно. Ибо, должны были бы остаться, вонервыхъ, общіе всѣмъ дисциплинамъ элементы науки, т. е. теорія познанія и ученіе о методѣ въ самомъ широкомъ смыслѣ слова и, во вторыхъ, случайныя, хотя и не очень частыя попытки выдающихся умовъ соединить въ единое цѣлое послѣдніе выводы многихъ, но возможности всѣхъ отраслей знанія, какъ бы вершины всего познанія, и построить на этомъ міросозерцаніе и возрѣніе на жизнь (Къ нашему взгляду наиболѣе приближается то, что говоритъ Вундтъ во введеніи въ свою «систему философій».) Въ настоящемъ сочиненіи разграниченіе предмета обуславливается лишь соображеніями цѣлесообразности, размѣрами книги и знаніями, которыми располагаетъ авторъ и которыя онъ можетъ предполагать у своихъ читателей.

О *раздѣленіи* нашего историческаго матеріала мы не будемъ много распространяться. Отдѣльныя школы и группы школъ будутъ послѣдова-

тельно проходить перед нашими глазами. Подраздѣленіе всей античной культурной жизни, а съ нею и античной философіи, слѣдуетъ дѣлать, предложенному Полемъ Таннери (Paul Tannery. Pour l'histoire de la science Hellène. Paris 1887 p. 1—9). Согласно этому дѣленію, промежутокъ отъ 600 года до Р. X. до 600 г. послѣ Р. X. раздѣляется на четыре періода приблизительно по 300 лѣтъ каждый, *эллинистическій, эллинистическій, греко-римскій и ранній византійскій*. Первый періодъ простирается отъ начала прозаической литературы до эпохи Александра, второй отъ этого послѣдняго до временъ Августа, третій до Константина, четвертый до Юстиниана, или, что Таннери предпочитаетъ, до Ираклія. Это подраздѣленіе удачно въ томъ отношеніи, что оно совпадаетъ съ дѣйствительными поворотными моментами культурнаго развитія. Неудобно оно лишь въ томъ отношеніи, что періоды эти далеко не равноцѣпны, по историческому матеріалу разбираемому здѣсь. Содержаніе перваго періода занимаетъ двѣ трети предполагаемаго нами изложенія, тогда какъ второй и начало третьяго вмѣстѣ съ нѣкоторыми указаніями на четвертый должны войти въ третью часть предполагаемаго нами труда. Важная точка зрѣнія, заслуживающая указанія, была выдвинута Ласртіемъ Диогеномъ (III 56, измѣненная I 18). Постепенное расширеніе философіи сравнивается съ эволюціей трагедіи, которая въ началѣ имѣла одного актера, потомъ двухъ, подъ конецъ трехъ. Такъ къ существовавшей вначалѣ одной физикѣ присоединилась, благодаря Зенону изъ Элея, диалектика, а въ концѣ концовъ черезъ Сократа—этика. Это необыкновенно остроумное и заслуживающее быть отмѣченными сближеніе, однако, не достаточно точно и не примѣнимо въ качествѣ принципа для раздѣленія. Великую фигуру Сократа мы можемъ поставить если не какъ завершеніе, то какъ грань, раздѣляющую двѣ главныя эпохи. Ибо со времени своего появленія философіи, если идетъ и не по совершенно новому пути, то во всякомъ случаѣ по обновленному. Премущественное господство натурфилософіи смѣняется господствомъ этики.

Здѣсь крѣпко коснуться и *цвѣлей*, которымъ должны служить занятія исторіей древней философіи. Это вообще цѣль всякаго историческаго изученія, модифицированныя согласно роду матеріала этого знанія. Историческій интересъ исходитъ изъ трехъ могущественныхъ мотивовъ: наибвая радость прошлаго, въ особенности всего великаго и прекраснаго въ немъ; потребность воспользоваться ученіями, очерчаемыми изъ этого знанія; и наконецъ, чисто научная и какъ бы незаинтересованная потребность знанія историческихъ событій и законовъ историческаго развитія. Въ нашемъ случаѣ возможно кое что сказать о первомъ и послѣднемъ изъ этихъ мотивовъ, но больше всего о второмъ. Въ виду необычайнаго прогресса наукъ въ теченіе многихъ столѣтій могло возникнуть сомнѣніе, насколько полезно заниматься мыслями и ученіями такой отдаленной эпохи. На это можно возразить указаніемъ, что этотъ прогрессъ былъ далеко не одинаковъ во всѣхъ областяхъ, что въ области моральныхъ наукъ онъ значительно слабѣе, чѣмъ въ области естественныхъ наукъ, что принципиальныя основныя вопросы даже и въ послѣдней области еще ждутъ своего рѣшенія и что самыя общія и самыя трудныя проблемы, часто мѣняя свой видъ, остаются по существу въ томъ же неизмѣнномъ положеніи. Гораздо важнѣе напомнить о томъ, что существуетъ еще способъ непрямой, косвеннаго примѣненія, за которымъ нужно признать самое большое значеніе. Почти вся наша духовная культура греческаго происхожденія. Основательное знаніе этого источника является необходимымъ условіемъ для освобожденія отъ его всецѣльнаго вліянія. Игнорировать это не только не желательно, но и просто невозможно. Незнаніе ученій и сочиненій великихъ мастеровъ древности какого нибудь Платона или Аристотеля, даже полное невѣдѣніе ихъ именъ не избавляетъ отъ вліянія ихъ авторитета. И не только потому, что вліяніе ихъ передается черезъ посредство древнихъ и современныхъ преемниковъ ихъ; все наше мышленіе, категоріи, въ которыхъ оно движется, словесныя формы, которыми оно пользуется и которыя потому владѣютъ имъ, — все это въ значительной мѣрѣ есть результатъ и созданіе великихъ мыслителей прошлаго. Если мы не хотимъ счи-

тать произошедшее первоначальнымъ, искусственно созданное естественнымъ, то мы должны стремиться къ основательному изслѣдованію этого процесса. Рядомъ съ изреченіемъ Огюста Конта, относящимся къ области практики: «Уничтожается лишь то, что замѣняется другимъ», можно поставить для теоріи другое: «Только то опровергается, что объясняется».

Нѣсколько словъ о *главныхъ источникахъ* нашихъ знаній. Изъ сочиненій великихъ оригинальныхъ мыслителей древности дошло до насъ очень немного. Неискаженными мы имѣемъ *всего Платона, половину сочиненій Аристотеля*, т. е. его школьныя сочиненія, но не сочиненія, написанныя почти исключительно въ формѣ диалоговъ, затѣмъ нѣсколько маленькихъ произведеній *Эпикура* и наконецъ Эпинеады неоплатоника *Плотина*. Все остальное есть или отрывки, или сочиненія учениковъ, собирателей, объяснителей, толкователей. *Вся до-сократовская философія являетъ картину полного разрушенія*. Совершенную картину разрушенія представляеть (исключая Платона и Ксенофонта) вся сократика съ многочисленными развѣтвленіями, средняя и повая академія, нео-пифагорейская школа, древняя и средняя стоя и, за исключеніемъ поэмы Лукреція, эпикурейская литература; послѣдняя, благодаря лавѣ Геркуланума, представлена въ большомъ количествѣ отрывковъ. Изъ школъ наиболѣе пощажены судьбою молодая стоя. *Сенека, Эпиктетъ и Маркъ Аврелій* сохранились въ цѣлости. Скептическія ученія и ихъ аргументаціи сохранились въ значительной части благодаря обширному сочиненію *Секста*, а александрійская религіозная философія благодаря оригинальному сочиненію Филона. Дальнѣйшія детали будутъ указаны позже. Сейчасъ достаточно сказаннаго для того, чтобы читатель повѣлъ важность *не непосредственныхъ источниковъ*.

Нужно различать два рода источниковъ: *доксографическіе* и *биографическіе*, т. е. сообщенія объ *ученіяхъ* и о *жизни* философовъ. Первые въ главныхъ чертахъ объединены въ драгоценномъ и премірванномъ сочиненіи Hermann'a Diels'a: *Doxographi Graeci* (Berlin 1879). Главнымъ и основнымъ источникомъ *вѣсхъ* болѣе позднихъ доксографическихъ свѣдѣній, по физикѣ въ самомъ широкомъ античномъ смыслѣ слова, является историческое сочиненіе Теофраста (*Φυσικαὶ ἀδῶται*). Отсюда частью прямо, частью чрезъ чье-либо посредство черпали многие писатели, между ними Цицеронъ и Аэцій (между 100 и 130 г. по Р. X.), сочиненіе котораго мы имѣемъ въ различныхъ передачахъ. Такъ, въ неправильно приписанномъ Плутарху («*Placita philosophorum*»), въ отдѣльныхъ частяхъ сборника эллога Іоанна Стобея (около 500 г. по Р. X.) и у церковнаго писателя Теодорета (въ половинѣ пятаго столѣтія). На доксографическомъ сочиненіи Теофраста основывается, хотя не прямо, и другой крайне важный источникъ, а именно «Опроверженіе *вѣсхъ* еретическихъ ученій» пресвитера Ипполита (начало третьяго столѣтія). Первая книга этого сочиненія была давно извѣстна подъ специальнымъ заглавіемъ *Philosophumena* и приписывалась великому церковному писателю Оригену; въ 1842 году были открыты книги 4—10 и тогда же раскрыто авторство Ипполита.

Другіе, преимущественно *биографическіе*, источники соединились въ большое русло, сочиненіе *Лаэртія Діогена* (не Діогена Лаэртскаго). Это писатель небольшого калibra. Онъ поразительно безтолковъ. И однако его сочиненіе, написанное, или вѣрнѣе, скомпилированное въ первую треть третьяго столѣтія по Р. X., необыкновенно цѣнно для насъ. Его непосредственнымъ источникомъ, по мнѣнію Дильса и Узенера, было сочиненіе автора временъ Нерона, Никія изъ Никеи въ Вивенніи. Послѣдній черпалъ изъ неизмѣримо богатой литературы. Въ основаніи ея лежали жизнеописанія философовъ, которыми Сотіонъ изъ Александріи (къ концу третьяго столѣтія до Р. X.) придалъ форму «*діадохій*», т. е. преемствъ или исторій различныхъ школъ. (Два образца этого рода литературы изъ подъ пера эпикурейца Филодема недавно только найдены). Осадокъ обширной литературы четырехъ столѣтій, отдѣляющихъ Лаэртія Діогена отъ Сотіона, отложился въ сочиненіи Лаэртія. Вся обширная литература четырехъ столѣтій, отдѣляющихъ Лаэртія Діогена отъ Сотіона, оставила свой слѣдъ въ сочиненіи этого компилятора.

сохранилъ намъ больше, чѣмъ кто либо, фрагментовъ до-сократовской философіи). Кромѣ того нѣсколько словъ приведены у Аристотеля, Phys. III, 4.

(Стр. 45). *Картографія въ Египтѣ*. До насъ дошли двѣ египетскія карты; одна изъ нихъ изображаетъ область рудниковъ, другая—какую-то неизвѣстную мѣстность. (Erman, Aegypten und ägyptisches Leben 619). Какъ уже было упомянуто, Геродотъ (II, 109) указываетъ на существованіе «гломона» изъ Вавилона; объ установленіи его Анаксимадромъ въ Спартѣ упоминаетъ Лэртій Діогенъ (op. cit.), тогда какъ Пліній (hist. nat. II 76, 187) называетъ Анаксимена. Относительно дальнѣйшаго см. Bretschneider (op. cit., 62).

(Стр. 45 внизу). *Данныя, касающіяся величины небесныхъ тѣлъ*: ср. Doxogr, 68, Diels въ Archiv f. Gesch. der Philos. X 228 ff. Относительно формы земли ср. Hippolyt I 6; Doxogr 559, 22; относительно паренія земли въ пространствѣ, см. Aristot. de coelo II 13.

(Стр. 46, 4-я строка снизу). Цитата заимствована изъ Логикн Милля, гл. 3, § 5.

(Стр. 47). Свое первовещество Анаксимадръ называлъ «безпредѣльнымъ» (τὸ ἀπειρον) и отрицалъ за нимъ какія бы то ни было вещественныя свойства, почему Теофрастъ и назвалъ его «неопредѣленнымъ веществомъ» (ἀόριστος φύσις); ср. Doxogr. 133—4, 342, 345, 381, 494—5.

(Стр. 48). *Какъ кора обнимаетъ дерево*: Псевдо-Плутархъ у Евсевія Praer. evang. I, 8 (Doxogr. 579, 15). Дальнѣйшія сообщенія Doxogr. 133/3; 342; 345; 381; 494/5.

Пониженіе морского уровня: ср. Philon de aeternitate mundi с. 23—4 (по Теофрасту).

(Стр. 48, 5 стр. снизу). Ср. Teichmüller, Studien zur Geschichte der Begriffe S. 14—16 и Neue Studien zur Geschichte der Begriffe II 276 ff.; затѣмъ Doxogr. 25.

(Стр. 49, красн. стр.). Загадка происхожденія органическихъ существъ: ср. Doxogr. 135, 430 и 579; Plutarch. Quaest. conviv. VIII 8, 4 съ прекрасной поправкой Döhner'a γαλοὶ вмѣсто παλαίοι. Мой коллега Eduard Suess обратилъ мое вниманіе на два интересныхъ наблюденія: 1) Мнѣніе Анаксимандра, получившее позднѣе классическое выраженіе въ формулѣ: omne vivum ex aqua, въ палеонтологін все болѣе и болѣе приобретаетъ значеніе доказанной истины. (Тѣмъ не менѣе, ученіе о «челатическомъ происхожденіи» всяческой жизни осаривается Simroth'омъ, Die Entstehung der Landtiere, Leipzig 1892). Однако этотъ изслѣдователь приближается къ Анаксимадровой гипотезѣ относительно «морского ила» (op. cit. стр. 67): «На прибрежной полосѣ мы находимъ совокупность трехъ условій, благоприятствующихъ жизни, *воды, воздуха и суши* съ ея изобиліемъ питанія, 2) Въ этомъ своемъ убѣжденіи Анаксимадръ могъ быть главнымъ образомъ поддержанъ тѣмъ наблюденіемъ, что лягушки сначала въ видѣ головастиковъ (снабженныхъ жабрами) живутъ въ водѣ, и лишь затѣмъ (послѣ образованія легкихъ) приобретаютъ способностъ жить на землѣ.

(Стр. 50, 5 стр.). Относительно вавилонской человѣкорыбы «Оаннеса» ср. George Smith, The Chaldean account of Genesis 39 ff.

(Стр. 50). *Божества второго ранга*: ср. Cicero de natura deorum I, 10, 25 (гдѣ, кстати говоря, все сказанное о Оалесѣ рѣзко противорѣчитъ Аристотелю въложенію эволюціи греческой философіи въ Метафизикѣ I, 1—5 и потому не внушаетъ довѣрія); затѣмъ Doxogr. 302, 579; Simplic. Phys. 1121, 5 Diels.—Преходящесті боговъ какъ и конечности міровъ учить и буддизмъ (Buddistischer Kathicismus, Braunschweig 1888, S. 27, u. 54).

(Стр. 51, § 4). *Анаксименъ*. Основные иточники: Diog. II, Cap. 2; Теофрастъ у Simplic. Phys. 24, 26 Diels; Hippolyt I 7. (Doxogr. 476, 560).

(Стр. 51, § 4, стр. 5). Повидимому, слова эти принадлежать самому Анаксимену; ср. Филодемъ, о набожности (изданіе Гомперца) стр. 65; допол-

Pythagorassage (Vorträge und Abhandlungen geschichtlichen Inhalts, Leipz. 1865), S. 47.—О томъ, что Пифагоръ не оставилъ письменныхъ трудовъ, можно вполне заключать изъ Laert. Diog. VIII 6. Приписываемыя ему «Золотыя изреченія» въ цѣломъ представляютъ собою, вѣроятно, произведеніе начала IV вѣка христіанской эры. Однако же, среди нихъ попадаются древнія и подлинныя части, стихи, принадлежащіе вѣку Пифагора, а можетъ быть и ему самому. Срв. мастерское изслѣдованіе Наука въ Запискахъ Имп. Академіи Наукъ въ СПб. (Melanges Greco-Romains III 546 сл.)

(Стр. 88). Ученникъ *Ферекида*. Подчеркиваю сомнѣніе въ достовѣрности этого преданія. Роде вполне основательно замѣчаетъ (Psyche II² 167 A. 1), что лишь совпаденіе ихъ ученій (мнимое, добавимъ мы) «побудило позднѣйшихъ изслѣдователей признать древняго богослова учителемъ Пифагора». Что уже Ферекидъ возвысилъ ученіе о метемпсихозѣ, объ этомъ въ дѣйствительности упоминаетъ одинъ только византійскій лексикографъ Сuida (см. подъ словомъ Ферекидъ). Но и онъ говоритъ объ этомъ съ ограниченіемъ: «нѣкоторые рассказываютъ» (τῶς ἱστοροῦσιν); также и ученничество Пифагора онъ обосновываетъ лишь на такомъ доводѣ: «ходить рассказъ» (ἀγος). На какихъ шаткихъ основаніяхъ построено это предположеніе, видно изъ того сообщенія, которому Роде, по нашему мнѣнію, придаетъ излишнюю вѣру: «Въ его (т. е. Ферекида) мистическомъ сочиненіи должны были быть указаны такія ученія (см. Porphyg. antr. numph. 31)». Если Порфирій въ указанномъ мѣстѣ говоритъ, что Ферекидъ своимъ ученіемъ о различныхъ «дверяхъ» и «учеліяхъ» прикованнымъ способомъ (ἀκινετόμενος) указывалъ на судьбы (γυβέαις и ἀπογευέαις) душъ, то изъ этого, какъ я полагаю, съ увѣренностью можно вывести лишь то, что въ произведеніи Ферекида нѣтъ ни одного опредѣленнаго указанія на это ученіе, указанія, которое можно было бы вывести безъ помощи хитростей неоплатонической интерпретаціи. Изъ доказательствъ Преллера (Rhein. Mus. N. F. IV 388), на которыя ссылается Роде, въ дѣйствительности не остается ничего, кромѣ смутнаго утвержденія Циперона (Tuscul. I 16, 38), что Ферекидъ утверждалъ безсмертіе души, причемъ остается не разъясненнымъ основной вопросъ о томъ, въ чемъ именно Ферекидъ видоизмѣнилъ древнее религиозное ученіе эллиновъ.

(Стр. 88). Всѣякія основанія, придающія вѣроятіе сообщенію о томъ, что Пифагоръ посѣтилъ Египетъ, мы находимъ въ книгѣ Chaignet (Pythagore et la phil. Pythagor. I 40/1, также 48).—Относительно о б р я д о в ѣ, замѣствованныхъ изъ жреческихъ обычаевъ Египта, срв. Геродота, II 81 (и II 37, гдѣ хотя и не названы пифагорейцы, но извѣстное всей древности запрещеніе употреблять бобы несомнѣнно указываетъ на нихъ). Почему Аристоксенъ отрицаетъ это, вполне выяснено Роде (op. cit. II² 164. A. 1). Однако срв. L. v. Schröder, Das Bohnenverbot bei Pythagoras und im Veda (Wiener Zeitschrift f. Kunde d. Morgenlands XV 187 сл.).

(Стр. 90, 9 снизу). Цитата изъ Röth, Geschichte unserer abendländischen Philosophie II 785/6, на котораго я опирался и въ дальнѣйшемъ разсмотрѣніи и оцѣнкѣ этого акустическаго омыта.

(Стр. 92, середина). Аристотель въ Metaphys. I 5; III 5; VII 2.

(Стр. 93). Аналогія между числовыми и пространственными отношеніями; относительно этого я схожусь со взглядомъ Целлера (Philos. d. Gr. I⁵ 404—406). Отдѣльныя, всюду разсыяныя свидѣтельства этого собраны у Brandis, Handbuch d. Gesch. d. griechisch-römischen Philos. I 469 сл.

(Стр. 94, 8 снизу сл.). Срв. Aristot. de coelo I 1. Къ предыдущему о святости троны срв. Usener, Der heilige Theodosios 135; также «Ein altes Lehrgebäude der Philologie» (Münchener akad. Sitzungsber. 1892 S. 591 сл.)—*Джордано Бруно*, срв. его книгу. «de monade numero et figura». *Огюсть Кюитъ*, срв. его «Politique positive» V. I Préface и «Synthese subjective».—*Лоренцъ Окенъ*, Lehrbuch der Naturphilosophie² S. 12. Къ слѣдующему срв. Aristot. op. cit.

(Стр. 95). «Таблица противоположностей»; главн. источникъ Aristot. Metaphys. I 5. Свѣдѣніе о ея ассирійско-вавилонскомъ происхожденіи заимствуемо изъ Lenormant-Babelon, Hist. anc. de l'Orient V⁹ 181.

(Стр. 96, 4 сверху). *Заслуги его въ области геометрии и арифметики.* Главное свидѣтельство ихъ у Эвдема (р. 114 Spengel). Срв. Cantor, Vorlesungen über Gesch. d. Mathematik I 124 сл.

(Стр. 97, 7). *Аристотель.* Эта и слѣдующая цитата изъ *Metaphys.* I 5 и de coelo II 13.

(Стр. 97, § 3). *Неподвижное равновѣсіе земли и ея центральное положеніе.* Къ этому и къ слѣдующему срв. гл. образ. Schiaparelli, I precursori di Copernico nell' antichità (Memorie del R. Istituto Lombardo XII 383, въ нѣм. перев. М. Kurtze, Leipzig 1876). Основную аргументацію заимствуетъ отсюда Н. Berger, Wissenschaftl. Erdkunde d. Griechen II 4 сл., который добавляетъ къ этому много собственных цѣнныхъ замѣчаній. Затѣмъ Rudolf Wolf, Gesch. d. Astronomie 5,26 и 28. Вопросъ о томъ, возникло ли впервые представленіе о шаровидности земли въ не-греческихъ странахъ, Бергеръ оставляетъ открытымъ. Между тѣмъ, онъ имѣлъ бы основаніе рѣшить его отрицательно. Ибо о томъ, что это представленіе чуждо вавилонянамъ, онъ самъ хорошо знаетъ черезъ посредство Діодора (II 31), правильность показаній котораго подтверждается сравненіемъ ихъ съ изслѣдованіемъ туземныхъ источниковъ. Если же Н. Martin въ одной статьѣ, упоминаемой Бергеромъ (S. 7, A. 3), «присписываетъ египтянамъ знаніе шарообразной формы земли», то этому противорѣчить то представленіе о формѣ земли, которое Масперо, одинъ изъ лучшихъ знатоковъ въ этой области, описываетъ и изображаетъ въ своей *Hist. anc. des peuples de l'Orient classique*, p. 16—17.

Часть I, глава 4.

(Стр. 98). *Вольтеръ*, *Oeuvres complètes* éd. Baudouin Vol. 58, 249. *Sir George Cornewall Lewis*, *An historical survey of the astronomy of the ancients* p. 189. Фактическій матеріалъ, использованный въ дальѣйшемъ, находится объединеннымъ въ вышеупомянутомъ руководящемъ изслѣдованіи Скиапарелли. Многими направляющими мыслями обязаны мы также автору какъ этого труда, такъ и другого мастерского изслѣдованія, *Le sfera omocentriche etc.* Milan 1876 (въ нѣм. перев. въ *Supplement zu Zeitschrift f. Math. u. Physik* XXII). Первымъ, внесшимъ свѣтъ въ эту запутанную область, былъ Böckh въ своемъ трудѣ: *Philolaos des Pythagoreers Lehren*. О личности этого пифагорейца, какъ и о другихъ ученіяхъ, приписываемыхъ ему, будетъ говорено въ другой связи.

(Стр. 99). «*Простота постоянства и строй*». Срв. Геминъ у Симплиція (Phys. 292, 26/7 D).

(Стр. 100, 9 снизу). Скиапарелли, по нашему мнѣнію, ошибается, отрицая движеніе неподвижныхъ звѣздъ въ системѣ Филолая (I precursori etc. стр. 7 отдѣльнаго отиска). Въ такомъ случаѣ намъ пришлось бы приписать нашимъ источникамъ, и главнымъ образомъ Аристотелю, который говоритъ о десяти движущихся небесныхъ тѣлахъ (*Metaphys.* I 5), трудно объяснимое заблужденіе. Кромѣ того, это противорѣчило бы столь присущему пифагорейцамъ чувству единообразія, еслибъ они приписывали абсолютный покой одному только небу неподвижныхъ звѣздъ. Правда, они больше уже не вѣрили въ сугочное движеніе звѣзднаго неба, которое замѣнилось теперь движеніемъ земли. «Какое же оставалось тогда другое движеніе звѣзднаго неба, какъ не то, которое является предвареніемъ равноденствій?» замѣчаетъ Böckh (op. cit. S. 118). Отъ этого взгляда онъ впоследствии (Manetho und die Hundsternperiode S. 54) отказался, но въ концѣ концовъ возвратился къ нему снова, хотя и не съ такой увѣренностью (Das kosmische System des Platon S. 95). Въ этомъ мы совершенно сходимся съ нимъ, причемъ нами руководитъ слѣдующее соображеніе. Предвареніе равноденствій есть такое явленіе, которое, какъ правильно замѣчаетъ Martin (*Etudes*

стихіяхъ и основныхъ свойствахъ, тепломъ и холодномъ, о сухомъ и влажномъ) les choses deviennent inalterables. . . Tel est encore le principe de l'art medical, appliqué à la guérison des maladies. Бертелло признаетъ здѣсь греческое вліяніе, не указывая, однако, на Алкмеона. Конечно, не одинъ Алкмеонъ указывалъ на эти четыре основныхъ качества. Однако, уже у Аристотеля они встрѣчаются въ такой связи, которая несомнѣнно указываетъ на заимствованіе у Алкмеона (срви. Sander op. cit. S. 31). См. также сочиненіе Подлиба De natura hominis (Oeuvres d'Hippocrate VI 38 Littre). Особенно ясно вліяніе Алкмеона p. 36: πολλὰ γὰρ ἐστὶν τῷ σώματι ἐνεόντα, ἀόχρατα ὑπ' ἀλλήλων παρὰ φύσιν θερμαίνονται τε καὶ ψύχονται καὶ ξηραίνονται τε καὶ ὑγραίνονται, νόσους τίττει. Уже Литтре ясно понималъ, что Алкмеонъ былъ предшественникомъ Гиппократѣ (I, 562).

(Стр. 129). Объ ученіи Алкмеона о каждомъ изъ чувствъ см. Теофрастъ ук. м., Азій и Арей Дидимъ Doxogr. Gr. 223, 404 и 456. Интересныя замѣчанія у Дильса Gorgias und Empedocles Berl. Sitzungsber. April 1884 S. 11—12 и Hermes XXVIII 421 A. 2, гдѣ есть указаніе на Аристотеля de generat. animal. В 6, 744a 7 (вмѣсто 363a, 7). Поразительно совпаденіе (указанное мнѣ моимъ коллегой Бюлеромъ) теоріи зрѣнія Алкмеона съ индусской теоріей, наиболее полно изложенной въ ученіи Nyāya-Vaiseshika. Согласно этому ученію, органъ зрѣнія состоитъ изъ «огня»; огонь соединяется съ объектомъ и принимаетъ его видъ. Полученное такимъ образомъ впечатлѣніе воспринимается «внутреннимъ органомъ», manas, и передается ātman, собственно душѣ.

(Стр. 130). Психологія Алкмеона по Теофрасту ук. м. § 25 = Doxogr. Gr. 506; восполнена по Платону Фэдонъ 96b, Фэдръ 249b. О вліяніи на Аристотеля см. Sander op. cit. S. 25—26 въ особенности. Analyt. post. II 19.—Доказательство безсмертія см. Аристот. de anima I 2.—Представленіе Платона Фэдръ 245e. — Доказательства смертности тѣла: Arist. probl. 17, 3. Объ объясненіи Алкмеономъ сна и смерти частичнымъ или полнымъ отлитіемъ крови (очевидно изъ центр. органа) см. Doxogr. 435, 11. Jules Soury говоритъ: La théorie du sommeil et de la mort d'Alcmeon une des plus anciennes sans doute est encore aujourd'hui, sous la forme de l'anémie cérébrale, la plus répandue (Le système nerveux central. Structure et fonctions, histoire critique des théories et des doctrines Paris 1899 I p. 5).

Часть II.

Эпиграфъ заимствую у Гельмгольца, Das Denken in Medicin (Vorträge u. Reden II 189).

Глава 1.

(Стр. 135). Остатки сочиненій элейцевъ собраны Mullach'омъ, Aristotelis de Melisso, Xenophane et Gorgia disputationes cum Eleaticorum philosophorum fragmentis etc. Berlin 1845. Эта псевдо-аристотелевская книга есть произведеніе позднѣйшаго, плохо освѣдомленнаго но нѣкоторымъ вопросамъ, нерипатетика, что установлено учеными послѣ долгихъ споровъ. Время его жизни Дильсъ въ предисловіи къ своему изданію этой книги опредѣляетъ въ первомъ вѣкѣ по Р. X. Къ собранію Муллаха (въ которое не входитъ Зенонъ) сдѣланы добавленія о Ксенофанѣ Ferdinand Dümmler (Rhein. Mus. XLII S. 139/40=Kl. Schr. II 482 f.) и N. Bach (Jahrb. f. wiss. Kritik 1831, I 480). Сравни мои Beiträge zur Kritik u. Erklärung griech. Schriftsteller III (Wien.-Sitz.-Bericht. 1875 S. 570 ff.). Karsten собралъ и объяснилъ въ своемъ трудѣ: Philosophorum Graecorum veterum... operum reliquiae, Amsterdam 1830—38. отрывки Ксенофана, Парменида и Эмпедокла Новое собраніе Дильса Poetarum philosophorum fragmenta ed. H. Diels Berlin 1901 не могло быть использовано въ этомъ изданіи.

Ксенофанъ. Главные источники: Laert. Diog. IX cap. 2; а затѣмъ Аристотель, Климентъ Александрійскій, Секстъ Эмпирикъ.—Въ хронологіи Ксенофана нужно прежде всего исходить изъ автобіографическихъ свѣдѣній, содержащихся въ отрывкахъ, а затѣмъ изъ того факта, что онъ упоминаетъ Пифагора и Гераклита. Согласно отрывку 24, онъ двадцати пяти лѣтъ покинулъ родину; переселеніе могло быть вызвано персидскимъ завоеваніемъ (545 до Р. X.); въ особенности изъ отрывка 17 почти съ увѣренностью можно заключить, что онъ произошло не раньше этого срока. Если это построение правильно, то онъ родился въ 570 году, а такъ какъ, согласно отрывку 24, онъ достигъ 92 лѣтъ, а согласно Цензорину de die natali 15, 3, прожилъ болѣе 100 лѣтъ, то подтверждается и показаніе историка Тимея (Clemens Alexandr. Stromata I 353 Pott.), что онъ жилъ во время Герона I (478—467).

(Стр. 135). *Ницѣй раисодъ.* О его бѣдности свидѣтельствуетъ изреченіе въ Gnomolog. Paris. ed. Sternbach, Krakau 1895 № 160, согласно которому на вопросъ Герона, сколько у него рабовъ, Ксенофанъ отвѣчалъ: «Два, да и тѣхъ я едва могу содержать». Такой анекдотъ не созданъ бы, еслибы Ксенофанъ принадлежалъ къ числу хорошо вознаграждаемыхъ раисодовъ. Сравни также отрывокъ 22.—Описаніе мѣстности основано на личномъ наблюденіи автора.—«*Одиноко возвышающаяся башня*» называется Torre di Velia, она не античнаго происхожденія.

(Стр. 136, внизу до середины стр. 137). Выказанными здѣсь мыслями авторъ обязанъ разговору съ Германномъ Узенеромъ на филологическомъ конгрессѣ въ Вѣнѣ (Май 1893).

(Стр. 138 серед.). Слова Аристотеля Метафизика I 5, также Тимонъ (Wachsmuth Corpusc. poes. ludib. p. 156).

(Стр. 139—140). Раньше Ксенофанъ считался самымъ древнимъ греческимъ монотеистомъ. Рѣшительные аргументы противъ этого мнѣнія привелъ Freudenthal («Ueber die Theologie des Xenophanes» Breslau 1886), которому мы обязаны многимъ въ нашей работѣ, хотя Целлеръ и устранилъ нѣкоторые болѣе слабые аргументы Фрейдентала (Deutsche Litter.-Zeitung 13 Nov. 1886 и Archiv II S. ff.).—*Перифраза Эврипида:* Гераклъ 1343 срвн. Pseudo-Plutarch. Stromata у Euseb. Praep. evang. I 8, 4. Противъ мнимаго монотеизма Ксенофана свидѣтельствуетъ стихъ въ отрывкѣ 1-мъ: εἰς θεὸς ἓν τε θεοῖσι καὶ ἀνθρώποισι μέγιστος; ослабить значеніе этого стиха можно только противорѣчающимъ здравому смыслу толкованіемъ: «въ сравненіи съ» реальными «людьми и» воображаемыми «богами». Иначе думать объ этомъ Вилламовицъ (Euripides Herakles II¹ 246), съ которымъ я согласиться не могу. Скорѣе мы видимъ здѣсь указаніе на высшаго Бога, который едва ли мѣтѣ превосходитъ боговъ, чѣмъ людей. Сравни Rigveda X 121 (переводъ Макса Мюллера Oldenberg Buddha³ S. 19) «Er der allein Gott über allen Göttern».

(Стр. 141 середина). Кромѣ *Сиракузъ* и *Мальты*, наши источники (Hirpolut. I 14) называютъ еще Паросъ. Мой коллега Suess въ приведенномъ выше письмѣ указалъ, что тутъ нѣтъ окаменѣлостей. Его указаніе на то, что упоминаемые тамъ отпечатки тюленей невозможны съ палеонтологической точки зрѣнія, привело меня къ предположенію, что вмѣсто φωκῶν съ легкимъ измѣненіемъ можно читать φωκῶν или φωκίων (водоросли). По поводу этого предположенія Suess замѣчаетъ: «Не въ (сиракузской) Латоми, но недалеко отъ нея, во многихъ пунктахъ Сициліи появляются въ свѣтло-стромѣ мергелѣ, чередующемся съ песчанникомъ вполне отчетливые слѣды фукоидныхъ, которые легко распознаетъ и неспециалистъ».—Сравни Pseudo-Plutarch. у Euseb. ук. м.: τῷ χρόνῳ καταφερομένην συνεχῶς καὶ κατ' ὀλίγον τὴν γῆν εἰς τὴν θάλασσαν χωρεῖν.

(Стр. 142 внизу). *Аристотель* Metaphys. I 5 986b 21: Ἐνοφάνης δὲ... οὐθὲν διασαφηνισεν.

(Стр. 143, конецъ главы). Здѣсь кстати хоть кратко указать на замѣчательный параллелизмъ греческаго духовнаго развитія и индійскаго. Какъ

въ другихъ случаяхъ мы только предполагали это. Остатки сочиненія Мелисса «О природѣ или о сущемъ» сохранилъ намъ почти одинъ Симплицій въ своихъ комментаріяхъ къ аристотелевскимъ «Физикѣ» и «Небесному зданію», которыя мы имѣемъ въ значительно исправленныхъ изданіяхъ Дильса и Гейберга. Сравн. А. Pabst, De Melissi Samii fragmentis, Bonn 1889. На основаніи этого изслѣдованія можно съ большой вѣроятностью заключить, что только часть отрывковъ заслуживаетъ имени Мелисса, тогда какъ другіе не передаютъ мысли Мелисса съ буквальной точностью.

(стр. 160 внизу). *Аристотель* называетъ Мелисса «плоскимъ» (φορτικός) Phys. I 3. Его и Ксенофана онъ же называетъ «нѣсколько грубыми» (μικροὶ ἀγροχότεροι).

(стр. 161). *Состояніе ненарушимого блаженства*. «Думалъ ли кто нибудь о томъ, какія состоянія сознанія приписывалъ Мелиссъ своему безусловно сущему. Ибо онъ мыслилъ его созпательнымъ, отрицая въ немъ боль и страданіе. При этомъ онъ хочетъ приписать ему чистое ненарушимое блаженство.» Такъ писалъ авторъ этой книги въ 1880 году и могъ вскорѣ присоединить примѣчаніе: «Это призналъ наконецъ Фр. Кернъ въ своей цѣнной статьѣ, цѣнной и для пониманія Парменида: «Zur Würdigung des Melissos von Samos въ Festschrift des Stettiner Stadtgymn. zur Begrüßung der 35 Vers. deutscher Philologen u. s. w. Stettin 1880.» Если Мелиссъ довольствовался этими отрицательными опредѣленіями и отказывался представлять свое блаженное мировое существо какъ таковое, то тутъ играли роль соображенія осторожности. Человѣкъ, занимавшій выдающееся положеніе въ общественной жизни своей родины, имѣлъ еще больше основаній, чѣмъ другіе философы, щадить религіозную чувствительность своихъ согражданъ. Поэтому онъ повидному предпочелъ не приписывать блаженства народныхъ боговъ (μάκαρες θεοί) своему Всеединому, а лишь косвенно указать на это.

(стр. 162). *Указаніе Аристотеля*: Sophist. elench. cap. 5, 167b 13 и Phys. I 3, 186a 10.

(стр. 167 § 2). *Зенонъ изъ Элеи*. Срвн. Laert. Diog. IX cap. 5. Если Аполлодоръ приурочиваетъ его расцвѣтъ къ 79-ой олимпіадѣ, а Платонъ (смотри выше) считаетъ его 25-ью годами моложе Парменида, расцвѣтъ котораго приурочивается къ 69-ой олимпіадѣ, то эти данныя могутъ оказаться одинаково вѣрными. Ибо на основаніи уже сказаннаго по поводу Мелисса и о приѣмѣ Аполлодора опираясь на всякое основаніе для предположенія, что расцвѣтъ (акме) совпадаетъ съ опредѣленнымъ возрастомъ.—О критическомъ разъясненіи Зенономъ Эмпедоклова ученія (ἐπιφύλαξις Ἐμπειδοκλεους у Свиды см. слово Ζήνων) будетъ рѣчь ниже. Что Зенонъ, какъ и его учитель Парменидъ, излагалъ также и натурфилософскія ученія, на что указываетъ не только заглавіе сочиненія «О природѣ» (тамъ же), но и привисываемыя ему фразы Laert. Diog. IX 29,—въ этомъ напрасно и неосновательно сомнѣвались.—*Главные источники*, въ которыхъ мы черпаемъ знакомство съ его аргументами суть Aristot. Phys. IV 1; IV 3; VI 2 и больше всего VI 9; къ этому мѣста у Симплиція.—*Платонъ*: въ диалогѣ Парменидъ 128d. Паразителное впечатлѣніе его рѣчей онъ же описываетъ въ «Фэдрѣ» 261d.

(стр. 168). *Шьеръ-Бэйль*: въ его «Dictionnaire historique et critique» IV 536 (изд. 1730).—*Зерно*: указано Аристотелемъ Phys. VII 5, изложено Симплициемъ въ формѣ діалога между Зенономъ и Протагоромъ.

(стр. 171 10-ая снизу). См. Friedr. Überweg, System der Logik 3 409.

(стр. 172). Въ этомъ смѣшеніи безконечной дѣлимости и безконечной величины Милль видитъ ядро анориз (Examination of Sir William Hamiltons philosophy 3 533). Такъ же разсуждалъ уже Аристотель; срвн. Phys. VI 2, 233a 21.

(стр. 174). О понятіи непрерывности и его противоположности смотри цѣнный замѣчанія Эрста Маха (Principien der Wärmelehre, Leipzig 1896 S. 77). Для него это понятіе есть «совершенно не вредная, но удобная фикція.» Непосредственно примѣнимы къ зеноновскимъ аргументамъ слѣдующія

положенія: «Если можно до безконечности дѣлать число, обозначающее разстояніе, то это не относится къ самому разстоянію. Все, что является какъ непрерывное, могло бы состоять изъ раздѣльныхъ элементовъ, если бы эти послѣдніе были достаточно малы въ отношеніи къ самымъ малымъ практически примѣняемымъ нами мѣркамъ и соответственно находиться въ большомъ числѣ. Можно указать па кинематографъ, въ которомъ подъ видомъ полной непрерывности скрывается ограниченное количество моментовъ времени. Какъ будто дѣйствительность во времени (можетъ быть и въ пространствѣ) поступаетъ совершенно такъ же, какъ эта искусственная машина?»

(стр. 176). Интересныя параллели къ такъ называемымъ софизмамъ эристиковъ, въ томъ числѣ къ Зеноновскимъ «Ахиллу и черепахѣ» даетъ тонкій умъ китайцевъ. Ср. Н. А. Giles, Chuang Tzū. (London 1889) 453 «if you take a stick a foot long and every day cut it in half, you will never come to the end of it.»

(стр. 179). Платонъ: Парменидъ 128с.

Часть II, глава 4.

(стр. 182). *Анаксагоръ*. Смотри Anaxagorae Clazomenii fragmenta coll. Ed. Schaubach Leipz. 1827 или W. Schorn, Anaxagorae Claz. et Diogenis Apolloniatae fragmenta Bonn 1829. Почти исключительнымъ источникомъ фрагментовъ является комментарий Симплиція къ аристотелевой физикѣ. Одна фраза у Симплиція (въ Аристот.) de caelo 608, 28 Heiberg; также не появившее въ собраніи остроумное слово у Плутарха Morai. 98 (de Fortuna c. 3). Объ *обстоятельствахъ его жизни* говоритъ Laert. Diog. II cap. 3. Рожденіе его Аноллодоръ относитъ къ 70 олимпіадѣ (500—497), смерть его къ первому году 88-ой олимпіады (428). Лаертъ Диогенъ считаетъ недостовѣрнымъ сообщеніе о томъ, что онъ родился въ 500 году и достигъ возраста 72-хъ лѣтъ. О его отношеніи къ Периклу, сравни. Платона Фѣдръ 270а и плутархово жизнеописаніе Перикла, въ особенности главу 32. Стойкость, съ которою онъ перенесъ потерю единственнаго сына, была извѣстна и прославлялась во всемъ древнемъ мірѣ. О времени обнаруженія его творенія смотр. Diels, Seneca und Lucan (Berl. Academie Abhandl. 1885 S. 8 Anm.). У Лаерт. Диоген. фразу надо закончить очевидно слѣдующимъ образомъ ἐπὶ ἀρχαῖος Ἀναξιστρατοῦ) = 467. То, что его книга была первой книгой, снабженной диаграммами (не считая геометрическихъ, предназначенныхъ для болѣе узкаго круга читателей), недавно было установлено на основаніи Климента Александр. Stromata I 364 Pott. и Лаертія Диогена op. cit. (Kothe. Fleckeisens Jahrbuch. 1886. S. 769 ff.).

(Стр. 186 сред.). Столь смѣлое на первый взглядъ толкованіе отзыва Анаксагора о *цветѣ снага* основывается на рѣзкомъ противорѣчии между принципомъ всего его ученія—твердой вѣрой въ качественную истинность чувственныхъ впечатлѣній,—и утвержденіемъ, что въ этомъ случаѣ чувства насъ обманываютъ. Мое толкованіе точно совпадаетъ съ сообщеніемъ Цицерона, котораго прежніе толкователи недостаточно цѣнили:—sed sibi quia sciret aquam nigram esse, unde illa concreta esset, *albam ipsam esse ne videri quidem* (acad. quaest IV 31).

(Стр. 187). О *космогоніи* Анаксагора смотри поучительное объясненіе W. Dilthey (Einleitung in die Geisteswissenschaft I 200 сл.). Однако съ его предположеніемъ что мірозданіе, согласно Анаксагору, имѣетъ видъ колеса, я также не могу согласиться, какъ и Целлеръ (Р⁵ 1.002 A). У него было, вѣроятно, представленіе, что небесный шаръ, создавшійся при вращеніи (περὺφρησις), увеличивается по мѣрѣ того, какъ все болѣнія массы захватываются этимъ вращательнымъ движеніемъ. Полезно можетъ быть указать на то, что Анаксагоръ совершенно не говоритъ о тѣлесномъ небесномъ шарѣ или о твердомъ звѣздномъ небѣ. Тамъ, гдѣ всего болѣе можно было ждать, онъ не обмолвливается ни словомъ объ этомъ (Frg. 8 Schaub).

именно то, что онъ доказалъ. Такъ какъ принятіе пустого пространства выдуманно впервые не Левкиппомъ, то изъ сказаннаго совѣтъ не слѣдуетъ, что Эмпедоклъ былъ подъ влияніемъ послѣдняго. Это предположеніе, часто высказываемое въ послѣднее время, кажется мнѣ неосновательнымъ, не только потому, что Аристотель лично не знаетъ объ этомъ влияніи (срвн. de generat. et corr. I 8, въ особенности 324b 32 и 325b 36), но особенно еще потому, что ученіе Эмпедокла является какъ бы предварительной ступенью атомистики; въ случаѣ же такого влияния на него пришлось бы сморгнуть какъ на регрессъ, движеніе назадъ отъ достигнутой уже высоты, что было бы труднѣе понять.

(Стр. 211, § 5). О космологіи Эмпедокла срвн. Karsten Empedoclis Reliquiae 416; Gruppe, Kosmische Systeme der Griechen 98—100; Tannery, Pour l'histoire etc. 316; Doxogr. Gr. passim.

(Стр. 212). Объ этомъ экспериментѣ съ кубками и выводами изъ него смотри Аристотель de caelo II 13. Gruppe (op. cit. S. 99) совершенно не понялъ, правда, очень краткаго сообщенія объ этомъ.

(Стр. 213, § 6). *Возникновеніе органическихъ существъ.* Здѣсь идетъ споръ между изслѣдователями, и полной увѣренности достигнуть трудно. Противъ пониманія Дюмлера, которому я и слѣдовалъ въ текстѣ (Akademika 218), Целлеръ сдѣлалъ возраженія (I^o 795/6), которые я не могу признать рѣшающими. Взглядъ Целлера состоитъ въ томъ, что Эмпедоклъ не думаетъ о прогрессивной эволюціи органическихъ существъ; одни «просто исчезаютъ со сцены и для тѣхъ, которые заступаютъ ихъ мѣсто, нужно новое творчество сначала». Противъ этого говоритъ то, что изъ четырехъ способовъ возникновенія, которые Аэціи описываетъ повидимому по Теофрасту (Doxogr. 430/1), первое и второе находятся въ опредѣленной связи. Ибо «страннiя» (εἰδωλοφανεῖς) образованія второго періода произошли очевидно чрезъ сращаніе отдѣльныхъ членовъ перваго періода (срвн. ἀπομόρσει . . . τοῖς μορίοις ἢ συμφορμένων τῶν μερῶν). Странность организмовъ второго порядка повидимому происходитъ влѣдствіе соединенія неоднородныхъ частичныхъ образованій перваго цикла (срвн. Empedocles I Frgg. 244—261 Stein). Затѣмъ четвертый генезисъ касается первыхъ порожденныхъ, а не первыхъ порождающихъ. Тамъ стоитъ:—въ четвертыхъ возникли животныя существа чрезъ половое порожденіе; не сказано: возникли животныя существа, которые породили половымъ способомъ другихъ. Это не нуждается въ доказательствѣ. Я не настаиваю на аргументѣ, который можно назвать слишкомъ тонкимъ, хитроумнымъ, но иначе существа, возникшія путемъ рожденія, должны бы были образовывать пятый генезисъ! Однако слѣдующее за этимъ причинное обоснованіе (τοῖς δὲ — ἐμποησάσας Doxogr. 431) допускаетъ лишь то толкованіе, что здѣсь имѣется въ виду водонизмѣненіе уже существующихъ существъ, которыми обуславливается произрожденіе. Такимъ образомъ и между 3-мъ и 4-мъ генезисомъ существуетъ не то отношеніе, которое предполагалъ Целлеръ. Только третій генезисъ въ отношеніи ко второму не имѣетъ связи. Однако пущо замѣтить: текетъ испорченъ. Рѣшающее слово *δλωφών* основано на поправкѣ. Эта поправка опирается, правда, на Эмпедокловскій стихъ 265, но что это за опора! Повидимому здѣсь идетъ рѣчь не о другомъ способѣ возникновенія, не о возникновеніи животныхъ существъ вообще, а о возникновеніи человѣка. Понятка Дюмлера приписать эту антропологію другому міровому періоду, чѣмъ остальные зоогоніи, не совпадаетъ съ изложеннымъ Аэціемъ, какъ правильно указалъ Целлеръ. Однако, такъ какъ эту часть вообще нельзя вставить въ общую связь, то гипотеза Дюмлера еще не окончательно осуждена. Мнѣ по крайней мѣрѣ не кажется слишкомъ смѣлымъ предположеніе, что Аэціи имѣлъ въ виду непосредственное возникновеніе человѣка изъ стихій, описанное въ этихъ стихахъ, что онъ ошибочно вставилъ въ общую связь съ другимъ и благодаря этому отбросилъ то, что здѣсь можно было ожидать: организмизмъ, оставшіяся послѣ отброса не способныхъ къ жизни организмовъ. Онъ хотѣлъ видѣть въ этомъ звено развитія, тогда какъ его нужно было разсматривать отдѣльно и оно было лишь вышше связано, какъ одинъ

изъ способовъ возникновенія существъ при перечисленіи ихъ. (Кстати не нужно ли читать вмѣсто $\epsilon\kappa\ \tau\omega\nu\ \theta\mu\sigma\iota\omega\nu$ — $\epsilon\kappa\ \tau\omega\nu\ \theta\mu\sigma\tau\omicron\upsilon\gamma\omega\nu$)?—Противъ этихъ предположеній возражаетъ Архимъ въ сочиненіи, посвященномъ автору (Festschrift S. 16 f.).—Поразительную параллель къ учению Эмпедокла о происхожденіи животныхъ мы встрѣчаемъ у Дидеро; срвн. John Morley Fortnightly Rewiew 1875 1,686 Diderot and the Encyclopaedists I 111.

(Стр. 213 внизу). Къ числу *гениальныхъ догадокъ* Эмпедокла относится то, что онъ первый—какъ, на основаніи какихъ фактовъ мы этого совершенно не знаемъ—узналъ, что для распространенія свѣта нужно время (Arist de sens. c. 6 444^a 25).

(Стр. 214 внизу). Я назвалъ ученіе Эмпедокла *усиленнымъ гилозоизмомъ* Роде назвалъ эту систему «вполнѣ гилозонстически развитой» (Psyche II² 188). Вполнѣ неосновательно мнѣніе, представленное такими людьми, какъ Виндельбандъ, согласно которому введеніе Эмпедокломъ движущихъ силъ было попыткой исполнить требованія Пармениды; «какъ чистое неизмѣнное бытіе, элементы *не могутъ двигаться, а должны быть движимы*» (Iw. Müllers Handbuch V 1, 161). Нужно ли указывать на то, что для Пармениды движеніе само по себѣ было невозможно, безотносительно къ тому, приходитъ ли толчекъ извнѣ или изнутри? Что привело Эмпедокла къ принятію двухъ вѣвѣщественныхъ потенцій? Какъ мнѣ кажется, это невозможность свести къ одной, присущей матеріи п однообразно дѣйствующей, тенденціи, двѣ тенденціи смѣняющія одна другую въ двухъ мировыхъ періодахъ. Для него, какъ и для Анаксагора, для котораго его «Nus» долженъ рѣшать лишь опредѣленную механическую и телеологическую проблему, дуализмъ не фундаменталенъ. Какъ у Анаксагора, рядомъ съ импульсомъ движенія, принимаемымъ чрезъ «Nus», существуетъ присущая матеріи тяжесть, такъ у Эмпедокла, рядомъ съ импульсами, исходящими отъ «раздора» и «дружбы», остается стремленіе подобнаго къ подобному какъ самостоятельный источникъ движенія. Что эти двѣ потенціи не являются для Эмпедокла единственными движущими силами, доказываетъ самъ Аристотель въ противорѣчій съ тѣмъ, что онъ же самъ говоритъ въ первой главѣ Метафизики. (De generat et corrupt. II 6); тамъ говорится: «раздоръ» и «дружба» суть только причины *опредѣленнаго* движенія ($\alpha\lambda\lambda\alpha\ \tau\iota\nu\acute{o}\varsigma\ \kappa\iota\nu\eta\tau\omega\varsigma\ \tau\alpha\upsilon\tau\alpha\ \alpha\iota\tau\iota\alpha$).

(Стр. 215 середина). Слова Аристотеля de generat. et corrupt II 6 (р. 333^b 21), непосредственно передъ этимъ стихомъ были объявлены болѣе древними, чѣмъ божество, именно Σφαίρος: τὰ φύσει πρότερα τοῦ θεοῦ.

(Стр. 216). О физикѣ души смотри, кромѣ фрагментовъ (главн. обр. стнх. 329—332 st.) Dohogr. 502.—30,000 оръ переселенія душъ я вмѣстѣ съ Дитерихомъ (Nekyia 119) понимаю какъ 10,000 лѣтъ (а именно каждый годъ изъ трехъ временъ года $\phi\rho\alpha\iota$), благодаря чему достигается совпаденіе съ указаніями Платона; Роде и Дюммлеръ (Akademika 237) считаютъ оръ за года и въ числѣ 30,000 видитъ только выраженіе для безчисленнаго количества лѣтъ (Psyche II² 179 A 3 и 187).

(Стр. 218 середина). *Альфредъ фонъ Крелеръ* Wiener Sitzungsber. (Phil. hist. cl. 1899 Nr. III Studien zu vergleich. Culturgeschichte) S. 53.—*Пиндаръ*. Отрыв. 131 Bergk. Срвн. Wilhelm Schrader, Die Seelenlehre der Griechen in der älteren Lyrik, Halle 1902 (изъ Gedenkschrift für Rudolf Haym). См. также H. Weil Etudes sur l'antiquité grecque p. 4.

(Стр. 219 вверху). О частичномъ воспріятіи, которое онъ допускаетъ даже у трупъ срвн. Теофрастъ de sens. (Dohogr. 499). Тамъ же $\kappa\alpha\iota\ \acute{\omega}\omega\varsigma\ \delta\epsilon\ \pi\alpha\nu\ \tau\acute{o}\ \delta\upsilon\ \acute{\epsilon}\chi\epsilon\iota\nu\ \tau\iota\nu\acute{\alpha}\ \gamma\eta\omega\sigma\iota\nu$. Его ученіе о судьбѣ души извѣстно намъ по Симплицію Phys. p. 39, 19 Diels.—Съ Парменидовскими $\kappa\rho\alpha\sigma\iota\varsigma$ $\mu\epsilon\lambda\epsilon\omega\nu$ срвнни $\kappa\rho\alpha\sigma\iota\varsigma$ $\kappa\alpha\iota$ $\alpha\rho\mu\omicron\nu\iota\alpha$ Филолая (по Платону Phaedo c. 36, 61 d).

(Стр. 220 середина). *Вопросы короля Милнды*: The questions of King Milinda (Sacred books of the East XXXV) p. 40 ff. и 71 ff.

(Стр. 221 середина). Отождествленіе этого духовнаго божества съ Аполлономъ исходить отъ Аммонія, который читаль еще въ связи тѣ стихи, которые онъ единственно сообщаетъ намъ полностью (347—351 St.).

(Стр. 221—22). Полемицескій выпадъ противъ Ксенофана находится въ стих. 146 Stein.

Часть II, глава 6.

(Стр. 223). Отрывки изъ Гекатэя у С. Müller'a *Fragmenta historicorum Graecorum* I s. О его государственной дѣятельности смотри Herodot. II 143. На рационализмъ его историографіи было указано уже Grote H. of Gr. I² 525; въ послѣднее время его освѣтилъ Дильсъ *Hermes* 22, 411. Тѣ же мысли, что и развитія у насъ въ текстѣ, высказываетъ Ed. Meyer *Philolog.* N. F. II 270.

(Стр. 226—236). Изъ многотомной литературы о Геродотѣ я обращаю вниманіе на непріязательную и дѣшную книжку Гоффмейстера: *Sittlich-religiöse Lebensanschauung des Herodotos*, Essen 1832. Въ дальѣйшемъ изложеніи вступленіе (I 1), Елена III 113; Додона II 54, Посейдонъ 129 египетская Дельта II 11, маги и буря VII 189,—Гомеръ и Гесиодъ II 53, естественная религія Персовъ I 131, просьба прошенія у боговъ и героев II 45, недовѣріе къ этическимъ поэмамъ II 120, незнаніе божественныхъ вещей II 3. Затѣмъ: предусмотрительность боговъ III 108, зависть боговъ VII 10 и I 32, Булисъ и Сперей VII 133, полярныя ночи IV 25, цинковые острова III 115, круглота земли IV 36, Ниль и Дунай II 33, крылатая змѣя III 107, золотороющіе муравьи III 102, ариаспы III 116, океанъ и разливы Нила II 21. Смотри объ этомъ мои «*Herodoteische Studien*» II 8 [526] (*Wiener Sitzungsber* 1883).

Часть III.

Первый эниграфъ взять изъ статьи Бертело, *La chimie dans l'antiquité et au moyen âge* (*Revue des deux mondes* 15 Sept. 1893 S. 316—17). Второй—изъ академической рѣчи Boltzmann'a «*Der zweite Hauptsatz der mechanischen Wärmetheorie* (*Almanach der kais. Akad. d. Wissensch.* Wien 1886 S. 234). Третій взять изъ пересказа Филодема въ геркуланскихъ свиткахъ: *Wiener Studien* II 5.

Глава 1.

(Стр. 240 внизу). Цитата изъ Гомера *Иліада* XI 514.

(Стр. 241). Упомянутую здѣсь индо-германскую молитву опубликовалъ Ad. Kuhn въ *Zeitschr. f. vergl. Sprachforschung.* XIII 49. «Шѣсна врача» переведена Roth'омъ у Grossmann'a, *Rig-Veda* X 97 (Томъ II 378 ff). Объ этомъ и о древнѣйшей индійской медицинѣ сравни Zimmer *Altindisches Leben* 375; 394; 396; 398; 399.

(Стр. 241—242). Приведенные примѣры народнаго суевѣрія въ области врачеванія указаны Dr. Paris *Pharmacologia*, приведены Дж. Ст. Миллемъ Logik B. V, C. 3 § 8 (*Werke* IV 150), Erman, *Agurt. Leben* I 318, *Plin. nat. hist.* 30, 11 (94) Anonym. Rediger (im *Thesaurus ling. gr.*, см. слов. *ἰχτερος*); Fossel, *Volksmedizin u. medic. Aberglauben in Steiermark* (указано *Münch. Allg. Ztg.* v. 23/9 1891).

(Стр. 242). О хирургіи дикихъ и ихъ смѣлыхъ попыткахъ сравн. Bartels, *die Medicin der Naturvölker*, Leipz. 1893 S. 300 и 305/6, также Von den Steinen, *Unter den Naturvölkern Centralbrasiliens* S. 373; auch *Corresp.*—Bl. d. deutschen Gesellsch. f. Anthropologie u. s. w. April 1900 S. 30 f.—Здѣсь использована статья Welcker'a «*Eproden oder das Besprechen*»

(Kleine Schriften III 64 сл.) также и далѣе.—Для слѣдующаго смотр. Одиссею XIX 457 сл. и XVIII 383 сл. О странствующихъ индійскихъ врачахъ древнѣйшаго времени сравни Kaegi, Der Rigveda S. 111.

(Стр. 243). О Демокедѣ и его судьбѣ сообщаетъ Геродотъ III 125 сл. О кипрскомъ врачѣ Онасилѣ смотри эдalionскую надпись, теперь у Collitz'a, Griechische Dialektkenten. I 26 сл.; въ вопросѣ о времени происхожденія надписи я слѣдую О. Hoffmann'у, Die griech. Dialekte I 41 противъ Larfeld'a въ Bursians Jahresbericht Bd. LXVI (1892) S. 36.

(Стр. 243). *Клятва* въ Oeuvres d'Hippocrate, E. Littré IV 628 ff. Запрещеніе кастраціи я вижу въ словахъ οὐ τέρμα δὲ οὐδὲ μὴν λθιῶντας, которые и можно перевести только такъ: «я не буду рѣзать даже тѣхъ, которые страдаютъ каменной болѣзнью». Такъ какъ общее запрещеніе рѣзать въ ту эпоху, когда «рѣзаніе и прожиганіе» являлись главными признаками врачебной дѣятельности, являлось бы бессмыслицей, то слово τέρμα нужно понимать въ специальномъ смыслѣ оскотленія, какъ оно употреблялось Гесіодомъ. Труды и Дни 786 и 790 f., Псевдо-Фоплидомъ ст. 187 Bergk и Лукіаномъ de Syria dea § 15 (сравни τομίαις=ἐκτομίαις). Слово λθιῶντας должно означать не камни въ мочевоомъ пузырьѣ, а каменное затвердѣніе, которое могло быть устранено кастраціей; и дѣйствительно этотъ глаголъ употребляется въ примѣненіи къ различнымъ затвердѣніямъ. Это мое старое предположеніе было сообщено и разбиралось моимъ покойнымъ товарищемъ медикомъ Theodor'омъ Puschmann'омъ въ Virchow-Hirsch' Jahresber. über die Fortschritte der gesammten Medicin 1883. I S. 326 и съ того времени еще много разъ.

(Стр. 244). О добросовѣстномъ отношеніи врачей и личномъ выступленіи ихъ см. соответствующія мѣста у Littré IV 182; 184; 188; 312; 638; 640; IX 14; 204; 210; 254; 258; 266; 268. — Аристотель говоритъ Гиппократѣ какъ о великомъ врачѣ. Polit. IV (vulgo VII), 4, 1326 a 24.

(Стр. 245). Дильсъ отодвигаетъ позднѣйшіи составныя части гиппократовскаго собранія къ половинѣ 4-го столѣтія (Высказано имъ въ докладѣ на сѣздѣ филологовъ въ Кельнѣ [Сентябрь 1895]).—Лондонскій паирусъ скорѣе запуталъ гиппократовскій вопросъ, чѣмъ содѣйствовалъ разрѣшенію его. Онъ какъ бы ставилъ альтернативу, либо пренебречь авторитетомъ Аристотелева ученика Менона, либо приписать авторству Гиппократа мало содержательное и риторическое искусственное сочиненіе περί φουδῶν. Выходъ изъ этого затрудненія нашелъ повидимому Blass (Hermes 36, 405). Не само дошедшее до насъ сочиненіе, а тотъ оригиналь, которымъ пользовался ея авторъ, и считался Менономъ за Гиппократовскій.

(Стр. 246). Эпидавръ. Описаніе по личному наблюденію. Приведенныя здѣсь сообщенія о надписяхъ собраны у Kavvadas'a Les fouilles d'Épidaure I pag. 23—34. Сравни того же автора Το ἱερὸν τοῦ Ἀσκληπιοῦ κτέ. Athen 1900. Кромѣ прекрасной питьевой воды въ Эпидаврѣ существуетъ и цѣлебный минеральный источникъ. Надписи собраны полностью въ Corpus inscript. graec. Peloponnesi etc. I p. 221 ff.

(Стр. 247). Упомянутое открытіе есть лондонскій паирусъ: Anonymi Londinensis ex Aristotelis iatricis Menoniis et aliis medicis eclogae ed. H. Diels, Berlin 1893. Сравни толкованіе содержанія его Дильсомъ въ Hermes XXVIII. («Ueber die Excerpte von Menons Iatricae»). О сочиненіяхъ книдской школы, входящихъ въ гиппократовское собраніе, смотри въ особенности. Littré VIII 6 ff. и въ недавнее время Johannes Ilberg въ Griech. Studien.... Leipzig 1894, 22 ff.

(Стр. 248 § 4). Книги «О дѣтѣхъ» были почти единственными среди гиппократовскихъ сочиненій, привлечшими къ себѣ вниманіе философовъ и филологовъ. Сравни Bernays Gesammelte Abhandlungen I 1 ff; затѣмъ Teichmüller Neue Studien zur Gesch. d. Begriffe II 3 ff; Weygoldt въ Jahrbüch. für Philol. 1882, 161 ff; Zeller Philos. d. Griech. I^o 694 ff. Старапія Вейгольда и Целлера доказать позднѣйшее происхожденіе сочиненія я считаю неудавшимся. Вліяніе *Гераклита* и *Эмпедокла* на автора неоспоримо; и способъ

(Стр. 265): Herodot. (II 33); Euripides (Frg. Nauck²); Epicur. (у Laert. Diog. X 32).

(Стр. 266 внизу). Приведенная цитата изъ Bunge, Lehrbuch der physiol. und pathol. Chemie² S. 86.

(Стр. 268 вверху). Сочиненіе «О природѣ женщинъ» у Литтре VII 312; смотри всукупленіе въ него и въ «Прогностикъ» (II 110 bis 112 L.); «О воздухѣ, водѣ и мѣстоположеніи» II 12 ff. «О священной болѣзни» VI 352 ff. Утвержденіе о болѣзни какъ одновременно и божеской и человѣческой VI 394 и 364, II 76.

(Стр. 269). Приведенные полемическіе выпады VI 354—362.

(Стр. 271). Приведенныя мнѣнія гиппократовскихъ врачей находятся въ изданіи Литтре II 302, 328; IV 212, 254; мнѣніе Литтре о книгѣ «О сочлененіяхъ» IV 75. Автора этого сочиненія я называю представителемъ сравнительной анатоміи на основаніи выраженій, находящихся IV 192, 198.

Книга III глава 2.

(Стр.) 272. *Романъ въ письмахъ*: Oeuvres d'Hippocrate IX 320 сл. особенно стр. 350 и 354 L. О леченіи Гиппократомъ больныхъ въ Абдерѣ въ безусловно подлинной, третьей книгѣ эпидемій III 122, 124, 128.

(Стр. 272). О *Левкиппѣ* сравн. Laert. Diog. IX cap. 6. Наиболѣе цѣлесообразно считать его родиною Милетъ, потому что въ двухъ первыхъ указаніяхъ (Элея и Абдера) вѣроятными причинами ошибочныхъ заключеній является отношеніе его къ Зенону и Демокриту. Споръ о его исторической реальности велся Роде (Verhan. d. 34 Philol.-Vers. S. 64 ff. и Fleck-eisens Jahrb. 1881, 741 ff.=Kl. Schr. I 205 ff. и 245 ff.), Наторпомъ (Rhein. Mus. XLI 349 ff.) и Дильсомъ (Verh. d. 35 Philol.-Versammlung S. 96 ff. сравн также Rhein. Mus. XLII 1 ff.). Рѣшающимъ свидѣтельствомъ противъ сомнѣній Эпикура у Laert. Diog. X 13 авторитетъ Аристотеля и Теофраста; Если въ этомъ вопросѣ я согласенъ съ Дильсомъ, то я не могу раздѣлять его мнѣнія, что Теофрастъ считалъ Левкиппа ученикомъ Парменида. Ибо слова *κοινωνήσας τῆς φιλοσοφίας* (Doxogr. 483, 12) не означаютъ этого, по моему мнѣнію, какъ и тожественное выраженіе объ отношеніи Анаксагора къ доктринѣ Анаксимела: *κοινωνήσας τῆς Ἀναξίμενου φιλοσοφίας* (Doxogr. 478, 18 f.) не вынуждаетъ насъ принять невозможное хронологическое указаніе Теофраста. «Великій міровой порядокъ» опять таки приписываетъ Левкиппу Теофрастъ (Laert. Diog. IX 46). Приведенный въ текстѣ отрывокъ взятъ изъ сочиненія «О духѣ» (Aet. въ Doxogr. 321b 10). Новое доказательство въ пользу реальности Левкиппа даетъ Целлеръ (Archiv XV 137—140).

(Стр. 273). О *Демокритѣ* смотри Laert. Diog. IX cap. 7. О времени рожденія по автобіографическимъ свѣдѣніямъ (Олимпиада. 80=460—457), относящемуся видимоному къ первому году олимпиады смотри Араллодору у Laert. Diog. IX 41. Острыми (очень неполно) собраны Mullach'омъ (Democriti Abderitae operum Fragmenta Berl. 1843). Приведенные фрагменты у Клименты Stromat. I 357 Pott. и Laert. D. IX 36. Цитата изъ Плагона (стр. 274) изъ «Государства» II 368a. Два мнѣнія Аристотеля (стр. 274) взяты изъ de generat. et corrupt. I 2, 315a 34 сл. и 316a 6 сл. Сравнн наиболѣе важныя мѣста de gen. et corr. I 8, 324b 35 сл. и 325a 23 сл.

(Стр. 275 серед.). Mullach p. 204.

(Стр. 276). *Галлилей*. Слѣдующая цитата изъ сочиненія «Il Saggiatore» взята изъ флорентійскаго изданія 1844 г. IV стр. 333 ff.

(Стр. 278 вверху). Сказанное здѣсь основано на Aristot. Metaphys. I 4 fin. Испорченное мѣсто исправилъ Bergaуs: О сочиненіи о неразрушимости все-

дизирующее объяснение гадания по внутренностям животных (Cicero de divinat. II 13, 30), которое признано недавно Jhering'омъ (Vorgesch. d. Indoeuropäer 448) вполне правильнымъ. Эта попытка объяснения характера для Демокрита, который пытается найти реальную основу религиозныхъ обычаевъ и вѣрованій; онъ не считалъ явленія боговъ и видѣнія во время сна пустыми фикціями, хотя въ богахъ народной вѣры онъ видѣлъ плохо понятія и невѣрно истолкованныя произволомъ поэтовъ обозначенія силъ природы и моральныхъ силъ (срвн. Clemens Protrept. cap. 6 p. 59 Pott.; срвн. также его же Stromata V с. 14, 709 P.). Для исправленія испорченныхъ словъ смотритъ Евсевій [Praep. ev. XIII с. 13 § 27, III. 322 Geisf.]; Laert. Diog. IX 46). «О вѣрованіяхъ Демокрита въ демоновъ» говоритъ Дильсъ (Archiv VII 154—157).

(Стр. 307). Изложеніе и критика Теофрастомъ Демокритовой теоріи познанія въ Doxogr. 516. Объ атомахъ души Демокрита и Левкиппа и о роли дыханія срвн. Aristot. de anima I 2, 403b 31. *Парменидъ и Эмпедоклъ*: срвн. Doxogr. 390, 19. Указаніе на продолженіе существованія теоріи всеодухотворенности потому умѣстно, что большинство историковъ считаетъ, что пилонистическіе взгляды исчезли очень рано, а именно съ Анаксагоромъ и Эмпедокломъ.

(Стр. 309). Жалобы Демокрита: срвн. Sext. Empir. adv. mathem. VII 135 ff., p. 220 f. Bekk.; замѣтъ Laert. Diog. IX 72. Прекрасно говоритъ о «мнимомъ отрицаніи Демокритомъ чувственной истины» Brieger, Hermes 37, 56 f. Большого интереса заслуживаетъ отрывокъ Демокрита, доступныхъ намъ въ оригиналѣ; срвн. H. Schöne, Eine Streitschrift Galen's gegen die empirische Arzte, Berliner Sitz.-Ber. 1901 LI S. 5. Чувства обращаются къ уму со словами: *τάλανα φρήν, παρ' ἡμέων λαβοῦσα τὰς πίστεις ἡμέας καταβάλλεις; πτόμα τοι το κατάλλημα*. Они упрекаютъ критическій умъ въ томъ, что, отвергая свидѣтельство чувствъ, онъ какъ бы отсѣкаетъ сукъ, на которомъ сидитъ. Образъ заимствованъ Демокритомъ изъ школы гимнастики; предполагается два борца; одинъ побѣждаетъ другого, но падаетъ на землю вмѣстѣ съ нимъ. Хотѣлось бы знать, какъ заставилъ Демокритъ отвѣчать умъ; врядъ ли что либо иное, кромѣ того, что недовѣріе къ чувствамъ умѣстно тамъ, гдѣ свидѣтельства ихъ противорѣчивы (т. е. въ отношеніи вторичныхъ свойствъ) и что согласующіяся свидѣтельства ихъ, въ отношеніи тѣлеснаго и первичныхъ или основныхъ его свойствъ остаются неоспоримыми, образуютъ основу познанія.

(Стр. 311). Различія истиннаго познанія и нелснаго также у Секста Эмпирика adv. math. VIII 138 f. p. 221 Bekk.

(Стр. 312 § 9). Критическое замѣчаніе Аристотеля, Phys. VIII 252a—b. Сравни съ этимъ на этотъ разъ совѣтъ не-аристотелевское мнѣніе Теофраста о Платонѣ, которое приводитъ къ Тимею Проклъ (Базельское изд. стр. 176) (также Doxogr. 485, 13 ff.).

(Стр. 313). Упрекъ Аристотеля Metaph. I 4 fin. Къ слѣдующему срвн. Dühring, Kritische Geschichte der allg. Principien d. Mechanik 109—112.—Поряданіе Аристотеля Phys. II 4, 196a 24 ff. и de generat. animal. V 789b 2.

(Стр. 315). Смотр. Hippolyt. I 113. Löwenheim дѣлаетъ замѣчаніе (Archiv. VII 246), что Демокритъ «уже принципиально преодолѣлъ геоцентрическую точку зрѣнія».

(Стр. 316). *Метродоръ изъ Хиоса*: у Стобея eclog. I 496 (I p. 199. 1 Wachsmuth.)—Объ этическихъ фрагментахъ Демокрита смотр. Lortzing. Berl. Gymn.-Progr. 1873; Hirzel, Demokrits Schrift περί εὐθυμίας (Hermes XIV 354 ff.); Natorp, die Ethika des Demokritos 1893 (рецензія Diels'a въ Deutsche Litteratur-Zeitung 1893 Nr. 41). Немного, но повидимому вѣрное, сообщаетъ объ этикѣ Демокрита Laert. Diog. IX 45. Слова Демокрита εὐθυμία, εὐεστ-ὴ и ἀθαμβία переведены Гомперцомъ «Wohlgemutheit», «Wohlsein» и «Gefasstheit».

(Стр. 317—318). Приведенный отрывокъ (сохранившійся у Stob. floril. 46, 48) авторъ пытался возстановитъ Beitr. z. Kritik u. Erklärung griech. Schriftsteller» III 26 (=586 Wiener. Sitz.-Ber. 1876).

ster's Berlin, Monatsschrift 1793. S. 537). Последнимъ представителемъ уже значительно модифицированной теоріи первоначальнаго договора можно считать Карла Велькера (+1869); срвн. Bluntschli Gesch. d. allg Staat-rechts S. 538.

(Стр. 337). Платонъ Государство II 358e—Эпикуръ у Лаэрт. Диог. X 150 и Лукреціи V 1017 и 1141.

(Стр. 338). *Милль*: Essays on some unsettled questions of political economy, London 1844 S. 157.

(Стр. 339). Гераклитъ о бίος и βίος: Frgm 66 Вув.—Аргументы Демокрита приводить Прокль въ своемъ комментарий къ Платоновскому Кратилу р. 6 изд. Boissonade.

(Стр. 341). Эпикуръ: Основное мѣсто у Лаэрт. Диогена X 75 сл. Кромѣ Лукреція V 1026 Bernays и Оригена с. Cels р. 18 sq. Spencer срвн. теперь прежде всего надпись изъ Эноавды Bull. de corr. hellénique 1892 S. 43 и 1897 S. 346.

(Стр. 343). Darwin, The expression of the emotions 258 и 261.

(Стр. 344). *Архелай*. Кромѣ Лаэрт. Диог. II сар. 4 смотр. Инполита I 9 (Doxogr. 564, 6).

(Стр. 345). Эврипидъ Frgm. 920 и 168. Алкидамантъ Oratores Att. (ed Turic.) II 154.— Бардезаны. Выдержки у Евсевія Praer. ev. VI 10. Сирийскій текстъ въ Spicilegium Syriacum Cureton'a. Сюда же относится и отрывокъ въ «The Flinders Petrie Papyri» I № 9 (Dublin 1891).

(Стр. 345 — 346). Геродотъ: III 38 (слѣдуетъ обратить вниманіе на ту старательность, съ которою онъ противопоставляетъ греческіе и египетскіе обычай до самыхъ деталей II 35). Такая же рѣзко выраженная тенденція проявляется въ изображеніяхъ средневѣковаго путешественника Джона Маудевилля. Приведенный Геродотомъ отрывокъ изъ Пиндара смотр. Bergk, Poet. Iug. Gr. I⁴ 439.—Слѣдующая цитата заимствована изъ Διαλέξεις написаннаго на дорійскомъ нарѣчій (Opusc. moral coll. Orelli II 216—Mullach Frgm. philos. Gr. I 546b). Срвн. Rohde, Kleine Schriften I 327 и Dümmler, Akademia 250; смотр. также мон замѣчанія Deutsche Litt.-Zeitg. 1889 Sp. 1340. Эврипидъ: Ion 854 и Frgm. 336—Гиппій у Платона, Протагоръ 337c.

(Стр. 346 — 347). Съ указаннымъ нами сходствомъ доктрины Калликла съ мыслями Гераклита вполне согласуется прямое совпаденіе Горгія 490a: πολλάκις ἀρα εἰς φρονῶν μύριων μὴ φρονούντων κρείττων ἐστί и еще εἰ ο εἰς τῶν μύριων κρείττων сь Гераклитомъ Frgm. 113: εἰς ἐμοὶ μύριοι, ἐὰν ἀριστος ᾦ, совпаденіе, которое было замѣчено еще въ древности, срвн. Olympiodori scholia къ Платонову Горгію р. 267 ed. Jahn въ Jahns Jahrb. XIV Suppl. Band (Leipzig. 1848). Предположеніе Бергка (Gr. Litt.-Gesch. IV 447), что Калликль есть прозрачная маска для Харикла, извѣстнаго олигарха того времени, — врядь ли правильно. Незначительное измѣненіе имени не достигло бы цѣли, такъ какъ рядомъ съ этимъ даются указанія о личности человѣка (срвн. особенно 487c), которыя были бы неудачны, если бы не подходили къ оригиналу, а въ противномъ случаѣ не соответствовали бы намѣреніямъ Платона. Калликль является ненавистникомъ софистовъ (Горгіи 520a); на вопросъ: οὐκοῦν ἀκούεις τοιαῦτα λεγόντων τῶν φρασόντων παιδεύειν ἀνθρώπους εἰς ἀρετήν, онъ отвѣчаетъ: ἔγωγε. ἀλλὰ τί ἂν λέγοις ἀνθρώπων περὶ οὐδενὸς ἀξίω.

(Стр. 348 сверху). Цитаты изъ «Горгія» 483e и 492d. Слова о господствѣ сильнѣйшаго принадлежатъ Галлеру, съ которымъ остроумно полемизируетъ Гегель въ своей философій права (Gesamt. Werke VIII 317).

(Стр. 349 § 8). *Диалогъ изъ Мелоса*. Сохранилось пять стиховъ изъ двухъ стихотвореній (у Филодема о благочестіи стр. 85 изд. Гомперца); тамъ же заглавіе третьяго стихотворенія. Стихи эти полны самаго благочестиваго

Часть III, глава 5.

(Стр. 352). О томъ, что Горгій и Гинній послали въ торжественныхъ случаяхъ пурпурную одежду, рассказываетъ Aelian var. hist. XII 32. О такомъ же выступленіи раисодовъ смотр. Платонъ или Пс.-Платонъ (Ионъ 530b). Больше деталей хотя и съ недѣльными объясненіями даетъ Евставій въ комментаріи къ Иліадѣ I. Описание богато украшеннаго раисода правда изъ очень сѣдой старины даетъ Николай Дамасскій (Frgm. hist. gr. III 395 Frg. 62).—Сигіонійскій живописецъ Памфилъ далъ толчокъ введенію въ жизнь *обученія рисованію*, о чемъ упоминается въ «Илутосѣ» Аристофана (поставленъ на сцену въ 388) ст. 385 Mein. Срвн. Hermann-Blümner, Privat-Altertümer S. 324 и 473.—Протагоръ изъ Абдеръ въ платоновскомъ діалогѣ того же имени 318e. Сравни съ этимъ подобную же фѣлу, которую ставитъ въ своемъ наставленіи ораторъ Исократъ or. 15 § 304 сл. (Orat. Att. I 289a), а также какъ Ксенофонъ смотритъ на общеніе Сократа съ молодыми людьми (Memor. I 2, 64).

(Стр. 353/4). Свободное изложеніе по Платону въ упомянутомъ выше діалогѣ.

(Стр. 354 слѣд.). Цѣпныя указанія объ употребленіи слова софистъ далъ уже въ древности риторъ Аристидъ II 407 Dindorf. Эсхиль и Софокль употребляютъ это слово, говоря объ искусныхъ музыкантахъ; кромѣ того Эсхиль такъ называетъ Прометея не безъ нѣкоторой горечи ст. 62 и 943 Kirchhoff. Пиндаръ называетъ такъ музыкантовъ и поэтовъ (Isthm. 5, 28). Комикъ Кратинъ соединяетъ подъ этимъ названіемъ всѣхъ поэтовъ, включая Гомера и Гесиода σοφιστῶν οἱ ποιῆται: Att. com. Frgm. I 12 Frg. 2 Kock). У Аенпея XIV 621 такъ называются актеры шуточныхъ комедій. Историкъ Андротіонъ называлъ софистами семь мудрецовъ (Arist. uk. m.). Такъ называетъ Геродотъ по крайней мѣрѣ Солона I 29 и Писагора IV 95. Диогенъ изъ Аполлоиіи называлъ софистами своихъ предшественниковъ (Simpl. Phys. 151, 26 Diels). У Исократа софистъ является противуположностью свѣтскаго и обиденнаго человѣка. (Helena 9); смотр. также ad Nicocl 13 и ad Demonic. 51 (правда сомнительной подлинности). Въ не менѣе почетномъ смыслѣ употребляютъ это названіе Алкидамантъ въ самомъ началѣ своей рѣчи «О софистахъ». — Народное постановленіе предложенное Діонисіемъ у Плутарха, Жизнь Перикла сар. 32.—О презрительномъ отношеніи къ ремесленникамъ. Негодот, II 167. О ениваскомъ ограничительномъ законѣ см. Аристот. Polit. III 5 (1278a 25). О презрительномъ отношеніи къ ремеслу у Платона и Аристотеля рѣчь будетъ ниже. Здѣсь только нѣсколько словъ, у Платона Государство III 405a читаемъ: τοὺς φαύλους τε καὶ χειροτέχνους; Аристотель (Polit. III 5, 1278a 8) говоритъ: ἡ δὲ βελτίστη πόλις οὐ ποιήσει βαντασον πολιτην.

(Стр. 356). По вопросу объ осмѣяніи составителей рѣчей сравни то, что сказано о насмѣшкахъ комическаго драматурга Платона надъ Антифоновомъ въ псевдоплутарховскихъ Vit. X orator. p. 833e (=II 1015 Dübner), а также въ болѣе общихъ выраженіяхъ Филостратомъ Vit. sophist. I 15 (II 16 Kayser). Объ Исократѣ см. Blass, Att. Bereds. II² 14 и на что Blass указываетъ, Псевдо-Плутархъ ук. м. 837b (=1020, 20 Dübner). Интересно отмѣтить то удовольствіе, съ которымъ ученикъ Исократа Теополисъ (Phot. Biblioth. cod. 176 p. 120 Bekk.) хвалится своей матеріальной обеспеченностью, благодаря которой онъ не былъ принужденъ ни писать рѣчей за плату, ни давать уроковъ.—О Байронѣ осмѣивавшемъ Вальтера Скотта за то, что онъ пишетъ за говораря и «работающаго на своего хозяина» смотр. Брандеса Hauptströmungen u. s. w. IV 190. Сказанное объ основателяхъ Edinburgh Review заимствовано у лорда Джеффрея (Lord Jeffrey Cockburn's Life I 133, 136, II 70 (Edinburg 1852). Отвращеніе Руссо къ ремеслу писательства общезвѣстно; см. Confessions livre 9.—Шереръ говоритъ (Poetik 122): «Въ 16 столѣтій гонорары за книги не были еще введены; было еще сомнительно, честно ли получать гонораръ».

скихъ философовъ и риторовъ ихъ времени (см. Renan, Origines du Christianisme VI 483 сл.).

(Стр. 361). Сочиненію «Объ искусствѣ» авторъ настоящей книги посвятилъ пространную статью, которую и воспользовался въ этой и въ слѣдующей главѣ (Gomperz Die Apologie der Heilkunst, Wiener Sitz.-Ber. 1890 № IX).

(Стр. 363). О *Продуктѣ* смотри прежде всего выдающуюся по богатству матеріала и безпристрастности критики статью Welcker'a «Prodikos von Keos, Vorganger des Sokrates» (Rhein. Mus. f. Philol. I перизданно въ Kleine Schriften II 393 ff.); затѣмъ цѣнное маленькое сочиненіе Cougny: De Prodicō Ceio, Socratis magistro et antecessore, Paris 1857. Подлинныхъ отрывковъ Продукта мы не имѣемъ, потому что нельзя назвать таковыми три сентенціи (у Стобея Floril. I 236 и II 391 Mein. и у Плутарха de sanit. praes. с. 8 = 151, 4 Dübн.). На личную дружбу съ Сократомъ указываютъ Ксенофонъ (Sympos. IV 26) и Платонъ (Theaetet. 151b, Menon 381d и т. д.) на этотъ разъ въ полномъ согласіи другъ съ другомъ, хотя Платонъ по своему обыкновенію говоритъ объ этомъ съ легкой пропойей. Намѣтки Аристофана въ «Ταγγρασταί» (Kock, Att. com. Fragm. I 490). Съ особеннымъ уваженіемъ упоминаетъ о немъ тотъ же Аристофанъ въ «Облакахъ» 361 Mein. Намекъ въ «Птицахъ» 622 M. не даетъ вѣрныхъ указаній. Указанный въ текстѣ діалогъ «Каллій» Эсхина передаетъ Донней (V 220b). Анаксагора называетъ софистомъ кромѣ Эсхина также историкъ Діодоръ причѣмъ безъ всякой тенденціозности, XII 39, 2: Ἀναξαγόραν τὸν σοφιστὴν διότι καλὸν ὄντα Περικλέους, ὡς ἀσεβούντα εἰς τοὺς θεοὺς ἐσυκοφάντου. О вліяніи Продукта на вѣнниковъ кромѣ Welcker'a смотри Dümmier, Akademika въ разн. мѣст. Два его натурфилософскихъ сочиненія упоминаетъ съ незначительными и не точными выписками Галенъ I 187, II 130 и XV 325 Kühn. Занятіе *natura rerum* вѣстѣ съ Протагоромъ и риторомъ Фрасимахомъ приписываются ему Цицерономъ de orat III 32, 128. Ангилль у Маркеллина (vit. Thuc. § 36 въ изданіи Крюгера II 197 сравн. Spengel, Artium scriptores p. 53 f.) вѣрить во вліяніе на Фукидда.

(Стр. 364/5). Эврипидъ: Ἰκετίδες 196 сл. — ἔλεγε γὰρ τις ὡς τὰ χειρονα πλείω προτοσίαν ἐστὶ τῶν ἀμεινόνων. О низкомъ голосѣ говоритъ Платонъ (Протагоръ 316a), тамъ же намеки на его болѣзненность. О его строгомъ взглядѣ на жизнь говоритъ Платонъ (тамъ же 341e); остальное у Welcker'a S. 614. Описаніе жизненныхъ бѣдствій и притчѣ о нихъ въ псевдо-платоновскомъ Аксіохѣ 360d сл. О дальнѣйшемъ см. также Аксіохъ 369b; подобное же мифіе Эпикюра у Лаерт. Диог. X. 125. Здѣсь необходима оговорка. Послѣднія приводимыя свѣдѣнія переданы намъ въ псевдо-платоновскомъ Аксіохѣ. Это сравнительно позднее литературное произведеніе, языкъ котораго K. F. Hermann (Gesch. u. System d. platon. Philosophie S. 583) считаетъ хотя не платоновскимъ, но въ большей части подлинно аттическимъ. Сочиненіе относится скорѣ къ послѣ александрійскому времени, что доказываетъ большое количество неплатоновскихъ и не аттическихъ формъ и конструкций. Такъ какъ мысли приписываемая въ этомъ сочиненіи Продукту отчасти повторяются у вѣнника Кратеса, у Эпикюра и повидимому у Віона изъ Бориссена, то можно спорить, черпали ли авторъ Аксіоха и названные писатели изъ общаго источника, или первый заимствовалъ у вторыхъ. Въ пользу послѣдняго предположенія высказались многіе прежніе и новые ученые, наиболѣе рѣшительно недавно H. Peddersen (Über den ps.-plat. Dialog Ax., Suhlhavener Realschul-Progr. 1895). Но зрѣломъ размышленіи я не могу присоединиться къ этому мнѣнію. Правда, не исключена возможность, что авторъ Аксіоха неправильно приписалъ какое нибудь мифіе старому софисту. Однако если внимательно прочесть главныя мѣста: характеристики возрастовъ и сравненіе съ ростовщикомъ въ Аксіохѣ и затѣмъ въ предполагаемыхъ его «источникахъ» и сравнить ихъ между собою, то нельзя отдѣлаться отъ впечатлѣнія, что изложеніе псевдо-платоновскаго діалога посятъ отпечатокъ первоначальности. Тамъ, напримѣръ, постепенное потуханіе жизненныхъ отравленій и предшествующая общей смерти

ихъ основаніи сообщать Аполлоторъ въ сохранившихся стихахъ его хроникъ (Laert. Diog. VIII 52). Пребываніе тамъ Геродота, котораго Аристотель называетъ еурійцемъ (Rhet. III 9) общезвѣстно.

(Стр. 372) «Раздѣленіе гражданъ; объ этомъ см. Diodor. XII 11.—Отрывокъ о Периклѣ у Плутарха Consol. ad Apollon. 33 (141, 52 Dübn.).

(Стр. 373) Обвинитель Протагора теперь открытъ съ большою вѣроятностью на одномъ памятникѣ, найденномъ въ Элевснѣ (см. Brückner Athen. Mitt. XIV 398; вначѣ Kaibel, Stil u. Text. d. πολιτεία Ἀθηναίων 186). Въ томъ, что этотъ Пинедоръ названъ Лаэртиемъ Д. (IX, 54) однимъ изъ четырехсотъ, я вижу вмѣстѣ со многими другими болѣе точное указаніе на личность обвинителя, а не на время обвиненія. Ибо очень мало вѣроятія, чтобы въ это короткое время олигархін (411) дѣйствовали суды и были собраны полъ-тысячи геліастовъ (нужное число, какъ показываетъ процессъ Сократа). Въ пользу такого предположенія говорятъ и другія всѣякія основанія. Платонъ влагаетъ въ уста Протагору, въ діалогѣ того же имени (317c) слѣдующія слова: «я могъ бы всякому изъ васъ быть отцомъ». При этомъ Платонъ, которому въ этомъ случаѣ не было никакого повода смутывать года, прежде всего имѣлъ въ виду Сократа. Такъ какъ послѣдній едва-ли могъ родиться послѣ 471 года (умеръ 399) — ибо чтеніе *πλείω ἔβδομήκοντα* Apolog. 17d должно считать правильнымъ — но также и не значительно раньше, потому что въ противномъ случаѣ округленія цифры въ 70 годовъ было бы невозможно въ Критонѣ 52e, то годъ рожденія Протагора придется самое раннее на 485 годъ, вѣроятнѣе еще на одинъ изъ предшествующихъ годовъ. Съ этимъ совпадаетъ и дата еурійскаго законодательства (443), которое не могло быть возложено на Протагора (онъ сталъ софистомъ приблизительно 30 лѣтъ; см. Платона Менонъ 91e), прежде чѣмъ онъ не зарекомендовалъ себя продолжительной дѣятельностью. Согласно Аполлотору онъ достигъ возраста 70 лѣтъ (почти 70 говоритъ Платонъ op. cit.). На этомъ основаніи время его смерти, непосредственно слѣдующей за обвиненіемъ, придется устанавить на 5—6 лѣтъ раньше 411 года. Отсюда возможность отнести извѣстные стихи Эврипидовскаго «Паламеда» (Frg. 588 N²) къ Протагору; въ стихахъ этихъ хотѣли видѣть намекъ на смерть Сократа (казненаго 16 годами позже!) И другой діалектикъ, именно Зенонъ, сравнивается съ Паламедомъ (Платономъ Федр. 262d, ибо онъ былъ *παλειστήμων*, говорить схоластикъ); вѣроятно при этомъ случаѣ живо было воспоминаніе объ этойъ мнѣической фигурѣ могутъ засвидѣтельствовать слова Ксенофонта (Мем. IV 2, 33): *ταύτων γὰρ δὴ πάντες ὀνομασθὲν ὡς διὰ σ ο φ ἰ α ν φ θ ο ν η θ ῆ ε ἰ σ . . ἀπόλετο*. Пензѣвство, имѣлъ ли поэтъ въ виду своего умершаго друга въ своемъ Иксионѣ (Филохоръ у Лаэрт. Д. ук. м. 55).

(Стр. 374). Два первые отрывка, касающіеся *воспитанія* у Стобѣя Floril. 29, 80 (III 622 Hense) и Cramer, Anecd. Pag. I 174; третій взятъ изъ сирійскаго перевода псевдо-плутарховскаго *π. ἀσκήσεως*, изданнаго Лагардомъ 1858 (Bücheler u. Gildemeister Rhein. Mus. XVII 526 f. Въ то время, какъ я это пишу, благодаря любезности Дилъса я узнаю о новомъ принявшемъ Протагору отрывкѣ, касающемся воспитанія, изданномъ Sachau, Inedita syriaca praeef. V. Пустая паныщенность рѣчи заставляетъ сомнѣваться въ подлинности, тѣмъ болѣе, что подобный же отрывокъ съ указаніемъ авторства Анаксагора еще менѣе напоминаетъ глазоменда, чѣмъ нервный абдерита. О записяхъ Протагора языкомъ срвн. Лаэрт. Д. IX 52—53; затѣмъ Arnet. Poet. c. 19, Rhet. III 5, Sophist. elench. c. 14, а также шутки Аристофана въ «Облакахъ» (658 сл. Mein.).—О Протагорѣ какъ послѣдователѣ условной теоріи языка смотри Гомперца, Apologie der Heilkunst. 111 сл.

(Стр. 376). Зарожденіе упомянутой здѣсь теоріи можно найти у Вильгельма фонъ-Гумбольдта (Lettre à M. Abel-Remusat sur la nature des formes grammaticales etc. Paris 1827; Werke VII S. 304): La distinction des genres des mots... appartient entierement à la partie imaginative des langues. Эта мысль была развита Яковомъ Гриммомъ, Deutsche Grammatik III, Cap. 6. Срв. стр. 343 (346): «Das grammatische Genus ist demnach eine in

der Phantasie der menschlichen Sprache entsprungene Ausdehnung des natürlichen auf alle und jede Gegenstände». Эту теорію оспаривали съ двухъ разныхъ точекъ зрѣнія. Одни хотѣли видѣть въ аналогіяхъ формъ единственнаго, дѣйствующаго здѣсь фактора; другіе же считали, что грамматическій родъ является лишь однимъ изъ проявленій болѣе общаго различія между сильными и слабыми, дѣйствующимъ и страдающимъ. Удачную защиту точки зрѣнія Гримма представляетъ собою по мнѣнію автора предисловіе Rōthe къ девятому изданію упомянутаго тома стр. XXI—XXXI.

(Стр. 377). Три слова суть θώραξ, πόρταξ и στώραξ.

(Стр. 377/9 § 3). Срв. перечень сочиненій у Лаерт. Д. IX 55.—Къ слѣд. срв. Плутарха, жизнь Перикла с. 36 (Источникъ ея, Стесямбротъ названъ въ слѣдующей фразѣ).—О процессахъ палъ животными срв. главнымъ образомъ Karl von. Amira, Tierstrafen und Tierprocesse в Mitt. d. Inst. f. öst. Gesch.-Forschung XII 545 сл., «Ausland» 1869, 477 сл., Miklosich, Die Blutrache bei d. Slaven (Wiener Denkschriften 1887) S. 7, Tylor. Prim. Cult. I 239, Zend-Avesta I (Sacred books of The East IV) 159, Rhein. Mus. XLI 130, наконецъ Sorel. Procès contre les animaux etc. Compiègne 1877 p. 16. Упомянутая Узенеромъ, Götternamen S. 193, книга С. d'Addossio, Bestie delinquenti мнѣ неизвѣстна. Замѣчаніе Гегеля въ его Gesch. d. Philosoph. II^a (Werke XIV) S. 27. Мѣсто изъ Платонова Протагора 324b.

(Стр. 379—381 § 4). Первая фраза его книги о богахъ у Лаерт. Д. IX 51.—Намекъ Лобека въ «Auswahl aus Lobeck's akademischen Reden» herausg. v. A. Lehnerdt, 189): Protagoras wurde «des Atheismus angeklagt weil er die Erkennbarkeit Gottes durch die Vernunft geleugnet».—О его способѣ въззканія гонрара см. Платонъ, Прог. 328b—с и Арист. Nikom. Eth. IX 1 (гдѣ разумѣется, не упоминается клятва).—ἀδηλότης (темнота, недоступность чувствамъ), срв. Arol. d. Heilk. 143, а также объ употребленіи въ томъ же смыслѣ ἀφανές.—Слова Ренана заимствуемъ изъ его «Feuilles détachées». p. XVI.

(Стр. 381/2, § 5). Три заглавія главнаго сочиненія Протагора у Порфирія (ар. Euseb. Praep. ev. X 3 = II 463 Gaisford), у Платона, Θεэтетъ 161c и у Севста Эмпирика adv. math. VII 560 = 202, 27 Bekk. Главное мѣсто приведено въ Θεэтетѣ 152a и у Лаерт. Д. IX 51.—Замѣчаніе Гете у Riemer, Briefe von und an Goethe, Abschnitt Aphorismen, S. 316.—О смыслѣ фразы подробнѣе трактовано авторомъ въ Apologie d. Heilk. 26 сл. Предшественниками его въ общемъ пониманіи этого выраженія являются Reifers, Die Erkenntnisstheorie Platons S. 44, Laas, Neuere Untersuchungen über Protagoras (Vierteljahrsschrift f. wissenschaft. Philosophie VIII 479) и Halbfass, Die Berichte des Platon u. Aristoteles über Protagoras... kritisch untersucht (Fleckeisens Jahrb. Suppl. XIII, 1882). Аргументы автора были частью подкрѣплены, частью видоизмѣнены въ книгѣ W. Jerusalem, Zur Deutung des Homomensura-Satzes (Eranos Vindobonensis 153). Grote былъ такъ далеко отъ признанія всеобщаго значенія этого выраженія, что даже переводу его придавъ индивидуалистическую окраску: «As things appear to me, so they are to me; as they appear to you, so they are to you». (Plato II 323).

(Стр. 385). *Аристотель*, Metaphys. III 997b 35 — 998a 4. — Цитата изъ Милля заимствована изъ Логикн кп. II, гл. 5, § 1. — Sir John Herschel, Essays p. 216; Helmholz въ Academy vol. I p. 128 (12 Febr. 1870) и Populäre Aufsätze, Heft II, S. 26.

(Стр. 388) «Во снѣгъ»: Θεэтетъ 201d. — Изъ обширной литературы о Θεэтетѣ слѣдуетъ замѣтить предисловіе Шлейермахера; Bonitz Plat. Studien², особенно стр. 46—53; Dümmler, Antisthenica стр. 56 сл. (Kl. Schr. I 59 сл.) и Akademika 174 сл.

(Стр. 389). *Тимонъ*: фраг. 48 (Corpusc. poes. ep. Gr. ludibundae II 163).—Aristoteles Metaphys. 1007b. 22 сл.; 1009a 6 сл.; 1053a 35.—Platon, Cratyl. 386a. Основывался на языкѣ, слѣдуетъ признать «Кратило» не болѣе позднимъ, чѣмъ «Θεεтета» а наоборотъ, предшествующимъ ему, хотя бы и не на много. (срв. Dittenberger, Hermes XVI 321 сл. и Schanz, ebd. XXI

442—9). Такое положеніе вещей не трудно согласовать съ пониманіемъ Θεεгета, развитымъ на стр. 387. Однако, помимо того, что недолгий срокъ, раздѣляющій оба діалога, допускаетъ ту возможность, что Платонъ за время опубликованія Кратила уже былъ занятъ Θεεтетомъ, помимо какъ этой, такъ и другихъ подобныхъ возможностей, я нисколько не утверждаю, что только характеръ «Θεεгета» могъ дать своему автору поводъ изложить тезисъ «homo—mensura» въ приданной имъ тамъ индивидуалистической формѣ. Несомнѣнно, это всего удобнѣе было сдѣлать именно здѣсь, ибо это толкованіе могло подготовить почву подробному изложенію мнимой Протагоровой теоріи познанія. вмѣстѣ съ тѣмъ, ничто не мѣшало привести это толкованіе и попутно упомянуть о немъ, какъ это дѣлается въ Кратилѣ и въ какомъ либо иномъ мѣстѣ, въ которомъ бы, однако, какъ напр. въ діалогѣ «Протагоръ», историческая личность этого послѣдняго не выступала съ такой опредѣленностью. Я охотно признаю, что такое толкованіе можетъ быть выведено изъ непосредственно заключающагося въ словахъ Протагора утвержденія, что *въ основѣ всякаго воспріятія лежитъ нѣчто реальное*. Также признаю и то, что въ этомъ положеніи непосредственно заключается субъективистическая доктрина и что софистъ дѣйствительно имѣлъ ее въ виду, какъ только кто—нибудь разобьетъ мои аргументы противъ обычнаго пониманія этого положенія. Однако же въ этомъ направленіи ни одинъ изъ моихъ критиковъ не сдѣлалъ ни малѣйшей попытки. Въ остальномъ къ сказанному на стр. 389 срв. Apol. d. Heilkunst. 173—8. Въ высшей степени достойно сожалѣнія, что о полемикѣ Демокрита противъ Протагора мы имѣемъ лишь одно отрывочное замѣчаніе у Секста Эмпирика (adv. math. VII 1, 389—р. 275 Bekk.). Срв. Apol. d. Heilk. 176. Къ этому слѣдуетъ добавить, что Платонъ въ Эвтидемѣ 286e, гдѣ онъ ученіе (Антисѳена) о томъ, что не существуетъ ἀντιλέγειν, приписываетъ Протагору и «еще болѣе древнимъ», врядъ ли имѣеть въ виду положеніе о «homo—mensura», которое вѣдь всегда поражаетъ своею новизной. Въ заключеніе укажемъ на перифразу Гермія Igrisio gent. philos. c. 9 (Doxogr. 653), почти совершенно совпадающую съ нашимъ толкованіемъ: Πρωταγόρας . . . φάσκων ὅρος καὶ κρίσις τῶν πραγμάτων ὁ ἄνθρωπος, καὶ τὰ μὲν ὑποπίπτοντα ταῖς αἰσθήσεσιν ἐστὶν πράγματα, τὰ δὲ μὴ ὑποπίπτοντα οὐκ ἐστὶν ἐν τοῖς εἶδει τῆς οὐσίας. Срв. Apol. d. Heilk. 174.

(Стр. 390 § 6). Срв. Лаэрт. Diog. IX 51, Eurip. Frag. 189 N², Isocrat. or. 10 in. Только Сенека, Epist. moral. 88, 43=III 254 Haase такъ понялъ это выраженіе, будто оба λόγοι равнозначущи. Смыслъ этихъ словъ, какъ уже указалъ на это Bernays (Rh. Mus. VII 467=Ges. Abh. I 120) не таковъ. Ученіе это принадлежитъ Пиррону и Аркесилаю. (Срв. Laert. D. IX 61 и Sext. Emp. Pyrrh. hyp. 17=4, 29 Bekk.; Euseb. Praeр. ev. 14, 4=III 430 Gaiss.). Къ послѣдующему срв. Diderot, Oeuvres completes (éd. Assezat) II 120; Bain, J. S. Mill, A criticism p. 104; Mill Dissert. and Discuss. III 331; Goethe, Gespräche mit Eckermann I^o 241.

(Стр. 392). Аристосенъ: Лаэрт. III 37; затѣмъ см. Apologie d. Heilk. 184 сл. Тимовъ: Frg. 10 (op. cit. p. 109). — Если Лаэртий Диогенъ (IX 55) приписываетъ Протагору τέχνη ἐριστικῶν и (IX 51) къ фразѣ οἱ δύο λόγοι добавляетъ замѣчаніе: οἱς καὶ συνήρῳτα, то какъ то, такъ и другое можетъ лишь подтвердить въ насъ то представленіе о діалектикѣ Протагора, которое дастъ намъ о ней Платонъ. Въ виду того, что никто самъ себя никогда не называлъ «эристикомъ», и это слово всегда было только бранной кличкой (см. напр. Isocr. or. 10 in. οἱ περὶ τὰς ἐρίδας διατρίβοντες), это заглавіе книги шиконимъ образомъ не могло быть дано ей самимъ Протагоромъ. Но такъ какъ эта книга, т. е. ея τέχνη или ученіе риторики, являла образецъ искусной аргументаціи и научала искусству произносить рѣчи какъ въ защиту, такъ и въ опроверженіе любого тезиса, то это было достаточнымъ основаніемъ для нашего компилятора или вѣрнѣе для источниковъ, которыми онъ пользовался, чтобы дать ей заглавіе.

(Стр. 393). Признавая «Софиста» однимъ изъ послѣднихъ діалоговъ Платона, я схожусь съ большинствомъ новѣйшихъ изслѣдователей Платона. Въ виду того, однако, что такой глубокой авторитетъ, какъ Целлеръ, не

sehen Ausgabe des platonischen Gorgias, Einleitung VI, A. 5). Bernays дополнил это (Rh. Mus. N. F. VIII 432—Ges. Abh. I 121) сохранившимся у Климента (Strom. I с. 11, 346 Pott.) отрывком олимпійской рѣчи.—Относительно насмѣшек Фрасимаха въ *Δαταλῆς*; Аристофана см. Att. Com. Fr. 1. 439 Kock.—Последнее упоминаніе о Горгіи у Aelian. Var. hist. II 35. Олимпійская надпись на базѣ у Kaibel, Epigr. Gr. p. 534.

(Стр. 402). Шекспиръ въ Макбетѣ III 4: «our monuments shall be the maws of kites». Лонгинъ (περί ὄψου; III 2 p. 5 Jahn—Vahlen) осуждаетъ оба сравненія Горгія. — Характеристику alto estilo замѣству изъ сочиненія Landmann'a: Shakespeare and Euphuism въ Transactions der New Shakespeare Society, Ser. I 1880/6, S. 250; тамъ же приводится приведенная въ текстѣ по Брандесу (William Shakespeare S. 61) цитата.

(Стр. 403). Отбрасывая двѣ рѣчи, дошедшія подъ именемъ Горгія, я опираюсь на аргументацію Leonhard'a Spengel'я (Artium scriptores 73 сл.), которая хотя многими и оставлялась безъ вниманія, но никогда не была опровергнута (срв. Apol. d. Heilk. 165 f. и v. Wilamowitz, Aristot. u. Athen I 172).

(Стр. 404). По вопросу объ отношеніяхъ между Горгіемъ и Эмпедокломъ срв. Сатиръ у Лаэрт. Diog. VIII 58 и богатые по выводамъ толкованія Дильса въ уже не разъ упомянутомъ изслѣдованіи: «Gorgias und Empedokles».

(Стр. 404/5). «Libellus» былъ прекрасно изданъ Apelt'омъ въ сборникѣ: Aristotelis quae feruntur de plantis etc. Leipz. 1888, затѣмъ Дильсомъ въ изд. Берлинской Академіи 1900. Хотя и Симплицій, въ общемъ хорошо освѣдомленный приписываетъ это сочиненіе Теофрасту (Phys. 22, 26 D), и ватиканскій списокъ его обозначенъ этимъ именемъ, но все же признать авторство Теофраста рѣшительно не позволяють намъ главнымъ образомъ заключающіяся въ немъ данныя относительно Анаксимандра (975b 12, срв. также искаженное φασί τινας; тамъ же стр 7). Дополненіе къ повѣствованію Libellus'a мы находимъ у Секста adv. math. VII 1, 65 сл. = 203 Bekk. сл.

(Стр. 406). Повѣйшую параллель ко второму аргументу первой тезы мы находимъ въ аргументаціи Mansell'a, приведенной у Милля (Examination of Sir W. Hamiltons philosophy³ 114).

(Стр. 409, § 3). «Криптическое разсмотрѣніе» Эмпедоклова ученія было, какъ мы, послѣ доказательствъ Дильса (Gogr. u Emped. 17, [359]), можемъ считать это весьма вѣроятнымъ, содержаніемъ упомянутой Свидой (см. Ζήνων) ἐξήγησις 'Εμπεδοκλέους.

(Стр. 410). George Grote въ своемъ «Plato» I 107 f. и Hist. of Greece VIII² 507 сл. Приведенное замѣчаніе принадлежитъ Целлеру (Phil. d. Gr. I⁵ 1104).—Срв. Windelband, Gesch. d. Philosophie 69. О Ксеніадѣ упоминаетъ только Секст adv. math. VII 1, 53—201, 9 сл. Bekk. Замѣчательную параллель мы находимъ въ Ригведѣ X 72, 2: «Zur ersten Götterzeit entsprang aus dem Nichtseienden das Sein». (II 359 Grassmann).

(Стр. 412). Цитата изъ Платона, Protag. 334 с.

(Стр. 413). Срв. (Hippocrates) de arte § 3 (VI 4 L), Демокритъ у Mutschlach 209 (изъ Sext. adv. math. VII 1, 265—248, 25 Bekk): ἀνθρώπος ἐστὶν ὃ πάντες ὄμην. Очень близко къ этому мѣсто изъ Паскаля (Pensées I 2 p. 28 Paris 1823): Quelle nécessité y a-t-il d'expliquer ce qu'on entend par le mot homme? Ne sait on pas assez quelle est la chose qu'on veut désigner par ce terme? Подлинныя попытки опредѣленія Демокрита и пнеагорейцевъ упоминаются Аристотелемъ Meth XIII 4 (1078b 19 сл.). Autolyca de sphaera etc. edit. Hultsch, Leipz. 1885, p. 2, 43. Срв. также приписываемое Thalcy у Ямвлиха Nicomachi arithm. introduct. liber опредѣленіе числа (p. 10 Pistelli) съ примѣчаніями Hultsch'a, Berliner philol. Wochenschr. 15, VI 1895 Sp. 775. Свѣдѣнія о первыхъ фазахъ геометріи мы черпаемъ изъ неопланимаго фрагмента Эвдема (Fragm. Coll. Spengel p. 113 сл.); древнѣйшее изъ сохранившихся геометрическихъ доказательствъ (Гиппократъ Хиоскаго сере-

дины V-го вѣка) у Симплиція. Phys. 60 сл. Diels. Горгіево опредѣленіе риторикі: Orat. Att. II 130b 18. Опредѣленіе цвѣта у Платона, Meno 76d (гдѣ я стою за *συμμάτων* противъ Дильса, Gorg. и Emped. 8, который въ остальномъ много способствовалъ истолкованію опредѣленія). — Къ слѣдующему срв. (по Hirzel въ Hermes X 254 и Dümmler, Akademika 33) Plato, Tim. 67c и Phileb. 58a сл.

(Стр. 413). Рѣчь *Алкидаманта* «О софистахъ» въ приложеніи къ *Antiphontis orationes*² изд. Blass, Leipzig. 1881. Его *Φωκικός* упоминаетъ Лаерт. Д. VIII 56. О *Полость* какъ изслѣдователѣ природы, срв. Plat. Gorg. 4^c5d.— Относительно гробницы Исократы см. Ps. Plut. Vit. X orat. IV 26 (1021, 43 Dübner).—Относительно Ликофронова пропуска связи срв. Aristot. Phys. I 2 (185b 27).

(Стр. 414). Ксенофонтъ о Сократѣ, а именно Memor. I 1, 14 и IV 7, 2 сл.

Часть III, глава 8.

(Стр. 416/7). Фрагменты упомянутыхъ здѣсь историковъ у C. Müller, Fragm. hist. Gr.—Относительно *Стесимброта* срв. Neuer, Münsterer Dissertation 1863; къ этому присоединить новые отрывки у Филодема о благочестіи (стр. 22, 41, 45, изд. Гомперца).—Относительно древнѣйшихъ сочиненій по исторіи литературы и музыки срв. Hiller, Rhein. Mus. XLI 401.—Мысль Демокрита, приведенная на стр. 417 у Philodem. de musica col. 36 (pag. 108 Kemke), сравнить ее съ Plato, Critias 110a и Aristot. Metaph. 981b 20.— О древнѣйшихъ хронологическихъ публикаціяхъ срв. Unger въ Iv. Müller, Handbuch d. klass. Altertumswiss. I 573.

(Стр. 417). Срв. главн. образ. богатую мыслями академическую Festrede безвременно погибшаго Rudolf'a Schöll'a: Die Anfänge einer politischen Litteratur bei den Griechen (München 1890). Однако, мы не можемъ согласиться съ взглядомъ Schöll'a на «Государство аѳинявъ» и оспариваемъ его на стр. 418.

(Стр. 420). О «проклятомъ демосѣ» говоритъ надпись на гробницѣ Критія въ схолии къ Aeschines adv. Timarch 39 (Orat. att. II 15).

(Стр. 420 § 3). Kirchhoff въ своей статьѣ Die Abfassungszeit der Schrift vom Staate der Athener (Berlin 1878, Akad. Abh.) считаетъ 424 годъ до Р. X. датой возникновенія сочиненія «о государствѣ аѳинявъ». Если прежде *Ἀθηναίων πολιτεία* включалось въ творенія Ксенофонта, то теперь авторство его совершенно основательно отрицается, однако же ни одному изъ извѣстныхъ авторовъ сочиненіе это не можетъ быть хотя бы съ нѣкоторымъ вѣроятіемъ приписано.

(Стр. 420 внизу). О методѣ изслѣдованія Оукидида прекрасно говоритъ Schöll op. cit. затѣмъ Köhler, Über die Archäologie des Th. въ Commentationes Mommsenianae 370 сл.; мѣткое слово также у Scherer, Poetik, 67.

(Стр. 421). Ученикъ . . . Анаксагора: Къ этому сообщенію Маркеллина § 22 (Krügers Ausgabe II 194) О. Мюллеръ присоединяетъ слѣдующее мѣткое замѣчаніе: man kann ihn nicht mit Unrecht den Anaxagoras der Geschichte nennen» (Gesch. d. Gr. Litt. II² 362). Цитаты на стр. 422 принадлежатъ Оукидиду I 23, Геродоту I 1, Оукидиду I 22, I 20, II 15 (въ отношеніи метода очень близко къ этому замѣчаніе Аристотеля, Аѳинскіи государственный строй с. 3) I, 5/6.

(Стр. 423). Срв. Одиссею III 73. Къ этому Аристархъ въ схоліяхъ.

(Стр. 424). Эллинъ какъ родоначальникъ эллиновъ Оукид. I 3, *Ионъ* какъ историческое лицо у Аристотеля, Аѳинскій государственный строй с. 3. Къ слѣдующему см. Оукид. I 1—19.

(Стр. 425—427, § 4). Срв. Оувид. II 54 (предсказаніе чумы), II 17 (Пеласгическое Поле), V 103 (предостереженіе отъ суевѣрій), V 26 (длительность войны), I 23 (страшныя явленія природы), II 8 (Делосское землетрясеніе).

(Стр. 427). Срв. I 21 («мнѣнческое»), II 28 (солнечное затменіе), VII 50 (лунное затменіе), VII 79 (бура), III 89 (разлитіе рѣкъ), IV 24 (Харибда), II 102 (Ахелой), II 47 (описаніе чумы), VII 44 (результатъ удара), IV 118 сл., V 18 сл., 23, 47, 77, 79 (источники договора, кромѣ того, который заключается въ вѣроятно незаконченной книгѣ VIII; изъ нихъ V 47 вновь найденъ въ надписяхъ, V 77 и 79 на дорическомъ діалектѣ; срв. Kirchhoff, *Thukydides und sein Urkundenmaterial*, Berl. 1895.), VII 11 (Донесеніе военнопочальника, а именно Никія), I 22 (Поясненіе характера рѣчей).

(Стр. 430). Срв. VI 8 сл. (Рѣчи Никія и Алквіада), II 35 сл. (Надгробное слово Перикла), I 86 (Рѣчь Спенеланда), III 45 (Діодотъ противъ теоріи устрашенія), VIII 69 (просьба Никія передъ рѣшительнымъ боемъ), III 38 (бранная рѣчь Клеона).

(Стр. 431). Срв. IV 40 («сумасбродныя обѣщанія» Клеона), VII 86 (Плачь по Никіѣ), III 83 («простосердечіе»: τὸ εὐηθές; οὐ τὸ γενναῖον πλεῖστον μετέχει).

ЦУНБ

им. Н. А. Некрасова



2 000001 627808

Куно Фишеръ.

Исторія новой философіи

В ТРЕХЪ ТОМЪХЪ.

Т. I. Декартъ, его жизнь, сочиненія и ученіе. Пер. съ нѣм. подъ ред. Н. Полилова. Стр. 459. Ц. 2 р. 50 к.

Т. II. Спиноза, его жизнь, сочиненія и ученіе. Пер. съ нѣм. С. Л. Франка. Стр. 583. Ц. 3 р. 50 к.

Т. III. Лейбницъ, его жизнь, сочиненія и ученіе. Пер. съ нѣм. Н. Полилова. Стр. 735. Ц. 4 р.

Т. IV. Иммануиль Кантъ и его ученіе. Ч. 1-ая. Пер. съ нѣм. Н. Полилова, Н. Лоссакаго и Д. Жуковскаго. Изд. 2-ое. Стр. 632. Ц. 4 р.

Т. V. Иммануиль Кантъ и его ученіе. Ч. 2-ая. Пер. съ нѣм. О. Анисовой и Д. Жуковскаго. Стр. 656. Ц. 3 р. 50 к. (Изд. т-ва Знаніе, Тельскій 92).

Т. VI. Фихте, его жизнь, сочиненія и ученіе. Пер. съ нѣм. П. Струве, Н. Полилова, Д. Жуковскаго. Стр. 733. Ц. 4 р. 50 к.

Т. VII. Шеллингъ, его жизнь, сочиненія и ученіе. Пер. съ нѣм. Н. Лоссакаго. Стр. 893. Ц. 5 р.

Т. VIII. Гегель, его жизнь, сочиненія и ученіе. Пер. съ нѣм. Н. Лоссакаго.

Полут. 1-ый. Стр. 760. Ц. 3 р. 50 к.

Полут. 2-ой. Стр. 463. Ц. 2 р. 50 к.

Цѣна за всѣ восемь томовъ въ перепл. тѣ 40 р.

Складъ изданій: т-во „Общественная Польза“, Спб. Невскій 40, кв. 43.

щающимися къ исходной точкѣ. Но и въ этомъ случаѣ не трудно было сдѣлать выборъ.

Первое предположеніе не имѣло за себя полныхъ аналогій, въ пользу второго говорило во первыхъ постоянное зрѣлище обновляющейся и умирающей растительной жизни, затѣмъ—круговращеніе матеріи, которое лежало въ основаніи ученія о первовеществѣ, и которое мы встрѣчаемъ вполне разработаннымъ уже у Гераклита. Жребій душъ—были ли онѣ тѣнями айда, или возносились въ блаженные обители—являлся во всякомъ случаѣ исключеніемъ среди этого общаго теченія жизни природы. Но ученіе о переселеніи душъ, несомнѣнно нашедшее себѣ всѣскую поддержку въ этой универсальной аналогіи, возстановило нарушенную гармонию. Наиболее убѣдительнымъ примѣромъ круговорота вещей являлась смѣна времени года и появленіе въ опредѣленные сроки сверкающихъ, могучихъ, властно воздѣйствующихъ на жизнь человѣка и природы—и потому несомнѣнно божественныхъ—небесныхъ тѣлъ. Здѣсь будетъ кстати упомянуть о величайшей услугѣ, оказанной человечеству астрономіей: въ ней впервые встрѣтились идеи Божества и закономерности. Благодаря ей понятія порядка и законности впервые озарились свѣтомъ божественной воли, и, что еще важнѣе, понятіе божественной власти навсегда отдѣлилось отъ понятія господства произвола, послѣ чего стало невозможнымъ уподоблять и смѣшивать ихъ.

Возникшая такимъ образомъ вѣра въ циклическія возвращенія всего совершающагося, упрочилась, встрѣтивъ поддержку въ ученіи о „мировомъ“ или „великомъ“ годѣ—результатѣ тысячелѣтняго наблюденія вавилонянъ и, быть можетъ, еще болѣе древнихъ культурныхъ народовъ, надъ небесными свѣтилами. Эти наблюденія и выводы, сдѣланные изъ нихъ, открывали взору гигантскіе періоды времени. Такъ—обыкновенный годъ относился къ вавилонскому мировому—какъ секунда къ двойному часу, полученному отъ дѣленія сутокъ не на 24, а на 12 частей. И этотъ огромный годъ былъ опять таки однимъ лишь днемъ въ жизни вселенной. Измышленіе такихъ гигантскихъ единицъ времени вызвано, безъ сомнѣнія, мыслью, что подобно тому, какъ солнце, мѣсяцъ и планеты по истеченіи извѣстнаго срока опять возвращаются къ своей исходной точкѣ, тоже бываетъ и съ другими небесными тѣлами, движеніе которыхъ доступно лишь вѣковымъ наблюденіямъ. Этотъ взглядъ, установленный въ астрономіи Востока, былъ примѣненъ греческими, также какъ индусскими доктринами циклическаго возвращенія.

въ солнечную сферу, за которымъ послѣдуетъ сильное развитіе тепла и вмѣстѣ съ тѣмъ превращеніе всей солнечной системы въ такую же туманную массу, изъ которой она однажды возникла — естественно, что тогда долженъ будетъ повториться во всѣхъ подробностяхъ весь земной процессъ. Намъ, дѣйствительно, не оставалось бы другого вывода, если бѣ міровое пространство, занимаемое солнцемъ, планетами и ихъ спутниками было бы совершенно замкнутой въ себѣ сферой, изъ которой ничто не исходитъ и въ которую ничто не попадаетъ извнѣ.

Однако, ни одна часть вселенной не можетъ уподобиться Фихтевскому „замкнутому торговому государству“. Не говоря уже о томъ безмѣрномъ количествѣ тепла, которое въ теченіе милліоновъ лѣтъ разсѣивается въ міровомъ пространствѣ, не возвращающемъ его обратно, каждый камень-метеоръ, каждая пылинка его, попавшая изъ сферы притяженія другой системы въ нашу или обратно, каждый лучъ пролетѣвшій отъ Сиріуса къ солнцу, или отъ солнца къ Сиріусу—настолько измѣняютъ балансъ силъ и матеріи въ нашей міровой системѣ, что дѣлаютъ невозможнымъ возвращеніе къ совершенно такому же исходному состоянію. Формула міра, по которой (вспомнимъ извѣстную мысль Лапласа) способный на такую задачу умъ могъ бы вычислить общее развитіе слѣдствій до мельчайшихъ деталей,—въ каждомъ случаѣ будетъ различной. Тому же, кто считаетъ ареной этого повторнаго развертыванія причинностей не часть вселенной, а ея полную совокупность, можно возразить, что спектральный анализъ показываетъ намъ, что наряду со старѣющими мірами, существуютъ развивающіеся, что въ разныхъ частяхъ вселенной одновременно представлены многія фазы развитія. Но ни то, ни другое возраженіе не могло быть извѣстно мудрецамъ древности, и именно ограниченность ихъ знанія, какъ это часто бываетъ, помогла развитію и утвержденію ихъ великихъ, плодотворныхъ и въ корнѣ вѣрныхъ мыслей и дала имъ возможность, додумавъ ихъ до конца, не затемняя и не ограничивая частными противорѣчащими имъ наблюденіями, отпечатлѣть ихъ въ грандіозныхъ фантастическихъ образахъ.

Можно бы назвать безнадежнымъ и безрадостнымъ это ученіе съ его провозглашеніемъ космическаго безразличія, плетущаго свою ткань безъ начала и конца. Тѣмъ большаго уваженія достоинъ создатель его, чуждый того малодушія, которое готово отвергнуть теорію, если только она идетъ въ разрѣзъ съ душевными желаніями. Его связываютъ съ именемъ Г и п а с а изъ Метапонта. Хотя

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Эпоха просвѣщенія.

Рациональную науку освобожденную отъ тайны и магіи, ту, которой мы занимаемся теперь, основали греки.

Марселлинъ Бертелло.

Возможно, что атомистическая гипотеза будетъ когда нибудь замѣнена другой,—возможно, во мало вѣроятно.

Людвигъ Больцманъ.

τὸν μὲν βίον
τῆ φύσις ἔδωκε, τὸδὲ καλῶς ζῆν ἢ τέχνη.
Неизвѣстный поэтъ-драматургъ.

одинъ разъ, въ наиболѣе же рѣзкомъ выраженіи мы увидимъ его у Сократа.

4. Стоитъ ли говорить о томъ, что эта проэкрія завоеваній зрѣлой и просвѣщенной эпохи въ отдаленное довременье человѣческаго рода неисторична? Конечно, дѣло не могло обойтись безъ генія и изобрѣтательности единичныхъ людей. Многое изъ колоссальнаго прогресса, что зрѣлый возрастъ человѣчества принимаетъ какъ само собой разумѣющееся, было безъ сомнѣнія дѣломъ безымянныхъ героевъ и мы охотно присоединимся къ плану Георга Форстера въ честь того неизвѣстнаго, который первый укротилъ коня, подчинивъ его человѣку. Но къ значительной работѣ отдѣльныхъ выдающихся умовъ присоединялась медленная и незамѣтная культурная работа многихъ посредственныхъ людей. Если обладаніе системой извѣстныхъ пріемовъ—въ чемъ и состоитъ сущность пракческаго искусства—мы будемъ приурочивать къ началу развитія, вмѣсто того чтобы отнести его къ конечному пункту, то мы станемъ въ полное противорѣчіе съ историческими фактами и составимъ совершенно превратное представленіе о процессѣ развитія. Но именно такое отсутствіе историческаго смысла свойственно великимъ эпохамъ просвѣщенія. Онѣ невольнo строятъ прошедшее по своему подобію и надѣляютъ дѣтскій возрастъ человѣчества чертами ранней зрѣлости. Для этихъ эпохъ характерно также появленіе теорій объ общественномъ договорѣ. Умъ, освободившійся отъ власти традиціи, порвавшій съ авторитетомъ небесъ и смотрящій на государственныя и общественныя учрежденія какъ на средство къ человѣческимъ цѣлямъ, такой умъ склоненъ не замѣчать различія временъ и готовъ надѣлять отдаленныхъ предковъ собственными пріемами мышленія и поведенія... Первоначально отдѣльный человѣкъ лишень всякаго значенія, онъ имѣетъ цѣнность лишъ какъ членъ семьи, рода, племени; его принадлежность къ группѣ, составной частью которой онъ является, обусловливается его рожденіемъ или навязана ему насильно; его повиновеніе слѣпо, о свободѣ выбора, о самоопредѣленіи не можетъ быть и рѣчи. Просвѣщеніе составляетъ себѣ совершенно неправильное представленіе объ этихъ фактическихъ отношеніяхъ, оно толкуетъ ихъ въ противоположномъ дѣйствительности смыслѣ. Эта тенденція въ значительной мѣрѣ поддерживается практической политикой. Мы едва вѣрнемъ своимъ глазамъ, когда въ двухъ отрывкахъ „On civil government“ проницательнаго Джонъ Локка

auf Ceylon», Wiesbaden 189²/₃, по отношенію къ туземцамъ Цейлона. Karl von den Steinen (Unter den Naturvölkern Central-Brasiliens, Berl. 1894) знакомитъ насъ съ племенами, у которыхъ лишь въ обрядѣ погребенія сказываются нѣкоторые признаки жертвоприношенія умершимъ (въ сжиганіи достоянія умершаго и въ окропленіи кровью его костей, освобожденныхъ отъ мяса), и которымъ столь же чуждо почитаніе предковъ и духовъ, какъ и культъ по крайней мѣрѣ, въ настоящее время предметовъ природы. Этотъ послѣдній культъ (по словесному сообщенію Oscar Baumann'a) незнакомъ и племенамъ Бавту въ Африкѣ, если же встрѣчается у нихъ, то въ вышеуказанной вторичной формѣ. Поэтому, когда мы въ текстѣ говоримъ о древнемъ или первобытномъ человѣкѣ, то это является условнымъ *схеმაтическимъ* понятіемъ, при которомъ слѣдуетъ помнить о выше-сказанномъ.

(Стр. 17, ст. 7). «*Души вещей*». Относительно душъ предметовъ (objekt-souls) срв. Tylor, Primitive Culture, I 431.—Значеніе сонныхъ видѣній для вѣрованія въ существованіе души и, затѣмъ, безсмертіе ея было вполнѣ выяснено Тэйлоромъ, Спенсеромъ и ихъ послѣдователями. Оскаръ Пешель (Völkerkunde, Leipz. 1875, стр. 271) также признаетъ правильность этого вывода, тогда какъ Зибекъ (Gesch. der Psychologie, I 6), наоборотъ, оспариваетъ ее, основываясь при этомъ на несостоятельныхъ на нашъ взглядъ доказательствахъ, тогда какъ, напр., на стр. 9 онъ толкуетъ обстоятельства, сопровождающія угасаніе жизни, совершенно такъ же, какъ мы на стр. 18.

(Стр. 17, середина). «The Basutos. think that if a man walks on the riverbank, a crocodile may seize his shadow in the water and draw him in» (Tylor, op. cit. I 388). Мы и въ остальномъ часто пользуемся данными изъ труда Тэйлора.

(Стр. 20, середина). «Якуты, впервые увидѣвши верблюда во время эпидеміи оспы, объявили его враждебнымъ имъ божествомъ, которое яко бы наслало на нихъ болѣзнь» (Wuttke, Gesch. d. Heidentums, I 72).—Здѣсь слѣдовало бы упомянуть о еще болѣе мощномъ, чѣмъ погребность въ защитѣ, инстинктѣ *страха* передъ зловѣщей силой умершихъ. См. не лишеныя нѣкотораго преувеличенія картины у Jhering, Vorgesch. d. Indoeuropaer. 1894, стр. 60.

(Стр. 22). «Древнѣйшій богословскій поэтъ», а именно Гесіодъ, Теогонія 126 сл.—«У Гомера»—Иліада XXI, 356 сл.

(Стр. 23, красн. стр.). Гимнъ къ Афродитѣ 258 сл.

(Стр. 24, вверху). См. Иліада XX 8—9.

(Стр. 25, вверху). См. Welcker, Griech. Götterlehre I, 38 сл.

(Стр. 25, середина). См. главн. образ. Schuchhardt, Schliemann's Ausgrabungen, особенно заключительную главу.

(Стр. 26, вверху). Въ *Одиссеѣ* несравненно больше выступаетъ этическая точка зрѣнія. Въ особенностн конецъ, гибель жениховъ, имѣетъ значеніе какъ бы суда боговъ; см. XXII, 413 сл. Правда, тутъ же рядомъ 475 сл. черты крайней грубости. Наряду съ несомнѣнно этически окрашенными мѣстами XIX, 109 сл. немало поражаетъ XIX, 395, гдѣ воровство и клятвенно-преступленіе называются дарами, даннымъ Гермесомъ его любимцу Автолику. Въ Иліадѣ Зевсъ выступаетъ какъ судія беззаконій XVI, 385 сл.; загробныя наказанія клятвеннопреступниковъ III, 278.

(Стр. 26—7). См. Diels, Sibyllinische Blätter. S. 78. Anmerkung 1.

(Стр. 27). «Человѣческія жертвоприношенія», срв. Preller, Griech. Mythologie I ², 99, 201 сл., 542; II 310.—Погребеніе Патрокла Иліада XXIII, 22 сл. и 174—177. Здѣсь мы пользовались главнымъ образомъ замѣчательнымъ трудомъ Erwin Rohde «Psyche. Seelenkult u. Unsterblichkeitsglaube der Griechen», гл. обр. I ² 94 сл.

(Стр. 28, § 7). О жертвоприношеніи умершимъ у скивоовъ срв. Геродота (IV, 71—2).

(Стр. 28—9). Срв. Schuchardt op. cit. 180, 189, 240, 331, 340.

Главные источники и важнейшія собранія фрагментовъ будутъ указаны при соответствующихъ мѣстахъ текста; современныя монографіи и историческія сочиненія лишь въ ограниченной мѣрѣ, какъ указано въ предисловіи. Самыя обширныя указанія на литературу можно найти въ исторіи древней философіи Ибервера-Гейнце (Überweg-Heinze. Grundriss der Geschichte d. Philosophie); самое подробное и исчерпывающее изслѣдованіе по всѣмъ относящимся сюда проблемамъ находимъ въ образцовомъ трудѣ Целлера (Eduard Zeller. Die Philosophie der Griechen); общее изложенеіе предмета даетъ Исторія философіи Виндельбанда; изъ старой, еще не устарѣвшей однако, литературы нужно указать трудъ Брандиса (Christ. Aug. Brandis Handbuch d. Gesch. d. griech.-röm. Philosophie). До сихъ поръ у насъ нѣтъ собранія всѣхъ философскихъ фрагментовъ или хоть отвѣчающей справедливѣмъ требованію обработки значительной части ихъ. Отчасти это восполняетъ Historia philosophiae graecae 8 ed. Wellmann 1898. (Въ настоящее время существуетъ уже двухтомный трудъ Diels'a: Die Fragmente der Vorsokratiker Berlin Weidmannsche Buchhandlung. Прим. переводчика).

(Стр. 39). *Зачатки геометріи*: Египетская геометрія стала лучше известна намъ благодаря папирусу Rhind'a «Ein mathematisches Handbuch der alten Aegypter» herausgeg. von A. Eisenlohr Leipz. 1877. Объ этомъ сравни Bretschneider, Die Geometrie und die Geometer vor Euklides стр. 16—20. Сравни Геродотъ II; Aristot. Metaph. I, 1; Plato Phaedr. 274c. О томъ, что греки заимствовали элементарные приемы астрономическаго наблюденія у Вавилонянъ, свидѣтельствуетъ Геродотъ. О предсказаніи затмений сравни Lenormant: La divination chez les Chaldéens I, 46 или J. Minant, La bibliothéque de Ninive стр. 93 сл.

(Стр. 41). Илиада VII, 99: ἀλλ' ὄμεις πάντες ὄδωρ καὶ γαῖα γένοιθε ἢ Илиада XIV, 211 и 246. Сравни также Книгу Бытія 1, 3, 19.

(Стр. 42). Юстусъ Либихъ писалъ Фридриху Вёлеру 15 IV, 1857 г. «So thöricht es auch sein mag, nur davon zu sprechen, so muss man doch immer im Auge behalten, dass die Metalle für einfach gelten, nicht weil wir wissen, dass sie es sind, sondern weil wir nicht wissen, dass sie es nicht sind». (Justus Liebig und Friedrtch Wöhler Briefwechsel II, 43). Также и Гербертъ Спенсеръ въ опубликованной въ 1865 году статьѣ (теперь Essays III, 234). «What chemists, for convenience, call elementary substances, are merely substances which they have thus far failed to decompose; but... they do not dare to say that they are absolutely undecomposable». Сравни L. Barth въ Almanach der kais. Akademie der Wissenschaften. Wien 1880, S. 224: «In der That wird es wohl kaum einen Chemiker geben, der jetzt noch die Existenz der 70 (circa) bekannten Elemente als solcher unumstößlich und unbedingt für sicher hält; jedem Fachmann wird sich... die Wahrscheinlichkeit, ja Notwendigkeit einer Reduktion auf einfachere Grössen ergeben haben». Lothar Meyer. «Die modernen Theorien der Chemie» 4, стр. 133: «Es ist wohl denkbar, dass die Atome aller oder vieler Elemente doch der Hauptsache nach aus kleineren Elementarteilchen einer einzigen Urmaterie, vielleicht des Wasserstoffes bestehen». Тамъ дается очеркъ этой гипотезы Proust'a (1815).

(Стр. 42, § 2). *Θαλεσς. Главные источники*: Laert. Diogen. I Cap. 1 и Doxographi graeci passim. «Финикіецъ по происхожденію» говорится у Геродота I 170 (τὸ ἀνέκλιθεν γένος εὐντος Φοίνικος). Недавно высказанный E. Meyer'омъ соображенія (Philolog. N. F. II 268 сл.) сводятся къ тому, что допускается возможность ошибки со стороны Геродота. Но такъ какъ мы совершенно не имѣемъ источниковъ его свѣдѣній, а само по себѣ кажется невѣроятнымъ, чтобы греки охотно и легко приписывали чужестранное происхожденіе своимъ великимъ людямъ, то намъ кажется, что отъ этой возможности до достовѣрности путь достаточно великъ. Мать его носитъ греческое имя (Клебуллина), имя отца Экзамій, карійское (см. Diels въ Arch. f. Gesch. d. Philos. II 169)

Главные источники для дальнѣйшаго: Платонъ, Θεετεςъ 174a; Геродотъ I 170 (очень сомнительнъ рассказъ Геродота I, 75). Θαλεσς въ Египтѣ:

согласно очень важной «Исторіи геометріи *Евдема* (товарища Теофраста); сравни Eudemii Rhodii quae supersunt colleg. L. Spengel p. 113 ff. Его попытка объяснить различія Нилы у Laert. Diog. I, 37, Diodor. I, 38 и другихъ. О *Θαλεσῆ* какъ геометръ сравни Allman. Greek geometry from Thales to Euclid p. 7 ff.

(Стр. 43). *Лидія была подъ вліяніемъ вавилоно-ассирійской культуры.* Въ пользу этого говоритъ родословная ея царей, ведущая начало отъ божества Бели, много легендарныхъ чертъ въ исторіи и прежде всего оборонительный союзъ царей Гигеса и Ардиса, установленный клинообразными надписями. Не можетъ быть сомнѣнія, что любознательные іонійцы, посѣщая блестящую столицу Сарды, находившуюся въ непосредственной близости къ нимъ (сравни Herodot I, 29), знакомились тамъ съ основами вавилонской науки. Сравни Georges Radet, La Lydie et le monde Grec au temps des Mermnades, Paris 1893. Предсказанное *Θαλεсомῆ* солнечное затмѣніе обозначено подъ № 1489 въ «Canon der Finsternisse» Th. v. Oppolzer'a (Denkschr. d. math. naturwiss. Klasse d. kais. Akademie d. Wissensch. Bd. 52). О *Θαλεσῆ* какъ астрономѣ сравни Sartorius, Die Entwicklung der Astronomie bei den Griechen (Halle 1883).

(Стр. 43). *Форма земли.* Сравни Aristot. de coelo II, 13 и Doxograph. graec. 380, 21.—Предсказанія погоды аналогично съ упомянутыми у Аристотеля Polit. I, 11 часто встрѣчаются въ большомъ астрологическомъ трактатѣ но Lenormant.

(Стр. 43 внизу). Приписываемыя *Θαλεсу* сочиненія объявлены неподлинными уже въ древности согласно Laert. Diogen. I, 23. Aristot. Metaph. I, 3, о первостихіи *Θαλεса*. Въ De anima I, 2. Аристотель, основываясь на преданіи (ἐξ ὧν ἀπορρηγοῦσθαι), сообщаетъ, что *Θαλεсъ* считалъ магнітъ одушевленнымъ. Если сообщеніе соответствуетъ истинѣ, то мы имѣемъ здѣсь остатокъ фетишистскаго или примитивнаго міросозерцанія. Тоже Аристотелемъ (op. cit I, 5) приписанное *Θαλεсу*, мнѣніе «все полно боговъ», въ другихъ мѣстахъ (у Laert. Diog. VIII, 32) приписывается Пнеагору («Воздухъ полонъ душами, которыхъ называютъ демонами и героями»). Мы снова имѣемъ дѣло съ проявленіями самой примитивной естественной религіи, которую мы находимъ еще теперь у финновъ, у индійскихъ хондовъ, у американскихъ альгонкиновъ; сравни Tylor, Prim. cult. II, 169, 170 f., 172, 187 ff. Можно ли предположить, что *Θαλεсъ* былъ подъ вліяніемъ вавилонскихъ, т. е. аккадскихъ религіозныхъ воззрѣній, родство которыхъ съ финскими воззрѣніями пытается доказать Lenormant, La magie chez les Chaldéens (смотри указатель подъ словомъ «esprits»)?

(Стр. 44). Представленіе *Θαλεса* о мірѣ, земля, какъ плоскій деревянный дискъ, плавающая въ водѣ, и вселенная наполненная первостихіей, слѣдовательно представляемая какъ жидкая масса, совпадаетъ, согласно Тапнери (Pour l'hist. de la science Hellène p. 70 сл.), въ извѣстной степени съ египетскимъ представленіемъ о первоначальной водѣ (Nun) и о раздѣленіи ея на двѣ отдѣльныя массы. Это принятіе верхняго и нижняго океана старо-вавилонскаго происхожденія; сравни Fritz Hommel, Der babylonische Ursprung der agyptischen Kultur (München 1892, S. 8). Можно указать также на Книгу Бытія I, 7. Совершенно неяснымъ остается совпаденіе между основнымъ ученіемъ *Θαλεса* и ученіемъ полуиудейской секты Сампсеевъ, сравни Hilgenfeld, Judentum und Judenthismus, S. 98 по Eriphan. haeres. 19, 1; сравни также Плутарха о сирійцахъ Quaest. conviv. VIII, 84 (Mor. 891, 7 f. Dübner). Новѣйшее мнѣніе, согласно которому *Θαλεсъ* является только передатчикомъ чужеземной мудрости, противорѣчитъ передаваемому наилучшимъ свидѣтелемъ, Евдемомъ, сообщенія о его геометрическихъ работахъ и отношеніи ихъ къ египетской математикѣ.

(Стр. 44, § 3). *Анаксимандръ.* Главные источники: Лаэртій Діогенъ II, гл. I (очень скудные свидѣнія) и Doxogr. gr. Единственный сохранившійся фрагментъ у Симплиція (Аристотеля) Phys. 24, 13 Діалъсъ (этотъ прилежный комментаторъ трудовъ Аристотеля, жившій въ шестомъ вѣкѣ по Р. Х.,

непо Diels Doxogr. 532; Hippolyt. op. cit. (также Doxogr. 560, 14).—(Стр. 51). *Psyche-дыхание*: сравнение жизненного дыхания съ воздухомъ въ Doxogr. 278.

(Стр. 52). Поразительно, что еще въ восемнадцатомъ столѣтїи по метафизическимъ основанїямъ оспаривалось то, что Анаксименъ раскрылъ своимъ гениальнымъ прозрѣнїемъ. Химикъ G. E. Stahl въ 1731 году писалъ въ своихъ „Experimenta, observationes et animadversiones“ § 47 слѣдующее: «*Elastica illa expansio aeri ita per essentiam propria est, ut nunquam ad vere densam aggregationem nec ipse in se nec in ullis mixtionibus coivisse sentiri possit*». Четыре года до того физиологъ растенїй Stephen Hales въ своихъ «*Vegetable staticks*» съ своей стороны утверждалъ однородное съ Анаксименомъ: que l'air de l'atmosphère... entre dans la composition de la plus grande partie des corps; qu'il y existe sous forme solide, depouillé de son élasticité...; que cet air est, en quelque façon, le lieu universel de la nature... Aussi M. Hales finit-il par comparer l'air à un véritable Protée» etc. (Oeuvres de Lavoisier I 459/60).—(Стр. 52). Ложно истолкованные опыты: срв. Plutarch. de primo frigido 7,3 (1160, 12. Dübn.).

(Стр. 53). Относительно представленїя о движенїи солнца срв. Hippolyt. op. cit. и Aristot. Meteor. II I (354a 28). Любопытное совпаденїе съ египетскими представленїями: «Elle (la barque solaire) continuait sa course, en dehors du ciel, dans un plan parallèle à celui de la terre, et courait vers le Nord, cachée aux yeux des vivants par les montagnes qui servait d'appui au firmament». (Maspero, Bibliothèque Egyptologique II 335). «Она (солнечная барка) продолжала свой путь по ту сторону неба въ плавъ, параллельномъ земному, и направлялась къ сѣверу, скрытая отъ глазъ живыхъ горами, которые поддерживаютъ собою небесный сводъ».—(Стр. 53). О метеорологическихъ опытахъ Анаксимена см. Doxogr. 136/7 по Теофрасту.

(Стр. 54, заключенїе § 4). Срв. Augustin. de civit. dei VII 2.

(Стр. 54, § 5). *Гераклитъ*. Источники: Laert. Diog. IX Cap. 1 и болѣе ста фрагментовъ, цынъ собранные вмѣстѣ со всѣмъ относящимся сюда литературнымъ матеріаломъ въ «*Heracleti Ephesii reliquiae*» recens. J. Wywater Oxford 1887). Второстепенными источниками являются принадлежащїя различнымъ эпохамъ и приводимыя различными авторами исевдо-Гераклитовскїя письма, также издавныя Wywater'омъ. Присоединимъ къ этому новое изданїе Г. Дильса: *Herakleitos von Ephesos, griechisch und deutsch*, Berlin 1901.

(Стр. 54). Въ виду того, что дата, къ которой приурочиваютъ его «расцвѣтъ», совпадаетъ съ эпохой возстанїя іонянъ, возможно, что ею было отмѣчено именно его выступленїе въ этой борьбѣ (быть можетъ, въ качествѣ противника, заклеяменнаго имъ Гекатэи). Гераклитъ, который по преданїю обмѣнивался письмами съ царемъ Дарїемъ (срв. письма 1—3), не могъ не предвидѣть бесплодности этой попытки возстанїя и, кромѣ того, онъ вѣрояно считалъ, что персидское господство лучше можетъ оградить аристократическое правленїе, сторонникомъ котораго онъ былъ. И дѣйствительно, достигнутое въ 479 году національное освобожденїе привело къ господству демократїи, на что и указываютъ отрывки его сочиненїй.

(Стр. 55 красн. стр.). Объ Эфесѣ авторъ говоритъ какъ очевидецъ.—(Стр. 55 и 56) Срв. frgg. 119; 130; 127; 125; 16. Срв. frgg. 122; 18; 111; 113.—Презирающимъ чернъ, *ὄχλοκράτορας*, называетъ его Тимонъ Флиунтецъ въ своей сатирѣ, осмѣивающей философовъ (Sillographorum Graecorum reliquiae ed. C. Wachsmuth p. 135 Frag. 29). Къ слѣдующему смотри frgg. 115; 51; 11; 12; 111.

(Стр. 57). Ср. frg. 114 и Plinius hist. nat. XXXIV 5,21.

(Стр. 57). *Теофрастъ* (у Laert. Diog. IX 6). *Аристотель* (Rhetor. III 5)—*Комментаторы*: среди нихъ Клеанъ, второй по значенїю глава стоической школы (Laert. Diog. VII 174).—Возможно, что дѣленїе на три отдѣла было впервые произведено александрийскими библиотекарями.

(Стр. 58). Frgg. 20; 69; 21; 65; 79.

(Стр. 59—60). Срв. frg. 32 и примѣчаніе Bywater'a. Ученіе о *мировомъ пожарѣ* считалось многими изслѣдователями новаго времени, напр. Шлейермахеромъ (впервые собраннмъ и изданнымъ фрагменты Гераклита, Philos. Werke II 1—146), Лассалемъ (Die Philosophie Herakleitos des Dunklen, 1858) и наконецъ Burnet'омъ (Early Greek philosophy, London, 1892) позднѣйшимъ добавленіемъ стонковъ. Однако, этому рѣшительно противорѣчить фрагментъ 26.

(Стр. 61). Frg. 41 и 81—Аристотель: Phys. VIII 3. Срв. Lewes, Problems of life and mind. II 299. Также Grove, On the correlation of physical forces p. 22.—«though as a fact we cannot predicate of any portion of matter that it is absolutely at rest». Также H. Spenser, On the study of sociology 118:—«but now when we know that all stars are in motion and that there are no such things as everlasting hills—now when we find all things throughout the Universe to be in a *ceaseless flux*» etc.—Срв. Schuster, Heraklit von Ephesus въ «Acta societ. philol. Lips.» III 211.

(Стр. 62). Срв. frg. 52.—срв. frg. 57. Въ дальнѣйшемъ мы неоднократно пользовались нашимъ изслѣдованіемъ «Zu Heraklits Lehre und den Ueberresten seines Werkes» (Wiener Sitzungsber. Jahrg. 1886, 997 ff.).

(Стр. 64). *Сосуществованіе противоположностей* срв. frg. 45; 47; 104; Frg. 43. Обстоятельное разъясненіе нижеслѣдующаго дано въ указанномъ изслѣдованіи автора 1039/40.

(Стр. 65). Срв. frgg 44; 84 (8 строка снизу) *счастливая находка*, а именно найденная въ 40-хъ годахъ недостававшая часть сочиненія Ипполита.

(Стр. 66 середина). Срв. frg. 38 съ особенно важными frg. 47, и въ нашемъ изслѣдованіи стр. 1041. Съ Эрвиномъ Роде (Psyche II 150) въ данномъ случаѣ я не могу согласиться.—Каллиппъ (Fr. I у Bergk, Poetae lyrici Graeci II⁴ 3).—Срв. frg. 101 и 102.

(Стр. 67 строка 4). Срв. frgg. 29; 91; 2.

(Стр. 68). Съ *Бэкономъ* сравниваетъ его Шустеръ op. cit. стр. 41 прим. 1.—Дальше срв. frgg. 73 и 74.

(Стр. 68, послѣдняя строка). *Аристотель* въ Metaphys. I 6: $\acute{\omega}\varsigma\ \tau\acute{\omega}\nu\ \alpha\iota\sigma\theta\eta\tau\acute{\omega}\nu\ \alpha\epsilon\iota\ \rho\epsilon\acute{\iota}\nu\tau\omega\upsilon\ \kappa\alpha\iota\ \epsilon\pi\iota\sigma\tau\acute{\eta}\rho\eta\varsigma\ \pi\epsilon\rho\iota\ \alpha\upsilon\tau\acute{\omega}\nu\ \omicron\upsilon\kappa\ \omicron\upsilon\sigma\eta\varsigma$.

(Стр. 69). «*Самолетникіе*». Срв. frgg. 24; 36; еще Laert. Diog. IX 8; IX 7; Frgg. 103; 19; 10 и 116; 7; 48; 118; также 91; 100; 110.

(Стр. 70 середина). *Гегель*. Срв. Наум, Hegel und seine Zeit 357 ff.; Hegel, Ges. Werke XIII 328 и 334.—*Прудонъ*. О духовномъ средствѣ его съ Гераклитомъ срв. упомянутое изслѣдованіе автора 1049—1055.

(Стр. 71. Заключение). Замѣтимъ нѣсколько словъ въ оправданіе порядка изложенія, разсматривающаго Гераклита прежде, чѣмъ Пифагора и Ксенофана, хотя мы и признаемъ вліяніе этихъ послѣднихъ на него. Совокупность умственныхъ теченій тѣхъ эпохъ можетъ быть удобооблена параллельно бѣгущимъ нитямъ основы, которыя связываются между собою многочисленными поперечными нитями. Приходится избрать одно изъ двухъ: или слѣдить развитіе основныхъ линий (въ данномъ случаѣ двухъ рядовъ Фалеса, Анаксимандра, Анаксимена, Гераклита и Пифагора, Ксенофана, Парменида и т. д.), лишь указывая заранѣе на побочныя вліянія, или же постоянно отрывать отъ основной нити и перебрасывать на другія, что создало бы до крайности безокопную картину. Ксенофанъ и Парменидъ тѣсно связаны другъ съ другомъ. Гераклитъ зналъ Ксенофана, Парменидъ со своей стороны выступалъ съ полемикой противъ Гераклита. Такимъ образомъ, чтобы съ полной ясностью представить ихъ взаимоотношеніе, слѣдовало бы помѣстить Гераклита *послѣ* Ксенофана и *передъ* Парменидомъ, при чемъ пришлось бы искусственно оторвать другъ отъ друга то, что тѣсно между собою связано.

Часть II, глава 2.

(Стр. 72, 8 строка). *Искушительныя жертвы, культъ душъ, почитаніе умершихъ*. Срв. Lobeck, *Aglaophamus* I 300 и Grote, *Hist. of Greece* I³ 33, который, однако, придаетъ здѣсь чрезмѣрное значеніе чужеземнымъ влияніямъ. Дильсъ (*Sibyllinische Blätter* 42, 78 и др.), наоборотъ, доказалъ, что древнѣйшіе обычаи и вѣрованія были отбѣснены культурой, отразившейся въ эпосѣ. То же въ основательномъ изложеніи Rohde (*Psyche* I² 157, 259 сл.)— Возникновеніе *retribution-theory* изъ того, что Tylos называетъ *continuance-theory* преросходно изложено въ *Primitive Culture* II 77 сл.

(Стр. 74, 1 строка). *Награда и кара*: простѣйшая форма этой послѣдней есть уничтоженіе. Между спеціалистами происходитъ разногласіе относительно того, удастаиваются ли по ведійскому міровоззрѣнію злые безсмертія. Roth отрицалъ это, тогда какъ Zimmer (*Altindisches Leben*, 416) утверждаетъ это, подкрѣпляя свой взглядъ, однако, лишь слабыми доводами. Во всякомъ случаѣ по отношенію къ эпохѣ болѣе поздней, чѣмъ Риг-веды, несомнѣнно доказано существованіе вѣры въ загробныя кары и муки (тамъ же 420).

(Стр. 75, § 2). Новѣйшее собраніе орфическихъ гимновъ: Eugen Abel, *Orphica*, Leipzig-Prag. 1885; старое: Gottfr. Hermann, Leipzig. 1805.

(Стр. 75, 6 снизу). *Открытія недавняго прошлаго*. Срв. Kaibel, *Inscriptiones Graecae Siciliae et Italiae* Nr. 638—642. Пропущенное тамъ у Comparetti, *Notizie degli scavi* 1880 p. 155 и *Journal of Hellenic studies* III p. 114 сл. Таблички принадлежать частью несомнѣнно IV вѣку, частью вѣроятно началу III-го.

(Стр. 75, 1 снизу). *Ссылки Прокла*: Frg. 224, Abel *ἀπό τε δ' ἀνθρώπος προλήτη φάος ἡελίοιο*, почти тожественная съ 642, 1: *ἀπό τε αὐτῆς προλήτη φάος αἰλίοιο*. На эти, какъ и на нѣкоторыя другія совпаденія уже указывалъ O. Kern (*Aus der Anomia*, Berlin 1890 стр. 87).

(Стр. 76, верху) *Фанесъ у Діодора*: I 11, 3. Новое изученіе этихъ табличекъ вызвало сомнѣніе въ томъ, что имя Фанеса появляется въ нихъ: срв. Diels, *Th. Gomperz gewidmete Festschrift* (Wien, 1902). S. 1 сл.— «Богословы»: срв. *Aristot. Metaphys.* XII c. 6. гдѣ имъ противопоставляются физики.

(Стр. 77). Ферекидъ изъ Сироа. Орывки собраны у O. Kern'a, *De Orphici Epimenidis Pherecydis theogoniis quaestiones criticae*. Berl. 1888. Такъ же Diels *Archiv f. Gerch. d. Philos.* II 91; 93/4; 656/7. (Стр. 77 середина). Я черпалъ изъ Вл. Августина (*Confessiones* III 11) и примѣчаній K. von Raumer. При внимательномъ изученіи всякій убѣдится въ томъ, что это манихейское ученіе дѣйствительно восходитъ къ Ферекиду.

(Стр. 77). «Огень»—«Ogenos». Hommel (*Der Balylonische Ursprung der aegyptischen Kultur* S. 9) выводитъ греческій Ὠκεανός изъ сумерійскаго *Ugitta* (означающаго «кругъ», «совокупность»). Съ большимъ вѣроятіемъ можно вывести изъ него загадочный и оторванный отъ корней Огень—разумѣется, лишь при послѣдствіи подкрѣпленномъ допущеніи, что Ферекидъ заимствовалъ изъ чужеземныхъ преданій. Наряду съ фонетическимъ сходствомъ является слѣдующее соображеніе. Побѣжденная въ борьбѣ боговъ сторона свертается въ Огень. Главою же побѣжденной стороны является богъ змій Офіоней, очевидно хтоническое или подземное божество. Постоянной обителью его и его сподвижниковъ является преисподняя, по греческому представленію находящаяся въ нѣдрахъ земли, а по вавилонскому (ср. Hommel, *op. cit.* 8) на днѣ океана. Не тожествененъ ли Офіоней Ферекида съ вавилонской змѣвидной богиней хаоса? Срв. Jensen, *Kosmologie der Babylonier* S. 302. По крайней мѣрѣ Филонъ (*Euseb. Praep. evang.* I 10 p. 41—193 Gaisf) утверждаетъ такое заимствованіе изъ финнійской мнѣологіи, тѣсно связанной съ вавилонской. Срв. C. Wachsmuth,

Einleitung in das Stud. der alt. Geschichte, Leipz. 1895, S. 406. Здѣсь слѣдуетъ отмѣтить, что Halévy (Mélanges Graux 55 сл.) показалъ внутреннюю тождественность приведенной Филономъ (или его источникомъ, Санхуніаономъ) финикійской космологіи съ вавилонской; срв. также Renan въ Mem. de l'Académie des Insc. XXIII page 251.—Новый, сравнительно большой фрагментъ изданъ Grenfell and Hunt, New classical fragments and other Greek and Latin papyri, Oxford 1897. Мы узнаемъ изъ него Ферекида въ качествѣ занимательнаго рассказчика; срв. Tr. Gomperz Bericht Academ. Anzeiger 3/3. 1897. Наибольшая заслуга въ объясненіе этого фрагмента принадлежитъ Н. Weil, Revue des études grecques X, 1 сл.

(Стр. 80, 1 снизу). Относительно *четырёхъ версій* орфической теогоніи срв. Kern op. cit.

(Стр. 81, 2 снизу). По примѣру Лобека (Aglaophamus) главнымъ образомъ Кернъ (op. cit.) сумѣлъ блестяще доказать столь часто оспариваемую глубокую древность теогоніи «Рансодій», или по крайней мѣрѣ существовавшихъ частей ея. Попытку Группе доказать, что Платонъ не зналъ этой теогоніи (Jahrb. Philol. Suppl. XVII 689 ff.) считаю я совершенно несостоятельной. Несмотря на то, что она страннымъ образомъ убѣдила Роде (Psyche II 1 416 А.). Однако же при болѣе внимательномъ разсмотрѣніи, разногласіе между мною и названнымъ излѣдователемъ почти совершенно исчезаетъ. Ибо въ то время, какъ Роде утверждаетъ, что во многихъ пунктахъ остается еще не доказаннымъ «совпаденіе Рансодій съ древне-орфическимъ ученіемъ и поэзіей», я со своей стороны признаю, что величина объема этого сочиненія (24 книги) и ясныя признаки сліянія различныхъ версій мнѣ побуждаютъ насъ принять, что теогонія «Рансодій» сложилась значительно позже начала орфической литературы. Точнѣе опредѣлить ихъ возрастъ въ настоящее, по крайней мѣрѣ, время мы не можемъ по недостатку нужнаго для этого матеріала. На той же точкѣ зрѣнія стоитъ и Дильсъ, который считаетъ «вѣроятнымъ, что первичная форма орфической теогоніи Рансодій принадлежитъ VI вѣку», добавляя къ этому, что «эсхатологическая мистика орфиковъ» кажется ему еще «значительно древнѣе» (Archiv II 91).

Совершенно независимо отъ не такъ давно снова подвергнутаго сомнѣнію присутствія имени Фанеса на упомянутыхъ южно-италійскихъ табличкахъ (см. стр. 76), намъ кажутся мало убѣдительными доводы Целлера, приводимые имъ въ защиту своего мнѣнія (Phil. d. Griechen I^o 98, 88 А. 5-й 90 А 3) Въ виду того, что Аристотель Metaphys. XIV 4 говоритъ о «древнихъ пѣвцахъ», которые признаютъ существованіе первичныхъ божествъ «какъ, напр., Ночь или Небо, или Хаосъ, или Океанъ», онъ якобы не могъ знать такой версії, въ которой это мѣсто принадлежитъ Фанесу. Въ действительности же Фанесъ и въ теогоніи Рансодій, какъ самъ Целлеръ на стр. 95 признаетъ, въ сущности не является первичнымъ существомъ. Прежде него появляется Хроносъ (Время), который приноситъ съ собою «эфиръ и темную, неизмѣримую бездну или хаосъ» и изъ соединенія ихъ создаетъ міровое яйцо, изъ котораго впервые возникаетъ Фанесъ. Слѣдующій выводъ Целлера изъ приведеннаго мѣста Аристотелевой Метафизики: «Эти слова... предполагаютъ космологію, въ которой Ночь, одна или вмѣстѣ съ другими такими же первичными принципами занимала первое мѣсто» не кажется мнѣ убѣдительнымъ. Иначе обстоитъ дѣло съ тѣмъ мѣстомъ изъ Метафизики (XII 6), гдѣ говорится о «богословахъ, которые считаютъ все возникшимъ изъ Ночи» (οἱ ἐκ νυκτὸς γεννώμενοι). Я не могу согласиться съ Целлеромъ, когда онъ оба эти мѣста сводитъ къ одной и той же орфической космогоніи, хотя бы уже потому, что слово «какъ» οἷον въ первомъ случаѣ указываетъ на множественность этихъ космогоній. Также и множественное число: «древніе пѣвцы» и «богословы» допускаетъ мысль о чемъ угодно, но не о единой, законченной системѣ. Менѣе всего приемлемымъ изъ взглядовъ Целлера на этотъ вопросъ кажется намъ его предположеніе о томъ, что приблизительно въ III вѣкѣ стоическія идеи начали облекаться въ совершенно новое, мнѣніе одѣяніе. Какъ ни сомнительны подобнаго рода обобщенія, все же съ большимъ правомъ и съ большѣй

вѣроятностью можно утверждать, что въ эллинистическій періодъ мнѣо-творческая сила почти совершенно изсякла, чѣмъ отрицать возможность въ VI и VII вѣкахъ созданія пантеистическихъ мнѣовъ, или переработки мѣстныхъ и иноземныхъ преданій.

(Стр. 82 середина). Цитаты изъ Abel, *Orphica* p. 167.

(Стр. 83 середина). *Мировое яйцо*. У персовъ и индусовъ см. Darmsteter, *Essais orientaux* p. 169; 173; 176. У финикийцевъ и вавилонянъ см. Halevy, *Mélanges Graux* p. 61, затѣмъ Welcker, *Griechische Götterlehre* I 195; наконецъ, интересное указаніе изъ Alberunis *India* (transl. by Sachau I 222/3): «If this our book were not restricted to the ideas of the nations who lived in ancient times in and round Babel ideas similar to the egg of Brahman».— «У египтянъ: (на стр. 83, 1 строка) приведены слова Brugsh, *Religion und Mythologie der alten Aegypten* 101. Цитата о богѣ Пта находится у Eрманъ, *Aegypten und ägyptisches Leben* 253. Срв. также Dieterich, *Papyrus magica* въ *Jahrb. f. Philol. Suppl.* XVI 773. Отдѣльно стоитъ мнѣіе Lepage Renouf'a (Proceedings of the Soc. of Bibl. archeology XV 64 и 289 A. 2), который не знаетъ мирового яйца въ египетской мнѣологіи. Слѣдуетъ упомянуть о томъ, что мнѣо о мировомъ яйцѣ встрѣчается намъ и тамъ, гдѣ почти или вовсе не можетъ быть рѣчи о заимствованіи; такъ, у латышей, у перуанцевъ, на Сандвичевыхъ островахъ (объ этомъ срв. Lukas, *Die Grundbegriffe in den Kosmogonien der alten Völker* 261 сл.), и у финновъ по Comparetti, *Kalevala* 132. Однако, безпристрастному взгляду не можетъ не открыться точное совпаденіе тѣхъ образовъ, въ которыхъ этотъ мнѣо воплотился у нѣкоторыхъ изъ названныхъ въ текстѣ народовъ.

(Стр. 84, 1 строка). *Мужесенскія божества*. Вавилоня, срв. Lenormant *Babelon*, *Hist. ans. de l'Orient* V ° 250. (4 строка). *Свидѣтельство Эвдема* въ *Eudemii Fragmenta coll.* Spengel, p. 172, срв. также p. 171, гдѣ говорится объ ученіи маговъ, т. е. о религіи Зороастра, и о томъ, какое положеніе занималъ въ ней принципъ времени. (6 строка) «Зрванъ акарана»: срв. *Avesta* I transl. by James Darmsteter (*Sagred Boks of the East* IV). Введеніе стр. 82 и Fargard XIX 9. p. 206.

(Стр. 85). Относительно *архива клинообразныхъ надписей* въ Тель-эль-Амарнѣ и раскопокъ въ Лахисѣ см. Winkler въ «*Mitteilungen aus den orientalischen Sammlungen der kgl. Museen zu Berlin*», I—III, Bezold and Budge, *The Tell el Amarna tablets in the Brit. Mus.* 1893, наконецъ, Flinders Petrie, *Tell el Hesi* (Lachisch) 1890. Кое что оттуда переводить.

Sayce въ *Records of the Past* N. S. Vol. III № 4 (1890).

(Стр. 86). Срв. также поглещеніе Зевсомъ сердца Загрея, занимающее видное мѣсто въ основномъ мнѣѣ орфиновъ.

(Стр. 80). Приведенные здѣсь два стиха изъ Эсхила заимствованы изъ его драмы «Дочери Солнца». (*Fragmenta tragicorum Graecorum* ed. Nauck ² Frg. 70, p. 24).

Часть I, глава 3.

(Стр. 87). *Пиоагоръ*. Аполлодоръ (Laert. *Diog.* VIII 1) относитъ его «расцвѣтъ» къ 532—1 году. Подробности у Diels, *Chronologische Untersuchungen über Apollodors Chronika* (*Rheinisches Museum* N. F. 31 S. 25/6). Немногочисленные свидѣтельства современниковъ упоминаются въ текстѣ. Болѣе обстоятельныя свѣдѣнія о его жизни, прикрашенные многими вымыслами, впервые находимъ мы у Порфирія (въ его «*Жизни Пнеагора*»), затѣмъ въ одноименномъ сочиненіи Ямвлиха (то и другое перепечатано въ дополненіяхъ къ Laertius *Diog.* ed. Firmin-Didot, Paris 1850; срв. Porphyrii *opuscula selecta* 2 ed. Nauck, Leipz. 1886 и *Jamblichi de vita Pythagorica liber* ed. Nauck Petersburg 1884). Срв. Zeller, *Pythagoras und*

sur le Timée de Platon II 98), «чтобы быть въ концѣ концовъ постигнутымъ, требовало долгаго ряда предварительныхъ наблюдений, не опирающихся ни на какую математическую теорію». Само по себѣ мало вѣроятно, чтобы могло оставаться незамѣченнымъ измѣненіе въ положеніи звѣздъ, которыя уже въ теченіе года передвигаются болѣе, чѣмъ на 50 секундъ. И это покажется совершенно невѣроятнымъ, если мы примемъ во вниманіе слѣдующія соображенія (которыя мнѣ поставилъ на видъ специалистъ астрономъ D-r Robert Frobé). Свѣдѣнія Филолая или другихъ болѣе раннихъ пифагорейцевъ объ угловой быстротѣ обращенія планетъ приблизительно правильны. Они могли быть получены только путемъ долгихъ наблюдений надъ звѣздами, такъ какъ другого способа исправить наиболѣе грубыя неизбѣжныя ошибки наблюденія не было. Нельзя умолчать, однако, что Martin въ статьѣ Astronomie въ Dictionnaire des antiquités I 493b—494a, такъ же, какъ и Bösch, отступили отъ своего прежняго мнѣнія и отказываютъ предшественникамъ Гиппарха въ знаніи предваренія.

(Стр. 103, конецъ параграфа). Смотри Стобэй, Eclog. I 22 (I. 196 Wachsm)=Aetius въ Doxogr. Gr. 336/7.—Что факель возжигается матерью вѣсты на свадебномъ торжествѣ «отъ родного очага», такое предположеніе имѣло основаніе (срвн., Hermann-Blümner, Griech. Privataltertümer S. 275 A. 1: «Поэтому ἀφ' ἑστίας ἀγειν γυναικα Jambl. vit. Pythagor. c. 18 § 84»). Что огни новыхъ очаговъ возжигались именно этимъ факельмъ, это естественное предположеніе въ особенности въ виду однородныхъ обычаевъ при основаніи колоній. Объ этой церемоніи срвн. Геродотъ I 146; схоластъ Аристид. III p. 48, 8 Dindorf.; Etymol. Magn. p. 694, 28 Gaisford.

(Стр. 104). *Карль Эрнстъ фонъ Бэръ*, Рѣчи... и маленькія статьи Петербургъ 1864 I стр. 264. О гармоніи сферъ срвн. Th. Reinach, La musique des spheres. Revue des études grecques XIII 432; о причинѣ неслышимости ихъ смотр. Аристотеля de Caelo II 9.

(Стр. 105). *Аристотель* Metaph. I 5.

(Стр. 105, внизу). *Частья лунныя затмения*. Солнечныя затмения собственно говоря чаще. Такъ въ «Canon der Finsternisse» Oppolzers'a 8.000 солнечныхъ затмений приходится на 5.200 лунныхъ. Но въ отдѣльномъ пунктѣ земли наблюдать можно больше лунныхъ, чѣмъ солнечныхъ.

(Стр. 106). *Расширеніе географическаго горизонта*. О «Периплѣ» Ганнона и о вліяніи этого путешествія на измѣненіе ученія о центральномъ огнѣ срвн. Schiaparelli, I precursori etc. p. 25 и Berger, Wissenschaftliche Erdkunde II 387.

(Стр. 106 внизу). *Гераклидъ*. О немъ смотри преимущественно Лаерта Диог. V сар. 6. Сказанное о Гераклидѣ, какъ непосредственномъ предшественникѣ Аристарха, основывается на сообщеніи Гемпила у Симплиція Phys. 292. 20, D., сообщеніи не лишешномъ трудностей. По зрѣломъ размышленіи я не могу остаться при Дильсовскомъ пониманіи этого мѣста (Über das physik. System des Straton, Berliner-Sitzungs-Berichte 1893, S. 18 A. 1). Можно либо измѣнить мѣсто, какъ предлагалъ Bergk (Fünf Abhandlungen zur Gesch. d. griech. Philos. u. Astronomie S. 149), либо слова Ἡρακλειδῆς ὁ Ποντικός считать прибавкой осведомленнаго читателя. Данныя въ пользу усѣихъ астрономіи, какъ они изложены въ текствѣ, и объясненіе ихъ даѣтъ Скиапарелли (op. cit.). На ученіе Аристарха указывалъ Коперникъ (позднѣе это мѣсто было имъ уничтожено. De revolut. caelest. ed. Thorun. 1873 S. 34 примѣч): «credibile est hisce similibusque causis Philolaum mobilitatem terrae sensisse, quod etiam nonnulli Aristarchum Samium ferunt in eadem fuisse sententia» etc. Затронутые здѣсь вопросы часто разбирались: Hultsch Jahrb. f. Philol. 1896 (Über das astronomische System des Herakleides), Schiaparelli (Origine del sistema planetario presso i Greci, Milano, изъ сообщеній ломбардск. института 1898), Таннери въ Revue des études grecques XII 305. Sur Heraclite du Pont. Мнѣніе послѣдняго раздѣляемое Н. Stadtgmüller'омъ (Archiv XV, 144), что Экфантъ или также Гикета не суть реальныя лица, а только лица въ діалогѣ Гераклида, кажется мнѣ, а также другимъ свѣдущимъ лицамъ, мало обоснованнымъ.

Часть I, глава 5.

(Стр. 108). *Аристотель*: de anima I 3 fin. *Ксенофанъ*: Лаерт. Диог. VIII 26. Сомнѣнія, высказанныя недавно объ отношеніи этихъ стиховъ къ Пиногору, кажутся мнѣ совсѣмъ неосновательными; также неосновательно подобное же сомнѣніе о свидѣтельствѣ *Эмпедокла* ст. 415 Stein (Z. 18).

(Стр. 109, вверху). *Галльскіе друиды*: сравн. Wilkinson въ G. Rawlinsons History of Herodotus II³ 196.—*Друзы*: сравн. Benjamin von Tudela (12 столѣтіе) Tylor, Prim. Cult. II 13. И другія этнографическія данныя взяты у Тэйлора op. cit. глава 12. Его выведение вѣры въ переселеніе душъ изъ духовнаго и физическаго сходства потомковъ съ предками (II, 14) мнѣ не кажется достаточнымъ объясненіемъ.

(Стр. 110). Негреческое происхожденіе метемпсихозы какъ разъ ко- свенно доказываютъ тѣ, кто наиболее ревностно оспариваютъ это происхожденіе, такъ Дитрихъ, который въ своей цѣнной книгѣ «*Neukyia*» довольствуется указаніемъ на возможность этого (стр. 90).

(Стр. 110). Геродотъ II, 123.

(Стр. 111). Первая цитата Erman, Ägypten u. ägypt. Leben 413. Слѣдующая по Масперо Bibliothèque égyptologique II 467 п. 3 и 466. Масперо op. cit. I 349 приписываетъ метемпсихозу египетскому вѣрованію той эпохи, когда страна была въ сопркосновеніи съ Элладой. Позже эти теоріи лишились кредита и почти совсѣмъ исчезли. Въ позднѣйшей статьѣ Масперо измѣняетъ свой взглядъ: «Il ne faut pas oublier que l'assomption de toutes ces formes est purement volontaires et ne marque nullement le passage de l'ame humaine dans un corps de bête». О буддййскомъ происхожденіи вѣры въ переселеніе душъ срвн. Jacob, A manuel of Hindu Pantheism² p. 25. Эта вѣра возникла, по словамъ моего коллеги Бюлера, въ очень раннюю эпоху браманской религіи и литературы. Главное твореніе, излагающее новое ученіе, уже въ самыхъ древнихъ буддййскихъ памятникѣхъ является окруженнымъ ореоломъ легендарной древности. Въ защиту происхожденія ученія о переселеніи душъ изъ Индіи выступилъ въ недавнее время Адольфъ Фуртвешлеръ (Die antiken Gemmen III, 262 ff.), какъ раньше Шрёдеръ (Pythagoras und die Inder 1884).

(Стр. 112 § 2). Для слѣдующаго срвн. прежде всего Rohde «*Psyche*»; Роде ошибается повидимому, переоцѣнивая вліяніе дикаго и разбойничьяго ераійскаго народа, названнаго Геродотомъ «культурно и духовно бѣднымъ» и недостаточно оцѣнивая моральные элементы орфики. Разборъ этихъ спорныхъ вопросовъ завелъ бы насъ слишкомъ далеко. Въ отношеніи второго пункта нужно указать на Dieterich, «*Neukyia*» S. 193/4; по первому вопросу полезно припомнить, что наиболее характерныя черты орфики: сознаніе грѣховности, потребность искупленія, загробныя наказанія и т. д. совсѣмъ не обнаружены у ераійцевъ.

(Стр. 113). О *Критѣ* см. Joubin, Inscription crétoise relative à l'orphisme. Bulletin de correspondance hellénique XVII 121—124. Буддистскія параллели къ предыдущему указываетъ Rhys Davids, Buddhism, p. 161.

(Стр. 114). *Эрини*: Rohde, Psyche I² 270 и обширныя экскурсы Rhein. Mus. L, S. 6—Kleine Schriften IV 229.

(Стр. 115 вверху). Объ этихъ грубыхъ представленіяхъ потусторонняго блаженства срвн. Dieterich op. cit. S. 79—80. Многочисленныя указанныя имъ параллели, а также обширныя указанія (заимствованныя изъ древнеиндусскихъ источниковъ) Muir'a (Sanskrit Texts V. 307 ff.) дѣлаютъ сомнительнымъ ераійское происхожденіе орфическихъ догмъ.—*Гипнозъ*: о примѣненіи его при аскетическихъ медитаціяхъ буддистовъ см. Н. Kern, Der Buddhismus und seine Geschichte in Indien (übersetzt v. Jacobi) I 502.—Къ дальнѣйшему смотр. Rohde Psyche II² 14 f., Eduard Meyer Geschichte Aegyptens S. 87, Fr. Lenormant «*Eleusis*» (Daremberg et Saglio, Dictionnaire des antiquités), Dieterich, De hymnis orphicis capitula quinq. S. 38.

(Стр. 116). *Книга мертвых*: Maspero, Bibliothéque Egyptol. II, 469. Два пункта прибавлены мною изъ Brugsch, Steininschrft und Bibelwort S. 253/4; вполне допустимая вставка, такъ какъ, по увѣренію знатоковъ, такое отрицательное признаніе грѣховъ является въ различныхъ текстахъ съ различными варіаціями. Объ этомъ смотр. Maspero, Histoire ancienne etc. p. 191.

(Стр. 117). *Выраженіе Платона*: Тимей стр. 22 В.

(Стр. 118). *Отращеніе къ кровопролитію*: срвн. Аристоф. Лягушки 1032 Meineke: Ὀρφεὺς μὲν γὰρ τελεταῖς θ' ἤρην κατεδείξε φόνων τ' ἀπέχεσθαι.— *Право и Законъ*: срвн. Orphica фрм. 33; 125, 1; 126 Abel.

(Стр. 120 § 4). *Авторъ древнеорфическихъ стихотвореній*, срвн. Rohde, Psyche II². 106.—*Солнечныя пылинки*: Аристотель de anima I 2.

(Стр. 121). *Склонность къ монотеизму*: Cicero, de deorum natura I 11. *Дуализмъ*: Азійи у Стобей, Эклоги I 1 = Doxogr. Gr. 302.—*Дыханіе міра*. Аристот. Phys. IV 6 p. 213b 22, гдѣ я читаю αὐτῷ и уничтожаю πνεύματος (какъ колебался предположить Chaignet).—*Сужденіе Евдема* p. 73/4 Spengel. Это ученіе вновь высказано Блапки, Лебономъ и въ особенности Ницше.

(Стр. 123). *О міровомъ годѣ вавилонянъ* срвн. Lenormant, Histoire de l'orient V^o 175. Немного иначе Вероссъ у Синкелла (C. Müller Fragm. hist. Gr. II, 499).

(Стр. 124). *Періодическія сгоранія и потопа*. См. Seneca quaest. nat. III 29, также Censorinus de die nat. 18, 11.—*Двойная гибель*: См. Doxogr. Gr. 333, 7. Оспариваемое здѣсь мнѣніе принадлежитъ Целлеру, Philos. d. Gr. I^o 443: «Когда звѣзды опять займутъ свое прежнее положеніе, то и все остальное должно возвратиться къ прежнему состоянію и тѣже лица снова вернутся въ прежній обстановкѣ».—*Феофрастъ*. См. Engelbrecht, «Eranos Vindobonensis» S. 129. Знакомство съ цѣкоторыми положеніями вавилонской астрономіи можно принесть пифагорейцамъ; Гераклитъ зналъ основное ученіе астрологіи, какъ это доказалъ Энгельбрехтъ (op. cit. S. 126). Однако, отсюда еще очень далеко до предположенія, что древнегреческіе философы, въ частности пифагорейцы или значительная часть послѣднихъ, просто слѣдовали за вавилонянами въ основномъ вопросѣ, тѣсно связанномъ со всѣмъ міросозерданіемъ, или приняли ихъ астрологическую систему со всѣми крайними ея выводами. Къ этому можно прибавить, что именно Евдемъ, который касается религіозныхъ ученій финикійцевъ и (зороастровыхъ) маговъ (p. 171 Spengel), долженъ былъ знать объ этомъ вліяніи и упомянуть о немъ.

(Стр. 126 внизу). *Гипнасъ изъ Метапонта*: См. Аристот. Metaph. I 3 и Феофрастъ (Doxogr. Gr. 475/6), также Азійи (тамъ же 283/4).

(Стр. 127 § 5). Ко всему этому параграфу смотри собраніе и объясненіе отрывковъ въ приложеніи къ Programms des Wittenbergischen Gymnasium, 1893: Alkmaeon von Kroton von Julius Sander. Также Wachtler, De Alkmaeone Crotoniata. Въ извѣстномъ смыслѣ вновь открытъ былъ Алкмэонъ и объяснено его значеніе Philippson'омъ въ его книгѣ: Ἡ Ἰγλή ἀνθρωπίνῃ Berlin 1831. Слѣдуетъ обратить вниманіе, что онъ стр. 20—21 говоритъ объ одномъ незамѣченномъ всѣми прежними изслѣдователями мѣстѣ у Феофраста.— Вступленіе къ его книгѣ Laert. Diog. VIII 5, 2. Я перевелъ заключительныя слова, измѣнивъ текстъ: вмѣсто ὡς δ' ἀνθρώποις τετραίρεσθαι я читаю ὡς δ' ἀνθρώπων τετραίρεσθαι.

(Стр. 128). *Мозгъ центральный органъ умственной дѣятельности*: Феофрастъ de sensibus § 26—Doxogr. Gr. 507.—Мысль, что мужское сѣмя происходитъ изъ спинного мозга, принадлежитъ не только грекамъ, но и индусамъ и персамъ, срвн. Darmesteter, Zend-Avesta I p. 164 A. 1 (Sacred books of the East, vol. IV).—*Ученіе о здоровьѣ и болѣзняхъ* срвн. Doxogr. Gr. 442. Ученіе о контрастахъ. Aristot. Metaph. I 5, Свѣдѣнія о Геберѣ заимствованы изъ статьи Бертело въ Revue des deux mondes 1893 S. 551: Quand il y a équilibre entre leurs natures (рѣчь идетъ о четырехъ

поразительно, что «первые намеки» учения «о переселении душ» появились в текстах Ведь незадолго до возникновения учения о вѣчномъ Единствѣ», (Oldenberg Buddha² 45), совершенно такъ, какъ метемпсихоза Пифагора непосредственно предшествуетъ Ксенофанову учению о Всеединомъ. И помимо этого доктрина ātman очень напоминаетъ элейскую теорію бытія. Однако за этими совпаденіями не слѣдуетъ забывать различій. Гдѣ у индусовъ является преимущественно мистика, тамъ у грековъ преимущественно рациональное мышленіе. Различіе бросается въ глаза, когда вспоминаешь, напр., естественноисторическія геологическія спекуляціи Ксенофана, или Парменидовскія попытки научнаго объясненія космическихъ явленій во второй части его дидактической поэмы. Въ индусской спекуляціи метафизика почти исключительно связана съ религіей, въ греческой же она связана не только съ религіей, но и съ наукой. Поэтому, кромѣ поразительнаго сходства въ результатахъ, я не могу не предположить значительной разницы въ мотивахъ мышленія.

Часть II, глава 2.

Фрагменты поэмы *Парменида* послѣ Муллаха были переработаны запово Heinrich'омъ Stein'омъ въ «Symbola philologorum Bonnensium» Leipz. 1867 fascic. post. 765—806. Недавно появилось изданіе Parmenides Lehrgedicht griech. u. deutsch. Дильса, Berlin 1897. — «О природѣ человѣка». Oeuvres d'Hippocrate VI 32 Littre.

(стр. 144 внизу) «Противоестественники» и «неподвижники». сравн. Платона *Θεετες* 181-а и Аристотеля у Секста *adv. mathem.* X 46 (р. 485, 25, Bekker).

(стр. 145 § 2) *Главнымъ источникомъ* о жизни Парменида является Laert Diog. IX cap. 3. (дѣнное исправленіе текста даетъ Дильсъ Hermes 35, 196). Для опредѣленія времени его жизни служить то соображеніе, что онъ младшій современникъ Ксенофана и Гераклита (ученіе котораго онъ знаетъ и осмѣиваетъ), и что онъ старше Мелисса и (по надежному свидѣтельству Платона, Парменидъ 127b) на четверть столѣтія старше Зенона. На чемъ основаны указанія о времени его жизни и его расцвѣта у Аполлодора, мы не знаемъ. Мнѣ кажется неправильнымъ предполагать произвольныя комбинаціи у большаго и добросовѣтнаго изслѣдователя, который удовольствовался при установленіи хронологіи Анаксимандра и Демокрита только автобиографическими свидѣтельствами и который подробно воспроизводитъ хронологію Эмпедокла въ сохранившихся намъ стихахъ.

(стр. 146) Цитата изъ Мелисса сравн. Mullach op. cit. 82/3. Заключение часть приводимаго мѣста я исправилъ переставкой по смыслу, сравн. *Apologie d. Heilkunst* 167 (Wiener Sitz-Ber. 1891 N IX).

(стр. 147—148) Сравн. Mullach op. cit. стихъ 45—51. Отношеніе къ Гераклиту указано и установлено Bernays'омъ (Rhein. Mus. N. F. VII 114=Ges. Abhandl. I 62).

(стр. 149, середина) Такъ какъ до сихъ поръ еще приписываютъ исключительно элейцамъ, а не предшественникамъ ихъ, отрицаніе возникновенія и уничтоженія, то полезно привести ясно свидѣтельство Аристотеля: *Phys.* I. 4, 187a 26: *διὰ τὸ ὑπολαμβάνειν τὴν κοινὴν ὄψιν τῶν φυσικῶν . . . ὡς οὐ γιγνομένου οὐδενός ἐκ τοῦ μὴ ὄντος.*—*Metaph.* I 3, 984a: *τὸ ἐν ἀκίνητόν φασιν εἶναι καὶ τὴν φύσιν ὅλην οὐ μόνον κατὰ γένεσιν καὶ φθοράν (τοῦτο μὲν γὰρ ἀρχαῖόν τε καὶ πάντες ὁμολόγησαν —984a 11: καὶ διὰ τοῦτο οὐτε γίγνεσθαι οὐδὲν οἰοῦνται οὐτε ἀπόλλυσθαι, (а именно древніе физиологи, начиная съ Θαλεса).—*Metaph.* XI 6, 1062b 24: *τὸ γὰρ μὴ ἐκ μὴ ὄντος γίγνεσθαι παντὶ δ' ἐστὶ ὄντος σχεδὸν ἀπάντων ἐστὶ κοινόν ὄγμα τῶν περὶ φύσεως.**

(стр. 150, сверху) Имѣется въ виду стихъ 66 по Штейну.

(стр. 150, середина) «*Краткий*», по очень важный «отрывок» Анаксагора извлечь на свѣтъ Дилль изъ одного схолия въ Григорію Назіанскому (Migne Patrol. gr. XXXVI 901) (Hermes 13, 4).

(стр. 153 вверху) *Выдающийся естествоиспытатель*: du Bois-Reymond (Sitzungsber. d. kgl. preuss. Academie d. Wissensch., Begrüssung der Hrn Landolt, Febr. 1882).

(стр. 154 16 стр. снизу) *Существованіе пустого пространства*. Слово пустое (*κενόν*) пошло въ текстъ только благодаря ложной догадкѣ (стихъ 84 Stein). По понятію это играетъ у Парменида очень значительную роль. Въ иныхъ случаяхъ оно является противоположностью полнаго (*ἐμπλεον*), въ другихъ случаяхъ надо предполагать пустое или не-сущее, какъ субъектъ къ *ἀποτρέχει* въ стихахъ, которые надо отдѣлять отъ предыдущаго и не относить къ вступленію (ст. 38—40 Stein): *οὐ γὰρ ἀποτρέχει τὸ πέλον τοῦ εὐόντος ἔχουσα οὔτε σκιδνάμενον πάντῃ πάντως κατὰ κόσμον οὔτε συνιστάμενον.*—*Во кругу метафизической*. Смотри Natorf Philosoph. Monatshefte XXVII 476. Это же явствуетъ изъ Аристотеля, Физика IV 6 (213b 22), гдѣ, правда, пустое выступаетъ на сцену въ другомъ примѣненіи. Слѣдовало бы спрашивать объ авторахъ не этого ученія, а только противоположнаго. Въдѣ старое мифологическое ученіе утверждало, что первоначально пустота простиралась отъ высочайшей высоты до нижайшаго низу, а существующій перерывъ между небомъ и землею есть остатокъ этого. И для обычнаго сознанія воздухъ представлялся пустотой, не «чѣмъ то» (срв. Aristot. Phys. IV 6, 213a 25), до тѣхъ поръ, пока эксперименты Анаксагора не раскрыли его давленіе и сопротивленіе. Только послѣ этихъ и подобныхъ опытовъ выступила проблема движенія. Правда, облечь физическую проблему въ метафизическое одѣяніе и видѣть сущность въ томъ, что «полное не можетъ воспринять въ себя ничего другого», дѣло довольно легкое», (срв. 282). Однако никто не встрѣтился бы съ такой апоріей, пока та среда, въ которой движеніе не встрѣчало замѣтнаго сопротивленія, не была признана наполненной или несущественно отличной отъ таковой.

(стр. 157 серед.) Слова Аристотеля Metaphys. I 5, 986b 31.

(стр. 158 внизу) *Вліяніе орфизма*: оно обнаружено Kern'омъ De Orphei etc. theogonis p. 52 и Archiv III 173.

(стр. 159 середина). О Парменидовомъ представленіи о вселенной смотри H. Berger, Gesch. d. wissenschaftl. Erdkunde и пр. II 31 ff.

(стр. 160). Поучительны для пониманія Парменида и вообще элейцевъ нѣкоторые выраженія родственнаго имъ по духу Гербарта. Онъ вполне серьезно относится къ словамъ мѣтнія и хвалитъ Парменида за то, что «необходимое мѣтніе о природѣ отдѣлено отъ воззрѣнія истины» (Werke I 226). Насколько мы въ правѣ называть античными Гербартианцами мегаруевъ и ихъ элейскихъ предшественниковъ, доказываютъ слѣдующія цитаты «Изъ положенія параграфа 135-го слѣдуетъ, непосредственно, что сущему какъ таковому не присущи ни пространственныя ни временныя опредѣленія.—Если бы сущее было протяженно, то оно содержало бы многое» и т. д. (Werke I 223). Последнее вполне Зеноновское. Въ параграфѣ 135-омъ Гербартъ ссылается на своихъ древнихъ предшественниковъ, о которыхъ онъ говоритъ: «На элейцевъ можно смотрѣть какъ на изобрѣтателей главнаго метафизическаго положенія: Качество сущаго безусловно просто и не можетъ опредѣляться внутренними противорѣчіями».

Часть II, глава 3.

Мелисса. О его личности Laert. Diog. IX cap. 4. Расцвѣтъ его Аполлодоръ опредѣляетъ 84-ой олімпіадой. Подразумѣвается очевидно и общепризнана олімпіада 84,4=441, годъ, въ который Мелисса одержалъ морскую побѣду, упомянутую въ текстѣ. Здѣсь мы явственно видимъ пріемъ Аполлодора—связывать расцвѣтъ съ хорошо извѣстнымъ историческимъ событіемъ;

(Стр. 188 внизу). Все съизнова возобновляемыя попытки доказать полную духовность анаксагорскаго понятія *Nus* съ одной стороны противорѣчатъ недвусмысленнымъ выраженіямъ философа, съ другой стороны они заставляютъ прибѣгать къ искусственнымъ толкованіямъ словъ; такъ, вмѣсто того, чтобы перевести *λεπτότατον πίντων ὑγρμάτων* «тончайшее изъ вѣхъ вещей», они переводятъ «остроумнѣйшее», или въ аристотелевскомъ *ἀπλοῦν* (простой) видятъ нѣчто иное, чѣмъ передачу предиката *ἀμύγες* (несмѣшанный). Методъ, какимъ здѣсь пользуются, состоитъ въ томъ, что болѣе или менѣе произвольно толкуемыми выраженіями Аристотеля хотятъ замѣнить ясныя слова Анаксагора. Правильныя замѣчанія противъ неестественности *Nus* у Натона (*Philos. Monatshefte XXVII, 477*). Выраженіе «матерія мысли» (*Denkstoff*) у Виндельбанда (*Iw. Müllers Handbuch d. Klass. Altertumswiss. V. 1. 165*).

(Стр. 189 внизу). Жалоба на недостаточное примѣненіе «*Nus*» Анаксагоромъ находится въ платоновскомъ *Phaedo 97e* и у Аристотеля *Metaph. I, 3, 985b 17*.

(Стр. 192 внизу). *Необъяснимаго и едва замѣченнаго затрудненія* касается *Brieger* (*Die Urbeweg. der Atome u. s. w. Gymnas.-Programm, Halle 1884 S. 21 f.*), но, по моему мнѣнію, не рѣшаетъ его.—Что Анаксагоръ считалъ землю плоской, явствуетъ изъ свидѣтельствъ, собранныхъ у *Schaubach'a* p. 174 f. Только *Симплицій* толкуетъ слово *τοῦταπειθής* (*Arist. de caelo II 13 p. 520, 28 ff. Heiberg*) какъ имѣющій форму барабана или цилиндрическую; однако онъ ослабляетъ свое же свидѣтельство тѣмъ, что рядомъ съ Анаксагоромъ онъ называетъ Анаксимена, относительно котораго мы точно знаемъ, что по вопросу формы земли онъ сходилъ не съ Анаксименомъ, а съ *Фалесомъ*. Когда *Целлеръ*, *Ибервергъ* и другіе говорятъ о «плоскомъ цилиндрѣ», то это способно ввести въ заблужденіе.

(Стр. 193). Объ астрономическихъ и метеорологическихъ ученійхъ Анаксагора смотр. *Doxogr. Gr. 137*.—Объ объясненіи Анаксагоромъ скопленія звѣздъ на млечномъ пути смотр. *Tannery, Pour l'histoire de la science Hellène 279*. О самой проблемѣ смотр. между прочимъ *Wundt Essays 79 f.*

(Стр. 195). Со времени *Шлейермахера* у Анаксагора хотѣли отнять терминъ «гомеомерія» и приписать его Аристотелю. Недвусмысленныя свидѣтельства древности, противорѣчанія такому предположенію, собраны у *Schaubach'a* p. 89. Несостоятельность такого предположенія явствуетъ изъ того, что *Эпикуръ*, а за нимъ *Лукрецій* употребляютъ это слово, хотя они не имѣютъ никакого основанія примѣнять аристотелевскую терминологию (*срв. Munro, въ его комментаріи къ Лукрецію къ I 834, а также Гомперцъ въ Zeitschr. f. d. öst. Gymn. XVIII 212*).

(Стр. 197 сред.). Мнѣніе *Ксенофонта* *Memorabilia IV 7*.

Часть II, глава 5.

(Стр. 198). *Эмпедокль*: См. *Empedoclis Agrigentini fragmenta ed. H. Stein. Bonn 1852. Diels, Studia Empedoclea въ Hermes XV. Наполовину новыя стихи даетъ Knatz Schedae philol., Bonn 1891. Doxogr. gr. (въ разн. мѣст.)*.—О немъ говоритъ *Лаертій* *Diog. VIII cap. 2*. Прекрасное изслѣдованіе источниковъ *J. Bidez'омъ, La biographie d'Empédocle. Gent 1894*.—Сказанное далѣе о *Джирдженти* основано на личныхъ впечатлѣніяхъ автора; смотри также статью *Ренана* *Vingt jours en Sicile въ его книгѣ Mélanges de voyages et d'histoire 103 f.* Для хронологіи на этотъ разъ служитъ рядъ стиховъ изъ *Аполлодорской* хроникки у *Лаерт.* *Диогена op. cit.* Много обуславливая слова Аристотеля (*Metaph. I 3*), что Анаксагоръ по лѣтамъ старше, по лѣтамъ моложе Эмпедокла, не содержитъ ни указаній на время опубликованія ихъ сочиненій, ни сужденія о лѣтисности ихъ; они должны лишь оправдать излюбленный пріемъ Аристотеля нарушать хронологическую

последовательность въ дидактическихъ цѣляхъ. Такъ какъ четыре стихія Эмпедокла ближе къ вещественному монизму древнихъ натурфилософовъ, чѣмъ безконечныя первоначала Анаксагора, то онъ и разбираетъ сперва первого. Сравни передъ этимъ фразу: Ἐμπεδόκῃς δὲ τὰ τέτταρα, πρὸς τοῖς εἰρημένους γῆν πρὸς τῆς τέταρτον.

(Стр. 200). Объ осушеніи Селлиунта и «прорытіи горы въ Акрагантѣ» сравни такъ озаглавленную статью въ приложеніи къ (Augsburger) Allgemeine Zeitung 15 Nov. 1881. Bidez op. cit. p. 34 (послѣ Дильса) показалъ вѣроятность того, что рассказъ о пробужденіи мнимо-умершей заимствованъ изъ сочиненія Гераклида Понтійскаго περὶ τῆς ἀπνοῦς и основанъ на существовавшей уже тогда легендѣ.

(Стр. 201 середина). Предположеніе о связи между врачебными занятіями Эмпедокла и его антимонистическимъ ученіемъ о веществѣ высказано впервые Таннери въ его Pour l'histoire etc. 319.

(Стр. 202 сред.). Четыре стихіи мы встрѣчаемъ не только въ народной физикѣ грековъ, но и у индусовъ (срвн. Kern, Buddhismus, übers. v. H. Jacobi I 438). Срвн. персидское ученіе о первостихіяхъ въ Vendidad, Переводъ v. James Darmesteter, The sacred books of the East IV p. 187. Какъ поздно исчезла эта доктрина, намъ сообщаетъ Kopp, Die Entwicklung der Chemie in d. neueren Zeit. S. 110. «Если спросить о взглядѣ на элементы тѣла во время, предшествующее системѣ Лавуазье, то мы получимъ отвѣтъ что земля, вода, воздухъ и огонь все еще признаются элементами или по крайней мѣрѣ, что большая часть людей вѣрнѣе въ эти элементы».

(Стр. 203 внизу). Сравненіе четырехъ основныхъ веществъ съ основными цвѣтами смотр. у Galen въ комментарий къ Гиппократу de natura hominis (XV 32 Kühn).

(Стр. 205 серед.). Зависимость Эмпедокла отъ Алкмеона была доказана Дильсомъ (Gorgias und Empedokles S. 11).

(Стр. 208 середина). Указанный здѣсь экспериментъ (ст. 294 Stein) предполагаетъ по крайней мѣрѣ временное существованіе *пустого* пространства. Поэтому насъ удивляетъ приписываемое Эмпедоклу отрицаніе пустого пространства у Аристотеля (de caelo IV 2) и у Теофраста (De Sens. въ Doxogr. gr. 503, 9—12). Теофрастъ, правда, присоединяетъ къ этому, что Эмп. въ этомъ случаѣ неослѣдователенъ; на это же намекаетъ и Аристотель (de generat. et corrupt. I 8). Является предположеніе, что здѣсь произошла ошибка. Стихи, отрицающіе пустоту, на лицо передъ нами, но они повидимому допускаютъ и иное толкованіе. Я передаю ихъ содержаніе свободно: «Игидѣ нельзя сказать: здѣсь нѣтъ Всего; игидѣ: здѣсь есть нѣчто другое, чѣмъ Все». Мнѣ кажется нужно родительный падежъ παντός поставить въ зависимость отъ κενεόν (срвн. стих. III τοῦτων. . . κενεώσεται). Если κενεόν употреблено исключительно въ смыслѣ пустого пространства, какое значеніе имѣеть находящееся рядомъ οὐδὲ περισσόθεν? Во всякомъ случаѣ эти слова нельзя выставить противъ принятія пустыхъ, тѣмъ болѣе временно пустыхъ промежутковъ.

Очень странно, что Аристотель отказываетъ и Анаксагору въ принятіи пустоты. (op. cit. и Phys. IV 6.), говоря, что его экспериментъ съ шишкой (смотр. выше стр. 187) и съ давленіемъ воздуха (опытъ Эмпедокла) не доказываютъ, что нѣтъ пустого пространства, а только то, что «воздухъ есть нѣчто». И тутъ позволительно предположеніе, что Аристотель не повяля мысли древняго изслѣдователя. Анаксагоръ такъ широко пользовался невидимымъ, что не избѣжалъ упрека, что онъ оперируетъ съ несуществующимъ. Онъ показалъ сомнѣвающимся, что существуютъ невидимыя тѣла, что тамъ, гдѣ повидимому ничего нѣтъ, въ дѣйствительности есть *нѣчто*. Пустой мѣхъ ничего повидимому не содержитъ. Но стоитъ его надуть—это у есть опытъ Анаксагора, указанный Аристотелемъ—завязать отверстіе, показать его, и сопротивленіе, которое онъ оказываетъ сжатію, тотчасъ доказываетъ намъ, что невидимое въ немъ есть нѣчто матеріальное. Мы достаточно смѣлы, чтобы думать, что Анаксагоръ хотѣлъ доказать

использования обихих системъ указываетъ на время, когда онѣ были еще живы, когда эмпедокловское учение было еще молодо, а гераклитовское еще не устарѣло. Я считаю вполне убѣдительнымъ опроверженіе Тейхмюллеромъ предположенія о томъ, что авторъ использовалъ Архелая. (S. 48—50). Если нужно искать предшественника въ вопросѣ о матеріальномъ дуализмѣ, то это скорѣе Парменидъ, который видѣлъ въ огнѣ (Aristot. *Metaphys.* I. 3), также какъ и нашъ авторъ, нѣкоторую причину движенія. И Анаксагоръ, повидимому, былъ ему извѣстенъ, но не повліялъ на него. Именно въ тѣхъ главахъ, содержаніе которыхъ Вейгольдтъ (S. 174) приписываетъ вліянію Анаксагора и Архелая, находится фраза, прямо противорѣчащая анаксагоровскому ученію: *ἀτε γὰρ ὀψότε κατὰ τὸ αὐτὸ ἰστέμενα, ἀλλ' αἰεὶ ἀλλοιοούμενα ἐπὶ τὰ καὶ ἐπὶ τὰ* (VI 374 L.). Этому непосредственно предшествуетъ фраза дѣйствительно напоминающая анаксагоровскій отрывокъ. Однако, она именно должна служить предостереженіемъ, чтобы не считать подобные примѣры доказательными. Если авторъ имѣлъ этотъ фрагментъ передъ глазами, то онъ во всякомъ случаѣ заимствовалъ одну словесную форму, но не мысль, напр., слово *στέρματα* употреблены здѣсь и тамъ въ совершенно различномъ смыслѣ. Я не могу замѣтить отдаленнаго вліянія Демокрита утверждаемаго Целлеромъ; его аргументъ, основывающійся на семи гласныхъ, не вѣренъ, ибо отдѣльныя обозначенія для Π и Ω введены официально въ Аоннахъ правда только въ 403 году, но задолго до того употреблялись въ Іоніи и въ самихъ Аоннахъ, гдѣ по предположенію Целлера жилъ авторъ.— Приведенныя мѣста изъ сочиненія «О діэтѣ» находятся VI 468; 470 (сравни также 606); 742.— Предположеніе, что авторомъ этой книги является Геродикъ изъ Селимбрии высказано Franz Späthомъ (*Die geschichtliche Entwicklung der sogenannten hippokratischen Medicin im Lichte der neuesten Forschung Berlin 1897 S. 22 f.*), оно подкрѣплено соображеніями, которымъ дальнѣйшія изслѣдованія придадутъ можетъ быть полную силу доказательствъ.

(Стр. 249) Ученіе объ органическомъ равновѣсіи наиболѣе опредѣленно формулировано VI 606 L, также въ концѣ книги III Стр. 636.

(Стр. 249 внизу). Сказанное здѣсь о книжидѣцахъ *Еврифонѣ* и *Геродикѣ* я заимствую изъ указаннаго выше лондонскаго папируса (р. 7), гдѣ въ индексѣ приведены всѣ фрагменты Еврифона.

(Стр. 250). Излагаемое заимствовано изъ книги I «О діэтѣ» VI 484; 474; 476.—Объ экспериментѣ упомянутомъ стр. 251 смотри примѣчаніе Littré VI 527.

(Стр. 251). Толкователямъ снова приписывается, «точное знаніе» VI 642 (*οἱ κρῖνοι καὶ περὶ τῶν τοιοῦτων ἀκριβῆ τέχνην ἔχοντες*). Маленькое сочиненіе *περὶ σαρκῶν* («о мясѣ» или «о мускулахъ», у Littré Bd. VII. Считаю его вмѣстѣ съ Литтре послѣ-аристотелевскимъ на томъ основаніи, что авторъ знаетъ начало двухъ главныхъ сосудовъ изъ сердца, очевидно неврно. Приобрѣтеніе такихъ очевидныхъ анатомическихъ знаній не можетъ быть хронологически указано въ древности. Время возникновенія сочиненія можно лучше всего опредѣлить по явно эклектическому характеру. Цитата изъ Аристотеля. *Polit.* I 2 нач.

(Стр. 254). О сочиненіи «О числѣ семи» (Littré VIII 634 ff. лучшая версія IX 433 ff.) смотри Nberg и Harder, *Zur pseud-hippokratischen Schrift περὶ ἐμβολῶν* (Rhein Mus. N. F. XLVIII 433 ff.)—Сказанное въ концѣ параграфа о роли числа семи въ арабской алхиміи заимствую изъ статьи Бертело въ *Revue des deux mondes* 1 Okt. 1893 (S. 557). Сюда относится также вновь открытый отрывокъ Гераклита (4а въ собраніи Дильса, сомнѣній котораго въ подлинность отрывка я не раздѣляю).

(Стр. 257). Сочиненіемъ «о древней медицинѣ» заканчивается первый томъ Литтре. Цитаты изъ Литтре I 570—606.

(Стр. 259 кр. строка). Излагаемая здѣсь глава 20 сочиненія «О древней медицинѣ» I 620—624 L.

(Стр. 260 вверху). Почти буквальное совпаденіе словъ I 620 и VI 468.

(Стр. 263 внизу). Цитата I 572 L.

ленной, помещенномъ въ ряду сочиненій Филона, стр. 75 (Abhandl. der kgl. preuss. Akademie 1882 III).

(Стр. 282 середина). Цитата изъ книги Fechner'a «Ueber die physikalische und philosophische Atomenlehre»²; глубокое и блестящее изложение 79—81.—*Дож. Сш. Милль* Логика книг. 3 гл. 6.—(Стр. 283) См. Lothar Meyer Die modernen Theorien der Chemie⁴ 253; 273; 183.—*Cournot*: Traité de l'enchaînement des idées fondamentales dans les sciences et dans l'histoire I 245. *Декартъ* пишетъ Мерсенну: «J'admire qui disent que ce que j'ai écrit ne sont que *centones* Democriti etc.» Oeuvres VIII 328 (éd. Cousin). Здѣсь кстати вспомнить о великомъ Rob. Boyle (1627—1691), который говорилъ (Корр. Geschichte der Chemie II 308), что можетъ быть въ основѣ всѣхъ тѣлъ лежить одна и та же протяженная, дѣлимая и непроницаемая перво-матерія, и что всѣ различныя качества, наблюдаемыя нами, суть только слѣдствія неодинаковой величины, формы, покоя или движенія и взаимнаго положенія «атомовъ».

(Стр. 284). Сказанное о мускаринѣ и нервинѣ заимствовано изъ книги Bunge. Lehrbuch d. physiol. u. pathol. Chemie² 80.

(Стр. 285). Указаніе Демокрита на удѣльный вѣсъ Mullach p. 215. Свидѣтельство Теофраста de sens., которому мы обязаны и другими сообщеніями объ ученіи Демокрита о чувствахъ (Doxogr. p. 516 ff.).

(Стр. 287). Въ упомянутой выше книгѣ *Александра Гумбольдта* («Versuch über die gereizte Nerven u. Muskelfaser» Berlin 1797 I 429); опъ, однако, высказываетъ не свое мнѣніе. Самый современный представитель этой теоріи Nic. Lemery, изъ Cours de chimie (1675) котораго Корр приводитъ слѣдующее мѣсто (Geschichte der Chemie III 14) «... je ne crois pas qu'on me conteste que l'acide n'ait des pointes... il ne faut que le goûter pour tomber dans ce sentiment, car il fait des picotements sur la langue...».

(Стр. 288). Декартъ и Гюгенсъ: срв. Lasswitz, Gesch. d. Atomistik II 91 также Huyghens, Discours de la cause de la pesanteur въ приложеніи къ Traité de la lumière p. 103 (Лейпцигское изданіе): «des corps faits d'un amas de petites parties accrochées ensemble—». Подобныя же мнѣнія также у Лемери (1645—1715) (Корр Gesch. d. Chemie II 308). По мѣткой характеристикѣ Гюгенса Декартъ все сводитъ къ принципамъ «tels que sont ceux qui dépendent des corps considerés sans qualité et de leur mouvements». Къ слѣдующему сравни L. Meyer op. cit. 223. «Der Ausdruck, «Sättigung» ist eben nur ein Wort für einen fehlenden Begriff, für eine fehlende klare Vorstellung; сравни также S. 387.—Слова Паскаля: «il faut dire en gros: cela se fait par figure et mouvements, car cela est vrai. Mais de dire quels, et composer la machine, cela est ridicule; car cela est inutile et incertain, et pénible». (Pensees II 17. Парижск. изд. 1823 II 249).

(Стр. 288/9). *Главные свидѣтельства* объ ученіи Демокрита о мірообразованіи у Laert. D. IX 31; Hippolyt I 10; Democrit. Prg 2 (Phys.) p. 207 и Prg. 6 p. 208 Mull.; срвн. Plato Tim. 52e. Весь предметъ недавно прекрасно обработанъ Brieger'омъ, Die Urbewegung der Atome und die Weltentstehung bei Leukipp und Demokrit (Gymn.-Progr. Halle 1884) и Hugo Karl Liepmann'омъ, Die Mechanik der leucipp-democrit'schen Atome (Doctor-Dissertation Berlin 1885).

(Стр. 290). Указаніе Аристотеля: de caelo II 13, гдѣ ученіе о вихрѣ приписывается «всѣмъ», т. е., какъ ясно по контексту, всѣмъ старымъ натурфилософамъ и авторамъ космогоній (295a 9 ff.). Тейхмюллеръ указалъ и почти съ несомнѣнностью доказалъ, что здѣсь имѣется въ виду Анаксимандръ. (Teichmüller, Studien z. Gesch. d. Begriffe Berl. 1874 S. 83).

(Стр. 292). Сказанное о смерчахъ и олитныхъ сѣверныхъ вѣтрахъ получило одобреніе моего коллеги Нанп'а и отчасти основано на его сообщеніи.

(Стр. 293). Мнѣніе Аристотеля взято изъ de caelo III 2 (300b 8) и Metaphys. I 4 (985b 20).

(Стр. 295). «Мировая загадка». Сравн. Ueber die Grenzen des Naturerkenntens. Die sieben Welträtsel. Zwei Vorträge von du Bois Reymond³ S. 83 (Leipz. 1891).

(Стр. 297). Выраженія Бэкона можно найти у Grote, Plato I 92 ff.; далѣе срвн. L. Stein Leibnitz und Spinosas 66 f. Слова Плидаля заимствованы изъ Fragments of Science⁵ 355.

(Стр. 297). Цитата изъ Теофраста: Doxogr. 483 12 ff.

(Стр. 301). Цитата изъ Галилея op. cit. S. 336: «Ma che ne'corpi, esterni, per eccitare in noi i sapori, gli odori e i suoni, si richiegga altro che grandezze, figure, moltitudini et movimenti tardi o veloci, io non lo credo». Также Гьюгенсъ op. cit. p. 96: «En ne supposant dans la nature que des corps qui soient faits d'une mesme matière, dans les quels on ne considère aucune qualité ni aucune inclination à s'approcher les uns des autres, mais seulement des différentes grandeurs, figures et mouvements».—Что Галилей зналъ ученія Демокрита явствуетъ изъ намековъ, приводимыхъ Lasswitz'омъ op. cit. p. 49. Что касается Гьюгенса, то срвн. его слова (op. cit. p. 93), гдѣ онъ удивляется, что не только остальные философы, но даже Демокритъ не пытались объяснить тяжесть: «On peut le pardonner à ceux qui se contentaient de pareilles solutions en bien de rencontre; mais non pas si bien à Démocrite et à ceux de sa secte, qui aiant entrepris de rendre raison de tout par des atomes en ont excepté la seule Pesanteur». По слѣдамъ атомистовъ идетъ повидимому Платонъ въ «Законахъ» X 897a.

(Стр. 302). Доказательство существованія пустоты Arist. Phys. IV. 9 (213b 5 сл.).

(Стр. 302). Левкиппъ: у Теофраста (Doxogr. 483, 17 f.). На предложеніе *καὶ τῶν ἐν αὐτοῖς σχημάτων ἀπειρον τὸ πλῆθος διὰ μὴδὲν μᾶλλον τοιοῦτον ἢ τοιοῦτον εἶναι* я смотрю какъ на вводное; какъ субъектъ къ *τοιοῦτον* я добавляю мысленно *τὸ σχῆμα αὐτῶν*. Обыкновенно это выраженіе Левкиппа отождествляютъ со словами Демокрита, относящимися ко вторичнымъ свойствамъ *οὐ μᾶλλον τοῖον ἢ τοῖον* (Plutarch. adv. Colot. 4, 1 и Sext. Emp. Pyrrh. hyp. I 213 = 48, 13 f. Bekker). Однако, какъ ни извинительно это смѣненіе, однако, контекстъ обонхъ положеній не оставляетъ сомнѣнія въ различіи ихъ. Какъ можетъ это изреченіе Демокрита, которое, какъ охотно допускаетъ Целлеръ, I⁵ 920 A. 2, «касается исключительно вторичныхъ чувственныхъ качествъ» доказывать бесчисленное количество формъ атомовъ? Количество субъективныхъ отклоненій, типомъ которыхъ является приведенный Секстомъ примѣръ, что страдающему желтухой медь кажется горькимъ, можетъ быть равнымъ тремъ, четыремъ или десяти; но даже если бы ихъ было 100 или 1000, то это всегакъ не имѣло бы ни малѣйшаго отношенія къ безконечному количеству формъ атомовъ. И, что еще важнѣе, существованіе этого безконечнаго числа и соединеніе ихъ въ каждомъ чувственномъ предметѣ—это совершенно разные вещи. Было бы несправедливо мысленно присоединять второе изъ этихъ предположеній къ первому, о которомъ только и идетъ рѣчь у Теофраста и по всему контексту только и можетъ идти рѣчь. Въ довершеніе всего Теофрастъ именно говоритъ (Doxogr. 518, 20) только о соединеніи многихъ, а совсѣмъ не о безконечномъ множествѣ формъ атомовъ въ одной чувственной вещи. Наконецъ, здѣсь дѣло идетъ о спеціальномъ случаѣ, а не объ общемъ правилѣ. (Кстати слѣдуетъ замѣнить что мѣсто нуждается въ критической обработкѣ и первоначально можетъ быть глаголю такъ: *ἀλλ' ἐν ἐκάστῳ (λεῖψ) πολλὰ εἶναι (καὶ τραχέα) καὶ τὸν αὐτὸν (χυλὸν μετ')εχειν λείου καὶ τραχέος κτέ*).

(Стр. 305). Приведенныя слова принадлежатъ Эрнесту Маху (Die Principien der Mechanik u. s. w. 463).

(Стр. 306). О теологическихъ взглядахъ Демокрита говоритъ преимущественно Секстъ Эмпири. adv. mathem. IX 1. 19 u. 24 = p. 394, 28 u. 396,5 Bekk.; также Тертуліанъ ad nation. II 2 (правильно сопоставлено Целлеромъ съ Евстаѣемъ къ Одиссеѣ XII 63). Замѣчательно его рациона-

Книга III, глава 3.

(Стр. 319). *Диогенъ изъ Аполлоніи* О немъ говоритъ Лаэрт. Диог. IV cap. 9, цитируя его введеніе, недостаточно. Фрагменты у Schorn и Fr. Panzerbieter, Diogenes Apolloniates, Leipz. 1830; смотр. о немъ Chr. Petersen, Hippocratis nomine quae circumferuntur scripta etc. (Hamburger Gymn.-Progr. 1839); смотри также уже упомянутую выше лекцію о Левкиппѣ и Демокритѣ Дильса, его же статью «Leukippos und Diog. v. Apoll.» (Rhein. Mus. XIII 1 f.) и «Ueber die Excerpte von Menons Jatrice» (Hermes XXVIII 527 ff.). Главное свидѣтельство у Теофраста (Doxogr. 477, 5).

(Стр. 320 внизу). О палисаніи этого слегка испорченнаго мѣста сравн. мон «Beitr. z. Kritik u. Erklärung» u. s. w. I 39 (271 Wiener Sitz.-Ber. 1875).

(Стр. 322). «Ученіе о небѣ» (μετεωρολογία), а также сочиненіе περί ἀνθρώπου φύσεως, Симилиій которому мы обязаны всѣми фрагментами, самъ не видѣль, онъ лишь нашелъ упоминаніе о нихъ въ главномъ трудѣ (Phys. I 4 p. 151 Diels).

(Стр. 322 внизу). Толкованіе Гомера у Филодема, de pietate, изд. Гомперца S. 70—Что стоики «въ ихъ ученіи о восприятіи и.. въ эмбриологій зависѣли отъ него, пытается доказать Dümmler (Akademika 113). Онъ же (op. cit. 225) и Weygoldt (Archiv I 161 ff.) разсматриваютъ отношеніе Диогена къ нѣкоторымъ сочиненіямъ гиппократовскаго сборника.

(Стр. 323 внизу). Критика его ученія у Теофраста de sens. 39 (Doxogr. 510 сл.). Приведенный стихъ изъ «Облаковъ» (Meineke 828) гласитъ: Δίνος βασιλεύει τὸν Δι' ἐξελήλατος; кромѣ того, стр. 380.

(Стр. 324 § 2). *Гиппонъ*. Отрывки изъ Πανόπται у Kock, Attic. comic. fragg. I 60 ff.—Единственный отрывокъ въ Les scolies Genèveises de l'Œiade ed. Nicole (Женева 1891) повторяетъ часто обсуждавшееся тогда мнѣніе, что вода всѣхъ источниковъ и колодезь происходитъ изъ моря. Сравн. Diels, Berl. Sitz.-Berichte 1891 575 ff. («Über die Genfer Fragmente des Xenophanes und Hippon»). Мнѣніе Аристотеля Metaphys. I 3 и de anima I 2.—Причисленіе его къ эклектикамъ основано на сопоставленіи словъ Аристотеля (Met. I 3), комментатора Александра къ этому мѣсту (p. 21, 17 Bonitz) и Ипполита I 16 (Doxogr. 566, 20). Поучительное сообщеніе послѣдняго позволяетъ присоединить Гиппона къ эклектическому движенію эпохи, тогда какъ скудное сообщеніе Аристотеля представляетъ его запоздалымъ послѣдователемъ Талеса.—*Архелай*. Срвн. Laert. Diog. II cap. 4; затѣмъ Теофрастъ (Doxogr. 479), Аэцій (тамъ же 28^o), Ипполитъ I 9 (тамъ же 563).

(Стр. 325 § 3). Аллегорическое объясненіе Гомера *Метродоромъ* и вывозу на основаніи краткаго замѣчанія лексикографа Геснхія Ἀγαμέμνων τὸν αἰθέρα Μητροδώρος ἀλληγορικῶς изъ Vol. Herculi. coll. altera VII 90 (впервые сообщено въ журналѣ «Academy» 15 I 1873)—Репанъ о толкованіи библіи Филономъ: Histoire du peuple d'Israël V 349.—О Θεαгенѣ и его послѣдователяхъ см. Bergk, Griech. Litt.-Gesch. I 264 и 891. Объ апологѣ Θεагена упоминаетъ одинъ схолій къ Илиадѣ XX 67. Θεαгенъ, разцвѣтъ (или рожденіе: γεγονός!) котораго относится Татианомъ adv. Graec. с. 48 ко времени Камбиза, т. е. между 529 и 522 годами, былъ какъ по времени, такъ и по мѣсту далекъ отъ Ксенофана. Объ участіи Демокрита въ аллегорическомъ толкованіи уже была рѣчь; то же самое безусловно сомнительное преданіе сообщается объ Анаксагорѣ у Laert. Diog. II 11.

Часть III, глава 4.

(Стр. 328). Здѣсь и въ слѣдующей главѣ я заимствую частью буквально, частью съ прибавленіями и улучшеніями изъ моей прежней статьи «Die griechischen Sophisten» (Deutsche Jahrb. f. Politik u. Litteratur April 1863).

(Стр. 329 внизу). О вторженіи *иноземныхъ культѣвъ* см. М. Clerc, Les *métèques Athéniens* (Paris 1893) 118 сл. (Любовь аѳинянь къ чужеземнымъ богамъ: Strabo X 3, 18, p. 471). Срвн. Foucart, Les *associations religieuses, chez les Grecs* (Paris 1873) 57.

(Стр. 331). *Харондѣ*. Вопросъ о времени его дѣятельности у Busolt, Griech. Geschichte I 279, прим. 1. къ сожалѣнію тоже трактованъ недостаточно полно. Аристотель о Харондѣ въ «Политикѣ» II 12. Его законы объ овецѣхъ у Діодора XII 15.

(Стр. 331). Литература специальностей: Поварское искусство Мнѣоза у Платона, Горгій 518 с. Отрывки изъ одного стихотворнаго произведенія этого рода Филоксена Левкада сообщаетъ Аѳеней I p. 5b. Книжки Демокрита о тактикѣ и борьбѣ съ оружіемъ въ перечнѣ сочиненій у Лаэрт. Диог. IX 48; тамъ же приведены его сочиненія о живописи и о сельскомъ хозяйствѣ. (Сомнѣнія Gemoll'я о подлинности послѣднихъ сочиненій кажутся мнѣ совершенно неосновательными (Gemoll, Untersuchungen über die Quellen... der Geoponica, Berlin 1883 S. 125). Діэтетика Геродика изъ Селимбрии часто упоминается Платономъ, въ гиппократовскихъ сочиненіяхъ, у Галена и т. д., наконецъ въ лондонскомъ паппрусѣ. Ксенофонтъ въ небольшомъ сочиненіи π. κτλκζ; называетъ Симона своимъ предшественникомъ. Большой отрывокъ (обработанный W. Oder'омъ Rhein Mus. 51, 67—69). Ласъ изъ Гермюшы, жившій при дворѣ Писистратидовъ, названъ Свидою самымъ древнимъ музыкантомъ теоретикомъ. Что Дамонъ, личность и значеніе котораго извѣстны, писалъ о музыкѣ, это для меня внѣ сомнѣнія, особенно послѣ указаній Филодема (срвн. сочиненіе автора «Zu Philodems Büchern von der Musik», Wien 1885, 10). Возраженія Bücheler'а (Rhein. Mus. XL 309 ff.) не опровергаютъ указанныхъ мѣстъ. О Гиппій'рѣчь будетъ позже. О художникѣ Агаѳархѣ, писавшемъ объ украшеніи сцены, смотр. предисловіе Витрувія къ 7 книгѣ (тамъ же объ Анаксагорѣ). Софокль усовершенствовалъ технику сцены и писалъ о хорѣ (Suidas). О канонѣ Поликлета см. Галенъ de Hippocrat. et Plat. placitis V, 448 Kühn; единственный маленкій отрывокъ у Филона Mechanic. syntaxis ed. Schöne IV 50, 5 ff. Ораторъ Исократъ упоминаетъ о, кажется не совсемъ незначительной, библиотекѣ объ искусствѣ предсказыванія от 19, 5. О Гипподамѣ Милетскомъ говоритъ Аристотель Pol. II 8. Къ специальной литературѣ относятся также учебники по математикѣ, астрономіи и риторикѣ, о которыхъ здѣсь специально не упоминалось.

(Стр. 333). *Мосхіонъ* Frgm. 6 (Nauck, tragic. Graec. fragg. 2 p. 812) Большой отрывокъ «Спенфа» Критія тамъ же 771. Сочиненіе Протагора «О первоначальномъ состояніи» упоминается у Лаэрт. Диогена IX 55,—въ передачѣ Платона въ діалогѣ Протагоръ 320c. сл.

(Стр. 335). *Георгъ Форстеръ* во введеніе къ нѣмецкому переводу третьяго путешествія Бука, V 67 изд. Gervinus'а.

(Стр. 336). Статьи Локка «On civil government» въ 4-мъ томѣ собранія его сочиненій. Главныя мѣста 398, 400, 405. Стр. 398 замѣчательная фраза: «So at best an argument from what has been to what should of right be has no great force».—Марсилиѣ Падуаискій: его сочиненіе «Defensor pacis» появилось въ рукописномъ видѣ въ 1346 году; но закончена книга была до 11 Юля 1324, срвн. O. Lorenz, Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter II 3 349. Глав. XII «Convenerunt enim homines ad civilem communionem propter commodum et vitae sufficientiam consequendam et opposita declinandam». «Quia... nemo sibi scienter nocet aut vult iniustum, ideoque volunt omnes aut plurimi legem convenientem communi civium conferenti.» (въ смыслѣ греческ. συμφέρον=польза).—О средневѣковыхъ формахъ ученія объ общественномъ договорѣ срвн. Н. v. Eicken, Gesch. u. System d. mittelalterl. Weltanschauung 356 сл.—Когда Фридрихъ Генцъ писалъ: «Общественный договоръ есть основа всеобщей государственной науки» (срвн. John Austin, The province of jurisprudence 2 I 310), то онъ присоединялъ къ этому и слѣдующую фразу: «Первоначальный общественный договоръ... никогда... въ дѣйствительности не былъ заключенъ» (Віе-

настроения и вольно допускают правдоподобность сообщения, что оставшаяся ненаказанной несправедливость, жертвой которой онъ былъ, поколебала его вѣру въ боговъ или въ промыселъ (схολіи къ Облакамъ Аристофана 830 Mein.; Секст. Эмпиρ. adv. mathem. IX, 1, 53=402; 17 Bekk.; Свида). Изъ прозаическихъ сочиненій мы знаемъ два заглавія ἀποπορῦζοντες и Φρόνοι λόγοι (Suid. Tatian or. ad Gr. cap. 27), которые по всей вѣроятности относятся къ одному и тому же произведенію; онъ осмѣиваетъ здѣсь вѣру въ мистеріи и повидимому излагаетъ новое пониманіе боговъ названіемъ егемеризмомъ (подробнѣе см. Lobeck, Aglaoph 370 сл.). Точную дату указываетъ сообщеніе Діодора XIII 6; въ 415/4 году во время волненія, вызваннаго святотатствомъ гермокопидовъ, афиняне отъбили его голову. Этому не противорѣчитъ указаніе въ рѣчи Пс-Лисія противъ Андокида, которая составлена въ 399 (Blass, Att. Beredsamk I² 562). Труднѣе согласовать съ этимъ намекъ въ Облакахъ Аристофана (Mein. 830), согласно которымъ нечестивый образъ мыслей поэта былъ общезвѣстнымъ фактомъ уже въ 423 году (или 418). Сбивчиво дальѣ сообщеніе Свида, который расцвѣтъ Діагора относитъ къ 78-ой олимпиадѣ и одновременно съ этимъ рассказываетъ объ освобожденіи его изъ рабства Демокритомъ (еще не родившимся въ это время). Не помогаетъ и Евсевій; онъ то причисляетъ Діагора къ натурфилософамъ, то связываетъ его съ лирикомъ Вакхилидомъ и относитъ расцвѣтъ его то къ 75-ой, то къ 78-ой олимпиадѣ. (Хроника II 102 Schöne) Анекдотъ у Цицерона (de nat. deor. III 37) и у Лаэрт. Діог. (VI 59) тоже колеблется между Діагоромъ и киникомъ Діогеномъ; Цицеронъ запутывается въ комичныхъ противорѣчійхъ (de nat. deor. I и I 42). Въ недавнее время вопросъ хронологіи разбирается Вилламовицомъ (Textgeschichte der griech. Lyriker, Abhdlg. der Göttinger Gesellsch. d. Wiss. N. Folge IV, 3, 80).

(Стр. 350). Геродотъ: I. 32. Эврипидъ: Frg. 285. Затѣмъ Геродотъ III 80 сл., Эврипидъ, Frg. 810 и 1027.— Сравненіе духовнаго развитія съ культурой земли въ псевдо-гиппократовскомъ Νόμος (VI 640 L.) и Antiphont. Soph. Frgm. 134 Blass. Понятія «природная склонность», «обученіе», «познаніе», «упражненіе» производятъ уже у Фукидида впечатлѣніе ходячихъ монетъ. О выраженіяхъ Протагора мы будемъ говорить позже. «Образованіе» и «природная склонность» эти понятія употребляетъ уже вмѣстѣ и авторъ псевдо-гиппократоваго сочиненія Объ искусствѣхъ (IV 16 L.). Срвн. Демокритъ (?) Frgm. mor. 130 и 133 (Mull.), съ которымъ слѣдуетъ сравнить Frgm. trag. adesp. 516, также Критій Frg. 6 Bergk. Отзвуки всего этого у Исократы рѣчь 13 и у Платона Федръ 269d.

(Стр. 350). *Фалей* изъ Халкедона. Арист. Polit. II 7. Время его можно съ приближеніемъ точною опредѣлить тѣмъ, что онъ былъ моложе Гипподама (πρότος τῶν μὴ πολιτευομένων ἐνεχείρησέ τι περὶ πολιτείας εἰπεῖν τῆς ἀριστοῦς (ор. cit. с. 8) и повидимому старше Платона. Въ аристотельскомъ сообщеніи о государственныхъ идеалахъ Гипподама слова φετο δ' εἶδη καὶ τῶν νόμων εἶναι τρία μόνον περὶ ὧν γὰρ αἱ δίκαι γίνονται, τρία ταῦτ' εἶναι τὸν ἀριθμὸν ἕβριν βλάβην θάνατον я могу отнести только къ *уголовнымъ законамъ*, не только потому, что на такое толкованіе указываютъ αἱ δίκαι и что три указанная категоріи могутъ лежать только въ основѣ дѣленія уголовного права, но и потому, что Гипподамъ былъ далекъ отъ того, чтобы уничтожать законы благоустройства или ограничивать ихъ, напротивъ, онъ расширялъ сверхъ мѣры ихъ примѣненіе. Но помимо этого, куда же дѣвались законы правленія и управленія? гдѣ гражданское право? Въ такомъ ограниченномъ смыслѣ Аристотель употребляетъ слово νόμοι и тамъ, гдѣ онъ называетъ Питтака, и почти въ тѣхъ же выраженіяхъ Драконта, пзобрѣтателемъ νόμων ἀλλ' οὐ πολιτείας (Pol. II 2). Что должно исключать это μόνον, мы не знаемъ; можетъ быть тѣ случаи уголовного права, въ которыхъ потерпѣвшими или преступниками являлись не люди, а другія существа?

(Стр. 351). Мѣсто изъ «Лягушекъ» Аристофана стр. 892 см. Meineke: αἰθρὰ ἐμὸν βόσκημα καὶ γλώττης στροφίγῃ καὶ ζῶνσι καὶ μικτῆρες σφραγῆριοι.

Чтобы представить себѣ древній образъ мыслей, слѣдуетъ сравнить приписываемыя Исократу слова (ук. м.) *ὅτε καὶ ἴδων τὸν μισθὸν ἀριθμοῦμενον, εἶπε διακρύπτων ὡς ἀέπε γυνὼν ἐμαυτὸν νῦν τοῦτοισ πεπραμένον*» со словами Ксенофонта (Memor. I 2, 6): *τοὺς δὲ λαμβάνοντας τῆς ὀμιλίας μισθὸν ἀνθραποδιστὰς ἐαυτῶν ἀπεκάλει*.—Не менѣе характерно совпаденіе словъ Платона (Государство IX 590c): *βαναυσία τε καὶ χειροτεχνία διὰ τί, οἷσι ὄνεϊδος φέρει, со словами Ксенофонта (Супег. 13, 8): ἀρκεῖ ἐκάστῳ σοφιστῆν κληθῆναι, ὅ ἐστιν ὄνεϊδος παρὰ γε τοῖς εὐφρονοῦσιν*. Этимъ объясняется, что Ксенофонть въ такихъ грубыхъ выраженіяхъ говорить о своемъ презрѣніи къ софистамъ: *καὶ τὴν σοφίαν οὐσαύτως τοὺς μὲν ἀργυρίου τῷ βουλομένῳ πωλοῦντας* (вспоминается *πεπραμένον* Исократа) *σοφιστὰς ὡσπερ πόρνους ἀποκαλοῦσιν*, и въ то же время тотъ же Ксенофонть понимаетъ подъ софистами и просто философовъ (Mem. I, 1, 11): *ὁ καλούμενος ὑπὸ τῶν σοφιστῶν κόσμος, и еще (IV 2, 1): γράμματα πολλὰ συνελεγμένον ποιητῶν τε καὶ σοφιστῶν τῶν εὐδοκίμωτάτων*. И приблизительно такое же значеніе имѣеть это слово, когда Платонъ заставляетъ Гиппократа «сына богатого и знатнаго дома», стремляющагося къ обученію у Протагора, отрицательно и краснѣя отвѣчать на вопросъ, хочетъ ли онъ самъ стать софистомъ (Protag. 312a). Чтобы не составить ложнаго представленія, слѣдуетъ тогда же прочесть то, что говоритъ Плутархъ въ жизнеописаніи Перикла (гл. 2). «Ни одинъ благовранный юноша, созерцающій олимпійскаго Зевса или аргосскую Геру, не захочетъ стать Фидіемъ или Поликлетомъ, или, восхищаясь произведеніями Анакреона, Филета или Архилоха, кѣмъ пибудь изъ этихъ послѣднихъ».

(Стр. 357). Ср. Платона Горгіи 485d: *μετὰ μισραχίων ἐν γωνία τριῶν ἢ τετάρων ψιθυρίζοντα*. Слова эти относятся къ Сократу, но гораздо болѣе, какъ это уже давно замѣчено, подходятъ къ самому Платону.

(Стр. 357). Дж. Ст. Милль (Dissert. and Discuss. III 295 = Ges. Werke XII 46) указалъ на это мѣсто, на которое не обратилъ вниманія при обсужденіи этого вопроса (Lysis 204a). Въ Мепонѣ 85b софистами названы геометры.

(Стр. 357 вверху). Платонъ (Апология 20b-e, Кратилъ 384b) смѣется надъ незначительностью гонора софистовъ; тамъ же 391b-c и въ другихъ мѣстахъ имъ ставится въ вину высота ихъ вознагражденія.

(Стр. 358 кр. строка). На различное употребленіе слова софистъ у самого Платона до сихъ поръ указалъ только Н. Sidgwick (Journal of philology IV S. 288 сл.). Эта цѣльная статья («The Sophists») является значительнымъ дополненіемъ къ болѣе знаменитой чѣмъ серьезной обработкѣ этого предмета Гротомъ которую Sidgwick правильно называетъ a historical discovery of the highest order. Во всякомъ случаѣ софистика уже въ раннемъ Горгіи зачислена въ число кокетливыхъ искусствъ; по ту же судьбу постигаетъ тамъ же и риторика вмѣстѣ со всю поэзію. Въ ряду существъ, о которыхъ упоминается въ сравнительно не поздно написанномъ Федрѣ, гдѣ говорится о переселеніи душъ, софистъ занимаетъ довольно низкое мѣсто; по здѣсь онъ ставится на одну доску съ народнымъ ораторомъ! Наконецъ если Евтидемъ не есть позднее произведеніе Платона, то онъ все же стоитъ передъ тѣми диалогами, въ которыхъ мишенью нападокъ являются Антистенъ и мегарцы. Должны ли мы все это считать исключеніями, подтверждающими правило?

(Стр. 359). Съ примѣненіемъ слова софистъ Аристотелемъ каждый можетъ ознакомиться въ великолѣпномъ указателѣ Боинца.

(Стр. 360 вверху). Подтверженіемъ сказаннаго можетъ служить Исократъ Philirr. 84, Аристидъ (ук. м.), Полибій VIII 8, Плутархъ, Жизнь Александра ср. гл. 53 и 55, наконецъ «Новые отрывки Эпикура» изданн. Гомперцомъ (Wiener Sitz-Ber. 1876 S. 91), Галейъ, IV 449, Kühn, Лукіанъ de morte Peregrini § 13.—Объ употребленіи слова софистъ въ эпоху римскихъ императоровъ можно найти цѣльныя указанія у Hatch'a Griechentum und Christentum S. 73 Anm. нѣмецкаго изданія. Подобно Платону иронизирующему надъ большими гонорами софистовъ, церковные писатели въ osobности Юстинъ и Татианъ съ насмѣшкой говорить о гонорахъ языче-

оргапизма частичная смерть отдѣльныхъ органовъ очень удачно сравнивается съ вынужденными уплатами долга частями, которыми нетерпѣливый ростовщикъ возмѣщаетъ себя за отсрочку полной уплаты. Вѣдше схоже, но въ сущности совершенно инымъ является у Бюна сравненіе домоганій старости съ тѣми мѣрами, къ которымъ прибѣгаетъ владѣлецъ дома, чтобы заставить неисправнаго плательщика покинуть домъ, снятіе дверей, закрытіе колодца и т. п. Здѣсь оказывается давленіе на волю постояльца, дальнѣйшее пребываніе дѣлается ему невыносимымъ. Безпощадному поступку хозяина соотвѣтствуетъ жестокой приемъ природы; въ первомъ случаѣ должно послѣдовать *покиданіе жилища*, во второмъ *уходъ изъ жизни*. Бюнь рекомендуетъ *самоубійство* въ случаѣ тяжелыхъ испытаній (Teles. у Stob. Florileg. V 67 = III 46 Wachsmuth-Hense). Чѣмъ ниже мы ставимъ автора Аксіоха — а у насъ нѣтъ повода ставить его высоко, — тѣмъ труднѣе намъ допустить, чтобы онъ такъ умѣло воспользовался сравненіемъ Бюна и приспособилъ его къ другой цѣли. Мы должны отказаться отъ того, чтобы впасть въ дальнѣйшія детали. Такъ какъ время написанія діалога, какъ бы мы ни оттягивали его, все же не относится къ тому времени, когда сочиненія Продика, въ особенности «Оры», которыя мы имѣемъ въ виду, уже исчезли, то нѣтъ ни малѣйшаго сомнѣнія въ томъ, что влагаемое здѣсь въ уста Продика соотвѣтствуетъ характеру его жизненію. Все это согласуется съ тѣмъ что намъ передаетъ басня о Гераклѣ, въ которой замѣчанія Платона и несомнѣнное свидѣтельство діалога «Эриксий» болѣе стараго чѣмъ Аксіохъ, насколько можно судить по языку. (Въ этомъ вопросѣ мое мнѣніе совпадаетъ съ мнѣніемъ Целлера Phil. d. Griechen I⁵, 1124 A. 2).

(Стр. 365) «Гераклъ на распуты»: сообщено Ксенофонтомъ Memorab. II 1, 21. О софокловскомъ образцѣ, признанномъ таковымъ уже Аепнеемъ XII вѣч. см. Nauck, Frgm. trag. Gr. ² p. 209. Вліяніе этого анолога очень подробно разбираетъ Cougny op. cit. 79; см. также Dieterich, Nekyia 191. Подъ «Орами» Cougny понимаетъ различные возрасты, что не лишено вѣроятія. — Восхваленіе земледѣлія можно видѣть въ намекѣ Ѳеμισіа (τὰ καλά τῆς γεωργίας) от. XXX p. 349 Dindorf). Однако можетъ быть не безъ основанія противъ этого возражаъ недавно Kalbfleisch въ статьѣ, посвященной автору (Festschrift S. 94—96).

(Стр. 366). Ученіе о *безразличныхъ вещахъ* подробно излагается и приписывается Продіку въ псевдо-платоновскомъ Эриксий; см. также Платона Эвондемъ 279. — *Происхожденіе вѣтры въ боговъ*: Главныя мѣста у Филодема о благочестіи 71 и 75 (изд. Гомперца); мое возстановленіе дополнено теперь Дильсомъ, Hermes XIII, 1; отсюда одна фраза у Цицерона de nat. deor. (I 42, 118); Sext. Emp. adv. mathem. IX 18, 39 и 52 (394, 22; 399, 39 и 402 15 Bekk.)—J. H. Voss, Mythol. Forschungen I 62.—О Персеѣ срвн. Филодема ук. м.

(Стр. 366—368 § 5). О *Гиппий* смотр. Müller, Frgm. historic. Gr. II 59—63. Названія фрагмента заслуживаетъ тамъ лишь № 6, сообщенный Климентом Strom. VI 745 Pott.; и разборъ его и объясненія у Гомперца (Wiener Sitz.-Ber. 1890 Abh. IV). Описание личности даетъ платоновскій Гиппій младшій и можетъ быть псевдо-платоновскій Гиппій старшій; срвн. также Протагора Платона pass.; затѣмъ срвн. Philostr. Vit. Sophist. 11=II 13 Kayser. О его работахъ по геометріи говоритъ Танпері (Pour l'histoire de la science Hell. 246): «Hippias d'Elis fut un mathématicien remarquable». Подробнѣе о немъ у Allman's Greek geometry etc. 191.—О Леоне Баттиста Альберти срвн. Burckhardt, Cultur der Renaissance I⁴ 152.—Сомнѣніе въ надежности перечня олимпійскихъ побѣдителей высказано Плугархомъ (Numa c. 1), къ которому въ новое время присоединяется Mahaffy, Problems in greek history 68 и 225 сл.—Цѣнныя замѣчанія о положительномъ содержаніи и значительномъ вліяніи его ученій высказываетъ Dümmler въ Akademiķa.

(Стр. 369 § 6). Объ Антифонѣ срвн. прежде всего H. Sauepe De Antiphonte sophista, Göttinger Univ.-Progr. 1867, потомъ собранія отрывковъ въ Oratores Attici (ed. Turic.) II; въ приложеніи къ Blass, Antiphontis orationes ²

130 сл.; также А. Croiset въ *Annuaire de l'assosiat. pour l'encourag. d'études gr.* 1883, 143 сл. Слѣды наивнаго реализма: срвн. у Гомерца «*Apologie der Heilkunst*» S. 24.—Объ «Искусствѣ утѣшенія» срвн. Buresch, *Consol. hist. crit.* p. 72 сл. О стилѣ и содержаніи сочиненія «Объ единомысліи» срвн. Филострата *Vit. sophist.* 15 (II 17 Kays.); о стилѣ Антифона у Гермодена (*Rhet. gr.* II 415 Spengel).

(Стр. 370). Увеличеніемъ числа фрагментовъ Антифона мы обязаны Blass'у. Въ статьѣ *De Antiphonte sophista Jamblichii auctore* 1889 онъ, какъ мнѣ кажется, далъ убѣдительныя доказательства, что въ *Protrepiticos* Ямблиха (ed. Pistelli 95 с.) содержатся большіе отрывки изъ книги Антифона и именно какъ онъ долженъ былъ заключить изъ сочиненія *τὸ βρονόιας*. Возраженія, высказанныя позже, кажутся мнѣ неубѣдительными.—*Гротъ* приводитъ краткое изложеніе своего собственнаго взгляда рецензентомъ (W. Smith) (*H. of Gr.* VIII² 549 сл. *The personal life of. G.G.* 231).

Къ тому, что Saure говоритъ о вліяніи на Антифона его натурфилософскихъ предшественниковъ (ор. cit. p. 9 сл.) мы прибавимъ то, что мы вычитываемъ изъ отрывка 94 Вl. Антифонъ считалъ настоящее состояніе міра «господствующимъ теперь» *διὰστασις* оми; это вполнѣ совпадаетъ съ тѣмъ, что получается изъ тщательнаго разбора эмпедокловскихъ остатковъ, а именно, что современное міровое состояніе, въ которомъ элементы преимущественно раздѣлены, находится подъ знакомъ увеличивающагося раздора, а не «дружбы». Срвн. также отрывокъ 105 Вl, гдѣ море называется потому, съ эмпедокловскими *γῆς ἰσῶτα θάλασσαν* (v. 165 Stein). Saure справедливо относится къ недоверію къ случайному замѣчанію Оригена, что авторъ *Ἀλήθεια* «уничтожилъ провидѣніе» (adv. Cels. IV с. 25). Мы вполнѣ согласны съ его мнѣніемъ, что Оригенъ вычиталъ изъ сочиненія Антифона это мнѣніе «interpretando et concluendo». На признаніе Божества указываютъ не только отрывокъ 108 Вl, но также, какъ безъ сомнѣнія правильно указалъ Заупе, и отрывокъ 80 Вl. Чтобы двѣ столь разнородныя фигуры, какъ предсказателя и агрессивнаго свободомыслящаго человѣка, соединились въ одномъ лицѣ, это, если не невозможно, то въ высокой степени маловероятно, и должно было бы быть лучше засвидѣтельствовано, чтобы ему можно было придать вѣру. Уничтоженіе провидѣнія первовный писатель могъ видѣть во всякой натурфилософской попыткѣ объясненія міра, въ особенности въ такой, которая, по примѣру Эмпедокла, сводила цѣлесобразность органическихъ существъ къ естественнымъ причинамъ.

Часть III глава 6.

О *Протагорѣ* см. Лаэрт. *Диог.* IX гл. 8. Немногіе сохранившіеся отрывки его сочиненій и другія свѣдѣнія о немъ собраны и подробно разобраны въ *Quaestiones Protagoraeae* Johannes'a Frei'a, Bonn 1845 и *Disquisitio de Prot. vita et philosophia* i Vitringa Groningen 1852.—Отъ естественно-историческихъ работъ Протагора остались слабыя, но вѣрные, какъ мнѣ кажется, слѣды. Срвн. Цицерона, *de oratore* III 32 (128), Діонис. объ Исократѣ I (p. 536 Reiske), Евполосъ въ «Лестепахъ» *Fr.* 146 и 147 (I 297 Kock.). Перечень сочиненій у Лаэрт. *Диог.* IX 55 ограничивается не только «сохранившимися» (*σφζόμενα βιβλία*); въ немъ пропущено даже главное метафизическое сочиненіе, которое читалъ Порфирій.—Что онъ далъ законы Юріямъ, это сообщаютъ Гераклидъ Понтійскій (Лаэрт. *Диог.* ор. cit). Предположеніе, приведенное въ текстѣ, о характерѣ этого законодательства подробнѣе обосновано въ *Beiträge z. Gesch. d. gr. u. röm. Rechts* Franz'a Hoffmann'a (Wien 1870 S. 93 f.). Въ этомъ меня предупредилъ М. Н. Е. Meier (орус. I 222). О томъ, что Протагоръ лично посѣтилъ Юріи, гдѣтѣ не говорится, но можно предположить съ значительной долей вѣроятности. О постройкѣ города срвн. *Diod.* XII 10, о Гипподамѣ указанія у Schiller'a *De rebus Thuriorum* p. 4. О пребываніи Эмпедокла въ Юріяхъ вскорѣ послѣ

раздѣляетъ этого мѣнія, я бы не преминулъ здѣсь же подкрѣпить доказательствамъ свой взглядъ, еслибъ это не было значительно удобнѣе сдѣлать въ дальнѣйшемъ отдѣлѣ настоящаго сочиненія.

(Стр. 393/4). Разобранное здѣсь мѣсто изъ «Софиста» Платона (232d) было мною иначе истолковано и изложено въ Apol. d. Heilk. 181 сл. Съ тѣхъ поръ благодаря нѣкоторымъ рецензентамъ и сдѣланнымъ мнѣ частнымъ указаніямъ я пришелъ къ убѣжденію, что мое прежнее толкованіе (которое я раздѣлялъ съ Campbell и Jowett) было ошибочно. Изъ общей связи съ несомнѣнностью слѣдуетъ, что мы должны допустить довольно смѣлый подмѣнъ словъ (именно тамъ, гдѣ стоитъ αὐτόν). Это единственный пунктъ, по поводу котораго я считаю нужнымъ внести значительную поправку въ мою, часто мною упоминаемую книгу. Вмѣстѣ съ тѣмъ я остаюсь при убѣжденіи, что удаленіе этой невѣрной опоры не подрываетъ аргументаціи, на которой я строю тамъ свою теорію. По отношенію къ остальному содержанію этого параграфа направляю чптателя къ названной книгѣ, гдѣ затронутые здѣсь вопросы разработаны съ большой полнотой.

(Стр. 397). Aristoteles: Rhet. II 24 fin. Къ слѣдующему срв. Plat. Apol. 23d и Isocr. or. 15 § 16 и 32. Срв. прекрасныя замѣчанія Grote, Hist. of Greece VIII² 499 сл. Употребленію, которое обычно дѣлается изъ шутки Аристофана, въ которой приводится δίκαιος и ἀδίκος λόγος, Гротъ произносить приговоръ въ слѣдующихъ словахъ: «If Aristophanes is a witness against any one, he is a witness against Socrates, who is the person singled out for attack in the «Clouds». But these authors (онъ разумѣетъ Ritter и Brandis), not admitting Aristophanes as an evidence against Socrates whom he does attack, nevertheless quote him as an evidence against men like Protagoras and Gorgias whom he does not attack». Далѣе срв. особенно Aristot. Rhet. I 1 (1355a—b), Plat. Gorgias 456d, Sext. Emp. adv. math. II 44 (683, 22 f. Bekk.), Филодемъ (во многихъ мѣстахъ его риторическихъ сочиненій, отмѣченныхъ Гомперцомъ въ Zeitschr. f. d. öst. Gymn. 1866, S. 698), наконецъ Хрисиппъ у Plutarch. De stoic. repugn. c. 10, 15—Mor. 1268, 37 ff. Dübн., и Aristot. Rhet. II 26 in. и III 18 fin.

(Стр. 399). Aristot.: Rhet. I 1 fin.; затѣмъ срв. примѣч. къ 379—81; еще (Plat. Protag. 351d. — Относительно Протагорова обученія риторикѣ срв. ссылки у Frei, Quaest. Protag. p. 150 сл. Сравненіе заимствовано изъ Quintilian. Institut. Orat. II, 1, 12.

Часть III, глава 7.

(Стр. 400/1). Жизнь *Горгія* изложена Гермиппомъ и Клеархомъ въ ихъ жизнеописаніяхъ (Athen. XI 505d и XII 548d). У насъ нѣтъ достовѣрныхъ свѣдѣній о его рожденіи и смерти. Можно все же довѣриться Аполлодору, утверждающему, что онъ дожилъ до ста девяти лѣтъ (Laert. Diog. VIII 58). Онъ пережилъ Сократа (Plat. Apol. 19e) и конецъ своей жизни провелъ въ Тессаліи, гдѣ онъ пользовался покровительствомъ Ясова изъ Феръ, вступившаго на престолъ около 380 года (Paus. VI 17, 9). Однако несравненно большая часть его долгой жизни повидимому принадлежитъ пятому столѣтію, такъ что при своемъ появленіи въ Афинахъ въ качествѣ посла онъ приближался уже къ старости. (Diodor. XII 53). Дилсь придерживается датъ, установленныхъ Фреемъ (Rh. Mus. N. F. VII 527 ff), а именно: 483—375 (Gorgias u. Empedokles, 3). Виламовицъ (Aristoteles u. Athen I 172) не безъ основанія относитъ его олимпійскую рѣчь къ лѣту 408 г. Подробнѣе всего, не безъ примѣнъ, однако, нѣкоторыхъ хронологическихъ несообразностей (ср. Apol. d. Heilk 171 f.), говоритъ о немъ Филостратъ (Vitae sophist. c. 9) а изъ новыхъ Blass, Attische Beredsamkeit I² 47 ff. Фрагменты его собраны въ Orat. Att. II 129 ff. Слово о Пенелогѣ и ея служанкахъ приписывается еще и другимъ (срв. Gercke, Bearbeitung der Sauppe'

Исправленія.

<i>На стр.</i>	<i>строчка:</i>	<i>напечатано:</i>	<i>нужно:</i>
8	6-я сверху	фокійцами	фокейцами
9	11-я сверху	лютиѣ	лириѣ
10	17-я сверху	Ие	Не
21	8-я снизу	внушающіе	внушающіе
30	16-я снизу	несомѣнно	несомѣнно
55	6-я снизу	Гекатѣя	Гекатѣя
58	15-я сверху	подающій	подающій
65	16-я снизу	киксонѣ	киксонѣ
66	16-я снизу	Каллиносѣ	Каллинѣ
84	2-я сверху	мужескія	муже-женскія
88	20-я сверху	Заслуживающее	Незаслуживающее
109	1-я сверху	переселеніи	переселеніи
116	19-я сверху	Элевсисѣ	Элевсинѣ
116	22-я сверху	аполлинійскомѣ	аполлоновомѣ
127	7-я снизу	Периѳооса	Париѳооса
128	1-я сверху	Алкманѣ	Алкманѣ
133	7-я сверху	Гельмгольцѣ	Гельмгольцѣ
135	8-я снизу	фокейцамѣ	фокейцамѣ
136	4-я снизу	Ксенофну	Ксенофану
144	8-я снизу	направле-	направленій
154	14-я снизу	что. къ	что, къ
157	7-я снизу	элейскаго	элейскаго
164	10-я снизу	Ксенафана	Ксенофана
166	1-я сверху	Суще нее есть тѣло	Сущее не есть тѣло
177	18-я снизу	не реально	не реально
178	5-я снизу	то соединяя	соединяя то
196	16-я снизу	Акрагасѣ	Акрагантѣ
210	1-я сверху	родное Не	родное. Не
215	16-я снизу	Сфайросѣ	Сфарѣ
221	4-я сверху	idem	
223	8-я сверху	церковныхъ записей	списковъ жрецовѣ
225	5-я снизу	Тенаронѣ	Тенарѣ
237	2-я снизу	ἡ φύσις	ἡ φύσις
249	6-я снизу	Еврифонѣ	Еврифонтѣ
249	3-я снизу	Геродикосѣ	Геродикѣ
250	18-я снизу	высокія начинанія	высокія начинанія
266	2-я снизу	коической	коской
267	12-я снизу	койцы	кости
268	2-я сверху	койцевѣ	коцевѣ
272	2-я сверху	направленія	направленія
326	1-я снизу	аполлетомѣ	аполлетомѣ
328	16-я снизу	они была	они были
331	13-я снизу	Митайкомѣ	Миозкомѣ
344	8-я сверху	лейкипо	левкиппо
348	10-я сверху	Калликлеса	Калликла
348	17-я сверху	idem	

